

ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО



МИРНЫЙ ГОРОД

ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО

МИРНЫЙ ГОРОД

роман



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА — 1955

Моему дорогому другу

Р. Д. Есиповой

Автор

•

КНИГА ПЕРВАЯ





I

Была осень 1941 года, штаб Западного фронта находился в подмосковной роще.

Подполковник Богданов, оставив свою машину недалеко от шоссе, довольно долго шел по просеке, усыпанной облетевшими листьями — медно-желтыми дубовыми и березовыми серыми, как пепел. Тишина, стоявшая в этих негустых, аккуратных, обнесенных кое-где заборами пригородных лесах, удивляла и бессознательно тревожила Богданова. Казалось, она таила какую-то новую, неизвестную еще опасность.

Подполковник не был ни первым, ни особенно впечатлительным человеком, но он приехал во фронтовой тыл после многодневных тяжелых боев, которые начались для него еще в июне под Минском. С тех пор, в течение четырех месяцев без малого, он отбивался со своей частью от наступавшего врага; оказавшись в окружении под Медынью, он продолжал драться в тылу немцев, пробился с остатками полка на восток и привел с собою пленных. Привыкший уже к постоянному ожиданию боя, осунувшийся, похудевший, с запавшими глазами — отчего в свои двадцать девять лет Богданов выглядел едва ли не на все сорок, — он невольно оставался настороженным и сейчас, в этой глубокой дачной тишине. Впрочем, она вскоре действительно оборвалась... Богданов не провел и часа в штабе, как поблизости раздалась зенитная стрельба и на лесные дорожки посыпались осколки рвавшихся в небе снарядов.

В штаб фронта подполковник был вызван для доклада о своем марше по неприятельским тылам... Под

вечер в большом, укрытом высокими соснами доме Богданова принял член Военного Совета фронта. И, выйдя после долгой беседы из его кабинета, Богданов, не задерживаясь в приемной, храня на смуглом, не утратившем еще летнего загара лице сосредоточенное, строгое выражение, молча прошел на лестницу. Он собрался немедленно ехать дальше, и ему надо было оформить документы.

В первом этаже, в одной из комнат, его попросили немного подождать. Присев у окна, пристально, казалось, рассматривая чешуйчатые стволы сосен, росших у стены дома, Богданов заново переживал и недавнюю беседу и все, что ему стало известно во фронтовом штабе. Интендант, сидевший напротив за столом, низко наклонялся к бумагам, показывая лысеющую макушку, едва прикрытую спутанными волосами... Наступали сумерки, и в комнате было темновато.

Лишь теперь, после разговора с членом Военного Совета, собственные впечатления Богданова и разрозненные сведения о положении на фронте объединились у него в цельную картину. Она была очень грозной: гигантское сражение за Москву, разыгравшееся на пространстве в десятки тысяч квадратных километров, становилось все более ожесточенным. Одновременно с наступлением на кратчайшем направлении Вязьма — Гжатск — Можайск — Москва немцы предприняли активные танковые операции на обоих флангах своей центральной группировки. И над столицей нависала опасность концентрического удара, наносимого сразу с трех сторон... К северу от нее, в районе Калинина — Волоколамска, немцы, встретив стойкое сопротивление, втянулись в длительные бои; с юга, со стороны Орла, на Москву прорывалась их 2-я танковая армия с приданными ей пехотными соединениями.

Именно в этом направлении, восточнее Т. — крупного промышленного города, — находилась поредевшая, отведенная в тыл часть Богданова. И он достаточно хорошо знал серьезность обстановки в районе Т. Неприятель, наступавший там, был задержан на шоссе Орел — Мценск, но в середине октября прорвался к Мценску и теперь развивал свой успех.

—...Геройски под Орлом наши танкисты бились, — проговорил член Военного Совета, когда после доклада

Богданова речь зашла об этих событиях. И его светлые холодные глаза на красивом лице с седеющей бородкой потеплели... — Вообще надо сказать, что наше сопротивление опрокинуло все расчеты гитлеровского командования, — продолжал он. — О «блицкриге» смешно уже говорить. Эта гитлеровская иллюзия похоронена на танковых кладбищах под Смоленском, под Ельней, под Брянском. И Гитлер страшится уже своего просчета во времени... Все, что у него есть теперь, он бросил в нынешнее наступление. Его авиация целиком сосредоточена сейчас на Восточном фронте, его танковые армии пополняются машинами разнообразнейших марок. Тут и Шнейдер-Крезо, и Шкода, и Рено, и даже трофейные английские... Все, что смог поставить мировой империализм, собрано Гитлером для решающего удара. Но, заметьте, он уже не в силах наступать по всему фронту, как в июне, июле...

Сложная взаимосвязь событий, происходивших на различных участках фронта, открылась Богданову в этой беседе. Было совершенно очевидно, что операции немцев со стороны Орла и Мценска являлись частью общего их замысла окружения и взятия Москвы. И, следовательно, Т. становился как бы отдаленным бастионом столицы, прикрывавшим южные подступы к ней. Было ясно и то, что защитники Ленинграда, как и наши части под Ростовом, сковывавшие значительные неприятельские силы, активно помогали войскам, оборонявшим Москву. И Богданову снова вспомнились слова члена Военного Совета, сказанные уже в конце беседы:

— В Москве Гитлер обещал своим солдатам отдых. Если они и получают его, то только в подмосковной земле... Но надо торопиться, товарищ подполковник, надо торопиться. Враг еще не остановлен, он теснит нас... На каком бы участке вы ни находились, вы сегодня защищаете Москву.

Новое, не изведенное ранее чувство охватило сейчас Богданова. До сих пор даже в арьергардных боях, даже выводя свою часть из окружения, он жил надеждой на близкий решительный перелом в ходе военных действий. Если не ему лично и не его бойцам, то другим, на других направлениях, было, повидимому, предназначено остановить наконец врага, а потом разгромить его... Видя лишь свой, относительно ограниченный участок фронта,

Богданов, как бы трудно ему порой ни приходилось, нетерпеливо ждал, что вот-вот он услышит о нашей большой победе. И сейчас он в первый раз ясно постиг, что дальше ждать нельзя уже и что не кто-нибудь, а он, как и каждый солдат Советской Армии, где бы он ни сражался, должен совершить необходимое для победы величайшее усилие.

Ответственность, которую почувствовал в эту минуту Богданов, была так велика, что он ощутил ее физически — в комнате стало как будто холоднее. Заспешив вдруг, он встал и огляделся. «Надо торопиться, надо торопиться...» — мысленно твердил он себе.

За письменными тесно поставленными столами шла обычная тихая работа. Шелестела бумага, кто-то негромко хлопнул большую квадратную книгу, в углу бледно теплилась тонкая свечка. Офицер с насупленным, освещенным снизу лицом поворачивал над огоньком красную палочку сургуча; она оплывала, пузырясь и распространяя приятный запах. Разговор за спиной заставил Богданова обернуться.

— Готова сводка, товарищ лейтенант? — ворчливо спросил пожилой майор с обритой синеватой головой. Вынув изо рта папиросу в янтарном мундштуке, он отставил руку в сторону, чтобы не осыпать пеплом бумаги. — Мне через полчаса докладывать...

— Разъясняли, кажется, и бланки послали, — отозвался человек, сидевший к Богданову спиной, — а сведения дают не по форме. Вот и копаешься...

Богданов неодобрительно посмотрел на обоих. Шагнув к офицеру, перед которым лежали его документы, он попросил заняться ими. Тот, однако, ничего не ответил, даже не поднял глаз, что-то старательно записывая в тетрадь.

— Я к вам обращаюсь, товарищ интендант третьего ранга, — сказал Богданов, внезапно распалившись.

Он был невысок и, как многие люди небольшого роста, бессознательно приподнимал плечи, когда сердился.

Офицер за столом снова промолчал. И Богданов, взявшись за пояс у пряжки, резким, одновременным движением обеих рук как бы затянул его, оправляя шинель. Этот жест, сохранившийся еще с давних школьных времен, обозначал у Богданова решительную готовность

постоять за себя. Но сказать что-либо еще он не успел: офицер пододвинул к нему раскрытую тетрадь.

— Распишитесь.

— Надо отвечать, когда к вам обращаются,— громко сказал Богданов, беря ручку.

— Нет, не здесь, товарищ подполковник... Под этой чертой, пожалуйста, — офицер показал, где именно надо расписаться.

Взяв бумаги, Богданов круто повернулся и зашагал к двери. Офицер, оставшийся за столом, посмотрел в спину маленького коренастого подполковника долгим взглядом очень утомленного человека. Закрыв глаза, он провел ладонью по лицу, по лысеющей голове и снова склонился над столом.

Наступил вечер, и в коридоре горели уже лампы в белых матовых колпачках. Богданов, сердито косясь по сторонам, направился в вестибюль. Он должен был сегодня же побывать еще в самой Москве, в штабе Московского округа, а затем, не мешкая, возвратиться в свою часть. Но в вестибюле подполковника остановил часовой. Как оказалось, была опять объявлена воздушная тревога, и, пока она продолжалась, никто не мог выйти из помещения. Богданов даже потемнел лицом от досады, услышав это, однако не стал пререкаться с часовым.

Постепенно у выходной двери собралась кучка людей, также задержанных тревогой. Медленно из угла в угол прохаживался, заложив руки за спину и стиснув переплетенные пальцы, командир-танкист в кожаном пальто. Подошел и остановился у деревянной колонны высокий полковник в щегольской шинели. Новые желтые ремни плотно облегали его выпуклую грудь, каракулевая ушанка поблескивала серебром. Одет полковник был так, точно собрался на парад, но этому странным образом не соответствовало сумрачное, тоскующее выражение его бледного, длинного, гладко выбритого лица. Богданов, увидев нарядного командира, оживился.

— Селиверстов!.. И ты здесь?.. — воскликнул он.

Полковник медленно повернулся на голос.

— Не узнаешь? — спросил Богданов, глядя снизу вверх заблестевшими, выжидающими глазами.

— Ты? Вот не ожидал... — довольно равнодушно сказал Селиверстов и принялся стаскивать с руки коричневую, туго сидевшую перчатку.

— Я слышал, ты на Карельском геройствовал, на старых местах? — громко продолжал Богданов.

Он и Селиверстов были знакомы еще по Академии, а потом служили вместе во времена финской кампании. И хотя они никогда особенно не дружили, Богданов искренно обрадовался, встретив сейчас человека, с которым мог поговорить по душам.

— Нет, на старых местах не пришлось побывать... — возясь со своей перчаткой, ответил Селиверстов.

— Не помню, от кого я о тебе слышал, да ты мне все сам расскажешь, надеюсь... — Богданов улыбался.

— Что ж рассказывать? — полковник стащил наконец перчатку и несильно пожал пальцы Богданова холодной крупной рукой. — Где ты воевал?

В вестибюле слышались далекие выстрелы зенитных скорострельных пушек. Но через минуту снова стало тихо.

— Эх! — досадливо крикнул кто-то из ожидавших перед дверью. — Нас тут теперь до ночи продержат.

— Пойдем посидим где-нибудь, — предложил Селиверстов, позабывший, видимо, уже о своем вопросе. — Или пообедаем, что ли? Ты ел сегодня?

Они спустились в нижний этаж, где помещалась столовая; здесь в этот час было немногочисленно. В комнатах, выходящих в коридор, виднелись аккуратные столики, покрытые скатертями, поблескивали стеклянные графины с водой; над дверями висели таблички с надписями: «Для младшего начсостава», «Для среднего...», «Для старшего...», «Для генералов и начальников отделов». Белые стены коридора и светлое лакированное дерево дверей создавали тут впечатление санаторной чистоты и порядка.

В комнате «Для старшего начсостава» все столики были свободны: люди уже, вероятно, отообедали. Молодая женщина в белом халате и в косынке взяла у Богданова и Селиверстова их талончики и принесла меню, отпечатанное на папиросной бумаге.

— Несите, что осталось, хозяйка! — сказал Богданов официантке, затем повернулся к Селиверстову: — Где мы с тобой расстались? В Выборге или раньше? — приступил он к разговору. — Полвека, кажется, прошло, как мы не виделись.

— Ты что? — полковник посмотрел на Богданова

так, точно не расслышал вопроса.— А, да... Быстро время пролетело.

Лишь теперь Богданов заметил, что его товарищ поглощен какою-то трудной мыслью и с неохотой каждый раз отвлекается от нее. Но сам Богданов был слишком возбужден, чтобы считаться с этим.

— Знаешь, Селиверстов, я сегодня о многом передумал, — продолжал он. — Положение у нас такое, что надо делать для себя ясные выводы, беспощадные выводы.

Полковник молча кивнул головой, видимо, соглашаясь.

— Война вступила в критический, решающий период. Отходить нам больше некуда...

Богданов не договорил, потому что в комнате послышался слабый, но явственный шум самолетных моторов: высоко над домом, укрытым в сосновой роще, шли бомбардировочные эскадрильи. И казалось, ветер от их заоблачного движения пронесся и тут, в тихой комнате с занавешенными окнами, залитой ровным электрическим светом.

— Это на Москву идут, — сказал Богданов, — опять идут...

Селиверстов не пошевелился, сидя вполоборота к столу; удлиненное гладкое лицо его сухо блестело.

Появилась официантка, расставила тарелки, перенесла с соседнего столика вазочку с бумажными салфетками.

— Извините, — сказала она, — котлеты кончились, я вам рагу принесу.

Ей никто не ответил. Шум моторов то ослабевал до полной тишины, то вновь возобновлялся: самолеты шли волна за волной с небольшими интервалами.

— Сколько их, ты слышишь? — жестко сказал Богданов. — Не могу примириться с мыслью, что это на Москву.

Он заметил, что женщина все еще стоит подле него, ожидая ответа, и резко вскинул голову, отбросив со лба черные прямые волосы.

— Котлеты кончились уже, — повторила женщина. — Я вам рагу советую...

— Да что вы, мамаша! — с досадой сказал Богданов. — Несите то, что есть...

Он всем корпусом поддался к Селиверстову.

— Не знаю, как у тебя, — снова начал он, — но я по себе сужу... Понимаешь, мы слишком долго отступали, отбивались, ходили в контратаки, но все-таки отступали. И у людей создалось ложное представление, что разобьют врага не они, а какие-то другие наши части на других участках... А им самим так и придется до той поры только отбиваться и отступать... И надо переломить эту психологическую готовность к отходу, эту привычку оглядываться на других. Ты слушаешь меня?

— Да, — откликнулся Селиверстов.

— Разбить врага должны мы, — горячась продолжал Богданов. — Каждому бойцу надо внушить, что если он не устоит сегодня, — никто не устоит; если он не свалит врага, — никто его не свалит.

Селиверстов опять промолчал. Можно было подумать, что то, о чем говорил Богданов, давно ему известно и не вызывает уже никакого интереса.

— Ты куда отсюда отправляешься? Ты чем командуешь теперь? — спросил подполковник.

— Я? — Селиверстов нахмурился, как бы собираясь с мыслями. — Еду принимать дивизию. Командир ее убит — сейчас я еду. Вот не скажу только, где ее найду. Вчера дивизия была под Т. — Он назвал тот же город, куда надлежало вернуться Богданову. — Она, как говорится, на марше...

— В Т. едешь! — воскликнул Богданов.

Селиверстов кивнул головой.

— Рядом будем, — сказал подполковник, и это невольно прозвучало у него так, точно теперь, когда им снова предстояло служить в одном месте, они могут ничего не опасаться.

— Ты оттуда... — после паузы проговорил Селиверстов.

Богданов пристально смотрел на него, готовый отвечать на вопросы об обстановке в районе Т., но полковник не произнес больше ни слова, — казалось, и о ней он был уже хорошо информирован.

Опять над домом в роще протяжно загудели самолеты, и в комнате как будто повеяло ветром. Шум моторов был теперь более громким и густым, — видимо, в очередном эшелоне шли тяжелые машины.

— Да сколько же их там? И почему зенитки молчат? — не выдержал Богданов.

Вошла официантка, поставила тарелки с борщом, подала хлеб и осталась у стола, опустив фанерный поднос.

— Часто теперь летать стали. Каждый вечер их ждать надо, — сказала она почти бесстрастно. Но в ее серых поднятых к потолку глазах было напряженное внимание.

Наконец в комнату донесся глухой грохот: зенитки открыли огонь. И в их слитной мощной канонаде потонуло вибрирующее гудение бомбардировщиков.

— Ага! — вырвалось у Богданова.

Официантка прерывисто вздохнула, машинально поправила красными пальцами косынку.

— На прошлой неделе как раз около нашего дома в Москве бомба упала, — сказала она, точно оправдываясь. — Мы у Смоленской площади живем. В нашем переулке и упала... Ну, кушайте, пожалуйста.

Проверив взглядом, все ли подало, что полагается к обеду, она пошла из комнаты, стуча солдатскими сапогами.

— А сильно, право, сильно бьют, — отметил Богданов. — И плотный огонь. Перемахни-ка через него...

Он принялся за еду, то и дело поднимая голову и прислушиваясь.

Селиверстов, низко наклонившись над тарелкой, ел с неожиданной жадностью, нетерпеливо ломая и кроша хлеб. Вдруг он исподлобья посмотрел на Богданова.

— Удивительное дело, — он усмехнулся, держа на весу полную ложку, — что бы с тобой ни стряслось, а есть все равно хочется. Прямо волчий у меня аппетит.

— Да ты расскажи, однако, где был? — спросил Богданов. — Ты что отмалчиваешься?

— Разве отмалчиваюсь? — Селиверстов доел борщ и лишь после этого продолжал: — Из госпиталя вот еду. Поцарапало меня в Луге. С ротой в атаку пошел... — он коротко, невесело засмеялся и умолк.

— Ну, ну, — поторопил Богданов.

— Рядовой в общем факт, — нехотя продолжал полковник. — Закрепились мы, остановили танки. А танки повернули, сбили соседа и обошли нас. От моей роты и взвода не осталось...

— Это бывало, — подтвердил Богданов. — Я пять суток держал круговую оборону. Слева наши отошли, справа нет связи, единственная дорога в тылу перехвачена. Досталось нам тогда крепко...

— Что ж тебе рассказывать? Все сам знаешь, — проговорил Селиверстов. Его лицо с тяжелым, вытянутым книзу подбородком стало откровенно злым. — Как ни цепляйся, хоть кровью изойди, а конец один...

— Неважно мы пока воевали — это верно, — сказал Богданов. — Ты сам говоришь, что повел роту в атаку, а ведь это, извини за прямоту, совсем не твое дело. Ты же старший командир, твое дело — организовывать, руководить... — Богданов подождал, не возразит ли ему Селиверстов. — Я вот тоже, признаться, поначалу суетился слишком, а толку от этого было немного.

— Ломает нас, гад, — негромко проговорил Селиверстов, не обратив внимания на слова Богданова. — Да и удивляться нечему. На один наш самолет летает пять со свастикой... А много ты видел наших танков?

— Пять на один — это ты, пожалуй, перехватил, — сказал Богданов. — Но тем более, тем более нам непростительны ошибки! Надо учиться, товарищ полковник, учиться на ходу, в бою. Учиться маневру, взаимодействию, организации огня...

— Рассчитываешь еще учиться? — не повышая голоса, сказал Селиверстов.

— А как иначе? — Богданов удивленно замолчал.

Полковник с недобрый выражением смотрел ему прямо в глаза.

— Нельзя хорошо управлять войсками, не зная в подробностях тактических форм боя, — начал было Богданов и осекся... — То есть, постой-ка. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду? — переспросил он.

Селиверстов отвел свой взгляд в сторону.

— А не поздновато уже учиться? — сказал он. — Впрочем, помогай тебе бог...

— Как поздновато? — изумился Богданов.

Его ожесточенная решимость так полно владела им, его собственное отношение к событиям было таким ясным, что он не мог и помыслить о каком-либо ином.

— Ты о чем? Ты куда клонишь? — спросил он.

Селиверстов поднял свою крупную белую руку, прекращая дальнейшие расспросы.

— Я солдат, я выполняю приказы, — проговорил он с досадой. — Мне сказано: «Стоять насмерть». Значит, будем стоять.

Их разговор оборвался. Официантка принесла второе, потом в комнату вошли и сели за ближний столик три командира. У одного из них, плечистого, широкогрудого, с волнистыми, зачесанными назад волосами, светло блестела на гимнастерке звездочка Героя Советского Союза. Он громко поздоровался с официанткой, назвав ее тетей Пашей, затем во всеуслышание объявил о том, что очень проголодался.

Когда второе блюдо было в молчании съедено, Селиверстов вытер салфеткой губы, скомкал ее и, помедлив, осторожно опустил на тарелку.

— Ну, так, — сказал он, — надо ехать.

Он достал бумажник и переложил туда из нагрудного кармана какую-то бумагу.

— Ты все еще не женился, Богданов? — спросил он неожиданно.

— Я? Нет, — ответил подполковник. «Что с тобой происходит, не пойму», — выражал его взгляд.

Селиверстов извлек из бокового отделения бумажника фотографию и протянул ее через стол.

— Это хорошо, что не женился, — сказал он. — А я вот, как видишь, поспешил.

На карточке была изображена миловидная, доверчиво улыбавшаяся женщина, почти девочка, в белом свитере и вязаной шапочке с помпоном. Она казалась такой молоденькой, что могла бы сойти за дочь Селиверстова, выглядевшего по меньшей мере лет на сорок пять.

— Твоя жена? — В тоне Богданова невольно прозвучало недоверие. — Сколько же ей лет?

Селиверстов потянулся к фотографии.

— Сам видишь... — размягченным голосом, с внезапной нежностью ответил он. — Перед войной десятилетку кончила. И никого у нее нет, кроме меня. Сирота... В госпиталь она ко мне приезжала.

— Любит, значит. Ну, поздравляю тебя, — сухо сказал Богданов.

— Одна теперь осталась... — Селиверстов произнес это так, будто наверно знал, что уже не вернется домой.

Он спрятал фотографию, уложил бумажник в карман и застегнул пуговицу.

— Все, — сказал он, — пора ехать.

Точно тень прошла по его лицу, он выпрямился на стуле, но не поднялся. Его внимание привлек радужный блеск воды в графине: электрический луч, преломившийся на прозрачной поверхности, горел в стеклянном шаре многоцветными огоньками спектра — синим, зеленым, желтым, красным... И, рассматривая это красивое свечение пристальными, остановившимися глазами, Селиверстов позабыл как будто об окружающем. Богданов, хмурясь, наблюдал за полковником.

— Третье, пожалуйста, — раздался голос официантки.

Она поставила на стол две чашки с компотом и принялась убирать тарелки. Вдруг коротко мигнул свет, и оглушительный двойной гром прогремел где-то рядом за стенами. Женщина замерла, прижав к себе тарелки и втянув голову в плечи.

— Тетя Паша, — окликнул ее командир со звездой Героя, — какие новости? Дом у Смоленской цел пока?

— Из Москвы приезжали, рассказывали, что стоит, — тихо сказала женщина. — Только ведь когда это было...

— Ничего, будет стоять. Детишки, я так полагаю, в метро бегают.

— Старший писал, что на крыше дежурит... — Официантка говорила, не поднимая глаз, тарелки звякали у нее в руках. — Он в Певехе, в команде состоит...

— И к Москве нелегко прорваться, нет, — сказал командир. — Слышали взрыв? Стервятники куда придется бомбы бросают.

В комнату быстро вошел еще один командир и направился к трем обедавшим. Наклонившись над столиком, он что-то вполголоса сообщил; Богданов разобрал лишь несколько слов: «...От Волоколамска прямо на восток...», «...Командующий говорил со Ставкой...» Тотчас все три командира, не кончив есть, встали и вместе с вновь пришедшим молча пошли к выходу.

Богданов тоже встал, нетерпеливо глядя на Селиверстова; полковник доедал еще свой компот, вытаскивая ложечкой из чашки ягоды.

— Да, да, я сейчас, — сказал он. — Сейчас...

Но только покончив с ягодами, он отставил чашку, поднялся и пошел — высокий, щеголеватый, в новых

ремнях; мелодично, в такт шагам, позванивали на его сапогах крохотные шпоры.

У дверей Богданов еще раз увидел официантку; она стояла, прислонившись спиной к лакированному косяку.

— Спасибо, — поблагодарил подполковник. — Спасибо, мамаша! — ему захотелось сказать этой женщине что-нибудь утешительное. — Хорошо покормили, как в ресторане, — добавил он.

— Счастливо вам, товарищ подполковник, — устало, признательно ответила она.

В вестибюле, у лестницы, ведущей наверх, какой-то командир в пилотке, в плащ-палатке, забрызганной грязью, разговаривал с молодым лейтенантом.

— Я именно оттуда. Прошу вас, доложите немедленно, — говорил командир в пилотке. Обеими руками он торопливо распутывал шнурки, стягивавшие под подбородком его плащ-палатку.

— Пойдемте со мной, — сказал лейтенант; белки глаз у него были розоватые от недосыпания. — Генерал Жуков сейчас в аппаратной, — пояснил он, поднимаясь по ступенькам.

Слегка задев Богданова локтем, прошел майор с обритой головой, тот, что беспокоился о сводке для доклада. Держа перед собой лист бумаги, испещренный колонками цифр, майор читал на ходу.

«А зря я, пожалуй, напустился на интенданта», — вспомнился Богданову офицер, с которым он сегодня едва не поссорился. В самом деле, в штабе фронта чувствовалось большое, бессонное напряжение, но люди выполняли свои разнообразные обязанности так, будто ничего чрезвычайного не происходило. Отсюда, из этого подмосковного леска, шло по многим каналам управление войсками, находившимися в многодневной битве, одной из величайших в истории. Чтобы знать о ней все, и знать немедленно, чтобы бесперебойно питать войска резервами, огромными количествами вооружения, боеприпасов, продовольствия, чтобы иметь возможность непрерывно анализировать положение, производить сложные расчеты, мгновенно реагировать на каждое изменение в обстановке, нужна была величайшая организованность даже в мелочах. И Богданов с невольным уважением подумал теперь о деловитом порядке, царившем в этом подмосковном штабе.

Отбоя еще не было, но во дворе стемнело, и часовой беспрепятственно выпустил из дома Богданова и Селиверстова.

По широкой, посыпанной гравием дорожке, слабо различавшейся в поздних сумерках, они прошли к железной решетке, ограждавшей двор. Там они снова показали свои пропуска; в третий раз они предъявили их автоматчику в будке, у самого выхода на просеку.

Черной стеной тянулись здесь в сторону шоссе высокие деревья; под ними едва были заметны укрытые машины. Селиверстов окликнул своего шофера и, когда тот отозвался, пошел на голос. Мотор завелся не сразу, шофер суетился около него, надсаживаясь, крутил ручку; Богданов и Селиверстов молча постояли минуту — другую. Полковник старательно надевал свою узкую перчатку; казалось, он весь ушел в это занятие. И, поглядев на то, как он с нею возится, на его ссутулившиеся плечи, опущенную голову, Богданов со злостью подумал:

«Эх, не дал бы я тебе дивизию, даже батальон не дал бы! Ты ведь умирать едешь, — как будто прозрел он вдруг, — умирать, а не драться...» И он заговорил негромко, чтобы не услышал шофер, медленно, подыскивая слова:

— Послушай, Евгений Герасимович! Так, кажется, если не забыл... Может, я и ошибаюсь, хорошо, если ошибаюсь... Но с таким настроением, как у тебя, нельзя воевать.

— А какое у меня настроение? — холодно спросил Селиверстов.

— Ты что, махнул уже на все рукой? Прости меня, но ты на свои похороны едешь... Это же никуда не годится... Ты вот говоришь: «Стоять насмерть». Но это значит стоять так, чтобы победить...

— Оставь, Богданов, я все это слышал, — перебил его Селиверстов. — Может, ты боишься за меня?

— И за тебя и за твоих людей, — сказал Богданов. — Тебе же их в бой вести.

Крытая машина с погашенными фарами прошлепала мимо, прижимаясь к стене деревьев. Сухая ветка под ее колесом сломалась с треском, громким, как выстрел. Селиверстов круто повернулся — машина уходила

по просеке, растворяясь в мутной полутьме. Полковник поправил свою шапку, потом протянул руку.

— Прощай, Богданов! И не слишком беспокойся. Я свой долг знаю, — сказал он.

Помолчав еще немного, он добавил неуверенным, но неожиданно повеселевшим голосом:

— А может... еще и побачимся, а?

— Да, обязательно встретимся, — сказал Богданов. «Какая лихорадка тебя трясет?» — сердито подумал он. — Ну, желаю успеха...

И, не дожидаясь, пока полковник уедет, он быстро пошел отыскивать свою «эмку».

Сидя в машине, катившейся вдоль просеки, слыша шорох ветвей, задевавших за крышу кузова, Богданов некоторое время размышлял еще о Селиверсто́ве.

«А ведь казался стойким командиром... И в Академии шел неплохо и строевиком слыл образцовым, — припоминал он. — Ездил хорошо верхом... Первое место взял на состязаниях...» — негодовал он и удивлялся, точно при наличии всех этих качеств человек не мог так пасть духом, как это случилось, повидимому, с его товарищем.

«Эмка» выехала на шоссе, повернула к Москве, и подполковник сразу же позабыл о Селиверсто́ве. Воздушное нападение на столицу еще продолжалось, и над нею стоял в полнеба красный, высветленный туман. Когда машина, взяв пологий подъем, переваливала через вершину холма, Богданову открылась фантастическая картина ночного яростного боя.

Небо над черной, неровной от построек дугой горизонта непрерывно искрилось — мгновенные раскаленные вспышки, будто электрические разряды, перебегали над городом, густея где-нибудь в одном месте и тут же рассыпаясь. Лучи прожекторов покачивались, шарили, пропая облака или перечеркивая их огромными голубыми крестами. Иногда прямые, как копыя, лучи соединялись верхушками по-двое, по-трое, и вокруг них вспыхивало особенно много оранжевых звезд, ярких и недолговечных. Кое-где над домами небо было дымно-багровым — это отсвечивали начавшиеся пожары.

Богданов приказал остановить машину и вышел на асфальт. Дорога впереди была пустынна, да и по сторонам на всхолмленной темной равнине не замечалось ни движения, ни огня. Какие-то низкие здания бара-

ного типа тянулись справа, высокая черная труба одиноко торчала среди них. Странное, глухое безлюдье простиралось вокруг, и Богданову почудилось, что он и его шофер были единственными здесь свидетелями этого небывалого, ужасающего, неслыханного боя. Богданову многое пришлось уже повидать на войне, но вид Москвы, озаренной вспышками артиллерийского огня и пламенем горящих домов, но картина сражающейся столицы потрясла его...

— Отбивается Москва, товарищ подполковник! — сказал шофер; он тоже вылез из машины.

За шумом канонады Богданов не услышал приближения автомобилей, шедших сзади. Они появились на перевале шоссе неожиданно — стремительные, мощно гудевшие, с узенькими щелочками света в забранных щитках фарах. Первая машина была открытой, за нею вырисовался мчащийся лимузин. И когда он пронесся мимо, Богданов различил в его окне профиль человека в военной фуражке. Лишь на одно мгновение возник этот наклоненный к ветровому стеклу профиль, но подполковник узнал его... Сталин возвращался в столицу из поездки на подмосковный фронт. За лимузином проехала на большой скорости еще одна закрытая машина, и все три, спустившись с вершины холма, снова начали подниматься. Некоторое время они были еще видны на шоссе, потом одна за другой скрылись за дальним перевалом.

Богданов долго смотрел вслед с неизъяснимым чувством, в котором была и бесконечная готовность к борьбе и волнение солдата, увидевшего своего главнокомандующего, и надежда... Потом он молча, быстро сел в машину. Шоссе устремилось вниз, и вскоре в переднем стекле осталась одна прямая, чуть поблескивавшая в темноте полоска укатанной дороги. Но на перевале новой возвышенности Богданов опять увидел Москву. Теперь можно было рассмотреть даже силуэты отдельных зданий на фоне побагровевшего неба. И, будто два горящих факела, падали там по кривой два подбитых, объятых пламенем бомбардировщика.

2

Алексей Васильевич Громов, «токарь в отставке», как он себя называл теперь, сидел у окна в стареньком покрытом рядом креслице, на коленях у него лежала

газета, но он не читал. Из кухни доносились плеск воды, лязг ножей, там убиралась после обеда сестра Алексея Васильевича, но не этот мирный шум привлекал его внимание. Оно было поглощено тем, что происходило рядом, в комнате сына, отделенной дощатой перегородкой. За нею слышались быстрые тяжелые шаги, раздавался стук отодвинутого стула, тонко скрипнул ящик письменного стола. Видимо, Павел, сын, подойдя к столу, начал складывать в ящик свои бумаги. Потом зашелестела калька: он сворачивал какой-то чертеж. И старик беспокойно задвигался в креслице.

Павел надолго, а может быть, и навсегда — о чем было страшно помыслить — уходил сегодня из дому. Все случилось внезапно: вчера еще предполагалось, что он уедет с эвакуировавшимся заводом, на котором работал, а ночью, придя из райкома, он сообщил, что его направили в рабочий полк. И Алексею Васильевичу очень хотелось быть сейчас около сына, помочь ему, присмотреть, все ли, что может понадобится, он берет с собой. Но только что за обедом старик поссорился с Павлом, когда тот снова — в который раз уж! — предложил ему поскорее уехать из Т. И так как Алексей Васильевич ничего не нашел возразить по существу — ему действительно незачем было оставаться в городе, к которому приблизился фронт, — он вспылил и разгневался. Теперь он уже раскаивался в сказанных сгоряча несправедливых словах, и это усиливало его тоску.

За перегородкой зазвучал низкий молодой голос: Павел запел без слов, с закрытым ртом старую песню: «Когда я на почте служил ямщиком...». Пропев, вернее, промывав первую фразу, он умолк, но через минуту затянул ее снова. Алексей Васильевич, подняв голову, прислушался.

«Смотри ты... молодец, право, молодец! — восхитился он. — Ведь на войну идет, не куда-нибудь». Сумрачное лицо его с кустистыми, разлохматившимися бровями смягчилось, стало растроганным. «И всегда был такой... Иной раз, мальчишкой еще, в синяках домой прибежал, а не жаловался», — припомнил Алексей Васильевич.

Он решил уже, несмотря на ссору, пройти к сыну, но тут дверь в перегородке открылась, и Павел, задев плечом холстинную портьеру, вошел в комнату. Старик встал навстречу. Грузный, очень высокий, с выгнутой,

округлившейся спиной, он жадными, пристрастными глазами оглядел сына.

Павел Громов, такой же большой, чуть даже повыше ростом, улыбаясь, смотрел на отца. Он был в черном пальто, перепоясанном кожаным желтым ремнем, в яловочных охотничьих сапогах; на плече его висел парусиновый мешок.

— Ну, не передумали, папа? — спросил он мягко. — Сегодня ночью еще эшелон будет, последний. Вас там и встретят и устроят. Вот и Мешковы уезжают...

— А это их дело, — пробормотал Алексей Васильевич.

Снисходительный тон сына снова уязвил его.

Они стояли друг против друга — оба тяжелые, рослые, очень похожие один на другого. Но в то время, как глаза Павла были ясного светлосинего цвета, глаза Алексея Васильевича приобрели уже студенистый, мутноватый оттенок. Жесткие, торчком стоявшие на голове волосы старика посерели от густой проседи; у сына они оставались русыми, хотя так же топорщились. Все в лице Павла было крупным, как и у отца: развитой лоб с выпуклыми надбровными дугами, прямой нос, крепкие, выдававшиеся скулы, излишне толстоватый рот. И те же черты у Алексея Васильевича утратили под морщинистой, обвисшей кожей свою резкую определенность. Когда старик смотрел на сына, казалось, он отражался в волшебном зеркале, уничтожавшем следы и шрамы многих прожитых лет.

— Иван Андреевич спрашивал о вас, — продолжал Павел сильным, громким баском. — «Твоему старику всегда место найдется, — сказал мне. — И машину ему дадим вещи на вокзал свезти». Поехали бы, а? Ну, чего вы упрямитесь?

Павел умолчал о том, что сам обратился в управление завода с просьбой отправить из города больного отца. Но, действительно, о старике Громе помнили на заводе и с большой готовностью брались его увезти, а в дальнейшем — позаботиться о нем.

— Скажи, пожалуйста, машину дадут, — проворчал Алексей Васильевич. — А только мне без надобности. Так Ивану Андреичу и передай. Кланяется, мол, отец, желает счастливо доехать.

Он опять начал сердиться, почувствовав себя обиженным. Собственно говоря, это чувство обиды почти не покидало его в последнее время, являясь главным источником его раздражительности. Оно появилось с той самой поры, как Алексей Васильевич, находясь на покое, утвердился в грустном сознании, что его жизнь несправедливо быстро, казалось ему, подошла к концу. За минувший год он еще больше ослабел; несмотря на то, что весной вновь побывал в санатории, на берегу южного моря, ноги его сильно отекали, и он не выходил уже из дому дальше своего двора. Тем не менее он испытывал неудовольствие во всех случаях, когда к нему относились, как к больному. А это случалось теперь все чаще... На невнимание к себе Алексей Васильевич пожаловаться не мог, к нему часто наведывались товарищи с завода, как-то даже приехал директор, просидевший у него целый вечер; аккуратно посылались старику Громову приглашения на торжественные заседания в клубе завода, и когда он появлялся там, его встречали очень почтительно. Но все это мало утешало Алексея Васильевича — самый покой, на который он был отныне обречен, представлялся ему полным горечи. И обиженный тем, что независимо от воли людей совершалось в нем самом, старик считал обидчиком каждого, кто напоминал ему о его болезнях. Он и уезжать не хотел потому, что боялся оказаться в тягость своим более молодым и здоровым товарищам; одна эта мысль страшила и унижала его.

Павел укоризненно смотрел на отца. «Ну, что с ним сделаешь, как его уломаешь?» — тревожась и досадуя, думал он.

— Чего же мы стоим? Больше все равно не вырастем, — сказал Алексей Васильевич, усмехнувшись.

Он опустил в свое креслице, и оно застонало под его тяжестью. Павел скинул с плеча мешок и, оглядевшись, как бы не задеть за что-нибудь, сел рядом. Светлая, в четыре окошка комната, где они разговаривали, была тесно заставлена. Помимо обеденного стола, покрытого клеенкой, круглого маленького столика под кружевной вязаной скатертью, плюшевого диванчика, этажерки с книгами, горки с посудой, сундука под лоскутным ковриком, здесь на тумбочках, на подоконниках, на полу

стояло множество цветов: темнозеленых фикусов в кадках, бегоний, бальзаминов, роз. Алексей Васильевич поневоле посвящал теперь свои досуги возне с ними, и когда в комнате одновременно находились Павел и он, тут оставалось так мало свободного места, что поворачиваться следовало с осторожностью.

Павел достал папиросы, и Алексей Васильевич также потянулся к коробке.

— Вам ведь нельзя, папа! — сказал Павел.

— А это моя забота, — ответил старик.

Он долго разминал папиросу, потом, громко засопев, прикурил у сына.

— Стало быть, идешь, Аника-воин, — начал он. — Целый полк, говорят, собрали по заводам.

— Полк, — подтвердил Павел.

Со щемящим чувством смотрел он на большие морщинистые руки отца, старательно державшие папиросу, на твердые, напряженно вытянутые пальцы с панцырными ногтями, с ревматическими утолщениями в суставах.

— Целый полк, — повторил Алексей Васильевич, — это, знаешь, большая сила... Стало быть, на поправку дела пойдут теперь. Надо ждать — остановите вы немца, — с явной насмешкой закончил он.

— А что вы думаете? Остановим, — ответил Павел.

Иронический тон отца нисколько не задел его, и Алексей Васильевич окончательно рассердился.

— Ты сводку видел сегодня, воитель? — гневно спросил он, хватая со стола газетный лист. — Вот... Слушай! — И, далеко, по-стариковски отставив газету — очками он не любил пользоваться, — он прочитал: — «В течение 25 октября наши войска вели бои на Можайском, Мало-Ярославецком, Таганрогском, — он все время возвышал голос, — и Макеевском направлениях...» Ты это можешь понять или нет? — закричал Алексей Васильевич. — Наполеон Бонапарт туда не доходил, а немцев допустили...

— Далеко зашли, верно, — Павел примирительно улыбался, — но тем хуже будет для них потом. Французы вот в двенадцатом году Москву заняли, а ног не унесли...

— Как же, мы читали...

Старик закашлялся, лицо его побагровело и приняло страдальческое выражение, на мутных глазах выступили слезы.

— С точки стратегии все, значит, правильно получается? — вымолвил он, отдышавшись.

— Да вы посудите сами, — Павел, успокаивая отца, старался отвечать как можно мягче. — Отошли мы не по своей воле — это верно... Но, отступая, мы, как говорится, изматывали врага...

— Ну, раз по стратегии правильно, — значит, и толковать не о чем, — возмущенно перебил Алексей Васильевич. — Значит, и обижаться нечего. «Не трать, кум, силы, опускайся на дно», раз уж так тебе по науке выходит...

Где-то в глубине души он чувствовал свою нелогичность, но остановиться не мог.

— Да нет, папа! — тихо сказал Павел.

— Раз по науке правильно, чтоб фашисты города у нас жгли, — прокричал старик, — коренные губернии под себя забирали, людей наших казнили, — значит, так тому и быть!..

Павел встал, медленно прошелся по комнате, потрогал для чего-то глянцевитый, блестящий лист фикуса, потом обернулся к отцу.

— Да нет, не быть, — проговорил он ласково. — Никогда не быть... Вы и сами знаете, папа!

«Хорош! — неожиданно подумал Алексей Васильевич, глядя на сына, на его широкие плечи, на крупную голову с торчащими надо лбом вихрами. — Всем хорош: и умен, и удал...»

Он ощутил вдруг странную ревность к молодости сына и замолчал, охваченный смятением. Но слишком похож был Павел на него самого в те далекие времена, когда мало кто во всем Заречье мог потягаться с ним. И, любя Павла, тоскуя, боясь за сына, он в то же время тайно ему завидовал. Больше всего хотелось сейчас Алексею Васильевичу уйти вместе с ним, а там при случае поучить парня, потому что и в свои годы старый токарь предпочел бы не уступать первенство даже сыну.

— Вы посмотрите, — продолжал Павел, стремясь утешить отца. — Немцам дорого обошелся каждый шаг. Но, конечно, положение тяжелое... очень...

«Пожалуй, с двумя сдюжит... А то и с тремя,— подумал Алексей Васильевич. — Против меня меньше, чем вчетвером, не выходили».

И далекое, но такое яркое, точно это было вчера, воспоминание встало перед ним. Будто воочию, он увидел ровный заснеженный пустырь и желтоватую латунную луну в морозном небе. Вдоль забора, от которого падала на снег рубчатая тень, двигались гуськом, увязая в сугробах, люди в черном.

«На Поповом пустыре это было,— проговорил про себя Алексей Васильевич. — Ну, да... Возле бани. Трое нас там стояло против всей шайки... Я, Кузнецов... И кто же еще? — он задумался, припоминая. — Сережка Рябинин еще увязался с нами. Верно, Сережка с Арсенальной...»

Точно издалека, донесся к Алексею Васильевичу голос сына:

— Одни против всей фашистской Европы воюем... Так ведь?

И старик снова перестал слышать: картина, представившаяся ему, была слишком жива и увлекательна. Он опять переживал то счастливое состояние лихости и боевого азарта, с которым поджидал некогда своих врагов. Сквозь щели в заборе пробивались узкие полоски лунного света, и погромщики по очереди проходили через них. Мелькали распахнутые пальто, картузы, холодно засияла на мгновенье бляха городского, блеснул лакированный козырек.

«Ох, и бой был русских с кабардинцами!» — подумал Алексей Васильевич, слабо улыбнувшись. Потом он увидел, как люди в черном улепетывали по снегу, как кто-то из них недвижно распластался у его ног, как катился, подпрыгивая, круглый картуз. Длинный, kloкочущий свист, точно стеклянный горох, рассыпался над пустырем, близко хлопнул выстрел, и над самым ухом старика Рябинина проговорил жарким юношеским голосом: «Будут теперь знать, черти драповые!»

Свесив голову на грудь, Алексей Васильевич долго молчал, глаза его были полузакрыты, и лицо подобрело. Павел тоже умолк, внимательно глядя на отца. «Эх, совсем постарел отец, одряхлел!» — огорчившись, подумал он.

Подождав немного, Павел встал и поднял свой мешок. Алексей Васильевич очнулся, увидел сына, и внезапное острое чувство пронизало его размягченное воспоминаниями сердце. Павел, молодой, сильный, деятельный, был здесь, рядом, и удивительным образом он, Алексей Громов, существовал в мире не только сам по себе, но и в сыне. Чувство близости к этому другому, родному человеку, перешедшее сейчас в ощущение физического единства с ним, охватило Алексея Васильевича. Он затропился и тоже встал, опираясь на подлокотники.

— Ну, папа, — сказал Павел, — прощаемся... Пора идти мне.

Старик шагнул к нему и часто задышал.

— Паша, — взволнованно проговорил он. — Паша, ты не забывай...

Ему надобно было сказать очень многое: и наставить, и оберечь, и что-то практически посоветовать. А главное, напомнить о том, что он и Павел — это одно и что в сыне продолжается, живет, борется он сам. Но выразить все это Алексей Васильевич не сумел.

«Не забывай, сынок, ты один у меня. На тебя надежда... И я уж не могу тебе помочь. Но сила моя — в тебе», — беспорядочно проносилось в его мыслях. Голос его пресекался, и, помолчав, он вымолвил только:

— Помни, Паша, чему я учил... И последними мы не были, нет... Жили и прожили, а стыда не нашли.

Он суетливо обнял сына и неловко ткнулся в его лицо. Павел почувствовал прикосновение колючих усов, небритого подбородка.

— Ах вы! — воскликнул он. — Как же я могу забыть!

В свою очередь он стиснул круглые, мягкие плечи отца.

— Я обязательно забегу еще, если удастся, — добавил он. — И не сомневайтесь, папа! Все будет в порядке...

— Ну, иди, иди... — невнятно, ослабевшим от нежности голосом пробормотал Алексей Васильевич.

И Павел подумал, что именно теперь, воспользовавшись этой минутой слабости отца, следует возобновить свое предложение.

— А вы поезжайте, — бодрым голосом сказал он. — Тетя Аня вас соберет, проводит...

Размягченное выражение сошло с лица старика, и он отвернулся.

— Право же, поезжайте, — настаивал Павел. — Зачем вам здесь оставаться. А там вас и встретят и устроят.

Старик, ничего не ответив, опустил голову. В комнату из коридорчика, сообщавшегося с кухней, не спеша вошла женщина в темном, глухом платье — сестра Алексея Васильевича. Рослая, как и все в этой семье, она была лет на десять моложе брата и держалась еще очень прямо.

— Тетя Аня, — воскликнул Павел, — помогите уговорить отца! И вам поспокойнее будет, когда его отправим.

— Пускай Аня сама едет, если хочет, — снова начиная сердиться, сказал старик.

Анна Васильевна села, сложив на коленях коричневые, высохшие в запястьях руки. Лицо ее, угловатое, костистое, с выпуклыми, как у Павла, надбровьями, выглядело суровым.

— Тебя он не послушал, меня и подавно не слушает, — проговорила она хриловатым, низким голосом. — Да ты не бойся, я за ним и тут присмотрю.

— Чего за мной смотреть? Вот тоже выдумала! — все более раздражаясь, закричал старик.

Анна Васильевна только покосилась на него.

— А, может, еще вы не пустите сюда немцев, Пашенька? — громко спросила она.

— Постараемся, конечно... — сказал Павел. — Эх, напрасно вы упрямитесь, папа!

— Может, еще обойдется? — продолжала старуха.

— Надо думать... — Павел досадливо повел плечом. — Ну, что же, до свиданья, папа! — Помявшись в дверях, оглянувшись в последний раз на отца, стоявшего с разгневанным видом у своего креслица, он вышел.

Анна Васильевна, широко и твердо шагая, последовала за Павлом. Она увела племянника в кухню, маленькую, чисто выбеленную, украшенную бумажными фестончиками, свисавшими с полок, и там заставила уложить в мешок все, что напекла для него.

— Капризничает отец, — недовольно сказал Павел. — Беспокоимся за него, а он капризничает.

Старость в представлении младшего Громова была грустным, но обязательным, естественным уделом его отца. И Павел, только вступивший в пору жизненного

расцвета, искренне не понимал, почему, собственно, отец ведет себя не так, как было бы разумно в его возрасте.

— Старые, что малые, а малые — глупые, — проговорила Анна Васильевна своим мужским голосом. — Это от скуки у них бывает. Да ты не волнуйся... Я его не оставлю.

— Действительно, как ребенок, — сказал Павел.

Они вышли на крыльцо, и Анна Васильевна крепко поцеловала племянника в губы. Если б Павел не был так расстроен упрямством отца, он бы, вероятно, заметил, что тетка, скупая обычно на выражение чувств, очень побледнела, отчего темноватая кожа на ее лице как будто слиняла. Во всем остальном старуха оставалась такой спокойной, точно Павел уходил не на войну, а на завод, как делал это каждое утро.

— Еще одна просьба... — начал он и помедлил. — Если придут письма от Наташи, так вы их мне переправьте. Она собиралась сюда приехать, да, видно, уж не скоро увидимся.

— Жена-то знает, что ты воевать пошел? — спросила Анна Васильевна.

— Я написал ей. Обо всем написал, — виноватым тоном ответил Павел.

Когда он открывал калитку в воротах, Анна Васильевна, будто спохватившись, крикнула:

— Если постирать тебе надо будет, так я наведаюсь, заберу...

Он кивнул головой, и старуха, сорвавшись с места, быстро прошла к воротам. Павел шагал, не оборачиваясь, хлопали и прогибались под ним доски тротуара. Анна Васильевна, опершись рукой о вереву, смотрела, пока он в конце улицы не свернул за угол.

...Алексей Васильевич горбился в эту минуту у окошка, заставленного вазончиками, также провожая сына взглядом. Потом он долго, не присаживаясь, бродил по дому, как бы в поисках какого-нибудь дела. Побывав в комнате Павла и обнаружив разбросанные там в разных местах книги, он аккуратно разместил их по полкам. Чертежи, которые не прибрал Павел, Алексей Васильевич унес и заботливо упрятал в свой шкаф. Он чувствовал себя и осиротевшим после ухода сына и в то же время испытывал необычайное возбуждение. Оставшись, вопреки всем настояниям сына, в городе, из которого

завтра, быть может, нельзя уже будет уехать, старик вырос вдруг в собственных глазах. Все же до этого часа он в глубине души колебался, сознавая правоту Павла, и если б продолжал еще работать на заводе, то, конечно, эвакуировался бы вместе со всеми. Но ему трудно было бы просить о помощи там, где он недавно еще первенствовал. За последние два десятилетия, в советские годы, Алексей Васильевич привык уже к своему положению человека, работника, которым гордится коллектив. И перспектива беспомощного, бесполезного и во всем зависимого, как ему казалось, существования в незнакомых местах представлялась Громову оскорбительной. Поступив неразумно, как он теперь понимал, он в то же время был горд тем, что еще раз, не побоявшись последствий, остался верен самому себе.

Прохаживаясь около фикусов и бальзаминов, Алексей Васильевич не без некоторого торжества размышлял о том, как относятся теперь его близкие к проявленной им твердости.

«Удивляются, наверно, — мысленно разговаривал он сам с собой. — Думают: что это со стариком стряслось? А за меня решать нечего. Я и сам знаю, как мне быть».

И ему казалось, что сын и сестра, не ожидавшие от него резкого отпора, относятся к нему теперь уважительнее, чем раньше.

Анна Васильевна, собравшись на работу, заглянула к старику, чтобы дать ему хозяйственные указания. Он выслушал сестру невнимательно, с насмешливым, даже вызывающим выражением.

— Слушай, что говорю, — строго сказала Анна Васильевна. — А то будешь, как сыч, сидеть весь вечер голодный.

— Ладно. Ступай себе, — ответил он. — Захочу вот — в «Неву» пойду пиво пить...

Так называлась ближайшая закусовая, в которую Громов любил некогда заглядывать. Но он не навещал туда уже очень давно, иначе он бы знал, что в подзальчике было оборудовано теперь бомбоубежище. И Анна Васильевна, подивившись новому чудачеству брата, не стала его разочаровывать: она очень спешила. Прозодив сестру и заперев за нею дверь, старик опять затопал по комнатам.

Он распалялся все больше. Слишком часто в последнее время Алексей Васильевич вынужден был подчиняться обстоятельствам, смиряя себя, и то, что он не посчитался с обстоятельствами сегодня, в самый трудный час, очень ободрило его. И какою бы незначительной или вздорной ни была его сегодняшняя победа, но, одержав верх в малом, старик почувствовал себя способным на большое.

«Куда я поеду, чего я там не видел? — продолжал он спорить с сыном. — Из ума я еще, слава богу, не вышел. Не хуже других разбираюсь, что и как».

Задержавшись у вазончика с бегонией, Алексей Васильевич машинально поправил опустившуюся веточку.

— А уж если на серьез дело пошло, — забывшись, проговорил он вслух, — так надо всем до одного братья, навалиться артелью.

И старик даже изменился в лице, пораженный внезапной смелой мыслью. Он был убежден, что самые его годы, опыт долгой жизни, память о многих давнишних победах не могут не пригодиться людям, находившимся в возрасте его сына. И желание помочь им, встать в один с ними ряд, принять участие в общих усилиях представилось вдруг ему вполне осуществимым. Алексей Васильевич так разволновался, что вынужден был присесть, когда это простое, не приходившее до сих пор в голову решение — уйти вслед за Павлом — осенило его.

«Хотя бы сторожем при складе возьмут еще послужить?» — спрашивал он себя. И усмехался, чувствуя себя сейчас способным и на большее, чем подобная тихая служба. Во всяком случае, дожидаться дома, в бездействии, пока другие будут воевать, Алексей Васильевич уже не мог.

Он начал поспешно собираться. Примостившись перед окошком в кухне, он побрился, как и полагалось, прежде чем показываться на глаза людям. Потом скинул растоптанные валенки, в которых ходил по дому, и с трудом, сопя и отдуваясь, натянул сапоги. Ветхий, залоснившийся пиджачок, протертый на локтях, он сменил на новый, суконный, пропахший махоркой, которою Анна Васильевна посыпала вещи. Вспотев и утомившись, Алексей Васильевич должен был снова посидеть немного перед уходом. Наконец он облачился в зимнее ватное

пальто, обмахнул рукавом кепку, нахлобучил ее поглубже и вышел на крылечко.

Он действовал и двигался как бы в приятном тумане, сквозь который ярко светила одна мысль, одна душевная потребность: быть сейчас вместе с другими, в общем ряду.

«А ведь не поверит Паша, когда узнает, что и я пошел, — удовлетворенно подумал Алексей Васильевич, вешая на дверь замок. — А я и сам за себя постою еще».

Сунув ключ в условленное место, в трещинку на косяке, он осторожно спустился по ступенькам. Близился вечер; засиневший воздух показался Алексею Васильевичу слишком свежим, будто разреженным, и голова у него закружилась. Но это не остановило старика; тяжело опираясь на палку, он проследовал за ворота. Обычно его прогулки здесь же и кончались, на скамеечке у забора, куда он выходил иногда по вечерам. Сегодня Громов отважно двинулся мимо скамеечки. На его лице появилось сосредоточенное, напряженное выражение, но чувствовал он себя подобно выздоравливавшему, только что вставшему с койки.

Он благополучно добрался до угла и повернул на узкую прямую улицу, выведившую к реке, на противоположном берегу которой стоял завод. Именно туда Громов и направился по кратчайшему, десятки тысяч раз проделанному пути. Да и куда еще мог он сегодня пойти после того, как проработал на заводе столько лет! Вся его жизнь точно осталась на том, недалеком берегу, и, вновь идя туда, он, казалось, возвращался к ней из недавнего полунебытия.

«Вот приду, потолкую с народом, а там видно будет. Приду, а там разберемся», — неопределенно обнадеживал себя Алексей Васильевич.

Шел он, впрочем, очень медленно: голова у него уже не кружилась, но ноги казались мягкими, бескостными, и он переставлял их, не отрывая от земли. Однако самый факт предпринятого им сегодня путешествия заставлял его ощущать себя как бы действительно выздоровевшим от старости.

На перекрестке Громова обогнала группа красноармейцев с винтовками, шагавших по мостовой. И он посмотрел на солдат не просто одобрительно, а с неожи-

данной веселостью, как соучастник в трудном, но сильном для него общем деле.

Одолев невысокий подъем, Алексей Васильевич остановился, чтобы отдышаться. И здесь внимание его привлекла новая картина: школьники выносили из здания школы и грузили на автомашины мебель — столы, железные койки, табуреты. Ребята суетились и шумели; девушка в красной шапочке металась от распахнутой парадной двери к машине и обратно.

— Ванюша, не урони! Лиза, тебе не тяжело? — выкрикивала она.

— Давай, быстрее, давай! — поторапливал детей шофер, копавшийся в моторе. — А то не поспеем с вами до тревоги...

— Ничего, молодцы, не бойсь! — неожиданно для самого себя закричал Алексей Васильевич и, подняв палку, помахал ею. — А ты что паникуешь? — напустился он на шофера. — Помог бы лучше... Ишь, щеки-то нажевал!

Шофер, низенький полный человек с измазанным маслом лицом, изумленно воззрился на странного прохожего.

— Отойдите, дедушка! — раздался за спиной Алексея Васильевича нетерпеливый тонкий голос, и старик обернулся.

Мальчик лет десяти, покраснев от натуги, тащил к машине длинную деревянную скамейку.

— Не робей, воробей! — поощрительно бросил ему вдогонку Алексей Васильевич.

— Идите, папаша, домой! — озлившись, с сердцем проговорил шофер. — Залезайте на печь или куда еще. Тут и без вас шуму довольно.

Но Громов не удостоил шофера ответом: состояние, в котором он пребывал, сделало его неуязвимым для мелких уколов.

Навстречу ему попадалось теперь все больше людей, и кое-кто здоровался с ним. Молодой парень в замасленной куртке, в кепке, с винтовкой на плече, переходивший улицу, по-военному почему-то козырнул старику. И хотя Громов не узнал парня, он, как хорошему знакомому, вакивал ему головой.

«Попробуй-ка возьми нас — обожжешься!» — с удовольствием подумал Алексей Васильевич.

И то, что он сам, покинув дом, отправился в это опасное путешествие, наполнило его горделивым удовлетворением, будто он уже действительно включился в общее движение, в общий великий поход.

Люди оборачивались на Громова; женщина в старомодной, ушитой в талии жакетке испуганно посторонилась перед ним, потом долго смотрела вслед. Грузный, сутулый, огромный в своем длинном на вате пальто, он медленно тащился по прогибавшимся доскам тротуара. Белоголовая растрепанная девочка, высунувшаяся из-за калитки палисадника, проводила старика лазоревыми, полными любопытства глазами.

— О господи! И этот подался куда-то! — вздохнув, сказала женщина в жакетке.

— А говорили, он болеет все, — бойко отозвалась из палисадника девочка. — И куда он на ночь глядя?

— Чистый Лазарь с того света, — сказала женщина.

Алексей Васильевич ничего этого не слышал, он и вообще не замечал впечатления, какое производил на окружающих, слишком благожелательный к ним, чтобы подозревать неладное.

Когда он перебрался, наконец, через мост на ту сторону реки и до завода оставалось совсем немного, завывала сирена воздушной тревоги. Начавшись на низкой, басовой ноте, она плавно поднялась до нестерпимой высоты и, не ослабевая на ней, не меняясь, нескончаемо долго звучала в ранних октябрьских сумерках. Прохожие убыстряли шаги, скрывались в воротах, и улицы быстро пустели, точно их выдувало ветром. Как и во все последние дни, немецкие бомбардировщики с приближением темноты атаковали город. И в разных его концах, в центре и в Заречье, вторя вечерней сирене, заголосили заводские гудки, предупреждая свои районы о близкой опасности.

Алексей Васильевич несколько, однако, не утрастился.

«А-а... Опять летят... Хорошо же! Будет волку на холку», — мысленно пригрозил он врагам.

Кто-то вдруг осторожно тронул старика за рукав.

— Алексей Васильевич, — услышал он высокий, ломкий голос, — дайте я отведу вас.

Перед ним на тротуаре стоял молоденький паренек — подросток в солдатской стеганке, перетянутой поясом, и

в пилотке, круто сдвинутой к уху. На смуглом худом лице паренька с обветренными, потрескавшимися губами резко выделялись светлые глаза.

— Ты чей же будешь, герой? — удивившись, осведомился старик.

— Вы меня, конечно, не помните. Я Володя, Тихонов Володя, — быстро заговорил паренек. — А вы отец Павла Алексеевича, я вас знаю.

— Откуда же ты меня знаешь? — поинтересовался Громов.

— Да это неважно. Я один раз приходил к вашему сыну... Он у нас технический кружок вел. Ну вот... — Володя Тихонов, видимо, очень спешил. — Дайте-ка я отведу вас в убежище.

— Какое еще убежище? — насторожился Алексей Васильевич.

— Тут близко... Около райкома комсомола. Пойдемте... Там у нас и койки есть, и комната матери и ребенка...

Володя просунул свою руку под локоть старика, собираясь вести его.

— Постой-ка... — возвысил голос тот, отстранившись. — Я, брат, в этих ваших убежищах не спасался и спастись не буду.

— Но куда же вы? — удивился Володя. — Если далеко, так у меня времени мало.

— На завод иду. Там видно будет, — громко сказал Алексей Васильевич. — А ты ступай себе, ступай, хоронись... — и, высвободив свой локоть, он зашаркал дальше.

— Алексей Васильевич, как же вы одни? — воскликнул Володя.

Ему явно не хотелось оставлять на обезлюдившей улице старика. Впрочем, до завода было рукой подать, а Громов, хотя и медленно, все-таки передвигался.

— Я доведу вас до проходной, хотите? — крикнул Володя.

— Хоронись живей! Твой черед не приспел еще, — проворчал, не оборачиваясь, Громов.

Он чувствовал себя уже так, точно на заводе его ждали, а он опаздывал.

Сумерки сгустились, когда он подошел к проходной будке и, озадаченный, остановился: дорогу ему прегра-

дила большая яма с высокими земляными краями. Улица вокруг была засыпана камнями, обломками, и над нею вертикально торчал обрубленный трамвайный рельс, изогнутый, как гигантский стебель. Алексей Васильевич, будто не узнавая места, искал глазами здание заводского клуба. Только в прошлом году построенное — трехэтажное, с куполом, с колоннами, с балконами во весь фасад, — оно возвышалось как раз напротив проходной, но теперь там смутно виднелись горы щебня, кирпичной крошки да острый, как обелиск, кусок стены с полусорванной дверью. И хотя Громов знал, что фашисты пытались бомбить завод, что здание клуба разрушено, он был потрясен, убедившись в этом собственными глазами.

Не находя слов, способных выразить полную меру его возмущения, он гневно постучал палкой в камень. Обеспокоившись, не пострадал ли его завод больше, чем ему рассказывали, он заторопился в проходную.

Человек с берданкой, сидевший там на перильцах, перегораживавших деревянное помещение, узнал, видимо, Громова. Засветив электрический фонарик и с интересом оглядев старика, он пропустил его без вопроса.

Алексей Васильевич ступил на заводской двор, и здесь его ожидало новое потрясение. Корпуса цехов, насколько он мог видеть в полутьме, были целы, но неправдоподобная, кладбищенская тишина царила на всей обширной заводской территории. Булыжная площадка, пересеченная асфальтированными дорожками, заставленная огромными коробками неосвещенных зданий, производила впечатление исполинского макета. Нивесть откуда взявшаяся белая кошка бесшумно перебегала эту каменную пустыню и вдруг, устранившись своего одиночества, повернула обратно.

Громов постоял, растерянно осматриваясь, тщетно стремясь обнаружить какие-нибудь признаки жизни вокруг, потом двинулся в заводоуправление. Потоптавшись там в коридоре первого этажа, погруженного во мрак, он поднялся на второй, тоже темный, открыл наугад одну дверь, другую, но никого не встретил. Обескураженный, перепуганный, он вернулся на двор. В памяти Алексея Васильевича родной завод навсегда запечатлелся шумным, полным народа, блистающим огнями, и, направляясь сюда, он бессознательно надеялся

найти его таким же, каким покинул. Но шарканье собственных подошв да стук палки были сейчас единственными звуками, раздававшимися в помрачневшем вечернем воздухе. Иногда мелодично и печально, как надтреснутый колокольчик, звенела стружка, цеплявшаяся за ноги.

Идя по линии заводской узкоколейки, Громов приблизился к туманной громаде кузнечного цеха. Потухший паровозик с решетчатым колпаком на трубе одиноко чернел там перед аркой входа. И даже оттуда, из кузницы, оглашавшей обычно двор грохотом своих тяжких молотов, не доносилось ни шороха. Алексей Васильевич миновал кузницу, обогнул угол, и перед ним вырисовалось огромное, длинное здание механического цеха.

Заспешив из последних сил, он перешагнул знакомый порог. В цехе было совсем темно, лишь чуть обозначались в разных местах, внизу и на большой высоте, серые квадратики оконных переплетов — там, где не хватало стекол. Впрочем, Алексей Васильевич досконально знал здесь каждый пролет, наизусть помнил расположение станков, и, проблуждав некоторое время в темноте, он удостоверился в том, что его цех пуст; токарного станка, на котором он сам работал последнее время, также на месте не оказалось. И хотя опять-таки это не могло явиться неожиданностью для Алексея Васильевича, он был совершенно подавлен. Опершись на палку, старик долго понуро стоял в полном мраке, чувствуя себя, как на похоронах близкого человека. Только запах, пропитавший тут самый камень, неистребимый запах металлической пыли и машинного масла, витал еще в этих стенах, из которых ушла жизнь. Издалека донеслись частые выстрелы зенитных пушек, потом раздался гулкий удар разрыва, и Алексей Васильевич, очнувшись от горестного оцепенения, потащился к выходу.

Очутившись снова на дворе, он присел на какую-то станину. К далеким зениткам вскоре присоединились близкие, и звонкая торопливая пальба раздавалась почти рядом. Но Громов не поднимался. Прошло довольно много времени, небо над кузницей приняло багровый оттенок — где-то, видимо, начался пожар, — а он все еще сидел, не зная, куда ж ему теперь податься. Час назад, подходя к заводу, он был полон самых решительных,

самых воинственных, но неопределенных намерений. И теперь он никак не мог ответить себе на вопрос: как же ему быть, к кому обратиться, если на заводе, на его заводе, никого больше не осталось?

Багровое сияние все шире разливалось по ночному небу: огонь, возникший где-то в центре города, быстро разгорался, и на осветившемся булыжнике двора обозначилась четкая красноватая тень, протянувшаяся от здания кузницы. Высоко в окнах механического цеха появились неяркие розовые отблески, точно там затеплились слабые лампы. Зенитки то умолкали, то снова начинали бить, и за оградой завода, пронзительно сигналив, промчалась автомашина, вероятно, спешившая на пожар. Громова опять, и на этот раз с особенной силой, охватило такое чувство, точно он опаздывал. Вокруг грохотал бой, люди, даже школьники, куда-то спешили, что-то делали, другие отбивались, стреляли, и лишь один он сидел здесь в бездействии.

— Алеша! — услышал он вдруг дрожащий, знакомый голос. — Ты где? Але-ешка!..

Громов оживился и поискал глазами: все-таки, значит, на заводе кто-то еще был. Не уразумев, однако, в первую минуту, что этот зов относится именно к нему, он не откликнулся.

— Алеша! — снова раздался слабый крик, и из тени на освещенное место выступила маленькая, почти детская фигурка.

— Куда запропастился, старый черт? — проворчал человек. — Алеша! — еще раз позвал он.

— Ну, что? Здесь я, — глухо отозвался наконец Алексей Васильевич.

Он узнал Казакова, старого приятеля, мастера, годом раньше его также ушедшего на пенсию.

Приблизившись, Казаков немного помолчал. Он был почему-то без шапки; тонкие белые волосики, венчиком обрамлявшие его лысину, распушились на ветру.

— В прятки играешь, Алеша! — слегка пришептывая, укоризненно проговорил Казаков. — А мы тебя обыскались. Из проходной позвонили, что пришел...

— Видел, что делают? — сказал Громов. — Все наше под корень изничтожить хотят, видел?! — гневно закричал он. Но надежда шевельнулась в нем: на заводе он был не один.

Война застала Наташу Громову в большом приволжском городе, куда ее в начале лета послали на практику с группой студентов ее курса. Завод, на котором все они работали, сразу же перешел на выполнение увеличенной военной программы, каждый человек был очень нужен, и Наташа только в октябре была откомандирована в Москву. Но здесь она узнала, что ее институт эвакуируется... Мать Наташи с младшей дочерью собралась уже ехать на Урал, к родственникам, и, проводив их спустя несколько дней на вокзал, усадив с немалыми хлопотами в вагон, Наташа сама стала готовиться к отъезду. Недалеко от Москвы, в Т., находился ее муж, работавший там на большом станкостроительном заводе. И между ними было заранее условлено, что при первой же возможности она приедет к мужу в Т., а в случае эвакуации завода они — куда бы ни пришлось — отправятся вместе.

...Наташа проснулась рано утром и, тотчас же подумав, что сегодня она едет наконец к мужу, заспешила. Она в темноте — маскировочные шторы на окнах не пропускали света — села на постели, нащарила ногами туфли и быстро, привычными движениями заплела рассыпавшуюся за ночь косу. Было тихо, соседка не вернулась еще с работы, и в комнату доносились только слабые звонки ранних трамваев. Накинув халатик, Наташа пробежала по коридору, тускло освещенному единственной запыленной лампочкой, в ванную. Там она зажгла газ и, вернувшись к себе, подняла шторы. На дворе начинался блеклый осенний день; заголубевшее небо было безоблачно, и сплошной иней покрывал дома, деревья, землю. Черная ворона косолапила по крыше сарая, оставляя следы, похожие на вышивку крестом. Стоял легкий утренний морозец, и Наташа невольно улыбнулась погожему ясному дню. Запахнув поглубже халатик, она принялась торопливо убирать комнаты, застелила постель и даже подмела пол, хотя в этом и не было уже крайней необходимости. Но она и сейчас как-то не совсем хорошо понимала, что не скоро уже, видимо, вернется сюда, в дом, где она родилась и выросла.

Быстро двигаясь по комнатам, приводя их, как обычно по утрам, в порядок, она лишь смутно, в глубине души,

удивлялась и самой себе и происходившему с нею. Впрочем, это неясное, но непобедимое недоумение перед происходившим появилось у Наташи в первые же дни войны и с тех пор не оставляло ее. Все, что ей довелось узнать пока со слов других или пережить самой, — вести о кровопролитных боях, о пожарах городов, разлука с близкими людьми, частые воздушные тревоги и томительные ночи в бомбоубежищах, — все было таким неправдоподобно жестоким, таким невероятным, что больше ошеломяло, нежели пугало. Понять это, поверить, что все это действительно происходило, было так трудно, что вскоре мир, в котором оказалось возможным огромное бедствие войны, как будто утратил в чем-то для Наташи недавнюю реальность. Даже то, что не изменилось в нем — земля, небо, солнце, звезды, деревья, утренняя заря, вечерний закат — усиливало впечатление нереальности случившегося с людьми на земле. И хотя ничто не мешало Наташе ревностно выполнять свои разнообразные обязанности: семейные и общественные, — находясь на практике, она окончила курсы сандружинниц; в Москве дежурила в санитарном звене во время воздушных тревог, — она чистосердечно порою упрекала себя в черствости, не испытывая всего того, что следовало бы испытывать. Отец ее — военный врач — и брат, только что кончивший десятилетку, как и множество других людей, находились в армии, подвергаясь там постоянной грозной опасности; от мужа почему-то давно не приходило писем, а сама она вынуждена была предпринять сегодня нелегкое, пугающее путешествие в сторону фронта... Но и сегодня ей странным образом никак не удавалось почувствовать себя обездоленной, точно ее горести, как и несчастья других людей, имели место не в настоящей, не в подлинной жизни. И, значит, обязательно должны были так же неожиданно, как начались, завершиться общим благополучием, едва лишь в свои права снова вступит реальная, то есть разумная и добрая жизнь.

Прибрав комнаты, Наташа опять побежала в ванную, помылась, потом оделась во все чистое, приятно пахнущее свежестью. Накануне вечером она решила было ехать в стареньком сером костюме, более подходившем для дороги, но теперь, по внезапному вдохновению,

достала новое шерстяное платье, синее с голубой шелковой отделкой на воротнике, и надела его.

«Не видел меня Павел в новом платье», — подумала она, и это соображение оттеснило все другие.

Встав перед зеркалом, вделанным в дверцу шкафа, она внимательно оглядела себя. Небольшого роста, крепкая, склонная к полноте, с крупноватыми в икрах, но стройными ногами, она четко рисовалась на фоне белых оконных занавесок и голубого неба, отразившихся в зеркале. Легонько проведя пальцами по тонким полукруглым бровям над теплыми темными глазами, потрогав гладкие, покрасневшие после умывания щеки, она как бы удостоверилась напоследок, что все это действительно ей принадлежит и нисколько не стало хуже за ночь. Рот у нее был неправильной формы: нижняя пухлая губа слегка выпячивалась, что, однако, придавало Наташе не обиженное, а независимое выражение; иногда казалось, что она вот-вот засвистит... Затем она занялась своими волосами — придерживая левой рукой длинные, до локтя, густые, с медным блеском пряди, она расчесала их, снова заплела и уложила в тугий тяжелый узел на затылке.

Еще вчера Наташа приготовила небольшой желтый чемодан, с которым недавно ездила на практику. На самое дно его она уложила два томика технического справочника и счетную линейку, затем упаковала теплое платье, белье, чулки, флакон одеколона, мыльницу, губку, шкатулку с нитками. Прикрыв все это теперь аккуратно сложенным халатиком, она защелкнула замок и приподняла чемодан — он был не слишком тяжел. Следовало еще позавтракать перед дорогой, но вскипятить себе чай и сесть за стол оказалось уже выше ее сил. Порывшись в буфете, Наташа достала коробку с остатками печенья и на ходу погрызла его, надевая пальто.

Все же у нее дрогнуло сердце, когда наступило время уходить, и она, выйдя в коридор, повесила замок на дверь своей опустевшей квартиры. Мысль об ужасной несправедливости совершавшегося была так горька, что Наташа едва не заплакала; ослабев вдруг, она постояла немного, прислонившись спиной к двери, борясь с подступившими слезами. Но тут же быстро овладела собой, подумав о Павле, о встрече с ним, предстоявшей ей сегодня.

Кроме того, она не сомневалась, что обязательно вернется еще в Москву, хотя, разумеется, не сумела бы сказать, когда именно: бои шли так близко, что этому опять-таки с трудом верилось. Однако Наташа несколько не колебалась в своем оптимизме, попросту не представляя себе, что Москва может быть взята фашистами. Ничего, кроме полной победы, она не допускала в будущем, так как все иное означало бы катастрофу и гибель. А гибель Наташа никак не могла вообразить.

Она быстро спустилась по лестнице, темной от заделанных фанерой окон, и прошла черным ходом во двор. Там она увидела управдома: низенькая женщина в солдатском ватнике ковыляла, прихрамывая, ей навстречу.

— Ия Владимировна! Что это с вами? — закричала Наташа; голос у нее был несильный, но звонкий.

Женщина, носившая это странное имя, приблизилась, держась за ушибленный бок.

— Какие мы красивые, — хмуро сказала она, глядя на возбужденное, розовое лицо Наташи. — Собрались уже?

— Да, еду. Ключи от квартиры хочу вам передать... Но с вами что, скажите?

— Лазаем по крышам, как лунатики, каждую ночь... Вот и оступилась, — недовольно ответила женщина.

Наташа чуть не засмеялась, услышав это сравнение, но во-время прикусила губу.

— Сильно вы ушиблись? — участливо спросила она. — Иод у вас есть в аптечке, а то я принесу. — И она поставила свой чемодан на землю.

— Ничего, не беспокойтесь, — небрежно сказала женщина, — ноги таскаю еще — и ладно. Лечиться после войны будем...

Но, видимо, она была тронута этим вниманием к ней. И, оглядев Наташу более приветливо, засовывая под плавок полуседые волосы, выбившиеся наружу, она доверительно сообщила:

— Ночью опять зажигалку потушили. Наши ребята так наловчились — ничего не боятся...

— Знаете, мне даже неловко как-то, что я уезжаю от вас, — призналась Наташа.

— Почему же неловко? — женщина ласково улыбнулась ей. — Надо думать, и вы не собираетесь без дела сидеть.

Она позвенела ключами, сунула их в карман ватника.
— А за квартиру не беспокойтесь: сегодня же опечатаем.

Переулок, куда, простившись с управдомом, вышла Наташа, еще утопал в сизой морозной тени. По карнизам домов мохнатился иней; под ногами шелкал и похрустывал матовый ледок, затянувший ямки на тротуаре.

Добраться до Т. Наташа рассчитывала на попутной военной машине, что было сейчас, пожалуй, всего надежнее и быстрее. Поблизости, во дворе школы, куда когда-то привели маленькую Наташу учиться, остановилась на ночь автоколонна одной из московских ополченческих дивизий, и вчера квартирная соседка, с которой Наташе так и не довелось проститься, замолвила о ней слово командиру, распоряжавшемуся машинами. По счастливому совпадению колонна отбывала куда-то по направлению к Т., и командир охотно пообещал довезти Наташу до самого города.

Когда она появилась на школьном дворе, там уже гудели разогревавшиеся моторы и около машин ходили шоферы в шинелях и в ушанках. Не прошло и получаса, как, сидя в кабинке большого, выкрашенного в зеленый цвет «зиса», Наташа в последний раз взглянула на свой дом. Оконные стекла в верхнем этаже горели теперь белым плоским светом, отражая холодное солнце.

Небольшая колонна выехала из переулка и повернула к Арбатской площади. Два красноармейца с автоматами и с красными повязками на рукавах стояли на углу улицы, а в глубине ее, в стороне Смоленской площади, неясно виднелась группа всадников на рыжеватых лошадях. В небе медленно опускались аэростаты воздушного заграждения, похожие на рыб, плававших в огромном прозрачном затоне.

Машины покатались мимо витрин, обшитых тесом, мимо стен, кое-где поцарапанных осколками, мимо наглухо закрытых ворот, мимо редких торопливых пешеходов. Все здесь было знакомо Наташе: фасады, подъезды, крыши, фонари, вывески,— и все сейчас казалось ей новым, точно в первый раз увиденным. Даже задумчивый Гоголь на бульваре, где она играла девочкой, посветлевший от выступившей за ночь изморози, как будто сменил сегодня свою старую гранитную крылатку на другую. И хотя все говорило о близкой опасности, о неутихаю-

щей тревоге, Москва, которую так любила Наташа, показалась ей необыкновенно, по-особому красивой. Странное возбуждение все сильнее охватывало Наташу. Несколько раз она заговаривала со своим соседом, водителем, пожилым человеком со свисающими, как у Тараса Бульбы, усами. Тот отвечал односложно, не поворачивая головы, но Наташа не обижалась.

Спустившись по улице Фрунзе и миновав Ленинскую библиотеку, машины въехали на Каменный мост. Отсюда был хорошо виден Кремль: его зубчатая стена с башнями и башенками, порозовевшими от утренних лучей, тянулась далеко вдоль набережной, слегка изогнутой по дуге течения. Выше, над зубцами и бойницами, чуть зеленел еще крутой правильный холм, на котором, озаренный солнцем, как будто светился многооконный дворец; рядом стоял собор. И, казалось, стены, окна, звонницы кремлевских построек сами источали мягкое золотистое сияние, разлитое над городом.

Наташа приподнялась, чтобы ничего не упустить в картине, открывшейся ей, — никогда еще она не видела Кремля таким светлым и юным, будто обновленным в лучах октябрьского утра... Но машина пошла под уклон, и каменное, неизъяснимой красоты видение вскоре исчезло, заслоненное домами Замоскворечья.

Автоколонна достигла Серпуховской заставы и покатилась по широкой улице, застроенной деревянными домиками с палисадниками. Иногда в окошке кабины мелькали корпуса заводских зданий — кирпичные, кубические, массивные, как форты. Раза два «зис», в котором сидела Наташа, обогнал нестройные толпы людей с лопатами, направлявшихся на работу; шли больше женщины в платочках, в беретах, в старых пальто, в ватниках.

Машины, приближаясь к черте города, увеличили скорость, и «зис» сильно потряхивало. Некоторое время борт о борт с ним тряслась какая-то другая машина; в кузове стояли, держась друг за дружку, девушки в военных шинелях. Кажется, они пели, но за ревом моторов пельзя было разобрать слов. Вскоре машина с девушками осталась позади...

«Как хорошо, как быстро мы едем!» — подумала Наташа: щеки ее горели.

У выезда на Подольское шоссе, недалеко от серого обелиска, обозначавшего начало магистрали, автоколонна

стала. Здесь происходила проверка документов, и Наташа достала из сумочки свой паспорт, студенческий билет и отпускное удостоверение, полученное в институте. А спустя еще несколько минут машины одна за другой двинулись дальше по асфальтированному шоссе...

...Не доезжая до Подольска, автоколонна опять остановилась в большой деревне. Начальник автоколонны, повстречавший здесь каких-то военных, надолго ушел с ними, а вернувшись, сообщил, что дивизия, куда он направлялся, передислоцировалась и ему надо сворачивать в сторону, на другое шоссе. Командир был заметно смущен, рассказывая Наташе об этом, сослался на неустойчивую военную обстановку и порекомендовал устроиться на другую попутную машину. Неразговорчивый водитель, похожий на Тараса Бульбу, вытащил из кузова чемодан Наташи и также, видимо, чувствуя себя виноватым, посоветовал обратиться за помощью в сельсовет.

— Раз ты к мужу едешь, — значит, должны посочувствовать, — сказал он, потом поскреб у себя в усах. — Хотя, конечно, своих забот теперь у всех хватает... Ну, извини, гражданка!

— Ничего, не беспокойтесь, — вежливо сказала Наташа. — Счастливого вам пути!

Машины тронулись, и она, оставшись на краю шоссе, даже помахала водителю рукой.

Было обидно, разумеется, что поездка, начавшаяся так удачно, прервалась в самом начале, но особенной тревоги Наташа пока не испытывала. Поставив чемодан у ног, она не без интереса поглядывала по сторонам: на молчаливые темноватые избы, на замшелый колодец с воротом, на каких-то людей вдалеке, занятых своими делами. Завидев вдруг черную «эмку», въезжавшую в село, она подхватила чемодан, исполнившись твердой уверенности, что «эмка» ее не минует. И действительно, небольшая крытая машина с помятым крылом, с рваной пробойной в кузове внезапно затормозила шагах в десяти — пятнадцати. Из машины выскочил шофер и побежал, погромыхая пустым ведром, к колодцу. Наташа быстро пошла к машине.

...Подполковник Богданов, задержавшийся на всю ночь в штабе округа, выехал из Москвы несколько позже, чем предполагал. После всего увиденного, услышанного и перечувствованного вчера он находился в том

состоянии жесткой предбоевой собранности, когда все мысли, все силы души устремлены к одной цели. И, сидя в своей машине, Богданов то и дело пристально вглядывался в далекий, по-осеннему лиловатый горизонт, точно отсюда уже рассчитывал увидеть дым подмосковного сражения.

Когда Наташа, заглянув в боковое окошко с полуотпущенным стеклом, обратилась к подполковнику, он с неудовольствием обернулся. Очень близко — глаза в глаза — он увидел молодое женское лицо, разгоряченное, румяное, как у подростка, и от неожиданности не нашелся сразу, что ответить. Наташа протянула в окошко паспорт и отпускное удостоверение.

— Если вам недалеко ехать, я перейду потом на другую машину, — сказала она, улыбаясь.

В облике ее, во всей манере держаться чувствовалась такая убежденность в невозможности иного к ней отношения, кроме самого доброжелательного, что Богданов не смог ей отказать.

— Садитесь, — сказал он сухо. — Документы покажете на КПП... — и он изнутри открыл дверь.

Шофер, наливая воду в радиатор, лишь покосился на новую пассажирку.

Первое время все ехали молча; Наташа, довольная тем, что ей снова легко удалось устроиться, с любопытством осматривалась. Машина, в которой она очутилась, выглядела внутри загадочно и сурово: внизу, у ног, стоял на ребре плоский железный ящик неизвестного назначения; рядом на сиденье были сложены ватники, плащ-палатки, а поверх них — бинокль, кожаная сумка, два автомата, запасные диски. Никогда еще это странного вида оружие, отливавшее стальным, сероватым блеском, не находилось в такой непосредственной холодящей близости к Наташе. И она уважительно и благодарно посмотрела на мужчин, сидящих впереди.

Потом ее мысли обратились к мужу. И, как это бывало, когда она думала о нем, на нее точно пахнуло приятной, обезволивающей теплотой. Откинувшись в угол, она опять — в который раз уже! — попыталась представить себе встречу с мужем. Павел жил в Т. у своего отца, где-то на окраине города, и ей, вероятно, только вечером удастся его разыскать. Но это было даже лучше: она застанет его дома. Наташа воображала, как

он, большой, сильный, добрый, выйдет на ее стук отпереть дверь, как закричит, засуетится, как в растерянности будет повторять одну какую-нибудь фразу: «Ну, вот и приехала...» или «А я тебя так ждал, так ждал!...» Потом он познакомит ее со своим отцом и с теткой...

Надо же было так случиться, подумала Наташа, что, зная Павла очень давно (он только в прошлом году окончил тот же институт, в котором еще училась она), обменявшись даже с его родными несколькими письмами, она до сих пор не повидала их. Весной этого года, когда Наташа и Павел поженились, она собиралась поехать в Т. погостить немного у его стариков, да так и не успела собраться.

Мысленно рисуя теперь предстоявшую ей вскоре встречу с Павлом, с его близкими, Наташа почувствовала нечто вроде угрызений совести. И ей очень захотелось уделить хотя бы частицу своей невольной радости молчаливым, озабоченным людям, ехавшим на фронт в одной с нею машине. Оба они — командир и его шофер — не оборачивались, точно ее и не было здесь.

— Товарищ подполковник, я не ошиблась, вы ведь подполковник? — начала она. — Простите, я вас так и не поблагодарила.

— Ничего, пожалуйста, — сказал Богданов.

Он думал о том, прибыло ли уже пополнение в его полк и что это были за люди, назначен ли к нему новый комиссар, получено ли зимнее обмундирование, и о многих других вещах, связанных с подготовкой части к бою. И его охватывала досада при мысли, что на эту подготовку потребуется, по всей видимости, больше времени, чем допускала его нетерпеливая решимость.

— Давайте познакомимся, — снова начала после паузы его попутчица. — Меня зовут Наташей...

Богданов повернулся к ней. Лицо молодой женщины было таким оживленным и розовым, что даже в тени, в углу машины, оно казалось освещенным.

— Знаете, я вот подумала, как люди будут возвращаться с войны с победой, — сказала Наташа, — как пойдут обратно поезда в Москву, в другие города... И люди выйдут на вокзал встречать своих...

Богданов с удивлением смотрел на нее. Возвращение с войны представлялось ему еще столь отдаленным, что об этом странно было пока говорить.

— Никто не знает, когда кончится война, но кончится же она, — продолжала Наташа, утешая своих спутников, — может быть, скорее, чем мы думаем... И какой это будет праздник!.. У меня отец и брат в армии. Брат еще, правда, в военной школе. И очень беспокоится, что ему так и не удастся повоевать. А мама ночей не спит из-за него...

— Понятно, — сказал Богданов.

Он испытывал некоторую связанность, не зная, как держать себя со своей попутчицей.

— Не каждая мама встретит сына, — заметил шофер не оборачиваясь.

Наташа видела лишь его загорелый затылок да темную, блестящую от масла руку, лежавшую на баранке.

— Ох, правда! Не каждая, — вздохнув, сказала она.

— Вам удобно? — спросил Богданов. — Не тревожит наш арсенал?

— Нет, нет, что вы! — поспешно ответила Наташа.

«Славные люди, — подумала она, — славные, милые люди...» Но разговор явно не клеился, и она не пыталась больше его продолжать.

В окнах «эмки» мелькали телеграфные столбы, проплывали поля, бурые или бледнозеленые от помертвевшей травы, медленно перемещались далекие синеватые леса. Навстречу мчались иногда машины. Они стремительно вырастали, готовые вот-вот столкнуться с «эмкой», и со страшным шумом проносились мимо. Мачты высоковольтной передачи, ажурные, похожие на геометрический чертеж, отходили в сторону, уменьшаясь в перспективе. В одном месте вплотную к шоссе приблизился старый, заваленный пожухлой хвоей бор с красноватыми стволами сосен, с еловым яркозеленым подлеском на опушке. А когда бор кончился, опять открылось обширное, чуть всхолмленное, окутанное по горизонту фиолетовой дымкой поле.

— Как хорошо, правда? — не удержавшись, воскликнула Наташа. — Как просторно!

Богданов покосился на нее.

— Да, пожалуй... — неопределенно отозвался он.

Поле, расстилавшееся к юго-западу, слегка еще рябоватое от инея, представляло собою большую, заблаговременно оборудованную позицию. Наметанный взгляд подполковника различал вдалеке на склоне пологой возвы-

шенности стрелковые окопы; пониже змеился низкий часток кол проволочных заграждений, торчала едва заметная железная щетина надолбов. И Богданов подумал, что окопы следовало здесь отрыть немного выше. Вообще он предпочел бы увидеть на этом поле какие-нибудь солидные противотанковые препятствия: овраги, глубокие рвы, болота...

Подольск проехали, не останавливаясь; небольшой, расположенный на холмах городок показался Наташе тесным от большого количества автомобилей на улицах, от множества солдат, толпившихся на мостовой, сновавших среди машин... Снова миновали КПП на развилке дороги, и Наташа, подумавшая было, что в Подольске ей придется выйти, с признательностью посмотрела на Богданова, который не задержался здесь и не свернул с шоссе.

Теперь, когда встреча с мужем становилась все более близкой, ее нетерпение росло с каждым километром, отлетавшим назад. Дорога стелилась перекатами, машина то поднималась на холм, то мчалась вниз с выключенным мотором, и это было похоже на волны, набегающие чередой. Наташа вспомнила Крым, где она вместе с товарищами по институту отдыхала прошлым летом, и купание во время шторма, когда теплый высокий прибой поднимал ее, нес на себе, опускал на песок и у нее захватывало дыхание. Удивительным образом почти такое же ощущение внезапного холода, сжимавшего сердце, возникло у Наташи и сейчас, на этом волнообразном, как прибой, шоссе.

Вдруг Богданов обернулся к ней.

— Извините, — сказал он, кося черными глазами, — вы мне называли себя, а я вам не представился. — В его голосе была некоторая официальность.

Брови у Наташи изумленно приподнялись; эта церемонность рассмешила ее.

— Что, что? — спросила она, подняв руку в синей перчатке, как бы защищаясь.

— Так уж полагается, — пояснил он.

Наташа закусила губу, но не выдержала и звонко расхохоталась.

— Простите... — пробормотала она сквозь смех. — Это... это со мной бывает...

Откинувшись на спинку, она беспомощно замахала рукой. Подполковник в замешательстве подождал немного, потом с усилием проговорил:

— Я Богданов, Николай Федорович.

— Очень рада, — прерывающимся голосом вымолвила Наташа; глаза ее увлажнились и сияли.

Шофер, кинувший на нее через плечо любопытный взгляд, усмехнулся. Богданов, обнаружив вдруг, что ему нравится веселость этой женщины, неожиданно для себя засмеялся сам — громко и смущенно.

— Поздновато спохватился, — признался он и опять замолчал, уставившись в ветровое стекло.

Наташа почувствовала себя виноватой, но все еще кусала губы: таким смешным почему-то казалось ей это запоздалое представление.

Машина катилась по деревне. Аккуратные избы с резными наличниками на окнах, с огородами и садами тянулись по обе стороны шоссе. И почти в каждом дворе, у стены дома или за деревьями, можно было увидеть автомашину, замаскированную ветками. Солдаты ходили по улице, кто-то в развевавшейся плащ-палатке проехал верхом на сером взмокшем коне. В середине деревни несколько изб было сожжено, — вероятно, с воздуха; женщина и девочка, одинаково крест-накрест повязанные платками, копошились на пепелище.

За околицей, как только машина выехала из деревни, глазам Наташи предстала новая печальная картина. Большое стадо двигалось навстречу по желтоватому скошенному полю, присыпанному морозцем. Гуртовщик в тулупе бежал вдоль кювета и что-то кричал другому, на лошади, пробирававшемуся среди животных. Коровы — пегие, черные, пятнистые, белые — не спеша переступали, опустив морды, хватая губами мертвую, черствую стерню. Некоторые взобрались на шоссе, и Наташа близко увидела их ребристые бока, острые крестцы, взъерошенную шерсть. Черный плосколобый бык неохотно перед самой машиной свернул в сторону, блеснув огромным слезящимся глазом...

«Это из оккупированных районов, — догадалась Наташа. — Сколько же времени они идут? И что это со мной?! — вознегодовала она на себя. — Вокруг такое несчастье, а я даже смеялась только что...» Но хотя упрек этот был совершенно искренен, он не произвел

глубокого впечатления. Все же, вопреки окружающему, Наташа чувствовала себя молодой, удачливой, едущей к любимому человеку, и заглушить свою радость она не могла...

Было уже за полдень, когда показался Серпухов. «Эмка», мягко шурша, проехала по деревянному настилу моста, переброшенного над широкой водной полосой. Внизу, в низких берегах, текла Ока, светлоголубая, как небо над ней; вдали она блестела холодно, точно гладкий лед под солнцем. Мост охранялся: из прибрежных кустов высывались тонкие стволы зениток; часовой, встретивший «эмку» на въезде, проверил у всех ее пассажиров документы.

Далее снова потянулась бескрайняя равнина с туманными полосками лесов, с низкими косогорами, с коричневыми пятнами кустарника, с одинокими ветлами у ручьев, полная тихой осенней прелести, на взгляд Наташи, и слишком удобная для действий танков, по мнению подполковника. Иногда Богданов посматривал на небо: оно было таким прозрачным, таким чистым, что следовало каждую минуту ожидать появления немецких самолетов. Тем не менее он все чаще теперь оборачивался к Наташе и первый с нею заговаривал. Она охотно отвечала, и хотя ее живость совершенно не гармонировала с его собственной душевной напряженностью, он не мог бы сказать, что это вызывало в нем неудовольствие.

За недавние военные месяцы, прошедшие для подполковника в непрерывных боях, он позабыл о многих вещах, ранее важных или милых. И теперь он как бы заново и с удовольствием убеждался в их существовании. В его «эмке», поцарапанной пулями, пробитой осколком, находилась не просто красивая молодая женщина, — быть может, даже она и не была очень красива, — но все в ней: жизнерадостный смех, глаза, блестящие так, как они блестели у людей в мирные незапамятные времена, небольшая рука в тонкой перчатке — принадлежало счастливому утраченному миру.

— Наташа, вы долго намерены пробыть в Т.? — спросил, между прочим, подполковник. — У вас там много дел?

Он начал уже беспокоиться за судьбу своей попутчицы, ехавшей в город, который завтра мог стать фронтом.

Наташа помедлила с ответом: признаться в том, что у нее в Т. никакого дела, кроме личного, не было, она посовестилась.

— Право, не знаю, — она наклонилась к окну, чтобы скрыть замешательство. — Как сложатся обстоятельства. А скоро мы туда приедем?

— Да теперь уже немного осталось, — сказал Богданов.

— Я вам так обязана! — очень искренно воскликнула Наташа, снова откинувшись на сиденье.

О чем бы ни заходила сейчас речь, Богданов, глядя на нее и слушая, испытывал чувство, похожее на узнавание. Казалось, он чудесным образом на прифронтовом шоссе встретил существо из далеких мирных дней или из туманного и еще более далекого послевоенного будущего. И он не размышлял уже о том, хороша или нет его попутчица. Свет завтрашнего прекрасного дня, того, что обязательно наступит после всех лишений и усилий, лежал на ней, делая ее необыкновенной.

«Эмка» въехала в незнакомый городок, вернее, большое село, и Богданов приказал остановиться на площади. Наташа вышла из машины и с наслаждением сделала несколько шагов, осматриваясь. Площадь, мощенная булыжником, поросшая кое-где травой, была довольно велика; с одной стороны ее ограничивала церковная ограда, с другой — деревянные в один-два этажа домики. Под углом к ним стояло приземистое фабричное здание с короткой трубой на растяжках. Солнце склонилось уже к закату, и наступил тот час короткого осеннего дня, когда пожелтевший воздух как будто теплеет; нежно розовели в косых лучах тополя, росшие на церковном дворе, красноватыми стали удлинившиеся заостренные тени; кирпичная стена фабрики ярко пламенела. Наташа сняла берет, чтобы поправить волосы, и они как будто вспыхнули у нее, пронизанные солнцем.

— Наташа! — сказал Богданов. — Здесь привал... Отдыхаем полчасика.

Оставив в машине шофера, принявшего хлопотать над мешком с провизией, они медленно пошли по плиточному выщербленному тротуару. Миновав парикмахерскую с усатым, надменного вида мужчиной, изображенным в окне, затем какой-то погребок с железной дверью, запертой на всякий замок, они приблизились к дому на

высоком каменном фундаменте. Судя по вывеске над входом, здесь была «Столовая № 1». Поднявшись по узкой крутой лестнице, Наташа невольно задержалась у порога; просторная с бревенчатыми стенами комната, в которой она очутилась, была наполнена оранжевым резким светом заката, бившего в окна.

Несколько человек, все больше военные, в шинелях, в ремнях, сидели здесь за дощатыми длинными столами. В углу была буфетная стойка, покрытая клеенкой, рядом на маленькой высокой эстраде горбился на табурете гармонист в черных очках — широкогрудый, вероятно, гигантского роста музыкант был слеп. Свесив на грудь большую, лохматую русую голову, придерживая на колене огромной рукой старенькую гармонь, он о чем-то, казалось, печально задумался — вознесенный над всеми, кто здесь находился, могучий и беспомощный, как Самсон.

У окна, изливавшего в комнату нестерпимое сияние, был свободный стол; Наташа и Богданов сели там. Девушка с бледным, пухлым, как будто ватным лицом, в красной косынке, в красной вязаной кофточке подала им холодное мясо на глиняном блюде, сыр и хлеб, нарезанный толстыми ломтями. Вместо пива, которое спросил Богданов, она принесла сладкую, вишневого цвета воду в тяжелых стеклянных кружках. Наташа, взявшись хозяйничать, разложила мясо по тарелкам, и Богданов снова приятно изумился этому. Ему давно уже не приходилось сидеть вот так за столом, где бы по домашнему мило и уверенно распоряжалась женщина. И, благодарный Наташе за этот нечаянно возникший уют, Богданов молча следил за каждым ее движеньем, боясь неосторожным словом помешать ей.

Наташе показалось, что ее воинственный спутник точно присмирел вдруг, безоговорочно, видимо, признавая свое подчиненное положение за столом. И в глазах у нее опять появился смешливый блеск.

— Мне достаточно. Спасибо, Наташа! — с чувством произнес Богданов, принимая из ее рук тарелку.

— Вы ешьте, ешьте, Николай Федорович! — ободрила она подполковника. — Неужели вы не проголодались, а я ужасно... Ох, и вкусно как! — чистосердечно призналась она.

Богданов коротко, сдержанно засмеялся.

— Бывает, что и сухарь в походе кажется вкус-

ным, — сказал он. — Вы уж поверьте. Только на войне и начинаешь ценить многие вещи.

— Да, наверно... — согласилась Наташа. — Страшно даже подумать, что вам приходится выносить на войне!

— Ничего, втягиваемся понемногу... — Богданов опять коротко захохотал: он чувствовал себя очень хорошо сейчас; Наташа улыбнулась.

— Женщинам в армии, наверно, особенно трудно? — сказала она.

— Женщин в армии нет, Наташа! — мягко проговорил подполковник.

— Как нет? Служат ведь женщины! И еще как служат! Мне иногда так стыдно бывает, что я в тылу...

— Война — мужское дело, — пояснил Богданов. — И армия — это в общем мужское братство. Простите за пышное слово. Женщины наши в тылу остались... А служат и воюют солдаты.

— Ах, ну да... — Наташа помолчала. — Может быть, вы правы.

Она выглянула в окно. На площади внизу стояли теперь кучками люди; ворота фабрики были распахнуты, и со двора выезжали одна за другой грузовые машины. В их кузовах под брезентом, оплетенным веревками, угадывались очертания станков; на первой машине возвышался большой конусообразный котел. Жители городка, теснившиеся на тротуарах, внимательно наблюдали, как строилась автоколонна.

Наташа не сразу даже сообразила, что, собственно, происходит на площади — так деловито, так внешне спокойно все выглядело.

— Смотрите... Товарищ подполковник! Отсюда тоже уезжают!.. — огорченно проговорила она, поняв, что это эвакуируется единственная, быть может, в городе фабрика.

Богданов нахмурился; ее слова вернули его к действительности. Но он не успел ничего ответить.

Гармонист, неподвижный до этой минуты, выпрямился на своем возвышении, расправил саженные плечи и заиграл. Потом раздался его голос, неожиданно тонкий и резкий, что совсем не вязалось с его внешностью.

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали... —

начал слепой, выговаривая не «море», а «моря», смягчая окончания слов. И хотя его высокий горловой тенор звучал все время одинаково крикливо, ничего не выделяя, но в самой пронзительной однотонности этого исполнения была жестокая выразительность.

За столами прекратились разговоры; Наташа слушала певца почти с испугом.

— Товарищ, не в силах я вахту стоять, —

пропел он смертную жалобу молодого матроса, но лицо его, широкое, в оспинах, оставалось неестественно спокойным, как обычно у слепых. С полным, казалось, безразличием к тому, что происходило в песне, но мучительно напряженным голосом он продолжал:

...Огни в моих топках уже не горят,
В котлах моих нет больше пару.

Наташа, глотая внезапно подступившие слезы, отвернулась к окну. Автоколонна с фабричным оборудованием двигалась по площади, голова ее поворачивала на шоссе. Люди медленно расходились, некоторые шли за машинами, провожая их, и площадь быстро пустела. Жизнь как будто отливала отсюда, пятясь перед надвигавшейся войной. И впервые за всю поездку Наташа испытала действительно глубокое, болезненно-острое чувство сожаления, тоски, сострадания. Война была совсем рядом; места, которые Наташа проезжала сегодня, могли завтра стать полями сражений; славный городок, где она сейчас находилась, мог быть превращен в пепел, и неизвестная судьба ожидала людей, окружавших ее в эту минуту: маленького, смуглого, черноглазого подполковника с решительным лицом, девушку-официантку в красной кофточке, военных за соседними столами, слепого музыканта. События, решавшие их участь, стремительно, неотвратимо приближались. И не в силу доводов рассудка, но по той сердечной симпатии к людям, что была в высокой степени свойственна Наташе, она очень испугалась за своих соседей. По-новому, с болью и сочувствием она быстро поочередно оглядела каждого из них.

А слепой гармонист на эстраде в углу все не унимался.

На палубу вышел — сознания уж нет,
В глазах у него помутнилось, —

с жестокой силой выводил он строку за строкой. Темный узковатый пиджак его распахнулся, открыв несвежую, помятую рубашку. Небольшая гармонь с потертыми мехами казалась игрушечной в его нечеловечески больших руках. И пронзительный тенор его поднялся уже так высоко, что это было невыносимо слушать.

Ударил на миг ослепительный свет,
Упал, сердце больше не билось... —

пропел он, и в ту же минуту в комнате как будто погас свет. Окна мгновенно посерели, и стало заметно, что они давно не мыты. Солнце село за ровную, точно по линейке обрезанную фиолетовую тучу; ее верхний край блистал еще, озаренный с изнанки, но воздух померк, и сразу наступил вечер.

Военные за соседними столами поднимались и выходили; Наташа тоже заторопилась; Богданов, встав, почтительно пропустил ее вперед. Девушка в поношенной вязаной кофточке, опершись руками о стойку, тоскливо смотрела в потемневшее, запыленное окно. И только слепой певец лел с прежним, неослабевавшим ожесточением. Приподнятое, обращенное в беспредельную ночь лицо его было все таким же невозмутимым, будто неживым. И когда Наташа поспешно спускалась по лестнице, она еще слышала:

...А волны бегут и бегут за кормой,
И след их вдали пропадает...

4

Наступили сумерки, когда Наташа подъезжала к Т.; над городом выла сирена воздушной тревоги, и ей вторили заводские гудки. Сам город был уже плохо виден, но из сгущавшейся темноты громко звучали его пронзительные предостерегающие голоса.

Недалеко за въездом у серого дома военной комендатуры «эмка» остановилась, и Наташа, подхватив свой чемодан, выбралась из машины.

— Куда вы теперь? — спросил Богданов. — Вы хоть знаете город, вы не заблудитесь?

— Я пошла... Спасибо вам! — звонко сказала Наташа.

Где-то здесь, быть может, совсем близко, находился ее муж, и мысль об этом сделала ее невнимательной ко всему остальному.

— Наташа... — неуверенно начал было Богданов и запнулся.

Он очень пожалел вдруг, что никогда больше, наверно, не увидит свою случайную попутчицу. А кроме того, он чувствовал себя уже обязанным позаботиться о ней: эта женщина была смела от незнания, ничего, видимо, толком не понимая в том, что происходило вокруг.

— Подождите меня немного, — предложил он, — я не задержусь...

— Нет, нет, — поспешно сказала она, ступив в сторону, — я никак не могу ждать, никак.

— Я только наведу справку... — попытался уговорить ее Богданов. — А там еще подвезу вас...

— Ах нет, я не могу! — воскликнула Наташа.

Ей не терпелось уже поскорее распрощаться с этим любезным маленьким подполковником, который так некстати сейчас ее задерживал. Почему-то даже его заботливость была уже неприятна ей. И чтобы смягчить свой слишком резкий отказ, она, отступив еще дальше, крикнула:

— Большое, большое вам спасибо! Может быть, увидимся когда-нибудь!..

— Я надеюсь! — со всею искренностью прокричал в ответ Богданов.

Остановив первого попавшегося прохожего, Наташа расспросила о дороге; оказалось, что ей предстоит еще проделать пешком довольно длинный путь, но это нимало не смутило ее. И здесь, в незнакомом, чужом городе, над которым то и дело погромыхивала канонада, она чувствовала себя как бы под неусыпным покровительством добрых, благожелательных к ней сил. Это было не столько легкомыслием, сколько доверием к жизни, заботливо во все годы оберегавшей ее от любой беды.

Вскоре совсем стемнело. В непроглядном небе метались одни расплывчатые отсветы далекого зенитного огня, а внизу все погрузилось в сплошную черноту. Прохожие перестали встречаться, нигде не было видно даже освещенной щелочки, и Наташа после двух-трех поворотов утратила всякое представление о том, куда идти. Ее охватила не растерянность, но досада. Можно было не сомневаться, что на улице, где она беспомощно остановилась, справа и слева в укрытых мраком домах находились люди; там, конечно, и свет горел за плотно завешен-

ными окнами. Но как ни близок был этот живой человеческий мир, он ничем не выдавал своего присутствия. От напряжения, с которым Наташа всматривалась в окружающую темень, у нее заныло над глазами.

«И ни живой души, — подумала она сердито. — Сонное царство какое-то, а не город. Даже милиционера не встретишь...»

Она собралась уже было постучаться в ближайшую же дверь, как вдруг на противоположной стороне улицы послышались быстрые шлепающие шаги. Казалось, у невидимого прохожего сваливалась с ноги слишком большая калоша:

— Товарищ, — во всю силу легких крикнула Наташа, — задержитесь, пожалуйста!

Шаги оборвались на секунду, потом, судя по возобновившемуся шлепанию, человек перешел улицу.

— Где я, вы можете сказать? — проговорила Наташа таким тоном, точно именно этот неизвестный человек и был повинен в том, что она заблудилась.

Прохожий хранил полное молчание.

— Почему вы не отвечаете? — возвысила она голос. — Я уже полчаса топчусь на одном месте. Мне надо выйти к фабрике-кухне, а там я доберусь... Простите, конечно, что я вас задерживаю.

— А зачем вам фабрика? — тонкий, с хрипотцой голос прозвучал не там, куда она обращалась, а ниже, на уровне ее пояса.

— Где вы? — изумившись, спросила она и невольно попятилась.

— Куда?.. Стой!.. Зачем вам фабрика? — посыпались требовательные вопросы.

И Наташа почувствовала, как цепкие пальцы схватили ее за рукав. У своего локтя она различила чуть забелевшее пятнышко приблизившегося лица.

— Ох, вы... мальчик! — воскликнула она. — А я думала... — и она засмеялась.

— Что думали? Нет, говорите... — настойчиво повторял маленький человек. — Вы не здешняя?

Он успокоился только, когда Наташа сказала, кто она, откуда, и упомянула фамилию своего тестя.

— Это тот, что в Заречье живет? Со Станкостроительного? — переспросил мальчик.

— Вот-вот, тот самый! — обрадованно сказала На-

таша. — А сына его ты тоже знаешь? — перешла она на «ты».

— Знаю. Почему ж мне не знать? — в тоне мальчика послышалось удивление. — А вы кто ему будете?

— Жена буду, — с улыбкой в голосе сказала Наташа. Мальчик коротко, тихонько свистнул.

— Из Москвы к нему приехали?

— Из Москвы.

— Не ко времени заявились, вот что, — отрезал он. — Ну, ладно, пошли, мне по дороге.

И он уверенно зашагал в темноту. Наташа, сорвавшись с места, заторопилась, чтобы не отстать.

— Как удачно! А я уже не знала, что делать! — крикнула она, но мальчик не отозвался.

— Что это у тебя шлепает все время? — поинтересовалась Наташа. — Калоша спадает?

— Подметка отвалилась сегодня, — донесся к ней недовольный ответ, — и не прохудилась еще, и головки целые, а вот поди ж ты...

Мальчик, не колеблясь, поворачивал из улицы в улицу, как будто отлично видел в темноте; Наташа, выставив перед собой левую руку и зажмурившись из боязни провалиться куда-нибудь, едва попевала за ним. Неожиданно ее спутник замедлил шаг и пошел рядом.

— Ну, как в Москве? Не полегчало еще? — солидно осведомился он.

— Что, что? — переспросила Наташа.

— Не полегчало еще, говорю? Народ как держится?

— Замечательно! Прямо замечательно! — ответила она.

— У нас тоже ничего, по-боевому. Конечно, есть трудности, без этого не бывает, — сказал он, — и люди всякие попадаются... Я вот и об вас сперва неладно подумал.

— Обо мне? Ну, знаешь... — возмутилась Наташа.

— А вы как считаете? Время такое — успевай смотреть...

Вероятно, они приближались к центру города, потому что под ногами ощущался теперь гладкий асфальт. Здесь мальчик пошел еще быстрее, и Наташа непритворно взмолилась:

— Не беги, пожалуйста! Я же ничегошеньки не вижу...

Он подождал, пока она не нагнала его.

— Проканителиться тут с вами, — без раздражения, впрочем, проговорил он. — Слушайте, а может, вам лучше в гостиницу пока пойти? Тут недалеко уже. Может, там и переночуете... Заплатить у вас хватит?

— Ну, предположим, — сказала Наташа.

— Смотрите! В гостиницах — ой-ой-ой — кусается!

— Да что ты! — весело воскликнула она.

— А вы не смейтесь. Там, знаете, кто живет: артисты — раз, футболисты — два. Когда «Спартак» к нам приезжал, так они там стояли. У нас гостиница хорошая.

— Нет, в гостиницу я ни за что не пойду, — сказала Наташа.

Опять начали попадаться редкие прохожие: медленно проехала машина с притушенными синими фарами; прошли посредине улицы несколько человек в подбитых железом, громыхавших сапогах. Внезапно зенитная стрельба усилилась, раздались выстрелы близких орудий, и на их дробном фоне возник слабый, но внятный звук, напоминавший комариное гудение — тонкий, вибрирующий, тоскующий.

— Опять Адольф летает, — спокойно проговорил провожатый Наташи.

— Противно очень воеет, — сказала она.

— Это у фрицев моторы такие, — пояснил мальчик. — Наши ровно гудят, а ихние все жалуются: «Боюсь, боюсь, боюсь, боюсь...» А зенитки им: «На! На! На! На!»

— Действительно, похоже... И часто у вас тревоги бывают? — спросила Наташа.

— Теперь часто. А у вас?

— У нас тоже часто, — сказала она.

Гудение в небе стало отчетливее и надрывнее: невидимый бомбардировщик сразу как будто снизился на небольшую высоту.

— Сейчас кинет куда-нибудь, — громко предупредил мальчик Наташу. — Ну держитесь! Смотри-ка; смотри! — отчаянно закричал он. — Ах, паразиты! Опять показывают...

Желтая иззубренная звезда блеснула во мраке и, разгораясь, оставляя тающий след, бесшумно вознеслась в небо. Вдогонку ей взлетели одна за другой еще две ракеты, заливая землю неживым химическим светом. И на несколько очень долгих секунд их предательское

созвездие повисло над городом, выступившим вдруг из темноты; впереди на посветлевших клубообразных тучах обозначились силуэты высоких, многоэтажных домов, узкая фабричная труба. Потом первая ракета померкла, осыпавшись мелкими, быстро гаснущими искрами, но на смену ей взвилась новая.

— Это они завод показывают! Это с пустыря пускают! — возбужденно восклицал мальчик.

— Что это? Кто? Что это? — повторяла, не понимая, Наташа.

— Что? Кто? Что? Кто? — передразнил он. — Ракетки, вот кто!

Он метнулся вперед, и его подметка застучала так быстро, будто кто-то захлопал в ладоши.

— Постой, — крикнула Наташа, — подожди меня!..

В то же мгновение где-то за домами блеснули красноватые зарницы и прогремели подряд три громких взрыва. После них опять послышался тоскующий, безутешный комариный звук. Неожиданно, как при вспышке молнии, небо окрасилось в бледнолиловый цвет и раздался новый звенящий удар, точно рухнул и раскололся огромный ящик со стеклом.

Наташа испуганно метнулась в сторону, потом, вспомнив о своем исчезнувшем провожатом, бросилась его догонять.

Какие-то люди, появившиеся на улице, торопились в одном с нею направлении; кто-то сильно толкнул ее. Зарево разливалось по небу, и Наташа заметила вдруг, что стало гораздо светлее: незнакомый город, невидимый до этой поры — с каменными зданиями, с деревьями, посаженными вдоль тротуаров, с решетками садилов, с трамвайными мачтами, с телеграфными столбами, — открывался ей в багровом тумане. Злобно били пушки, и высоко, в зените неба, там, где оно оставалось попрежнему черным, искрились частые разрывы.

Запыхавшись, Наташа пошла медленнее: ее ночной спутник был уже, наверно, слишком далеко. Да она и не узнала бы его теперь, если б даже встретила снова: ведь она так и не смогла его рассмотреть.

По мере того, как она подходила к месту пожара, движение на улицах становилось все более оживленным. Проехала, непрерывно сигналив, черная легковая машина; из переулков вынеслись два пожарных автомобиля, облеп-

ленные людьми в касках, и, развернувшись, помчались вперед под частый, тревожный звон своих колоколов. Женщина в развевавшемся платке бежала навстречу; несколько человек, спотыкаясь, тащили по мостовой длинную лестницу.

Выйдя к углу большого четырехэтажного дома, Наташа увидела круглую площадь со сквериком посередине, с киосками. Из-за домов на противоположной стороне площади наплывал сюда густой желтовато-бурый дым, отдававший бензином; на другой ее стороне, там, где небо сохранило черноту, верхние этажи домов были высветлены, как на негативе.

Кучка людей топталась на углу и медленно пятилась перед бородатым человеком в стеганке и с противогазом через плечо. Наташа, не понимая, что здесь происходит, тоже невольно подалась назад. Человек в ватнике размахивал руками, кричал, но за шумом, стоявшим вокруг, она ничего не разобрала. Ее опять толкали, и ей запомнилась только молоденькая с расширившимися глазами девушка, восклицавшая над самым ее ухом:

— Где вы видите панику? Мы без паники... Вы паникуете, а не мы!..

Повидимому, это относилось к бородатому бойцу ПВО, оттеснявшему толпу. Отступая вместе со всеми, Наташа оказалась под аркой ворот углового дома. Здесь в стене был низкий вход, над которым слабо светила синяя лампочка. И Наташа, сообразив наконец, что ее, как и других прохожих, отводят в бомбоубежище, нерешительно задержалась у входа.

— А вы что размечтались? Идите же! — крикнула на нее девушка.

Кто-то подтолкнул Наташу в спину, и она, не успев запротестовать, стала спускаться по темной лестнице, задевая локтем о каменную стену.

«Вот я и попалась, — растерянно подумала она. — Когда же я теперь выберусь отсюда?»

Сзади ей наступали на пятки. Перед нею очень медленно шел какой-то человек, в спину которого она то и дело упиралась. И она так досадовала теперь на себя и на все случившееся, что сама едва не крикнула: «Ну, что же вы? Поживей надо двигаться!»

Очутившись в подвале, превращенном в убежище, она прежде всего посмотрела на медлительного гражданина.

Низкорослый, непропорционально широкий в плечах, он показался ей почти квадратным в своем помятом коричневом пальто и в кепке с огромным козырьком, надвинутой на самые уши. Верхняя часть его лица была в тени; виднелись лишь тонкий, безгубый рот да щетинистый подбородок. Оглядев с неодобрением этого человека, Наташа прошла вперед.

В просторном подвале со сводчатым потолком, с покрашенными голубой масляной краской стенами находилось человек сорок — пятьдесят. Они сидели и лежали здесь на деревянных скамейках, иные — на полу, на расстеленных одеялах. Стриженные или кудрявые головы детей; картузы и шапочки, острые коленки в шерстяных чулках, слабые ребячьи плечики перемежались с материнскими платками и косынками. Старуха с темным, как каленый орех, морщинистым лицом спала в углу под толстой осмоленной трубой, проложенной по стене. В убежище было жарко, сухо, очень светло: несколько электрических лампочек свешивалось в разных местах с ребристого потолка. Недалеко от входной двери стоял на табурете оцинкованный бачок с водой.

Поставив у стены свой чемодан, Наташа присела на него. Какой-то румяный старичок в тулупе, застегнутом на все крючки, несмотря на жару, и в валенках, подшитых резиной от автокамеры, с готовностью подвинулся, предоставляя ей возможность устроиться поудобнее.

— В тесноте, да не в обиде, — приветливо сказал он.

Наташа, вздохнув, поблагодарила. По другую сторону от нее молодая женщина в черной спецовке укладывала на ночь детей: мальчика лет трех-четырёх, уткнувшегося уже лицом в подушку, и девочку постарше.

— Мам, а мам! — услышала Наташа ее сдавленный полусшепот. — Завтра мы давай раньше придем, еще до тревоги. Тогда и мы на лавках ляжем. Правду я говорю, мам?

Сидя на одеяле из разноцветных лоскутков, девочка возилась со своими косичками. Вытащив из волос голубую атласную ленточку, она аккуратно разгладила ее, скатала в рулончик и сунула под подушку.

— А то мы всегда опаздываем, мам... И все лавки бывают заняты. А хочешь, я еще днем приду с Сережкой и займу для тебя место? — потянувшись к матери, предложила она.

Стук Zenиток едва доносился сюда, и в убежище было тихо: люди переговаривались вполголоса, а больше молчали. Но вели они себя, почти как дома, притерпевшись уже за последние месяц — полтора к этим тревожным ночам, стараясь только не слишком шуметь, чтобы не помешать соседям; кто-то ужинал, разложив перед собой хлеб и консервы, кто-то читал газету.

Румяный старичок, вытянув по полу ноги в подшитых валенках, поглядывал с любопытством по сторонам. Видно, его разбирало желание поговорить с кем-нибудь; не вытерпев, он опять обратился к Наташе:

— Убежище здесь хорошее, вы не сомневайтесь, гражданка. Дом новый, каменный, четыре этажа над нами.

— А я и не сомневаюсь, — сказала она.

— Во-во, — он закивал головой, — я-то сам не местный, извольте знать... А пришлось задержаться в городе. Мне и присоветовали сюда пойти, ради спокойствия души, значит. И верно, доложу я вам: устроено здесь все основательно — чисто, тепло. Так что не волнуйтесь, обойдется...

— Да почему вы взяли, что я волнуюсь? — сказала Наташа.

Она с тоской смотрела на низенькую, обшитую железом дверь подвала. Дежуривший там хмурый парень комсомольского возраста никого до отбоя не выпускал из убежища. И Наташа терзалась от мысли, что могла бы уже быть вместе с Павлом, если б так постыдно не растерялась на площади.

— Мам, а мам, — снова услышала она шепот девочки, примостившейся теперь подле брата. — А ты тоже спи. Тебе же вставать рано.

— Хорошо. Лежи спокойно, — машинально отозвалась мать.

Блуждая взглядом по сторонам, Наташа опять увидела медлительного гражданина в кепке с непомерным козырьком. Он остановился неподалеку от двери, прислонившись спиной к стене; рядом с ним плечо к плечу стоял кто-то в военной шинели без петлиц и в пилотке. На бледноватом спокойном, ничем особенно не примечательном лице этого второго человека обращали на себя внимание лишь глаза, светлые, круглые, чересчур близко посаженные друг к другу. Встретившись взглядом с Наташей, человек в пилотке принялся ее невозмутимо рас-

смаатривать, и она тотчас же отвернулась. Но потом снова, будто мимоходом, посмотрела на этого военного: очень уж ненатуральным, лишенным живого выражения был его непроницаемый, как у птиц, взгляд. И, неведь почему, Наташе показалось, что и он и его штатский сосед чем-то неуловимо связаны друг с другом и как бы обособлены здесь среди всех остальных.

Вдруг над головами людей ударил глухой короткий гром, и точно судорога прошла по земле. Женщина в спецовке быстро всем телом наклонилась, прикрывая собою детей. Старик в тулупе испуганно приподнялся...

— Это прямо над нами разорвалось. Правда, мам? — громко сказала девочка, сев на одеяло.

— Нет, это далеко. Лежи, спи, — высоким, напряженным голосом ответила мать.

Железная дверца подвала медленно открылась от толчка снаружи, и вошли два красноармейца, а за ними мальчик в стеганке и в ушанке. Мальчик сразу же выбежал на середину подвала, шлепая отвалившейся подметкой, и Наташа, изумившись и обрадовавшись, поднялась ему навстречу. Это был по всем признакам ее ночной провожатый, во второй раз сегодня и теперь при свете представший перед нею. Стремительный, крепенький, как дубок, хотя и невысокий для своих четырнадцати — пятнадцати лет, с бархатной родинкой на округлой пунцовой щеке, он выглядел очень возбужденным. Окликнуть его Наташа, однако, не успела: грохнул второй подземный толчок, более сильный, нежели раньше. И в подвале мгновенно погасли все лампочки.

Несколько человек побежало к двери: Наташа догадалась об этом по топоту шагов. В поднявшемся шуме, в разноголосице восклицаний раздавался залиvistый детский плач и кто-то однообразно выкрикивал:

— Граждане, оставайтесь на местах! Граждане, сохраняйте порядок!

Потом Наташа услышала знакомый хриловатый фальцет:

— Дайте пройти! Вот топчутся без толку!.. Дайте же пройти! Не выпускайте никого, товарищи!

Свет загорелся минуты через три, и первым, кого увидела Наташа, был румяный старик в тулупе. Поводя вокруг растерянными мигающими глазами, он громко, на все убежище, проговорил:

— Детишки же тут! Как же можно, чтоб на детишек? Пойти надо, граждане, заявить кому следует, чтобы, значит... по всей строгости.

Он не кончил, смешавшись, замолчал и сел на свое место.

Кто-то засмеялся, кто-то начал успокаивать старика; люди суетились, шумели, перебивали друг друга, испытывая, повидимому, большое облегчение. Но Наташа на этот раз даже не улыбнулась: перепуганный, потрясенный человек простодушно выразил ее собственное гневное возмущение — в его словах была стойкая, воспитанная самой советской жизнью вера в могущество справедливых сил, охранявших человеческое благополучие.

Вскоре все опять расположились на своих местах. Затаивший плакавший ребенок; женщина в спецовке взяла его к себе на колени и тихонько покачивала. И лишь один ночной провожатый Наташи никак не мог успокоиться: переступая через вытянутые ноги, он сновал по подвалу вперед и назад, приглядываясь к людям. Красноармейцы, вошедшие вместе с ним, проверили у некоторых мужчин документы: казалось, они кого-то разыскивали. Пробегая мимо Наташи, мальчик только скользнул по ней озабоченным взглядом. И она, дожидавшаяся этого момента, придержала его за руку, потом напомнила о себе.

— Это вы и есть? — проговорил он и вздохнул; круглое лицо его выразило крайнее огорчение. — Ну, что вам?

И, не выслушав ее, он устремился к красноармейцам, собравшимся уходить; Наташа, нисколько не обидевшись, пошла за мальчиком.

— Ищи его теперь по всему городу! — сердито говорил он бойцам. — Как свет потух, он и выскочил за дверь.

— А может, его и не было здесь? — предположил один из красноармейцев.

— Как же не было?! — закричал мальчик. — Как это не было, когда я за ним от самого Попова пустыря шел!..

И тут Наташа обнаружила, что место у двери, где четверть часа назад стоял гражданин в кепке, оставалось незанятым; его сосед в шинели тоже отсутствовал. Она поискала глазами, но не нашла уже в подвале ни того, ни другого.

— Пока я до пустыря бежал, он еще четыре ракеты выпустил, — горячился мальчик. — А после, вижу, идет

прямо на меня человек. Я к забору прижался, а он — шашь в дыру — дыра там есть — и во двор. А потом напрямик на улицу. А я как увидел, что он в убежище полез, так мигом до вас...

— Ладно, потом доскажешь, — недовольно перебил мальчика боец, заметив, что к ним начинают прислушиваться.

Сердце у Наташи часто застучало; с близким к ужасу чувством она опять посмотрела на пустое место у двери. Неужели же речь шла об одном из двух мужчин, что стояли там несколько минут назад? И неужели она только что своими глазами видела тех, кого называли диверсантами, ракетчиками, шпионами, фашистами? По внешнему виду они мало чем отличались от остальных людей, и это было особенно страшно, особенно оскорбительно для человечества. Поколебавшись — Наташа не была уверена, что ее не поднимут насмех, — она потянула к себе мальчика и зашептала ему о своем подозрении.

— Ну вот! — закричал он огорченно, с досадой. — Даже двое их было... — и его припухлые губы задрожали.

Красноармейцы, расспросив Наташу, заторопились вверх, мальчик тоже кинулся на лестницу, а вслед за ним выбежала из подвала и Наташа.

Наверху, под воротами, ее обдало теплым, складко-ватым запахом сгоревшего бензина. Конечно, было уже поздно: оба неизвестных гражданина поспешили удалиться как можно дальше отсюда. И ни мальчик, ни красноармейцы не знали, куда, в какую сторону за ними идти. Площадь со сквериком была пустынна; дым от пожара относил прямо на угловой дом и прижимало книзу: буро-желтый колыхавшийся поток быстро плыл на высоте второго этажа, образуя над площадью как бы подвижной огромный навес. Наташа и ее спутник, расставшись с красноармейцами, побежали под этой дымной, изорванной кровлей. На противоположной стороне площади мальчик нырнул в незапертый подъезд и выбрался черным ходом на параллельную улицу. Здесь было светло, как днем... Невероятное открывшееся Наташе зрелище ослепило ее, и она прижалась к стене, невольно заслонившись рукой.

Во дворе напротив, огражденном решеткой из железных прутьев, пылала как будто сама земля: блестящие волны ходили там на большом пространстве, распространяя вокруг удушливый жар. И огромные, освещенные снизу облака клубились над ними, непрерывно возобновляясь. На самом краю этого яростного огненного озера темнело длинное строение под односкатной крышей. Его стенки из гофрированного железа пока еще держались, но щели окошек светились так, будто все внутри было заполнено раскаленным неоном. В глубине двора густо дымил почерневший, обгорелый остов каменного здания.

Как ни ужасно было все это, как ни хотелось Наташе бежать отсюда, ее удержало на месте странное непобедимое любопытство. Будто загипнотизированная, всматривалась она в огненные, хвостатые, бело-желтые протуберанцы, метавшиеся за решеткой, слушала их небывало громкое шипение. Вдруг она увидела в пламени людей, и это было так поразительно, что она вскрикнула.

Пожарники в военных касках, в противогазах действовали двумя группами: в первой наступали ствольщики со шлангами, бившими в пламя, во второй шли бойцы, поливавшие водой товарищей, продвигавшихся впереди. Временами дым и пар окутывали ствольщиков с головой, и тогда оставались видны лишь выгнутые искрившиеся струи, вылетающие из пронизанного светом тумана. Люди то исчезали за волнами пламени, то вновь возникали в облаках пара и дыма. Они казались бестелесными, бессмертными существами, принадлежавшими той же стихии огня, с которой боролись. И когда кто-нибудь из них отбегал в сторону, от него исходило белесое свечение.

Глаза у Наташи заслезились, она задыхалась от едкого, тошнотворного запаха. Мальчик, опомнившись, потащил ее за рукав, и они выбежали в ближайший переулок. Встав там у забора, жадно глотая воздух, Наташа через силу проговорила:

— Ты видел, видел? Идут в самый огонь!..

— А иначе его не собьешь, — хрипло сказал ее провожатый. — Полыхает как! Немцы в завод метили, а попали рядом, в автобазу. Тоже жалко.

...Спустя четверть часа они вышли к набережной; вокруг опять сгустилась темнота, берег за рекой, пересекавшей город, был погружен в полный мрак.

— Теперь сами дойдете, — объяснил Наташе мальчик. — Сейчас через мост идите, а там все прямо, а там спросите... Ну, будем знакомы, раз так, — он сунул ей маленькую твердую, как дощечка, ладошку. — Веревкин моя фамилия, а зовут Витей.

— Большое, большое спасибо тебе, Витя! — сказала Наташа. — Я без тебя просто пропала бы...

— Вы-то? — Мальчик добросовестно, видимо, обдумывал ее слова. — Ну нет, вы бы не пропали... — сказал он. — Ох, проканителюсь я с этими делами! — И он быстро зашлепал в сторону.

За мостом Наташу окликнул патруль, и она зажмурилась от света карманного фонарика, внезапно направленного ей в лицо. Показывая свои бумаги, она еще раз справилась о дороге. Потом какая-то женщина, по счастью, встретившаяся Наташе, довела ее по пути до самого домика Громовых. И она, усталая, запыхавшаяся и бесконечно обрадованная тем, что была, наконец, у цели, взволнованная, нетерпеливая, трепещущая, поднялась на крылечко. Отдышавшись немного, она нащарила ручку звонка. Но как ни дергала ее Наташа, лишь глуховатое треньканье колокольчика доносилось к ней из дома, объятого тишиной, — никто не шел открывать. Она принялась стучать в дверь и тут только обнаружила, что снаружи на кольцах висит замок.

— Ну вот, — проговорила она громко, неестественно спокойным голосом. — Ну вот... Что же мне делать?

5

Богданов пробыл в комендатуре недолго; узнав, что штаб армии находился теперь в пяти километрах восточнее Т., он тотчас же снова сел в свою «эмку». В штабе, куда он должен был заехать, возвращаясь из Москвы, ему вручили неожиданный приказ: немедленно отправиться в распоряжение начальника Т-го боевого участка генерал-майора Дьякова в качестве его заместителя. Здесь же Богданову стало известно, что полк, которым он командовал до сих пор, отведен еще глубже в тыл, к Кашире, на переформирование. И Богданов вынужден был, таким образом, расстаться с товарищами по полку, даже не повидавшись с ними... Не дав ни себе, ни шоферу отдыха, он в ту же ночь опять приехал в Т., разыскал штаб участка и представился своему началь-

нику. Генерал встретил его на лестнице: он собирался уезжать и шел к машине.

— Вот и добро. А то людей у меня маловато, — сказал Дьяков, пожимая Богданову руку большой мягкой ладонью. — Слышал я, слышал, рассказывали мне, как вы из окружения выходили.

Они были уже немного знакомы: незадолго до войны Богданову довелось однажды на маневрах побыть под командованием Дьякова несколько дней... Массивный, крепкий, с выпуклой грудью, в голубоватой распахнутой шинели, в фуражке с красным околышем, сдвинутой на затылок, генерал и внешне и по манере держаться почти не изменился со времени их первой встречи. Правда, его окунаящий голос звучал хрипло, а маленькие умные глазки на широком лице были воспалены от бессонницы. Но и сейчас, шурясь на собеседника, что было в привычке Дьякова, он как будто говорил: «Не старайся, брат, провести меня, я тебя насквозь вижу».

Торопясь в обком партии на заседание Комитета Оборона города, генерал предложил Богданову поехать вместе с ним.

— Так-то оно лучше будет. Сразу в курс войдете, товарищ подполковник, — сказал он.

Дорогой, сидя в машине, медленно катившейся по ночным улицам, Дьяков посвятил нового помощника в задачу, поставленную перед командованием боевого участка... Немцы, как знал уже Богданов, быстро приближались к Т., их мотопехота и танки в ночь на 28 октября заняли район Щекино — Захаровка и продолжали наступать дальше, вдоль шоссе, ведущего на Москву. Они атаковали превосходящими силами непрерывно, днем и ночью... И приказом по армии, защищавшей Т. и прилегавшие к городу районы, был создан для удобства управления Т-й боевой участок; Дьякову надлежало организовать здесь оборону совместными усилиями войсковых частей, местного гарнизона и народного ополчения.

— Задача, товарищ подполковник, ясна, — проговорил Дьяков. — Город надо отстоять во что бы то ни стало — таково приказание Ставки.

Далее он сообщил, что в его распоряжение были переданы и те части, что отходили сейчас в прилегавший к Т. район. Следовало, однако, по словам генерала,

иметь в виду, что после многодневных, тяжелых боев эти поредевшие полки крайне нуждались в отдыхе и в пополнении. Помимо них, в гарнизоне города имелись еще добровольческий рабочий полк, сформированный из заводских истребительных батальонов, и полк НКВД, несший до сей поры охрану заводов. Но это были пока еще совсем не участвовавшие в боях, необстрелянные части.

— А главное — времени у нас в обрез. Того и гляди, драться начнем, — сказал Дьяков и, помолчав немного, ожидая, что ответит ему собеседник, пошутил: — Зато связь у нас удобная — по городскому телефону разговариваем: «Барышня, дайте тридцать семь, тридцать два». Это если в охранение, на кирпичный завод позвонить надо.

Предложив затем Богданову завтра же на рассвете выехать в части, закрепляющиеся на рубеже перед городом, Дьяков заключил:

— Да, вот так, товарищ подполковник. Серьезное нам с вами дельце предстоит. Ну да ничего! Была бы голова, будет и булава... А вы ко мне прямо из части были? — поинтересовался он.

Богданов плохо видел в темноте лицо генерала, сидевшего рядом. Но, казалось, и очень трудное положение не могло вывести из душевного равновесия этого на редкость невозмутимого человека. Впрочем, и Богданов, выслушав генерала, не почувствовал того волнения, что проистекает от сознания слабости, от неуверенности в правильности принятого решения. «Враг еще теснит нас... Надо торопиться, надо торопиться, товарищ подполковник, — вспомнились ему слова члена Военного Совета. — На каком бы участке вы ни находились сегодня, вы защищаете Москву». И Богданов странным образом стал даже как будто спокойнее; это было то ясное, жестоковатое спокойствие решимости, которое не оставляет места для сожалений или жалоб.

У подъезда высокого дома, погруженного в темноту, машина стала, и Дьяков, выйдя на тротуар, запахнув шинель, громко проговорил:

— Надо бы посоветовать Ласточкину перебраться отсюда за реку куда-нибудь. И ему удобнее и нам поспокойнее будет... А то ведь на самом въезде расположились. Дом этот и с шоссе видно.

Генерал толкнул тяжелую, бесшумно отворившуюся дверь; за нею была синяя полутьма. Человек шесть — семь бойцов ополчения сидели здесь, в вестибюле, на каменных ступенях. Часовой за барьерчиком, наклонившись к настольной лампе, обернутой маскировочной бумагой, проверил документы Дьякова и Богданова. Время подходило уже к полуночи, но по коридорам, едва освещенным крашеными лампочками, сновали люди; два солдата в форме пограничников с винтовками на ремнях спускались по лестнице. На третьем этаже, где находился кабинет секретаря обкома, документы снова потребовала молоденькая девушка-милиционер. Вернув их и откозыряв, она негромко, как бы по секрету сказала:

— Вторая дверь направо. Проходите, товарищ генерал.

В приемной также толпились, стояли и сидели люди. Кто-то говорил по телефону; торопливо трещала пишущая машинка. Не задерживаясь, Богданов и Дьяков прошли в кабинет секретаря. Навстречу им повернулось много голов.

— Ждем вас, товарищи командиры. Прошу садиться, — сухо вато проговорил председательствовавший, указав кивком головы на свободные места.

Видимо, это и был председатель Комитета Оборона города Ласточкин. Во внешнем облике его прежде всего привлекал внимание выпуклый лоб, нависавший над светлыми глазами, плотно обтянутый кожей. На вид Ласточкин казался не старше тридцати трех — тридцати пяти лет, и что-то студенческое, очень молодое было в его худощавом лице, в защитной гимнастерке, в зачесанных назад волнистых волосах, в широкой, но несколько впалой груди.

Богданов сел к длинному столу, покрытому зеленым сукном, и осмотрелся: заседание происходило в ярко освещенной, просторной комнате с тяжелыми гладкими портьерами, с обитой кожей мебелью. Над столом председателя, стоявшим отдельно, ближе к стене, висел большой портрет Сталина. За стеклом книжных шкафов у противоположной стены виднелись корешки книг, мерцала позолота букв на переплетах; лоснился и поблескивал паркетный пол. И странновато, непривычно выглядели на нем два ручных пулемета, поставленные под окнами. Такое же впечатление производила и противо-

танковая граната на зеленом, как весенняя трава, сукне, лежавшая возле графина с водой. Некоторые из людей, сидевших за длинным столом, были вооружены: на синем френче одного — плотного, широкоплечего блондина — перекрещивались ремни от кобуры и полевой сумки, из-под оттопыренного пиджака другого высовывался деревянный футляр маузера.

Докладчик, прервавший свое выступление, когда вошли Дьяков и Богданов, снова заговорил; прислушавшись, подполковник понял, что речь шла о ходе подготовки к обороне города в одном из рабочих районов.

— ...Люди требуют оружия и еще раз оружия, — продолжал докладчик, немолодой человек в светлой, вышитой по воротнику рубашке под пиджаком, и, наклонив голову, поднял на Ласточкина поверх очков добрые глаза. — На сегодняшний день в районную партийную организацию поступило свыше восьми тысяч заявлений от рабочих, работниц и инженерно-технических работников с просьбой о зачислении в истребительный батальон и в рабочий полк.

— Уже восемь тысяч заявлений у вас? — переспросил Ласточкин.

— Свыше восьми, Яков Захарович. Помимо того, в районе развернулось движение по организации добровольных групп самозащиты и противопожарных звеньев, — докладчик справился по бумажке, лежавшей перед ним. — В настоящее время у нас создано сто пятьдесят групп самозащиты, преимущественно женского состава, и двести противопожарных звеньев...

— Двести? — Ласточкин выпрямился на стуле. — Ну, а с обучением что у вас делается?

— Обучение бойцов истребительного батальона было закончено за сорок дней вместо сорока пяти, — глядя поверх очков, ответил докладчик. — Все группы самозащиты прошли обучение по двенадцатичасовой программе...

На столе Ласточкина вспыхнула сигнальная лампочка, он повернулся к своим телефонам и снял одну из трубок.

— Нет, нет, — резко ответил он кому-то; голос у него был несильный и, видимо, мягкий от природы, поэтому, когда Ласточкин напрягал голос, в нем появлялись звенящие ноты. — Это местничеством называется, товарищ

Винников. Мы решили уже, что разведывательная группа будет передана в штаб боевого участка. Так и сделайте. Перерешать мы не будем.

Богданов внимательно слушал, переводя взгляд с одного лица на другое. С этими вот впервые сейчас увиденными людьми ему предстояло стать здесь, в городе, для решительного боя, стать насмерть, так как об отступлении отсюда нельзя было даже помыслить. И он присматривался к Ласточкину и к другим: к немолодому докладчику в вышитой рубашке, похожему на школьного учителя, к плотному блондину в синем френче — с особым придиричивым, сосредоточенным интересом. Так солдат, прибывший в часть накануне атаки, знакомится в окопе со своими соседями, вчера еще неизвестными ему, а сегодня участвующими в труднейшем деле всей его жизни.

Ласточкин положил трубку, но тут зазвонил другой аппарат, и он потянулся к нему; представитель района, докладывавший на заседании, поправил свои очки и кашлянул.

— Дополнительный состав для завода комбайнов выделен? — спросил Ласточкин в телефон. — Головой мне отвечаете, дорогие товарищи! — Он помолчал немного. — Ну так-то лучше... Прошу вас, продолжайте, — обратился он к докладчику, кладя трубку.

Тот, косясь на черные лакированные аппараты, тесно поставленные на маленьком столике, заговорил несколько поспешнее, чем раньше:

— Перехожу к вопросу о строительстве рубежей. Ежедневно у нас в районе выходит теперь на работу до двух тысяч человек, главным образом женщин. Работы производятся нередко под бомбежкой и обстрелом с самолетов, в результате чего имеются убитые и раненые...

— Как состояние Коломийцевой? — перебил его Ласточкин. — И куда вы поместили ее детей?

— Товарищ Коломийцева находится в тяжелом состоянии. Осколочное ранение в голову. — Докладчик застеснялся и начал перебирать свои бумажки. — Двоих ее мальчиков мы с женой к себе взяли пока, Яков Захарович, — проговорил он. — Поскольку у нас своих нет...

— Вот как! Ну, спасибо вам, Петр Андреевич! — сказал Ласточкин.

— Я хочу сказать, товарищи, — снова возвысил го-

лос докладчик, — что строительство укреплений не приостанавливается ни на час... И сотни строителей — женщин и мужчин сверхпризывного возраста — перевыполняют свои нормы. — Он опять посмотрел в бумажку. — Бригада товарища Шарапова дает сто пятьдесят процентов, бригада товарища Роговой — двести... Это позволило нам, несмотря на бомбежку и неблагоприятную осеннюю погоду, закончить в основном земляные работы первой очереди...

— Товарищ генерал! — обратился Ласточкин к Дьякову. — Вы были сегодня в районе, что вы нам скажете по этому поводу?

Дьяков, грузный, тяжелый, но при всем том молодцевато, прямо сидевший на стуле, упершись рукой в бок, благожелательно посмотрел на докладчика.

— А что ж я скажу? Работают хорошо, — сильно окая, проговорил он. — Шанцевого инструмента мало. А работают горячо. Противотанковый ров отрыли, эскарп заканчивают...

— Сказывается агитационно-массовая работа среди населения, особенно среди строителей, — добавил докладчик. — Ежедневно работниками райкома устраиваются для них беседы и доклады, проводятся читки газет, сообщений Совинформбюро...

— Так говорите, товарищ генерал, горячо работают? — переспросил Ласточкин и вопросительно — все ли слышали это? — оглядел присутствующих; он почувствовал невольное удовлетворение — мимолетное, тут же отесненное деловой заботой чувство.

...С первых же недель войны Ласточкина, поглощенного множеством новых первостепенной важности дел, не оставляло острое беспокойство. «Всё ли, что в наших силах, мы сделали? Не упустили ли чего-нибудь? Не ошиблись ли в расстановке сил? Не опаздываем ли? Достаточно ли хорошо мы, коммунисты, работаем с людьми?» — спрашивал он себя. И это беспокойство делало его неуступчивым, нетерпеливым, очень требовательным и к себе и к другим. Одновременно с эвакуацией на восток крупнейших, известных на весь Советский Союз промышленных предприятий, имевшихся в Т., на подступах к городу еще в начале октября начато было по указаниям обкома строительство оборонительных рубежей. И первыми на осенние, залитые холодным дождем

поля вышли с лопатами и топорами коммунисты, ведя за собой строительные бригады. Днем и ночью, часто под бомбежкой, отбывали из города железнодорожные эшелоны с заводским оборудованием, со специалистами-оружейниками, с металлом. И в это же время коммунисты, остававшиеся в городе, формировали по указаниям обкома на примолкших заводских площадках добровольческие истребительные батальоны, совмещая обязанности бойцов и агитаторов. В районах области, к которым подходили немцы, создавались партизанские отряды; более тридцати их к середине октября оперировали уже в тылу неприятеля, семь было подготовлено в самом городе. И во главе партизанских отрядов также встали коммунисты, вчерашние штатские люди, отобранные партийными организациями.

Молодежь в городе — ремесленники, школьники старших классов, юноши и девушки дежурили «на объектах» во время воздушных тревог, тушили зажигалки, учились стрелять, метать бутылки с горючей жидкостью, собирали теплые вещи для бойцов. И вожаками этой молодежи были комсомольцы — завтрашние коммунисты. Вся разносторонняя, огромная работа по мобилизации материальных средств, а главное — человеческой воли на отпор врагу происходила под руководством партийной организации области. А когда возможность неприятельского нападения на Т. превратилась в реальную угрозу, коммунисты и комсомольцы в городе объявили себя поголовно мобилизованными. На собрании партийного актива в середине октября, на котором Ласточкин выступил с докладом, озаглавленным довольно обычно: «О текущем моменте и задачах парторганизации», — большевики, выслушавшие его, приняли решение: «Всем коммунистам и комсомольцам, способным носить винтовку, встать в ряды бойцов и вместе с Красной Армией оборонять город...» И ныне, куда бы ни выезжал Ласточкин: на строительство рубежей, на заводские площадки, в отряды ополчения, на железнодорожную станцию, где работники по двое, по трое суток не покидали своих постов, — он видел, что люди теснее, чем когда-либо, — локоть к локтю, плечо к плечу — объединены вокруг партии. В город отовсюду тянулись добровольцы: по осенним, размытым дождями дорогам пробирались шахтеры Подмосковского угольного бассейна, колхозники из бли-

жайших деревень; они приходили в обком, в райкомы партии, просили оружия, направления в боевую часть. И в этом единстве людей, в их гневной ненависти к врагам, в презрении к лишениям, в решимости бороться до полной победы сказывался бесценный результат самоотверженного подвига коммунистов.

...Снова загорелась сигнальная лампочка, и Ласточкин широким жестом взял трубку.

— Здравствуйте, товарищ Николаев. Отбываете сегодня? — Он откинулся на спинку стула. — Оба эшелона погрузили? Ну, счастливый путь! Нет, не смогу... Да, хотел проводить вас, но не смогу... Передайте коллективу завода пожелание Городского Комитета Обороны — немедленно развернуть производство на новом месте... Ижевцам кланяйтесь!..

Ласточкин положил трубку и всем корпусом подался вперед, привалившись к краю стола.

— На Епифанском шоссе установили надолбы? — спросил он.

Представитель района, присевший было на стул, снова поднялся.

— Как же, Яков Захарович... Установили двойные... — ответил он.

— Водоемы роете?

— Пять отрыли уже.

— Мало, вот это мало. Мы вам записали четырнадцать... И запруду на реке... — Ласточкин ребром ладони пристукнул по столу. — Имейте в виду, вы должны полностью на случай осады обеспечить район водой... Раскажите теперь, как у вас на строительстве рубежей питаются люди?

После того, как докладчик ответил на все вопросы, Ласточкин, прощаясь с ним, строго сказал:

— Завтра обязательно приеду к вам. Посмотрю, какого там инструмента у вас маловато.

— Будем ждать, Яков Захарович! — немного обиженно ответил докладчик, кося поверх очков добрыми глазами.

Затем Ласточкин попросил своего секретаря — худенькую, гладко причесанную женщину — не соединять его по телефону ни с кем в течение получаса. «Кроме Москвы, конечно», — добавил он. В кабинете осталось теперь только шесть-семь человек, и Дьяков пересел в

кресло к столу председателя. Достав из планшета план города, генерал не спеша развернул его и разгладил толстой рукой.

— Положение на подступах к городу вам известно, товарищи, — начал он свое сообщение. — Тяжелое положение, сложное... — Дьяков поднял глаза, как бы ожидая вопросов или возражений. Все молчали, и он заговорил снова: — Наша задача — не дать противнику завладеть плацдармом для дальнейшего удара на Москву с фланга. Поэтому отступление из города не предусматривается ни в каком случае. И строить оборону мы будем в несколько рубежей, на всю возможную глубину. Первый рубеж пройдет у нас в двух — трех километрах от городской окраины, вот тут... — Генерал нагнулся над столом и, водя толстым пальцем, стал показывать по плану города.

— Поймите-ка, товарищ генерал, — громко сказал Ласточкин, — а Новый поселок вы не собираетесь защищать?

— Не придется, Яков Захарович, не выгодно. — Дьяков сощурился. — Слишком уж он вынесен за черту города. Танки его легко обойдут...

Ласточкин, нахмурившись, склонился над планом. Он очень хорошо знал эту косую сетку кварталов, параллелограммы заводских корпусов, квадратики школ и больниц, овалы стадионов, прямые линии проспектов. Дуга реки отсекала на востоке большой район — один из самых старых в городе, насчитывавшем около девятисот лет существования; когда-то этот район назывался Кузнецкой слободой, и многие улицы там по сию пору сохранили свои давнишние наименования: Дульная, Штыковая, Пороховая, Курковая, Ствольная. На другом берегу реки, почти в центре города, находился древний каменный Кремль, не раз упоминающийся в истории государства, и старинный собор... Когда Ласточкин четыре года назад, приехав сюда, впервые развернул этот план, на нем не было многого, что имелось теперь. Город быстро разрастался, выбрасывая во все стороны свои аванпосты, и на плане, лежавшем сейчас перед Ласточкиным, были обозначены новые скопления построек на юге, на юго-востоке, на севере. Отсутствовавшие ранее магистрали связывали их ныне с центром, и зеленые пятна молодых насаждений были нанесены там, где недавно

желтели бесполезные пустоши. Сколько ночей он, секретарь обкома, провел здесь, в своем кабинете, обсуждая с товарищами вопросы строительства этого большого промышленного города! И сколько труда, забот и творчества потребовалось от многих советских людей, чтобы на плане появились новые фабричные здания или новые жилые дома! Вот и поселок, о котором шла сейчас речь, построенный только в минувшем году. Ласточкин недавно еще следил, чтобы шахтерские квартиры там были светлыми, просторными, чтобы архитектурный ансамбль радовал глаз, не раз приезжал туда на строительство. И он не мог примириться с мыслью, что через два — три дня там, быть может, начнут уже хозяйничать враги.

— Сил у нас мало покуда, — пояснил Дьяков. — И держаться за этот отдаленный пункт нам не с руки.

Ласточкин помолчал, сознавая правоту генерала и перебарывая себя.

— Продолжайте, прошу, — сухо проговорил он после паузы.

— Первый рубеж обороны держат у нас к западу от города стрелковые части, отошедшие в этом направлении, — продолжал Дьяков, снова показывая по плану. — Левее их, на Орловском шоссе, стоит полк НКВД. Чекисты уже закрепляются там. Еще левее, вот тут, от высоты двести двадцать пять до Мышкинского Поселка включительно, займет позиции рабочий полк. На рассвете сегодня он выступает. Бронебойщики выдвинуты вот сюда и сюда. Кстати, не подкинете нам еще бронебоек, Яков Захарович?

— Дадим бронебойки... Мы уже занялись этим.

— Вот и добре. А в домах на окраине я посажу истребителей с гранатами, с бутылками... Второй рубеж обороны пройдет у нас по улицам Тургенева и Ремесленной, третий — от железнодорожного моста к Стремлянной улице. Танкам на улицах труднее приходится, чем в поле, маневр их в городских условиях сильно стеснен. Грешно было бы этим не воспользоваться.

Дьяков докладывал не просто спокойно: он улыбался, щуря умные глаза, лукаво поглядывая на слушателей. И казалось, чем тяжелее было положение, тем бодрее становился этот человек, точно веселый бес предприимчивости и отваги вселялся в него тогда.

— Второй и третий рубежи занимают у нас войсковые части, сосредоточенные в городе. Вот так... Вот здесь, — показывал он. — В случае прорыва первого укрепленного пояса мы встретим немцев на втором, на третьем... И далее, мы превратим город в систему укрепленных узлов, взаимодействующих между собой, приспособленных к круговой обороне. Но только, Яков Захарович, я уж вас попрошу: надо поторопиться с эвакуацией населения. Желательно также, чтобы вы лично перебрались куда-нибудь в северную часть города. Вы ж тут на направлении главного удара противника, так сказать...

Ласточкин ответил не сразу. Действительно, было настоятельно необходимо перевести Комитет Оборона в такое место, где бы ему не угрожали первые же выстрелы немецких танков. Но Ласточкин с большой неохотой шел на переселение из дома, знакомого в Т. каждому жителю.

— Пока еще острой необходимости в нашем переезде я не вижу, — недовольно возразил он.

— Заблаговременно лучше бы все организовать, Яков Захарович, — сказал Дьяков.

Неожиданно стукнула дверь, отлетела в сторону портьера, и в комнату быстро вошел высокий молодой полковник в шинели и фуражке войск НКВД.

— Здравия желаю, товарищ генерал! Простите, Яков Захарович, задержался немного, — звучным голосом сказал он. — Разрешите сесть?

Ласточкин кивнул головой, вопросительно глядя на полковника; тот опустился в свободное кресло у стола, снял фуражку и размашисто провел ладонью по лбу.

— Ну-с, огонь на автобазе ликвидировали. Там оставался еще бензин в бочках, он и запылал, — сообщил полковник. — Сгорел дом номер три по Тимирязевской. Есть жертвы. Двух бойцов пожарной команды, Самойлова и Горбенко, тоже пришлось отправить в госпиталь...

— И ведь вот что неладно, — вмешался в разговор блондин в синем френче. — Сегодня какие-то мерзавцы осветили во время налета город. Что скажешь по этому поводу, Добровольский?

— Пока скажу лишь, что мы напали на след диверсионной группы, переброшенной через фронт... С автобазы я поехал на товарную, — продолжал полковник, —

там состав с продовольствием разбомбило... И мне донесли, что какие-то люди грабят вагоны.

— Я и говорю, следует поторопиться с эвакуацией населения, — сказал Дьяков. — За свой тыл надо быть спокойным... Это — первое дело. А в большом городе всегда найдется темная публика...

— Кто же эти люди, о которых вам донесли? — спросил Ласточкин.

— Несколько человек мы задержали, — ответил полковник. — Кое с кем я побеседовал... Говорят: «Зачем немцам добро оставляете? Почему своим не отдаете? Лучше нам, чем Гитлеру...» Говорят: «Приказ есть, чтобы со складов все населению раздать».

— Провокации в чистом виде, — сказал плотный блондин. — Фабрика слухов... Это тоже по твоей части, Добровольский.

— Кто эти люди? — повторил Ласточкин.

— Разные люди: дамский парикмахер, кассирша из хлебного магазина, кустарь из артели «Металлоремонт», домашняя хозяйка Власова, бойкая такая, — полковник усмехнулся, — живая старушка...

— Плохо работаем, — сказал с внезапной резкостью Ласточкин. — Безобразно работаем... Это мы с вами позволяем каким-то мерзавцам обманывать наших людей, мы либеральничаем с распространителями панических слухов! Товарищ Добровольский, вы разберитесь, кого там задержали... Тут, мне кажется, не столько наказывать, сколько разъяснять надо...

— А это по твоей части, Шаров, — полковник посмотрел на блондина во френче, — разъяснять тебе придется...

— Это по нашей части, — поправил его Ласточкин. — По партийной части...

— Понятно, товарищ председатель! Мне из всей компании один парикмахер не нравится... Его я попридержу пока, — сказал Добровольский.

Где-то неподалеку, на улице, хлопнул одинокий выстрел, и люди, сгруппировавшиеся у стола, повернулись к занавешенным окнам.

— Мы слушаем вас, товарищ генерал, — сказал Ласточкин, — простите, что прервали.

Дьяков положил на план свою большую руку.

— Главное сейчас — это артиллерия, Яков Захаро-

вич, — снова начал он. — А ее у меня немного. Я и решил, что большого греха не будет, если мы зенитки против танков поставим.

— Поддерживаю ваше решение, — сказал Ласточкин.

— Да вот с зенитчиками конфликт у меня получился, — продолжал Дьяков. — Начальник ПВО полковник Лукьянов мне не подчинен. И я уже докладывал вам, какой он линии придерживается.

— Да, да, я вызвал его. — Ласточкин нажал кнопку на столе и, когда в дверях показалась секретарша, сказал: — Полковник Лукьянов здесь? Пригласите его.

В ожидании начальника ПВО все замолчали. Ласточкин опять наклонился к плану города, электрический свет блестел на его выпуклом, слегка вспотевшем лбу, на вьющихся мягких волосах.

В кабинете почти неслышно появился новый командир — худошавый, подтянутый, с подстриженными щечками полуседых усов, в пенсне без оправы. Ровным, не быстрым, но и не медленным шагом он прошел к столу председателя.

— Здравствуйте, товарищ председатель Комитета Обороны, — без улыбки, официально поздоровался он. — Здравствуйте, товарищ генерал!

Ласточкин поднял голову, протянул полковнику руку, молча указал на свободное место и, когда тот сел, негромко проговорил:

— Товарищ Лукьянов, нас интересует только один вопрос: почему вы не выполняете приказов начальника боевого участка?

Полковник помолчал секунду, покосился на Дьякова, весело улыбнувшегося ему, потом спокойно ответил:

— Разрешите объяснить: я нахожусь в подчинении командования ПВО округа...

— Отныне вы находитесь в подчинении Комитета Обороны города, — не повышая голоса, перебил его Ласточкин, — и будете получать приказы от генерал-майора Дьякова.

— Попрошу согласовать это с моим командованием, — сдержанно сказал Лукьянов. — Мною уже направлен запрос, но ответа я пока не получил.

— Будет согласовано, не тревожьтесь.

Полковник опять помолчал: стекла его пенсне холодно сияли.

— Товарищ председатель, вы ставите меня в затруднительное положение. — Он оставался все таким же официально-бесстрастным, но левое веко у него начало дрожать. — Я, и только я отвечаю перед моим командованием за действия вверенной мне части.

Ласточкин, хмурясь, рассматривал полковника. Неоднократно ранее встречаясь с Лукьяновым, он неизменно убеждался в том, что это знающий, педантически исполнительный командир; зенитная оборона города заслуживала по праву высоких похвал. Но, видимо, ее начальник был чрезмерно педантичен, не отваживаясь поступать так, как требовала сейчас величайшая напряженность обстановки, и это удивило Ласточкина. Он пристально оглядел своего собеседника, его тщательно приглаженные волосы, аккуратную шинель, сероватое, бледное лицо.

— Мы с вами отвечаем сегодня за оборону города, прикрывающего дорогу на Москву, — сказал он громче.

— Я отвечаю за противовоздушную оборону города, — поправил его Лукьянов. — И мои задачи указаны в инструкции, коей мне и надлежит руководствоваться.

— Считайте инструкцию больше необязательной для себя, — прервал его Ласточкин.

Полковник не пошевелился, но веко его подергивалось все сильнее; только это и указывало на жестокую, видимо, борьбу, происходившую в нем между привычкой к неукоснительному исполнению предписаний своего начальства и требованиями действительности, не предусмотренными в предписаниях.

— Товарищ председатель Комитета, — заговорил он снова, — мне не совсем ясно... По какому уполномочию?..

Ласточкин гневно хлопнул по столу ладонью.

— По уполномочию рабочего класса! — зазвеневшим голосом крикнул он и тут же, овладев собой, проговорил: — Я действую по указаниям Государственного Комитета Обороны...

Лукьянов медленно поднялся со стула; Богданов, сосредоточенно все время слушавший, тоже невольно встал. В комнате было очень тихо... На худом с коротенькими щеточками усов лице Лукьянова выступили красные пятна.

— Вы удовлетворены, товарищ полковник? — спросил Ласточкин.

— Слушаю... — тихо ответил Лукьянов. — Разрешите выполнять?

Ласточкин повернулся к Дьякову.

— Товарищ генерал, переговорите с полковником, — сказал он. — Мы прервем заседание на десять минут...

Дьяков, молодцеватый, осанистый, одарил Лукьянова своей самой широкой и благожелательной, но в глубине сужившихся глаз насмешливой улыбкой.

— А мы сейчас и потолкуем, сейчас, — отозвался он, поднимаясь с кресла. — Вот там, на диванчике, присядем и потолкуем. — Он взял Лукьянова под локоть и повел в угол комнаты. — Мы с вашими пушечками такого тут понаделаем, товарищ полковник!.. Хорошие же пушечки, скорострельные! И калибр подходящий... Богданов, идите-ка сюда!

Они сели втроем на диван. Богданов одобрительно и благодарно смотрел на председателя Комитета Оборона; ему очень понравился этот человек, все поведение которого так совпадало с его собственным душевным состоянием. К Ласточкину подошла секретарша, что-то сказала, и он кивнул головой.

Дьяков заговорил о том, как можно использовать зенитки в борьбе с танками, и Богданов, слушая генерала, только скользнул взглядом по людям, кучкой вошедшим в кабинет. Их было человек пятнадцать, в том числе две или три женщины. На спинах у некоторых висели вещевые мешки, кое у кого на поясах, надетых поверх пальто, желтели новенькие кобуры револьверов. Люди сели все вместе, рядышком, и Ласточкин, выйдя из-за стола, подошел к ним. Он вначале о чем-то расспрашивал то одного, то другого, потом его напряженный голос зазвучал громче, и Богданов отвлекся от беседы Дьякова с Лукьяновым.

— Вы все, работники обкома, уходите сегодня из своих отделов в боевые подразделения, — проговорил Ласточкин. — Большого успеха вам на ваших новых постах политруков и комиссаров!..

Он стоял посередине комнаты, держа в левой опущенной руке забытый карандаш и коротко взмахивая правой. Гимнастерка топорщилась на его спине; плоская кобура «ТТ» оттягивала на боку узкий потертый ремешок. И опять что-то студенческое, рабфakovское, порывистое почудилось Богданову в его облике.

— Задолго до войны Центральный Комитет партии поручил нам превратить наши заводы в неприступную крепость большевизма... В крепость большевизма, — раздельно повторил Ласточкин. — Ныне настала пора решающей проверки того, как мы выполнили этот наказ... И вы все знаете, товарищи, каким сегодня стал наш город, мирный старый город металлистов, кузнецов, доменщиков, шахтеров. Люди соперничают между собой за честь получить в свои руки винтовку; они тысячами поднялись на строительство укреплений, перегородили улицы баррикадами, как делали отцы их. И каждая улица у нас... — Ласточкин на мгновение умолк. — Вспомните, как они называются: Штыковая, Пороховая, Дульная, Замковая, — каждая наша улица стала боевым рубежом... Не может быть сомнений в том, что наш город — славная цитадель русского рабочего класса — устоит перед новым нашествием, как устоял в девятнадцатом году. И наши окраины, наши улицы станут могилой для фашистских захватчиков.

Он заметил вдруг в руке у себя карандаш и швырнул его на стол.

Люди, поднявшись со своих мест, обступили Ласточкина, слышались короткие восклицания, вопросы, призывы, пожелания...

— Яков Захарович! — прокричал кто-то. — В шесть утра рабочий полк выступает.

— Обязательно приеду, провожу вас, — сказал Ласточкин.

Когда спустя полчаса Дьяков и Богданов также собрались уходить, секретарь обкома беседовал уже с группой инженеров, пришедших с одного из заводов.

Он не обнаруживал никаких признаков утомления, лишь испарина выступила на его порозовевшем лице. Прощаясь с Дьяковым и Богдановым, он крепко, с силой пожал им руки.

Снова появилась секретарша и остановилась в дверях.

— Яков Захарович, — сказала она более громко, чем обычно, — Москва на проводе.

Ласточкин быстро взял трубку и поднял левую руку, призывая к тишине.

Из Москвы с ним ежедневно теперь говорили секретари Центрального Комитета партии, члены Государственного Комитета Обороны, члены Политбюро... Ласточ-

кин докладывал о положении в городе и в области, выслушивал указания и советы. Беря трубку телефона, он испытывал сейчас то же, что и солдат в бою, когда он замечает на себе внимательный взгляд командира, готового каждую минуту придти на помощь советом или приказом.

6

Рабочий полк, спешно сформированный из сведенных воедино истребительных батальонов и отрядов народного ополчения, находился еще в городе, в здании механического техникума. Но уже был получен приказ о выступлении полка на позицию, и Павел Громов, возвращаясь к себе во взвод от командира батальона, пробираясь по коридорам, загроможденным школьной мебелью, думал о том, что завтра, быть может, ему придется повести своих людей в бой. Он очень смутно представлял себе, как это произойдет, и был не то что встревожен, но озадачен. Самая близость боя — первой встречи с врагом — вызывала в Павле не страх, а жаркое нетерпеливое чувство. Но он сегодня, к полной своей неожиданности, вступил в командование целым взводом, и это озаботило его.

Правда, Павел проходил в свое время военную подготовку. Он умел владеть гранатой, научился стрелять из пулемета, участвовал в занятиях по тактике и все же предпочел бы пока оставаться рядовым.

Однако в полку, формирование которого, строго говоря, еще не было вполне закончено, не хватало обученного младшего командного состава. И всего лишь несколько часов назад он, Павел Громов, штатский человек, инженер-конструктор, был поставлен во главе подразделения, насчитывавшего тридцать восемь вооруженных бойцов, за которых он и нес теперь полную ответственность.

«Надо будет почаще с товарищами советоваться», — думал Павел, как думал он во всех затруднительных случаях жизни. И ему было особенно приятно, что во взводе, которым он теперь командовал, находились два его давнишних приятеля: Егор Трошин, доменщик, сменный инженер, и Иван Боков, токарь того же завода, где работал Павел. Впрочем, нельзя было сказать, что он убоялся сложности обязанностей, так скоропалительно возложенных на него. При всей своей озабоченности он

испытывал в глубине души любопытство к тому, что у него в новом положении получится. И его разбирало желание поскорее приняться за дело, проверить свои силы, полная мера которых была ему еще неизвестна.

Взвод Павла занимал один из классов на втором этаже большого четырехэтажного дома техникума, до отказа набитого сейчас бойцами. Даже кое-где в коридорах — на полу, на столах — можно было увидеть лежащие фигуры и прислоненные к стенам винтовки.

Подходя к своему классу, Павел увидел политрука роты Елисеева, пожилого уже, лет под шестьдесят человека. Елисеев разговаривал с небольшой группой бойцов, расположившихся на стульях, на полу, и до Павла донеслось:

— ...Каждый из вас, товарищи, отвечает за выполнение боевой задачи в целом. Однако этим не исчерпываются наши с вами обязанности. И правдивое слово, душевное слово, сказанное товарищу на отдыхе, в походе, в бою, имеет большое значение.

Замедлив шаг, Павел прислушался. Он давно знал Елисеева, работавшего в управлении завода, в плановом отделе, встречал его на партийных собраниях, но близко они не были пока знакомы.

— И еще, товарищи! — продолжал Елисеев. — Какими бы хорошими агитаторами и пропагандистами вы ни были, вы ничего не сумеете сделать, если не покажете личного примера отваги.

Павел невольно перевел взгляд на людей — взводных агитаторов, сидевших тесной кучкой перед Елисеевым. Молча, внимательно слушали они политрука; боец с тонким красивым лицом в замасленной черной кепке кивал головой, как бы подтверждая сказанное Елисеевым. Молодой литейщик Свешников из взвода Павла быстро писал карандашом в тетради, лежавшей у него на коленях. Все выглядело деловито, буднично, как на летучем совещании в цехе...

Елисеев, заметив остановившегося неподалеку Павла, оборвал свою речь и подошел к нему.

— Надо мне обязательно потолковать с вами, товарищ Громов, — начал он, — да, видно, сегодня уж не поспеем... Скажу пока одно: у вас во взводе очень хороший народ, я там многих еще по истребительному ба-

гальону знаю. Обратите внимание на Щукина, командира отделения, на доменщиков Чекина, Михайлова, на шахтера Анисимова... Мне кажется, что вам есть на кого опереться, — заключил он, будто догадываясь о том, что тревожило Павла. — Ну и, разумеется, со всеми затруднениями приходите, не смущаясь, ко мне. Подумаем вместе, посоветуемся...

— Спасибо, товарищ политрук, — поблагодарил Павел.

— За что же? — серьезно, без улыбки сказал Елисеев.

Он вернулся к бойцам, и Павел заспешил по коридору, рывком открыл дверь в класс, но тут же раскаялся в этом, подумав, что люди, наверно, уже спят. Был двенадцатый час ночи; иные из бойцов действительно спали, расстелив на полу одеяла, прикрывшись пальто, другие просто лежали, покуривая. Иван Боков, дневальный, сидел у двери на единственном в комнате стуле, засунув руки в карманы брюк и свесив на грудь кудрявую голову. При появлении Громова он только покосился на него, молча, одними глазами спрашивая о новостях.

— Утром, Ваня, — тихо сказал Павел, наклонившись к Бокову, — утром выступаем...

Кто-то лежавший поблизости быстро приподнялся, ожидая, что еще скажет командир. Но тот медленно, стараясь не шуметь, двинулся по узкому проходу среди спящих к своему месту в углу, и боец проводил его долгим, пристальным взглядом.

Павел снял пальто, шапку, поискал глазами, куда бы их пристроить, и кинул на одеяло. Затем он сел, вытянув на полу длинные ноги в охотничьих сапогах. Боков, восторженно вскрикнув, вдруг вскочил со стула, торопливо пересек комнату и опустился на одеяло рядом.

— Знаешь, кого я встретил сегодня? Петра Кириллыча, — сказал он.

— Что ты говоришь? — удивился Павел.

— Орлова, Петра Кириллыча. Он же тут, рядышком и живет... Помнишь, мы к нему на квартиру ходили, машину его смотрели?

— Ну, как же! — Павел улыбался, показывая великолепные белые, как молоко, зубы. — Я и потом к нему заглядывал. Я ему многим обязан... Ну, что он?

— Ничего, храбрится. О тебе все расспрашивал...

— Обо мне? — переспросил Павел. — А знаешь, если

бы не Петр Кириллыч, я бы, наверно, по другой специальности пошел.

— Он тебя отличал — это верно...

И Боков начал рассказывать о своей встрече с их общим старым учителем. Но в серых, с расширившимися зрачками, блестящих глазах Ивана было странное выражение: казалось, он ждал от Павла ответа на какой-то вопрос, задать который не решался.

— А когда мы стали прощаться, — продолжал Боков, — Петр Кириллыч сказал: «На вас надежда!» Так прямо и сказал: «На вас надежда!»

Умолкнув, он выжидающе посмотрел на Громова.

— Так и сказал? — Павел положил тяжелую руку на плечо друга; не понимая еще, что происходит с ним, но чувствуя какое-то неблагополучие, он предлагал ему таким образом свою поддержку. — Ну, а ты что ответил? — спросил он.

Боков, будто застеснявшись чего-то, сейчас же переменял разговор.

— Бутылки с горючим когда раздавать будем? — сказал он, опустив глаза.

— На месте, — ответил Павел. — В окопах и раздадим... А то побьют еще дорогой.

Он, не вставая, стащил с плеч пиджак и расстегнул верхнюю пуговицу на косоворотке. В комнате было душно; сладковатый махорочный запах смешивался с запахами сырой одежды и ружейного масла. Двадцатисвечовая лампочка слабо светила, будто тлела в жарком воздухе... Винтовки добровольцев были составлены посреди класса в три пирамидки, и тускло, как в тумане, блестели острия примкнутых штыков, расходившихся в стороны и вверх тонкими, колючими лучами.

— Чудно! — сказал Павел. — И как-то противоестественно. Мы же с тобой когда-то учились тут... В этом самом классе часто бывали...

Боков придвинулся к Павлу и со смущенным видом, глядя снизу вверх, произнес:

— Не будешь смеяться? Я вот тоже думал: надо закрыть, а потом открыть глаза... И все обернется, как было... Чисто, светло и портреты на стенах. И мы с тобой, как двенадцать лет назад.

— А верно, куда портреты убрали? — поинтересо-

вался Павел. — Тут Кулибин, я помню, висел... Бородач такой...

— И Ломоносов был, — сказал Боков.

— Ага, и Ломоносов...

Павел участливо оглядел Ивана. Тонкий, гибкий, с белокожим лицом, такой кудрявый, что его светлые, кольцами свисавшие на лоб волосы казались завитыми, он выглядел не то измученным, не то больным. Можно было подумать, что Ивана лихорадило — так блестели его большие красивые глаза.

— С Мариной простился, Ваня? — спросил Павел, понизив голос. — А то отпусков больше не предвидится.

— И хорошо, что не предвидится... И прекрасно! — с непонятной горячностью сказал Боков.

Он быстро и резко закивал головой, волосы упали ему на глаза, и он отбросил их.

— Что так? — удивился Павел.

— Каждый раз, когда видимся, прощаемся навеки. Хуже всего это... И отлично, что выступаем.

— Молодец, кудряш! — рассеянно проговорил Павел, думая уже о Наташе.

Его охватило вдруг желание приобщить ее к тому, чем так полно и взволнованно жил теперь он сам. И хотя разумно было, что она сейчас, как думал Павел, находилась далеко отсюда, а затем по его совету поедет в глубокий тыл, он смутно пожалел об этом. Он огорчился не только потому, что давно не видел жену, но в какой-то мере и за нее самое, точно она по сравнению с ним была несправедливо обойдена. Крупное, резко очерченное лицо его с выпуклыми надбровными дугами, с крепкими скулами, с прямым носом, лицо, на котором так легко читалось каждое душевное движение, стало задумчивым и виноватым.

«Нет, нет, это хорошо, что Наташа уедет подальше, в тыл», — мысленно убеждал он самого себя. И в то же время ему казалось, что его собственная судьба была много завиднее, невзирая на все опасности.

Боков нетерпеливо ждал, пока Павел заговорит.

— Что с тобой? — спросил он.

— Нет, ничего, — очнувшись от задумчивости, ответил Павел. — Ну, брат, теперь держись! Драться — так драться.

— Давно пора, — подтвердил Боков.

— Дальние проводы — лишние слезы, верно?

— Точно! Одна волюнка! — громко, с какой-то отчаянной лихостью сказал Боков.

Павел внимательно посмотрел на товарища. Тот с вызовом встретил его взгляд.

— Ладно, кудряш, ты не переживай слишком, — сказал Павел. — Давай о деле. Егор спит уже?

— А что? Я не переживаю, — сказал Боков.

Неподалеку под серым в стрелку пальто зашевелилась рыжеватая, коротко остриженная голова.

— Заснешь тут, — раздался невнятный голос. — Ходят все время, стучат, разговаривают.

— Давай поднимайся, друг, — позвал Павел.

Егор Трошин откинул пальто и сел, недовольно осматриваясь. Он был в белой чистой сорочке, открывавшей короткую полную шею. На его покрасневшем веснушчатом лице с белесыми ресницами виднелись полосы от вещевого мешка, служившего подушкой.

— Я уж и так и этак... И до ста считал и песни из кинофильмов вспоминал, — пожаловался он.

Павел достал из кармана пиджака бумажку, развернул ее на колене и прикрыл широкой ладонью.

— Слушай, рабочий класс, — сказал он.

Трошин переполз к нему на одеяло; теперь все трое сидели рядом, касаясь друг друга плечами.

— Приказ есть, — гулким шепотом продолжал Павел. — Боевой приказ... Утром занимаем рубеж обороны, — и он поглядел на друзей с таким видом, точно спрашивал: «Как вам это нравится?»

— И прекрасно, что занимаем, — повторил Боков.

Павел взял с колена бумажку.

— Тут я себе записал для памяти, — сказал он, пробега глазами карандашные строчки.

На бумажке, вырванной из записной книжки, значилось: «1. Выделить связного в роту; 2. Получить саперные лопатки; 3. Получить санитарные пакеты; 4. Проверить оружие...»

— Оружие у вас в порядке? — спросил Павел.

— В порядке, — отозвался Иван, кивнув головой.

Павел стал читать дальше:

— «5. Получить дополнительно гранаты; 6. Провести беседу о борьбе с танками...» Ребята, — сказал он, — объяснять мне вам нечего. Но чего поначалу не

бывает. Невоенные мы все люди, необстрелянные, семейных много. Агитатором у нас во взводе выделен Свешников, литейщик...

— Крепкий парень, я его знаю, — сказал Трошин.

— Но и нам не придется стоять в стороне от массовой работы. — Павел оглянулся и еще понизил голос: — Может, завтра уже и драться будем. И я вас товарищески прошу: помогите, чтоб никто ни шагу назад...

В комнате стало теперь еще темнее. В четверть накала горела наверху красная огненная петелька в стеклянной груше. Отовсюду слышались посапывание, сонное бормотанье, храп. Какой-то паренек с черной цыганской головой, разметавший в стороны руки, звонко чмокал во сне. Но и в этот поздний час не все еще во взводе уснули: кто-то в углу закуривал папиросу от папиросы, кто-то лежал, вперив в потолок открытые неподвижные глаза.

— Хорошо, если б завтра! — тонким голосом сказал Боков.

— Придется действовать личным примером, — горячо зашептал Павел. — И, между прочим, разъяснить каждому: от танка не бежать ни в коем случае. Это первый закон. Спокойно с бутылкой или с гранатой жди его приближения, спокойно целься из винтовки в смотровую щель. Танк не опасен, если ты его не испугался. Он же полуслепой, а боец его видит хорошо.

— Ты, Паша, это по личному опыту установил? — тихо, с напускной кротостью осведомился Трошин.

— А мы это проверим скоро, — решительно ответил тот.

Трошин неопределенно повел головой. Он всегда немного завидовал Павлу: его избыточной и так естественно, так непринужденно изливавшейся энергии, силе, жизненной радости. С давних, школьных лет еще зародилось в Егоре это чувство, в котором было и восхищение, и привязанность к Павлу, и невольное раздражение: слишком уж много всего было тому отпущено. Бледно-голубые в бесцветных ресницах глаза Егора насмешливо сузились.

— Помнишь, Паша, как мы мальчишками еще планер твоей конструкции на Воздвиженской горке запу-

скали? «ПГ-2» твой знаменитый? — сказал он. — Помнишь, как мы опростоволосились там все трое?

Павел удивленно посмотрел на Трошина, но тут же улыбнулся. Эта позабытая уже им затея с планером кончилась тогда довольно плачевно: несовершенный аппарат, на котором он собирался подняться в воздух, кувыркнулся и разбился, не оторвавшись от земли.

Трошин, поглядев на Павла, не выдержал и тоже заулыбался. И хотя в годы, последовавшие за окончанием училища, они уже не часто встречались — Павел поступил в институт в Москве, Трошин уехал на Урал и оттуда вернулся с дипломом, а Боков остался в родном городе, так и не получив высшего образования, — они все трое были крепко связаны тем, что равно принадлежало каждому, — их совместно прожитой юностью. И это сделало их, совладельцев давнего счастья, навсегда близкими друг другу, как бы ни складывалась их жизнь в дальнейшем...

— Я тогда и с Мариной подружился, — оживившись, проговорил Боков. — Иду это я с Воздвиженской, рубаха до пупа разорвана. Беда, думаю, наклепает мне батя. Увидела она меня, повела умываться, зашила рубаху. Пожалела, стало быть...

— Хороша она у тебя, — неожиданно мягко сказал Трошин. — Я помню, когда она еще в фабзавуч ходила. Тихая такая была и тоненькая, как камышинка.

— Мой отец только, бывало, поглядит на меня, — с удовольствием проговорил Павел, — «Голова цела еще, Аника-воин?» — спросит...

Они снова помолчали, вспоминая об одних и тех же годах. И то, что они сидели сейчас рядом, ощущалось каждым как добрый подарок судьбы. Было хорошо и естественно, что они все трое, вровень, голова в голову очутились перед испытанием, труднейшим в их жизни. И самое это испытание казалось им теперь легче, потому что, пока они были вместе, каждый чувствовал себя сильнее.

— Не захотел уезжать старик, представьте себе, — пожаловался друзьям Павел. — Так и не уломал я его.

— А не забыл, как мы в Китай решили ехать, — спросил Трошин, — в партизанские районы, на помощь Чжу Дэ?.. Как он там справляется без нас, не пойму!..

— Помню, как же... Денег только не могли сколотить на билеты, — отозвался Павел.

Боков пододвинулся к нему.

— Марина. вам обоим привет передавала, — сказал он. — Она словно бы поспокойнее стала, узнав, что вы тоже здесь...

— Ей кланяйся, — попросил Трошин. — И почему ты не отправил ее куда-нибудь?

— Каждое утро собирает чемодан, каждый вечер опять раскладывает. Жалко ей меня оставлять, — тоскливо ответил Боков.

— А знаете? — Павел поерошил свои густые, торчком стоявшие волосы. — Чудесно мы все жили, замечательно жили! И не так уж легко нам было, если вспомнить.

— В институте стипендии явно не хватало, — заметил Трошин с обычной для него нарочитой серьезностью.

— Да и потом приходилось рассчитывать от получки к получке.

— У меня Марина ни в чем не нуждалась, — сказал Боков. — Я по две, по три нормы давал. Я, знаете, как зарабатывал!..

— И все-таки богаче нас не было никого в мире, — продолжал Павел. — Каждый из нас чувствовал себя, словно у него миллион в кармане. И правильно, так оно, по сути, и было. Мы просто рассуждали, как люди, у которых на очереди гораздо более важные расходы: пятилетки, индустриализация, Сталинградский тракторный, Магнитогорск...

Павлу стало жарко: он расстегнул все пуговицы на рубашке и распахнул воротник, обнажив белую, слегка курчавую грудь.

— Обидно отчасти, — сказал Трошин. — Мы только-только новую печь собирались ставить, экспериментальную, на кислородном дутье.

Все трое рассказывали о своем, о личном, но, как это бывает у очень близких людей, им представлялось, что они связно беседуют об одном и том же. И мало того, их беседа давно уже, казалось, не была такой содержательной, хотя каждому удавалось высказать лишь немного. Но за всем, что говорилось ими сегодня, стояла многолетняя общность жизненных целей, надежд, мечтаний. Поэтому и не в своих словах каждый как будто слышал и о себе то именно, что не сумел сказать сам.

— Мы же все счастливые были, — снова начал Павел. — И сейчас, поверите ли, ребята, я, несмотря ни на что, тоже счастлив. Это не то слово, разумеется. Горд, что ли? Нет, не могу найти слова.

— Жаль, что ты не успел построить свой станок, — вполне серьезно на этот раз проговорил Трошин. — Идея была у тебя знаменитая.

— Жалко, конечно. Идея, положим, была у меня простая — кодовое реле, — но конструкция довольно сложная. Я ведь хочу, чтоб станком можно было управлять так же легко, как набирают номер по телефону-автомату. — Павел тряхнул головой. — Да, черт возьми, жалко!

У окна зашевелился человек, откинул ватник, которым был укрыт, встал и, видимо, еще не совсем проснувшись, спотыкаясь, как слепой, пошел к выходу. Из открывшейся двери потянуло холодным воздухом, коснувшись лица Павла, его открытой груди.

«Скоро утро, — подумал он, — утро, выступление, бой...»

И будто что-то горячее, обжигающее поднялось в нем и разлилось по всему телу. Если б теперь ему сказали, что боя не будет, что враги отошли, уклонившись от встречи, он был бы разочарован.

Боков, посмотрев на дверь, поежился, точно его знобило, и сунул сложенные руки между колен.

Кто-то быстро прошагал по коридору, щелкая на ходу затвором винтовки. Молодой парень с цыганской головой сел на полу, что-то невнятно пробормотал и улегся снова. Казалось, дуновение внезапной тревоги прошло по этажам большого дома, в котором две тысячи человек проводили свою последнюю перед выступлением ночь. И опять стало тихо.

— Все закономерно, друзья! — твердо сказал Павел; голос его низко рокотал, крупное скуластое лицо точно отяжелело. — Разве мы не знали, что рано или поздно мы опять насмерть схватимся с капитализмом? И это потому, что самое наше существование, один факт нашего существования страшен капитализму...

Светлые в глубоких костистых орбитах глаза Павла блестели так ярко, что казались увеличившимися. Он вытянул перед собой руки.

— Мира и счастья всем народам! — проговорил он

негромко, сдавленным баском. — Только этого и хотят коммунисты — мира и счастья.

Он обнял вдруг друзей за плечи, крепко стиснул и отпустил.

— Товарищи мои! Вы люди середины двадцатого века, вы люди века революций. Это черт знает как много! — Павел опять улыбался. — Мы детьми еще мечтали о том, чтобы поехать на помощь к Чжу Дэ. А потом хотели помочь Испании!.. И как мы волновались за нее, как завидовали бойцам интернациональных бригад и нашим летчикам, сражавшимся там. И никогда мы не забудем ни Мадрида, ни всех этих названий: Арагон, Кастилья, Астурия, Гвадалахара. И никогда не простим того, что фашизм сделал с Испанией. Прекрасная же, должно быть, страна? А филиппинцы — тоже хороший народ. А Сакко и Ванцетти, а негритянские юноши из Скотсборо! Словом, ребята, капитализм — это преступление против человечества!

— Правильно, Паша! — подтвердил Боков.

— Эх, и крута гора, да миновать нельзя! Так, что ли, твоя тетка говорит? — сказал Трошин.

Он легко хлопнул Павла по руке, ласково глядя на него. Обычно этим у Трошина и кончалось: как ни противился он внутренне подавляющей силе своего друга, он не мог в конце концов не поддаться его бескорыстному, доброму напору.

— Вот-вот... Никак не минувешь, — Павел опять запустил пальцы в свои волосы. — Вы прикиньте только, вы прикиньте: после первой мировой войны одна шестая мира стала социалистической... Посмотрим еще, чем кончится эта война...

Боков резко переменял позу и оперся на выпрямленную руку; витки волос упали ему на глаза, но он как будто не заметил этого.

— Мне за Марину было боязно, ребята, — торопливо, сбивчиво заговорил он. — Одна она у меня... Я и учиться дальше из-за нее не стал... Да что говорить! Я ей всю получку отдавал до копейки. А за себя я разве переживаю? Только я озлился, ребята! Я гадов зубами рвать буду...

— Из винтовки результативнее, — сказал Трошин. — Ты больше на технику опирайся.

— Вот ты о чем, Ваня! А я-то думал, что с тобой такое... — сказал Павел.

— За себя я не боюсь, — повторил Боков с силой, точно возражая кому-то. — А если что и случится со мной... Ладно, не пропадет Марина. Не в лесу останется, не в пустыне Кара-Кум, верно?

Павел смотрел на Ивана, как будто говорил ему: «Чего нам бояться? Сам посудите...»

В комнату вернулся боец — тот, что недавно выходил. Постояв в дверях, зевнув, он пошел не на свое место, а направился к Павлу.

— Покурить не найдется, товарищ командир? — попросил он.

И не дожидаясь ответа, уверенный в том, что ему не откажут, он опустился на корточки, сутулый, жилистый, длиннорукий, с клочковатой, во все стороны торчавшей бородкой. Пока он сворачивал цыгарку, Павел с интересом рассматривал этого своего бойца: он еще не успел со всеми во взводе познакомиться. Человеку было за сорок, на его темных пальцах выделялись более светлые сероватые ногти.

— Шахтер? — спросил Павел. — Как звать-то?

Боец, прикуривая, закивал головой.

— Анисимов Петр, — сказал он сиплым голосом. — Со второй Южной...

— Бывал я на второй Южной, — сказал Павел.

— Не припоминаю вас, — ответил Анисимов и закашлялся.

Дым от папиросы заволакивал его лицо.

— Служили когда-нибудь в армии? — продолжал расспрашивать Павел.

— Нет, не приходилось, — прозвучало из сизого табачного облака.

— Ну и как чувствуете себя поначалу? Как настроение?

Дым, истаявая, ушел к потолку, и стало видно, что шахтер насмешливо улыбается; один глаз его был полуприкрыт, другой под приподнятой разлохматившейся бровью хитро поблескивал.

— Что это все моим настроением интересуются? — проговорил он. — Точно я баба молодая, право!.. Комиссар батальона сегодня спрашивал, потом корреспондент к нам приезжал, а теперь вы, товарищ командир. А ка-

кое у меня может быть настроение? Безразличное — так я скажу...

— Безразличное? — переспросил Павел. — То есть почему же?

— Как почему? Победа или смерть, — ответил Анисимов, — или они меня, или я их. Только думаю, что скорее я их...

Павел секунду молчал, потом расхохотался; смех у него был отрывистый, гулкий, без раскатов. Вспомнив, что вокруг спят люди, он с трудом подавил его.

Анисимов поднялся с колен.

— Поспать еще, что ли? — проговорил он. — И вам советую, товарищ командир.

Через четверть часа Павел, сняв сапоги, также вытянулся на одеяле. В изголовье он пристроил вещевой мешок; что-то, вероятно, мыльница, выпирало оттуда, и он заложил руки за голову. Рядом ворочался на твердом ложе Трошин; Боков опять сидел на стуле у дверей, одиноко возвышаясь над лежащими. Поглядев на укрывшегося с головой Трошина, на его легонькое серое пальто в стрелку, Павел тихо окликнул:

— Егор! А Егор! Возьмешь завтра свитер у меня. Мне он прямо ни к чему...

Трошин не отозвался, притворившись спящим. Он был недоволен теперь собой за то раздражение против Павла, что испытывал в начале их беседы.

После разговора с Анисимовым возбуждение Павла как-то очень быстро улеглось, и его начала одолевать дремота. Охотно поддаваясь ей, Павел успел все же снова подумать о своей жене. На этот раз она показалась ему такой далекой, точно расстояние между ними бесконечно увеличилось за один последний час. И уже не сожаление о том, что ее нет с ним, а нежность охватила его.

«Наташа, где ты сейчас? Пусть тебе будет легко и спокойно. Это лучше, что ты не приехала сюда. Пусть тебе будет очень легко», — неясно проплывало в его мыслях. Потом, как из сгустившегося тумана, перед ним возник сумрачный облик отца.

«Ах, упрямый старик! Что ты с ним будешь делать?» — подумал с глухим беспокойством Павел.

Стремясь продлить эту встречу с отцом, он еще раз приоткрыл веки. Высоко над собой он смутно различил

огненную красноватую петельку, но не узнал ее теперь. Петелька расплылась в оранжевое лучащееся облако; все вокруг наполнилось его рассеянным мерцанием, и Павел уснул. На лице у него выступило и застыло выражение наивного любопытства...

Когда в пять утра дневальный, сменивший Бокова, разбудил Павла, он снова увидел лампочку под потолком. С непонятым интересом, будто припоминая что-то, он смотрел на нее. И либо воздух в комнате стал чище, либо увеличился накал, вольфрамовая нить в стеклянной капле горела сейчас добела раскаленным ровным светом.

В шесть часов рабочий полк был выстроен во дворе училища. Тесные шеренги батальона, образовывавшие гигантское «П», едва обозначались в предутреннем сумраке. Было безветренно и холодно; не дождь, но пылеобразная влага оседала на лицах бойцов, на одежде, на оружии. Люди поднимали воротники пальто и теснее затягивали ремни. Во взводе Павла лишь один он стоял с открытой шеей, в сдвинутой на затылок шапке. Трошин то и дело поправлял под подбородком кашне; глухо, как из бочки, кашлял Анисимов.

Прозвучала громкая, резкая команда «Смирно!», показавшаяся Павлу такой неожиданно сердитой, что он удивился. Но, вытянувшись, как и полагалось, откинув голову, он испытал глубокое удовлетворение от того, что мгновенно проделал это вместе со всеми. И особое чувство от сознания себя частицей чего-то исполинского и грозного, многообразного и единого овладело Павлом.

По двору быстро прошла к воротам группа командиров и скрылась в серой мгле. Потом снова зазвучали команды, и неподвижная до этой минуты громада, заполнявшая двор, зашевелилась. Послышался дробный стук множества сапог; в глубине двора обрисовался и начал выдвигаться на середину большой слитный прямоугольник. Лишь когда его край поровнялся с Павлом, он различил в колонне фигуры отдельных людей.

Проходил первый батальон; что-то неясно зыбилось над головами добровольцев, над их кепками, картузами, кубанками, треухами — это колыхались примкнутые штыки. В первом батальоне находились главным образом рабочие Станкостроительного завода, среди которых Па-

вел многих знал лично. И ему иногда казалось, что он видит в шеренгах то одного, то другого из своих знакомых. Вот мелькнул молоденький нормировщик из механического цеха, потом появился на секунду заводской диспетчер, низенький, в меховой круглой шапке. Рядом с ним, выпятив грудь, шагал длинноногий худой парень из литейной. За спинами у всех однообразно покачивались на ремнях винтовки, одинаково и согласно стучали в камень сотни ног.

Неожиданно от ворот донесся новый, высокий, звеневший от напряжения голос.

— Да здравствуют станкостроители! — отдельно слышались слова. — Вперед, металлисты... гвардия... рабочего класса!..

«Гвардия рабочего класса...», — точно кто-то повторил над самым ухом Павла. И он глубоко, всей грудью вдохнул в себя воздух.

Загремело и смолкло ответное «ура!». Первый батальон, ритмично отбивая тяжелый шаг, вытягивался со двора на улицу; вслед ему двинулись роты второго. Впереди в длинной кавалерийской шинели шел комбат, минутно на ходу оглядывавшийся на своих людей. За ним по четыре в ряд шагали истребители танков, это была отборная молодежь: спортсмены — легкоатлеты, городошники. Кое-кого из них Павел знал по именам. Истребители были одинаково одеты — в армейские стеганки и в ушанки; у иных свисали с плеч плащ-палатки. Потом мимо Павла опять потянулись пальто и куртки.

— Да здравствуют славные оружейники! — снова донеслось от ворот. Павел узнал по голосу Ласточкина, секретаря обкома партии. — Вперед, за нашу советскую Родину! Смерть фашизму!..

И по рядам опять покатилося дружное, гулкое «ура-а-а!».

Постепенно светлело, и побледневшие лица людей яснее выступали в шеренгах, резче обозначился на посеревшем небе огромный, черный еще фасад училища. В четвертом этаже неярко просияло одинокое засветившееся окно, точно опустевший дом глянул в последний раз на своих недолгих постояльцев...

Наконец тронулся по команде третий батальон, и Павел пошел впереди своего взвода.

«Так, так, так, так...» — мысленно повторял он про себя, отсчитывая шаги. «Так, так, так, так...» — будто пело в нем что-то. И, ощущая себя необычайно легким, несомым по воздуху, он с изменившимся, радостным, изумленным лицом смотрел вперед на группу людей у входа. Крик, раздавшийся в стороне, заставил его обернуться.

— Паша! Паша! — взывал кто-то бежавший наперерез колонне.

— Петр Кириллыч! — закричал Павел.

Ну, конечно, это был он, Петр Кириллович Орлов — несравненный механик, первый его учитель, давний приятель отца. В черном картузе, какие мало кто носил теперь, высокий, тощий, белобородый, он очень торопился, помахивая вытянутой рукой.

— Петр Кириллыч! — только и успел повторить Павел растроганно. Остановиться он не мог.

— Паша, смотри... не оплошай! — выкрикнул старик тонким голосом. — Слышишь меня: не оплошай!..

Будто что-то схватило Павла за горло. И задыхаясь, сиюсь разомкнуть болезненную спазму, ничего не видя перед собой, он вышел за ворота.

— Да здравствуют шахтеры и металлурги!.. Да здравствуют непобедимые советские люди! — громко, протяжно раздалось сзади.

Лишь пройдя несколько шагов, Павел заметил, что он и его бойцы не одни на улице в этот ранний час. По обе стороны колонны стояли, шли, пробегали женщины, бог весть как узнавшие о выступлении полка. Матери с узелками провизии, жены, прихватившие с собой детей, заплаканные девушки-невесты, старики провожали в бой своих близких. Разыскав их в шеренгах, они следовали рядом, переговариваясь на ходу, напутствуя, благословляя, прощаясь.

— Митя, Леночка тебе кланяется!.. Пишет, доехала благополучно, Митя! — кричала пожилая женщина в сползшем на плечи платке. Отстав от сына, ушедшего вперед, она из последних сил тащила некоторое время около Павла.

И странное дело: темп движения полка убыстрился на улице. Мужчины радовались, узнавая родных и милых, что-то советовали им, в чем-то увещевали, однако все чаще, все быстрее стучали в булыжник сотни ног, точно

сыновья, мужа, женихи торопились вырваться из этой засады любви и слез, подстерегшей их в самом начале пути.

— Сашка, я забыла сказать! Сашка, стой! — прозвучал слабый, отчаянный голосок. И молоденькая в короткой жакетке девушка, задев Павла локтем, бросилась кого-то догонять.

— Стой же... Я хотела тебе сказать... Саша... Саша! — звала она кого-то. И ее голосок потонул в одинаковом, учащенном, похожем на хруст, дробном топоте.

Голова колонны терялась где-то в конце улицы, зажатой между длинными, глухими заборами, строительными площадками, пустырями. И там же, в бесцветной, насыщенной влагой полумгле осеннего утра, исчезали одинокие суетливые фигурки.

Рослая женщина в сапогах, в меховой мужской куртке бежала навстречу колонне. Останавливаясь на секунду, она всматривалась в проходившие ряды и устремлялась дальше. Еще издалека были слышны ее невнятные крики; когда она приблизилась, Павел разобрал:

— Анисимов! Ты где? Не видели Анисимова?

Павел обернулся и взглядом отыскал шахтера. Тот невозмутимо маршировал, не выказывая никакого намерения заявить о себе.

— Твоя, что ли? — не утерпев, сказал кто-то из шагавших рядом.

Шахтер не ответил.

— Анисимов! Да где ж он?.. Анисимов! — тоскливо и зло повторяла женщина.

Только когда она поровнялась с мужем, он приветливо бросил ей:

— Тут я, налицо... Не кричи, Маруся!

Женщина остановилась и в гневе сорвала с головы платок.

— Черт, чтоб тебе!.. — выругалась она и, нагнав миновавшую ее шеренгу, пристроилась к ней. — И не отзываешься... А я тут скачу по всему войску.

— Ну, что у вас? — спросил Анисимов. Он шел третьим от края и вынужден был поэтому почти кричать. — Картошку свезли, не померзла?

— А что ей делается, картошке этой! — с сердцем сказала женщина и неожиданно без перехода заголосила: — Петяша! Куда ж ты идешь?.. Что ж это, това-

рищи!.. Увижу ли глазыньки твои!..— пронзительно жаловалась она, все время забегая вперед, чтобы лучше видеть мужа.

— Перестань, Маруся! — ласково сказал Анисимов.— Как все, так и ты...

Женщина громко, не стыдясь, заплакала. У нее было нестарое еще, с правильными чертами лицо, некрасиво теперь морщившееся.

— Брось, брось, — просил Анисимов. — Ну чего ты? Вот глупая баба! Да я ж вернусь скоро... Сказал, что вернусь!.. Фрицев побьем — и точка.

Ему было, повидимому, и жалко жену и неловко перед товарищами. Те старались делать вид, что ничего не замечают. Но горе женщины было таким откровенно шумным, таким безутешным, что люди хмурились и отворачивались. Только быстрый, согласный топот заглушал иногда ее громкие всхлипывания. Боков, шагавший рядом с шахтером, смотрел в землю, закусив губу.

Анисимов оглянулся на товарищей и почему-то подмигнул им. Потом, вскинув голову так, что на шее выпятился острый кадык, он запел:

— Фрицы близко —
Я боюсь...

Женщина сразу перестала плакать, глядя на мужа мокрыми изумленными глазами.

Проводи меня,
Маруся, —

пропел шахтер сиплым, но приятным тенорком.

В рядах начали улыбаться, сзади послышался облегченный смех.

«Молодец какой!» — с благодарностью подумал Павел. Кто-то обрадованно воскликнул:

— Вот это по-нашему... Люблю за лихость!

— Не скучай, бабочка! Жди с победой! — крикнул кто-то еще.

Женщина забежала вперед и встала, не сводя глаз со своего мужа. Ее заплаканное, мокрое лицо выразило вдруг робкий, но неподдельный восторг. Анисимов, проходя мимо, кивнул ей; растрепанная борода его зазорно торчала над воротником пальто.

— До скорого!.. Береги себя... — попрощался он.

— Петяша! — с тихим восхищением сказала женщина.

Опустив руки, будто застыв на месте, она не сделала больше ни шагу вслед мужу...

Утро наступало медленно. Небо над крышами в глубине дворов только чуть заметно позеленело, да легкий ветер, которого раньше не было, пролетел над полком, тронул лица людей, пошевелил волосы.

...Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе... —

слабо донеслось из головы колонны. Хор был спевшийся и молодой: видимо, это пели истребители.

...Штыками и картечью
Проложим путь себе...

Конец строфы прозвучал громче: к поющим присоединились новые голоса.

7

Только поздно ночью Анна Васильевна Громова вернулась домой и, к большому своему изумлению, обнаружила на крылечке озябшую, изнемогшую от ожидания невестку, жену племянника.

— Чего же вы сидите здесь? — строго спросила Наташу старуха, когда та, волнуясь и сбиваясь, кое-как объяснила свое неожиданное появление.

— А что мне было делать? — сказала Наташа, несколько оробев от этого сурового тона. — У вас же никого нет. И замок на двери...

Убедившись, что дверь действительно заперта, Анна Васильевна встревожилась. Введя Наташу в дом и включив свет, она проговорила удивленно:

— Куда ж Алеша подевался? Не в «Неву» же он пошел, прости господи!

— Вот не могу вам сказать, — ответила Наташа.

Очутившись наконец в теплой, светлой комнате, она сразу повеселела и с любопытством осматривалась.

— А Павел где? Когда он придет? — спросила она.

— Павел-то?.. — старуха помолчала, пристально оглядев Наташу. — Да вы садитесь, чего ж вы стоите? — помягче сказала она. — Павел наш не скоро придет.

...Остаток ночи обе женщины почти не спали, а утром Наташа, напутствуемая старухой, отправилась разыски-

вать полк, в котором, как оказалось, служил теперь ее муж.

Утро позднего октября было сырое и хмурое. С запада напоззала тяжелая, низкая туча, и на ее фоне едва вырисовывались деревянные домики заречной стороны. Земля, оттаявшая за ночь, превратилась в полужидкое месиво, слякоть покрывала тротуары; было промозгло, буднично, тоскливо. И Наташе, увидевшей вчера этот город в холодном сиянии ракет, в багровом тумане зарева, охватившего полнеба, в беглых отсветах пламени, пожиравшего землю, показалось, что после всех происшествий миновавшей ночи, тревожной, потрясенной залпами, героической, она непонятным образом встречала утро в каком-то другом городе.

Весть о вступлении Павла в рабочий полк не удивила ее: в Т., где и мальчишки боролись с врагами, Павел не мог, разумеется, оставаться в стороне от всех; она была лишь очень огорчена тем, что он ее не дождался. А потом ею овладела боязнь за Павла и жалость к себе самой — впервые в жизни она переживала неведомое ранее чувство горькой утраты. И сейчас ее вело по улицам одно желание — поскорее увидеть Павла. Но не для того, чтобы проститься с ним — эта мысль приводила ее в ужас, — и не для того, чтобы посоветоваться, как ей быть дальше. Главным образом она инстинктивно стремилась удостовериться в том, что с Павлом ничего пока не произошло, что он жив, здоров и так же любит ее.

Наташа перешла мост над темносерой, мутной рекой и, помня указания Анны Васильевны, свернула по изгибу трамвайного пути. Она опять очутилась в тех же, повидимому, местах, где проходила вчера ночью, но не узнала их сегодня. Дома с оклеенными крест-накрест стеклами в окнах, бульвары с голыми деревьями, безлюдные площади с чугунными тумбами показались ей такими неприветливыми, такими безотрадными, что впору было зареветь от тоски. В заслезившихся квадратных окнах аптеки слабо просияли навстречу Наташе два стеклянных шара — ядовито-зеленый и оранжевый, — освещенные изнутри, из помещения. У витрины фотографа девочка в черном платке, с кошелкой на согнутом локте, внимательно рассматривала выставленные снимки. И все эти незначительные подробности обычного, как бы неохотно

наступавшего городского утра, мимоходом замеченные Наташей, усиливали сегодня ее тревогу.

Идя все время по трамвайному пути, она приблизилась наконец к серому четырехэтажному дому механического техникума; глухой забор примыкал к нему с обеих сторон. Прочитав надпись на фасаде, сделанную накладными буквами, Наташа с заколотившимся сердцем побежала к закрытым воротам: где-то здесь, как сказала ей Анна Васильевна, и находился теперь Павел. Перед воротами ее остановил часовой с винтовкой на ремне, и она торопливо принялась толковать ему, кто она и кого разыскивает. Солдат попытался что-то возразить Наташе, но она была так взволнована, что не дослушала его.

— Вот мои документы... Я приехала, чтобы повидать мужа, то есть товарища Громова. Я из Москвы... Вот посмотрите документы, — умоляюще повторяла она, протягивая свое отпускное удостоверение.

Какая-то женщина, также стоявшая перед воротами, легонько тронула ее локоть.

— Напрасно добиваетесь, гражданка! — сочувственно сказала она. — Наших никого уже здесь не найдете...

Наташа испуганно посмотрела на женщину.

— Я вот тоже фуфайку сыну принесла и тоже опоздала, — добавила та.

— Где же они? — пробормотала Наташа; в жарких темнокарих глазах ее были непонимание и мольба.

— Вам ведь сказали: рано утречком ушли все на позицию.

— Ох, что вы?! — не поверила Наташа.

Позиция — это было нечто непосредственно относившееся к фронту, к бою, и она с отчаянием подумала, что теперь до конца войны не увидит больше Павла.

— Рано утречком... Вот не везет! Господи, как не везет! — воскликнула она. — А где их позиция?

— Ну, этого вам никто тут не скажет, — ответила женщина.

На вид ей было около сорока лет. Худенькая, с большими зеленоватыми глазами на тонком лице, еще привлекательном, несмотря на морщинки у рта, она принадлежала к тому типу женщин, что надолго сохраняют милую молодость. Она была в темном аккуратненьком пальто и в белом пуховом платке, замотанном на шее.

— Прямо голова кругом идет,— призналась она после паузы, — не то возвращаться, не то на позицию бежать.

— Куда же бежать, если вы не знаете, где она? — сказала Наташа.

— Найти-то не больно трудно... Около шоссе она, не иначе. На кирпичном заводе или в Парке культуры...

— В парке позиция? — изумилась Наташа. — Не может быть!

— Очень даже может, — сказала женщина. — Там мы и окопы копали.

— Пойдемте туда сейчас, — предложила Наташа. — Пойдемте вместе...

— Мне в двенадцать на работу заступать. Боюсь, не успею... А с другой стороны, как не пойти? — проговорила женщина, точно раздумывая вслух. — И фуфайку надо бы передать.

— Ну, вот видите! Конечно, надо передать! — воскликнула Наташа, боясь, что женщина, которая так все досконально знала, оставит ее одну.

— Давайте по Слободскому лучше. Так ближе будет, — сказала та.

И они заторопились по узкому переулку, или, вернее, извилистому проходу между домами. Потом Наташа вслед за своей спутницей протиснулась сквозь щель в полуразобранном заборе.

— Так вы к мужу приехали? — снова заговорила женщина. — А у нас сын в полку — Володя, Володя Тихонов.

— Хорошо как, что я вас встретила! Как вас зовут? — спросила Наташа.

— Меня-то? Тихонова я, Ольга Ильинична... И все я, поверите ли, казню себя, как это я своего Володю не удержала! — тихим голосом сказала женщина. — Вчера еще, кажется, я его в школу привела в первый раз. А он уж разведчиком стал.

Они шли по голому, пустынному месту, ограниченному с трех сторон заборами, а с четвертой — недостроенными кирпичными корпусами. Белые гуси бродили неподалеку, тычась плоскими клювами в побуревшую траву. А позади обеих женщин, будто настигая их, полнеба закрыла уже низкая, темносиняя снеговая туча. И Наташа, глядя по сторонам, поражалась унылой, сумрачной обы-

денности этого пейзажа, соседствовавшего с той самой позицией, куда они направлялись.

— Да разве Володю кто-нибудь мог удержать? — продолжала ее спутница. — Честный он очень, смелый, прямой... Разве мог он утерпеть? — точно оправдывалась она. — С самого начала, как мы про фашистские зверства узнали, только одна мысль и была у него — пойти мстителем. «Положение серьезное, мама, — это он мне так сказал, — но ты не волнуйся. Буду помогать отцу фрицев бить...» Муж-то мой, Иван Ксенофонович, тоже на фронте. Его в июне еще мобилизовали.

Женщина рассказывала все это, даже не заботясь, слушает ли ее Наташа. Видимо, она просто не могла молчать о том, что неотступно занимало ее мысли.

Миновав пустырь, они опять оказались в тесном переулке, а оттуда женщина, которую звали Ольгой Ильиничной, вывела Наташу на широкий, полого поднимавшийся проспект. За углом здесь, около большого дома с колоннами, стояла прямо на асфальте зеленая пушка, покрытая маскировочной сетью. Артиллеристы в касках ходили около своего орудия, похожего на странное животное, попавшее в рыбацкий невод. Его длинная прямая шея с темной головкой надульника была вытянута в туманную глубину проспекта, будто животное всматривалось во что-то.

«Да ведь это и есть позиция!» — осенило вдруг Наташу. И она невольно ускорила шаг, убоявшись, как бы не начали тут стрелять в ее присутствии. Но сейчас же остановилась, поджидая отставшую спутницу.

— Не могу я быстро в гору... — виновато сказала Ольга Ильинична, — совсем никудышное сердце стало...

Впереди в мутном, сыром воздухе виднелось что-то непонятное, довольно высокое с ломаными очертаниями. Подойдя ближе, Наташа рассмотрела трамвайный вагон, поставленный поперек улицы, и нагроможденные вокруг него бочки, бревна, ящики, обломки железной решетки, штабели кирпича...

— Что это? — громко спросила она. — Что там случилось?

— Ничего не случилось, — ответила Ольга Ильинична, — обыкновенная баррикада... У нас на окраинах много их понаделали...

Ее лицо побледнело, голос срывался, и она встала у какого-то подъезда.

— Задерживаю я вас... Вы уж извините, — немного отдышавшись, вымолвила она.

— Дайте я возьму вас под руку, — предложила Наташа.

— Ничего, я сейчас отойду, спасибо... — сказала женщина.

Из боковой улицы выехал грузовик, крытый брезентом, и покотился навстречу. На его борту алел красный крест, чистенький и яркий, вероятно свежее наклеенный по белому круглому полю. Обе женщины, подумав об одном и том же, проводили санитарную машину испуганными взглядами.

К счастью, она была пока пуста.

— Пойдемте... А то мы опять опоздаем, — сказала Наташа.

Ей все казалось, что каждую минуту на улице может начаться стрельба и она так и не доберется до своего Павла.

— Ох, и правда, пойдемте! Мне ведь на работу поспеть еще надо, — спохватилась Ольга Ильинична.

— И среди ребят, товарищей своих, Вова тоже первым был, — стараясь не отставать от Наташи, торопливо заговорила она опять. — В квартире у нас всегда целый отряд их собирался. Раньше, конечно, они все малышами были, а теперь подросли...

За баррикадой, которую Ольга Ильинична и Наташа обошли по узкому проходу, оставленному с одной стороны, они увидели людей, рывших канаву. Над ее краем, над кучами выброшенного наверх светложелтого песка, мелькали по всей ширине улицы головы, повязанные платками, руки в варежках, лопаты; летела в воздух земляная крошка, далеко откатывались по асфальту мелкие камешки.

Девушка с непокрытыми, растрепавшимися волосами стояла на доске, переброшенной через канаву.

— Навались, подружки! — выкрикивала она. — Чтоб ему, Гитлеру, ноги тут поломать! Чтоб ему, распроклятому, не вылезти отсюда!..

— Танечка, здесь труба какая-то, — раздался женский голос. — Что с ней будем делать?

— Какая еще труба? — недовольно спросила девушка. Человек в очках, в фетровой шляпе выпрямился, держа навесу полную лопату.

— Я полагаю, водопроводная, — сказал он. — Я полагаю, ее можно пока не ломать.

— Правильно! — закричала девушка. — Не ломайте ее пока, Прасковья Федоровна.

— Надо бы узнать, куда пошли наши, — сказала спутница Наташи. — Подождите, я сейчас спрошу.

И она заспешила по краю траншеи, выбирая, к кому обратиться. Люди, ушедшие уже по пояс в землю, работали быстро и споро; Наташа обратила внимание на девочку лет четырнадцати в слишком просторном, вероятно материнском, пальто. Чтобы выбросить землю наверх, ей приходилось высоко поднимать лопату, и рукава пальто сползали у нее до локтей, открывая тоненькие, очень белые руки. Девочка выбивалась из сил, однако продолжала копать, закусив губу, разгоряченная, с пылающим личиком.

Поглядев на нее, Наташа почувствовала замешательство... «Только бы увидеть Павла, а потом я тоже стану копать, как все, работать...», — пронеслось в ее мыслях.

Статная, темноволосая, с высокой грудью женщина в потертой кожаной куртке вонзила в землю свою лопату.

— Таня, я на полчаса домой заскочу, — сказала она, будто пропела низким мелодичным голосом, — мне кормить пора.

— Смотри, на полчаса только, — предупредила ее бригадирша.

— Как в аптеке... Мне недалеко.

И, приподняв юбку над полными ногами в коричневых чулках, женщина полезла из траншеи наверх.

Ольга Ильинична вернулась к Наташе.

— Никто толком не знает, где наши, — сообщила она с озабоченным видом. — Говорят, что скорей всего в Парке культуры.

Они по асфальтовой, не тронутой ломом перемычке перебрались на другую сторону траншеи.

— Веселей, подружки! — прозвучал за их спинами голос бригадирши. — Дай-ка мне, Нюрка, твою лопату, а ты посиди, отдышись!..

Отсюда было недалеко уже, повидимому, до городской окраины: вперемежку с высокими каменными новой по-

стройки домами начали попадаться одноэтажные деревянные. Круглая водонапорная башня со шпилем стояла впереди в тумане, как сторожевая, на въезде в город. Ольга Ильинична повернула направо, и здесь потянулись мимо приземистые, длинные здания, обнесенные чугунными решетками. Кое-где горел еще там в окнах янтарный свет, точно от восковых свечей. «Городская больница», — машинально прочла Наташа лепную надпись на ампирном фронте в глубине двора.

Подпрыгивая на булыжнике, быстро проехали по улице три зеленые военные повозки, груженные плоскими металлическими ящичками. Потом Наташу обогнала группа мужчин в штатском, но с винтовками, спешивших в одном с нею направлении. И неожиданно из-за деревьев показалась фанерная арка, обвитая намокшей, полинявшей от дождей розовой лентой. Вероятно, это и был вход в городской парк. Вооруженные люди, растянувшись цепочкой, скрывались там один за другим.

— Володя и раньше часто приходил сюда, — проговорила спутница Наташи. — А зимой тут у нас лыжная станция была и каток устраивали. Так он каждый день после школы на каток бегал...

Она не закончила, потому что совсем рядом раздался оглушительный прерывистый звук, будто кто-то железными орехами швырнул в камень. Наташа вскрикнула и схватила женщину за руку.

«Началось! — мелькнуло в ее голове. — Опять я опоздала!» Но страшный железный звук прекратился так же внезапно, как начался, и в наступившей тишине она услышала легкий шорох ветвей, качавшихся над нею.

— Неужто стреляют уже? — сказала Ольга Ильинична слабым голосом. Вдруг, сорвавшись с места, она побежала к арке; Наташа бросилась следом.

Еще раз ударил пулемет, и она невольно зажмурилась, но не остановилась. Когда очередь опять оборвалась и Наташа разомкнула веки, ей открылась под аркой длинная аллея высоких, удивительно красивых старых берез, уходивших в глубь парка. Их прямые стволы, подобные белой колоннаде, терялись там в сплошной темноватой, как дым, путанице голых веток. По аллее ходили люди с винтовками и ехали три зеленые повозки, обогнавшие женщин на улице. Увидев все это с необыкновенной отчетливостью, Наташа, как бы споткнувшись,

на мгновение задержалась, еще не смея поверить себе. Павел, ее муж, стоял недалеко под деревом, разговаривая с каким-то человеком в шинели. Она узнала его по росту, по наклону головы — чуть набок к плечу, по пыжиковой пушистой шапке, сбитой на затылок.

— Павлик, ну что же ты!.. — крикнула она очень звонко, с упреком и, не помня себя, помчалась по аллее.

Павел быстро обернулся, у него было удивленное и как будто неласковое лицо.

— Это я, я!.. — успела еще выкрикнуть Наташа, подумав, что он ее не узнал.

Толкнув с разбега Павла, она прижалась к нему; голова ее привычно пришлась ниже его плеча; она почувствовала себя меньше, моложе, слабее и от этого сразу чудесным образом успокоилась.

Павел боязливо левой рукой обнял жену за шею, глядя на нее так, будто все еще сомневался, она ли это; потом поднял растерянные глаза на командира роты, с которым только что разговаривал.

— Ваша жена? — строго спросил тот.

— Да... вот... приехала... — неуверенно ответил Павел.

И они оба молча посмотрели на молодую женщину небольшого роста в синем пальто, в берете, топорщившемся над тугим узлом темных с медным отливом волос.

Наташа пошевелилась и откинула голову.

— Пойдем куда-нибудь, Павлик, — сказала она самым обыкновенным голосом.

Командир роты, лейтенант, еще более молодой, чем Громов, с черными сросшимися бровями, сурово взглянул на своего взводного и, круто повернувшись, зашагал прочь.

— Сейчас пойдем, сейчас... — сказал Павел. — Приехала все-таки, Наташка! — воскликнул он. — Это замечательно, что приехала! Сейчас я все устрою... — Он отвел жену в сторонку, крикнул ей: — Постой минутку здесь, — и бросился догонять своего лейтенанта.

Наташа поправила берет и огляделась, испытывая невыразимое облегчение. Отыскав, наконец, Павла — невредимого и точно такого, каким он ей был дорог и нужен, — она не тревожилась больше ни за себя, ни за всех других, ибо и с ними ничего ужасного, казалось ей, не могло теперь произойти. Вспомнив об Ольге Ильиничне, она поискала ее глазами, не нашла, подумала, что

ее спутница тоже, наверно, встретила сына, и тут же забыла о ней. Издали следя за Павлом, Наташа бесконечно радовалась и тому, что видит его, такого большого, деятельного, ни в чем не переменившегося, и своему быстрому избавлению от недавних страхов.

Павел бегом вернулся к ней от лейтенанта; он улыбался во все лицо.

— На целых полчаса отпустили... Ура! — еще на бегу крикнул он.

— Как на полчаса? — простодушно удивилась Наташа. — Всего на полчаса?

Но она так была счастлива сейчас, что просто не придала пока значения этим его словам.

— Хорошо, что приехала! — громко, взволнованно повторил Павел. — Как ты решилась? Ну, молодец!

Он просунул свою руку под ее локоть и крепко обхватил ее пальцы своими.

— Мы же условились, что я приеду к тебе, — ослабевшим голосом сказала Наташа.

Как и всегда, когда они шли рядом, она видела снизу только его подбородок, да ресницы над крепкой скулой, да упрямые волосы над лбом, и то, что это снова было так, а не иначе, доставляло ей ни с чем не сравнимое удовольствие.

— Я тебе обо всем написал, Наташка, — сказал он. — Понимаешь ли, дела обернулись так, что я не смог остаться в тылу...

— Я ничего не получила, но мы же условились, — повторила она.

— Правда, правда, — подтвердил он. — Ты понимаешь, я два раза подавал заявление, чтобы меня зачислили в полк...

— Я ничего не знала... Письма затерялись, наверно... — сказала Наташа.

И так как все ликовало в ней оттого, что она опять идет рядом с Павлом, слышит его голос, эта жалоба на почту прозвучала у нее особенно звонко и весело.

— Я, знаешь, вчера еще жалел, что тебя нет здесь, вчера еще думал об этом, — сказал Павел.

Он, в свою очередь, был так признателен жене за ее приезд, что ему захотелось немедленно же посвятить Наташу во все, чем сам он жил сейчас.

— Тут у нас такое творится! — продолжал он. — Об этом трудно рассказать. В этом надо участвовать самому...

— Как ты мог думать, что я не приеду, если мы условились! — попрекнула его она.

— Верно... Ты прости меня! — повинился Павел. — Положение, сама понимаешь, тяжелое... И все-таки!.. Ах, жаль, что ты не пришла утром, когда мы выступали!

— Я ведь вчера еще приехала, — сказала она.

— Что ты говоришь? Вчера еще?

— Ну да, ночью... Через весь город прошла, в бомбоубежище попала. — Она откидывала на ходу голову, чтобы лучше видеть Павла. — Целая Одиссея в общем. Я даже испугалась, не застав тебя дома, подумала, что-нибудь случилось... А ты воевать пошел.

— У меня во взводе старые друзья, — спешил он порадовать ее своими новостями, — Ваня Боков, Трошин; я тебе рассказывал о них. Замечательные ребята! Мы росли вместе, потом учились...

— Я и с теткой твоей уже подружилась, — перебила его Наташа, — с Анной Васильевной.

— Подружилась уже? — Наклоняясь, Павел рассматривал темнокарие зрачки, нежную голубизну белков, милый побелевший от холода носик, нижнюю выпяченную розовую губу.

— Отец вот не хочет уезжать из города, — Павел и это проговорил очень возбужденным, счастливым голосом. — Заупрямился, как ребенок, и ни в какую. Одряхлел он очень... А твои как?

— Эвакуировались... И мама и Марина. Тебя, конечно, все обнимают и целуют...

Так, перескакивая с одного на другое, стремясь поскорее высказать самое важное из того, что произошло, пока они существовали врозь, они очутились на площадке с фонтаном посередине и обошли вокруг него несколько раз.

— У меня голова закружилась, ей-богу, — сказала Наташа. — Посидим где-нибудь, Павлик!

Она повела глазами по сторонам и лишь теперь рассмотрела фонтан, налитый до краев дождевой водой, и гигантскую гипсовую фигуру девушки с веслом, возвышавшуюся на островке цоколя. Опавшие листья лежали на ее белых голых плечах, плавали на поверхности чер-

ной воды в бассейне; они покрывали всю землю в парке, намокшие, коричневые, почти уже не шуршавшие под ногами. Два заколоченных досками киоска стояли у выхода из главной аллеи; на одном Наташа прочла полуразмытую надпись: «Мороженое». И куда бы она ни поворачивалась, везде виднелись стройные березы, почему-то вызывавшие мысль о медленном хороводе. Низкая темносиняя туча нависала теперь над самым парком, и на ее угрюмом фоне ярко и выпукло выделялись светлые могучие стволы с многочисленными ответвлениями. В глубине парка между деревьями мелькали фигуры людей, но на площадке, кроме Наташи и Павла, никого не было.

— У вас здесь одни березы, — сказала она. — И какие большие! Я никогда таких не видела.

— Да, прекрасный парк... Старый парк, — сказал Павел.

Держа жену под руку, он повел ее по одной из дорожек, лучами расходящихся от площадки.

— Тут стреляли недавно... Совсем близко. Что это было? — спросила Наташа.

— Пулемет пробовали... А ты перепугалась?

Она улыбнулась, отрицательно качнув головой. Теперь, когда она ощущала плечом твердую грудь Павла, когда его сухая сильная ладонь сжимала ее пальцы, ничто, разумеется, не могло уже случиться такого, что серьезно угрожало бы им обоим. Ее привычное доверие к мужу, к его любви, к благородству его сердца было беспредельным в эту минуту, точно и в самом деле в мире не существовало опасности, какую любовь и благородство не сумели бы предотвратить.

— Ты еще не видела нашего города. У нас не только парк есть, — возбужденно продолжал он. — Я и сам раньше как-то мало его замечал. Ну, город и город, грязноватый даже... И я сейчас лишь убедился в том, как необыкновенно он изменился за последние годы. А люди — обыкновенные наши люди... У меня вот во взводе Анисимов есть, шахтер...

Наташа вдруг громко засмеялась.

— Ты что? — спросил он, с наслаждением слушая ее смех, такой чистый и заразительный. — Ты что? Ты что?

— Я вспомнила, как вчера чуть не заблудилась в вашем городе, — Наташа потерлась головой о плечо

мужа. — Ах, Паша, если бы ты знал, какой я себя беспомощной чувствовала!

— Ну, понятно, ты ведь у нас впервые, — сказал он. — Так вот, Анисимов... Это же — чистое золото, а не человек.

Павел очень хотел как можно лучше отблагодарить свою жену за ее приезд. И от всего сердца он делился с нею самым важным, самым драгоценным из того, что восхищало его сейчас.

— А где же мы сядем? — сказала Наташа.

Они прошли уже в конец дорожки, но скамеечки, которую искали, не было и здесь. Прямо перед ними на небольшой лужайке, обсаженной по краям кустарником, находилась теперь деревянная раковина для оркестра; желтые хвосты увядшей хвойной гирлянды свисали над ее дощатой дугой. И Павел, сойдя с дорожки, повел Наташу туда. В глубине раковины, похожей на разверстую пасть, были свалены в кучу металлические пюпитры для нот; листья, залетевшие и сюда, устилали пол.

— Чудесно! — воскликнула Наташа. — И даже сухо...

Павел взял ее за талию, легко поднял и поставил на помост. Потом, опершись рукой, он сам без заметного усилия перенес наверх свое большое тело. Только прогнулись под ним и затрещали доски настила да звякнул соскользнувший на пол пюпитр.

Смахнув листья с какого-то длинного ящика, оказавшегося здесь, он усадил на него Наташу и сел сам. Она придвинулась к мужу вплотную и коснулась его плеча.

— Весь наш полк сплошь состоит из добровольцев, — проговорил он. — И это только небольшая часть тех, кто просил о зачислении. Райком наш просто завален заявлениями... Райком комсомола с утра до ночи осаждают ребята с вещевыми мешками. Из колхозов делегации приходят и требуют направления в полк. Ты даже представить не можешь, какой подъем охватил людей!

И он снова начал рассказывать о бойцах взвода, которым командовал, о том, как его самого вышел провожать сегодня утром старый его учитель, о том, как Анисимов прощался со своей женой. Наташа молчала, улыбаясь рассеянной, чуть напряженной улыбкой. Не вникая в то, что говорил Павел, она ждала, когда же наконец он обнимет ее и станет целовать.

«Ну, ну... Что же ты? Я ведь тут, около тебя», — мысленно обращалась она к мужу. Иногда, увлеченный рассказом, он клал ей руку на колено, и она, порозовевшая, послушная, придерживала дыхание. Но он, не замечая этого, продолжал пространно описывать ей выступление полка на позиции.

Большое и сильное чувство, что утром овладело Павлом, все еще не покинуло его. И он как бы одаривал самого близкого своего человека тем, что было для него таким значительным и полным надежды.

— Павлик, как мне не доставало тебя! — проговорила вдруг Наташа жалобно. — Как мне неуютно было!

Он умолк, удивленно глядя на нее, потом прижал ее к себе.

— Ну, вот, приехала же... Ну, вот мы и вместе, — сказал он.

Закрыв глаза, Наташа уткнулась лицом в его шерстистый влажный рукав. Минуту они не произносили ни слова.

«Ничего-то ты не понимаешь, Павлик, — думала она с нежностью и укором. — Как мальчишка, как большой мальчишка, ей-богу...»

Он все крепче обнимал ее. Но доброе, за минуту до этого счастливое лицо Павла стало огорченным, обеспокоенным. Он вдруг спохватился, что у него с Наташей всего полчаса времени и отпущенный им срок уже истек. Через несколько минут его жена должна была остаться в незнакомом городе, к которому завтра или послезавтра подойдет враг.

Наташа открыла вдруг глаза и резко выпрямилась. В это мгновение она тоже вспомнила о недолгом до смешного времени, на какое был отпущен Павел, и похолодела от мысли, что он сейчас уйдет. Но его лицо выглядело таким расстроенным, что печальный возглас замер у нее на губах.

Между деревьями падал снег, редкий и крупный, как будто белые капустницы огромным роем летали в парке. Бесшумно порхая, они садились на ветки, опускались на землю и, коснувшись ее, мгновенно исчезали.

— Смотри, снег! — громко сказала Наташа только для того, чтобы не молчать. — Вот и зима уже.

— Да, снег пошел... — как эхо, отозвался Павел.

Глядя на жену и думая о том, что ожидало ее, он болезненно ощущал себя непривычно бессильным изменить ее участь. И ему казалось, она вправе была требовать от него большего, нежели то, что он пока сделал.

«Сейчас он уйдет, — думала Наташа со страхом. — Сейчас поднимется, скажет: «Мне пора» — и уйдет». Она внутренне содрогнулась, ожидая этих слов, и, чтобы как-нибудь отдалить их, проговорила:

— Неужели зима уже? А я так любила зиму!.. Помнишь, как мы с тобой на лыжах ходили?

— Наташа, — сказал Павел тихим голосом, — ты не унывай. Ты ведь у меня умница, и ты смелая... Ты держись, дружок! — в глазах у него было просительное выражение.

Она кивнула головой, как бы обещая ему держаться.

«Сейчас уйдет... Сейчас уйдет...» — твердила она про себя. И то, что ему, ее мужу, предстояло там, куда он должен был уйти, ужасало Наташу. Разве могло это сравниться с тем, что выпадало здесь на ее женскую долю, как бы тяжело ей ни приходилось? И, потрясенная бесстрашием своего мужа, его волей, его решимостью, она крепилась изо всех сил.

— Твои лыжи и сейчас еще стоят у нас, — поспешно сказала она первое, что пришло в голову. — А помнишь, мы с тобой на Воробьевы горы собирались сходить зимой? Так и не собрались...

Снег начал сыпать гуще, и самый воздух в парке теперь посветлел. Дальние березы стали невидимы уже за белым суматошливым роем хлопьев.

Павел опять помолчал, пытаясь найти такие слова, что действительно утешили бы его жену. И так как он очень любил ее, бесконечно тревожился за нее, он мог посулить ей лишь то, что было сейчас самым важным для всех.

— Обещаю тебе, — заговорил он и запнулся на секунду, — обещаю... Мы будем хорошо стоять.

Лицо его, однако, оставалось виноватым, точно и этого было мало для жены. Но вдруг он сжал кулак так сильно, что побелели косточки, и стукнул с размаху по своему колену.

— Да нет же! — выкрикнул он. — Нет такой силы, чтоб одолела нас!

Она опять кивнула головой.

— Я вижу, — сказала она очень ласково и неожиданно жалобно поморщилась. В эту минуту она любила своего мужа так сильно, как никогда раньше. Она обхватила его за шею и, приподнявшись, крепко поцеловала в губы. Потом, упершись ладонью в его грудь, оттолкнулась.

— А я просто дура-баба, — пробормотала она.

— Наташка! — закричал Павел, сразу повеселев. — Чего мы, в самом деле?.. Когда мы стариками станем, нам будет что вспоминать!

«Сейчас уйдет, — подумала она опять. — Скажет: «Мне пора» — и уйдет». Все напряглось в ней, и она опустила голову.

— Мне пора, Наташенька, — действительно услышала она голос Павла. — Надо идти мне уже...

Потом он сказал, что ей, пожалуй, лучше все же уехать из города, так как ей надо учиться, кончать институт, что он будет часто ей писать, но Наташа плохо уже понимала это: она чувствовала себя оглушенной. И когда Павел встал, она тоже почему-то заторопилась. Не поднимая на мужа глаза, Наташа принялась суетливо поправлять волосы, засовывая их под берет.

Павел спрыгнул с помоста и ожидал ее внизу. Все так же, с опущенными глазами, точно боясь на него взглянуть, она подошла к самому краю раковины.

— Иди, иди смелее! — громко сказал Павел.

Обняв жену обеими руками, он приподнял ее и, не опуская на землю, понес. Несколько холодных хлопьев упало ей на лицо, и она зажмурилась.

Павел почти бежал, наклоняясь на ходу, торопливо, коротко целуя Наташу в лоб, в побелевший нос, в щеки, мокрые от растаявшего снега. У выхода на площадку с фонтаном он зашептал ей последние наставления. Она услышала что-то о его отце, о тетке, о том, куда можно уйти из города в случае последней необходимости, но понять и запомнить это было выше ее сил.

У фонтана Павел остановился, бережно поставил жену на землю, и они молча пошли по березовой аллее к выходу. Наташа тяжело опиралась на его руку. Снег сыпал все так же густо, и у корней деревьев образовались на бурой листве чистые, нетронутой белизны островки. Павел то и дело поглядывал в сторону, где неясно виднелись за снегом фигуры бойцов.

— Вот мы и повидались, — устало сказала Наташа, когда они приблизились к арке.

Он улыбнулся, и она опять отвела глаза; нижняя выпяченная губа ее задрожала.

— До свидания, Павлик... — проговорила она медленно, с усилием. — И... и... я очень горжусь тобой... А обо мне не думай. Как все теперь, так и я...

Павел вспомнил, что он слышал сегодня утром похожие слова, правда, сказанные женщиной в утешение другой женщине. И ему захотелось рассказать об этом Наташе. Но кто-то окликнул Павла, и Наташа испуганно, порывисто еще раз поцеловала его, встав на цыпочки...

8

Рано утром, едва начало светать, Богданов выехал на правый фланг обороны, где стояли стрелковые части, переданные Т-му боевому участку. Полковник, командовавший здесь, сообщил Богданову, что ночью к городу продолжали отходить отдельные подразделения и группы бойцов, потерявшие связь со своими частями, и что, по данным разведки, противник вышел уже в район Белой горы. Затем в одиноком, пустовавшем домике на окраине города собрались командиры и политработники подразделений, и Богданов, обрисовав в немногих словах обстановку, поставил им боевую задачу. Он подчеркнул, что все работы по закреплению на рубеже должны быть закончены в течение ближайших часов, так как немецкие танки могли сегодня уже появиться перед городом. Окинув взглядом измученные, землистые лица людей, только что вышедших из очень тяжелых боев, Богданов проговорил:

— Привыкните к мысли, товарищи командиры! Привыкните к мысли, — повторил он с ожесточением в голосе, — что отступать больше нельзя, некуда и отступать отсюда мы не будем. Отступление исключено в любом случае.

И он посмотрел на сидевшего несколько особняком в углу старшего лейтенанта в поношенной помятой шинели. Тот не шевелился, обмякнув на лавке, не слыша, казалось, ничего, что говорилось вокруг.

— У кого есть заявления или вопросы? — спросил Богданов.

Командиры один за другим вставали, чтобы уточнить для себя задачу, докладывая о нуждах своих подразделений. После многодневных боев и отходов эти нужды были велики и настоятельны, но Богданов не склонен был сейчас слишком считаться с этим. Отвечая на вопросы о боеприпасах, об оружии, о продовольствии, о взаимодействии с соседями, он то и дело посматривал на примостившегося в сторонке безмолвствовавшего старшего лейтенанта: подполковнику не нравилось его молчание, за которым как будто угадывалось глубокое, неодолимое безразличие тяжкой, каменной усталости.

— Товарищ старший лейтенант, — позвал Богданов. — Да, да, я к вам обращаюсь, — возвысил он голос, когда тот наконец шевельнулся. — Вам понятна задача?

Старший лейтенант очень медленно поднялся. Мутный свет, проникавший из квадратного окошка, упал на его лицо, и Богданов лишь теперь увидел ясные серые глаза этого человека.

— Так точно, товарищ подполковник, понятна, — хрипло ответил старший лейтенант. — Вопросов не имею. — Он подумал секунду и добавил: — Поскольку патроны и хлеб уже получены. — Помолчав еще немного, он сел на свое место.

Спустя некоторое время, когда Богданов осматривал укрепления на рубеже, ему опять довелось увидеть этого неразговорчивого командира, и при довольно необычных обстоятельствах. Бойцы подразделения были выстроены на своем участке, на равнине, под низким серым небом, а перед фронтом их развевалось и рдело в сыром воздухе красное, обшитое золотой бахромой полковое знамя.

Подходя, Богданов услышал:

— Назад нам нет пути, товарищи! Москва близко... Здесь вот и примем решительный бой, — негромко, будто запросто беседуя с солдатами, проговорил, обращаясь к ним, старший лейтенант.

Высокий, но сутулый, в старой, выдавшей виды шинели, он выглядел не слишком браво, но в его голосе было поразительное сумрачное спокойствие, придававшее словам особенную весомость.

Потом заговорил батальонный комиссар, и из его речи Богданов понял, что здесь выстроены солдаты, прошедшие с боями от самой границы, вырвавшиеся из недавнего окружения.

— Знамя нашего полка с нами, товарищи! — отчетливо, на все поле сказал комиссар. — Оно напоминает нам о нашем долге перед Родиной. Мы поставили знамя здесь, на подмосковном рубеже. И мы понесем его отсюда только вперед, товарищи бойцы, только вперед! — прокричал комиссар.

Богданов посмотрел на солдат. Они стояли по команде «Смирно!» двумя тесными, ровными шеренгами на открытом, потемневшем от осеннего ненастья поле, недалеко от своих стрелковых ячеек. Старший лейтенант обернулся к знаменосцу, подал ему знак, и знамя двинулось по фронту подразделения. Командир и комиссар взяли под козырек, потом старший лейтенант пошел следом за знаменем, сутулясь и нагибаясь вперед, как бы против сильного ветра. Алое полотнище с нашитыми на нем серпом и молотом из цветного шелка колыхалось на высоко поднятом древке. Кто-то в строю бойцов, дошедших сюда по задымленным пожарами и политым кровью, горьким, долгим дорогам отступления, невольно подался вперед, навстречу знамени, кто-то поднял голову...

...Отправившись дальше, на соседний участок, в полк НКВД, Богданов встретил там Ласточкина, также выехавшего с утра в части, державшие рубеж. И они вместе прошли по окопам, отрытым здесь в полный профиль, по глубоким ходам сообщения, заглянули в блиндажи с многослойными бревенчатыми накатами, постояли у замаскированных огневых точек. Было видно, что люди здесь потрудились много, с подъемом и со знанием дела. И хотя оборудование позиции еще не везде закончилось, Богданов при всей своей требовательности высоко оценил проделанную работу. Он одобрил также и самый выбор позиции и продуманную систему взаимодействия отдельных ее узлов.

Но в полку НКВД, несшем до недавнего времени тыловую службу, большинство людей не участвовало пока в боях. И в их придиричивом внимании к мелочам, в особой тщательности, с какой они устраивали свои временные фронтовые жилища, устилали соломой землянки, ставили печи, рыли водостоки, чувствовалась, на взгляд Богданова, чрезмерная даже, ученическая старательность. Командир полка майор Зубов, с поседевшими уже висками, затянутый в ремни, выбритый до сухого блеска на щеках, кратко, не позволяя себе ни малейшего лиш-

него жеста, отвечал на вопросы, давал объяснения. И эта его нарочитая сдержанность, скованность говорила о большой, глубоко запрятанной тревоге в ожидании первого боя.

Впрочем, Богданов, как ни был сам он внутренне суров, собран, а со стороны нетерпелив и резковат, несколько помягчел, присмотревшись к бойцам и командирам полка. Правда, им только предстояло еще пройти то испытание, что делает солдата солдатом, а воинскую часть боевой. Но это оказались дисциплинированные и, видимо, стойкие люди. Там, где работы по закреплению на позиции были завершены уже, бойцы приводили себя в порядок: брились, примостив на бруствере зеркальце, пришивали оторвавшиеся пуговицы, свежий подворотничок, — и это тоже понравилось Богданову. Кроме того, в полку имелось и некоторое количество пограничников, о которых подполковник был очень хорошего мнения, зная, как они сражались на границе в первые дни войны.

Опередив своих спутников, Ласточкина и Зубова, вступивших в беседу с группой бойцов, Богданов свернул по ходу сообщения, выводившему к огневой точке. Издали еще его внимание привлекли доносившиеся от туда молодые голоса.

— А ну, плесни еще! Ось так! Ось добре! — выкрикивал кто-то с мягким белорусским акцентом. — А ну, еще разок... — Затем раздалось громкое надсадное криканье, полное свирепого наслаждения.

— Довольно с тебя, — после паузы послышался другой голос. — Аж посинел весь, как тот баклажан. Бери мое полотенце.

Богданов, обогнув земляной угол, увидел двух бойцов, скинувших, несмотря на холод, гимнастерки и утиравшихся разными концами одного полотенца. При появлении подполковника бойцы замолчали и одновременно вытянулись. Оба были еще розовые и взъерошенные от умывания, оба выглядели не старше двадцати двух — двадцати трех лет, у обоих под бязевыми сорочками обозначалась округлая мускулатура, а загорелые кисти рук одинаково резко отделялись от белой кожи выше запястий.

— Продолжайте, товарищи, одевайтесь, — сказал Богданов.

Эти два солдата показались ему похожими друг на друга, как братья, хотя один был повыше ростом, пошире в плечах, а у второго волосы напоминали цветом лен.

Он подошел к амбразуре, где стоял ручной пулемет, и, подождав немного, пока молодые люди оделись, спросил, пристрелялись ли они уже.

— Так точно... — начал один боец.

— Пристрелка проведена, товарищ подполковник! — закончил второй, и это прозвучало у них, как одна фраза.

Затем Богданову была показана аккуратно вычерченная стрелковая карточка.

— Вы кто же: земляки, а может, и родственники? — поинтересовался он, собравшись идти дальше.

Бойцы обменялись быстрыми взглядами, как бы советуясь друг с другом.

— Никак нет, товарищ подполковник, — ответил темнорусый боец, владелец полотенца; на зеленых петличках его гимнастерки краснели треугольнички сержанта.

— Почти что родственники, на одной заставе служили, — уточнил второй солдат, с льняными волосами.

— Друзья, значит, — сказал Богданов.

На этот раз оба солдата почему-то промолчали: ни один, казалось, не хотел первым признаться в столь интимном чувстве.

Обойдя окопы полка, Ласточкин и Богданов поднялись на шоссе и остановились там, глядя на расстилавшуюся вокруг равнину. В сумрачном, насыщенном влагой воздухе скрывалась уходящая на юг прямая полоса автомагистрали; справа и слева от нее неясно серели на горизонте пригородные поселки. И слабое прерывистое погромыхивание раздавалось теперь в сыром тумане, ограничивавшем видимость.

— А ведь это в стороне Арсеньевска, — сказал Ласточкин, — на Белой горе тихо.

Он сосредоточенно прислушивался, откинув голову...

— Так точно, товарищ председатель Комитета Обороны, — сказал Зубов. — Разведка пошла в направлении Арсеньевска.

Богданов расстегивал планшет, где была у него карта. Если действительно под Арсеньевском завязался бой — это было и неожиданно и тревожно.

— Какие мы в Арсеньевске прошлым летом две но-

вые шахты пустили! — проговорил Ласточкин. — Лучшие шахты в нашем бассейне.

Зубов молча слушал, также стараясь по звуку определить, что и откуда надвигалось на его полк.

Богданов, став спиной к ветру, наклонился над картой. Три — четыре мохнатые снежинки, сцепившиеся одна с другой, упали на целлулоидную пластинку планшета и превратились в заблестевшую каплю. Подполковник поднял глаза и посмотрел в сторону Арсеньевска: в воздухе роился медленный крупный снег, и видимость стала еще хуже. Через минуту — другую далекие строения на горизонте исчезли за белой густеющей рябью. Впрочем, если б даже снега и не было, рассмотреть отсюда, что именно происходило в Арсеньевске в это утро, Богданов, разумеется, не мог. Враги, скрывавшиеся где-то за снежной мутой, продолжали наступать, инициатива пока принадлежала им, и никто здесь точно не знал ни направления их ударов, ни силы. Снова — в который раз уже за последние месяцы! — подполковник почувствовал обиду от собственного незнания, от неизвестности, являвшейся обычным уделом тех, кто отступает и обороняется.

— Товарищ майор! — резко заговорил Богданов. — Разведку ведите непрерывно. Пошлите вперед, на шоссе, истребителей с гранатами. Регулярно доносите обо всем замеченном. И кончайте оборудование позиции... Торопитесь, торопитесь!

Ласточкин медленно повернулся к командирам; снег побелил верх его кепки, лежал на плечах, падал на лицо и таял, увлажняя кожу, блестел капельками воды на бровях.

— Помните, товарищ майор, — сказал он, — приказа об отходе вы не получите ни при каких условиях. — Он очень внимательно смотрел на Зубова. — И я знаю: чекисты не отступают.

— Так точно, — сдержанно, не повысив голоса, ответил майор.

...Спустя четверть часа Ласточкин и Богданов были уже на позиции рабочего полка, расположенной по другую сторону шоссе. Частью она также проходила по открытому месту, частью захватывала Мышкинский поселок и примыкавшую к нему рощу; две роты полка были оставлены в городском парке в резерве.

Снег перестал падать, но его много навалило за недолгое время, и по стенкам окопов сочилась вода, а ноги утопали в холодной жиже. Тем не менее это не мешало пестро одетым людям в штатском, которых Богданов увидел на участке полка, трудиться с лихорадочным воодушевлением. Работы по оборудованию позиции только еще были начаты здесь, и люди торопливо копали землю, гурьбой таскали бревна для накатов, солому, устанавливали пулеметы. По мнению Богданова, эти бойцы в демисезонных пальто, в кепках и в треухах, некоторые даже в калошах, иные с цветными вязаными шарфиками на шеях, действовали не очень умело, суетились и слишком шумели.

— Братцы, на бухгалтера нашего поглядите! — кричал кто-то в кожаной куртке. — Товарищ Куприянов, ну как, разогрелись? Это вам не дебет под кредит подгонять!

Человек, которого звали Куприяновым, маленький, лысый, в ватной безрукавке, с какою-то отчаянностью, с уханьем и криканьем размахивал топором, обтесывая березовый ствол.

— Эх, и хороша зарядочка, хлопцы! — во весь голос радовался кто-то еще.

Ласточкин часто останавливался и заговаривал то с одним бойцом, то с другим. Его узнавали, и кое-кто подходил к нему поздороваться.

— Вечер покажет, каков был день, Яков Захарович! — будто обнадеживая секретаря обкома, проговорил пожилой человек с желтыми от табака усами. — Гада попридержать только, а там и назад погоним.

— Вот хам явился, вор, обжора! В печку лезет, под печку лезет... — вмешался в разговор парень в толстой плюшевой кепке, шаром стоявшей на голове. — Его проучить пора, Яков Захарович!

Богданову казалось, однако, что необстрелянные ополченцы, бывшие перед ним, лишь бодрились в предвидении близкого боя. И ему не раз уже приходилось наблюдать, как быстро и бесследно иссякало у новичков их чрезмерное первоначальное возбуждение. Помимо того, подполковник лучше, чем другие здесь, знал, какая жестокая, закованная в броню, натренированная в искусстве уничтожения сила стремительно надвигалась на этих хороших, искренне воодушевленных, но пока довольно бес-

порядочно толкавшихся людей. И он предпочел бы сейчас видеть на их месте не столь шумливых, спокойных от уверенности в себе, неторопливых от уменья солдат. Пристально, строго всматривался он в окружавшие его лица, как будто спрашивая каждого: «Надолго ли тебя хватит? Выстоишь ты или нет?»

Затем Богданов обращался к командиру полка капитану Чашкину, молодому, красивому, белокурому, и сухо, требовательно спрашивал, как обучены люди, как вооружены, какое количество патронов роздано им, из кого укомплектован младший командный состав, когда предполагается кормить бойцов обедом...

Богданов то прыгивал в окоп и припадал к пулеметной амбразуре, то поднимался на бруствер, оглядывая местность, то раскрывал планшет и на минуту — другую углублялся в карту, то снова быстро шагал вперед, опережая своих спутников. И то, что составляло одну из главных черт его характера — способность к волевой сосредоточенности, — делало его зорким и неутомимым. Спорить с ним сейчас было трудно, потому что он твердо знал, чего хотел, и добивался желаемого с тою прямолинейностью, что возникает из сознания общей необходимости.

— Стыки между первым и вторым батальонами у вас не обеспечены, товарищ капитан, — выговаривал он командиру полка. — Во втором батальоне ваши пулеметики окапываются в глубине рощи. Это ошибка. — Как и всегда в подобных случаях, замечания и предложения складывались у Богданова в категорические, краткие формулировки. — Деревья, стоящие впереди, ограничивают возможности косопрямельного огня. Если же их повалит артиллерия противника, вся система вашей обороны будет ослеплена. Далее, оборудуйте запасные позиции, не пренебрегайте ими...

Капитан внимательно слушал, вызывал к себе командиров, отдавал приказы, но его молодое открытое лицо под лихим белокурым чубом, нависавшим надо лбом, то и дело вспыхивало румянцем смущения, может быть, обиды: властный тон стремительного маленького подполковника, сыпавшего указаниями и требованиями, задел, видимо, Чашкина за живое...

Между тем на участке полка в разных местах молниеносно возникали короткие митинги. Ласточкина и ко-

миссара полка инструктора обкома Трифонова окружали бойцы; Ласточкин поднимался на какое-нибудь возвышение и говорил с ними у подножья холма, по склону которого чернели еще не замаскированные окопы, на опушке безлиственной, просвистанной ветром тополевой рощи, на широкой, присыпанной снегом улице Мышкинского поселка. Побеседовав в одной роте, он шел в другую, и до Богданова доносился его громкий голос:

— ...Товарищ Сталин сказал в начале войны: «В каждом городе, которому угрожает опасность нашего существования врага, мы должны... поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь, свою Родину...» И вот встали вы здесь плечом к плечу с бойцами Красной Армии, обороняя родной наш город... Враг силен, товарищи, не будем скрывать этого от себя, не к лицу нам бояться правды. Но мы, советские люди, сильнее его, не забывайте и об этом...

Было уже около полудня, когда Ласточкин и Богданов со своими спутниками возвращались после обхода позиции в штаб полка. На окраине поселка, увидев командиров, подбежали к ним два подростка: паренек лет пятнадцати в измазанной грязью куртке — он хромал и морщился, ступая на большую ногу, — и девушка года на два старше.

— Кто командир полка? — еще издали срывающимся голосом закричал паренек. — Нам надо в город! Где командир? Скажите, чтоб нас пропустили в город.

Человек с винтовкой, спешивший за подростками следом, доложил, что их задержали в полосе боевого охранения и теперь он отводит обоих в штаб.

— Нам надо скорее, а тут волокитничают! — громко пожаловался мальчик; красное, воспаленное лицо его выражало страдание, тоску, раздражение.

— Давай по порядку, Петя, — сказала девушка.

Она держалась спокойнее и тоже очень независимо. На ней был недлинный желтый колушок, обшитый по краям цветным шнуром; светлые выющиеся кудерки свисали из-под пестрой вязаной шапочки на гладкое, свежее, казалось, только что умытое лицо.

— А я по порядку! Чего ты, Ленка, в самом деле? — обиженно закричал мальчик. — Председателя нашего, Василия Петровича, фрицы ночью забрали... Вот что! А тут волокитничают, не пропускают! Это правильно, по-ва-

шему? — Он подскакивал на месте, страдальчески сдвигая брови.

— Может, вы нам не верите? — заносчиво сказала девушка. — Нас комсомольская организация послала.

— Где ж он председательствует, ваш Василий Петрович? — мягко спросил Ласточкин.

— Как где? — изумился мальчик. — В Первомайском...

— Мне и разведчики мои докладывали, что Первомайское занято, — сказал Чашкин. — Когда у вас появились немцы? — спросил он.

— Ночью... Я же вам говорю, ночью! — закричал мальчик.

— Дайте лучше я скажу, — предложила девушка.

И она бойко, хотя и несколько бессвязно, чистым, тонким голосом рассказала, что сегодня под утро в их село неожиданно ворвались немецкие танки. Было еще темно, и никто не мог поэтому точно определить количество машин: одни говорили, что насчитали их десять, другие — только три.

— Меня мама разбудила, — пояснила девушка. — А потом я услышала выстрелы на конце села. Мама стала плакать, а потом к нам Толя Бабушкин прибежал — это наш секретарь. Он сказал, что телефон не работает и что надо сообщить в город. Мама все плакала, и он сказал, что нельзя терять ни минуты, что к нам заскочила танковая разведка...

Рассказывая, девушка то и дело широко открывала ясные бледноглубые глаза, точно сама поминутно удивлялась тому, что говорила:

— Я, конечно, сейчас же пошла, а Толя побежал собирать других ребят. У нас решено было, что если придут немцы, мы все уйдем в лес. Когда я шла огородами, я сама слышала, как урчали танки. А потом я встретила Петю Потапова, — девушка кивком показала на паренька, — это тоже наш комсомолец, и мы пошли вместе...

Она удивленными глазами оглядела командиров, слушавших ее, будто хотела добавить: «Представьте, я сама не понимаю, как все быстро и неожиданно случилось!»

— Да... Вот мой билет, — сказала она, достав из-под пальто маленькую книжечку. — Меня зовут Лена Колесникова.

Богданов снова раскрыл планшет и рассматривал карту: село Первомайское стояло на проселочной дороге в стороне Арсеньевска, но ближе к городу.

— Спасибо, ребята! — услышал Богданов голос Ласточкина. — Хорошо, что поспешили со своим сообщением... А ты почему хромаешь? — обратился Ласточкин к мальчику.

— Ногу стер, вот что, — тоскливо ответил тот.

— У него температура, наверно, — сказала девушка. — Видите, он весь горит. Я его в больницу хочу отвести. А потом мне надо вернуться домой... Там мама моя осталась и сестренка. Я их только проведу и тоже уйду в лес, к ребятам.

— Рискованно сейчас идти, — сказал Ласточкин. — Придется подождать до ночи. Ступайте пока оба в город, я вам записку дам.

Девушка взяла у Ласточкина бумажку и вежливо поблагодарила. Когда она и ее спутник отошли немного, Ласточкин повернулся к командиру полка, молча, вопрошающе посмотрел на него, потом перевел взгляд на Богданова.

— Все понятно, товарищ председатель Комитета, — громко сказал Чашкин и тряхнул своим белокурым чубом. — Эх, нам бы еще два — три дня сроку! И закрепились бы как следует, и подучили бы людей в полевых условиях...

— Товарищ капитан, прошу внимания, — перебил его Богданов. — Со стороны Арсеньевска и Первомайского немцы могут атаковать вас во фланг... — продолжал он, показывая по карте. — Выставьте заслон здесь, в Хлебникове. Возьмите роту из своего резерва... В случае появления противника перед Хлебниковом надо попытаться его задержать. Боем разведаем его силы, затем рота может отойти.

Он защелкнул кнопку планшета, машинально поправил ремень и, снизу вверх глядя на высокого капитана, выпрямившись и приподняв плечи, закончил:

— Закрепляйтесь, товарищ командир полка! Торопитесь! У нас осталось, быть может, несколько часов.

На КП полка Богданов соединился по телефону с начальником боевого участка Дьяковым. Генерал был уже в курсе последних событий на подступах к городу и

одобрил распоряжения Богданова; затем он приказал ему оставаться пока в полках первой линии, чтобы на месте руководить их действиями.

Старик Громов вернулся с завода домой только утром и лишь для того, чтобы забрать свой инструмент, снова ему понадобившийся... На заводе Алексей Васильевич встретил многих своих давнишних приятелей и знакомцев; как вскоре выяснилось, их собрали, чтобы попытаться наладить в опустевших цехах изготовление и ремонт оружия для гарнизона города. И старые товарищи, перебирая в памяти, кого бы еще можно было привлечь к этому делу, вспоминали и о нем, Громе; однако отправить к нему посланца не решились: было известно, что он болен. В другое время Алексей Васильевич жестоко обиделся бы на товарищей, но в этот вечер он был слишком взволнован всем случившимся. Сидя в конструкторском бюро завода, где происходило собрание, старик хотя и не показывал виду, но очень радовался тому, что находится наконец вместе со всеми.

Собрание проводил член парткома завода инженер Тимофеев, рядом сидел за столом Петр Кириллович Орлов, знаменитый в свое время механик и изобретатель, также ушедший недавно на покой. Был здесь и гравер Николаевский, ровесник Алексея Васильевича, большого мастерства человек, и седовласый угрюмый токарь Алмазов, которого Громов помнил еще учеником. Присутствовали, конечно, и люди помоложе и незнакомые ему.

Речь шла о том, как быстрее и лучше приступить к работе. Так как на заводе ничего уже из оборудования не осталось, решено было, во-первых, немедленно же привести в порядок те отработавшие свой век машины, что уцелели, как оказалось, на складе, во-вторых, поискать станки в артелях, мелких, разбросанных по городу мастерских. Тут же, на собрании, создавались бригады, назначались бригадиры, распределялись обязанности, давались поручения. Металл был также полностью почти увезен с завода, и его тоже приходилось где-то раздобывать. Проще обстояло дело с инструментом: у каждого из присутствовавших имелся свой личный, годами накапливавшийся богатый комплект. За ним-то и пришел домой Алексей Васильевич, чтобы, прихватив также полотенце

и мыло, переселиться на завод совсем, как это и было постановлено на собрании. Обратный путь он проделал быстрее и легче, будто вчера вечером действительно скинул с плеч добрый десяток лет.

Дома, однако, он вынужден был задержаться. Анна Васильевна не стала бранить брата за самовольный уход, хотя в глубине души и встревожилась, и была озадачена. Спросив лишь, как на заводе устроено с ночлегом, она пообещала принести туда завтра что-нибудь поесть; Алексей Васильевич, услышав о неожиданном приезде невестки, жены Павла, выказал гораздо больше интереса. Наташа была уже дома; не сомкнув глаз во всю предыдущую ночь, измучившись, странно обессилев после свидания с мужем, она незаметно для себя уснула в его комнате. И старик нетерпеливо ожидал теперь пробуждения невестки: как ни спешил он обратно на завод, он не мог уйти, не повидав ее.

Анна Васильевна собирала тем временем на стол закусить. Застелив ради приезда Наташи чистую скатерть поверх клеенки, достав из горки лучшую посуду, она бережно перетирала тарелки с полустертыми позолоченными ободками. Сам Громов, чтобы не сидеть без дела, занялся растапливанием печки. Согнувшись на низкой скамеечке перед открытой дверцей, он, побряхтывая, разжигал лучинками дрова.

— Анюта! Анюта!.. — то и дело подзывал он к себе сестру.

Та подходила, и он поднимал на нее свои поблескивавшие от огня глаза.

— Прибыла, значит, красавица? И к Павлу ходила уже? — понизив голос, чтобы не услышала невестка, спрашивал он.

— Ходила, видела его... Они в Парке культуры стоят. Я ж тебе говорила, — отвечала Анна Васильевна.

— Скажи, пожалуйста! Приехала все-таки, — бормотал он, отворачиваясь.

Это первое появление в его доме жены сына почему-то вызывало в старике смутный протест. Он был и доволен за Павла и одновременно испытывал глухое, похожее на обиду чувство.

— Анюта! — помолчав, снова позвал он сестру. — Что же, по-твоему, жалеет она Павла или нет? — осведомился он.

— Стало быть, жалеет, если приехала, — оглянувшись на закрытую дверь, гулким шепотом сказала Анна Васильевна. — Жена она ему, не кто-нибудь...

— Ну, это у нынешних немного стоит, — проворчал старик и умолк.

Перед ним с необычайной ясностью возник вдруг живой и прекрасный образ той единственной женщины, которую любил он сам. И, может быть, именно потому, что он удивительным образом помолодел сегодня, это воспоминание о покойной жене сильно его взволновало. Он как будто опять, спустя много лет переживал сейчас давнюю личную утрату, так и оставшуюся на всю жизнь невосполнимой. И, конечно же, ни одна другая женщина ни в ту далекую пору, ни теперь не могла, по его мнению, ни в чем сравниться с матерью Павла.

— Нет, Алеша, она мне показалась честной, сердечной, — возразила Анна Васильевна.

— Что ты говоришь, что? — очнувшись, переспросил старик.

— Напрасно ты это. Молодая она еще, правда, самостоятельности мало.

Громов неодобрительно поглядел на сестру из-под мохнатых бровей.

— Не на старухе же Павлу жениться, не на подружке твоей какой-нибудь, — насмешливо и громко сказал он.

Анна Васильевна покосилась на дверь: не проснулась ли Наташа? Еще вчера она не постеснялась бы строго одернуть старика, но после того, как он вернулся на завод, в ее отношении к нему появилась невольная осторожная предупредительность.

— Тише, Алеша! — только шепнула она брату.

Спустя минуту Алексей Васильевич опять заговорил. Поленья в печке разгорелись; розовый скользящий свет пробежал по крупному, в толстых морщинах лицу старика, отражался в его зрачках, слабо окрасил жесткие, с частой проседью волосы.

— Ну, а как она? Из себя как? — он затруднялся сформулировать вопрос. — С лица-то она хороша?

Старуха кончила уже расставлять посуду, взяла стул и села рядом с Алексеем Васильевичем, положив на колени большие руки.

— Что тебе сказать, — вглядываясь в огонь, серьезно

проговорила она. — По-моему, ничего. Коса, знаешь, ниже пояса. И крепенькая — не ущипнешь. Росточку вот только небольшого...

— Мелкорослая, — сказал Громов таким тоном, будто ничего другого не ожидал.

— Это верно, Алеша, низенькая, — подтвердила она.

— Так... Ну, а какая низенькая? Ну, например? — Старик вдруг забеспокоился, испугавшись за сына. — Ты прямо говори, не виляй. Что же она: карлица или немного побольше?

— Господь с тобой, Алексей! Какая карлица? — Анна Васильевна не заметила даже, что заговорила громче. — Мне она как раз по плечо будет. Но крепенькая, здоровая. С личика бела и с очей весела. Утюжок такой...

Старик подозрительно смотрел на сестру:

— Не разберешь вас... Утюжок — как это понять?

В печке начало хлопать, два — три золотистых уголька выскочили оттуда и упали на железный лист на полу. Старик послунывил пальцы и принялся кидать их обратно в огонь.

— Утюжок, тоже выдумают, — пробормотал он, обидевшись теперь за Павла.

— Только не ко времени все это, Алеша! — со сдержанной печалью сказала Анна Васильевна. — Как посмотришь, что делается кругом! И за Пашу сердце болит, и за всех... — Она немного помолчала. — На позиции уже наш Паша... Люди говорят, не сегодня — завтра немцы подойдут...

— Ладно тебе, — сурово оборвал ее старик. — Французы вот тоже подходили, Москву даже взяли, а костей не унесли, — ответил он словами сына.

Некоторое время они оба не произносили ни слова, и только хлопанье и треск горячей бересты раздавались в доме. Потом старуха поднялась и прошла на кухню. В комнате Павла скрипнули пружины кровати и тоже застучали шаги. Но Алексей Васильевич ничего этого уже не слышал... Перед ним снова стояла, улыбаясь одному ему памятной улыбкой, милая, молодая, любимая женщина, о которой он никогда не переставал тосковать. Отрывочные картины — мелкие подробности их встреч, их общей жизни — возникали и быстро проносились в его памяти; казалось, в ее темной глубине что-то прерывисто вспыхивало, освещая то одно, то другое.

И старик изумлялся, восхищаясь и не веря тому, что все это действительно с ним было.

За дощатой перегородкой стукнул отодвинутый стул, проскрипела половица; он не обернулся. Почему-то с годами в его воспоминаниях происходил обратный течению времени процесс; многие позабытые события всплывали вдруг из прошлого с поразительной живостью и отчетливостью, тогда как недавние часто с трудом восстанавливались. И странно, Алексею Васильевичу вспоминались все больше не обиды, тяготы и несправедливости, которыми была полна когда-то жизнь, а то, что вело с этими обидами и несправедливостями непрерывную борьбу, то есть молодость, отвага, товарищеская солидарность, упорство в труде, верность в дружбе, радость любви...

Вот и сейчас, устремив увлажнившиеся от жара, затуманенные глаза на поленья, окутанные шумящим пламенем, он мысленно видел давно миновавшую августовскую ночь, слышал шорох листьев и чью-то песню, доносившуюся с улицы, и его сердце, как сорок с лишним лет назад, быстрее забилося от этой огромной радости. В маленьком садике, где он тогда очутился, перемахнув через забор с утыканными поверху гвоздями, было темно, душновато, тесно, и он смутно различал белевшее под ветками девичье лицо. И снова, как в ту ночь, он почувствовал сейчас в своей руке другую руку, небольшую, твердую, горячую...

А вот в осенний субботний вечер, когда одни возвращались уже из церкви, а другие только шли в кабак, он явился к родителям девушки просить, чтоб ее отдали за него; он надел праздничную синюю сатиновую рубашу, занял у приятеля новый пиджак. И отец Ольги, зажиточный мастер-сборщик, узкобородый, со смазанными лампадным маслом волосами, богомольный, скарденый, властолюбивый, поиздевавшись, выпроводил его... Припомнив это сегодня, Громов беззлобно усмехнулся. Спустя недолгое время его невеста сама, по уговору, пришла к нему, и — как он мог забыть, как мог забыть! — засмущавшись, покраснев, опустив глаза, положила на табурет белый узелок — все свое приданое...

Громов даже застонал от пронзившего его воскреснувшего чувства умиления и благодарности. А потом он вспомнил себя идущим посередине улицы в толпе таких

же мастеровых, окруженных конными стражниками. Был ясный, солнечный зимний день, снег хрустел под копытами коней, сияли золоченые купола собора. И сбоку по тротуару, стараясь не отстать от зловещего шествия, торопилась вместе с другими женщинами Ольга, высокая, статная, в пуховом платке, упавшем на плечи. Она что-то кричала ему, но за криками, топотом, ржанием он не мог разобрать слов и только улыбался и махал рукой, чтоб ободрить ее. Она раскраснелась от быстрой ходьбы, от волнения, и ее молодое большеглазое лицо с крутыми смоляными бровями было необыкновенно красивым... Вдруг он увидел это же лицо, но искаженное страхом и страданием. Его принесли тогда с завода товарищи, сильно помятого чугунной болванкой. И Ольга бежала к нему по двору, босая, простоволосая, машинально вытирая о передник свои мокрые от стирки руки. А он приподнялся навстречу и, несмотря на злую боль, смеясь, сказал: «Я живой еще, жена, живой...»

Наташа толкнула дверь и, откинув холстинную портьеру, переступила через порог. Спинай к ней у растопленной печки сидел на скамеечке грузный старик с покатыми, оплывшими плечами. Потрескивал и то усиливался, то спадал огонь; на дощатом крашеном полу трепетали освещенные блестящие полосы. Наташа подождала немного, рассчитывая, что старик обернется, но, видимо, он дремал, пригревшись у печки, свесив голову. И, потоптавшись у порога, она решила заявить о себе.

— Здравствуйте... — сказала она.

Громов, действительно будто пробудившись, торопливо, насколько это было для него возможно, подергиваясь всем телом от усилий, поднялся.

В открытой из комнаты сына двери стояла, рассматривая его, очень молодая женщина, почти девочка, в коротком помятом платье, со сбившейся слегка на сторону прической.

«Да нет, она не такая уж маленькая», — подумал он с облегчением. Но тут же, сравнив невольно Наташу со своей женой, он испытал полное удовлетворение. Ольга была несравнимо более хороша на его взгляд. И хотя он, разумеется, желал сыну самой лучшей подруги, он остался доволен первым впечатлением от жены Павла именно потому, что она оказалась хуже его собственной.

— Милости просим. Приехали, значит... Это хорошо! — проговорил он.

Наташа неуверенно подошла к нему, и он, не зная, что, собственно, следовало делать при первой встрече с невесткой, осторожно погладил ее, точно ребенка, по голове.

— Ну, ну... Это хорошо, что приехали. Места у нас хватит... Милости просим, — повторил он.

— Мне Павел много рассказывал о вас, — учтиво сказала Наташа.

— Рассказывал? Вот оно что!.. Что ж он вам рассказывал? Да вы садитесь...

Разговаривая, Алексей Васильевич с любопытством оглядывал Наташу, стараясь понять, почему Павел выбрал именно эту женщину из всех других. И решительно не находил в ней ничего, что оправдывало бы такое исключительное предпочтение.

«А ведь она и вправду, как утюжок», — подумал он, испытывая удовольствие от того, что его Ольгу никому и в голову бы не пришло так назвать.

— Садитесь... Вот сюда... В ногах правды нет, — весело сказал старик.

В тайниках своей души он спорил и соперничал с сыном, как спорил и соперничал с людьми всю жизнь. И теперь ему было радостно потому, что в таком важном деле, как выбор жены, он, без сомнения, одержал над своим сыном верх.

— Спасибо, — поблагодарила Наташа, усаживаясь. — Вас зовут Алексей Васильевич, я знаю...

Старик закивал крупной полуседой головой.

— Алексей Васильевич, правильно, — с непонятым Наташе смешком в голосе сказал он.

— А я — Наташа. Это вы тоже, наверно, знаете... — И она улыбнулась.

Старик сел за стол напротив, приготовившись слушать дальше. Но Наташа замолчала, придумывая, что еще уместно было бы сказать отцу мужа в этом начале их знакомства.

— Так вы говорите, Павел много рассказывал о нас? — после паузы пробасил Алексей Васильевич. — Что ж он рассказывал, желательно знать?

— Многое... Как вы живете и все такое... — Наташа несколько смешалась. — Вот и сегодня он о вас говорил!

— Скажи, пожалуйста! И сегодня даже? Что ж он, к примеру, говорил? — снисходительно поинтересовался старик.

— Ну, разное... — Наташа вспомнила, что Павел называл сегодня своего отца упрямым, как ребенок. — Он очень беспокоится за вас...

— Вот это напрасно... Пускай он об себе беспокоится, — с загадочным для нее веселым задором ответил Громов.

В комнату вошла Анна Васильевна, неся на тарелке вареную дымящуюся картошку. На столе были уже расставлены рыбные консервы, крупно нарезанная селедка, обложенная слоистыми кружками лука, банка мясного паштета, квашеная капуста, пересыпанная красными ягодами, розовые без бумажек конфеты в стеклянной вазочке. В довершение ко всему старуха принесла бутылку с темновишневою жидкостью, заткнутую белой тряпочкой, и Алексей Васильевич, увидев бутылку, громко пошутил:

— Давно я не причащался, а нынче отведаю твоего зелья, Анюта!.. Раз такой выходящий случай...

Анна Васильевна окинула строгим взглядом угощение. Уже много лет она хозяйничала в доме овдовевшего брата и в полной мере чувствовала себя ответственной за то, что полагала достоинством семьи. До войны она, конечно, сумела бы несравненно лучше принять жену своего племянника, но, тем не менее, то, что было в ее возможностях, она сделала, и стол по нынешним временам выглядел не так плохо. Во всяком случае, как бы трудно теперь ни приходилось, молодая жена Павла не имела оснований говорить впоследствии, что ее плохо встретили в доме свекра.

— Не обижайтесь, Наташенька! — сказала Анна Васильевна. — У нас по-простому... Чем богаты, тем и рады.

Наташа, однако, не заметила и никак не оценила стараний хозяйки дома. Она мало ела, часто задумывалась над тарелкой, коротко отвечала на вопросы и выглядела как будто оробевшей. Но не потому, что ловила на себе время от времени перекрестные взгляды двух стариков: внимательный, непроницаемый Анны Васильевны и насмешливый, веселый своего свекра. Ее новые родственники, как и следовало ожидать, присматривались к ней, и в другое время это показалось бы Наташе скорее забавным, чем стеснительным. Но она не переставала

думать о Павле, и ей странно было сидеть здесь без него, с чужими еще людьми, которых она узнала только благодаря ему. А при мысли об опасностях, угрожавших мужу, ей хотелось вскочить из-за стола и снова бежать в сырой, засыпанный мокрыми листьями парк, где она его утром оставила.

Анна Васильевна также, впрочем, была малоразговорчива, ограничиваясь по преимуществу тем, что усердно угощала гостью. И лишь внешняя суровость ее облика не позволяла догадываться о том, как тяжело было ей видеть жену Павла — тоже почти незнакомую ей пока женщину — в его отсутствие, когда сам он — может случиться — никогда уже здесь не появится.

Поддерживал беседу за столом один Алексей Васильевич. Он расспрашивал Наташу о Москве, о ее семье, подшучивал над ее намерением стать инженером и вообще держался так, точно его ничто больше не озабочивало. После двух — трех фраз он перешел с невесткой на «ты» и называл ее по имени.

— Был у меня сын единственный, а теперь и дочка объявилась. Не миновать мне в скорости дедушкой стать, — балагурил он. — Ты что мало ешь, Наталья? Нехорошо, дочка! Ты ешь побольше... Может, и подрастешь еще.

И он блеснул из-под нависших растрепанных бровей смеющимися, совсем молодыми глазами. Анна Васильевна пристально посмотрела на брата: старик давно уже не был таким оживленным и общительным, как сегодня. И она подумала даже: не слишком ли подействовала на него после долгого воздержания ее настойка?

Алексей Васильевич, осушив еще одну рюмку, — «пошонок», как он выразился, — встал из-за стола.

— Ну, голубки мои, ухажу я, — объявил он. — Надо мне!..

И в том, как он сказал это, Наташа уловила что-то очень знакомое. Старик широко, участливо, по-доброму улыбался, и как будто сквозь его многочисленные морщины проглянули вдруг иные, любимые ею черты Павла.

— Смотрите, не ссорьтесь тут, — пошутил он, одеваясь. — А то я знаю: как две хозяйки в доме заведутся, большие баталии бывают. Денька через два — три, может, загляну, проверю, как вы тут ладите.

Его инструмент и немногие вещи были уже уложены в клеенчатую сумку. Нахлобучив небрежно кепку, он, выходя за дверь, кивнул Наташе головой.

Анна Васильевна вышла проводить брата на крылечко. Когда она вернулась, стекла в ветхих рамах мелко позванивали от поднявшейся вдруг зенитной стрельбы. Но самолетов не было пока слышно.

— Ну что ж, Наташенька, давайте будем мыть посуду, — сказала старуха.

9

Выступив по дороге на Арсеньевск, рота резерва рабочего полка вскоре вошла в деревню, где должна была закрепиться. Бойцы спешно начали рыть окопы на южной околице и у дороги, на которой со стороны Арсеньевска могли появиться немцы. Павел Громов получил от командира роты приказ занять со своим взводом участок колхозного поля в стороне от деревни, на возвышенности.

— Вам понятна задача? — спросил у Громова лейтенант, командовавший ротой. — Разъясняю: вы прикрываете нас на фланге. Если противник, остановленный на дороге, попытается обойти нас, вы встретите его огнем и уничтожите. Вам все ясно?

Очень молодой, лет двадцати двух, не старше, худенький, небольшой, в солдатского сукна шинели и в новой фуражке с красным околышем, с торчащей тульей, он, разговаривая, откидывал назад голову. Черные, густые, сросшиеся у переносицы брови придавали ему сумрачный вид.

— Ясно... Вполне, — поспешно ответил Павел, наклоняясь к своему командиру.

— Вы вступите в бой, когда немцы повернут на вас. И тогда стойте, хотя бы вас атаковал целый батальон, — сказал тот.

— Совершенно верно, — с величайшей готовностью согласился Павел.

— Повторите задачу, — сказал командир роты.

— Все в общем ясно... — начал было Павел.

— Повторите задачу, — перебил лейтенант, закидывая голову.

Пока Громов говорил, он не сводил со своего взводного черных сердитых глаз.

— Никогда не вступайте в пререкание с командиром, запомните это раз и навсегда, — сказал он, когда Павел кончил.

— Слушаю, — ничуть не обидевшись, добродушно ответил Павел.

Затем лейтенант указал, где именно следует отрыть стрелковые ячейки, где установить ручной пулемет, дал на все это два часа сроку и, закончив коротким: «Выполняйте!», — направился в соседний взвод. Держался он очень прямо, напряженно и шел медленно, с трудом выдирая из вязкой почвы огромные кирзовые сапоги.

Громов смотрел ему вслед с уважением и признательностью. Этот суровый юноша, несмотря на свой возраст, бесспорно, знал и умел больше, чем сам Павел, да, вероятно, и все другие, кто здесь находился.

Было безветрено, свежо и тихо; солнце слабо просвечивало сквозь сплошную облачную завесу. Павел также взял лопату, и бойцы, поглядывая на взводного командира, торопливо копали мягкую, напитавшуюся водой землю. Под ее верхним, почвенным пластом оказалась глина, и вскоре на бледной, бесцветной щетине жнивья ярко покраснели выброшенные наружу сырые комья. Обратив на это внимание, Павел приказал принести несколько снопов пшеницы — на поле стояли кое-где неубранные, побуревшие от дождей копны, похожие на шалашики, — и замаскировать брустверы соломой. Разгоряченный, вспотевший, он выбрался из окопчика наверх и, отерев лицо рукавом, огляделся.

Позиции его взвода образовывали тупой угол, обращенный одной своей стороной к далекому лесу, тянувшемуся узкой туманной полоской, другой — к югу, к пустынной пока, изгибавшейся дугой дороге. Скат холма, на котором стоял Павел, полого опускался к ней, и внизу у самой обочины виднелись окопчики соседнего взвода. Дальше лежало до горизонта ровное черное почти пространство, распаханное под озимь; прямая, до краев полная желтоватой воды канава пересекала его, начинаясь у самой дороги. Несколько белых тоненьких березок, росших там, отчетливо выделялось на густом агатовом фоне распаханного чернозема. Слева от деревни стеной стоял темнозеленый пустой ельник.

— Место выбрали неплохое. Как находишь, Егор? — спросил Павел таким громким, сильным, полнозвучным

басом, что его слышали все вокруг. — Незамеченным к нам не подобрешься. Хорошее место. Подступы, как на ладони!

«Вот голосище дал бог», — подумал Трошин.

Он стоял внизу, в окопчике, задрал голову, опершись о лопату. Павел в распахнутом на груди пальто, в охотничьих грубых сапогах, измазанных красной глиной, вышедший на бруствере, показался Егору подавляюще громадным.

— Там увидим, что будет, — неопределенно пробормотал он. — Там посмотрим...

— Не место красит человека, а человек — место. Так я считаю, товарищ командир, — раздался хриплый тенорок Анисимова.

И над бруствером высунулось его мокрое от пота, оживленное лицо с торчащей во все стороны кустистой бородкой.

— Правильно, друг! — прогремел Павел. — Теперь все от нас самих зависит.

«...И вот нашли большое поле, — вспомнились ему знаменитые стихи, — есть разгуляться где на воле. Построили редут...»

— Товарищ командир, — выкрикнул кто-то рядом, — да вы, если что, одним голосом фрицев распугаете!..

Послышался смех, и Павел тоже громко, на все поле отрывисто захохотал, показывая ровные белые зубы.

— Гранатами, по-моему, вернее будет, — сухо проговорил Трошин.

Он и любовался своим другом, и его опять раздражало это изобилие здоровья и силы, эта необоснованная, как ему казалось, веселость. Самый вид Павла вызывал в нем желание противоречить, постоять за себя, попытаться в чем-нибудь взять верх. И он с ожесточением принялся копать, хотя порядком уже устал.

— Ты прав: гранатами крепче будет, — добродушно согласился Павел, опять засмеялся и умолк, взглянув вниз, на дорогу.

Сюда снова шел, медленно поднимаясь по склону, командир роты и с ним Елисеев, политрук. Лейтенант осмотрел окопчики и приказал кое-где углубить их. Юное лицо его с густыми, сросшимися бровями попрежнему выглядело недовольным, даже злым. Политрук, заговорив

с бойцами, отстал от командира; Павел, ожидая распоряжений, дружелюбно сверху вниз поглядывал на него.

— Что вы дальше намерены делать, товарищ командир взвода? — обратился лейтенант к Павлу.

— Дальше? — Павел немного удивился. — Сражаться, товарищ командир роты!

— Как именно вы собираетесь сражаться? Где ваш наблюдательный пункт? — спросил лейтенант, закидывая голову.

— Ах, да! Простите... — спохватился Павел. — Я еще не подумал об этом...

— О чем же вы думали?.. — закричал было лейтенант, но тут же оборвал себя.

Павел понял, какого труда стоило этому юноше, только что, вероятно, выпущенному из военного училища, обуздать свой гнев. И опять, нимало не обидевшись, он посочувствовал своему командиру.

«Трудно, в самом деле, приходится бедняге с нами, — подумал он. — Ну да ничего, сейчас разберемся».

— Со своего наблюдательного пункта, — заговорил лейтенант наставительно, — командир взвода должен видеть по возможности все подчиненные ему подразделения и огневые средства. Вам ясно?

— Разумеется, — сказал Павел.

— В данном случае я бы на вашем месте устроился вон около той копны, — лейтенант указал рукой в серой шерстяной перчатке на один из соломенных шалашиков.

— Да, там будет удобно, — согласился Павел.

— Затем немедленно установите наблюдение за полем боя и за воздухом. Противник может появиться в любое время. Определите секторы обстрела для каждого отделения, пристреляйте цели. Вам все понятно? Повторите.

Павел очень охотно на этот раз повторил приказание.

Отогнув рукав шинели, лейтенант взглянул на часы; большие, величиной с карманные, в кожаном круглом гнезде, они были шире его тонкого запястья.

— В шестнадцать ноль-ноль доложите мне лично об исполнении, — приказал он.

— Слушаю, в шестнадцать ноль-ноль доложить об исполнении, — с удовольствием сказал Павел.

Не взглянув на него больше, командир роты поправил на голове свою новую форменную фуражку, повернулся и пошел к деревне.

...Воздух стал чище, и легкая синева появилась в нем, когда Павел отправился с докладом к командиру роты. С юга, со стороны Арсеньевска, опять доносилась теперь стрельба — беспорядочный гул, в котором время от времени выделялись удары посильнее, похожие на тяжкие вздохи. Но вокруг было попрежнему тихо, безлюдно, и казалось, что бой шел еще очень далеко.

Громов выполнил, как сумел, указания лейтенанта. Труднее всего было наметить ориентиры на открытом, ровном поле, и тут Павла осенило. Он распорядился поставить вешки — палки с привязанными к ним пучками соломы — на расстоянии в чetyреста и в двести метров от брустверов. Он ни на минуту не присел, сам измерил дистанции и был полон теперь приятного сознания впервые проделанной, новой, но оказавшейся ему по силам работы. Его уверенность в том, что он и его бойцы устоят под натиском врагов, возросла еще больше, опираясь уже на реальные основания.

Размашисто шагая, оставляя за собой в почве глубокие вмятины, Павел спустился со своей возвышенности к околице деревни. Командный пункт роты находился во второй от края избе; недавно, видимо, сложенная из тесаных бревен, крытая железными листами, окрашенными в зеленый цвет, она была светлее и наряднее соседних. Бледные стебли каких-то отцветших кустов торчали в палисаднике под ее окошками в яркосиних узорных наличниках. На скамеечке у калитки такого же ультрамаринового цвета сидел и курил связной.

Павел быстро прошагал по двору мимо разрытых, по-осеннему пустых грядок и взбежал на крутое крылечко. В темных сенях перед ним молча посторонилась сутулая старуха в платке, лишь наклонившая голову, когда он поздоровался. Нашарив железную скобу на обитой войлоком двери, Павел, не постучавшись, вошел в комнату.

Командир роты, отведя рукой белую марлевую занавеску, стоял у окошка и смотрел на дорогу. Шинели на нем не было; узкоплечий, с тонкой талией, в коробившейся на спине гимнастерке, он казался сейчас еще моложе.

— Разрешите, товарищ лейтенант, — громко начал Павел.

Лейтенант отшатнулся от окна; краска стыда за свое беспокойное ожидание выступила на его лице.

— Это вы? Докладывайте, — отрывисто сказал он.

Впрочем, он быстро оправился от смущения и, когда Павел кончил докладывать, заговорил с обычной для него резкостью:

— Усильте наблюдение. Если заметите или услышите что-нибудь подозрительное, сейчас же донесите.

— Сейчас же донести... Слушаю, — сказал Павел.

— Еще раз проверьте состояние оружия.

Он с неудовольствием замолчал, потому что в комнату вошла старуха в платке с темным, узким, как на иконах, лицом. В руках у нее был глиняный горшочек.

— Молочка топленого... Молочка покушайте, сыночки! — проговорила она усталым, ослабевавшим в конце каждой фразы голосом.

— Спасибо, вы напрасно хлопочете, — сказал лейтенант и снова почему-то покраснел.

— Молочко у нас хорошее... Сладкое молочко, — продолжала хозяйка, не обратив внимания на его слова.

— Зачем вы, право?.. — Юный лейтенант чувствовал себя явно неловко. — И потом, я же советовал вам на время уйти куда-нибудь.

— А мы с племянницей в погребке будем. В саду погребок у нас есть... Там и отсидимся.

Старуха поставила на стол эмалированные кружки и принялась разливать молоко, придерживая ложечкой коричневую корку. Она двигалась и действовала медленно, не спеша, но Павел заметил, что ее руки дрожали. Несколько желтых густых капель упало на дощатую скобленную поверхность стола, и она сняла их ладонью.

— Куда же нам уходить, сынок? Сам посуди. Избу вот нам перед войной колхоз поставил, — затихая до шепота на окончаниях фраз, снова начала она, — да бог с ней, с избой! Идти-то нам куда, старой да малой? Своих ртов везде хватает.

Она оглядела комнату, светлую и чистую, с большой беленой печью, с пестрыми бумажными цветами на бревенчатых стенах, с аккуратно составленными в углу ухватами, с медным блестящим рукомойником у дверей, с металлической застланной пикейным покрывалом кро-

вацию. В комнате было тепло, просторно, приятно пахло смолистым деревом, вымытыми полами, печеным хлебом.

— Нельзя нам уходить... А вы кушайте, кушайте, — продолжала старуха. — Молочко у нас на весь район знаменитое. Мы его в город, в детский сад, возили, когда мирная жизнь была...

— Хорошо, спасибо, — пробормотал лейтенант и посмотрел на Павла.

— Да вы не стесняйтесь, чего уж! И дай вам бог долгой жизни, сыночки!

Старуха низко поклонилась и пошла к двери. На ходу она носком ботинка поправила завернувшийся уголок половика.

Лейтенант подождал, пока не затихли в сенях ее неторопливые шаги. Он насупился, отчего его густые, в одну линию брови ошетинились.

— Имейте в виду, — сказал он, — если вы отступите без приказа, я расстреляю вас.

Громов, не сдержавшись, улыбнулся: ему положительно нравился новый командир.

«Петушок какой!» — удовлетворенно подумал он.

— Учту, товарищ лейтенант! — вслух сказал Павел. — Обязательно.

Ему хотелось как-нибудь яснее выразить командиру свое полное одобрение, но тот был слишком суров и неприступен.

— Учтите также, — продолжал лейтенант, — дорогу мы заминировали. На левом фланге нас прикрывает канава и лес. И противник, вероятнее всего, попытается обойти нас справа, на вашем участке. Впрочем, в этом случае я поддержу вас.

— Благодарю, товарищ лейтенант! — с чувством сказал Павел.

— В случае, если немцы попытаются все же прорваться в лоб, вы вступите в бой только по моему приказу. Не обнаруживайте себя преждевременно. Что вам не ясно? Говорите.

— Никаких неясностей, — весело ответил Павел.

— Все. Можете идти. — Лейтенант едва заметно покосился на молоко. — Если хотите, выпейте вот это... — и он показал на кружки.

Павел взял одну из них и с наслаждением, длинными глотками осушил.

— А вы что же? Или не любите? — вытирая рот, спросил он.

— Я? — лейтенант как бы удивился. — Могу и я, — пожав плечами, проговорил он.

Выпив, не отрываясь, свою кружку, он поколебался немного и снова налил себе из горшочка.

— В самом деле, чудесное молоко! — сказал он, точно оправдываясь. — Я, признаться, люблю топленое...

— Ну, еще бы! — поддержал его Павел и тоже потянулся к горшочку.

Они стоя выпили по второй кружке.

— Хорошо! — убежденно сказал Павел.

— Послушайте, товарищ Громов, — лейтенант заговорил несколько мягче, — у вас во взводе нет никого с боевым опытом?

— Трое в гражданской войне участвовали, а то все больше молодежь...

«Да вы не волнуйтесь, мы не подведем», — едва не добавил Павел.

— Да... Ну, что же, — лейтенант опять посуровел.

Поставив на стол кружку, он прошелся по комнате, сунул руки в карманы брюк, потом остановился перед Громовым.

— И еще учтите: фашистов мы сюда не пустим. Все здесь ляжем, а не пустим, — произнес он самым решительным тоном.

Возвращаясь, Павел еще раз увидел во дворе старуху — хозяйку дома. Она что-то размешивала лопатой в деревянной кадке; рядом подвешала в кадку из ведра девушка в кумачовом платочке, в коротеньком колушке. Обе, не прекращая работы, посмотрели на Павла; на румяном лице девушки он прочел боязливое любопытство. Из пристройки под дощатой крышей, вплотную примыкавшей к задней стене избы, доносилось длинное печальное мычанье.

Близились сумерки. Это были те недолгие минуты, когда перед приближением вечера даже отдаленные предметы приобретают на короткое время особую ясность очертаний; небо заметно посинело, но далекий лес на горизонте рисовался более отчетливо, и на черном поле за дорогой резче выступила прямая светлая полоса воды.

Громов обошел взвод, поговорил с командирами отделений и вернулся к своей копне. Все, что он и его

бойцы могли сделать перед встречей с врагами, они сделали, и теперь им оставалось только ждать; странная бездеятельная пауза наступила вдруг после шумного, полного событиями дня. И Павел почувствовал себя так, точно он внезапно остановился после долгого бега и сейчас лишь получил возможность осмотреться. Он снял шапку, подставив холодному воздуху свои спутанные, влажные от пота волосы. Его связной, молчаливый человек в солдатской шинели, ходил поблизости, сооружая из веток и соломы пристанище на ночь.

— Да вы, Игнатъев, целый дворец задумали построить, — обратился Громов к нему.

— Боюсь, к ночи дождь соберется, — неохотно ответил связной.

Павел не продолжал разговора. Его поразила тишина вокруг: стрельба прекратилась, и было слышно, как ломается, потрескивая, стерня под ногами бойца, как на околице гремит железная цепь, обрушенная в колодезный сруб.

Очень слабый гудок донесся откуда-то, потом раздался второй, погромче. Павел обернулся и посмотрел на север: там в прояснившемся воздухе слабо, как на выцветшей фотографии, виднелись неровные силуэты построек, угадывались тонкие, как иглы, фабричные трубы. На полпути к городу стояла небольшая круглая рощица, похожая на серое облачко, припавшее к земле. Второй гудок оборвался, но первый, еле слышный, все еще однотонно звучал.

Удивительное состояние овладело Павлом. И если его можно было с чем-либо сравнить, то оно больше всего напоминало ощущение полета, когда раздвигаются пределы обычно зримого нами. Совсем недалеко отсюда — рукой подать — был город, в котором он, Павел Громов, родился, вырос, работал. Там он оставил свою жену, там находился его отец; его товарищи по заводу, его сверстники, стояли там в пригородах с винтовками в руках, или копали окопы, или шли в разведку. Там же, на севере, лишь немного дальше, была Москва, где он учился, любил, вступил в партию... Еще дальше, куда бы Павел ни посмотрел, простиралась во все стороны его прекраснейшая в мире, бескрайняя страна; тысячи таких же людей, как он, шли сейчас по ее равнинам в бой или стояли у своих станков, изготавливая оружие. И все это он как будто увидел, припомнил и глубочайшим образом

почувствовал в эти немногие минуты. Что-то раскрылось в сердце Павла навстречу сумеречному небу, слегка порозовевшему на западе, дальней полоске фабричных зданий на горизонте, круглому облачку осенней рощи. И, казалось, никогда раньше он так полно, так любовно и так нежно не постигал того, что являлось самой его жизнью и что было гораздо большим, чем отдельная человеческая жизнь, — его Родины!

Он выпрямился, расстегнул верхнюю пуговицу на кофеворотке, медленно провел ладонью по открытой влажной шее и шумно вздохнул.

— О чем, товарищ Громов, о чем? — услышал он голос за спиной.

Сзади подошли к нему Елисеев, политрук и Егор Трошин. Егор, видимо, озяб, несмотря на свитер Павла, надетый утром, и стоял, сгорбившись, засунув руки в рукава своего серого в елочку пальто. Политрук, побряхтев, опустился на сноп соломы.

— Так о чем же вы вздыхали, товарищ командир взвода? — повторил он вопрос.

— Да так... Думал, вспоминал, — смешавшись, ответил Павел.

Потоптавшись, он тоже сел на солому.

— Если по совести сказать, то от радости, — признался он.

— Вот как! — Елисеев искоса посмотрел на него. — Чему же, в сущности, вы обрадовались?

— Чудишь, Паша! И зачем чудишь? — сказал Трошин.

Он остался стоять; из-за поднятого воротника пальто виднелись его щека да мигавшие белесые ресницы.

— Боюсь, не смогу вам объяснить. — Павел испытывал затруднение, так как приходилось говорить об очень интимных вещах. — Я, видите ли... я попросту пережил вдруг... чувство Родины.

И он снова посмотрел в сторону города. Начало темнеть, и линия построек на горизонте была уже почти не видна.

— Трудно признаваться в большой любви, — просто душно продолжал он. — Почему-то мы предпочитаем молчать о ней. А я попросту... никогда так не любил, как сейчас...

— А-а, — протянул Елисеев и кивнул головой.

В наступивших сумерках лицо его с узеньким клинышком бородки казалось побледневшим. Задумавшись, он машинально поднял соломинку и принялся отщипывать от нее ногтем маленькие кусочки.

— Случаются такие минуты, — проговорил он после молчания. — Мне вот в девятнадцатом году посчастливилось увидеть товарища Ленина.

— Вы видели Ленина? — спросил Павел.

— Шестнадцатого октября девятнадцатого года, — сказал политрук, отбросив соломинку. — Была осень, такая же вот, как сейчас. Владимир Ильич вышел к нам на балкон Московского Совета...

— Это когда Деникин Орел взял, — вмешался в разговор Трошин, — когда на Москву нацелился.

— Ну да. Опасное было время. Мобилизованные рабочие собрались на площади перед Московским Советом. И на балкон к нам вышел товарищ Ленин.

— Вы его сами слышали? — спросил Павел с ударением на «сами».

— Я еще молодой был, в вашем возрасте, — продолжал политрук. — И четверть века, можно сказать, прошло с той осени... А помню все так, словно это было вчера. И волнение свое помню.

— Ну, это я понимаю, — заметил Трошин, — этого не забудешь.

— Ленин сказал нам, — подняв голову, политрук смотрел прямо перед собой, — он сказал: «Положение чрезвычайно тяжелое. Но мы не отчаиваемся, ибо знаем, что всякий раз, как создается трудное положение для Советской республики, рабочие проявляют чудеса храбрости, своим примером ободряют и воодушевляют войска и ведут их к новым победам».

Елисеев умолк на секунду — другую. Связной подошел сбоку, шурша по стерне, и остановился ожидая. С окoliцы опять долетел звон рушащейся колодезной цепи, из окопов доносился неразборчивый шумок разговоров и тянуло махорочным запахом.

— Еще Ленин сказал, — снова заговорил политрук: — «Как ни тяжелы жертвы, приносимые Россией, как она ни измучена и ни истерзана, она упорно борется за дело всех рабочих. Империалисты могут раздавить еще одну — две республики, но они не могут спасти мирового империализма. Ибо он обречен...»

— Это верно...— серьезно сказал связной.

— И «...мы знаем...» — продолжал политрук. Он увлекся и говорил теперь так, будто ленинские мысли были его собственными, только сейчас родившимися, — «...мы знаем, что во всем мире, — возвысил он голос, — во всех странах без исключения, революционное движение... неуклонно растет. И мы знаем также, что победа рабочего класса во всем мире обеспечена».

Он с неожиданной живостью поднялся на ноги и молча постоял, заложив руки за спину. Павел снизу видел лишь его седоватую бородку да сплетенные пальцы.

«Какой хороший человек! — подумал Павел. — Сколько раз встречались мы, а я не догадывался даже, какой это замечательный человек!»

— Товарищ политрук, а как выглядел Ленин? В пальто, наверно, был, в кепке? — поинтересовался Трошин.

— В пальто? Да, наверно... А точно не помню, — в голосе Елисеева послышалось сожаление. — Лицо помню, голос помню, а это забыл...

Павел слушал, улыбаясь, блестя в полутьме зубами. Ему было необыкновенно хорошо, легко и свободно, как бывает в минуты полной ясности жизни и постижения ее высшего смысла.

Все мелочи, все повседневные заботы оставили его, и осталось одно, поразительно простое и единственно важное, — бой за человеческое счастье на земле, бой за коммунизм.

...Политрук вскоре ушел. Встав и провожая его взглядом, Павел заметил, что облачко рощицы вдалеке исчезло, будто растаяло или поднялось на воздух. Скрылись из виду пригороды, и, посеревав от ночного тумана, аспидным стало поле за дорогой. Ельник у деревни принял такой же сероватый оттенок и сливался теперь с землей. Но странное дело: небо на западе оставалось розовым, не меркло, и водная дорожка, прорезавшая равнину, все еще была светлой.

Павел снова опустился на солому, и Трошин, решившись наконец сесть, устроился рядом. Они долго молчали, потом Егор тихо заговорил:

— Паша, хочу тебя попросить об одной вещи. В порядке личного одолжения...

— Что ты? — спросил Громов, еще не отвлекшийся от своих мыслей, торжественных и важных.

— Ты не подумай, что я упадочник и у меня всякие там мрачные предчувствия, — сказал Егор.

Все больше темнело вокруг, но свет на горизонте не только не гас, а, наоборот, становился ярче. Вода в канаве по ту сторону дороги начала пунцоветь, и Павел, думая о своем, ждал, когда же потемнеет и она.

— Короче говоря, Паша, — тихо продолжал Трошин, — если случится, что я... — Он помолчал. — Холод какой, однако! Так вот, если меня... того... ну, сам понимаешь... а тебе посчастливится... Ты ведь у нас вообще счастливчик... — он неясно выговаривал слова, с трудом двигая озябшими губами, — ты черкни несколько строчек в Свердловск. Там у меня знакомая есть одна, я тебе не говорил. Ей и напишешь: отбыл, мол, Егор Трошин в долгосрочную командировку, приказал долго не плакать. Адрес я приготовил, вот, — и он протянул Павлу бумажку.

Тот изумленно смотрел на друга: такой неожиданной, слишком суровой показалась сейчас Павлу его просьба.

— Хорошо, Егор, я возьму адрес, — с усилием проговорил он. — Но перестань об этом думать. И почему обязательно ты должен погибнуть?..

Трошин молчал, скорчившись, втянув голову в воротник.

— Что это? — громко спросил Павел. — Ты слышишь: что это может быть?

Он обратил вдруг внимание на странный несильный шум, раздававшийся рядом на поле, у самых его ног и за плечами, в копне пшеницы: что-то невидимое шуршало вокруг, двигалось, царапало, хрустело. «Словно грызет кто-то», — подумал он.

— Ты только сейчас заметил? — сказал Трошин.

— Что это? — повторил Павел.

— Это мыши, полевые мыши.

— Фу, черт! — выругался Павел и вскочил на ноги, содрогнувшись от инстинктивного отвращения.

— Да... ты ведь их боишься, богатырь! — проговорил Егор более веселым тоном. — Счастливый год для мышей выдался, — продолжал он. — И подумать только: каждая съедает за день больше чем весит сама.

Внезапный испуг Громова доставил ему удовольствие,

дав возможность почувствовать хотя бы мимолетное превосходство над своим другом.

Павел подозрительно всматривался в копну пшеницы. Там, в глубине, происходила скрытая, но хлопотливая возня, незримая, потаенная работа. Шелестели стебли, потрескивали разгрызаемые зерна, и Павлу показалось уже, что колосья в снопах чуть шевелились.

— Так-то вот, Паша! — снова заговорил Трошин. — Дело, конечно, не в предчувствиях. Я, как и ты, знаю хорошо: нас никому не одолеть. Но лично со мною, с Егором Трошиным, может случиться неприятность... Я только проявляю разумную предусмотрительность... — Речь его под конец стала совсем невнятной.

— Э, брат, да ты совсем замерз! — участливо сказал Павел. — Ты бы побегал лучше.

— Ничего, скоро все согреется, — пробормотал Трошин. — Ты погляди, что делается! Сюда, сюда смотри, — он толкнул Громова локтем.

Обернувшись к западу, Павел увидел, что розовый свет, который он принимал за вечернюю зарю, превратился в багровый, дымный.

— Это в стороне Арсеньевска, — сказал Трошин. — А вон там Первомайское горит...

В самом деле, на юго-западе, над зубчатой кромкой далекого леса, быстро разрасталось еще одно оранжево-красное зарево. И левее его обозначился новый, слабый пока очаг; казалось, что там, где находились враги, пламя перекидывалось из одного селения в другое. Отсветы пожаров виднелись теперь в разных местах горизонта, становясь больше и ярче по мере того, как сгущались сумерки. А на черном фоне распаханного поля, не отличимого уже от неба, постепенно кровавилась длинная, прямая, как меч, полоса воды.

Люди в окопах примолкли. Так в молчании прошла минута, другая. Потом Павел и все, кто был с ним, услышали слабый вначале, но равномерно усиливавшийся гул. Он явно приближался, и в нем угадывалось завывание моторов: по дороге из Арсеньевска шли танки.



Часть вторая



I

К вечеру в штабе боевого участка стало точно известно, что неприятель овладел Арсеньевском, обошел наши части в районе Белой горы и, продвигаясь по шоссе, ведущему к Т., занял Новый Поселок. Но сведения о противнике, о его намерениях и силе нуждались в постоянном уточнении, и разведка поэтому велась непрерывно разными способами и в различных направлениях...

Войсковой разведке серьезно помогли в Т. местные комсомольцы, и в этом, как и во многом другом, сказала та большая подготовительная работа, что была проделана партийными и комсомольскими организациями... Едва лишь в городе, к которому приближались враги, стало известно, что для его защиты создается рабочий полк, сотни юношей — молодых рабочих, студентов, школьников старших классов, — прихватив вещевые мешки, а то и просто сунув в карман пальто сверток с мыльницей и полотенцем, пошли в райкомы комсомола. Девушки просили о направлении в полк санитарками; из деревень приходили в город группами и в одиночку колхозные комсомольцы, иные даже с охотничьими дробовиками... Комсомольские комитеты в Т. напоминали в эти дни конца октября штабы боевых частей: в коридорах, на лестницах, в кабинетах днем и ночью теснились люди, раздавались требовательные громкие голоса, непрестанно звонили телефоны, проносились, не задерживаясь, торопливые связные. А в ожидании приема у секретаря заводские комсомольцы, ставшие пулеметчиками, знакомились здесь с крестьянскими парнями, пришедшими за оружием; подростки, доставлявшие газеты в боевые части, расклеивавшие на улицах сообщения Совинформбюро,

делились впечатлениями со сборщиками теплых вещей для армии. Здесь и днем и ночью было очень шумно; здесь совещались, спорили, докладывали о выполненных поручениях, получали новые задания, а случалось, пели песни и читали стихи. И на ходу прощаясь с товарищами, перепрыгивая через две — три ступеньки, выбегали отсюда под осенний дождь восемнадцатилетние добровольцы, пряча на груди только что полученные направления. В батальонах Т-го рабочего полка больше чем половина общего количества бойцов — больше чем половина! — состояла из молодых людей, прошедших через райкомы и обком комсомола.

Из наиболее стойких, наиболее надежных создавались группы истребителей танков и разведчиков. И те и другие проходили специальную подготовку, весьма, впрочем, ускоренными темпами. А когда немецкие дивизии прорвались к Т., эти группы по решению городского Комитета Обороны были переданы в распоряжение военного командования.

...Ольга Ильинична Тихонова так и не повидала утром сына — в парке его не оказалось: вместе со своей группой разведчиков Володя был направлен в штаб боевого участка. Вечером этого же дня Володю снова вызвал к себе капитан, под началом у которого он находился теперь. Новый начальник, совсем еще не старый, но с русой лопатообразной бородой, придававшей ему, по мнению Володи, невоенный, домашний вид, познакомился с ним еще утром. Они побеседовали тогда довольно обстоятельно: капитан расспросил Володю о том, кто его родители, где он учился, давно ли состоит в комсомоле, и попросил рассказать о товарищах по группе. Слушая, он все время улыбался, точно не слишком верил Володе, и тот даже забеспокоился: не относится ли к нему его командир несерьезно?

— Как же вы решили стать разведчиками? Как все произошло? — спросил капитан.

— Очень просто, — ответил Володя ломким голосом, — мы еще летом, когда война началась, в райвоенкомат пришли... Я и Витя Веревкин... Мы несколько раз туда ходили, и все без толку...

— Не брали вас в армию? — сказал капитан.

— Нет... — Володя стоял перед начальником, вытянувшись, опустив руки, но его пальцы теребили и мяли край военной стеганки. — Конечно, мы еще не достигли призывного возраста... Но ведь это формальность... Я так считаю...

— Что же было дальше? — спросил капитан.

— Дальше, вы знаете, положение на фронте становилось все тяжелее, и мы пошли в обком комсомола... Я, Витя Веревкин и еще один парень с нашей улицы, Сережа Самсонов. Я в обкоме прямо сказал, что сидеть сложа руки мы не будем. Это безобразие — сидеть сейчас сложа руки!

Худое, матово-смуглое лицо Володи с темноватым пушком над обветренными, потрескавшимися губами — одно из тех юношеских лиц, что располагают к себе ясностью и искренностью выражения, — стало строгим.

— И твои слова подействовали? — как будто удивился капитан.

— По правде сказать, нет. — Володя пожал плечами. — В обкоме было полно ребят из разных мест, но брали только тех, кому уже семнадцать исполнилось. Нам просто повезло, потому что нас лично знали по комсомольской работе.

— Как вас готовили к вашей военной профессии? — спросил капитан.

— Нас в истребительный батальон сначала зачислили; там мы прошли винтовку, гранату. Потом с нами отдельно занимались. А когда нас в полк передали, заниматься уже было некогда.

В конце беседы капитан, наклонившись через стол и придерживая рукой бороду, тихо, точно по секрету, полюбопытствовал:

— Как твои ребята чувствуют себя сейчас? Какое настроение у них?

Володя помолчал, обдумывая ответ, мысленно перебирая каждого из своих товарищей.

— Все мы очень рвемся в бой, — серьезно проговорил он наконец, — настроение у всех исключительно замечательное!

Вечером капитан принял Володю Тихонова более сухо. Он был занят и долго вымерял циркулем по карте, прежде чем заговорил; затем, подняв на Володю глаза, уже не смешливые, а озабоченные, осведомился, не при-

ходило ли ему бывать в селе Первомайском. Узнав, что Володя как-то однажды охотился с отцом поблизости от этого села, стрелял уток на берегу протекавшей там речушки, капитан сказал:

— В таком случае запоминай. — И, водя циркулем по карте, он начал излагать приказ.

Сегодня же вечером, а точнее, ровно в двадцать два ноль-ноль, Володя должен был отправиться в разведку по дороге на Первомайское. Помимо проводника, который будет ему все-таки дан, он мог взять с собой еще одного бойца по своему выбору. Надо было, добравшись до села, точно установить, находится ли там сейчас противник и в каком количестве. А кроме того, если представится возможность, повидаться с кем-либо из местных жителей и расспросить, не проходили ли днем через село немецкие части... Обо всем, что разведчики сами увидят на дороге, им также следовало подробно доложить по возвращении. Далее капитан предложил им снять армейское обмундирование и одеться так, чтоб их можно было принять за ребят из колхоза. Оружие — пистолеты и гранаты — он посоветовал получше спрятать под платьем. И лишь в крайнем случае, когда другого выхода не останется, разведчикам разрешалось применить его.

— Сами первые не нападайте!.. — сказал капитан. — Ваша задача — получше все разузнать и поскорее вернуться.

— Не связываться пока с фрицами, понятно, — сказал Володя.

— Увидите захватчиков — руки зачешутся. Я вашу породу знаю... Так вы смотрите у меня! — предупредил капитан.

Володя, выслушав его, почувствовал легкое разочарование: слишком уж простым показалось ему это поручение. Все же оно было первым настоящим боевым заданием, и ему не терпелось начать действовать немедленно. Он довольно невнимательно кивал головой, пока начальник давал в заключение советы, как вести себя в различных обстоятельствах.

«Да понятно же все и ясно, как дважды два!» — хотелось ему крикнуть и, не дослушав, выбежать за дверь.

Капитан, кончив свои наставления, встал из-за стола, подошел к Володе и положил руку ему на плечо.

— Вопросов нет никаких? — без улыбки спросил он, наклонив голову, отчего борода его распушилась на груди.

— Нет, товарищ капитан, — поспешно сказал Володя.

— И никаких сомнений нет? Ты подумай, ты не сразу отвечай. Не торопись.

Володя молча смотрел на капитана. И такое искреннее недоумение читалось в его зеленоватых глазах, что тот не стал ждать ответа.

— Ну, ну... ступай... — сказал он, снова улыбнувшись. — Помни: нам очень нужно узнать, что делается в Первомайском.

Володя козырнул и, проделав поворот «налево кругом», побежал к двери.

Вопрос о товарище в разведке был им уже решен: его выбор сразу и без колебаний пал на Витю Веревкина, самого молодого в группе. Во-первых, у него с Витей была договоренность о том, что в разведку они отправятся вместе. А во-вторых, этот не по возрасту низенький, но плотный, очень сильный физически для своих лет крепыш, неунывающий и бесконечно предприимчивый, представлялся Володе наиболее подходящим в данном случае напарником.

Коротко посоветовавшись, они оба вскоре вышли из штаба. Надо было раздобыть себе подходящую одежду, и Володя получил разрешение сходить за нею домой: в их распоряжении оставалось еще около двух часов, так что они могли во-время успеть обратно.

Шли они очень быстро, и это мешало им разговаривать по дороге. Лишь иногда Володя кидал своему спутнику два — три слова о предстоящем им сегодня деле. Витя так же коротко отвечал.

— Капитан спрашивал, есть ли у меня сомнения, — на ходу сообщил, между прочим, Володя. — Что он хотел этим сказать, не пойму...

— Сомнения? Какие сомнения? — удивился Веревкин. Голос у него был простуженный, с хрипотцой.

— А кто его знает!

Держась рядом, плечо к плечу, они некоторое время шагали молча.

— Может, капитан сам сомневается? — неуверенно предположил Витя.

— В чем сомневается?

— Управимся мы или нет?

— Я же сказал ему, что управимся, — возразил Володя.

Когда они подходили к дому, где жили Тихоновы, Володя немного помедлил.

— Трепаться тоже не надо, куда идем, зачем. Маме, главное, не проболтайся, — напомнил он.

— Что я, маленький? — прохрипел Веревкин.

Было уже темно; приземистый каменный полутора-этажный дом с гладким казарменным фасадом смутно вырисовывался впереди. В отличие от соседних строений на улице, возведенных в последние годы, этот старинный дом стоял здесь с незапамятных времен. Говорили, что до революции еще, то есть в седой древности, как представлялось Володе, здесь были «меблированные комнаты», принадлежавшие какому-то купцу. И самое их название — «меблированные» — казалось Володе довольно нелепым: можно было подумать, что все другие комнаты в городе не имели тогда никакой мебелировки.

Нырнув под узкую арку входа, прорезанную в стене метровой толщины, Володя взбежал по крутой лестнице. Из длинного, похожего на туннель коридора на него пахло знакомым запахом пыли и камня.

— Витя, давай быстрее! — крикнул он и, стуча подкованными ботинками по истертым плитам, которыми был выстлан здесь пол, помчался во весь дух к дальней двери, последней в коридоре.

Женщина в черном платье, шедшая навстречу с кастрюлькой в руках, отступила к стене.

— Вова! — окликнула она подростка. — Дай поглядеть на тебя!..

— Здравсте, Аглая Тимофевна! Спешу очень!.. — прокричал он, не останавливаясь. — Простите!..

В середине коридора приоткрылась дверь под седьмым номером, и оттуда высунулась седая, с залысинами голова. Володя узнал соседа-художника, одинокого и чудаковатого старика, обитавшего тут еще, вероятно, со времен «меблированных комнат».

— Михал Михайлович, привет! — поздоровался он на бегу.

— А, это ты... — пробормотал старик. — Постой-ка...

— Не могу, Михал Михайлович!.. Потом! — крикнул Володя.

Проводив его внимательным взглядом из-под набрякших красных век, лишенных ресниц, почесав ногтем подбородок, художник скрылся у себя в комнате и притворил дверь.

Пронзительный возглас, раздавшийся сзади, заставил Володю обернуться. По коридору, высоко подкидывая на костылях легкое, тщедушное тело, прыгал к нему на одной ноге мальчик лет десяти; другая нога, покачивавшаяся на весу, была у него намного короче.

Мальчик на костылях был похож на скачущего кузнечика. Приблизившись и как бы упав на Володю, он цепко ухватился за его рукав.

— Зачем? — выкрикнул он тонким, прозрачным альтом и замолчал, чтобы перевести дыхание. — Зачем долго не приходил?.. Обещал ведь!..

Овальное личико его с серым оттенком кожи было таким взволнованным, что Володя почувствовал укор совести. О Гоге, больном сыне соседки, в жизни которого он недавно еще принимал большое участие, он попросту ни разу не вспомнил все эти дни.

— Занят был, Гога, — виновато ответил он, — и не отпускали нас...

— Обещал ведь, обещал!.. — повторил мальчик, не выпуская его рукава. — А я каждый день дожидался...

— Как живете тут? Все нормально? — спросил Володя.

— Ага, нормально... Митя из пятой комнаты, который летом еще ушел, письмо прислал: раненый он, — поспешно доложил Гога. — Не очень, правда, раненый. Пишет, что опять скоро пойдет... А я в школу не хожу больше. Какое сейчас учение?..

— Ты хоть дома занимайся, — сказал Володя. — А то забудешь все.

Подошел Веревкин — он также был в приятельских отношениях с Гогой, — и они поздоровались за руку.

— Заявились наконец, ребята! — воскликнул Гога. — А то я все один да один... А мамка сердитая стала, никуда не пускает... Только по двору немного...

Все трое тесной кучкой направились к крайней двери, обитой черной клеенкой.

— Твоей-то нету, не приходила еще, — сообщил далее Гога. — Как с утра ушла, так и не приходила. Я тут всех караюлю!

— Нету мамы? Жалко... — сказал Володя.

Идя сюда, он рассчитывал порадовать мать своим внезапным появлением, и теперь ему было обидно, что это не случится.

Квартира, как и следовало ожидать, оказалась запертой, но в кармане у Володи случайно оставался ключ от дверного замка. И, распахнув дверь, Володя стремительно вошел первым, опустил в темноте наощупь шторы на окнах, включил свет, затем быстро осмотрелся...

Все в комнате находилось на своих обычных местах, и в то же время все выглядело как будто по-новому: стулья стояли близко придвинутыми к обеденному столу, на диване были симметрично разложены несмятые подушечки, на столике самого Володи возвышались двумя аккуратными стопками его учебники. Неестественный, немного унылый порядок, как в нежилой квартире или как перед приходом гостей, царил здесь сейчас. В смежной комнате также все было тщательно прибрано; лишь на тумбочке, около кровати матери, валялось неоконченное вязанье да ее красный пластмассовый гребень с длинной ручкой лежал почему-то на кружевном покрывале. Володя, однако, не имел времени, чтобы разобраться в грустноватом впечатлении, произведенном на него этим опустевшим жилищем. Да и самое впечатление было очень поверхностным, мимолетным, не оставившим следа...

Он немедленно приступил к делу и вскоре с увлечением наряжал Витю Веревкина под крестьянского паренька. Среди вещей, извлеченных из шкафа и сундука, отыскался для Вити тулуп, распространявший сильный запах нафталина, и заячья шапка. Тулуп был, правда, слишком просторен и длинен, шапка также велика, а в старые Володины сапоги, которые Веревкин надел, пришлось насовать тряпок. Но в конце концов он, закатав рукава и туго перепоясавшись, принял, по мнению Володи, надлежащий вид.

— Сойдет, а?.. Сойдет?.. — спрашивал Володя, оглядывая товарища с разных сторон, то подходя к нему, то отступая. — По-моему, сойдет, а?

Гога, присевший было на диванный валик, не выдержал и вскочил, опираясь на костыли. Он не понимал, с какой целью друзья затеяли это странное переодевание...

— Мужичок с ноготок! — восхищенно выкрикнул он, глядя на Веревкина. — Мужичок с ноготок!

Володя улыбнулся; глаза его, озабоченные до этой минуты, сузились и заблестели.

— А ведь верно! — подтвердил он.

Из-под пушистого заячьего треуха виднелся только короткий носик Веревкина да родинка на щеке; тулупчик, топорщившийся от множества складок на поясе, доходил ему до щиколоток. И Витя в самом деле стал очень похож на маленького мужичка из некрасовского стихотворения.

...Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел. Был сильный мороз... —

начал читать Володя и засмеялся. Потом, изменив выражение лица и насупившись чему-то, он нарочитым баском спросил:

— Откуда дровишки?
— Из лесу, вестимо...
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу... —

в тон ему хрипло ответил Веревкин. И принялся хлопать себя по бокам, точно он и вправду озяб.

— Ой, ребята, зачем вы это? — тоненько взвизгнул Гога.

Володя и Витя переглянулись.

— А чтоб казенное обмундирование зря не трепать, — серьезно сказал Веревкин.

— Ну да-а... — протянул Гога, — а свое трепать не жалко?

Для себя Володя выбрал коричневую кубаночку из цигейки и такую же куртку, в которой обычно ходил зимой. Кубаночка, купленная ему несколько лет назад, была уже тесновата, но она нравилась Володе, и он без колебания остановил свой выбор на ней. Ботинки армейского образца, бывшие на нем, и обмотки он, как и Витя, сменил на сапоги.

— А я знаю, куда вы идете, — неожиданно сказал Гога. — Вы в партизаны идете.

— Чудило ты, разве партизаны такие, как мы, бывают? — спокойно возразил Веревкин. — Они же все бородатые, или не слыхал?

— Выдумываешь все... Вы в партизаны идете, — настойчиво повторил Гога.

— А ты бы помалкивал лучше, — строго посоветовал Веревкин. — Ты же свой парень — должен понимать.

Володя кончил одеваться, и можно уже было уходить, но он снова подумал о матери. Решив написать ей, он скинул куртку и сел за свой столик.

...Вечером, возвращаясь с фабрики домой и чувствуя себя особенно усталой сегодня, Ольга Ильинична уже не торопилась. Перед дверью в квартиру она даже постояла немного, точно не решаясь войти в свои пустые комнаты. И из-за двери к ней донесся вдруг мальчишеский, высокий голос — необыкновенный, единственный в целом мире: сын ее, Володя, был дома! Смертельно испугавшись почему-то, а не обрадовавшись в это первое мгновение, она с заколотившимся сердцем вбежала в комнату...

Володя сидел в углу у своего столика; обернувшись через плечо, он улыбнулся. И видя только его одного, Ольга Ильинична, побледнев от испуга, быстро пошла к нему, он вскочил со стула ей навстречу. Но лишь обняв сына, ощутив под рукой выдававшиеся лопатки, проведя ладонью по круглой голове, Ольга Ильинична почувствовала облегчение: с Володей ничего пока не случилось. Сын высвободился из ее объятий, и она растерянно, смущенно огляделась.

— Ребятки, вы давно тут?.. — тихим голосом сказала она. — Витя, и ты пришел!..

Гога, взмахнув костылями, прыгнул к ней.

— А мы вас ждем, ждем! — пронзительно закричал он. — Володя появился, а вас все нету и нету!.. А мы... — и он осекся, взглянув на Веревкина.

— Если бы я знала, господи! — воскликнула она жалобно. — А то иду спокойненько, ничего не ожидаю... И как это сердце не шепнуло мне!..

— Я уже записку написал, думал, ты в ночной смене, — сказал Володя.

— Какую записку, зачем? — снова встревожилась Ольга Ильинична.

Она жила последнее время в неутихавшем страхе за сына, в постоянном ожидании ужасной беды, и поэтому каждая новость, связанная с ним, заставляла ее трепетать.

— Я ведь ненадолго, мама, — ласково ответил он.

— Ах, ну да!.. — помолчав, сказала она, боясь спросить, на какой именно срок его отпустили к ней.

— Нам вещички мои понадобились, — Володя кивнул головой на меховую куртку, валявшуюся на диване. — Зима скоро, вот мы и решили одеться потеплее... С тобой тоже, конечно, хотелось повидаться... Ну, как ты тут живешь?

Ольга Ильинична смотрела на сына, будто не понимая его. Что-то незнакомое, новое, казалось, было в нем; самый его вопрос, заданный по-взрослому, прозвучал для нее непривычно. И она изумлялась, как в те памятные дни, когда впервые он членораздельно позвал ее: «Мама!», — а спустя некоторое время пошел вдруг сам, без ее помощи, на подгибающихся ножках. Но в ту пору эти таинственные превращения сына каждый раз безмерно радовали ее; теперь же она испытывала тревогу.

— Это хорошо, Вовочка, что ты теплые вещи взял, — проговорила она робко.

Володя помолчал и нахмурился.

— Что это с тобой, мама? — строго спросил он. — Похудела ты очень...

Он и сам был взволнован сейчас больше, чем мог предполагать. И неясное, неожиданное беспокойство охватило его, когда он повнимательнее присмотрелся к матери. Она действительно похудела, осунулась и, может быть, поэтому именно показалась Володе внезапно помолодевшей. Ее утончившееся и тоже смуглое лицо приобрело, несмотря на морщинки, не свойственное ей раньше выражение почти детской слабости, боязливости. И Володя, ощущавший ее до сих пор одинаково, абсолютно «взрослой» во все годы его жизни, обнаружил вдруг, что она у него совсем не такая уж «взрослая», как он привык думать.

— Болела ты, что ли? — продолжал он как бы с упреком.

— Что ты, Вова, что ты! — Ольга Ильинична даже замахала руками, протестуя против самого намерения сына говорить о ней, в то время, как важно было лишь то, что касалось его. — Что ты!.. Я чувствую себя хорошо...

— От папы было что-нибудь? — спросил Володя.

— Вчера получила... Только давнишнее, месяц, как написано уже... Сейчас покажу тебе, сейчас...

Она торопливо размотала белый пуховый платок, скинула пальто и побежала к вешалке. В холстинковой светлосиней спецовке, в гладкой темной юбке Ольга Ильинична казалась хрупкой и тоненькой, как девушка.

— А я к тебе ходила сегодня, Вовочка! — возясь у вешалки, сообщила она. — В Парке культуры на позициях у вас была...

— Этого еще не хватало, — недовольно сказал Володя. — И тебя пропустили? Как это тебя пропустили?

— Так ведь я же не без дела ходила, я по необходимости. Фуфайку относила тебе и носки...

Ольга Ильинична остановилась посредине комнаты, не зная, за что приняться в первую очередь: то ли показывать письмо, то ли прежде всего покормить сына и его товарищей.

— Сыро там у вас в парке, Вова! — вспомнила она. — Может быть, ты калоши взял бы еще и дождевик...

Веревкин, молчавший до этой минуты, проговорил охрипшим голосом:

— Точно, Ольга Ильинична! Калоши для бойца — это первое дело.

— Мама, ну какие калоши! — засмеявшись, сказал Володя. — Что пишет отец? Дай-ка письмо.

Ольга Ильинична послушно заспешила в смежную комнату.

— Пишет, что здоров... О тебе расспрашивает... — раздался оттуда ее голос. — Велит почаще писать. Господи, он же ничего еще о тебе не знает!

Вернувшись с письмом и отдав его Володе, она пододвинула стул, села напротив и, подавшись вперед, не отрываясь, следила за выражением лица сына, пока он читал.

Короткие, отрастающие волосы бобриком стояли на его круглой голове; розовая, едва заметная полоска от кубанки косо пересекала лоб. Володя наклонялся и сдвигал брови, когда встречалось неразборчивое слово, или приподнимал их, чему-нибудь удивляясь; потрескавшиеся губы его находились в непрерывном движении: они то вытягивались в трубочку, то сжимались, то шевелились, беззвучно что-то произнося. И Ольга Ильинична, позабыв обо всем, отдалась бездумному, полному наслаждения созерцанию. Она не замечала, что сама начинала

хмуриться, когда хмурился сын, и улыбалась, когда он улыбался.

Не отрываясь от чтения, Володя проговорил:

— Отец, наверно, на юге воюет... Пишет, что у них кругом хлеба неубранные стоят. Замечательный в этом году урожай был, пишет...

Ольга Ильинична снова ощутила робость, слушая сына. Еще совсем недавно каждое изменение в нем, каждая ступенька его роста находились под ее неусыпным контролем, и она сама участвовала в этом увлекательном восхождении сына от младенчества к детству, от детства к отрочеству. Ныне он поднимался один, не нуждаясь в ее помощи и навсегда, вероятно, ускользнув из-под ее опеки. Пораженная тем, что она не могла уже повлиять на судьбу сына, она обмирала от страха за него... Володя и внешне заметно изменился за то недолгое время, что она его не видела; щеки у него запали, но он возмужал, немного погрубел, небольшие руки его со свежими царапинами потемнели.

— Вовочка, ну расскажи мне: как ты там? — просительно заговорила она. — Кормят вас как? Пайка-то вашего хватает?

— Погоди, мама! — Володя кончил читать, вложил письмо в конверт и круто повернулся к Веревкину. — Эх, хорошо бы с отцом в одной части послужить! — сказал он громко. — Красиво было бы, правда? И чтоб никто не догадывался об этом, чтоб никакой поблажки друг другу не давать: «Разрешите доложить...», «Можете быть свободным...» И все... Красиво, правда?

Ольга Ильинична ближе пододвинулась к сыну.

— Пайка-то хватает вам? — повторила она.

— Что ты, мама! Даже остается, честное слово!.. — ответил Володя и опять обратился к Веревкину; зеленые глаза его заблестели. — Во втором батальоне у нас Кочетковы служат, отец с сыном. Отец взводом командует, а сын у него пулеметчиком... Вот это да! А помнишь, Витя, — воскликнул он, — помнишь, как мы с отцом охотились вместе? В темноте еще уходили, с утра, и на целые сутки... Помнишь, он нам свою централку давал? А потом мы костер раскладывали, картошку пекли...

Ольга Ильинична тронула сына за рукав.

— Ну, а на ночь уводят вас куда-нибудь, — спросила она, — или так на сырой земле и спите?

— Что, что? — Володя поднял на нее удивленные, смеющиеся глаза, но, помолчав, мягко сказал: — Ты не волнуйся, мама, обо мне, совершенно нечего тебе волноваться. Не один же я там, в самом деле...

— Правда, правда... — она закивала головой, будто эти последние слова сына действительно успокоили ее, но, в сущности, она просто избегала несогласия с ним, боялась спора. — Что ж это я расселась? — спохватилась она. — Вы же голодные, наверно...

И, быстро поднявшись, она побежала к буфету.

«Хлеб-то у меня вчерашний, вот беда, не успела сегодня купить...» — мелькнуло у нее в голове.

Володя, глядя на мать, опять подумал, что никогда она не была такой молоденькой, как сегодня, и лицо его омрачилось...

— Не хлопочи, мама, мы есть не будем... Идти уже нам надо, — сказал он серьезно.

Она, встав у буфета, долго молча смотрела на него.

— Уходите уже? — очень тихо проговорила наконец она. — Что ж так скоро?

— Пора уже нам...

Володя снова помрачнел... Случилось так, что, придя к матери домой, где он привык к постоянной заботе о себе, где до сих пор он естественно и не задумываясь брал все, в чем нуждался, он, видимо, сам уже должен был позаботиться о матери.

— Послушай, мама, кто тебе дрова колет? — поинтересовался он.

— Что, Вовочка? — точно не расслышав, переспросила она.

— Ты сама их не коли! — строго сказал Володя. — И не таскай сама... В доме у нас ребят много, должны помочь.

Впервые властное чувство мужской, сыновней ответственности возникло в нем, но он мало что мог сделать теперь для матери, и это огорчало его.

— Полы, мама, тоже не мой сама, — проговорил он менее уверенно, понимая, что, кроме нее, мыть их некому. — Черт с ними, с полами!

Движимый внезапной жалостью, он подошел к матери и притронулся к ее локтю.

— И вообще унывать нечего... Немцев мы побьем

обязательно... Это и отец пишет... — сказал он. — А я опять приду, когда можно будет...

— Что ж так скоро уходите? — прошептала Ольга Ильинична. Кровь отлила от ее лица, и даже губы ее посветлели.

— Отпустили нас ненадолго... Служба, мама, ты же понимаешь... — ответил он и, подавшись к ней — они были уже одного роста, — ткнулся губами в щеку матери.

Она быстро повернулась и обеими руками прижала его к себе.

— Ну чего ты, чего ты?.. — забормотал он, высвобождаясь. — Айда, Витя!.. Пошли! — крикнул он, стараясь заглушить собственное волнение.

Вережкин, глядя в пол, нахлобучивая пушистый треух, хмуро проговорил:

— Напрасно расстраиваетесь, Ольга Ильинична, Володю, наверно, скоро опять отпустят...

Примолкнувший Гога не сводил с Володи глаз. И лишь когда тот — в куртке, в кубаночке, сдвинутой набок — повернулся к нему, чтобы проститься, Гогой вновь овладела лихорадочная подвижность. Он пристукнул ногой, рванулся навстречу и едва не упал, зацепившись костылем за половику; Володя успел поддержать его.

— Говорил тебе — упадешь, — упрекнул он. — Ну, не скучай тут... Занимайся каждый день...

— Счастливо, ребята! — выкрикнул Гога и умолк: присутствие Ольги Ильиничны стесняло его.

Володя, засовывая в карман сверток, полученный от матери, направился к двери, и Гога запрыгал рядом.

— Ни пуха вам, ни пера! — шепнул он. — А я ничего никому не скажу. Я понимаю...

— Вова!.. Вовочка! — как бы спохватившись, позвала Ольга Ильинична.

В эту минуту ее больше всего терзало сознание своей полной беспомощности — многочисленные жесточайшие угрозы таились там, куда уходил Володя, и она не могла отвести их от него. Ей хотелось кричать от страха за сына, но тот же страх ее и остановил. Единственное, что было теперь в ее возможности, — это уменьшить для сына печаль расставания, ободрить его, укрепить перед тем, что ему предстояло. И, стараясь улыбнуться, она пошла к нему, смутно в глубине души удивляясь самой себе, своей неизвестно откуда взявшейся силе.

Володя остановился в дверях, держась за ручку, вопросительно глядя на мать.

Ей казалось, что она ступает по мягкому — так ослабели у нее ноги, но ее улыбка становилась все светлее и спокойнее. Подойдя к двери, она тяжело оперлась о косяк, однако голос ее, хотя и тихий, прозвучал неожиданно ровно.

— Напиши же отцу, Вова! — проговорила она. — Напиши, как ты Родину нашу защищаешь... А обо мне не беспокойся...

— До свиданья, мама! — невпопад, но благодарным голосом ответил он.

— Смотри только будь поаккуратнее... — попросила она. — Куда тебя не посылают, не ходи сам, остерегись... Ты же мало обученный военному делу...

— Слушаю... Разрешите выполнять? — заметно повеселев, воскликнул Володя.

Ольга Ильинична хотела обнять его еще раз, но побоялась, что не совладает с собой и расплачется. Переступив за порог, она смотрела, как Володя и Витя быстро удалялись по коридору; Гога, провожая друзей, прыгал сзади них на своих костылях. У самого выхода на лестницу Володя обернулся и помахал матери, но слезы, которые она так долго подавляла, застилали ей глаза, и она не увидела этого.

На улице, выйдя за ворота, Володя сказал Веревкину:

— Мама держится по-боевому, верно? Я даже не ожидал...

Витя — круглый сирота, воспитанник детского дома — ответил не сразу.

— Другие плачут помногу, это точно, — сердито почему-то проговорил он после паузы. — Ну, а если подумаешь, так их тоже жалко: растили детей, кормили...

— Давай поднажмем, задержались мы, — сказал Володя.

Он испытывал облегчение: прощанье с матерью было уже позади, а главное, она сама так просто освободила его от забот о ней...

И мальчики решительно зашагали. Холодный ветерок, дувший навстречу, обвевал их лица; на темной, обезлюдившей улице громко раздавался согласный стук их шагов. Мысли Володи снова обратились к тому, что он должен был проделать сегодня ночью. И вскоре обычное

ощущение легкости, живости, уверенности в себе, избыточной, как бы играющей энергии вернулось к нему.

«Напиши, как ты Родину защищаешь» — вспомнились Володе слова матери, и он с удовольствием повторил их про себя. Снова признательность к ней шевельнулась в его душе, и он на ходу бросил:

— При случае забежим все-таки, наколем маме дров...

— Конечно, забежим при случае, — согласился Веревкин.

Проводив друзей до выхода на лестницу, Гога остался в коридоре. Возвращаться к себе ему не хотелось, и он, воспользовавшись тем, что матери не было дома — она работала в третьей смене, — одиноко слонялся по каменному туннелю вперед и назад, вперед и назад... Здесь все же было просторнее, чем в комнате, заставленной вещами, а усидеть на одном месте он сейчас не мог.

Мимоходом он заглянул в общую кухню — большое сводчатое помещение, где находилась огромная, окованная железными полосами, никогда не топившаяся плита, а вдоль стен стояли шкафчики и столики многочисленных хозяек. В этот час кухня пустовала — только в двух керосинках теплился огонь за крохотными, закопченными слюдяными окошечками. Молчаливые женщины, хлопотавшие здесь, не обратили на Гогу никакого внимания. И постояв в неопределенном ожидании, послушав, как равномерно стучат капли, падавшие в раковину из крана, Гога снова выбрался в коридор.

Он искал общения с людьми и какой-нибудь деятельности, хотя и не завидовал своим здоровым товарищам, только что покинувшим его, вернее, он попросту не сознавал того, что всей душой стремился вслед за ними. Он так давно уже был болен, что свyksя со своим особым, неравноценным по сравнению с другими мальчиками положением. И пока, во всяком случае, оно не представлялось ему особенно печальным. Больше всего ему не хватало пространства, а в последние недели, когда мать вообще запретила ему выходить, оно сузилось для него чрезвычайно: стены метровой толщины преграждали теперь Гоге путь на каждом шагу. И ему приходилось ныне довольствоваться общим коридором, где надо было вести себя тихо, чтобы не досаждать соседям. Однако и

в этих условиях ничто не мешало Гоге с горячим интересом относиться к окружающей, богатой событиями жизни, даже не принимая в ней активного участия. И как ни мало было ему позволено по сравнению с другими, ему оставалось еще так много, что он не чувствовал себя обездоленным. Лишь иногда, как и сегодня вот, после недолгого свидания с Володей и Витей, им овладевало неодолимое беспредметное возбуждение...

Опять, подойдя к выходной двери, Гога приоткрыл ее и просунул голову наружу. Из непроглядной темноты, в которую была погружена крутая лестница, пахло на него, как из колодца, сырым холодом. Он прислушался: на лестнице и во дворе было тихо...

«Далеко ушли уже ребята, — подумал он о своих друзьях, — они шустрые, канителиться не станут... Может, и за городом уже топают...»

И он представил себе, как они идут по дороге, ночью — Володя в кубаночке из цигейки и «мужичок с ноготок» — Витя Веревкин. За городом была такая же, вероятно, темнота, как и здесь, на лестнице, но Гога тем не менее видел обоих в своем воображении очень хорошо. Не совладав с внезапным искушением, он перенес костыли за порог и сам прыгнул в темноту на площадку. Студеный воздух охватил его, и он содрогнулся всем телом, не столько, впрочем, от холода, сколько от странного острого удовольствия.

Внизу завизжали дверные петли, потом послышались грузные шаги — кто-то медленно поднимался по лестнице. И Гога, отступив, прижался спиной к стене.

— Кто тут живой? — спросил снизу старушечий голос. — Не столкнуться бы...

Гога узнал по голосу одну из соседок — табельщицу с хлебозавода, но, повинувшись возникшему вдруг желанию остаться незамеченным, не отозвался.

Женщина молча, тяжело шагая, прошла мимо Гоги, опавнув его, как ветром, запахом сырой одежды.

«Валяй, валяй, бабушка!.. Проходи...» — мысленно напутствовал ее мальчик, довольный тем, что его хитрость удалась. И он опять подумал о Володе и Вите. «Черта с два фрицы ночью увидят их!.. Спрячутся где-нибудь под деревом — и все...» — порадовался за друзей Гога.

Он был в легкой курточке, его пробирал озноб, но ему понравилось стоять так в полном мраке, и он не торо-

пился уходить. Привычный уже звук сирены воздушной тревоги донесся к нему на площадку, сегодня ее одно-тонный, долгий вой раздавался в третий раз. Спустя минуту — другую дверь из коридора отворилась, и в косой полосе света, вырвавшегося на площадку, показались жильцы, направлявшиеся в подвал, в убежище. Женщины несли с собой одеяла и подушки, прошел, посвистывая, знакомый Гоге паренек, ученик из типографии. Дверь хлопала, становилось темно, кто-нибудь чиркал спичкой, потом дверь опять распахивалась, выпуская людей. Последней снова протаскилась старуха с хлебозавода; в руке у нее был большой фонарь с оплывшим огарком внутри, и она высоко поднимала его, освещая сбитые каменные ступеньки.

Сирена давно умолкла, но зенитки еще не начинали бить, и на время воцарилась такая тишина, что Гоге стало немного не по себе. В то же время он испытывал огромное томительное наслаждение, оставаясь в своем темном углу. Никакой определенной цели он не преследовал, прячась там, но, казалось, в этом была та же притягательная таинственность, что окутывала двух его друзей. И хотя он закоченел уже от холода, а зубы у него постукивали, он медлил с возвращением в теплый коридор.

«Куда хочешь в такой темнотище пройти можно... — проносилось в его голове. — Под самым носом у фрицев пробраться... Вот это ловко!» — восхищался он и Володей, и Витей, и собой, точно сам сопровождал им...

Он не помнил, как очутился в коридоре, продрогший до костей, но необычайно возбужденный. Здесь никого не было, и Гога поскакал по длинному туннелю, нажимая всем своим легким телом на клеенчатые подушечки подмышками. Уткнувшись в стену на противоположном конце коридора, он круто повернул и, не убавляя темпа, поскакал назад.

«В кусты залезть можно и все высмотреть, что у фрицев делается... И в поле потом... И поминай, как звали! — ликовал он. — К самым окнам подойти можно. Фрицы спят себе, а мы из пистолетов — бах, бах! Вот кутерьма поднимется! А мы назад, в лес, ищи нас, свищи!»

И, незаметно перейдя с «они» на «мы», он ощущал себя уже равноправным соучастником подвигов ушедших друзей. Коридор был освещен единственной электриче-

ской лампочкой, висевшей под потолком, и пока мальчик приближался к ней, его тень с остренькими углами приподнятых плеч, прыгавшая сзади него, быстро сокращалась. Под самой лампочкой она становилась совсем маленькой и, описав дугу, опять начинала увеличиваться... Переставляя костыли для очередного прыжка, Гога разводил их в сторону, как крылья, и его передвижение напоминало непрерывные попытки взлететь. Он повторял эти попытки снова и снова, проносясь в полуосвещенном туннеле с одного конца на другой вперед и назад, похожий на большого кузнечика.

«...Или в штаб их пробраться, почему нельзя? — рисовались ему новые картины. — Генерала ихнего подловить, когда он во двор выйдет. Веревкой скрутить, тряпку в рот — и с собой, в отряд. Поймай-ка нас, попробуй...»

Ему казалось, что это он именно спешит сейчас на отважное партизанское дело, наносит врагу внезапный удар и уходит от погони — дерзкий и неуловимый. Его серые щеки порозовели, пальцы цепко обхватывали перемычки костылей. С каждой минутой его прыжки становились длиннее и выше, точно он действительно рассчитывал в какое-то счастливое мгновение оторваться от земли и полететь...

Вдруг он внезапно остановился и, пошатнувшись, застыл, приподняв костыли: он увидел людей, вошедших с лестницы. Их было двое; оглядевшись, они не спеша направились по коридору, посматривая на таблички с номерами комнат. Видимо, эти люди очутились здесь впервые.

Шедший впереди был в пилотке и в шинели, ладно сидевшей на нем, второй — в коричневом длинном пальто и в кепке с большим козырьком; широченный в плечах и низкорослый, он казался почти квадратным. Когда оба они вступили в светлый круг под лампочкой, Гога рассмотрел на узком лице первого из вошедших круглые внимательные глаза, близко посаженные друг к другу; лицо второго было затенено козырьком.

Застыгнутый врасплох, Гога смущенно улыбнулся. И хотя неожиданное появление этих двух людей помешало ему, спугнув его мечтания, он тут же преисполнился готовности помочь незнакомцам отыскать нужного человека.

Посетители, однако, не обратились к нему с расспросами. Остановившись перед седьмой комнатой — Гога находился недалеко от нее, — человек в шинели постучал согнутым пальцем в дверь. И мальчик почувствовал даже сожаление о том, что его помощь в данном случае не понадобилась.

На пороге показался старый художник — Михаил Михайлович Бухарцев, и оба гостя быстро прошли к нему в комнату. Художник готов уже был закрыть дверь, но тут он заметил Гогу. И в его глазах под набрякшими веками промелькнуло искательное выражение: казалось, старик хотел о чем-то попросить мальчика. В следующую секунду он, однако, рассердился без всяких к тому оснований.

— А ты что торчишь здесь? Марш отсюда! — раздраженно сказал он и, скрывшись в комнате, захлопнул дверь.

Гога недоуменно смотрел на ее шероховатую, когда-то крашенную зеленой краской, наполовину облупившуюся поверхность. Михаил Михайлович, старый художник, был обычно сдержан, тих, и его обидная резкость удивила мальчика.

2

Павел Громов стоял в своем окопчике, готовый к бою. Рев танковых моторов, громы и лязг становились все сильнее, и Павел бессознательно морщился. «Дорога в село заминирована. И немцы попытаются обойти нас, — повторял он про себя приказ командира роты. — Вы встретите противника и не пропустите!»

Внизу вдалеке можно уже было различить танки, растянувшиеся редкой цепочкой по дороге. Шум, несшийся оттуда, как-то не связывался с ними, и было странно, что смутные, расплывчатые пятна, перемещавшиеся там, производили столько звуков. Только что Павел обошел своих людей: он видел, как они пристраивались у бруствера, как два бойца обнялись и поцеловались перед боем, как кто-то жадно пил из фляжки; Анисимов балагурил, подбадривая соседей; а Ваня Боков, бледный и молчаливый, через силу улыбался. Возвратившись на свой наблюдательный пункт, Павел был полон желания как можно лучше, точнее выполнить полученный приказ.

И его раздражал лишь этот посторонний, казалось, металлический шум, раздававшийся внизу на равнине.

Вокруг все затаилось: ни на околице деревни, ни на холме, где закрепился Громов со своим взводом, не замечалось никакого движения. По горизонту в разных местах светились багровые зарева, и будто красноватый туман наплывал с юга на бойцов, укрывшихся в земляных щелях. Истекали последние минуты ожидания, невыразимо долгие именно потому, что каждая могла оказаться минутой начала боя. Головная немецкая машина повернула по изгибу дороги и мчалась теперь прямо на деревню. Слабый розоватый отсвет появился на броне танка и помог Павлу скорее угадать, чем рассмотреть его очертания: скошенную корму, круглую орудийную башню...

«Ну, пора! — мысленно сказал Павел. — Что же они не стреляют?..»

Он кинул взгляд в сторону деревни, туда, где должен был находиться лейтенант, увидел подле себя своего связного и удивился: боец зевал, искривив растянутый рот, точно ему хотелось спать. Павел подумал, что надо было бы ободрить бойца, но тут же позабыл о нем.

Танки по мере приближения к деревне приобретали объем и форму; пожары, горевшие там, откуда они появились, освещали их. Уже можно было насчитать около десяти машин, двигавшихся колонной, хвост которой терялся в глубине ночи. И в то время, как головная машина находилась совсем недалеко от огневых точек роты, другие только еще обозначались в густых сумерках.

«Надо стрелять! Стреляйте! Пора!» — твердил про себя, как заклинание, Павел.

И будто вызванный силой его нетерпеливой, сосредоточенной мысли, внизу рванул яркий секущий огонь, озаривший на мгновение кусок дороги, черную полосу пашни, тоненькую придорожную березку и плоский, кренившийся борт танка. Потом все померкло, раздался короткий гром разрыва, и на дороге заколыхалось темное облако.

Почему-то на mine подорвался не головной танк, продолжавший катиться к деревне, а второй; машины, следовавшие за ним, круто поворачивали влево и вправо, съезжая с дороги. Внизу поднялась частая беспорядочная стрельба, замелькали винтовочные вспышки, на околице ударили пулеметы. И еще один танк, под которым

сверкнула большая искра, остановился, окутанный дымом.

Павел взял с бруствера свою гранату, левой рукой открыл «дверцу» и вставил запал, легко скользнувший в центральную трубку. Он не сомневался в том, что танки должны были сию минуту ринуться на него, обходя засаду на дороге, как и предполагал командир роты. И Павел еще раз с благодарностью вспомнил о строгом лейтенанте, который так хорошо все предвидел... Огромное нетерпение охватило Павла; что-то, казалось, повелительно толкало его вперед, приподнимало над землей, и он совсем не чувствовал себя, своего тела. А увесистая граната, которую сжимал он, придавала его руке новую, небывалую мощь. И единственное, что вызывало в нем сейчас острую досаду, это ужасный шум — хлопанье, гроыхание, треск, оглушавшие его.

Между тем бой на дороге и на околице стремительно разгорался: с головного танка неожиданно полоснул длинный огонь, рассекший темноту. Прогремел очень звонкий выстрел, и тотчас же у крайнего дома блеснуло бело-желтое стрелчатое пламя разрыва. Другие машины тоже открыли огонь; не останавливаясь, они выбрасывали из себя узкие слепящие пучки, пронзавшие задымленный воздух. Выстрелы и разрывы слились в одну сплошную железную долбежку, и подножие холма, на котором находился Павел, затянуло сероватой мглой.

Но на холм танки не пытались подняться; стреляя, они мчались вдоль дороги прямо на пехотные окопчики роты. В желто-багровых мгновенных отсветах бушевавшего огня косо летела искрошенная земля, видны были фигуры людей, застигнутых в момент падения, прыжка, переползания, броска гранаты. То там, то здесь возникали на миг в клубах дыма боевые башни танков и поблескивала их броня. Белое рваное пламя пулеметов трепетало на их плоскостях, как под яростным ветром, гасло и вновь возникало. В одном месте что-то вдруг вспыхнуло голубым, похожим на электросварку пламенем, и Павел, всмотревшись, увидел третий подбитый танк, завалившийся носом. От танка, низко пригибаясь, убегал черный человечек. Вскоре, однако, несколько машин прорвалось на самую околицу, в расположение роты, и двигалось там в разных направлениях, извергая огонь. Крайняя изба, в подполе которой был установлен

станковый пулемет, запылала, как костер, подожженная снарядом.

Павел выбрался из своего окопчика на бруствер и, не сознавая того, что делает, встал во весь рост. Он испытывал жестокое недоумение: танки не повернули сюда к нему, в обход засады, не атаковали холм, и он со взводом оставался, таким образом, в стороне от боя. Этого он никак не ожидал! Он не мог, находясь здесь, помочь своим товарищам гранатами или ружейным огнем, и в то же время приказ, полученный от командира роты, не позволял ему предпринимать самостоятельно какие-либо действия. «Не обнаруживайте себя преждевременно», — звучали в его голове слова лейтенанта. И Павел напрасно вглядывался в скат холма, надеясь увидеть кого-нибудь, кто бы передал ему призыв о немедленной помощи. Своего связного он уже отправил к командиру. Казалось, что в критическую минуту тот попросту позабыл о нем и об его взводе, укрытом темною на вершине. И они должны были отсиживаться здесь, в то время как их товарищи сражались.

Вдруг Павел заметил около себя Шукина, доменщика, командира отделения; тот будто с испугом смотрел на него большими, утонувшими в тени орбит глазами; потом наклонился к самому его уху.

«...Может, с тылу ударим, а?.. Чего ж так-то?..» — разобрал он несколько слов, но не смог сразу ответить.

Он почувствовал внезапное удушье: во рту у него мгновенно пересохло. Этот переход от чрезвычайной готовности к борьбе, от ощущения собственной силы к вынужденному бездействию, к бессилью был так резок, что Павел растерялся. А шум, адский шум, от которого раскалывалась голова, и яростная, бешеная пляска огня — белых, желтых, багровых вспышек — ошеломили его.

Тем временем на въезде в деревню его товарищи по роте дрались из последних сил. И как ни плохо различал Павел то, что происходило там, трудно было не догадаться об этом. Часть танков вела уже огонь на деревенской улице, в тылу ротной обороны, и бой перекинулся теперь туда. Загорелось еще несколько домов, а на самой дороге, там, где началась стрельба, стало опять темно. Вероятно, там все было кончено — огневые точки подавлены, люди уничтожены или рассеяны. Причем это

совершилось с ужасающей быстротой, в течение нескольких, как показалось Павлу, минут.

Он не запомнил, как очутился в стрелковом окопчике среди бойцов, — его повлекло туда инстинктивное стремление найти у них поддержку... И только почувствовав около себя тесноту человеческих тел, увидев рядом Ивана Бокова, прижавшегося к земляной стенке, Шукина, Анисимова, Павел оценил обстановку: было бессмысленно оставаться здесь после того, как танки прорвались в деревню и бой прошел мимо него. Не обнаруживая себя и дальше, он рисковал упустить последнюю возможность помочь тем защитникам рубежа, которые еще сопротивлялись. И Павел решил, не дожидаясь больше приказа, броситься со своим взводом им на выручку. В то же мгновение он услышал громкий голос, звавший его, и перед ним предстал боец, посланный от командира роты. Боец так тяжело, со свистом дышал и так торопился передать приказ, что Павел не сразу его понял.

— Куда отходить, зачем? — крикнул он.

И лишь когда связной, неестественно бледный даже в темноте, повторил сказанное, Павел уразумел, что лейтенант приказывает ему отвести взвод на зады деревни и оттуда, с огородов, ударить по танкам, забросав их гранатами.

Он выскочил из окопчика, поскользнулся на осыпавшейся земле, едва устоял на ногах и взмахнул над головой гранатой.

— Пошли-и! — протяжно закричал он во весь голос, позабыв слова команды. — За мной, ребя-ата!

Потом он увидел, что его люди вылезают на бруствер, подхватывают оружие; мелькнула полусогнутая фигура Трошина, державшего винтовку перед лицом, пробежал боец с ручным пулеметом. И Павел сам устремился вниз, будто нырнул в полого опускавшееся помрачневшее пространство. Шаг его был очень широк, и он намного обогнал бойцов, бежавших сзади. Сырой, пахнувший гарью и чем-то приторно тошнотным воздух упирался в грудь, в лицо, и с каждым шагом этот отвратительный запах становился сильнее. Но Павел, задыхаясь, чувствовал лишь то, что ему необычно трудно бежать, и его охватила боязнь не успеть во-время. Граната, которой он равномерно взмахивал, казалась ему теперь совершенно невесомой.

С окраины деревни доносились еще пулеметные очереди и звенящие, очень громкие удары танковых пушек. Но самих танков больше не было видно. Растрепанное, проворное пламя лизало там бревенчатый угол крайней избы, сверкало в дыму, застилавшем соседние постройки. Павел обернулся — бойцы, группками спускавшиеся с холма, были едва различимы. Подождав их немного, он замахал рукой, показывая направление, и побежал дальше. Перепрыгнув через невысокий плетень, Павел очутился на ровной прямоугольной площадке картофельного поля; впереди в угарном красноватом воздухе плоским силуэтом чернела изба с пристройками, выходившая своим фасадом на улицу. И Павел, увязая в мягкой, разрыхленной почве, заспешил туда, но вдруг остановился, даже подался на шаг назад. Перед ним на куче увядшей ботвы лежал, разметав в стороны руки, человек в пальто с откинутой полой и без шапки. Его грудь и нижняя часть лица были залеплены грязью, но лоб оставался чистым. Павел, наклонившийся было к человеку, чтобы помочь ему подняться, выпрямился. Не ужаснувшись, а бесконечно удивившись тому, что смерть в бою выглядит вот так, а не иначе, он напряженно всматривался в полузакрытые, будто готовые разомкнуться, веки мертвеца, в неподвижное, но приподнятое, будто помедлившее в своем движении, плечо, в розовеющий, как у живого, висок.

В следующую минуту Павел изо всех сил рванулся вперед. Его охватила такая горькая, такая страстная обида за этого неизвестного ему, убитого врагами человека, за себя, за товарищей, что он не удержался от крика — короткого, похожего на всхлип. Граната в руке, несмотря на всю ее невесомость, теперь невыносимо обременяла его. Но чтобы освободиться от нее, чтобы обрушить свою неизрасходованную силу и злобу на врагов, надо было увидеть их около себя.

Дом на краю картофельного поля показался Павлу необитаемым, покинутым жителями. Обогнув его, споткнувшись о пустое ведро, откатившееся со звоном, он пробежал дворик и выглянул из-за калитки на улицу. Она была озарена пожаром и пустынна; выстрелов тоже не раздавалось больше. Тлеющие красные соломинки носились в воздухе, шумело пламя на околице, теплым, чадным ветром, смрадом паленой резины и краски веяло

оттуда. Лишь приглядевшись, Павел увидел там в дыму людей; кто-то шел, кто-то полз на четвереньках. Нарядный, с кружевными наличниками домик, в котором помещался командный пункт роты, стоял не тронутый пока пламенем, но крыша его была разворочена в одном месте.

Павел озибался по сторонам, отведя руку с гранатой назад для броска, потом медленно опустил ее: врагов, совершивших все то, что он видел сейчас, перед ним не оказалось. И его обожгла мысль, что прорвавшиеся танки ушли на север, на город: их ослабевший рев слышался теперь в противоположном, обьятom тьмою конце улицы. Павел подумал о жене, об отце — в первый раз за все это время, и выскочил за калитку... Надо было сейчас же, не теряя ни минуты, собрать всех, кто уцелел, и спешить к городу, надо было бежать, чтобы не опоздать снова. Вдруг Павла окликнули, он ясно услышал свою фамилию и обернулся.

В соседнем палисаднике, на разрытой цветочной грядке сидел, вернее, полулежал человек, упираясь в землю рукой; полосатая тень от ограды исчертила его серую шинель.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! — закричал Павел, увидав командира роты.

Тот силился приподняться и сесть прямо; боец, стоявший сзади лейтенанта, поддерживал его за спину. Павел метнулся в палисадник и тоже опустился на грядку.

— Вы ранены? — закричал он.

— Где ваши... люди? — раздельно спросил лейтенант.

Худое юношеское лицо его было желтовато-серым, и брови казались грубо нарисованными углем.

— Они здесь... Сейчас будут здесь... Дайте я помогу вам, — сказал Павел.

— Не надо... Я приказал готовиться... к выступлению... — лейтенант как будто выталкивал из себя каждое слово. — Проследите, чтобы забрали... всех раненых. Где политрук? Не знаете? Если убит, мы унесем его тело... Вам все ясно?

Он упорно пытался сесть прямо или даже встать; одна нога его скребла по земле, но другая, вытянутая, прикрытая шинелью, оставалась неподвижной. И он все еще, казалось, сердится на Павла.

— Да, да, да, — ответил тот.

— Повторите...— Лейтенант наклонил голову, прижал подбородок к груди, напрягаясь всем телом.

— Забрать всех раненых! — закричал Павел. — Унести политрука!

— Так... Вышлите разведку... в Новый Поселок. Танки повернули туда... Донесение в город я послал... Нас атаквали двадцать три танка и два броневика. Мы уничтожили пять танков...

Рука у лейтенанта подломилась, и, если бы не боец, поддерживавший его, он повалился бы на бок. Новенькая фуражка соскользнула у него с головы, открыв короткие, торчавшие ежиком волосы. Но он тут же снова выпрямил руку, на которую опирался, и грудь его выгнулась.

— Мы можем отойти теперь. Вы поведете колонну, — продолжал он отдавать приказы. — Выделите людей... в головное охранение... Мы пойдем лесом...

Сноп искр пролетел над улицей, стало светлее, и Павел заметил, что лейтенант обливается потом.

— Раненых поместите в середину колонны. Я буду с вами... — он другой рукой поднял фуражку и снова надел ее. — Мы атакуем... эту сволочь с тыла.

— Атакуем эту сволочь с тыла! — криком повторил Павел.

Его потрясала удивительная у этого юноши неистовая воля к борьбе и к победе.

— Все... действуйте! — приказал тот.

— Дайте я понесу вас, — сказал Павел. — Мы доставим вас в госпиталь...

— Идите же! — с раздражением проговорил лейтенант. — Фу! — не удержавшись, шумно выдохнул он и закрыл глаза; необыкновенные брови его соединились в одну угольную толстую линию.

С улицы вбежала во двор девушка с санитарной сумкой, за девушкой шел кто-то еще.

— Действуйте же! Действуйте! — не поднимая век, повторил лейтенант.

Павел попятился, потом кинулся на улицу. Там теперь в разных направлениях пробегали люди, несли раненых, раздавались голоса: бойцы его взвода шли навстречу нестройной толпой.

Бухарцев запер дверь на два оборота ключа и повернулся к своим гостям. Они сидели уже у стола. Молодой человек с узким лицом снял пилотку и оглаживал желтые, прямые, зачесанные назад волосы; его спутник остался в кепке, надвинутой на брови. От двери по истоптанному, разбитому паркету тянулись через всю комнату мокрые следы.

— Рад, Борис Николаевич! Очень рад, что навестили, — сказал Бухарцев, косясь на гостя в кепке.

Художник видел его в первый раз, впрочем, и с Эвемингом, молодым желтоволосым человеком, которого он называл Борисом Николаевичем, он познакомился совсем недавно. О нем художник знал пока лишь то, что его перебросили сюда через линию фронта и, видимо, не одного, а с группой: в городе появились теперь ракетчики и происходили нападения на ночные патрули.

— Вы никого к себе не ждете? Нас никто не услышит? — спросил Эвеминг.

Он правильно изъяснялся по-русски, но слишком отчетливо и твердо выговаривал каждую букву.

— Стены? Потолок? Какие у вас стены? — быстро расспрашивал он, поворачиваясь в разные стороны.

— Истинно крепостные... Из пушки не прошибешь, как в каземате, — поспешно ответил Бухарцев.

— Старый дом, понимаю, — Эвеминг повернулся к своему спутнику. — Как вы себя чувствуете, Никитин? Вам, должно быть, бабушка ворожит... Так по-русски говорится?

— Велик кулак, да плечо узко, — так тоже говорят, — сказал второй посетитель громким, бубнящим голосом. — Вчера пацан один высмотрел меня на пустыре. Нынче оцепили весь район.

Эвеминг промолчал и откинулся на спинку кресла. Он подумал, что было очень неосторожно с его стороны придти в этот густо населенный дом, к человеку, не вызывавшему к себе большого доверия. Но ничего другого ему не оставалось: последние двое суток он и Никитин лихорадочно метались из одного конца города в другой, путая следы. И Эвемингу надо было во что бы то ни стало отделаться от своего слишком опасного путника, по пятам которого шло преследование. Приведя Никитина сюда, пообещав ему спокойный ночлег, сам он не собирался здесь долго задерживаться.

— И вы что же... — начал Эвеминг после паузы, подняв на хозяина глаза. — Вы проживаете в этом доме все двадцать лет?

Бухарцев — сухопарый, с плоской грудью, в заношенном, испачканном красками пиджаке, в помятой рубашке, в стареньких, пузырившихся на коленях брюках — стоял перед гостями прямо, опустив вдоль тела длинные руки. В его тощей вытянутой фигуре угадывалась, несмотря на костюм, на старческую сутуловатость, военная выправка.

— Двадцать один год, Борис Николаевич. И, так точно, здесь, — с готовностью отрапортовал он.

Большая квадратная комната с почерневшим от времени потолком, с лепными карнизами выглядела почти пустой. В дальнем углу в полумраке стояла железная с никелированными шишечками кровать; квадратный стол на точеных ножках был придвинут к окну, занавешенному старым одеялом. От давних дней, когда в этом номере второразрядной гостиницы останавливались московские средней руки купцы, чиновники из департамента промышленности, небогатые дворяне, наезжавшие по делам опеки, провинциальные антрепренеры, сохранились еще вместительный приземистый шкаф с изогнутым, волнообразным верхом да продавленное красного дерева кресло у стола. Но и они не меняли общего впечатления. Казалось, что хозяин комнаты живет, как на бивуаке, в этой паркетной пустыне, ограниченной голыми грязно-голубыми стенами.

— О, о, двадцать один! — сказал Эвеминг.

Он бесцеремонно рассматривал хозяина своими круглыми, чересчур близко посаженными к переносице глазами. И хотя в его голосе слышалась теперь насмешка, а минутой раньше было беспокойство, глаза у него, как у птиц, только смотрели и видели, никогда, казалось, не меняясь и ничего не выражая.

— А это что за коллекция у вас? Это и есть ваше искусство? — полюбопытствовал он, показывая пальцем.

В комнате на полу вдоль плинтуса были разложены для просушки небольшие картоны с намалеванными на них одинаковыми пейзажами: овальный пруд, белые ватные лебеди на голубой воде, яркозеленые деревья с симметричными ветками и солнце, похожее на медный пятак. Такая же, но неоконченная картинка возвышалась

на столе на косо́й деревянной подста́вке среди баночек с красками и кистями.

— Мое изделие... Источник существования, иначе сказать, — доложил Бухарцев. — По воскресеньям выносил на базар, на продажу. Теперь, конечно, жителю не до картинок.

— А выход тут один у них, в общий коридор, — неожиданно проговорил второй гость своим деревянным голосом. — Вот какое тут неудобство.

— Успокойтесь, Никитин! Нам осталась только одна ночь... Воды мне! — приказал Эвеминг хозяину. — Стакан воды! У меня сухо в горле...

Круто, по-военному повернувшись, Бухарцев зашаркал к водопроводной раковине у двери.

— Не знаю, чем и угощать дорогих гостей, — сказал он, вернувшись с кружкой. — Не угодно ли чайком погреться? Хозяйство у меня все под рукой.

— Морковный, небось, чай у вас? — осведомился человек, которого звали Никитиным. — Или на корочках? Небось, на корочках?

Тень от квадратного козырька закрывала до половины его лицо с плоским подбородком; руки он держал засунутыми в глубокие карманы пальто.

— Для такого случая найдется и настоящий, — сказал Бухарцев.

И, шаркая туфлями, он зашпешил ко второму окну; там, на подоконнике, стояли у него кастрюли, электрическая плитка, чайник. Пока он хозяйничал, его гости довольно оживленно беседовали, он слышал какие-то фамилии, названия улиц; Борис Николаевич что-то говорил об интендантских вещевых складах, спрашивал, увезены ли из города преступники, содержавшиеся в тюрьме. Но Бухарцев не улавливал смысла беседы: крайнее волнение мешало ему сосредоточиться. Слишком уж долго он — кавалергард в далеком прошлом, штаб-ротмистр, корниловец, участник «ледяного похода» — ждал, составившись здесь, в городе, изменения своей участи, представлявшегося с каждым годом все менее вероятным. И внезапные события последних месяцев: война, быстрое продвижение фашистских армий в глубь России, появление в городе агентов немецкой разведки, с которой он был некогда связан, не напоминавшей ему о себе в течение двух десятков лет, — произвели на Бухарцева оше-

ломляющее действие... Из коридора в комнату донеслось слабое, смягченное резиновыми наконечниками постукивание костылей, и он прислушался.

«Шныряет, поганец! — с яростью подумал он о Гоге. — Не уговорился еще».

Присутствие этого мальчишки за стеной тревожило Бухарцева даже без всяких к тому разумных оснований. Впрочем, его страхи, как и его злоба, росли теперь день ото дня, и ему все труднее становилось их обуздывать. Его давнишняя острая ненависть, пройдя за многие годы через различные стадии и оттенки, сконцентрировалась, как это бывает, именно на тех людях, что ежедневно питали ее одним своим существованием. И Бухарцев не делал уже больших различий между хрым Гогой, табельщицей с хлебозавода, Володей Тихоновым или Ольгой Ильиничной, матерью Володи. Ныне он смутно помнил то время, когда вынужден был осесть и законспирироваться в этом городе, и он гораздо меньше думал теперь о событиях и людях тех лет, нежели о своих соседях, с которыми так долго прожил.

Метнувшись от окна к столу, Бухарцев принялся торопливо переставлять баночки с красками, освобождая место для чаепития.

— По-холостяцки живу, как изволите видеть, — сказал он. — Тут, на плитке, и готовлю себе сам... По-солдатски, без разносолов. Так что прошу прощения... Не угодно ли раздеться, разрешите вашу шинельку, — обратился он к Борису Николаевичу и осекся.

Эвеминг опять молча разглядывал его: неопрятный, суетливый старик был жалок со своим судорожным гостеприимством, и маловероятным казалось, что он действительно носил когда-то офицерский мундир. Видимо, и в будущем ожидать серьезной пользы от Бухарцева не приходилось. Если даже, как подумал сейчас Эвеминг, ночью сегодня сюда и нагрянули бы люди, разыскивающие Никитина, потеря для тех, кто придет в город завтра, будет невелика.

— Послушайте-ка, господин штаб-ротмистр, — небрежно заговорил он.

Бухарцев испуганно оглянулся на дверь. К нему никто еще так не обращался в этой комнате, и неожиданно прозвучавшие слова показались ему оглушительными.

— Никитин останется у вас. Я полагаю, что вам не будет скучно вдвоем, — продолжал его гость. — Не советую только показывать Никитина своим соседям... Это может плохо кончиться и для вас самих.

— Рад, очень рад, — сказал Бухарцев.

— Я догадывался, что вы не будете возражать... А затем, это всего лишь на одну ночь... Завтра — я полагаю, не позднее чем завтра, — германская армия вступит в ваш город...

Оживившись, Эвеминг выпрямился в кресле и похлопал ладонью по подлокотнику.

— Вам больше не надо будет рисовать эти ваши ландшафты, — продолжал он, твердо выговаривая окончания слов. — Вам предстоит новая полезная деятельность по указанию германского командования.

— Так точно, — пробормотал Бухарцев.

— Вам осталось провести в этом вашем каземате последнюю ночь. После двадцати одного года ожидания это не много, не так ли?

— Совершенно справедливо, — невнятно сказал Бухарцев. Он топтался на месте, машинально шаря руками по пиджаку, будто нащупывая что-то на своей груди.

— Здесь у вас спокойно, господин штаб-ротмистр? Кто тут проживает рядом? — спросил Эвеминг.

Бухарцев, подумав о своих соседях, ответил не сразу. Странное дело: теперь уже не мелкие конфликты, случавшиеся у него с ними, но в большей мере разнообразные одолжения, что оказывали ему эти люди, заставляли его переживать нестерпимое удушливое чувство. Он мог бы еще простить старушке-табельщице ее ворчливость, но то, что она от случая к случаю подкармливала его, вызывало в нем сейчас бешенство. Володя Тихонов был услужлив, вежлив, приносил иногда старому художнику газеты, но именно это представлялось ему заслуживающим отмищения. Аккуратно глотая лекарства, которыми снабжала его Ольга Ильинична, мать Володи, он едва удерживался от того, чтобы не оскорбить ее. И он действительно поругался с соседом-радиотехником, безвозмездно починившим в его комнате электрическую проводку. Ничего уже не могло примирить бывшего штаб-ротмистра с этими людьми по той простой причине, что он слишком долго от них зависел и слишком много им завидовал.

— Кто у вас тут? — повторил вопрос Эвеминг. — Коммунисты есть?

— Как же без них... Имеются...

И Бухарцев опять покосился на дверь. За нею раздавались мягкое двойное туканье, а затем скользящий удар подошвы.

— Мальчишка еще вот, Гогой звать. Часами носится взад-вперед, как угорелый, — заговорил он быстро, торопясь, с внезапной страстностью. — И дружок его Володька Тихонов, постарше немного, главный заводила у них. Прибегал сегодня домой, красная звезда на лбу. «Привет, — говорит, — Михаил Михайлович!» Ах ты, думаю!.. — штаб-ротмистр смял пиджак на груди. — Родительница его, Ольга Ильинична, — член цехкома. Еще радиотехник есть, товарищ Гудков, партийный, журналы выписывает...

— Вы должно быть, хорошо знаете не только проживающих в вашем доме, — сказал Эвеминг, — и вы можете нам очистить этот город. Вы будете получать разумное вознаграждение, дополнительное питание, сигареты...

«О табельщице надо еще сказать. Зажилась, дьяволица!» — подумал Бухарцев.

— Не ради себя, не ради себя... — пробормотал он, отступил на шаг, наткнулся на свободный табурет и тяжело сел.

Эвеминг отогнул обшлаг шинели, посмотрел на часики и потянулся за пилоткой. Надо было уходить, хотя ему и не хотелось уже покидать эту теплую комнату, идти в темноту, на холод. Но там, куда он собирался сейчас направиться, никто его не знал в лицо, а документы и ночной пропуск были у него в полном порядке. Ночевать же здесь, искушая судьбу в эти последние часы, представлялось ему явно неблагоприятным.

— Не сидится вам, я вижу, — громко проговорил Никитин, испытующе глядя из-под козырька кепки, — не по праву вам тут!

— С удовольствием взял бы и вас с собой, — спокойно ответил Эвеминг, — но там, где пройду я, вы не пройдете. А здесь вам ничто не угрожает, не так ли, господин Бухарцев?

Он встал с кресла, надел пилотку и пригладил двумя вытянутыми пальцами свои волосы цвета яичного желтка.

— Прошу не провожать меня, — сказал он. — Мои указания на завтра передаст вам Никитин. Завтра есть день нашей победы. Это всегда бывает немного хлопотливо.

И, не дожидаясь ответа, не оборачиваясь, он пошел к двери. Бухарцев с ошеломленным видом последовал за ним. Отперев дверь, чтобы выпустить гостя, художник отпрянул вдруг назад, убоявшись встречи с Гогой, который все еще, быть может, находился в коридоре.

Эвеминг вышел, и Бухарцев снова два раза повернул ключ в замке.

— Чайник закипел, ваше благородие! — громко объявил за его спиной Никитин. — Будем, что ли, чай пить сегодня?

В комнате слышалось посвистывание; крышка чайника, стоявшего на подоконнике, шевелилась, и из отверстия в ней вылетал проворный столбик пара.

— Ишь ты, голосистый какой! — деревянным голосом сказал Никитин. — К дальней дороге это, ваше благородие, не иначе. Укладываться можете.

Бухарцев заспешил к окну и выключил плитку. Поставив на стол чайник, он побежал к шкафу, принес оттуда хлеб на тарелке, масло и стеклянную банку с повидлом. Затем заварил чай, смахнул рукавом со стола обрезки картона, налил в кружки гостю и себе, присел к столу, но сам пить не стал.

Бывший штаб-ротмистр производил сейчас впечатление захмелевшего человека; он то загадочно посмеивался, шуря на свет глаза в красных, воспаленных ободках век, то порывался куда-то идти, вставал и вновь усаживался. В памяти его проносились теперь другие лица: управдом, заглядывавший к нему иной раз по вечерам, милиционер, с которым он встречался по воскресеньям на базаре, продавец в булочной, дворник... И опять-таки ему вспоминались не свои обиды или неудобства, — в конце концов, он существовал не так уж плохо, даже завел счет в сберкассе, — но чужие благодеяния. Воображая себе завтрашнее изумление всех этих людей, а потом их ужас, он точно пьянел и терял рассудок. Он собирался мстить не за зло — этого было мало для его

ненависти, — но за многое добро, оказанное ему, которое так ее разжигало.

— Сиротский у вас чай, ваше благородие! — услышал он скучный бубнящий голос Никитина. — Одна радость, что горячий, а вроде как и не чай.

Грея на кружке толстые руки, Никитин громко прихлебывал и отдувался; голубые на выкате глаза его заслезились. Кепку он наконец снял, обнажив коротко остриженную голову с бледноватой, покрытой пухом плешью на макушке.

— Чаи разные бывают, — продолжал он, наливая себе в кружку. — Есть черный чай, китайский, есть грудной — этот вернее набором звать. Ну, а лучше желтого чая никакого не найти — это уж высший сорт.

Никитин отер ладонью взмокший лоб.

— Папаша наш, когда чаевничать садился, полотенце брал, — повествовал он дальше. — Самовар у нас специальный ставили, двухведерный. Можно сказать, архиерейский самовар. А для нашего семейства его все ж таки не хватало, доливать приходилось. Вот какие любители были, ваше благородие!

— Чем богат, чем богат... — пробормотал Бухарцев. — Прощу без церемоний. У меня по-холостяцки.

— Заставили нашего брата чай из чайника пить, — снова забубнил Никитин. — Кулаки вы, говорят, мироеды... Ну, а кто настоящий кулак, тому в пятерню не разогнуться.

Но Бухарцев уже не слушал его, опять отдавшись своим невероятным мечтаниям. Они простирались, впрочем, не слишком далеко, ограничиваясь домом, где он жил, да несколькими улицами, по которым он ходил на базар, в булочную, в москательную за красками. В сущности, бывший штаб-ротмистр желал теперь лишь одного — несчастья и гибели своим соседям. Ибо они обладали всем тем, чем не обладал он, — независимостью, чистотой побуждений, благородством, веселостью. Они были добры, когда он изнемогал от злобы, щедры и сердечны, в то время как он не любил никого. Унижаясь перед ними и завидуя им, он мечтал уже не о том, чтобы обрести все это, но жаждал отнять у людей то, чего никогда не имел сам.

Никитин покончил, наконец, с чаем, оставил кружку, расстегнул пальто. Из бокового внутреннего кармана он

выложил на стол ракетницу, из наружного достал пистолет и патроны. Распаренный, побагровевший, он принялся не спеша осматривать и разбирать оружие.

— А только обратно мне ходу не будет, нет! — проговорил он скучно. — Пристрастился я, ваше благородие, к своему занятию, вроде как алкоголик стал, хотя вина и не употребляю. Отвращение у меня к вину... — Он помолчал минуту. — Калмыцкого чая вам не приходилось пить? — поинтересовался он после паузы. — Мне вот довелось испробовать, когда я срок отбывал. Можно сказать, одно название что чай, а вроде супа.

Бухарцев не отозвался: за дверью были слышны шаги людей и неразборчивые голоса. Он быстро встал и на цыпочках пошел к двери. Шаги удалялись по коридору: кто-то, вероятно, вернулся домой с работы, а может быть, поднялся к себе из убежища.

— Идут, идут... Все здесь, — сказал Бухарцев, еле шевеля губами.

Когда в коридоре затихло и он оглянулся, Никитин, не сняв пальто, лежал уже в сапогах на его кровати, держа руки в карманах.

— Смотрите же, чтоб по-хорошему все было, пока я спать буду, — проговорил он из угла. — Случись что — первая пуля вам достанется. — И после долгого молчания он невнятно, сквозь зевок добавил: — Плохое у вас помещение, ваше благородие! Хотя и большое, а дрянь.

3

Анна Васильевна, перебив и убрав посуду, заторопилась к себе на фабрику, и Наташа осталась одна в доме. Близился вечер; в комнате Павла, куда прошла Наташа, все напоминало еще об его недавнем уходе: старенькая рабочая куртка свисала со спинки стула, смятое полотенце валялось на столе поверх каких-то папок, чертежная доска была прислонена к изголовью койки, обрывки бумаги белели в углу...

Начало уже смеркаться; одинокий вазончик с низким крупнолистным растением выступил черным силуэтом на запотевшем молочно-синем оконном стекле... Из соседней комнаты доносилось громкое равномерное постукивание ходиков, и ни звука, ни шороха не раздавалось больше в доме. Наташа поморщилась, борясь с подступившими

слезами; страх за Павла, а значит, и за себя, неведомый ранее страх сиротства овладел ею с новой силой.

Но в следующую же минуту Наташа бурно воспротивилась тому, что ей угрожало, — всем своим существом она отвергала несчастье, не мирилась с ним. И, внутренне похолодев от его близости, она почувствовала лихорадочную потребность действовать.

Она быстро пошла по заскрипевшим половицам, почти подбежала к столу, присела, стремительно встала; она заметалась по комнате, еще не зная, что ей предпринять, но не желая больше терять ни одного часа. Торопливо, почти машинально начала она убирать комнату Павла, повесила на крючок полотенце, привела в порядок письменный стол, инстинктивно стремясь уничтожить все то, что напоминало о разлуке, о несчастье. И тут ей показалось, что наперекор всему случившемуся она могла бы и не расставаться с мужем, если б только у нее хватило мужества. Пораженная этой мыслью, Наташа села к столу, подперла голову руками и долго сидела так, не шевелясь, взволнованная, испуганная, стараясь все хорошенько обдумать... Вскоре совсем стемнело, растворился во мраке, исчез квадрат окна, и тишина в доме почудилась Наташе такой глубокой, плотной, что ей стало жутковато.

Ощупью занавесив окно, Наташа включила свет, прошла в соседнюю комнату и там сделала то же самое. Ее познабливало, лицо пылало. И в то же время впервые за весь день она испытывала облегчение, что приходит, когда выбор наконец сделан и решение принято... Вот когда должны были пригодиться ей курсы сандружинниц, оконченные еще летом! И если служба в армии была по силам другим женщинам, ушедшим на войну санитарками, сестрами, связистками, разведчицами, снайперами, то, конечно, и она, думалось ей, справилась бы там со своими обязанностями. Ее охватывал трепет, когда она пыталась представить себе испытания и тяготы, являвшиеся уделом бойца... Но почему, собственно, эти испытания должны были пройти мимо нее в то время, как все вокруг, даже старик Алексей Васильевич, вернувшийся на завод, становились бойцами, защищавшими также и ее счастье?.. От всего своего сердца стремилась Наташа быть сейчас полезной людям, облегчить им в чем-то их слишком трудную участь. И вместе

с тем она искала способов вернуть себе как можно быстрее то, чего лишилась. А находиться около Павла, часто видеть его, вместе делать одно дело, каким бы тяжелым оно ни оказалось, было для нее само по себе радостью, большим счастьем в несчастье.

Теперь Наташа нетерпеливо ожидала Анну Васильевну, чтобы сообщить ей о своем решении. Надо было также узнать, куда обратиться с просьбой о зачислении в рабочий полк и вообще как поскорее добиться этого. Блуждая по дому, Наташа то присаживалась где-нибудь на минуту, то снова принималась кружить по комнатам. И как-то по особому громко, тревожно, казалось ей, стучали теперь в пустом доме ее каблучки.

Остановившись перед трюмо в простенке, она близко наклонялась к зеркалу, рассматривая себя с новым интересом. Щеки ее разругались, но покатый чистый лоб был бледен, а в темнокарих, жарких, любопытствующих глазах светились точечные золотые огоньки — и ей казалось, она сразу похорошела. Умелыми пальцами онаправляла свои волосы, трогала тяжелый узел на затылке, прикладывала руку тыльной стороной к щекам, точно желая охладить их. Дыхание ее серым облачком оседало на поверхности стекла, и она пятилась от зеркала, наблюдая, как отступает в его глубину отражение молодой, чуточку полной в талии, но красивой, по ее мнению, женщины.

Чтобы чем-нибудь занять время до прихода Анны Васильевны, Наташа сняла с этажерки тяжелый, в плюшевом переплете альбом для фотографий и села его рассматривать. На первом же листе на нее из прорезанного в бумаге прямоугольника, как из окошка, глянул благожелательно улыбавшийся старец с расчесанной по-скобелевски на две стороны бородой. Давнишняя фотография выцвела уже, пожелтела от времени, и Наташе неожиданно подумалось, что старейший предок ее мужа поощрительно улыбается ей из своего туманного далека. Наташа невольно тоже улыбнулась; несмотря на всю свою решимость, она очень нуждалась сейчас в одобрении и поддержке.

Она осторожно перебрасывала картонные с золотым обрезом листы, похожие на дощечки, и перед нею поочередно появлялись усатые мастеровые в косоворотках, в темных пиджаках и женщины в кофточках с буфами,

в длинных юбках, молодые парни в жестких черных фуражках и древние старухи, повязанные платками. На одной из фотографий группа принарядившихся мужчин — иные в длиннополых сюртуках, в крахмальных воротничках — расположилась около какого-то станка с маховым колесом; Алексей Васильевич — он был лет на тридцать моложе здесь — выделялся своим большим ростом среди остальных. На другом снимке, слинявшем, любительском, плечистый взлохмаченный человек в фартуке с нагрудником, с закатанными по локти рукавами, стоял, опираясь на кузнечный молот с длинной ручкой. Иногда Наташа улавливала явственное сходство между этими рослыми, крупными людьми и Павлом, но в большинстве случаев могла лишь гадать о степени их родства. Ближе к концу альбома стали попадаться и неизвестные ей фотографии самого Павла. Со стесненным сердцем, радуясь и грустя, она долго рассматривала карточку, где был изображен коротко стриженный, скуластый, большегубый подросток с комсомольским значком на клетчатой рубашке, с открытым добрым взглядом, который она так любила. Потом она нашла своего мужа в группе молодых парней в майках, в трусах, сфотографированных на фоне футбольной сетки; Павел, возвышавшийся в середине команды, прижимал к груди мяч. Молодые люди все как один весело, согласно улыбались, и Наташе снова подумалось, что давние товарищи мужа радушно принимают ее сегодня в свою среду. В самом конце альбома, между последней дощечкой и крышкой, хранилось много мелких снимков, лежали какие-то письма, квитанции. И Наташа увидела здесь вырезанный из газеты портрет своего свекра, Алексея Васильевича, напечатанный под крупным заголовком: «Герой Труда А. В. Громов».

...Анна Васильевна вернулась домой поздно: на фабрике детского платья, где она работала, шли спешные приготовления к выпуску новой продукции — солдатских шинелей, а помимо того, у нее этой ночью было много других забот. В Т. еще днем появились беженцы из деревень, из ближайших фабричных поселков, и по городу быстро из улицы в улицу поползли тревожные вести — ночью в примолкшем, затемненном городе мало кто спал.

Анна Васильевна прямо с фабрики отправилась в свой уличный комитет (как показывало само название, такие комитеты имелись теперь на каждой улице в городе).

Там в сильном беспокойстве ожидали уже Анну Васильевну женщины-соседки, и она засиделась с ними, обсуждая различные дела.

По решению Городского Комитета Оборона производилось переселение жителей с южной окраины в Заречье, и надо было спешно подготовиться к приему людей; на очереди стояли также вопросы о сборе подарков для бойцов Красной Армии, о стирке солдатского белья... Анна Васильевна была, как всегда, деловита, внешне сурова, и вокруг нее как-то само собой возникала та атмосфера уверенности, в которой больше всего нуждались сегодня люди... Время подходило уже к полуночи, когда она позвонила наконец на крылечке своего домика.

Наташа, истомившаяся в долгом ожидании Анны Васильевны, поспешила первым долгом рассказать ей о своем решении. И была очень удивлена, когда старуха отнеслась к ее сообщению сдержанно: не высказав ни одобрения, чего ожидала Наташа, ни возражений, она неопределенно заметила:

— У нас многие женщины в полк просились. Вы, Наташенька, обучались на медицинскую сестру?

— Немножко обучалась... И я готова на все, на любую работу! — горячо сказала Наташа.

— Ну что же, вы человек молодой, самостоятельный... — ответила Анна Васильевна и тут же заговорила о другом, как бы не придав намерению своей невестки серьезного значения.

В городе, по ее словам, было спокойно, хотя немцы находились уже в Новом Поселке. В кино на Советской улице показывали картину «Щорс», магазины закрылись в положенный час, а ночная смена на хлебозаводе, мимо которого шла, возвращаясь домой, Анна Васильевна, заступила на работу. Правда, в районе Попова пустыря, возле старых бань, раздавались — она сама слышала — ружейные выстрелы.

Обо всем этом Анна Васильевна поведала в немногих словах низким басовитым голосом. Рассказывая, она размахисто, но неторопливо шагала по комнате, собирая на стол чайную посуду, высокая, прямая, в черной сатиновой кофте, плоско свисавшей с ее костлявых плеч. Мужское, с выступающими скулами лицо ее сохраняло обычное замкнутое выражение. Наташа, встав к печке и заложив за спину руки, слушала невнимательно; спо-

койствие, с каким Анна Васильевна отнеслась к тому, что казалось Наташе таким важным, почти героическим, обидело ее.

«Ну и голос, как у испорченного радио, — сердито подумала она, глядя на старуху. — И как невозможно обо всем рассказывает, словно ничего не чувствует».

Анна Васильевна прошла на кухню, поставила на огонь чайник, вернулась и лишь теперь села к столу отдохнуть.

— Давайте, Наташа, чайку попьем, а там все и обсудим, — сказала она.

— Я не хочу, спасибо, — сказала Наташа.

Она опустилась на низенькую скамеечку у печки и, обхватив щиколотки, уперлась подбородком в округлые колени.

— Ужасно не повезло мне, — пожаловалась она. — Собиралась сюда, ехала, а видела Павла полчаса всего.

— Нетерпеливая вы какая, Наташенька. Молодыми крепиться — потом пригодится, — отозвалась старуха и, помолчав, объявила: — Поезда на Москву опять пошли. Говорят, путь был поврежден, теперь его починили. И еще я слышала — это многие говорят — приказ есть...

— А я вам, Анна Васильевна, завидую, — перебила ее Наташа. — До чего вы все-таки спокойная, ничего вас не волнует!

— Я-то? — Старуха снова помолчала, раздумывая над словами невестки. — Я, Наташенька, спокойная была, когда в девушках ходила. А после того все больше в беспокойстве живу.

Наташа удивленно посмотрела на Анну Васильевну, как бы усомнившись в том, что эта шестидесятилетняя мужеподобная, с басовитым голосом женщина тоже была когда-то молодой.

— Вы... — вырвалось у нее с плохо скрытым недоверием, — вы тоже были замужем?

Старуха слабо усмехнулась.

— А я в девушках не на последнем счету была, — не спеша ответила она. — Силы да здоровья у меня на троих достало бы. Я на всякую работу способная очень, сноровистая была: и сготовить, и постирать, и пошить. Вот так-то. У нас от папаши, от Павликова деда, иначе сказать, станочек оставался токарный. Так я и на нем вприглядку выучилась. Да и лицом я белая была, чистая...

— Что вы, Анна Васильевна! Вы меня не поняли, — сказала Наташа покраснев. Чтобы как-нибудь загладить свою неловкость, она спросила: — А кто он был, ваш муж?

— Рабочий, кто ж еще... — старуха, казалось, внимательно рассматривала свои руки, лежавшие на столе, крупные, костистые, с утолщенными суставами, обтянутые коричневой кожей. — Они с Алешей, с братом моим, друзья-товарищи были, однолетки.

— Вас брат и познакомил, наверно? — сказала Наташа.

— Брат, Алеша, — подтвердила старуха. — Они оба в одной мастерской работали.

Быстро встав со скамеечки, Наташа пересела к столу — этот разговор начал ее интересовать.

— И как все случилось? Расскажите, Анна Васильевна, — попросила она.

— Что ж мне вам рассказать?.. Обыкновенно все у нас было, — ответила та.

— Как обыкновенно? Ну, я прошу вас, — сказала Наташа, улыбаясь с бессознательным превосходством своей молодости над старостью.

Старуха на этот раз молчала довольно долго, скуластое лицо ее, затененное абажуром, висевшим над столом, опять стало замкнутым, непроницаемым.

— Так все и было, Наташенька, — выговорила она наконец. — Пожалел меня Андрюша мой, а я на жалость да на ласку не балованная была... Мамаша у нас с Алешей померла, когда мне и десяти годков не исполнилось, я и помню ее будто бы сквозь туман. А отец у нас хмурый был, неразговорчивый. Иной раз придет домой, шваркнет картузом по столу, взглянет на меня, девчонку, а у меня руки-ноги отнимаются. Так-то вот... Большой силы был человек, атлет, можно сказать, а в скорости тоже израсходовался. И то, если вспомнить: на заводе по четырнадцати часов тогда выстаивали, а после дома при свете самоварные краники точили. Вот мы и остались через малое время одни с Алешей. Я, значит, в доме хозяйничала, а он на отцовское место заступил...

Громкий голос старухи звучал так ровно, точно она повествовала не о себе, а о какой-то посторонней женщине, судьба которой мало ее волновала; казалось даже, она не слишком охотно вспоминала о ней.

— Я про Алешу, про брата, худого ничего не скажу, — продолжала она. — На первую получку свою, помню, купил он мне гребень костяной, ботинки на пуговках — теперь уж не носят таких. Он и после смотрел всегда, чтоб я аккуратно одета-обута ходила. Только, конечно, слышала я от него тоже немного: «подай», да «принеси», да «щи у тебя несоленые»... Алеша и постарше меня лет на восемь и характером весь в отца пошел. Ну вот! А с Андрюшей, с мужем-то моим, я, может, в первый раз за всю жизнь разговорилась... И будто бы потеплело мне сразу. Это верно — жалел он меня, — убежденно закончила Анна Васильевна.

— И долго вы были замужем? — тихо спросила Наташа.

— Долго ли? Да нет, не долго... Год и два месяца всего, — сказала Анна Васильевна.

Наташа промолчала, не решаясь расспрашивать ее дальше.

— Андрея с Алешей по пятому году, когда у нас большая забастовка была, жандармы забрали, — подождав, спокойно проговорила Анна Васильевна. — Алешу выпустили скоро, а мужа — он в рабочем комитете стоял, — мужа увезли... Вот так!

Выпрямившись, уронив на колени руки, Наташа испуганно посмотрела на старуху.

— Чайник мой закипел, должно быть, — сказала та.

— Сидите. Я посмотрю! — воскликнула Наташа, быстро поднявшись.

Возвратившись с чайником и поставив его на проволочный кружок, она некоторое время напряженно следила, как старуха разливает по чашкам чай. Все же эта суровая, каменного, наверно, характера женщина оставалась для нее малопонятной.

— И вы... вы так и не увидели больше мужа? — не утерпев, спросила Наташа.

— Я год целый пороги в полиции обивала, пока писарь один — добрая душа — за три рубля не объяснил мне, куда увезли Андрея, — проговорила Анна Васильевна. — После пришло от него письмо: жди, мол, когда я на поселение выйду. Ну, так! Восемь лет я ждала... А тут у Алеши несчастье случилось: жена его, Оленька, красавица была, каких нету, чистая душа, слегла и не встала. Затосковал Алеша, запил, на мальчишку, на сына

родного, смотреть перестал. На моих руках Паша остался. В эту самую пору набедовались мы — вспомнить страшно! Алеша хозяину сгрубил, ему сейчас же расчет. А безработица тогда была такая — читали об этом, наверно, — что раз человек работу потерял, так хоть с сумой иди. Ну, однако, кручиной людей не насытишь — это каждый знает. Я в ту пору к инженерам белье стирать ходила, полы мыть, тем и кормились все трое. А только Алеша оправился, получила я из Сибири извещение...

Старуха умолкла, толстоватые бесцветные губы ее сомкнулись.

— Умер ваш муж? — упавшим голосом сказала Наташа.

— Не довелось нам свидеться. Убили его там, — сухо ответила Анна Васильевна. — Крутой он был, безбоязненный на правду...

Наташа смотрела на нее теперь почти с робостью, мешавшей ей выразить свое сочувствие, признательность, восхищение. Она и раньше слышала от Павла, что он многим обязан тетке, но как мало и редко он о ней рассказывал! В семейном альбоме, подумала Наташа, она не нашла почему-то ни одного снимка Анны Васильевны. А между тем женщина, сидевшая перед нею, вобрала в себя, казалось, всю поразительную стойкость этой рабочей семьи, являясь как бы ее неборимой душою.

— Остывает ваш чай, Наташенька, — сказала старуха. — Берите сахар.

Послышался слабый дребезжащий звук, и она подняла голову; звук повторился: кто-то царапался в занавешенное окошко, выходящее на улицу. Старуха отодвинула чашку и встала, чтобы отпереть дверь.

Спустя минуту в комнату вошла, вернее, ввалилась, тучная женщина в платке, в шерстяной вязаной жакетке с отвисшими карманами.

— Слышала, Васильевна?.. — начала она тонким голосом и задохнулась; маленький рот ее по-детски сложился трубочкой, втягивая воздух. — Слышала? Немцы уж в Новом Поселке! Что ж ты теперь скажешь: погибать нам окончательно или жить?

— А ты сядь, отдышись сперва, — строго проговорила Анна Васильевна. — Поздоровайся вот...

Гостья, знакомясь с Наташей, не то что успокоилась, но отвлеклась на короткое время.

— Вот вы какая будете!.. — разглядывая Наташу, нараспев сказала она. — А мы думали, кого это Паша за себя в Москве взял, своих девушек обидел? Мы тут рядышком с вами, по соседству живем...

И, вновь забеспокоившись, затосковав, она горестно покачала головой, потом тяжело опустилась на ближайший стул. Платок соскользнул ей на плечи, открыв гладко причесанные волосы с аккуратным узелком на самой макушке.

— Ноги меня не держат, Васильевна! — точно оправдываясь, пояснила она. — Днем-то я креплюсь, ничего, а ночью, как накатит, спать не могу. Слеза за слезой, а все каплет. Лежу и плачу. А сердце ровно бы кто стиснул, и крутит, и выворачивает. Как подумаю, что все четверо на моих руках, так разом и ослабею.

— Антон Тимофеевич здоров? Давно его видела? — спросила Анна Васильевна.

— Утречком нынче проводила на позицию... Грозится он: мы, мол, фрица так, да мы этак, да за ноги его, да об стенку! Сама знаешь, азартный он...

— А ты, Варвара, погибать собралась? — сказала Анна Васильевна. — Такой у тебя защитник объявился, а ты сна лишилась...

— Так ведь в годах он и глазами слабоват стал, — жалобно проговорила женщина.

Маленькая голова ее, подпертая оплывшим подбородком, была откинута, что придавало ей надменный вид, странно не соответствовавший ее тону; толстенные, в ямочках пальцы машинально теребили бахрому платка.

— Мастер-наладчик он первостатейный, это всякий скажет, — продолжала она, — а какой он солдат? Куражу много, и только... А ну, если очки кокнет там, да спотыкнется, да не увидит, откуда немец пойдет на него, — и пропал человек.

— Так ведь не один он там... Товарищи должны помочь, показать, что и как... — сказала Анна Васильевна. — А ты, чем загодя тревожиться, другие очки купила бы ему на всякий случай.

— Я и то думала... — начала женщина, но не докончила.

В сенях блямкнул вдруг и зазвенел хриловатый колокольчик: кто-то с силой дергал ручку.

— Ишь ты, не терпится как! — недовольно сказала Анна Васильевна, снова идя отпирать.

Стукнула задвижка, в коридорчике послышались быстрые шаги, и раздался резкий крикливый голос:

— Ой и темень на улице, как в лесу! Мы на одну минутку, Васильевна! Просьба к тебе есть...

Круглолицая, с кумачовым румянцем на щеках, молодая женщина в цветистой косынке остановилась на пороге комнаты, обводя ее сощуренными от света глазами. Новая гостья была в узковатой по колени юбке, в резиновых ботиках-сапожках; большая крутая грудь ее выпирала из солдатского ватника, застегнутого лишь на две нижние пуговицы.

— Чаевничаете, гражданочки? — проговорила она таким тоном, будто усматривала в этом занятии что-то предосудительное. — Ну, я дальше не пойду, а то мне боты снимать — это целая процедура...

Она посторонилась, и в комнату тихо ступила еще одна гостья. Наташа, изумившись, вперила в нее очарованный взгляд: по-девичьи тонкая, хотя и довольно высокого роста, она была необыкновенно, на редкость красива. Удлиненное, строгих очертаний лицо ее казалось бледным, голубоватым от черного шелкового платка, накинутого на голову; брови, почти прямые, приподнимались к вискам и на концах слегка загибались книзу. Но особенно поразили Наташу глаза женщины, широко расставленные, чистого синего цвета, настороженно и печально посмотревшие на нее...

Анна Васильевна представила гостям свою невестку, и женщина в косынке смерила Наташу насмешливым взглядом.

— Вот уж не ко времени приехали к нам, — сказала она. — И как это вас угораздило?

Ее спутница попыталась улыбнуться: крылатые брови ее дрогнули, губы приоткрылись, и с равным основанием можно было подумать, что она сейчас заплачет.

— Я — Бокова, — очень тихо сказала она. — Мой муж — Боков. Может, слышали? Он вместе с Пашей теперь.

— Ну, конечно, слышала!.. Так вы Марина Бокова! — воскликнула Наташа.

Она искренно обрадовалась, хотя ничего почти не знала ни о самой Марине Боковой, ни об ее муже. Но

тот служил в одном взводе с Павлом, и одно это, казалось Наташе, делало ее и Марину близкими друг другу.

— Как хорошо, что мы встретились! Просто чудесно! — громко сказала она.

Но Бокова промолчала, сияясь улыбнуться, не понимая, видимо, чем их встреча так хороша.

— Давно я тебя не видела, Маринка! — проговорила Анна Васильевна, с удовольствием глядя на гостью. — Ну, садись, солдатка, рассказывай... Как же ты теперь маешься одна?

Бокова, придерживая свой шелковый платок у самого подбородка, послушно села на краешек стула.

— А так вот... Снова в цеху работаю. Настя меня снова к себе взяла... Да только немного я наработала...

Она опять, казалось, едва сдерживала слезы; тонкие брови ее вздрагивали, и впечатление трепетной крылатости, производимое ею, стало еще сильнее.

— Что ж так? Или спинку отвыкла гнуть? — спросила Анна Васильевна.

Но на неподатливом лице ее появилось то особое, немного удивленное выражение, с каким обычно любуются чем-нибудь действительно прекрасным — молодым деревцом, голубем, возносящимся в небо, — или слушают птичье пение.

— Чаю попейте, пока совсем не остыл, — пригласила старуха. — Так какое же у вас дело ко мне?

— Это Маринка меня и надоумила, — сказала гостья в косынке. — Бежим, говорит, к Грозовым, Васильевна не откажется.

Она все еще топталась у дверей, но вдруг пододвинула к себе стул, решительно села и приготовилась стаскивать ботинки.

— Чистое наказание с ними! — гневно объявила она. — Вот так целый день канителишься: то насовываешь их, то обратно снимаешь.

Ухватив ботинки обеими руками, низко нагнувшись, она, не меняя своего гневного тона, сообщила, что из города уходит много людей и что завтра уже сюда придут немцы.

— Танков этих у фрицев видимо-невидимо, — пронзительно выкрикнула она, блестя заведенными под лоб глазами. — Говорят, что их с колокольни на кладбище углядеть можно. Ну, и мы с Маринкой... — она метнула

взгляд в сторону Наташи. — Словом, мы тоже не остаемся.

Она выпрямилась, пунцовая, с выпавшими из-под косынки прядями волос, и отшвырнула ботинки к двери.

— Просьба к тебе большая, Васильевна! — продолжала она, поправляя на ногах туфли, нетерпеливо пристукивая каблуками. — Я старикам своим весь подвал картошкой забила. Прокормиться им на всю зиму хватит. Ну, а ты, если возможность будет, ты наведайся к ним, посмотри, что и как...

— Уезжаете? — переспросила Анна Васильевна. — Ну что ж... Поезжайте, если на оборонной работе не заняты.

— Не останемся, хоть режь меня! — крикнула женщина.

Она с шумом отодвинула стул, пересела к столу и, торопясь, громко откусывая сахар, стала пить чай.

Первая гостья, безмолвствовавшая до этой минуты, неожиданно залилась слезами. Они заволокли ее голубенькие глазки и тихо заструились по толстым щекам, оставляя извилистые дорожки; маленький рот ее по-детски задрожал.

— Перестань, Варвара! — резко сказала Анна Васильевна.

— А мы как же?.. — всхлипнув, пролепетала женщина. — Четверо ведь у меня... Куда ж я с ними?..

— Баба слезами откупается, а мужики — кровушкой, — со злобой сказала гостья, которую звали Настей. — Мне мой писал, я знаю... Сечет их там, как траву косой...

— За Ваню я очень беспокойная... — встрепенувшись, но не поднимая глаз, негромко призналась Марина, — он сам не свой был, когда прощался... Слово выговорить не мог...

— Любит он тебя чересчур, не по разуму даже, — прекнула Настя Маринино мужа.

— Я уж не знала, как его утешить... Только и сказала: «Буду ждать тебя, Ваня, все глаза прогляжу».

И, как бы устыдившись своей откровенности, Марина, опустив голову, потуже затянула на плечах платок.

— Моему Антону Тимофеевичу за пятый десяток уже перевалило, — пожаловалась первая гостья. — Куражу у него много, а силы-здоровья — на самом донышке...

— Напористости у твоего Вани маловато, вот что, — авторитетно проговорила Настя. — У моего вот тоже: горячки — хоть отбавляй, а настоящей напористости нету.

Они разговаривали сейчас так, точно речь шла не об их мужьях, а о больших и не слишком смысленных делах. Настя, казалось, досконально знала все то важное, чего никак не могли взять в толк их взрослые, но недогадливые избранники.

Допив чай, она решительно отодвинула чашку, звякнула ложечкой.

— Спасибо за угощение! Пошли, Маринка!.. А то заметет нас на улице патруль, чего доброго. — И, внезапно распалившись, закричала: — Злость меня на мужчин берет все-таки... На военных особенно. Ну, куда, куда мы завтра побежим с Маринкой, с блаженненькой? Такое разорение кругом!.. — Ее глаза посветлели, резко выделившись на красном запылавшем лице. — Отходчивые мы, вот в чем беда! А попадись мне сейчас какой-нибудь военный, хотя бы и сам генерал-майор, я б ему все сказала, начистоту! Ну, прощай, Васильевна! Может, больше и не увидимся. Эх, была жизнь и кончилась!..

Марина, вскочившая со стула, как только Настя позвала ее, растерянно смотрела на Анну Васильевну. Невидимые, спрятанные под черным шелком руки ее шевелились, все туже стягивая бахромчатые края платка.

— Что ты?.. Может, еще увидимся, — пробормотала она.

— Ты это оставь, Настя, — сказала Анна Васильевна, и ее низкий голос заполнил всю комнату. — Ты кто такая, я не пойму?

— Как кто? — удивилась Настя. — Признавать уже перестала?

— Никак не признаю. Ты ж рабочая женщина.

Анна Васильевна не изменила своей позы: она сидела прямо, сложив перед собой на столе руки; угловатое лицо ее в тени абажура выглядело все таким же сурово-спокойным.

— Самой мне родить не пришлось — это верно, — громко, медленно заговорила она. — Ну, а все ж таки одного человека я вынянчила, на ноги поставила... Этими вот руками... — она развела свои желтоватые в мозолях ладони, — обмывала мальчишку, с ложки кормила.

И если беда какая по малолетству случалась у него, к кому он прибегал? Ко мне... Я Пашу — хоть он и вырос уже, инженером стал — лучше, может быть, знаю, чем он себя знает. Я ему вместо матери была и сама около него пригрелась. Я ж такая точно баба, как и вы все. Это только вид у меня свирепый... А я сама Паше сказала: «Нельзя иначе, надо тебе идти».

Она наклонилась над столом, подавшись к Насте; лицо ее, вышедшее из тени, осветилось, и стали заметны на нем глубокие впадины под скулами, продольные складки кожи у рта. Блеснула на ее черной сатиновой кофте стеклянная пуговка.

— Слушаю я тебя, Настя, и диву даюсь. Ты что, голову от страха потеряла? Ты с кого же спрашиваешь? Ты с себя спрашивай. Да разве мы — рабочий класс — можем допустить, чтоб ее порешили, советскую жизнь? Люди нашего класса за нее по Владимирке на каторгу шли, смертную муку принимали... Мы ее день за днем, кирпичик к кирпичику складывали, своим потом и кровью полили. Мы ж сейчас только почувствовали все, какая она есть, жизни! Я лично сорок лет грамоты почти что не знала, на старости лет книжки читать выучилась. Я свет увидела! Да разве ж я, простая женщина, допущу теперь, чтобы опять тьма для всех, нищета, неволя настала?!

Анна Васильевна протянула руку; плашмя легла на скатерть ее широкая кисть с длинными пальцами.

— В народе, как в туче, в грозу все наружу выйдет, — сбавив голос, но с особенной твердостью проговорила она. — Если дом мой сжечь хотят, я и сына подниму и сама встану. И ты, Настя, и все вы... И ты запомни: не найдется на земле такой силы, нету ее такой, чтобы не рассыпалась, когда все женщины, все трудящиеся женщины пойдут на нее...

— Поглядеть бы на это войско, — сказала Настя.

Заведя на затылок руки, от чего грудь ее выпятилась, она резким движением затянула узел косынки.

Анна Васильевна качнула головой.

— Глупая ты, чтоб не сказать хуже, — ответила она. — Народ наш только начинает воевать — это понять надо. И еще могу с вами поделиться: мне многие сегодня говорили — не сдадут нашего города немцам. Приказ есть, чтоб не отступать больше.

— Приказ есть? Ну, вот видите, — громко сказала Наташа.

Ее доверие к словам старухи было уже безграничным.

— Какой же генерал сказал тебе про приказ? — спросила Настя.

Марина метнулась к Анне Васильевне; платок на ней распахнулся, и стала видна ее белая узкая рука, прижатая к груди.

Старуха снизу вверх посмотрела на Бокову.

— Не сдадут нашего города, Маринка, — мягко повторила она.

— Вот и мой Антон Тимофеевич тоже объяснял: дальше пятиться нам никак нельзя, — вставила свое слово первая гостья. — Быть, говорит, волку в тороках.

Она больше не плакала, но толстые щеки ее лоснились от непросохших слез. Настя, вставшая из-за стола, коротко, принужденно засмеялась:

— Ну, если твой Тимофейч это говорит, тогда и вправду крышка немцам, — съязвила она.

— А ты погоди смеяться, — сказала Анна Васильевна. — Ты сочти-ка лучше, сколько у нас таких Тимофейчей.

Настя, прислонившись плечом к косяку, снова занялась своими ботинками.

— Вот чертову муку придумали! — проворчала она, согнувшись, стоя на одной ноге и насовывая ботик на другую. — Как хочешь, Маринка, оставайся, если себя не жалко! — с внезапной яростью закричала она. — А я все равно уйду, пока можно еще.

Бокова со страхом взглянула на подругу своими необыкновенными яркосиними глазами, потом перевела их на Анну Васильевну.

— А к чему тебе тут оставаться, Марина? — сказала старуха. — Ты ж на обороне все равно не занята. Уходи лучше...

— Прощайте, Анна Васильевна! — срывающимся голосом проговорила Бокова.

Руки ее выскользнули из-под платка, и она слабо, неопределенно взмахнула ими, точно желая обнять старуху и не решаясь.

— Прощай, — твердо сказала та. — А к твоим я наведаюсь, Настя... Зайду обязательно.

Вернувшись в штаб, Володя Тихонов и Витя Веревкин были неприятно озадачены: их проводником оказалась хорошенькая девушка лет шестнадцати, с голубыми глазами, с необыкновенно гладким, поблескивавшим бело-розовым лицом. На ней был короткий, ушитый в талии колушок, сапожки на высоких каблуках, и девушка показалась Володе совсем взрослой. Да и держалась она, как взрослая, серьезно, озабоченно разговаривала с капитаном, начальником разведки, поправляя иногда белокурые волосы, выпущенные из-под платка на округлый лоб.

Володя и Витя хмуро переглядывались, когда капитан знакомил их с этим проводником. Выслушав последние наставления начальника и выйдя от него, все трое с минуту молчали; Володя, не зная, как начать разговор, смотрел по сторонам.

— Пошли, мальчики. Только не отставайте от меня... А то потеряетесь еще, — первая сказала девушка.

Она разговаривала с ними, как старшая, с сознанием какого-то загадочного превосходства, что, по мнению Володи, было вообще свойственно взрослым девушкам.

— Мы не потеряемся, товарищ Колесникова... Не бойся, — сухо ответил он.

— Можешь звать меня просто Леной. Меня буквально все зовут Леной, — сказала она.

И светлые, небесного цвета глаза ее округлились, тонкие бровки приподнялись, точно она сама удивлялась этому.

Володя посуровел и отвернулся. Он испытывал то неопределенное стеснение, что с недавних пор неизменно овладевало им в присутствии девушек. Их трудное общество начинало смутно нравиться ему, но именно это обстоятельство его и смущало.

Веревкин вообще предпочел не вступать в разговор. Он был недоволен, но по другой причине: их неожиданная спутница представлялась ему не просто бесполезной, но обременительной в ожидавшем их боевом, то есть мужском, деле.

Нарочно задержавшись у выхода, Витя дернул Володю за рукав.

— Вот не было печали... — сказал он. — Возись теперь с этой куклой.

— Тише ты... услышит, — оборвал его Володя. — И почему с куклой? — неожиданно для самого себя вступился он за девушку.

— Где же вы, ребята? Уже отстаєте... — прозвучал со двора из темноты ее тонкий, требовательный голос.

— Слышишь, командует уже, — пробормотал Витя.

Из штаба участка разведчики направились в штаб полка НКВД, откуда их должны были проводить за линию боевого охранения. Там, на самой окраине города, в покинутом жителями доме им предложили немного подождать. В комнате, куда их всех троих привели, большой, полутемной, заставленной мебелью, было, несмотря на позднее время, очень оживленно и шумно. Из соседней комнаты то и дело доносилось попискивание зуммера, мимо проходили связные с винтовками. Часто хлопала дверь на улицу, слышались оклики часового; в сенях вспыхивали и шарили по стенам, оклеенным обоями, голубые лучи фонариков.

Володя и его спутники устроились все вместе в углу на широком диване. Стащив с головы платок, Лена Колесникова откинулась к спинке; Витя, примостившийся на валике, тихонько посапывал. Ему было жарко в его тяжелом тулупе.

Недалеко от разведчиков за столом, на котором теплилась коптилка, сидел сержант в фуражке пограничника и набивал диск автомата. Немолодое, в редких рябинах лицо сержанта со щетинистыми, освещенными снизу усами казалось рассерженным, даже свирепым.

Лена успела уже по дороге сюда подробно рассказать о том, как прошлой ночью она добиралась до города с известием о появлении немецких танков. Теперь она очень спешила обратно к матери и сестре, оставшимся в ее родном Первомайском. Тревожась за них, она утром еще хотела вернуться домой, но ей посоветовали дождаться темноты и поручили провести в село разведчиков. Вережкин, на которого рассказ Лены не произвел особенного впечатления — он никак не мог побороть своей досады, — хранил всю дорогу упорное молчание. Но Володя, с присущей ему обстоятельностью расспросив девушку о подробностях, искренне посочувствовал ей.

— Что ж ты надумала? — серьезно под конец спросил

он. — По-моему, вам всем надо уходить скорее из Первомайского.

— В том-то и дело! — воскликнула девушка. — Я хочу забрать маму с собой или сюда или в лес. Там теперь все наши ребята.

— Но ты говоришь, что сестренка у тебя маленькая, в пятом классе еще, — заметил Володя. — Куда ж ей в лес? По-моему...

Лена, не дослушав, недовольно сказала:

— Ах, какой рассудительный товарищ! А ты сам в каком классе?

И Володя замолчал, почувствовав себя уязвленным.

Усевшись на диване ждать, Лена тотчас же снова заговорила; видимо, ее беспокойство все росло, и она поминутно возвращалась мыслями в свое Первомайское. Сказав о том, что ее отец, директор средней школы, находится сейчас на фронте, она жалобно воскликнула:

— Прямо не знаю, как папе написать обо всем!

И, стремясь, видимо, заглушить свою тревогу, свою тоску, она принялась рассказывать о школе в Первомайском, о том, что сама она перешла в десятый класс и что занималась также в музыкальном кружке.

Потом вдруг она спросила:

— Вы свое оружие куда спрятали? Я револьвер, который мне капитан дал, в карман положила, чтоб под рукой был.

— Лучше бы подальше куда-нибудь, — сказал Володя. — А достать револьвер всегда успеешь.

Они поговорили еще некоторое время о дороге, по которой пойдут, и Лена умолкла, задумавшись, как-то по-особому приподняв плечико, прижавшись к нему щекой.

Стукнула входная дверь; из сеней быстро вошел боец в плащ-палатке и, задев на ходу стул, пересек комнату.

— Власов, как у вас там, тихо? — окликнул его пограничник, набивавший диск, но боец, не задержавшись, только молча козырнул.

Володя с любопытством осматривался и то облакачивался на валик, то выпрямлялся, готовый сию минуту вскочить: ему не сиделось на месте. Подождав, не скажет ли Лена что-нибудь еще, он проговорил, утешая ее:

— Ничего, не беспокойся, скоро увидишь свою маму.

— Ты не представляешь, как она волнуется за

меня! — воскликнула девушка. — Я даже не успела ей толком ничего сказать. Толя — это наш секретарь — прибежал к нам ночью и говорит: «Без паники, Лена. Надо скорее сообщить в город». Ну, я сейчас же и помчалась.

Боец, которого звали Власовым, выскочил из соседней комнаты и, вскидывая на ходу винтовку на плечо, заспешил к выходу.

— Когда же нас поведут? — громко спросила девушка; она заметно нервничала. — Может, забыли уже, что мы тут сидим?

— Да нет, не могли забыть. Скоро, наверно, — успокоил ее Володя.

— А ты сам в каком все-таки классе? — помолчав, спросила она.

— Я? — Ему очень захотелось ответить — в десятом. — Я в девятый перешел.

— Только в девятый еще? — рассеянно переспросила девушка и, потеряв к нему как будто всякий интерес, обратилась к Веревкину: — А ты, мальчик? Где ты учишься?

Витя, упрямо смотревший в сторону и демонстрировавший таким образом свое полное безучастие, даже не повернулся к ней.

— Почему ты все время молчишь? Как тебя зовут? — не унималась она.

— Ну, Витей зовут, — неохотно отозвался он. — А что?

— Ничего. Хорошее имя — Виктор. У нас в комсомольской организации два Виктора есть.

— У вас большая организация? — поинтересовался Володя.

— Большая. У нас колхоз передовой, лучший в районе. Ты про наши сады слышал что-нибудь? А какой клуб у нас, как в городе!

— При коммунизме никакой разницы между городом и деревней вообще не будет, — сказал Володя.

Девушка кивнула головой, от чего ее светлые волосы, завивавшиеся в колечки, мелко задрожали.

— А у нас уже есть почти все, что в городе, — сказала она. — Школа-десятилетка есть, электростанция есть, радиоузел... — она осеклась и вздохнула. — То есть было все, а теперь...

— Ну, и опять будет, — твердо проговорил Володя. — Можешь не сомневаться. И у вас, и у всех...

Стремясь подбодрить девушку и в то же время испытывая удовольствие от самого предмета разговора, он продолжал:

— В каждом колхозе будут электричество, кино, Дворец культуры... Это ясно! И деревни станут похожими на города.

Он запнулся, подумав, что бедствия, обрушившиеся и на города и на села его Родины, неисчислимы. Но разве его товарищи, как и он сам, не знали, что война была проходящим испытанием... И разве что-либо в мире могло помешать окончательной, лишь на время отсроченной победе разума и добра над безумием и злом?

— А в промышленных центрах будет много всякой зелени, — возвысил Володя голос. — Она ведь поглощает углекислоту. У нас вот, знаешь, какое озеленение запланировано! Этой весной мы провели массовые посадки клена, березы, дуба. После войны ты не узнаешь нашего города. А в деревнях при коммунизме все будет полностью механизировано. Мы об этом специальный доклад ставили на бюро. И мы добьемся, чтобы все работы на полях выполнялись машинами.

— Хотя бы одним глазком посмотреть, как все будет при коммунизме, — тихо сказала Лена.

— А так все и будет, — Володя вскочил на ноги; худое, скупо освещенное коптилкой лицо его с пушком над губой выражало величайшую решимость. — Новая техника, станки-автоматы намного повысят производительность труда. Рабочий день сократится до шести часов, потом до пяти... Это определено! Люди станут больше читать, учиться. — И Володя улыбнулся всем лицом, не в силах скрыть своего огромного удовольствия. — Сейчас пережитки старого бывают еще довольно сильны у некоторых. И люди частенько еще думают только о самих себе. С этим будет кончено навсегда.

Кистью правой руки, темной от ружейного масла, Володя рассекал воздух в конце каждой фразы.

Веревкин, хотя и продолжал смотреть в сторону, слушал теперь со вниманием. Сперва он не одобрял товарища, слишком уж старавшегося, по его мнению, произвести на их спутницу выгодное впечатление. Но ему нра-

вились рассуждения начитанного Володи о будущем, и его самого подмывало вмешаться в разговор.

— Смертельных болезней тоже больше не будет, — проговорил, точно отрезал, Володя. — Туберкулез там или рак доктора научатся излечивать в неделю. Это ясно! А потом советские ученые найдут средство надолго продлевать человеческую жизнь. Я читал, что и сто пятьдесят лет — это не предел для человеческой жизни, — и он посмотрел на Лену, на Веревкина так, будто спрашивал, сомневаются ли они, что проживут до полутора-ста лет. — Физики и химики найдут новые источники энергии.

— Каждый, кто захочет, будет иметь свой личный мотоцикл, — неожиданно добавил Веревкин.

— И мотоцикл... и все, что ему надо.

Володя два раза взмахнул рукой. Сержант с насупленным в оспинах лицом, прилаживавший теперь диск к автомату, поднял голову и взглянул на разведчиков.

— Я только одного не пойму, — проговорил Витя своим хриплым голосом. — А если кто-нибудь попросит две машины или три, что тогда?

Володя наморщил лоб и секунду — другую думал, покусывая заусенцы на пальцах.

— Если ему надо две, он получит две, — сказал он твердо, — то есть по потребности...

— Ну, знаешь... так и просчитаться легко, — усомнился Веревкин.

— Как это просчитаться?

— А так, очень просто. Набросятся все сразу на какую-нибудь новую марку, ее и не хватит на всех.

— Глупости! — громко сказала Лена. — И откуда у тебя, Витя, такие мысли?

— Никто никогда не попросит при коммунизме того, чего ему не нужно, — сказал Володя.

— А вдруг найдется та~~кой~~, — упорствовал Веревкин, — не настоящий спекулянт, а вроде?.. Пожадничает и возьмет себе лишнее, про запас. Все-таки придется хорошенько смотреть за людьми.

Володя опять ответил не сразу; казалось, соображения, высказанные Веревкиным, поставили его в тупик. Но и на этот раз его раздумье длилось недолго.

— Чудило ты! Это будут сознательные, кристально честные люди! — торжествующе закричал он. — Зачем же

они станут брать лишнее, про запас?! Вот чудило так чудило! В том-то и дело, что это будут люди коммунистического общества!

Хлопала дверь в сенях, и холодный воздух врывается в комнату, колебля огонек коптилки. В комнате пахло табаком, сырой солдатской одеждой, осенним ненастьем — всеми запахами походной, неустроенной, тревожной жизни. За дверью кто-то гневно кричал в телефонную трубку:

— Повторите, где замечены танки? Я спрашиваю: где танки, сколько их? Что, что?..

Два командира, быстро в ногу шагая, застегивая шинели, проследовали к выходу. Из сеней навстречу им вошел солдат в ушанке и о чем-то начал шептаться с сержантом-пограничником.

Но Володя и его товарищи были слишком поглощены своим спором, чтобы обращать внимание на окружающее. Их счастливое будущее, уготованное всем троим, ощущалось ими в эту минуту как бы более реальным, нежели их настоящее, во всяком случае, оно было более важным. И та легкость, с какой Володя отвлекался от окружающей обстановки, устремляясь мыслями в будущее, отнюдь не указывала на его чрезмерную мечтательность. Наоборот, так именно обнаруживался замечательный практицизм его молодости. Его нынешний день, каким бы значительным или трудным ни представлялся он сам по себе, служил лишь преддверием к его завтрашнему дню. И в то время, как первый был, очевидно, ограничен, короток, а значит, и не очень существенен, его будущее казалось бесконечным.

— Ну, как, ребята, обо всем договорились? — раздался вдруг новый голос.

Володя обернулся: сержант-пограничник, навесивший автомат на грудь, стоял подле них.

— Ежели договорились, собирайтесь. Сейчас поведут вас, — мягко сказал сержант.

Теперь, когда он отошел от коптилки, усатое лицо его, утратившее резкость черт, сразу подобрело и стало благожелательным.

— Наконец-то! — воскликнула Лена, спрыгнула с дивана и принялась поспешно завязывать на затылке платок. — Ну, живо! Подтяни-ка пояс, Виктор! И зачем ты так нарядился? — Она озабоченно оглядела его ни-

зенькую фигурку в длиннополом, с чужого плеча тулупе. — Тебе же тяжело будет. Володя, я пойду первая, потом Витя, потом ты, — распорядилась она. — Здесь недалеко, мальчики. Через полтора часа мы будем на месте.

Веревкин хотел было ответить девушке что-нибудь вроде «тебя не спросили, что надеть», но сдержался. Володя тоже промолчал. Видимо, несмотря на все его речи, девушка продолжала чувствовать себя старшей здесь, и с этим приходилось мириться. А кроме того, ему ничего было возразить ей по существу: проводнику в разведке так и надлежало идти первому.

Предводительствуемые солдатом в ушанке, все трое гуськом, в установленном Леней порядке направились к выходу.

...Простившись со своим провожатым и оставив позади боевое охранение, разведчики двинулись по обочине пустынного шоссе. Впереди, над Новым Поселком, занятым немцами, вспыхивали и холодно сияли осветительные ракеты. Путь по прямой был, таким образом, закрыт, и Лена свернула налево, на проселок. Здесь идти было труднее: ноги утопали в залитых водою колеях, и разведчики, стараясь не шуметь, пробирались очень медленно. Когда кто-нибудь спотыкался в темноте или слишком громко чавкало под ногами, все трое останавливались прислушиваясь.

Было промозгло и ветрено; с полей тянуло студеной сыростью, гниющей травой, размокшей почвой. Но Володя, как и его спутники, не ощущал пока холода. В глубокой ночи, простиравшейся вокруг, совершалось что-то необыкновенное, многообразное и грозное. На юге, куда они шли, туманились по черному горизонту зарева пожаров; откуда-то с запада доносилась частая, ослабленная расстоянием стрельба; высоко в непроглядном небе проносились самолеты — наши, судя по ровному мощному гудению. И в километре от дороги, на окраине Нового Поселка, вспыхивал то и дело зеленоватый холодный свет. На минуту — другую становились видны меловые стены домов, бледная, помертвелая земля, решетчатая, как будто вырезанная из бумаги изгородь. За нею, то есть совсем недалеко, находились враги, и Володя всматривался в этот жутковатый, точно неживой, пейзаж с острым любопытством. Он не один раз бывал раньше

в Новом Поселке, места вокруг отлично знал, и было странно, что ему приходилось таиться там, где обычно он чувствовал себя, как дома. Порою ему даже плохо верилось в близкое присутствие врага. Однако самый этот таинственный поход в ночи, полной боевых шумов и зловещих огней, вызывал лихорадочный подъем, томительное, но жаркое чувство.

Обогнув поселок, Лена вновь повернула в сторону шоссе. Теперь разведчики шли прямо по полю; из крошечной темноты вываливались на них какие-то мокрые кусты, неожиданно возникал телеграфный столб, от которого все трое поочередно шарахались в сторону, или ноги скользили в невидимую канаву. Веревкин споткнулся и упал, растянувшись во весь рост. Володя и Лена бросились к нему... Путаясь в длинных полах тулупа, Витя не сразу смог подняться.

— Я же тебе говорила, — зашептала Лена, — я же говорила...

— Ну и что ж, что говорила. Ничего тут нет такого, — прохрипел Веревкин, встав наконец и отирая об овчину испачканные руки.

Володе все это показалось вдруг очень забавным, и его начал разбирать смех, тем более неудержимый, что он отлично сознавал всю неуместность своего веселья.

— Молчи ты, — задрожавшим голосом шепнул он.

— Сам попробовал бы в этом дурацком кожухе походить, — обиженно пробормотал Витя. — Меня вырядил, а сам радуется...

— Молчи, Витька, — тихонько фыркнув, прошептал Володя.

Он по опыту знал, что если уж нападет такой вот судорожный смех, лучше не произносить ни слова.

— Что с тобой? — тоном выговора сказала Лена. — Идемте же...

После этого происшествия разведчики осмелели, убыстрили шаг и вскоре снова оказались на магистрали; Новый Поселок был теперь позади них. Не поднимаясь на шоссе, они пошли вдоль кювета, шагах в десяти от него, но не сделали и сотни метров, как остановились опять: во мраке послышался топот шедших навстречу людей. Лена оглянулась на спутников, Володя мгновенно подскочил к ней.

— Давайте в сторону, — не раздумывая, приказал он. — За мной, сюда...

Пробежав несколько шагов и наткнувшись на придорожные деревца, он шепотом скомандовал:

— Ложись, скорее... И чтоб ни звука, — добавил он, когда его товарищи залегли.

Памятуя указания капитана, пославшего их в разведку, он приготовился точно им следовать. В данном случае надо было только установить, кто двигался по шоссе, чтобы потом доложить об этом.

Прошла минута, две, три; шум шагов усиливался, раздавалось глухое дробное туканье, и на дороге смутно обозначилось сероватое пятно. Когда оно приблизилось, Володя скорее угадал, чем различил, группу человек в пять-семь, направлявшуюся к Новому Поселку. Но определить, кто именно шел, было пока трудно; может быть, даже это пробирались свои — беженцы или окруженцы. Покосившись налево, Володя увидел, что Лена приподнялась, опираясь на локти; лицо ее слабо белело.

А нестройный топот все нарастал и множился. Со стороны Первомайского двигалась сюда большая толпа. Вдруг к разведчикам донеслось несколько слов, невнятных, но сказанных с чужой, отрывистой интонацией, потом послышался громкий возглас, тоже нерусский. Сомнений больше не было: шли немцы! Но странно, в эту первую минуту Володя как-то не вполне осознал то, что перед ним находились враги, которых он так ненавидел и с которыми воевал. Скорее, он очень удивился тому, что немцы оказались здесь, недалеко от него, что он слышит их шаги, их речь...

Где-то в середине колонны загорелся огонек карманного фонарика, скользнул по заблестевшей слякоти, по горбатой от ранца спине солдата, по голове в каске, похожей на перевернутый горшок. Затем в полосе туманного света вырисовалась целая цепочка таких же уродливых фигур в больших касках, в шинелях, замерцали лезвия плоских штыков. И фонарик погас, отчего стало темнее, чем раньше.

Володя почувствовал, что пальцы Лены вцепились в его куртку: девушка не то понуждала его к чему-то, не то удерживала на месте. Вдруг сердце Володи быстро забилось, и все в нем мгновенно напряглось, точно для прыжка.

«Значит, это они и есть. Вот они какие!» — пронеслось в его голове. И, не испугавшись, но содрогнувшись внутренне, как от внезапного отвращения, он подумал, что врагов можно не только подсчитать, но и забросать гранатами. Гранаты лежали у него за пазухой — он всю дорогу ощущал их тяжесть, — запалы к ним — в кармане брюк, и он мог моментально изготовиться к бою. Однако тут же он вспомнил строгий приказ командира, запрещавший ему вступать в бой без крайней нужды.

Между тем враги — не люди, подобные ему самому и его товарищам, а враги — насильники и захватчики — топали вразнобой сапогами, хлюпали по лужам: расплывчатая, бесформенная масса то истаявала во мраке, то обозначалась вновь. И так соблазнительно, так, казалось, легко было обрушить на них из темноты огонь и гром заслуженной кары! Володе стало очень жарко, трудно, неудобно, мучительно захотелось двигаться. Он кинул взгляд направо: профиль Веревкина возник над его плечом, чуть посверкивал глаз мальчика. И, догадавшись, какие желания волнуют Витю, разделяя их и мучаясь, Володя предостерегающе поднял руку.

На шоссе опять зажегся фонарик, осветив кучку большеголовых солдат, шагавших в медленно плывшем сером тумане. И опять погас так же неожиданно, как вспыхнул.

«Целая рота прошла уже, — торопливо прикинул Володя. — Теперь вторая идет. Хоть бы скорей они проходили!»

Затарахтели по асфальту колеса, послышался чмокающий стук копыт, и он, беззвучно шевеля губами, стал считать катившиеся мимо повозки: «Третья, четвертая, пятая...» Пальцы Лены все сильнее сжимали его плечо, но он не оборачивался к ней, боясь упустить что-нибудь важное. И лишь поводил плечом, стараясь высвободиться.

Когда проехала последняя повозка и топот шагов начал затихать, Володя почувствовал, как маленькая рука сама оттолкнула его.

Веревкин шумно вздохнул. Лена не произносила ни слова, и Володя, как бы оправдываясь перед ней, тихо сказал:

— Капитан запретил нам пока связываться, понятно?

— Как близко они прошли! — прошептала Лена.

...До Первомайского оставалось теперь немного. Надобно было лишь одолеть небольшой подъем, а там, в стороне от шоссе, километрах в полтора по прямой, стояло это большое село. Разведчики поднимались в гору молча; мягкая, скользкая почва как бы вспухала у них под ногами. Володя, шедший вторым, слышал, как сопит за его спиной запыхавшийся Веревкин. Лена почти бежала, точно совсем не чувствуя подъема.

Достигнув перевала, она остановилась. Впереди, на черной, окутанной тьмою равнине, светились в разных местах оранжево-красные огни; было похоже, что там, в поле, дотлевают огромный разбросанный костер.

Веревкин, подошедший сзади, встал рядом с Володей.

— Это ж и есть Первомайское. Пожгли они его, что ли? — проговорил он.

Как будто крупные раскаленные угли пламенели внизу, в глубине черного пода гигантской печи, от которой, однако, веяло сырым холодом.

В ту же секунду Лена, ничего не сказав, стремительно побежала с холма вниз. Володя, испугавшись за девушку, кинулся следом, догнал ее и схватил за рукав.

— Пусти! — вскрикнула она и попыталась вырвать руку.

— Ты не волнуйся, не волнуйся!.. — зашептал Володя.

— Там мама!.. И Лизка... Да пусти! — Лена вырывалась изо всех сил. — Что ты меня держишь?

— Тише! Вот сумасшедшая!.. А может, там фрицы? Ясно? — шептал Володя.

Он плохо видел лицо девушки, но ее голос звучал и зло и просительно в одно и то же время. Володя, однако, не выпускал ее, увлекая за собой в сторону, в обход Первомайского.

Вскоре, задыхаясь от быстрой ходьбы, они выбрались на приусадебные огороды. Здесь у Володи не осталось уже сомнений в том, что, по крайней мере, большая часть села была действительно сожжена: дома на северной окраине и дальше вдоль всего порядка лежали в догоравших дымных развалинах. Разведчики переползали через плетни, пробирались фруктовыми садами, минуя одно пепелище за другим. Кое-где огонь лизал еще кучи обуглившихся бревен, поблескивал в темноте дымом; пахло гарью, и теплый ветерок обвеивал потные, разгоряченные

лица разведчиков. Лена то вырывалась вперед, то замедляла шаги и оборачивалась.

— Вот здесь сельсовет был! — восклицала она, кивая на светлое волокнистое облако, стелившееся между яблоневыми стволами. — Ой, и лаборатории нету! И Кудиновы погорели! — горестно сообщала она и бежала дальше.

Веревкин поровнялся с Володей и тихо, чтоб не услышала девушка, сказал:

— Куда подевались все? Ни живой души не видно.

— Ушли, наверно, куда-нибудь, — неопределенно, угрюмо отозвался Володя.

Так, никого не встретив, они вслед за Леной добрались до школы, стоявшей на противоположном конце села. Здесь тоже все было сожжено: от двухэтажного школьного здания с крыльями по бокам оставались одни закопченные, почерневшие стены. И что-то тлело еще внутри выгоревшей кирпичной коробки, — из пустых оконных проемов лился на двор неяркий, угасавший свет. Служебные постройки вокруг также больше не существовали; лишь куча углей да косые дымные столбы указывали на те места, где они недавно находились. Отвратительный угарный смрад ощущался здесь сильнее, и будто черный снег неслышно падал в прогретом воздухе, кружась и опускаясь мохнатыми хлопьями.

— Копоти летает сколько, — неожиданно проговорила Лена усталым голосом.

Она стояла впереди мальчиков, опустив руки; развязавшийся платок сполз с ее головы и едва держался на плече. Володя, не зная, как утешить девушку, и страдая от этого, молча осматривался. Было и в самом деле неизвестно, по своей ли воле жители ушли из спаленного села или их угнали отсюда немцы. И кто мог сказать, что их ожидало в этом случае?

Раздался глухой громкий стук: что-то, вероятно, обвалилось внутри школы — и на двор из засветившихся окон хлынули золотистые снопы лучей. Тотчас же стали видны обуглившиеся деревца, года два тому назад высаженные вокруг дома и походившие теперь на головешки, воткнутые в землю.

— Ой, что там? — вскрикнула Лена и подбежала к самому дому.

Встав на цыпочки, она попыталась заглянуть в пышущие жаром окна, отшатнулась, и платок соскользнул с ее плеч. Володя поднял платок, отряхнул, но не успел вернуть. Лена побежала вдоль стены, останавливаясь то у одного окна, то у другого, стараясь рассмотреть, что так пылало в ее доме. Володя и Витя медленно пошли следом за ней.

— Вот беда... Вот беда!.. — совсем по-взрослому сказал Витя.

Володя только кивнул головой: говорить ему было трудно.

— А может, Лена у твоей мамы поживет пока? — спросил Веревкин.

— Ну, конечно, — сейчас же ответил Володя.

Никогда еще он не чувствовал себя до такой степени оскорбленным: жесточайшее зло торжествовало на его глазах, и он не мог немедленно расправиться с этим злом. Он чувствовал себя бессильным против огромного несчастья осиротевшей, быть может, девушки, и это грубо унижало его самого.

Лена обернулась и подождала, пока они подошли. Ее необыкновенно гладкое, озаренное пламенем лицо с заслезившимися от жара глазами выражало жалобное недоумение. Спутанные рассыпавшиеся волосы падали кольцами на зарумянившиеся щеки.

— Где же мама и Лизка? — тихо спросила она.

Володя отвел глаза, не находя ответа.

— Они должны были меня ждать, — продолжала она. — А теперь я не знаю...

— Ты вот что... Ты не волнуйся... — с усилием начал Володя и умолк.

До его слуха дошел отдаленный грохочущий гул, катившийся откуда-то из беззвездной ночи, обступившей их. Это напоминало приближение поезда, несущегося на всех порах, но было более дробным, тяжелым. Володя, озираясь, прислушивался, и рука его потянулась за пазуху куртки, отягченную лежавшими там гранатами.

— Где же они? — спросила Лена громче, как бы добиваясь от него ответа. — Ах, не знаю, что думать!

Она стащила варежку с руки и машинально потерла лоб.

— Мы найдем твою маму, не бойся... Мы найдем! — торопливо сказал Володя.

Но искать ее им сейчас не пришлось. Непонятный гул становился с каждой минутой сильнее, и все явственнее слышался в нем металлический грохот. Казалось, большой каменный поток стремительно течет во мраке и сыплется по железному кованому руслу.

Володя снова схватил Лену за руку и повлек ее со школьного двора в темноту. Они поспешно продрались через какие-то заросли и побежали по грядкам, потом по валу дренажной канавы. Здесь, в кустах ивняка, Володя скомандовал товарищам залечь. Лишь небольшая часть сельской улицы в просвете между школой и группой деревьев была видна им отсюда, но более удобного пункта для наблюдения Володя впопыхах не нашел. Огонь в окнах школы почти угас уже, однако напротив нее наискосок пылало какое-то длинное строение, освещавшее въезд в село. Красноватый дым застилал улицу, и в нем неясно серели низкие перильца коновязей, покосившийся телеграфный столб.

Оглушительный рев и железный скрежет раздавались теперь где-то рядом, но Володя все еще не догадывался, что это такое... Витя втянул голову в воротник тулупа и часто мигал, точно ему было трудно смотреть. Лена лежала, уткнувшись лицом в согнутый локоть, осыпанный ее белокурыми волосами.

Вдруг из-за черного остова школьного здания как будто прыгнуло что-то огромное, приземистое, угловатое, больше всего похожее на гигантский, небывалых размеров утюг.

— Танки!.. Это танки! — не удержавшись, проговорил Володя, но и сам не услышал своего голоса. — Второй, третий, пятый... — спохватившись, принялся он их считать.

Действительно, по селу в багровом тумане, покачиваясь и трясясь, мчались фашистские танки. На большой скорости они — один за другим, один за другим — проносились по открытому месту и скрывались за деревьями. Люки некоторых машин были открыты, и оттуда высывались головы танкистов; одинаково торчали короткие стволы пушек.

Володя насчитал десять танков, потом пятнадцать, двадцать пять, но их колонна все не кончалась.

Танки мчались к Новому Поселку, то есть к городу; туда же шла пехота, которую часом раньше видели на

шоссе разведчики. И Володя только сейчас, глядя на эти пронесившиеся мимо танки, начал постигать истинные размеры опасности, угрожавшей его городу. Появляясь из темноты, закованные в броню машины почти тотчас же исчезали, но было что-то подавляющее, что-то пугавшее Володю в самом однообразии этого их стремительного движения.

Прижимаясь всем телом к земле, Володя невольно, незаметно для себя, подался немного назад, к своим товарищам. Ивовый длинный прут, подмятый им, выпрямился и заколебался у самого его лица, и Володя инстинктивно заслонился рукой.

А танки все прибывали и, проскочив освещенное место, уносились дальше; сквозь дым можно было рассмотреть на их тупо скошенных бортах одинаковые белые кресты. От дома, жарко пылавшего на улице, летели по ветру огненные искры, и неожиданно, как факел, светло занялся телеграфный столб. Володя подумал вдруг о том, как эти вот самодвижущиеся, грохочущие утюги ринутся на людей, защищающих его родной город. Он не представлял себе в эту минуту своего города как скопления построек, но он знал, что это было добро, разум, радость и красота его жизни. И его ужаснуло то, что могло произойти, если враги окажутся в его городе. Ибо разве мог человек, живой и чувствующий, такой хрупкий, такой незащищенный, казалось, устоять против этой их печеловеческой, железной, клепаной силы?!

«Сорок два, сорок три, сорок четыре...» — отсчитывал Володя немецкие машины, собрав всю свою волю, чтобы не сбиться со счета. Только на сорок седьмом танке колонна оборвалась, и то ненадолго; рев и грохот бронированного потока, ослабевший на минуту — другую, снова начал нарастать. А за селом, впереди, во мраке, там, где пролежала автомагистраль, вспыхивали и гасли смутные белые огни, как от фар, — вероятно, по шоссе двигались другие немецкие части, стягивавшиеся для штурма...

Володя почувствовал, как кто-то прислонился к его плечу, и, не оборачиваясь, понял, что это Лена искала у него защиты. Они все трое жались теперь друг к другу, точно дети. Но именно это прикосновение Лены, эта мольба о заступничестве, как показалось Володе, необыкновенным образом его поддержала. И впервые в жизни он в полной мере испытал трудное, холодящее душу, но

похожее также на восторг чувство своей ответственности, мужской и солдатской, за судьбу девушки, что была с ним, за жизнь своего младшего друга, а вместе с ними и за все человечество.

Лена пошевелилась и затихла, прижавшись к его плечу, как бы вверяя себя его мужеству. Володя оглянулся: она плакала. Не кривилась, не морщилась, но полные слез глаза ее удивительно лучились, а пухлые мокрые щеки блестели; она была слаба и прекрасна. И, страдая за нее, охваченный невыносимой жалостью к ней, Володя проговорил обрывающимся, но грубоватым голосом, как старший:

— Не реви, ну... Я сказал, мы найдем твою маму.

В грохоте железной лавины его голос был почти не слышен, но Лена сквозь слезы доверчиво взглянула на Володю. Он протянул девушке ее платок, который только сейчас заметил в своей руке.

— На вот, надень, — приказал он. — И нечего плакать...

Она взяла платок и послушно повязала им голову. Володя отвернулся: по улице в помрачневшем тумане опять мчались немецкие танки — один за другим, один за другим.

...Глубокой ночью разведчики вернулись в город и тотчас же на машине были доставлены в штаб участка. Бородатый капитан, выслушав их, немедленно стал куда-то звонить и, попросив к телефону генерала, командовавшего в городе, доложил ему о результатах этой последней разведки.

5

Ночью Богданов выехал с передней линии обороны в обком, куда его вызвал Дьяков. «Эмка», в которой сидел подполковник, часто останавливалась, вспыхивали электрические фонарики, постовые спрашивали пропуск; во мраке стучали моторы других машин, ехавших мимо, раздавались голоса невидимых людей, звякало оружие, тархтели какие-то повозки; на улицах, погруженных в темень, было оживленно, как днем, никто, казалось, не спал. Да и сам Богданов, не смыкавший глаз уже вторую ночь, также не смог бы уснуть сейчас, если бы возможность к тому и представилась. В его воображении неотступно, навязчиво стояла одна и та же картина, ви-

димая, как на рельефном плане: оборонительные позиции в окрестностях города, откуда он ехал, невысокие холмы, прорезанные ходами сообщения, шоссе, у которого расположились бронебойщики, рощицы, скрывавшие пулеметчиков, замаскированные артиллерийские орудия. И Богданову, перебиравшему мысленно свои сегодняшние указания, советы, распоряжения, казалось, что, несмотря на все усилия, он не сделал чего-то важного для обороны города. Отчасти это было похоже на то знакомое иным взыскательным командирам состояние, когда перед боем проносятся в памяти отданные накануне приказы и беспокойная мысль ищет в них ошибку, незамеченную ранее. А в большей мере за этим стояло сознание огромности задачи, которую надо было во что бы то ни стало решить, задачи, вырисовывавшейся теперь во всей своей трудности.

Враги, вплотную уже подошедшие к Т., значительно превосходили защитников города своей численностью, техническим оснащением, танками, авиацией. И тревога Богданова за исход завтрашнего боя выражалась именно в этой форме недовольства собой, ощущения какого-то собственного недосмотра.

«О чем-то надо еще позаботиться. Что-то надо припомнить, найти, подготовить», — твердил молодому подполковнику настойчивый внутренний голос, будто он, Богданов, и в самом деле позабыл о чем-то существенном. Весь день он провел в окопах под сырым, холодным ветром, он озяб, устал, проголодался, но мысль его была возбуждена, раздражена. И он то сызнова начинал подсчитывать силы защитников города, то обращался в поисках тактических указаний к недавнему прошлому: к первым быстротечным и кровавым боям под Минском, в которых ему пришлось участвовать, к многодневному упорному сражению у Смоленска, к отчаянным атакам, что предпринимал он сам, пробиваясь из вражеского тыла. В голове его мелькали названия многих деревень, где он побывал, листы военных карт, изученных им, изгибы безымянных проселков, оборонявшихся его солдатами, покалеченные огнем, обуглившиеся леса, торпливо начерченные схемы, свои удачи и ошибки, поражения и победы других командиров...

Выйдя из машины около здания обкома, Богданов, прыгая через две ступеньки, быстро поднялся на третий

этаж. Комитет Обороны заседал, и подполковник попросил доложить о себе генералу. В приемной, где он остался ждать, толпились, как и вчера, люди, в пальто, в армейских шинелях, шептались, курили...

Богданов, стиснув обеими руками свой поясной ремень, нетерпеливо прохаживался по приемной из угла в угол. На его лице, обветренном, озябшем, выделялись красные, зарумянившиеся скулы; жестковатый рот был плотно сжат.

Дверь из кабинета, где шло заседание Комитета Обороны, приоткрылась, и в образовавшейся щели Богданов увидел группу людей у стола, покрытого зеленым сукном. Мелькнуло полное лицо председателя облисполкома Шарова, и прозвучал его голос:

— Так и записываем вам: «Тысяча шинелей и две тысячи комплектов белья». Сукно вы завозите к себе завтра утром...

Из кабинета появилась женщина в темном костюме, постояла немного молча, как бы вспоминая, зачем она вышла, потом тихо проговорила:

— Кто со станкостроительного? Заходите... Товарищи железнодорожники, заходите тоже...

Она была так утомлена, что казалась сонной. Люди поднимались со своих мест, проходили на заседание, и приемная опустела; вернулась в кабинет и секретарша, притворив за собой дверь. Богданов, которого она, вероятно, позабыла пригласить, собрался проследовать туда же, но, услышав за спиной треньканье шпор, оглянулся.

— Селиверстов! — удивившись, громко сказал он. — Ты как сюда попал?

От двери, раскрытой в темный коридор, шел к нему через комнату полковник, с которым он недавно расстался в штабе фронта. Крупный, статный, в безукоризненно сшитой шинели, перетянутой желтыми ремнями, в каракулевой ушанке, Селиверстов по первому впечатлению изменился мало. Но как будто пепельный налет покрывал его длинное, вытянутое книзу небритое лицо, глаза его покраснели, а в уголках губ белела накипь.

— Здравствуй, Богданов! Вот мы и свиделись... Гора с горой, говорят, не сходится... — с неожиданной, неестественной бойкостью проговорил Селиверстов.

И крепко пожал руку Богданова своей холодной рукой; казалось, он не в пример тому, что было в штабе

фронта, испытывал большую радость, снова встретив старого сослуживца.

Сюда Селиверстов явился не один: на пороге приемной остался стоять, не решаясь почему-то войти, незнакомый толстощекий капитан в каске, в плащ-палатке, с трофейным автоматом на груди.

Богданов удивленно смотрел то на одного, то на другого. Он знал уже, что Селиверстов принял дивизию в районе Арсеньевска, знал, что наши части там обойдены немцами, предполагал, что они ведут тяжелые бои, и появление их командира здесь, сейчас, было необъяснимо...

— Да, свиделись... Я тут в штабе боевого участка. Рассказывай же, что произошло у вас? Немцы в Новом Поселке, ты знаешь? Какими силами они наступают? — сразу же приступил Богданов к расспросам о том, что его больше всего сейчас занимало.

— Еду вот докладывать в армию, к командующему, — ответил Селиверстов. — Штаб в Демидове еще, ты не осведомлен?

— Утром был там... Но что у тебя произошло? — повторил вопрос Богданов.

— Что у меня? То, что и надо было ожидать... — довольно бодро сказал полковник. — То самое, к чему и ты, брат, готовься.

Он пожал плечами, высоко приподняв их; на его лице промелькнуло выражение досады, точно он хотел сказать: «Что вы пристаёте ко мне с расспросами? Оставьте меня в покое...» И вдруг искусственное оживление, с каким Селиверстов вошел, оставило его, он сразу как бы увял, обмяк...

Заметив неподалеку от себя кресло, он устало опустился в него и стащил с головы ушанку.

— Товарищ полковник, нам надо поторопиться, — сказал капитан в каске, стоявший на пороге.

— Да, надо ехать... Ты не знаешь, Богданов, что тут у вас горючее можно раздобыть для машины? — измученным тоном спросил Селиверстов. — У нас горючее кончается...

— Это сейчас устроим. Но почему ты здесь? — не утерпев, выговорил наконец Богданов. — Ты извини меня, Евгений Герасимович.

Селиверстов откинулся на спинку кресла.

«Что вы от меня хотите? Оставьте меня...», — говорил как будто весь его расслабленный вид.

— Заладил одно: «почему? да что?» — досадливо начал он. — Я принял дивизию в бою, ты ведь понимаешь, что это такое... Но это не все, — он махнул своей крупной белой рукой, — в штабе мне дали одну обстановку, а когда я прибыл на место, мой правый сосед уже отошел. Знакомая картина... И сотни немецких танков... — он растопырил пальцы и ткнул ими перед собой, — сотни танков устремились в брешь...

— Как же ты мог? — закричал Богданов, но тут же сдержался. — Как же ты оставил свою дивизию? — закончил он тихо. — И где она теперь?

Он, не отрываясь, темными, расширившимися, блестящими глазами смотрел на своего собеседника.

— Два батальона были раздавлены в первый же час боя... Второй мой полк не получил, видимо, приказа об отходе... И я понятия не имею, где он сейчас... — ответил Селиверстов усталым голосом. — Ты не представляешь, что это было... Танки шли волна за волной. Нас бомбили непрерывно, мой НП был обстрелян. Моего комиссара ранило... смертельно, — он выпрямился, не вставая, вцепившись в подлокотники кресла, и в голосе его зазвучала просительная нота. — Я ничего не преувеличиваю... поверь мне... Я ясно видел, я не смогу отстоять рубеж с теми силами, что имел.

Богданов слушал с таким ощущением, точно Селиверстов говорил на чужом незнакомом языке. Подполковник улавливал, разумеется, смысл каждого отдельного слова в его рассказе, но тем не менее это ощущение становилось все более тягостным. Между ним и Селиверстовым образовалась как будто непреодолимая пустота, в которой бесцельно звучали понятные сами по себе, но бесполезные фразы. Точно впервые Богданов увидел в эту минуту разговаривавшего с ним сорокапятилетнего мужчину со спутанными, примятыми волосами на макушке, в шинели с блестящими пуговицами, заполнившего большим и, вероятно, сильным телом вместительное кресло. И он не узнавал в этом человеке своего давнего товарища. Глядя на его белые красивой формы руки, обхватившие подлокотники, Богданов почувствовал к нему особенную неприязнь.

— Товарищ полковник! — снова обратился к Сели-

верстову капитан в каске. — Простите, что напоминаю вам... Но у нас времени мало.

— Да, как же с горючим? Ты устроишь, Богданов? — спросил тот.

Богданов не отвечал, точно не услышал вопроса.

— Вот так, дружище! Сейчас мне вменяется в вину, что я отошел без приказа... Меня вызывает командарм, — продолжал Селиверстов, — но что я мог еще сделать! В течение нескольких часов, буквально, от моей дивизии осталось немного...

— Однакоже ты — ее командир — здесь и живой! — вырвалось у Богданова.

Полковник задвигался в кресле, как бы желая встать.

— Ты что? Ты что? — быстро проговорил он. — Ты вот о чем? — и не встав, он лишь подался всем телом вперед. — Если б моя смерть могла чем-либо помочь, я бы не колебался. Ты ведь меня знаешь...

Как будто из отдаления Богданов со все возраставшей враждебностью рассматривал Селиверстова.

— Не веришь? Твое дело... Но допустим, я проявил слабость, я виноват, — заговорил тот громче, будто почувствовав, как ширилась пустота, отделявшая его от Богданова. — Виноват в том, что не пустил себе пулю в лоб.. Разве что-нибудь изменилось бы после этого? Одним мертвым полковником стало бы больше, и только... Да разве во мне дело? — опять возвысил он голос, стремясь быть услышанным и понятым. — Неужели же ты не видишь, неужели не видишь, что мы... что все...

И он протянул к Богданову руку с растопыренными пальцами, как бы желая уцепиться за него и привлечь к себе.

«Хотя бы убрал куда-нибудь свою руку», — с отвращением подумал Богданов.

Но тут его позвали на заседание. И не простившись с Селиверстовым, лишь торопливо коротко распорядившись о бензине для его машины, Богданов прошел в кабинет.

«На смерть ехал сюда, как приговоренный был... — припомнилась ему встреча с Селиверстовым в штабе фронта. — Но почему так смальдушничал?» — спрашивал он себя.

Впрочем, у него не было времени разобраться в этом вопросе — Дьяков попросил его доложить о положении

дел в частях, занимавших оборону. После его недолгого доклада, заговорил сам Дьяков.

Из сообщения генерала Богданов узнал кое-что новое для себя. Согласно данным штаба армии, которыми располагал сейчас Дьяков, на Т. наступало по меньшей мере три немецкие бронетанковые дивизии, две пехотные и полк «Великая Германия». Обойдя части нашей армии в районе Арсеньевск — Белая Гора и прорвавшись к городу вдоль шоссе, противник сосредоточивался сейчас в Новом Поселке, непосредственно перед южной окраиной...

— С хода, с наскока хотят нас взять, — проговорил Дьяков.

Затем он вынул из сумки и показал карту, взятую сегодня армейской разведкой у пленного немецкого офицера. Черный кружок на карте, обозначавший Т., был обведен с юго-запада толстым красным полукольцом, возле которого стояла дата «30/X». Выше была проложена жирная изогнутая стрела, касавшаяся своим острием Москвы, заключенной в полное кольцо. Там также было проставлено число «7/XI»: к этому сроку немцы рассчитывали овладеть советской столицей.

— Расписали все с точностью! — усмехнулся Дьяков. — Шлиффеновские выученики... Аккуратная очень публика!

Он достал папиросу, помял ее толстыми пальцами, закурил и, окутавшись дымом, сощурившись, оглядел сидевших за столом. Помимо него и Богданова, в кабинете были Ласточкин, Шаров и Терехов из военного отдела обкома — плотный человек лет под пятьдесят, с орденом Красного Знамени на шелковой розетке, как носили в годы гражданской войны.

— Юмористика, да и только! — сказал Терехов, рассматривая карту, но не улыбнулся.

Богданов молчал... Теперь уже не оставалось сомнений, что неприятель рассчитывал смять, сломить оборону города таранной, массированной атакой своих танков; излюбленная тактика немецкого командования не изменилась. И хотя за истекшие сутки было сделано много: занят и освоен оборонительный рубеж; артиллерия, в том числе зенитная, встала на огневые позиции: подступы к городу в ряде мест были заминированы, хотя Дьяков располагал уже стрелковым резервом, сформированным из отступивших в Т. частей, — все это нисколько не успо-

каивало... Если даже дивизии, наступавшие на город, были, как указал Дьяков, неполного состава — предыдущие бои серьезно измотали 2-ю немецкую армию, неравенство сил оставалось пока разительным.

Ласточкин с задумчивым, сосредоточенным видом взял со стола карманные часы, посмотрел на циферблат, машинально покрутил заводную головку и положил часы на место. Минуту — другую в кабинете было очень тихо... Сильный свет, падавший сверху, заливал помятую, свисавшую углом карту, поблескивал на металлических крышечках письменного прибора, отражался, будто в темной воде, в зеркале настольного стекла.

— Ну, что же, мы противопоставим немецкому клину нашу глубокую оборону, — снова заговорил Дьяков, как бы отвечая на мысли Богданова. — И танки увязнут в ней, должны увязнуть... Три часа тому назад меня известили из штаба фронта, что нам направлены в подкрепление стрелковые части и противотанковая артиллерия. Мы спутаем этот аккуратный немецкий календарь, — Дьяков ткнул пальцем в карту. — Не получали донесений от командира роты, выдвинутой в Хлебниково? — спросил он, обращаясь к Богданову.

— Нет, не получал... Знаю только, что там идет бой, — ответил Богданов.

— Да, рабочий полк уже дерется, — сказал Ласточкин.

Он опять посмотрел на часы и встал со стула, худощавый, очень серьезный, и одернул на себе гимнастерку, перетянутую узким ремешком.

— Через десять минут, — негромко начал он, — я должен буду доложить Государственному Комитету Оборона обо всем, что мы тут делаем для защиты города. Я думаю, что выражу наше общее мнение, если скажу: «Фашисты не войдут в город ни завтра, тридцатого, ни послезавтра... как никогда не бывать им в Москве», — Ласточкин произнес это, не повысив голоса, просто и деловито.

Богданов перевел дыхание, поднял голову... В самой деловитости тона Ласточкина чувствовалась такая убежденность, что ей нельзя было не подчиниться.

6

Перед самым рассветом пошел мелкий холодный дождь; к восьми утра дождь перестал, сразу стало светлее, и Богданов увидел фашистские танки, шедшие на

город. Подполковник стоял на крыше четырехэтажного дома, и пространство, открывавшееся ему отсюда, быстро расширялось по мере того, как водяную завесу относил к югу. Напитавшееся влагой, оно отливало одинаковым металлическим блеском на неровностях изрытой снарядами почвы, на прямой полоске шоссе, пересекавшего равнину, на ребрах одиноких каменных зданий, разбросанных на окраине. Будто тонкая ртутная пленка покрывала оголенную землю, окрасив все на ней в свой тусклый цвет, и даже черная кровля кирпичного завода, к которому приближались танки, излучала ее холодное свечение.

Артиллерийский огонь, открытый немцами четверть часа назад по всей линии обороны, несколько ослабел и был перенесен ближе к городу. Разрывы снарядов и мин виднелись теперь и далеко справа, на позициях стрелковых подразделений, и среди построек пригородного совхоза, где находился КП Зубова, командира полка НКВД, и на самом въезде, на заставе, около низеньких домиков с палисадниками. Левее них сизый плотный дым, стойко державшийся в сыром воздухе, плыл, не растворяясь, над Мышкинским Поселком, на участке рабочего полка, и позади него, между деревьями городского кладбища. Будка дорожного мастера, возле которой Богданов разговаривал вчера с капитаном Чашкиным, была объята пламенем.

В тумане обозначились пока два эшелона танков, двигавшихся развернутым строем вдоль шоссе, справа и слева от него. В первом эшелоне Богданов насчитал около тридцати танков, преимущественно средних, во втором было такое же количество. Ветер дул в спину, и поэтому рев моторов доносился слабо. Но подполковник видел, — танки идут на большой скорости и до момента непосредственной встречи их с защитниками города остались считанные минуты.

Вскоре в стеклах бинокля можно было различить не только зеленоватые, более светлые, чем равнина, коробки танков, но и мотоциклы. Они быстро исчезали, скрываясь за краями линз, и на их месте внезапно, точно из-под земли, появлялись другие. Все это выглядело пока слаженно, как на маневрах...

Богданов опустил бинокль и посмотрел на Дьякова. Генерал подошел вплотную к железной решетке, установ-

ленной по краю кровли, вдоль водостоков. Ветер, злее дувший тут, на крыше, приподнял вверх его фуражку с красным околышем, с золотым шнуром, и генерал схватился за козырек.

— Унесет, тогда не поймаете, а? Как вы думаете? — сказал он, улыбнувшись, Богданову и нахлобучил фуражку поглубже. Потом обернулся к телефонисту.

Тот сидел, скорчившись, на железной узкой площадке перед маленькой дверцей, выводившей с чердака; намочшая пилотка была надвинута у бойца по самые уши.

— Дайте-ка мне семнадцатый, — проговорил Дьяков своим окающим голосом. — И чего вы согнулись в три погибели? Авось, не сдует!..

Спокойствие командующего обороной показалось Богданову поразительным, если только не было нарочитым. Но действительно, того волнения, что проистекает от чрезмерной впечатлительности или от неуверенности в правильности своего поведения, Дьяков не испытывал. Все необходимые приказы были уже отданы, и теперь, находясь здесь, на наблюдательном пункте, ему оставалось только ожидать первых выстрелов, первых донесений, а там — действовать по обстановке... Правда, генерал не хуже Богданова видел, что неприятель подготовил массированный удар и что силы защитников города относительно слабы. Однако долгий военный опыт научил Дьякова тому, что простое количественное соотношение сил отнюдь не всегда оказывается решающим. Сам Дьяков, как всегда в бою, был точно налит жесткой, упрямой силой, она оживляла его крупное, мясистое лицо, светилась в узеньких умных глазах, поблескивавших весело и зло. Его счастливая особенность быстро и трезво оценивать положение нисколько не уменьшилась и сейчас, когда неприятель предстал перед ним. И Дьяков подумывал уже о том, что если немцы прорвутся на окраину города — к чему следовало быть готовым, — он начнет драться за каждый перекресток, за каждый квартал, используя для маневрирования переулки, проходные дворы, даже сеть подземного хозяйства. Иногда Дьяков поглядывал в небо — оно прояснилось, и можно было с минуты на минуту ожидать появления немецких самолетов.

Телефонист позвал генерала — на проводе был командир авиационной части, и Дьяков, наклонившись к аппа-

рату, придерживая левой рукой фуражку, чтоб не сорвал ветер, закричал в трубку:

— Говорит первый! Выпускайте соколов, товарищ майор... Пора, гости уже едут... Да, погода подходящая... — Отдавая телефонисту трубку, Дьяков приказал соединить себя со вторым номером — начальником своего штаба.

— Вам в городах на улицах приходилось воевать, подполковник? — обратился он затем к Богданову.

— А? Так точно! — коротко ответил Богданов.

В бинокль он рассмотрел теперь и третий эшелон танков на фоне желтоватой полосы жнивья, выступившей из дождевого тумана. Танки были похожи там на темных плоских жуков, ползущих ровной фалангой. Среди них едва заметно перемещались по полю густые скопления точек — это двигалась пехота. Таким образом, около сотни боевых машин, мотоциклисты и крупное пехотное соединение были брошены немцами в первую же таранную атаку.

«Наступают, как по писаному!..» — подумал Богданов и со злостью мысленно выругался.

Он вспомнил, с какой ученической старательностью солдаты зубовского полка оборудовали свои окопы, вспомнил о добровольцах рабочего полка, совсем еще шохавших пороха, и стиснул зубы; на тугих щеках его под загорелой кожей выпукло обозначились вздувшиеся мышцы.

— Где же именно вы вели уличные бои? — раздался у самого его уха звучный голос.

— Что? — не сразу поняв, переспросил Богданов. — В Смоленске, товарищ генерал!.. — с опозданием ответил он, недоуменно глядя на Дьякова.

— Опыт есть, значит... Добро! — сказал тот.

Снова не спеша подходя к телефонисту, он громко заговорил в трубку:

— Сергей Сергеевич, вы? Напоминаю, резерва не трогайте ни в коем случае. Очень просить будут — вы ко мне посылайте, — Дьяков помолчал, слушая. — Да, сейчас начнется... Так прошу вас, ни одного солдата с заставы не снимайте, ни одного с Колхозной...

Дистанция между танками и рубежом обоих полков — НКВД и рабочего — сокращалась. Танки все еще не

открывали огня, но их строй нарушился — группа машин головного эшелона повернула направо, намереваясь ударить с фланга, но там их должна была встретить армейская часть; другая группа миновала уже кирпичный завод. Вдруг легкий дымок вылетел из земли недалеко от завода, и спустя мгновение донесся слабый звук разрыва. Второе крохотное облачко выпорхнуло из-под крайней, шедшей по шоссе машины. Это невидимые Богданову гранатометчики, смельчаки, укрывшиеся в засаде, в одиночных окопах, начали бой. Крайняя машина свернула по крутой дуге, но, не получив повреждения, продолжала двигаться.

— Эх! — не удержавшись, крикнул с сожалением подполковник.

В ту же минуту где-то поблизости, внизу, ударили орудия: в бой вступили наши зенитки, установленные на прямую наводку, замаскированные в садах, во деорах, молчавшие до этой поры. Зеленоватая машина, неосторожно подставившая под их выстрелы свой борт, выпустила из себя струю темного графитового дыма и остановилась. Спустя минуту — другую бой перед городом сразу же принял напряженный характер.

В передовых окопах полков поднялась частая ружейная и пулеметная стрельба. Танки, посылая в защитников рубежа снаряд за снарядом, как будто заискрились бело-желтым огнем. Сизый дым от разрывов и голубой от выстрелов поплыл над полем, разрываемый ветром... Богданов незаметно для себя придвинулся к самой решетке, встав рядом с Дьяковым; смуглое лицо подполковника покраснело... Загорелись еще два танка; один из них мчался теперь так, точно экипаж его обезумел, — машина резко поворачивала, осаживала назад, кидалась куда-то в бок, разбрасывая по своей сумасшедшей трассе дымный рваный след.

— Ай да зенитчики-отличники! — услышал подполковник голос Дьякова. — Как стреляют, а?

Богданов обернулся — подле Дьякова стояли Ласточкин и Терехов. И подполковник с той особенной отчетливостью, с какой он все воспринимал теперь, заметил, что черная кепка секретаря обкома смята ветром, что кожаное пальто на нем, облитое дождем, блестит, как лакированное, что его худощавое с выпуклым лбом лицо выражает крайнее внимание. Немолодой Терехов еще не отды-

шался после подъема сюда; седоватые волосы его топорщились из-под околыша защитной фуражки.

— Оказывается, можно из зениток и по наземным целям. А сомневались как, помните?! — закричал Дьяков.

— Да, — лаконично ответил Ласточкин.

— Осторожничали как, а? Помните?! — удовлетворенно повторил Дьяков.

Между тем положение на поле боя быстро менялось. Танки второго и третьего эшелонов маневрировали в отдалении, ведя огонь по окопам, в то время как головные машины, сблизившись с защитниками первых линий на семьдесят пять — сто метров, били в упор из пулеметов. Неприятель рассчитывал таким способом прижать наших людей к земле и подавить их сопротивление, но пока это ему не удавалось — частые мелкие дымки винтовочной стрельбы относилось ветром от брустверов. И пехота, сопровождавшая танки, кое-где залегла... Вдалеке в туманном воздухе показались немецкие самолеты; с каждой секундой они вырисовывались все более отчетливо, перестраиваясь на ходу для атаки...

В этот же момент Богданов услышал за своей спиной нарастающий рев и обернулся. Над городом, над крышами домов, уходящих в перспективу, над бесчисленными трубами домашних очагов, над шпилями, куполами, фабричными трубами мчались сюда, навстречу врагам, стремительные зеленоватые истребители. Их было только два звена, примерно втрое меньше, чем немецких машин... Но, круто набирая высоту, неся на своих плоскостях пятиконечные красные звезды, оглушив на мгновение шумом мощных моторов, они через минуту ворвались в строй врагов. И столько беспредельной отваги было в этом их нападении на втрое сильнеешего неприятеля, что солдатское сердце Богданова похолодело от восхищения. Воздушный бой сразу разбился на отдельные схватки: цепочка немецких бомбардировщиков свернула в сторону, преследуемая ястребками, другие машины поднялись очень высоко.

А тем временем внизу, на земле, стало очевидно, что главный свой удар немцы направляют на полк НКВД. Часть их танков, наступавшая слева от шоссе против рабочего полка, встретила там противотанковый ров и была переброшена направо. Группами по три — четыре машины танки шли теперь, непрерывно стреляя, на позиции

чекистов. И до слуха Богданова снова дошел громкий, сочный голос генерала.

— Майор Зубов, слышите меня? — кричал Дьяков в телефонную трубку. — Танки пройти не должны... Слышите меня? Нет, нет, умереть — это всякий может, это — простое дело! Простое дело, говорю, а надо выполнить приказ... Сейчас я подкину вам огня!

Богданов плохо видел, что происходит на участке полка НКВД: верхушки высоких деревьев, росших на территории совхоза, ограничивали обзор, а помимо того, голубые и фиолетовые дымы образовали там многослойную клочковатую завесу. Но он понимал, что Зубову было очень трудно... И Богданов пожалел о том, что сам он не командует в этом бою отдельной строевой частью. Он был заместителем начальника участка, первым его помощником, однако в самый напряженный час эта роль показалась Богданову и не слишком определенной и пассивной — ему приходилось ожидать поручений Дьякова.

— Товарищ генерал, — заговорил Ласточкин, глядя на низкое зловещее облако над совхозом, — надо бы помочь Зубову.

— Мы сейчас добавим ему огонька, и он будет стоять, — ответил Дьяков. — А из города я не могу взять ни одного человека. Дайте мне начальника артиллерии! — крикнул он телефонисту.

— Да, поддержите Зубова, — сказал Ласточкин, продолжая смотреть мимо генерала пристальными удивленными глазами; казалось, он представлял себе самый бой как-то иначе.

— Товарищ генерал, — начал Богданов и провел языком по сухим губам, — позвольте мне на месте выяснить обстановку.

И, не дожидаясь ответа, он заторопился, вкладывая бинокль в футляр на груди. Полк Зубова, принимавший боевое крещение, мог, по его мнению, не выдержать такого натиска, а значит, его, Богданова, место было сейчас там, где сложилась наиболее тяжелая обстановка. Дьяков, посмотрев на маленького подполковника, закивал головой.

— Да, да, ступайте! Посмотрите, что там делается. — Он сощурился. — Придайте энтузиазма людям. Им ведь эти немецкие коробочки в новинку.

Богданов откозырял и быстро пошел, гремя сапогами по железным листам кровли.

«Умереть — это всякий может, а надо выполнить приказ...» — звучали в его ушах слова генерала. Они относились не к одному Зубову, но ко всем, кто встал здесь навстречу врагам. Вся горечь, вся бессильная ярость бесконечных отходов, неудач, поражений, накопившиеся в Богданове за первые месяцы войны, как бы переплавились в нем в одно короткое: «Нет, дальше отходить нельзя!» И он с какой-то пронзительной ясностью подумал, что именно ему вместе с другими и именно сегодня — сегодня! — потому что завтра могло быть поздно, надлежит наконец совершить то, чего так долго ждала Родина.

«Умереть — это простое дело», — повторил про себя Богданов, точно спорил с кем-то... Его состояние так же, в сущности, не походило на обычную, даже крайнюю взволнованность. Это было то высшее напряжение всех духовных, волевых сил, когда человек обретает удивительную свободу от себя самого, то есть от заботы о себе.

...Богданов нашел майора Зубова на его НП, на чердаке одноэтажного каменного домика. Вскрабавшись туда по лесенке через люк, прорезанный в потолке сеней, подполковник выпрямился только под самым коньком двускатной крыши. Из полуовального слухового окна с выбитыми стеклами была видна невдалеке кирпичная стена ограды, крытая по ребру железом; за нею несравнимо ближе, чем до сих пор, чадило и ревело пространство боя.

Зубов встретил Богданова сдержанно и с достоинством. Внешне он выглядел точно так же, как накануне. Тщательно одетый, выбритый, он двигался и сегодня с некоторой медлительностью, почти торжественно. Правда, чтобы быть услышанным, ему приходилось кричать. И что-то новое появилось в его немолодом лице: оно точно посветлело, смягчилось... Наклонясь к уху Богданова, майор громко докладывал обстановку, показывая рукой в матерчатой перчатке.

Метрах в четырехстах за стеной мелькнул в разорвавшемся дыму корпус танка. На темнозеленой, блеснувшей броне подполковник отчетливо увидел в бинокль белый крест, составленный из четырех углов...

Тяжелые немецкие танки, по словам Зубова, пытались прорваться на участке его левофлангового батальона, которым командовал капитан Тюрин. Пока Тюрин держался, но положение там было в высшей степени тяжелое. За несколько минут до прихода Богданова, сообщил Зубов дальше, он направил в помощь батальону свой полковой резерв — два взвода автоматчиков.

— Это все? Больше ничего нет у вас? — спросил Богданов.

Он подумал, что исход боя, а может быть, и судьба города решались сейчас на участке левофлангового батальона полка. Если б немцам удалось сломать только одно это звено в обороне, вся ее первая линия, туго, как цепь, натянутая, могла быть разорвана, смята, и враг сразу же оказался бы на улицах города.

— Весь резерв, так точно, — сказал Зубов.

— Дайте мне кого-нибудь. Я пройду в батальон, — сказал Богданов.

Зубов немедленно, точно он этого только и ждал, повернулся к своим связным и кликнул кого-то.

Идя к открытому люку, из которого торчала верхушка лесенки, Богданов успел заметить и мохнатые от пыли стропила над головой, и обрывок веревки, валявшийся под ногами, и множество глиняных цветочных горшочков в глубине чердака, вставленных один в другой... Даже эти, такие несущественные мелочи окружающей обстановки, попав в поле зрения Богданова, выпукло и четко запечатлевались сейчас.

Своего спутника Богданов рассмотрел, когда, следуя за ним, шел к стене ограды. Связной, назначенный сопровождать подполковника, был в длинной, мешковатой шинели; его худую шею неплотно обхватывал свежий белый подворотничок. Оборачиваясь на ходу, боец озабоченно поглядывал на подполковника, как бы справляясь, здесь ли командир, доверенный его попечению.

У самой стены, у пролома, сделанного снарядом, Богданову пришлось подождать. Там еще толпились автоматчики, видимо, из резерва полка, брошенного на помощь атакованному батальону. Это были пограничники, и их форменные фуражки ярко зеленели на фоне красноватой стены в сумрачном, насыщенном водяными парами воздухе. Пролом был узок, и автоматчики, вынужденные

соблюдать очередь, карабкались в затылок друг другу по осыпавшимся кирпичам, по известковой крошке.

Богданов придиричиво, сузившимися глазами оглядел солдат. Перед ним быстро мелькали их скуластые или гладкие, румяные или засиневшие от ветра лица. У иных из этих людей, идущих в бой, было сосредоточенное, хмурое выражение, другие выглядели рассеянными, у третьих жарко горели глаза, четвертые, казалось, просто любопытствовали. Но — и это подполковник заметил сразу — все они одинаково спешили, все имели подтянутый, даже щеголеватый вид. Их толстые, серого сукна шинели были однообразно, поверх хлястиков, стянуты ремнями, сапоги начищены, а подворотнички белели, как и у его провожатого... Видимо, ночью еще, перед рассветом, пограничники, зная, что предстоит бой, приготовились к нему, как к параду. И у Богданова, догадавшегося об этом, шевельнулось на секунду теплое доброе чувство. Но сейчас, однако, важно было одно: выстоят или нет эти люди в том аду, куда они торопились.

Когда последний автоматчик — рослый сержант с русой, выпавшей из-под козырька прядью — исчез в проломе, на его месте на обломках стены тотчас же возник провожатый Богданова.

— Не оступитесь, товарищ подполковник! Разрешите, — протянув руку, крикнул он.

— Идите, идите, — сказал Богданов, отстранившись. — Что вы это?

Он легко вскочил на кирпичи и спрыгнул по ту сторону.

— Как зовут вас? — успел еще спросить он своего провожатого.

— Ефрейтор Молочков, товарищ подполковник! — выкрикнул тот.

— Куда же теперь, Молочков? — сказал Богданов.

Ефрейтор только махнул рукой и, согнувшись, побежал влево. Богданов побежал за ним... С этой минуты ему уже с трудом удавалось сохранять представление о происходившем, как о чем-то целостном и связном, бывшее у него, когда он смотрел на бой издали. Все, что теперь оказывалось перед ним, воспринималось с необычайной, режущей глаза отчетливостью. Одно впечатление сейчас же сменялось новым, столь же ярким и как

бы обособленным, одна картина — другой, мгновенно вытеснявшей предыдущую.

Вслед за Молочковым Богданов соскочил в ход сообщения, глубокий, но узкий, со следами растоптанной, утопавшей в слякоти соломы на дне. Из-за поворота навстречу подполковнику шла санитарка, тащившая на спине раненого. Сгибаясь под его тяжестью, она то и дело хваталась рукой за земляную стенку; из-под измазанного в грязи плеча раненого выглядывало красное от натуги лицо женщины...

Богданов прижался к стенке, чтобы дать им пройти. Грохот боя, в котором выделялись особенно звонкие выстрелы танковых пушек, похожие на удары молота по железу, делал людей как бы глухонемыми. В этом грохоте люди объяснялись знаками, и провожатый подполковника, шедший впереди, отчаянно жестикулировал, оборачиваясь к нему. Богданова пронзила вдруг мысль, что он может опоздать на КП батальона и немцы окажутся там раньше, нежели он. Побежав, он быстро нагнал Молочкова, но ему опять пришлось задержаться: еще двое раненых шли навстречу.

Один сильно хромал, и при каждом шаге его растрескавшиеся губы поджимались, рука у него висела плетью; второй, поддерживавший товарища, откидывал поминутно голову, точно встряхиваясь. Лицо его было сплошь залито стынувшей чернеющей кровью... Поровнявшись с Богдановым, он в упор посмотрел на него единственным глазом — на месте второго была вспухшая чернота, но уцелевший глаз с карим, искрящимся зрачком казался раскаленным. Разомкнув залепленные кровью губы, солдат крикнул:

— Покурить, а, товарищ подполковник?

Богданов торопливо извлек папиросы и протянул их. Потом, став спиной к ветру, он чиркнул спичкой, сломал ее, выругался, засветил вторую, но она погасла. И хотя требовалось всего лишь зажечь спичку, Богданову понадобилось крайнее усилие воли, чтобы не швырнуть коробок прочь. Лишь на четвертый раз огонек окреп, и Богданов, прикрывая его ладонями, поочередно дал прикурить солдатам.

Раненый с окровавленным лицом длинно затаился и, не выпуская папиросы из рта, прокричал:

— Отстрелялись мы!.. Капуста дело...

Не дослушав его, Богданов побежал дальше.

Все сильнее воняло гарью и взрывчаткой; Богданов морщился, в горле у него царапало. Снаряды рвались теперь поблизости, и над краем окопа на фоне неба взлетала подброшенная измельченная земля.

Богданов разминулся еще с одним бойцом, вероятно, связным, потом опять пронесли раненого. Неожиданно ход сообщения оборвался: дорогу преградила песчаная осыпь, припорошенная сверху копотью...

Молочков уже лежал там, косясь через плечо на Богданова и показывая рукой. Впереди, метрах в восьмидесяти — ста, наискосок к тому месту, где он находился, быстро шли уступом три танка. Из их короткоствольных орудий рвалось узкое пламя. И раскалываемый выстрелами воздух звенел так, будто над самым ухом лопались огромные стеклянные шары. Оглядевшись, Богданов заметил, что Молочков встает с земли.

— Ложись! — закричал он во всю силу голоса.

Но, видимо, ефрейтор счел для себя неудобным лежать в то время, как командир стоит, — он поднялся на ноги и шагнул к Богданову. Тот лихорадочно искал глазами, кто бы мог остановить эти три машины, прорвавшиеся так далеко, и никого не увидел. Земля, лежавшая между ним и танками, взрыхленная разрывами, отсвечивавшая все тем же окающим ртутным блеском, была пустынна. Мелькнул какой-то хилый кустик с редкими, пожухлыми листочками, а под ним — неподвижное человеческое тело в коробившейся на спине шинели. И никого, никого больше, кроме самого Богданова и Молочкова, не оставалось как будто поблизости... Через несколько секунд танки должны были проскочить мимо — грязь низкими веерами летела из-под скользящих по-сверкивающих траков. И Богданов подумал, что у него нет даже гранат, с которыми можно было бы броситься наперерез танкам... Как это он не взял с собою гранаты! Ему показалось, что если здесь именно, на этом вот клочке опаленной, изуродованной земли, не будут остановлены враги, их уже никто не остановит. И он невольно, не помня себя, рванул из кобуры пистолет...

Но тут же слева от себя он увидел в редком, медленно плывшем дыму солдата в зеленой фуражке, вставшего с земли. За первым появился второй и одним скачком опередил первого, будто желая заслонить товарища;

они рядом пробежали несколько метров, и Богданов узнал в них пограничников, с которыми вчера разговаривал, — двух друзей с одной заставы. Первый солдат — повыше ростом, покрупнее — пригнулся и упал плашмя, второй чуть помедлил и тоже лег. Теперь Богданов видел только их круглые с изумрудными верхами фуражки; танки, не изменив курса, катились прямо на эти два повесенному зеленые пятнышка.

— Кидайте же, кидайте! — закричал подполковник, хотя пограничники едва ли могли его услышать.

Один из бойцов рывком приподнялся, взмахнул рукой и лег, второй повторил то же движение, но опять немного помедлил, прежде чем припасть к земле. И когда огромные сотрясавшиеся машины находились уже в десятке шагов от них, раздались два последовательных взрыва. Танки пронеслись над гранатометчиками, но средняя машина накренилась и начала забирать вкось. Стреляя из пулемета, она описала на месте полный круг, как бы пытаясь окольцевать себя огнем. Откуда-то из невидимого окопа вылетело еще несколько гранат, и хотя они разорвались в стороне от танков, две уцелевшие машины, повернув назад, стремительно уходили.

Богданов, не отдавая себе отчета, шагнул вперед, движимый желанием узнать, что случилось с двумя героями. Чувство, обжигавшее его в эту минуту, было равно похоже на отчаяние и на ликование, он и бесконечно восхищался и непомерно горевал. Но хотя пограничники преградили здесь врагам дорогу, немецкие танки, как он видел, проникли уже в боевые порядки батальона, и, значит, нельзя было терять ни минуты. Из окопчика слева к месту схватки также бежали люди, и Богданов, опомнившись, повернулся к Молочкову.

— Что же вы! — сказал он. — Ведите же.

Подбитый танк уже не стрелял: осев на катки, с которых была сорвана гусеница, он медленно, неуклюже кружился на месте, будто ввинчиваясь в землю, по которой так и не прошел.

Следуя за Молочковым, Богданов вскоре очутился в траншее, отрытой на краю совхозного сада. Глубокая, с обшитыми тесом амбразурами, укрепленная по стенкам хворостом, она предназначена была для второй линии батальонной обороны. Здесь же в одном из блиндажей находился пункт боепитания. Миновав его, подполковник

и Молочков снова попали в тесный ход сообщения. Отовсюду — то дальше, то ближе — раздавались удары многих молотов по звенящим наковальням. Иногда земля ощутимо вздрагивала, как бы теряя свою прочность, и над окопом, застя свет, пролетали, вытягивались, меняя очертания, обрывки иссиня-темного порохового дыма...

Подполковник не знал точно, какова обстановка на участке батальона и что, собственно, можно было бы еще предпринять, но в нем окрепла вдруг уверенность в счастливом исходе боя. То чувство, что потрясло Богданова при виде подвига двух пограничников, уничтожило, выжгло все его опасения. Казалось, в мире, где он теперь находился, где сама земля лишилась устойчивости, а воздух, смешавшийся с землей, — прозрачности, только люди становились тверже и сильнее. И то, что они могли совершить сейчас, простиралось далеко за пределы их обычных человеческих возможностей.

...В блиндаже Тюрина, куда Богданов наконец добрался, было просторно и сухо, неожиданно приятно пахло смолистым деревом, уложенным в накат, и это также обрадовало подполковника.

«Умело построено, основательно», — по привычке отметил он про себя и усмехнулся. Слушая Тюрина, стоявшего боком к смотровой щели, так что половина его лица была в густой тени, а вторая, обращенная к узкому окошечку, поблескивала, как отполированная, подполковник благожелательно вглядывался в него.

— Танки у вас в тылу, капитан! Вы знаете это? — крикнул он, перебив Тюрина.

— Отбиваем четвертую атаку! Но вот, прошу взглянуть! — также прокричал Тюрин, отклонившись в сторону от амбразуры.

Богданов нагнулся к ней. Поле, тянувшееся от блиндажа книзу, было густо затуманено; сине-голубая грязноватая туча стелилась там, уплотняясь в одних местах истаивая в других, относимая ветром в глубину. Все же Богданов сразу увидел немецкие танки. Десятка два их скопилось тут на небольшом пространстве, извергая пламя из своих многочисленных стволов. В дыму мелькали кое-где перебегающие плоские фигурки в касках: немецкая пехота приближалась к окопам.

Богданов покосился через плечо на Тюрина. Тот также заглядывал в амбразуру, и подполковник ясно

увидел теперь его голубые глаза, его лицо с поперечной толстой складкой на лбу, с припухшими веками.

— Какая цель, а? Вы видите? Понскать надо такую цель! — крикнул Богданов.

Капитан вопросительно-серьезно взглянул на него.

— Связь у вас действует? — маленький подполковник снизу вверх смотрел на высокого Тюрина. — Немедленно соединитесь с командиром полка. Тут перед вами и танки и пехота. И все в одном кулаке. Требуйте артиллерийского огня — всего, какой могут дать.

— На себя! — закричал Тюрин так, точно его осенило вдруг.

Богданов не столько услышал это, сколько догадался об ответе; рядом разорвался снаряд, и со стен блиндажа посыпалась земля.

— Требуйте огня на себя! — повторил он с силой, по особому выговаривая «на себя».

— Так точно, выбирать нечего, — решительно сказал капитан.

Они вместе подошли к дощатому столу, на котором находились ящички с телефонами.

— Батальон отойдет на вторую линию, — громко продолжал Богданов. — А здесь пушки наделают лому.

Тюрин, отдавший приказ телефонисту, пристально взглянул на подполковника.

— Вы контратакуете, как только огонь будет перенесен, — сказал Богданов.

Странно улыбаясь, будто внезапно захмелев, он слушал, как Тюрин разговаривал с Зубовым.

— Прошу огня — всего, какой есть! — кричал капитан, надсаживаясь и приставив к трубке щитком ладонь. — Тут и танки и пехота... Прошу море огня!

Вероятно, Зубов переспросил Тюрина, потому что он повторил:

— Так точно, весь огонь на меня...

Выслушав ответ, капитан пожал плечами.

— Выбирать нечего! — закричал он. — Жду огня! Слушаю, благодарю!

Он положил трубку, достал из кармана брюк платок и широким жестом, как это делают после утомительной работы, отер лоб под козырьком фуражки. Связные — их было четверо — обступили капитана, они все слышали и поняли... Богданов неясно различал лица сол-

дат с блестящими белками глаз, безмолвно устремленных на батальонного командира. Тот отдал ротам приказ о выводе людей на вторую линию окопов, и связанные заторопились, стеснившись на секунду у выхода.

— Установите аппарат на запасном КП, — сказал Тюрин телефонисту. — Когда свяжетесь с командирами рот, доложите мне.

Но выйти отсюда ни он, ни телефонист, ни Богданов уже не успели: танки, проникшие в расположение батальона, отрезали им путь; вдоль окопа били пулеметы. Тюрин что-то прокричал Богданову, докладывая, видимо, об этом, но подполковник не разобрал слов. Впрочем, все было ясно и без них... Богданов посмотрел на ручные часы, отвернулся и встал к амбразуре. Почувствовав прикосновение чужого плеча, он подвинулся, чтобы дать возможность и Тюрину видеть происходившее.

Так, тесно прижавшись — голова к голове, — они ждали несколько минут. Стрелковый огонь ослабел, и впереди в пороховой мгле все чаще возникали перебежавшие силуэты немецких пехотинцев. Богданов, кося глазом, видел, как вздрагивает у капитана припухшее с рыжеватыми ресницами веко, как на виске под влажной, потной кожей пульсирует набухшая ветвистая жилка. Очень медленно прошла еще минута, другая; два танка, появившиеся сбоку, шли по диагонали прямо на блиндаж. Переползая через воронки, они задирали кверху носы, точно готовясь к прыжку: когда нос заваливался и поднималась корма, танк становился похожим на гигантскую продолговатую черепаху, роющую землю... Богданов снова подумал о гранатах, но не успел спросить их у Тюрина. Нестерпимый свет ударил ему в глаза, горячий вихрь обдал его, и он зажмурился: страшный гром потряс все вокруг.

Первый залп нашей артиллерии лег в непосредственной близости к блиндажу. Дым заполнил конусообразную горловину амбразуры, и Больше Богданов ничего там не видел. Снаряды кучно падали, их разрывы соединились в сплошной длинный грохот, и под его невыносимым давлением стало как будто нечем дышать. Бревна наката сотрясались, одно из них вылезло из нижнего ряда, обнажив свой светлый, обтесанный бок.

— Ага!.. Ага!.. — однообразно через силу повторял Богданов.

Тюрин, пригнувший голову, не сводил с подполковника остановившегося выжидательного взгляда.

Богданов начал задыхаться — дым проник в блиндаж, — но душа его возликовала... Буря, выпущенная по его слову, готовая смести и его самого, бушевала вокруг, испепеляя сейчас его врагов. Никогда еще раньше он не ощущал себя так полно, так упоительно живущим, как в эту последнюю, вероятно, минуту. Ибо она была минутой победы, которую он так жаждал, — победы, то есть высшего утверждения жизни!

Накат над головой Богданова осел, еще несколько бревен выперло наружу и уткнулось в пол. Потом обвалилась амбразура, и в блиндаже стало совсем темно, как будто в самом деле наступила ночь...

Ощупью, натыкаясь на бревна, потеряв всякое представление о том, где выход, Богданов попытался поползти из блиндажа. Кто-то крепко обхватил его за спину, прижал к себе и с силой поволок наверх. Лишь выбравшись на земляные ступеньки и увидев над собой своего провожатого, подполковник понял, что это Молочков помог ему, — неотступный Молочков, о котором он попросту позабыл. Капитан Тюрин с пистолетом в руке стоял у передней стенки окопа. И Богданов, оглушенный, спотыкающийся, потянулся туда же, к брустверу.

Уже не сине-голубая, а черная, с бурым отливом туча застилала пространство. И в ней, как костры во мраке, поднималось в разных местах большое багровое пламя горевших танков. Некоторые еще двигались, расползаясь, окутанные дымом; пехоты нигде не было видно.

Тюрин подал знак уходить. По ходам сообщения пробегали отставшие от своих рот бойцы, волоча за собой пулеметы, унося раненых... Какой-то солдат толкнул Богданова и обернулся; лицо его со щетинистыми усами, с редкими оспинами было мокро, точно облитое водой. И подполковник, пригнув голову, пошел шатаясь... На повороте хода сообщения ему очень захотелось остановиться и еще раз взглянуть на происходившее за спиной. Но на Богданова наскочил Молочков: теперь ефрейтор следовал сзади, как и полагалось ему, прикрывая отход. Он трясся от беззвучного кашля, серые глаза слезились, — видимо, он наглотался дыма.

Когда Богданов достиг уже траншеи второй линии, что-то неожиданно сильно толкнуло его в спину между

лопатками. Он повалился ничком в грязь и, подумав в первую секунду, что его ранило, всем существом своим прислушался к себе. Не ощутив ничего, кроме боли от жесткого футляра с биноклем, на который он упал, Богданов попытался встать и не смог. Кто-то лежал на нем, вжимая его в холодную жижу на дне окопа. Опершись на локти, Богданов рывком приподнялся, и человек, придавивший его, медленно сполз в сторону. Вскочив на ноги, подполковник опять увидел около себя Молочкова, но на этот раз покоившегося в той неудобной, обезволенной позе, какую так часто придает людям смерть. Одна рука у него была неестественно подогнута под бок; голова его завалилась, и над белым подворотничком выпячивался острый кадык.

Богданов поспешно опустился на колени и приподнял голову бойца, принявшего на себя удар, который неминуемо настиг бы командира. Молочков был убит наповал, он умер мгновенно, видимо, пораженный в сердце, и его лицо с опущенными уголками рта не изменило своего недовольного выражения.

Положив на землю голову Молочкова, Богданов оглянулся, точно приглашая всех в свидетели этой смерти. Глаза подполковника были сухи, но судорожное глотательное движение свело ему горло.

...Прошло еще около получаса, и Тюрин со своим батальоном контратаковал. Первая линия была занята им опять, и без особенных усилий: остатки немецкой пехоты не оказали серьезного сопротивления; правда, окопы там надо было восстанавливать почти заново. Немцы, понесшие неожиданно крупные потери, больше не проявляли активности на всем участке полка НКВД, и Богданов, убедившись в этом, отправился к Зубову.

Издали еще завидев майора, стоявшего на крылечке своего КП и разговаривавшего с группой командиров, Богданов пошел быстрее. Он торопился сказать майору, что тот командовал героями, что ему, Богданову, не часто приходилось встречать солдат, подобных тем, с которыми он только что бок о бок сражался. Но Зубов предупредил его и, шагнув навстречу, заговорил первый:

— Прошу указаний, товарищ подполковник! — Он вытянулся, строго глядя на Богданова. — Мой левый сосед отходит...

Далее он доложил, что на участке рабочего полка противнику все же удалось продвинуться — какие-то подразделения не устояли там, как ему стало сейчас известно, и немцы ворвались в Мышкинский Поселок. Богданов, так и не сказав Зубову того, что собирался, попросил соединить себя с генералом Дьяковым...

7

Утром, едва лишь начало светать, Наташа и Анна Васильевна вышли из дома. Ночью Наташа поспала немного, не раздеваясь, но это был тот нестойкий, неглубокий сон, когда явь не исчезает совсем, а неотступно беспокоит, заставляя то и дело просыпаться... Наконец, приподняв маскировочную штору, Наташа увидела, что мокрые стекла в окошке посерели; ничего еще нельзя было различить за ними, кроме того, что день, который так ее страшил, начинался. Однако она не колебалась в своем решении; завернув в газету смену белья и полотенце, она собралась немедленно идти разыскивать штаб рабочего полка. И Анна Васильевна, молчаливая, угрюмая, не сомкнувшая глаз во всю ночь, вышла следом за невесткой, чтобы немного проводить ее.

Во дворе сырой холод сразу же пробрал Наташу, и она начала дрожать. Падая частый, мелкий дождь, его подхватывал ветер, и как будто белесый туман волнами стелился в глубине улицы. Пока было очень тихо: в низеньких, темных домах с закрытыми ставнями, неясно выступавших из утреннего сумрака, все, казалось, еще спали. И Наташа подумала даже, что только она да Анна Васильевна и поднялись так рано в это мокрое, непогожее, ужасное утро.

Но, пройдя несколько шагов и миновав дощатый заборчик, она различила у ворот соседнего дома неподвижную женскую фигуру, укутанную в платок.

— Варвара! — строго окликнула женщину Анна Васильевна. — Ты приходи попоздней в комитет к нам... Надо твоих ребятишек на эвакуацию записать.

— Ты сама куда идешь? — невнятно пробормотала женщина; платок закрывал ее лицо до глаз.

— Я вернусь скоро... Я в комитете буду, — сказала Анна Васильевна.

Затем впереди, в стороне набережной, обрисовались еще какие-то расплывчатые человеческие силуэты, но

вскоре исчезли, растворившись в туманной полумгле... Вдруг из-за невидимой пока реки послышалось глухое, нестройное гроыхание — там где-то начался уже бой. И точно прогнанный, прекращенный этой канонадой дождь быстро утих; сквозь редеющую капельную завесу тускло заблестела полоса набережной, выступили из водянистого воздуха длинные заводские корпуса на противоположном берегу реки... Тучи уползали к югу, сразу стало светлее, и Наташа обнаружила, что множество обитателей города: женщины, мужчины, дети, целые семьи от мала до велика — были в этот ранний час на ногах...

По набережной, сворачивая на мост, двигалась колонна людей с лопатами; повидимому, жители Заречья шли в южные и западные районы Т., чтобы помочь там в строительстве новых укреплений. На углу в булочной горел свет, и было видно в широкое окно, что у прилавка толпились покупатели. Какие-то подростки и женщины торопились в том же направлении, что и Наташа, будто увлекаемые общим с нею побуждением. И за мостом поровнялись с Наташей, а потом обогнали ее две молоденькие девушки в прорезиненных пальто, шагавшие рядом, плечом к плечу. Обе они были одинаково повязаны белыми платочками, одинаково прямо держались, и у каждой висела на боку толстая санитарная сумка. Наташа, увидев этих девушек, невольно ускорила шаг, как бы желая к ним присоединиться — очень уж уверенно и деловито они выглядели... Сама она, засунув руки в карманы пальто, стискивала пальцы, стараясь побороть свою неутихавшую дрожь... Часто навстречу попадались люди, тащившие на себе корзины, узлы; кто-то толкал двухколесную тележку с домашней поклажей: с подушками, с чайником, со связкой книг; рядом старик в обвисшей от дождя фетровой шляпе вел за руку мальчика — эти, вероятно, спешили выбраться из города или переселялись с южной окраины на северную...

За мостом Анна Васильевна хотела было проститься с Наташей, но, поглядев на нее, передумала и пошла дальше. Канонада, доносившаяся с юга, внезапно усилилась, и в ней явственно различались теперь звонкие, гулкие удары, точно где-то за домами застучали вразнобой молоты многих кузнецов... Бой как будто приближался к городу, однако народа на улицах не становилось

меньше. Подходя к центру, — а его надо было пересечь Наташе, чтобы выйти к городскому парку, — она видела, как в одном месте люди сгружали с автомашины огромные мотки колючей проволоки; в другом — на скверике с оголенными тополями — копали окопы; немного дальше люди перегораживали улицу стенкой из бревен, камней, железного лома... Видимо, в городе создавались новые оборонительные рубежи; Т. превращался в сплошную укрепленную позицию, и его жители готовили к ближнему бою свои кварталы, свои дома, дворы, этажи... То тут, то там мелькали разгоряченные лица, поблескивали лопаты, отшлифованные землей; небо на севере быстро светлело, дул холодный, зимний уже ветер, и концы женских платков полоскались в сером воздухе. А неугомонные кузнецы, скрывавшиеся где-то на окраине города, все чаще, все громче били своими тяжелыми молотами в звонкие, гулкие наковальни.

Остановившись, чтобы попрощаться наконец с Анной Васильевной, Наташа неожиданно увидела у выхода на площадь Настю и Марину Бокову. Подруги одиноко стояли под приземистой аркой ворот; казалось, они поджидали кого-то, укрывшись под каменным сводом, или, быть может, не отваживались идти дальше...

— Вы что тут делаете? — не поздоровавшись, грубовато спросила Анна Васильевна.

Настя повела светлыми злыми глазами на свою спутницу, точно вопрос относился к одной Марине. Обе женщины слегка сгибались под тяжестью дорожных мешков, прилаженных на спинах, а Настя, кроме того, держала подмышкой гитару с голубым бантом на грифе. Марина, укутанная до бровей в свой шелковый платок, заколотый под подбородком, и еще более красивая, чем вчера, — чистая синева ее глаз была особенно приметной при дневном свете — ответила Насте виноватой улыбкой.

— А что я с блаженной с этой, с дурочкой, поделаться могу? — сказала та сердито. — Совсем было решила уходить, а теперь опять сомневается... Ей Ваню своего жалко...

— Будто ты сама не сомневаешься, — кротко проговорила Марина. — Сама мне первая сказала: вся артель воюет, один в кустах горюет...

Анна Васильевна молча усмехнулась; ветер шевелил

над ее костистым лбом кружева черного шарфа, в котором она выглядела еще более строгой.

— Вы куда ж это собрались, гражданочка? — неожиданно с раздражением крикнула Наташе Настя. — Вы о двух головах, что ли?

Наташа не нашлась сразу, что ответить, и Анна Васильевна сказала:

— А в самом деле, подождать бы вам лучше... Сейчас в штабе и разговаривать с вами не станут...

— Ой, что вы! — воскликнула Наташа, и в ее темных, жарко светившихся глазах отразилось недоумение.

Она собралась во что бы то ни стало добраться до парка, в котором повидалась вчера с Павлом; там где-то находился, вероятно, и штаб его полка. И остановиться на половине дороги Наташа уже не могла — ей было и страшно, и в то же время она ощущала в себе невесть откуда взявшуюся отчаянную решимость.

— Да и не пустят вас сейчас на позицию, Наташенька, — сказала Анна Васильевна.

— Ничего... Я как-нибудь!.. — выкрикнула Наташа, стараясь силой голоса заглушить, подавить свой озноб. — Ну все, я пошла!.. До свиданья, Анна Васильевна, спасибо вам!.. До свиданья, Марина! — бросила она на ходу.

— Погодите вы, куда ж вы одна? Погодите же, — громко сказала старуха, идя за нею следом.

Настя поправила лямки своего мешка, подкинула его на спине и с раздражением заметила:

— Как ненормальные все стали!.. Ты вот что, ты постой тут, Маринка... — неожиданно предложила она. — Я до угла добегу, погляжу только, что делается. А ты не уходи, слышишь?

Марина послушно кивнула головой. Но едва Настя, путившаяся напрямик через площадь, отдалилась шагов на двадцать, она кинулась догонять подругу.

...На углу проспекта Коммуны, широкого и длинного, полого поднимавшегося в гору и выводившего в противоположном конце на городскую заставу, Наташе пришлось все-таки задержаться. Здесь на перекрестке собралось довольно много народу, мальчишки перебежали от дома к дому, женщины теснились в воротах, а те, кто был похрабрее, кучками стояли на тротуаре, глядя в сторону заставы. Под синей, с золотыми буквами вывеской «Га-

строном» жались в дверях продавщицы в белых халатах и тоже смотрели в глубину проспекта. Там, перегораживая его, чернела баррикада из нагроможденных стенкой ящиков и мешочков с песком. Солдаты в серых шинелях стояли и ходили вдоль нее, занятые каким-то своим делом. Проход вверх по проспекту был таким образом закрыт, и даже подойти к баррикаде никому не разрешалось.

У перекрестка, где все толпились, сидел на каменном крылечке солдат с винтовкой, не пропуская дальше любопытных; высокая женщина в меховой куртке, в желтом платке громко выговаривала ему:

— Ты не со мной воюй, ты с немцем воюй, раз такой принципиальный. И я не к кому-нибудь, а к мужу иду, к своему, не к чужому... Анисимов он, шахтер, я ж тебе сказала. Как же у тебя совести хватает не пускать!

— Опять двадцать пять... — беззлобно отвечал солдат — молодой с безбровым, сизорумяным лицом; штык винтовки, которую он сжимал коленями, влажно посверкивал над его намокшей ушанкой. — Слышите, как грохочет. Боевые действия сейчас в полном разгаре, а вы как в гости на пироги разогнались...

— Я вашим действиям не помеха, — перебила его женщина. — Я спрашиваю: сочувствие у тебя есть? И не пугай, не напугаешь! — распалилась она. — Может, Анисимов мой без памяти сейчас валяется...

Еще какая-то женщина, совсем седая, нерешительно приблизилась к крылечку и, не произнося ни слова, как бы украдкой сунула солдату в руки небольшой сверток.

— Это что же? — немного испуганно спросил тот.

Седая женщина поспешно отступила на шаг.

— Передадите, может, если увидите... — ласково сказала она. — Лепешечки это испекла я, лепешечки... Полотенчишко чистое уложила... Рыбкины мы, а сына Игнашей звать...

— Да что вы, гражданка! Ну, где я найду вашего Игнашу? — растерявшись, возвысил голос солдат. — Я ж говорю: бой сейчас в самом разгаре!.. Нет уж возьмите ваши лепешечки, возьмите... Стой, стой! — закричал он вдруг, заметив, что женщина в меховой куртке, сочтя дальнейшие объяснения излишними, быстро удалялась по направлению к баррикаде. — Назад, мамаша! Стой же!

Но та даже не оглянулась... И солдат, вскочивший на ноги, подвигал сперва на голове ушанку, потом с уважением проговорил:

— Пошла-таки в самое пекло... На прорыв взяла.

Наташа и еще кто-то попытались было последовать примеру решительной жены шахтера, но, спрыгнув с крылечка, солдат встал перед ними.

— Нельзя, гражданочка, никак нельзя! Не дойдете вы до своих! — Он сам разволновался. — Переждать вам надо...

И его голос пропал в оглушительном громе: на баррикаде выстрелила пушка, лишь сейчас ее заметила там Наташа. Прогремели один за другим еще три выстрела, направленные в туманную перспективу улицы. И Наташа, точно загипнотизированная, смотрела, как при каждой вспышке пламени, вылетавшего из орудия, фасады ближайших к баррикаде домов окрашивались розовым отсветом, а окна, заклеенные полосками бумаги, на мгновение загорались...

Женщины, стоявшие у перекрестка, попятились к стенам домов и подъездам — бой, громыхавший до сих пор в сравнительном отдалении, одним скачком приблизился к ним. И на улице сразу стало меньше народу, толкая друг друга, люди отступали в подворотни, теснились там. Два мальчика лет девяти — десяти помчались вверх по проспекту к стрелявшей пушке. Белая козьего меха курточка одного из них замелькала на фоне темнозеленого длинного фасада «Гастронома».

Солдат в ушанке торопливо взобрался на верхнюю ступеньку крылечка.

— Идите по домам, гражданки! — с отчаянием закричал он. — И ребятишек забирайте... Сейчас тут бой будет! — лицо его побегровело от крика.

— Васька! — прозвучал над ухом у Наташи испуганный вопль. — Васька, убыю!

И какая-то женщина, больно толкнув Наташу локтем, бросилась догонять мальчиков.

— Ах, негодники какие! — высоким, будто не своим голосом, сказала Наташа.

Кто-то крепко взял ее под локоть, и, обернувшись, она увидела Анну Васильевну.

— Ну, куда они прямо на огонь? Ну, куда? — крик-

нула Наташа так, точно Анна Васильевна была повинна в случившемся.

Позабыв обо всем остальном, она расширившимися глазами смотрела, как женщины догоняли мальчиков. Когда их настигли наконец и повели обратно, она с облегчением вздохнула. Пушка опять громоподобно выстрелила, и женщина, тащившая мальчика в козьей курточке, присела на секунду посередине улицы. Потом, неловко обхватив сына за шею, бегом кинулась с ним в сторону на тротуар.

И вдруг в пустынном пространстве между началом проспекта и баррикадой появились новые люди. Они выходили из переулка налево — по двое, по трое, по одиночке — и шли вниз к перекрестку. Некоторые тяжело, медленно бежали, другие, выбившись, видимо, из сил, спотыкались... У всех у них были винтовки, но держали они оружие по-разному: на весу, за ремень, а иные устало волочили приклады по асфальту...

Наташа, безотчетно испугавшись, взглянула на Анну Васильевну, как бы спрашивая у нее объяснения. Старуха пристально всматривалась в идущих сверху мужчин; ветер отгибал черное кружево над ее строгими глазами в глубоких впадинах орбит.

Одежда приближавшихся людей — пальто, залепленные грязью, куртки, стеганки, шинели — была в таком виде, точно они все возвращались из драки. Кто-то шел без шапки, поминутно оглядываясь, а у юноши, шагавшего рядом, виднелось на распахнутой груди голое тело. Впереди бежал низенький человек в расстегнутом неподпоясанном тулупчике и в телячьем малахее с длинными, болтавшимися хвостами. Отставая от других, тащился кто-то в меховом пальто с замотанной в белое левой рукой. Кто-то ковылял, припадая на ногу в разорванной, висевшей лохмотьями штанине.

Женщины, скупившиеся у перекрестка, молчали. Казалось, они, как и Наташа, не узнавали этих людей, подавленные одним их страшным видом. Но так продолжалось недолго: над улицей пронесся длинный жалобный и восторженный крик.

— Сыночки-и! Милыи-и!

И седая женщина в потертом пальто с газетным свертком, торчавшим из кармана, пробежала мимо На-

таши; ее лицо выражало скорбное, страдальческое умиление.

«Да ведь это бойцы, ополченцы! Они только что сражались, они из боя... — осенило Наташу. — Может, и Павел здесь!»

И высвободив свою руку, которую все еще держала Анна Васильевна, она побежала навстречу бойцам. Незнакомая ей женщина в длинном до колен платке, развевавшемся наподобие плаща, обернувшись, встретила с нею глазами.

— Наши это, городские! — радостно и звонко сообщила она.

— Милый-и!.. — однотонно, горестно и умильно выкрикивала седая женщина.

Люди, спускавшиеся к перекрестку, начали останавливаться, иные, замедлив шаг, что-то кричали сами, но в общем гомоне их не было слышно. Как будто замешательство овладело бойцами — одни топтались на месте, другие озирались по сторонам. Человек в меховом пальто круто свернул в сторону, как бы желая уклониться от встречи с женщинами. Низенький боец в овчинном тулупчике, запыхавшийся, красный от бега даже отскочил назад.

— Бабы! — провыл он тонким, вибрирующим голосом, отчего получалось не «бабы», а «баби». — Вы чего тут? Бегитя, баби!

Но женщины уже обступили бойца. Они смотрели на него с такою признательностью и восхищением, что он вытянул вперед руку, точно защищаясь от этой обращенной к нему любви. Кто-то попытался погладить бойца по плечу, и он боязливо отшатнулся, тараща глаза.

— Баби, танки идут! — взвизгнул он. — Бегитя, баби, подавят вас...

Наташа, возбужденная не меньше других, в сбившемся на затылок берете, вытягивала шею, вставала на цыпочки, ища глазами мужа.

«Может быть, подойдет еще Павел», — утешала себя она; не задумываясь над тем, почему, собственно, все эти вооруженные люди были сейчас не в бою. Повидимому, раз уж они находились здесь, а не там, откуда доносился слитный гул стрельбы, — так было почему-нибудь необходимо.

Показалось еще несколько бежавших сверху, сломя голову, мужчин, и Наташа бросилась к ним навстречу, но тут же разочарованно помедлила — Павла среди них она опять не увидела... Ее обогнала седая женщина в пальто с посекшимися локтями, с газетным свертком в кармане.

— Игнаша-а! — дурным голосом кричала женщина. — Игнашечка-а! Сыночек!

Наташа даже позавидовала ей — вот ведь повезло же матери встретить сына. Припав с разбега на грудь парню в плюшевой кепке, шаром вздымавшейся над оттопыренными ушами, женщина покачнулась, обвисла. И парень вынужден был обнять ее левой рукой; в правой он держал за ремень штыком вниз винтовку.

— Игнашечка! Заступничек! — задыхаясь, выкрикивала женщина. — Ой, сердце мое чуяло — увижу тебя!

Парень бессмысленно сверху вниз смотрел на мать, прижимавшуюся к нему; пот заливал его щекастое, свекольного цвета лицо; в уголках его открытого рта пузырилась слюна.

— Мама! — глухо выговорил он наконец. — Вы как?.. Вы...

Не dokonчив, он метнул взгляд через плечо и неожиданно рванулсЯ вперед.

— Мама-а-а, уходите-е!.. — взревел он.

— Ой, сердце материнское! Ой, Игнаша, Игнаша!.. — как в беспамятстве, твердила женщина.

Точно слепая, она шарила пальцами по широкой груди сына, по плечам, по открытой сильной шее.

— Мама, идите!.. Мама-а-а! — обезумев, орал тот, ежесекундно порываясь бежать и не решаясь все-таки оттолкнуть мать.

— Что ж это я? — спохватилась вдруг она. — Ой, забыла совсем!..

И выдернув из кармана свой сверток, она принялась суетливо засовывать его сыну за пазуху.

— Это тебе, Игнаша, тебе... Мучица у меня оставалась... — пояснила она. — Бери, Игнаша!

Парень, почувствовав себя свободным, отпрянул от нее. Но она, испугавшись, что сын так и уйдет, не взяв гостинцев, уцепилась за его рукав.

— Лепешечки это, лепешечки... Полотенчико чистое! — поспешно выкрикнула она.

Боец, отталкивая сверток, помотал головой, точно его схватило что-то за горло; вздувшаяся, похожая на шар-кепка, заколыхалась.

— Коржички это... Содовые, содовые... — лепетала женщина. — Куда ж ты, Игнаша?

— Ле-пе-шеч-ки! — раздельно, не своим голосом звал он. — Какие лепешечки?.. Мама, идите!

— Содовые, я ж говорю.

И будто внезапно отрезвев, сын перестал вырываться, замолчал, но все еще испуганно отстранял от себя сверток с гостинцами.

Наташа, ничего не понимая в этой сцене, огляделась. Позади нее девушка в белом платочке тащила ведро с водой, ухватив его за дужку обеими руками.

— Кто пить хочет? Товарищи!.. — зывала она не-сильным голосом.

На тумбе у тротуара сидел какой-то боец, и Анна Васильевна, наклонившись, перевязывала ему голову. Около них молча стояли другие женщины и бойцы: юноша с голой грудью и кто-то в порванной штанине. Наташа подбежала к старухе.

— Ну, лежим, стреляем, ничего... — рассказывал человек, раненный в голову. — С непривычки, правда, я лично стеснялся чуток... Спасибо, мамаша, сойдет.

— А ты сиди, сиди! — трубным голосом сказала Анна Васильевна. — Ваты нету, жалко.

Узелок, с которым она вышла, лежал развязанный на коленях бойца; старуха достала оттуда полотенце, предназначавшееся Павлу.

— ...Политрука нашего убило, — продолжал боец. Большая грязная рука его с набившейся под ногти земли скользила вверх и вниз по ложу винтовки. — А тут слух прошел... И кто его первый пустил, не знаю — будто бы танки в городе, а нас, выходит, обошли... Ну, тут выскакивает один... — рассказчик поискал глазами, — крикун этот хвостатый, огородник он... Отрезали, кричит.. Мы и не разобрались толком. Спасибо, мамаша! У меня ж не боевое ранение... Это я стукнулся, когда побежал..

Анна Васильевна протянула бойцу носовой платок.

— Утрись-ка! — предложила она. — А то вспотел, как мышь.

Она подняла голову и обвела взглядом толпившихся вокруг мужчин.

— Ну, у кого еще заслуженные раны? Подходи. — громко спросила она.

Человек в разорванной штанине коротко, нервно хохотнул, другой в папаче — немолодой уже — конфузливо улыбнулся тонкими сизыми губами.

— Как же вы теперь будете, мужики? — проговорила Анна Васильевна. — Как же вы товарищам своим, что быются сейчас, в глаза взглянете? — ее густой, низкий голос был слышен на всей улице. — Ох, и жалко мне вас, мужики, как подумаю!.. Кто ж вам теперь приют-пристанище даст?

Она замолчала, потому что поблизости, может быть, на соседней улице, раздалось несколько тяжелых ударов — не то выстрелов, не то разрывов. Толпа задвигалась — женщины кое-где шарахнулись на тротуар, и между ними и кучками мужчин образовалась пустота. Наташа смотрела теперь на бойцов почти со страхом, как смотрят на безнадежно больных или очень несчастных людей...

Юноша с голой грудью, в распахнутой куртке, бледный, с выбившимися из-под фуражки иссиня-черными кудрями, сорвался вдруг с места, высоко подняв над головой винтовку.

— Ух ты, ребята!.. — закричал он обиженно. — Что ж это? Ребята, чего ж мы!.. Ух ты! — он поворачивался из стороны в сторону; лицо его морщилось. — Ребята, давай назад! — и он кинулся вверх по улице, расталкивая людей.

Сверху, со стороны баррикады быстро шел какой-то командир в шинели, с сумкой на поясе. Кто-то еще появился из переулка с пистолетом в опущенной руке и на бегу, издали командовал:

— Становись! Становись!

— Спасибо, мамаша, от души! — повторил боец с ушибленной головой. — Ошибочка у нас вышла, извините...

На баррикаде опять загремела пушка... И было видно, как там суетились артиллеристы в касках, как падали на землю дымящиеся гильзы.

Анна Васильевна крепко взяла Наташу за руку и повлекла ее на тротуар. Вокруг раздавались громкие голоса, но Наташа, ошеломленная всем случившимся, плохо вникала уже в смысл слов.

— Рота, смирно! Рота... — из последних сил хрипел сорванным нечеловеческим басом командир с пистолетом в руке. — Слушай мою команду!

Стоя в воротах рядом с Анной Васильевной, Наташа все куда-то бессознательно порывалась, глядя, как бойцы беглым шагом двигались обратно, вверх по улице. На секунду в их плотной массе мелькнула плюшевая, вздувшаяся пузырем кепка Игната Рыбкина; щетиной торчали над колонной колыхавшиеся штыки. Последним, немного отстав от остальных, мелкими шажками шел человек в телячьем малахае. Пушка на баррикаде продолжала стрелять, и где-то, совсем близко, неожиданно захлопали одиночные, более слабые выстрелы.

Бой действительно, казалось, распространялся по всему городу, быстро захватывая одну улицу за другой... И вдруг с чудовищной силой рвануло совсем рядом, пронеслись мимо комья земли, какие-то черные обломки; горячим смрадом повеяло в лицо Наташе. И она увидела ползущего по середине улицы солдата-постового... Лежа на спине, действуя почему-то одними локтями, вскидывая обнажившейся головой — ветер быстро катил по асфальту его круглую ушанку, — солдат пытался перебраться на тротуар. Вдруг он протяжно вскрикнул от боли, и Наташа, не раздумывая, повинувшись первому же побуждению, кинулась к раненому из своей ниши.

Пушка была теперь безостановочно, и отсветы выстрелов трепетали на фасадах зданий, на мокром асфальте, — казалось, что в теснине улицы, как в западне, бьется пойманная гроза и сечет по сторонам злыми молниями. Еще один вражеский снаряд разорвался где-то позади Наташи... Но наклонившись к раненому бойцу, она на чисто позабыла в эти минуты о том, что угрожало ей самой. Нога бойца была перебита ниже колена, из разорванной почерневшей от крови штанины проворно выбегал, стекая на асфальт, смешиваясь с дождевой водой, темнокрасный, чуть дымившийся ручеек. Приподнявшись навстречу Наташе, раненый смотрел ей в глаза тем спрашивающим, молящим, бесконечно-доверчивым взглядом, каким страдающие люди смотрят на человека, от которого зависит, быть может, их исцеление. И, чувствуя на себе этот взгляд, Наташа судорожно припоминала, как именно полагается поступать в случае таких вот ранений. Ее сострадание было столь велико, что сделало ее муже-

ственной... Встав на колени, она выхватила из кармана свой сверток, достала полотенце и быстро свернула его жгутом. Далее, чтобы наложить жгут, ей надо было приподнять ногу бойца, и он, снова вскрикнув, дернулся всем телом.

— Потерпите... голубчик, дорогой! — просительно воскликнула Наташа.

Кто-то встал над нею, и она, подняв голову, узнала одну из девушек-сандружинниц, встретившихся ей сегодня.

— Ага... жгут!.. Хорошо... Давайте бинтовать! — отрывисто распорядилась девушка, также опустившись на колени.

Стремительное, теплое дыхание взрывной волны снова донеслось к Наташе, толкнуло ее слегка в спину, но она почти не заметила этого...

— Сестрица... Сестрица... — глухим, севшим голосом заговорил солдат; безбровое лицо его казалось застывшим, одеревеневшим. — Вот зацепило меня ненароком... — он как будто чувствовал какую-то свою вину.

В подъезде дома на перекрестке, куда Наташа, девушка-сандружинница и Анна Васильевна перенесли солдата, их сразу же обступили люди, укрывшиеся там. Наташа в изнеможении прислонилась к створке распахнутых дверей: голова у нее закружилась, а легчайший пресный запах крови, преследовавший ее, вызывал теперь тошноту...

Над улицей быстро проносился гонимый ветром клочковатый темный дым. Потом Наташа увидела, как мимо магазина метнулись Настя и Марина Бокова; они бежали назад, к площади, и уже поворачивали за угол... Вдруг недалеко от Марины, бежавшей сзади, сверкнул бледно-желтый огонек, уличный асфальт круто вспучился, приподнятый изнутри, грохнул разрыв, что-то прожужжало на разные лады, будто одновременно лопнуло много струн, и все окуталось дымом...

Когда Наташа, перепрыгивая через обломки, добежала до угла, дым рассеялся... Марина лежала на тротуаре лицом вверх; мешок на спине не позволял ей вытянуться, и ее тело, подпираемое снизу, неудобно выгнулось. Вперив в Наташу свои необыкновенные, яркосиние глаза, она внятно сказала:

— Ване не говорите... Ване... Не дай бог, если он узнает... Я вас очень прошу...

Правой рукой она осторожно водила по своему боку, чуть пониже небольшой, выпятившейся под пальто груди. И тут же она забеспокоилась, зашевелилась, пытаясь приподняться, что-то еще сказала, но пушечный гром заглушил ее слова.

— Настя! — позвала она. — Куда меня поранило? Погляди, Настя...

Только сейчас Наташа вспомнила о подруге Марины. Та стояла на коленях, наклонившись всем корпусом вперед, все еще прижимая к себе локтем гитару с голубым бантом. Лицо Насти, круглое, пунцовое, выражало такое испуганное внимание, какое бывает у оглохших людей. Все же голос Марины дошел до нее, она попыталась что-то ответить, но задрожавшие губы не повиновались ей.

Снова ударила на баррикаде пушка; Настя сгорбилась, лицо ее исказилось, как перед слезами... Но тут подбежала девушка из санитарного патруля; просунув руки под спину Марины, она приподняла ее.

— Что же вы? Давайте, беритесь! — повелительно сказала сандружинница.

Втроем они подняли Марину и понесли, спеша и спотыкаясь.

Все раненые: солдат-постовой, Марина, еще одна женщина из строительной бригады, мальчик лет восьми с искалеченным плечом, перепуганный, всхлипывавший, которого на руках держала вторая сандружинница, — были перенесены в автомашину. И сопровождать их до больницы пришлось Наташе, так как артиллерийская перестрелка продолжалась и санитарный патруль мог каждую минуту опять понадобиться здесь, на улицах...

— Как вас зовут? — отрывисто спросила у Наташи первая девушка; ее русая выпущенная из-под косынки челка, распущенная ветром, султанчиком колыхалась над юным лицом. — Меня зовут Верой... — она крепко пожала Наташе руку и тоном приказа добавила: — Я думаю, вы справитесь...

...Время подходило уже к полудню, когда Наташа пешком возвращалась из больницы. Всю дорогу туда она утешала ослабевшего от слез, боли, страха мальчика, стонавшую Марину, других раненых и теперь сама стра-

стно жаждала утешения. Казалось, если бы сегодня же страдания этих людей были отомщены, если б возмездие немедленно настигло врагов, повинных в этих слезах и столах, Наташе стало бы легче. Она была так полна еще всем увиденным и пережитым сегодня, что не сразу даже обратила внимание на то, как изменилось на улицах настроение.

Вокруг раздавались голоса:

— Красноармейцы идут!

Опять бежали мальчишки, спешили куда-то женщины, впереди Наташи, мешая ей, семенил сутулый старик; подняв узловатую руку, он приветственно помахивал ею, точно сыпал что-то в воздух... И Наташа различила вдалеке, в просвете между домами, темносерую плотную колонну пехоты, двигавшуюся навстречу... Войска долго тянулись мимо нее и — рота за ротой — поворачивали на улицу, выводившую к южной окраине города. Бойцы, возможно, шли всю ночь: их ушанки намокли, ботинки облепила грязь, плащ-палатки потемнели от дождя, но светло и чисто поблескивал металл их оружия.

А спустя еще четверть часа Наташа увидела, как через город, с севера, где была Москва, к югу, откуда наступали враги, промчались танки с красными звездами на броне. Наполнив улицы тяжким железным грохотом, танки быстро скрылись из глаз, оставив по себе впечатление пронесшейся грозовой тучи...

Новые части Советской Армии прибывали в Т. и с марша вступали в бой...

Добираясь до позиций рабочего полка, чтобы по поручению Дьякова выяснить обстановку и предотвратить дальнейший отход, Богданов по дороге попал к зенитчикам, на КП командира дивизиона; здесь же находился сейчас полковник Лукьянов. И хотя мало что могло уже удивить сегодня Богданова, действия зенитчиков в этом бою приковали к себе его внимание. Неподалеку от командирского блиндажа стреляла одна из батарей дивизиона; орудия, расставленные в развалинах каменного сарая, в ровиках, на краю сада, вели огонь по танкам, ползавшим теперь на окраине Мышкинского Поселка. Пять или шесть расстрелянных машин — некоторые из них еще горели — виднелись впереди на равнине. Немцы

отвечали зенитчикам, и в расположении батареи время от времени проносились осколки, белым облаком поднималась известковая пыль или вскипало вдруг, как подливнем, озерцо дождевой воды, светлевшее в развалинах.

Ничего, однако, кроме тяжелого, яростного труда, не существовало сейчас для зенитчиков, обслуживавших свои сложные боевые машины. Солдаты орудийных расчетов были похожи на кузнецов, кующих в жарком цехе раскаленный металл, либо на матросов, работающих в шторм на открытой палубе. Каждый боец расчета очень быстро, не отвлекаясь, в точном согласии с другими делал свое дело, и большая пушка легко поворачивалась, выбрасывала пламя, ствол ее откатывался, скрывался в казеннике снаряд, опять вылетал огонь, опять гремел гром, и мокрые от пота, полуоглохшие люди повторяли в установленной последовательности однообразные движения. А пожилой полковник в старенькой, но аккуратной шинели, проходивший, не торопясь, по окопу, внимательно посматривавший вокруг из-за стекол пенсне, напоминал инженера, делающего обычный обход своего слишком шумного цеха.

Между тем положение зенитчиков было чрезвычайно опасным, как сразу же увидел Богданов. Пехотного прикрытия перед батареей он не обнаружил, а немецкая пехота с минуты на минуту могла атаковать пушки. И надо было, следовательно, либо отводить их сейчас же назад, либо попытаться немедленно прикрыть зенитчиков.

— Я дал команду быть готовыми к круговой обороне, — наклонившись к Богданову, лаконично сообщил Лукьянов. — Что же прикажете делать?

Остановившись, он достал из кармана брюк серебряный портсигар, украшенный затейливыми монограммами, открыл его и вежливо протянул Богданову.

— Вы курите? Прошу... — начал он; грохот снаряда, рванувшего поблизости, заглушил конец его фразы.

В окоп, где они стояли, посыпалась земля, потом рядом раздался крик: «Санитаров сюда!» Лукьянов снял фуражку, стряхнул с ее верха земляную крошку и закурил папиросу. Сообщив затем, что он связался по телефону с командиром ближайшей части и попросил о стрелковом прикрытии, он медленно двинулся дальше. И Богданов, глядя на этого старого артиллерийского командира, показавшегося ему при первой встрече таким педантом,

таким формалистом, с облегчением подумал, что никакие силы в мире неспособны, видимо, сдвинуть теперь Лукьянова с места, поскольку приказ стоять до конца был им получен, а других приказов не поступало.

Тут же, на КП батареи, он вызвал к телефону командира рабочего полка. Выслушав короткий доклад, из которого можно было заключить, что полк серьезно потеснен, а его командир очень встревожен, если не растерян — капитан Чашкин так громко говорил в трубку, что звенела мембрана, — Богданов отдал приказ немедленно контратаковать в направлении Мышкинский Поселок — Орловское шоссе, чтобы восстановить положение. Он ожидал, что Чашкин станет ссылаться на невозможность организовать сейчас контратаку, но тот, не задумываясь, ответил: «Есть!». «У меня все пока, — сказал Богданов, — я иду к вам...»

В последнюю минуту, когда он собирался уже уходить, Лукьянову донесли, что в балке, справа от Мышкинского Поселка, накапливается немецкая пехота. И полковник приказал своим артиллеристам — всем, кто непосредственно не обслуживал пушки, — занять стрелковые окопчики впереди батареи; для себя он тоже потребовал гранаты.

— Надо продержаться полчаса, товарищ полковник, — прокричал ему на прощанье Богданов, — мы прикроем вас!..

Лукьянов стоял на куче камней, высовываясь по грудь над краями полуобвалившейся стены. Сняв пенсне, держа его за дужку левой рукой, он оглядывал в бинокль местность.

Вокруг Лукьянова бушевала гроза, в его страшном цехе поминутно рождались громы и молнии, вихрились опаляющие газы, но лишь слабый румянец пятнами выступил на его бледных, вялых щеках. Разговаривать здесь было трудно, и он, повернувшись к Богданову, снова надев пенсне, только кивнул слегка головой, холодно блеснув своими круглыми без оправы стеклышками.

Богданов прыгнул с камней вниз и зашпешил по ходу сообщения. Но как ни близко находился отсюда командный пункт капитана Чашкина, пробраться к нему оказалось нелегким делом. Минометный жестокий налет настиг Богданова на пути, и ему пришлось некоторое время

пролежать в неглубокой воронке, бранясь и проклиная эту задержку. Не дождавшись конца обстрела, Богданов пополз, свалился в какую-то канавку с холодной водой на дне, потом он бежал, пригибаясь, мимо дотлевавшего пожарища, снова полз... И, очутившись наконец недалеко от городской заставы, остановившись, чтобы отдышаться, подполковник увидел бойцов рабочего полка, шедших в контратаку.

Впереди, ближе к Богданову, шагал комиссар полка, инструктор обкома Трифонов; иногда он оглядывался на своих бойцов, и становилось видно его лицо, сосредоточенное, как у человека, взбирающегося на высоту.

Бойцы, показавшиеся из-за низеньких домиков, разбросанных по окраине, выходили неровными цепочками на открытое место, держа винтовки штыками вперед. Ветер дул в спины людям, трепал полы их пальто, шинелей; на голове какого-то парня пузырилась, точно шар, готовый взлететь, плюшевая кепка. Мимо Богданова прошел, оперев винтовку в бок, стискивая ее, видимо, изо всех своих сил, человек в меховом пальто. Кое-кто наклонялся всем телом... И хотя люди шли по ровному полю, казалось, что они поднимаются по крутому, трудному склону.

Трифонов быстро оглянулся, поднял руку, что-то крикнул, побежал. До Богданова отчетливо донеслось одно слово: «Народ!» И бойцы побежали вслед за своим комиссаром в задымленное, грохочущее, смертельно враждебное, дышащее смрадом, пронизанное свинцом пространство...

8

В роте рабочего полка, отошедшей после ночного боя с танками, остался в строю из командиров один Павел Громов: судьба политрука была неизвестна, тела его так и не нашли; два других командира взводов были убиты. Всю вторую половину ночи рота, которую вел Громов, пробиралась к городу на соединение со своим полком. Прямая дорога через Новый Поселок была перехвачена немцами, и их приходилось обходить, повернув к востоку, на овражистую, лесистую равнину. После полуночи хлынул дождь, в низинах невидимая вода захлупала под ногами, и вскоре все промокли до нитки. В непроглядной темноте, унося с собой раненых, люди долго шли по

лесу, продираясь сквозь бурелом, переходили ручьи, вздувшиеся от осеннего ненастья. Далекие зарева на горизонте померкли от дождя, и, будто слиняв, утратив яркость, мерцали в ночи разноцветные ракеты. Иногда из мрака доносилось гудение танковых моторов, и ракеты взлетали так близко, что становилась заметной в озаренном воздухе белесая штриховка ливня. Тогда опять надо было забирать вбок, отступая в темноту.

Тяжело раненых — а их оказалось восемь человек — бойцы, сменяясь, несли на одеялах и плащ-палатках, привязанных к палкам. Несколько раз Павел подходил к раненым, чтобы провести лейтенанта и посоветоваться с ним; но тот, потеряв, видимо, много крови, был без сознания. Наклоняясь, Павел слышал его частое шумное дыхание, перемежавшееся стонами, когда бойцы, тащившие самодельные носилки, спотыкались. Неожиданно до слуха Павла дошел хотя и ослабевший, но попрежнему требовательный, резкий голос командира.

— Выход из-под обстрела быстрым броском вперед, — вятно произнес лейтенант, — необходимо применять в тех случаях... — он устало вздохнул, и конец фразы пропал в неясном бормотанье.

Павел включил свой фонарик. В голубоватом луче показалась плывущая, качавшаяся, точно на волнах, голова лейтенанта; его неестественно бледное лицо с полуопущенными веками было орошено дождем, как слезами.

— Огонь — лучший щит наступающей пехоты... — снова вятно сказал он, не поднимая век. — Быстрое вторжение в неприятельские траншеи... Позвольте мне, товарищ преподаватель... Я скажу, разрешите...

В складках плащ-палатки, которою был накрыт лейтенант, скопилась вода, и Павел ладонью согнал ее. Больше в данную минуту он ничего не мог сделать для своего командира. Тот подвигал запрокинутой головой, толстые черные брови, придававшие ему недобрый вид, были насуплены, ошетинены.

— Все командует, и все в атаку, вперед, — сказал невидимый боец, державший носилки, — а раньше ничего, спокойно лежал.

Сам Павел, подобно раненому, быть может, умиравшему лейтенанту, также после первой встречи с врагом жаждал немедленного нового боя и расплаты. Он особенно болезненно, как это бывает у добрых, совестливых

людей, переживал то непривычное чувство злобы, гнева, стыда, что впервые охватило его сегодня. Не прощая себе ни страшной, казалось ему, неудачи боя, в котором он опоздал принять участие, ни смерти товарищей, он тяжело страдал. И он опять торопился и торопил своих людей, мучимый страхом опять не успеть во-время...

Много времени у небольшого отряда заняла переправа через встретившийся в лесу широкий овраг. На дне его шумела черная вода, и бойцы, не видя противоположного берега, сгруппировались на откосе, в кустах, не решаясь идти дальше. Павел, пройдя в голову колонны, не раздумывая, с той готовностью лично послужить товарищам, что переполняла его сейчас, спустился, цепляясь за ветки, и первым вошел в воду. На середине она была ему выше колен, он вдыхал ее студеной, с гнильцой запах, но он так промок уже, что не почувствовал холода; изогнутая ветка, проплывая, царапнула его по руке. Добравшись до противоположного берега, Павел вернулся и, оставаясь в воде, командовал, чтобы несли раненых. Мимо него, держа над головами винтовки, высоко поднимая носилки, потянулись, осторожно переступая, бойцы. Некоторые погружались в черный поток по пояс, по грудь, и Павел, пробегая то вперед, то назад, однообразно повторял:

— Смелее, дальше мелко... Давай, ребята, дальше мелко...

Усталые, продрогшие люди отмалчивались, и его сдавленный голос приглушенно звучал в плещущем шуме потока, обтекавшего их, в громком лепетании дождя, секущего по воде. Выйдя на берег последним, Павел опять заспешил вперед, проталкиваясь среди отряхивавшихся людей. Вдруг он услышал около себя голос Трошина:

— К-кончено, п-полные сапоги набрал... Вот передряга к-какая, м-мать твою... — Выругался тот заикаясь.

Трошин, вероятно, совсем уже изнемог, и Павлу стало жалко старого друга.

— Егор! — окликнул он. — Ну, как ты?

Трошин не отзывался, и, ступив к нему наугад, Павел сочувственно сказал:

— Ты вот что... Ты двигайся, двигайся... Сними сапоги, вылей воду...

— Ладно... С-сам двигайся... — зло пробормотал Егор; он действительно продрог до костей, но его рассердило то, что здоровяку Павлу и теперь, казалось, все было нипочем. — Я т-тебе не жалуюсь...

— Паша! — неожиданно раздался рядом голос Бокова. — Паша, я все думаю: отобьются наши в городе от немцев или нет? Там же еще многие остались, не успели эвакуироваться.

Боков придвинулся так близко, что Павел смутно различил его лицо.

— Кудряш, это ты? — закричал он. — Отобьются наши, должны отбиться... Да и мы тоже подойдем...

— Скорей бы уж, — каким-то зыбким, плывущим голосом сказал Боков. — Я все про мирных жителей думаю: опасность для них большая.

«Ты о Марине думаешь», — мысленно поправил его Павел. Он вспомнил о своих близких, о жене, об отце, о тетке; он представил себе улицы родного города такими, как они запомнились ему с детства, шумными, оживленными, полными народа, и глухо с силой проговорил:

— Ребята, надо держаться... Все, что было, — это не самое трудное... Надо, чтоб ничто нас не могло сломить... Надо твердыми стать, как железо.

Он сам удивился, что у него так высокопарно получилось, но именно эти слова точно выражали его мысль.

— Не агитируй... По-понятно, — сказал Егор.

Злость, которую он почувствовал, неожиданно придала ему силы.

— Скорей бы уж... — повторил Боков.

Наконец начало светать; воздух посерел, будто несколько капель молока растворилось в нем. Слабо обрисовались силуэты ближайших кустов, веток, стволов, плававших в тумане, а между ними обозначились человеческие фигуры. До города оставалось еще не менее полутора часов ходу. Ночью, идя лесом, Павел уклонился в сторону, и теперь надо было круто поворачивать. Вскоре послышалась частая стрельба и грохот разрывов: немцы начали, повидимому, артиллерийскую подготовку к атаке, — и Павел заторопился. Лишь когда рота очутилась в пригородной, знакомой всем рощице, куда летом по воскресным дням многие из нынешних бойцов приходили гулять со своими семьями, он остановил лю-

дей и пересчитал их. Всего вместе с легко ранеными у него после боя и ночного перехода осталось шестьдесят два человека. Но оружие: станковый пулемет, два ручных, винтовки и гранаты — было сохранено полностью. И Павел, встав в голове маленькой колонны, собрался уже вести ее дальше, как вдруг ему сказали, что командир роты требует его к себе.

Раненый лейтенант на рассвете пришел в сознание; можно было подумать, что его разбудил шум близкого боя. Он встретил своего заместителя, сидя на носилках, опущенных на землю, и первыми его словами, произнесенными негромко, но требовательно, было: «Докладывайте, товарищ командир взвода». Потом, выслушав рассказ Павла о ночном переходе, лейтенант приказал поднять себя и отнести на опушку рощи.

Отсюда, из молодого, густо осыпанного дождевыми каплями подлеска, была видна городская окраина — длинный забор стадиона, штабели заготовленного для стройки кирпича, огороды, крыши, фабричные трубы; налево, в стороне кладбища, время от времени взлетали сизые клочковатые дымки. Это выглядело не слишком страшно, но водянистый воздух сотрясался от стрельбы, и за оголенной возвышенностью, скрывавшей Мышкинский Поселок, что-то, вероятно, горело: из-за холма клубами валил желтоватый дым.

— Товарищ лейтенант! — просительно заговорил Павел. — Чего мы, собственно, ждем? — он передернулся всем телом; его также пробирали теперь озноб. — Простите, но, кажется, нам нельзя терять времени.

— Кажется, кажется... — оборвал его лейтенант. — Когда вы научитесь разговаривать по-человечески?

Он стоял на одной ноге возле своих носилок, ухватившись за плечи бойцов; другая нога лейтенанта была забинтована от ступни и выше колена. Невзирая на свою рану, на слабость и боль, которую он должен был испытывать, он, как только очнулся, снова принял командование. И Павел даже не удивился этому: столько скрытой, неукротимой силы было в каждом слове лейтенанта, в выражении его обмытого дождем, побелевшего лица с запавшими глазами.

— Вы видите? Мы вышли во фланг немцам, — продолжал лейтенант, держа навесу перебитую ногу, жадно и быстро глядя по сторонам. — Немцы наступают вдоль

шоссе, этого и следовало ожидать. И наши в городе... — Он охнул и скривился, неосторожно коснувшись земли больной ногой. — Наши отбивают их атаки! — выкрикнул он, перебарывая свои страдания.

— Дерутся наши! — невольно вскрикнул Павел.

Злоба и стыд, мучившие его всю ночь, перешли теперь в ощущение невыносимой тяжести, от которой надо было во что бы то ни стало освободиться. Он выпрямился — огромный, широкогрудый, в своем промокшем насквозь пальто, в пыжиковой взъерошенной шапке — и повел плечами, как бы желая стряхнуть с себя этот невидимый груз. Глаза его под выпуклыми надбровьями так посветлели, что зрачки почти сливались с белками, отчего лицо приобрело необычное, пронзительное выражение.

— Что это у вас там? — спросил лейтенант. — Речка, что ли?

Руки у него были заняты, и он вскидывал подбородком, показывая вправо. Там, на середине пути, от опушки рощи до забора стадиона, стояли ровной шеренгой плакучие ивы с голыми, облетевшими ветками.

— Ах, это? — громко сказал Павел. — Это Николина балка. Речушка когда-то была, теперь просто овраг.

— Перейти его легко? Там сейчас вода, наверно? — спросил лейтенант.

— Надо левее взять. Около кладбища совсем неглубоко, — ответил Павел.

— Ведите сюда людей. Сейчас выступаем, — приказал лейтенант. — А теперь... я полежу немного, опустите меня, — обратился он к бойцам.

Продравшись сквозь кусты, Павел побежал в глубину рощи. Капонада все не ослабевала, и Павел спешил, отдавая распоряжения. Но людей не приходилось подгонять — они повеселели при свете дня, оживились... И хотя они измучились, разумеется, случилось так, что все перенесенное ими за эту ночь сделало их как бы нечувствительными к новым испытаниям, которые попросту не могли уже быть более тяжелыми. Кто-то раненный в голову, с толстой намокшей повязкой на лбу, посвистывал даже, подражая утреннему пению птиц. Некоторые из бойцов, впрочем, так заоченели, что двигались, точно в полусне, механически выполняя команду. Трошин, скорчившийся, упрятавший лицо в воротник пальто, спотыкаясь, занял свое место в строю. И, вероятно, посочув-

ствовав товарищу, его сосед, юноша с цыганским темным лицом — Павел знал уже, что юношу зовут Николаем Охотниковым, — протянул Трошину свой кисет с табаком.

— Угощайтесь, товарищ инженер! Очень поднимает настроение табачок, — сказал он.

— Д-давайте попробую, — пробормотал Трошин. — Вообще-то я не к-курю.

Анисимов, шахтер, — его мокрая бороденка свисала теперь тонкими кисточками — насмешливо выговаривал длинному сутулому Дружникову, газовщику.

— Чего ты куксишься, парень? По кофе, что ли, заскучал? — спрашивал Анисимов сиплым тенорком.

— А ты не заскучал? — отзывался Дружников.

— Кофе нам не по нутру, нам бы водки поутру, — складно проговорил Анисимов.

«Золото, а не человек», — подумал Павел, услышав это. Холодные крупные капли, срывавшиеся с ветвей, обдавали его с головы до ног, но он снова разогрелся от движений, внутренний жар пылал на его скуластых щеках, и этот душ был ему теперь даже приятен.

Рота беглым шагом двинулась на опушку, когда связанной, посланный от командира, передал приказ — не выходить пока из рощи. И Павел, не понимая причины задержки, побежал к лейтенанту.

Тот опять сидел на носилках, вцепившись руками в параллельные жерди и вытянув худую шею. Молча, кивком головы, он показал своему взводному куда-то вбок, но Павел в первую минуту ничего нового не увидел. Ровная луговина, расстилавшаяся перед ними, была пустынна, в низких местах, в побуревшей траве, будто соль, поблескивала скопившаяся вода. Слева, над Мышкинским Поселком, все так же клубился желтый дым, еще левее, почти на одной линии с рощей, в которой находилась рота, белый туман окутывал опушку другого леса. И лишь пристально всмотревшись, Павел различил там в тумане человеческие фигурки.

— Приготовиться к бою! — не поворачиваясь к Павлу, негромко сказал лейтенант. — Роте залечь здесь, на опушке... Станковый пулемет — ко мне! Действовать скрытно, тихо! Выполняйте!

«Ну, наконец!..» — едва не воскликнул Павел.

Бойцы поспешно, молча ложились, переползали между деревьями, устраивались, расстегивали патронташи, вы-

нимали гранаты. Павел, вооружившись винтовкой, встал, пригибаясь за стволом березы. Теперь он хорошо мог рассмотреть своих врагов. Выходя слева, из леса, они длинными нестройными толпами шли по луговине к Николиной балке, пересекая по диагонали открытое место. На них были грязновато-зеленые шинели, каски, короткие сапоги, а пистолеты-автоматы, которые они придерживали на животах, напоминали издали больших черных насекомых.

Ощущение тяжести, давившее Павла, оставило теперь его, все в нем чрезвычайно напряглось, напружинилось, налилось силой. Озираясь по сторонам, Павел видел в кустах, под елочками, под березками залегших бойцов — Щукина, Дружникова, Охотникова, Бокова, кого-то еще, — приподнятые стволы винтовок с примкнутыми штыками, чьи-то мокрые сапоги с подковками на каблуках. Лица людей, выражавшие крайнее напряжение, казались сейчас Павлу удивительно похожими одно на другое. Только Охотников, не отводя от немцев глаз, конфузливо улыбался, точно он смотрел на что-то стыдное, на что не следовало смотреть.

Слева от Павла сидел на своих носилках лейтенант, глядя прямо перед собой. Руки его, уставшие поддерживать ослабевшее тело, то подгибались в локтях, то вновь выпрямлялись, дрожа от усилий, и он то оседал слегка, то приподнимался, косо выпячивая грудь.

«Что же! Давай начинай!..» — молил его Павел взглядом, но лейтенант не поворачивался к нему.

Между тем немцы уже достигли Николиной балки. В овраге, вероятно, действительно была вода, потому что они замешкались, столпившись на берегу, расплзаясь направо и налево. Подошло из леса еще несколько десятков солдат, тащивших с собой пулеметы и плоские металлические ящики. Не больше полутораста метров отделяло теперь Павла от плотной шевелящейся, топчущейся массы этих зеленовато-грязных людей — их было здесь сотни две с половиной, целый батальон. Неотчетливая, заглушенная канонадой команда донеслась к Павлу: немцы решились, видимо, переправляться через овраг. Он опять кинул взгляд на командира роты; тот снизу, с земли, всем телом тянулся теперь к нему.

Павел быстро наклонился и не услышал, но по краткому движению губ понял:

— Огоны!

Он отступил на шаг, глотнул воздух, оглянулся на зеленые елочки, на белые березки и прокричал, повторяя:

— Огоны! Огоны!

Захлопало много выстрелов, длинно забил пулемет; Павел, вскинув винтовку, целясь куда-то в грязноватую гущу впереди, лихорадочно досылая затвор, стоя, выпустил всю обойму. Перезаряжая винтовку, он увидел, что враги разбегались в стороны, толкались, мешая друг другу, падали, и это доставило ему ни с чем несравнимое наслаждение. Не сразу, вероятно, сообразив, откуда именно их обстреливают, немцы шарахнулись назад от оврага. И одни валились, как скошенные, оставаясь на месте, иные ползли, и ветер задира кверху их шинели. А между елочками, похожими на зеленые шатры, между березками с блестящими атласными стволами порхали голубоватые дымки и посверкивало пламя. Павел нажимал спуск, ничего не сознавая, кроме того, что надо стрелять как можно чаще, как можно больше, стрелять, стрелять, стрелять...

Каждый выстрел толчком отдавался в его плечо, и каждая пуля, вылетевшая из его винтовки, была как бы частицей его самого, поражавшей в это мгновение врагов... Что-то повизгивало вокруг, на голову Павла упала срезанная свинцом веточка: немцы залегли кое-где и начали отстреливаться, но он ничего этого не замечал. Его необыкновенно посветлевшие зрачки стали как будто незрячими...

Потери, понесенные немцами от внезапного, открытого из засады огня, были велики — около трети батальона вышло из строя в первые же минуты боя. Однако их превосходство в численности оставалось все еще большим, а их ответный огонь усиливался с каждой секундой. И, значит, нельзя было позволить им опомниться, залечь в балке и организовать отпор... Но лишь потом, когда бой уже закончился, это, как и многое другое из происходившего сейчас, стало понятно. Павлу, благодарно вспоминаяшему своего лейтенанта.

Снова перезаряжая винтовку, он увидел вдруг, что лейтенант стоит с ним рядом, ни на кого не опираясь, будто поднятый с земли чудесной силой. Выбросив руки

перед собой так, точно он пытался что-то поймать в воздухе, обратив к Павлу белое лицо с угольными, неизъяснимо горевшими глазами, юноша кричал. И Павел, вкладывавший в магазин обойму, расслышал сквозь частый треск выстрелов:

— Вперед! Вставай! — кричал лейтенант.

— Встава-а-ай! — прогремел Павел так, что его услышали все. — Пошли!

Он выскочил из-за ствола березы и побежал большими шагами, не наклоняясь, охваченный таким же удалым, жгучим чувством, какое бывает, когда в жаркий день бросаешься в холодную воду. Справа и слева от него, крича, бежали в одном с ним направлении люди, брызги разлетались из-под их сапог, кто-то падал, распластываясь на мокрой траве. Но упоение, которое испытывал Павел, становилось все более острым... Он лишь почему-то начал хуже видеть, что-то капало у него с бровей, застилала глаза, и он встряхивал на бегу головой.

— Встава-а-ай! — гремел он, и по его широкому, добродушному, страшному и счастливому лицу текла кровь из рассеченной на лбу кожи.

Немцы, не успевшие закрепиться, метнулись к леску, туда же, откуда пришли, потом часть их опять повернула к балке. Пулеметчики, выкатившие по указанию лейтенанта из-за елочек свои пулеметы, свинцом перекрыли путь к лесу. И, попадая в узкий веер их непрерывного огня, человечки в зеленовато-грязных шинелях снова начали падать.

Лейтенант, один оставшийся теперь на опушке, успел увидеть поражение и бегство врагов: на ровном поле валялись убитые, шевелились раненые, слева в белом тумане скрывались немногие уцелевшие солдаты разгромленного батальона, справа, у Николиной балки, хлопали выстрелы и рвались гранаты: там какая-то группа немцев еще сопротивлялась... И победительная ярость, поставившая юношу на ноги, покинула его, он качнулся, почувствовав ужасную боль, обхватил руками ствол березы и сполз на землю, обдирая о сучья ладони.

— А-а-а-а-а! — не слыша себя, кричал Павел, размахивая над головой винтовкой, как палицей.

Кровь дрожала на его ресницах, и все вокруг расплывалось точно в розовом тумане... Неожиданно перед ним

возникло круглое, с тонкими усиками, искаженное страхом лицо человека в каске; он ударил прикладом, и лицо с усиками исчезло... Павел отер рукавом лоб, как стирают пот, — мгла, обступившая его, прояснилась, и он увидел в нескольких шагах от себя Егора Трошина, отбивавшегося от двух солдат в касках. Трошин в своем сереньком, в стрелку пальто прижимался спиной к дереву и неловко, но очень быстро тыкал перед собой винтовкой. Один из немцев, в шинели с оборванным хлястиком, насккивал на него, замахиваясь прикладом. Второй только что прибежавший, торопливо перезаряжал пистолет.

— Егор! — закричал Павел и ринулся на помощь другу.

— Пашка! — дошел до его слуха обрывающийся голос Трошина. — Я сам его...

— Иду-у... Егор! — взревел, подбегая, Павел.

Но в это же мгновение Трошин изогнулся всем туловищем, как бы переломившись, и упал на корни дерева: второй немец выстрелил из пистолета.

Солдат с оторванным хлястиком оглянулся на Павла, вскрикнул, бросил винтовку и побежал. Павел прыгнул к немцу, сразившему Трошина, — пули провизжали у его лица, пробили шапку — и нанес штыком нечеловеческий удар, такой, что сам не устоял и рухнул на колени. Кровь, набежавшая со лба, застлала его глаза, и все вокруг опять потемнело.

— Иду! — еще раз с отчаянием прокричал Павел, мотая головой, чтобы стряхнуть с себя этот мрак.

Когда он встал и осмотрелся, рядом никого живого уже не было. Впереди, на берегу Николиной балки, пробегали бойцы и в разных местах кучками стояли люди в зеленых шинелях, поднимавшие над касками руки. Трошин не шевелился под деревом, скорчившись, подтянув к животу ноги...

...Спустя четверть часа остатки роты переправились через овраг и двинулись к городу, ведя пленных, унося раненых и убитых. Безмолвствовал, покачиваясь на носилках, лейтенант, командир, опять потерявший сознание. Павел, оглядываясь по дороге на товарищей, как будто в первый раз видел черноглазого Охотникова, подручного горнового — таким необычным, новым казалось

Павлу его потемневшее лицо, шахтера Анисимова, конвоировавшего пленных, горновых Чекина и Михайлова, возбужденных, кричавших, смеющихся, токаря Бокова, кудрявого Ваню Бокова, доменщика Шукина с рукой на пропитавшейся кровью повязке. Все сейчас — и эти рабочие, одолевшие вчетверо сильнейшего врага, и серое низкое небо, под которым они только что сражались, и земля — мокрая, напитавшаяся дождем, помягчевшая земля, которую они отстояли, и облетевшие ивы со стелющимися по ветру длинными ветками, похожими на распущенные волосы, — все было поразительным в этот час, все представлялось увиденным впервые или, вернее, вновь обретенным. И Павел, обмотавший платком лоб, сам громко смеялся, махал руками, кричал...

Лишь время от времени он как бы спохватывался, вспоминая о Трошине. В его ушах опять раздавалось: «Пашка! Я сам его...» — и он невольно убыстрял шаги, точно желая уйти от этого крика.

...Когда Богданов прибыл в рабочий полк, оказалось, что положение там создалось действительно очень тяжелое — Мышкинский Поселок был взят немцами, а группа их танков прорвалась к самой заставе. Но и отступив из поселка, полк пока держался, цепляясь за каждую складку местности, ведя огонь из наспех отрытых окопчиков, из воронок, из канав, из-за заборов. Одна рота полка, дрогнувшая в первый час, была остановлена на улицах города жителями — женщинами и стариками, — вернулась и снова кинулась в бой. Другая рота, окруженная в самом поселке, все еще оказывала сопротивление, укрепившись там в каменных амбарах; немецкие танки, проникшие на окраину Т., были встречены артиллерийским огнем и дальше пройти не смогли. Однако правому флангу полка угрожала теперь опасность обхода...

Наблюдательный пункт, на котором стояли Богданов и капитан Чашкин, был оборудован в верхнем ярусе кладбищенской колокольни; огромные столетние тополи, росшие вокруг, достигали своими верхушками купола. Чашкин, молодой светловолосый великан, с крепкой квадратной грудью, обвешанный сумками и оружием, находился в непрерывном движении. Он то выглядывал в полукруглые проемы окон, то поворачивался к связным, то шел к телефону, пригибаясь, чтобы не задеть головой о колокол. Переговорив, вернее, прокричав при-

каз, он размашисто отдавал трубку телефонисту и косился на Богданова, потряхивая своим белокурый чубом. Можно было подумать, что, несмотря на все напряжение боя, капитана беспокоило присутствие этого чрезмерно требовательного начальника, так строго обошедшегося с ним вчера.

Снаряды рвались и на самой территории старого городского кладбища; взметывалась искрошенная земля, дым застилал то тут, то там вековые, в три обхвата деревья, и высоко кружились взвихренные взрывной волной опавшие листья. Потом дым относил за ограду, а листья долго еще летали над кладбищем, подхваченные ветром, и это было похоже на запоздалый листопад.

Богданов молчал, выпрямившись перед нишей окна, засунув большие пальцы рук за поясной ремень и крепко стиснув его. Находясь на КП командира рабочего полка, Богданов, естественно, видел лишь один сравнительно небольшой участок боя... Он не знал еще, что на западной окраине, где действовали войсковые части, атаки немцев были успешно отбиты, что к востоку от города, где рубеж занимало целое стрелковое соединение, враг также был остановлен, понесся большой урон, что в город входили уже наши свежие части, тут же направлявшиеся на передний край, что наши танки мчались уже к южной окраине... Все напряжение боя сосредоточилось для Богданова, как это обычно бывает, именно в том месте, где находился он сам. И ему казалось, что главный удар враг наносил теперь по рабочему полку и что здесь решался, быть может, исход борьбы за город, подобно тому, как это происходило два часа назад на позициях полка НКВД. Слушая, как распоряжался капитан Чашкин, как он перебрасывал из пункта в пункт свои бронейки, просил у артиллеристов огня, точно указывал цели, подбадривал одних, грозил другим, Богданов мысленно одобрял все это. Однако же противник, атаковавший и на правом фланге полка и в центре, медленно продвигался; немцы, невзирая на потери, захватывали пункт за пунктом: канавку, окопчик, овраг, дворик дома, огород, садик, как бы перегрызая здесь по кускам нашу оборону.

Чашкин уже сипел, разговаривая по телефону или посылая связных, но все чаще поглядывал на Богданова.

Сумрачное молчание маленького подполковника представлялось, повидимому, Чашкину осуждающим, полным начальнического недовольствия. И, отворачиваясь, молодой капитан вскидывал растрепанным чубом, точно говоря: «Я командую так, как считаю нужным, и меня не очень интересует, что думают об этом другие».

Особенно серьезным было положение на правом фланге полка, около шоссе, где немцам удалось вбить клин в нашу оборону. Их автоматчики вслед за танками, подошедшими к заставе, проникли на окраину города и засели в домах. Чашкин приказал уничтожить автоматчиков, и спустя несколько минут ему донесли, что комиссар полка инструктор обкома Трифонов, поднимавший людей в новую атаку, убит.

— Отомстить за смерть комиссара! — прокричал Чашкин в трубку. — Выбить мерзавцев с окраины!.. Даю вам огоны!

И, сунув трубку телефонисту, он бросил на Богданова гневный взгляд. Богданов одобрительно кивнул головой. Он подумал о том, что решительный капитан не нуждался сейчас в его указаниях и что надо просить у Дьякова помощи для полка. Но тут внимание подполковника было привлечено новым обстоятельством: немцы значительными силами обходили позиции полка с юго-востока, угрожая также и его левому флангу. Там, за домами и деревьями, виднелась овальная площадка стадиона, а дальше, на равнине, тянулись небольшие леса, извилистые луговины, блестела вода в оврагах, кое-где стелился еще туман, похожий на дым. И в бинокль можно было рассмотреть, как из тумана появлялись нестройные группы немцев, направлявшихся к городу, к стадиону...

— Товарищ подполковник! — громко и как бы укоризненно сказал Чашкин. — Надо встретить их, иначе не отобьемся. А у меня все в бою.

Дьяков, с которым переговаривал по телефону Богданов, тут же выделил из своего резерва целый батальон, чтобы отразить новую угрозу. Именно на этот случай возможной со стороны неприятеля попытки флангового обхода генерал и не трогал пока своего резерва. Кроме того, в город прибыли уже подкрепления... Вскоре, однако, выяснилось, что немцы, попытавшиеся обойти

рабочий полк, сами были внезапно атакованы неизвестной частью, весьма кстати оказавшейся у них в тылу.

— Должно быть, Грач атаковал, больше никому, — высказал предположение капитан Чашкин, опустив бинокль, в который следил за боем.

— Кто это Грач? — спросил Богданов.

— То есть Грачев, простите, — сказал Чашкин, — лейтенант Грачев, командир роты, что от Хлебникова отступала. Его все у нас Грачом зовут.

И он тряхнул своим чубом, глядя на Богданова так, точно хотел добавить: «А вы были недовольны нами...» Подполковник долго не отнимал бинокля от глаз, потом повернулся к Чашкину.

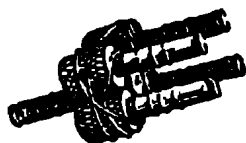
— Очень хорошо! — сказал он. — Отлично!.. Представьте командира роты к ордену... — и он медленно улыбнулся, как бы с трудом раздвигая неподатливые губы. — Грач — птица весенняя! — неожиданно проговорил он.

Опасность обхода на левом фланге была устранена, и Богданов направил батальон, полученный от Дьякова, в контратаку у заставы...

На других участках обороны города обстановка к двенадцати часам дня в общем не изменилась: войсковые части на западной окраине не отошли ни на шаг, полк НКВД продолжал сражаться на прежних позициях. А затем в бой вступили новые, свежие войска, и положение защитников рубежа сразу стало крепче. Наши танки, как позднее стало известно Богданову, контратаковали в районе Кирпичного завода; противотанковая артиллерия, также подошедшая к этому времени, выдвинулась на самую заставу, и немецкие машины, прорвавшиеся туда, были уничтожены...

Пехота противника поспешно отходила к Мышкинскому Поселку; красноармейцы выбивали врага из только что захваченных им пунктов. То там, то здесь вспыхивали короткие рукопашные схватки, белым острым огнем посверкивали рвавшиеся гранаты, и немцы не выдержали — солдаты в потемневших от дождя плащ-палатках погнали их. Положение на участке рабочего полка было, таким образом, восстановлено, и только Мышкинский Поселок остался у противника. В два часа немцы полностью прекратили свои атаки — первый штурм города был отражен.

...Богданов вложил бинокль в футляр, попрощался с Чашкиным и по железной спиральной лестнице спустился с колокольни, чтобы ехать к Дьякову. Внизу он медленно, тяжело, как по глубокому песку, пошел к воротам... Было тихо, необыкновенно тихо... Богданова мучила жажда, и он искал глазами, где бы напиться. Какие-то странные, серенькие, крохотные птички прыгали на каменных плитах мощеного двора, что-то клевали, вспархивали, и подполковник, вспомнив, что их называют воробьями, опять неумело улыбнулся.





1

Вечером опять пошел дождь, смешанный со снегом; немецкие самолеты не появлялись, зенитки молчали, и тишина, спустившаяся на город с двух часов дня, ничем не нарушалась...

Ласточкин вернулся из штаба боевого участка в Заречье, куда вынужден был переехать сегодня в одно из школьных помещений Городской Комитет Оборона. Ночью, когда люди, дожидавшиеся здесь председателя Комитета, разошлись — кто к себе в райком, кто в типографию, кто на завод, кто в воинскую часть, — а Шаров, присевший на диван, уснул там, Ласточкин, накинув на плечи пальто, горбился еще некоторое время за столом. Из-за дверей доносилось постукивание пишущей машинки — это переписывала что-то секретарша, — казалось, она вообще никогда не спала, — да время от времени были слышны шаги часовых в коридоре. Перед Ласточкиным лежали исписанные листки, и он читал свои записи — длинный перечень дел и забот председателя Комитета Оборона. И страшная вещь — вечером сегодня он едва уже не засыпал на ходу, а сейчас вот его мысль опять была ясной... Взяв карандаш, Ласточкин принялся записывать себе новые задания: «Строительство бронепоезда. Успевают ли со сроками?», «Завтра же побывать в госпиталях», «Узнать о семье Трифонова. Помочь», «Минометы. Обеспечить производство»... Кончив писать, Ласточкин тут же потянулся к телефону.

В депо железнодорожного узла, куда он прежде всего позвонил, его ожидало хорошее известие: работа по строительству бронепоезда заканчивалась — паровоз и

вагоны, обшитые сталью, можно было через два дня передать военному командованию...

— Выходит так, товарищ дорогой; где не хватало материалов, помогла смекалка, — тихо проговорил он, прикрывая ладонью рот, чтобы не разбудить Шарова. — Значит, не возражаете: второго числа приедем к вам принимать бронепоезд...

Далее Ласточкин соединился со станкостроительным заводом и попросил разыскать в цехе Петра Кирилловича Орлова. Положив трубку, он в ожидании звонка с завода поплотнее запахнул на себе пальто — его познабливало, хотя в кабинете было не холодно.

Из соседней комнаты вышла секретарша, неся в одной руке термос с чаем, в другой — папку с сегодняшней почтой.

— Марья Алексеевна! — полушепотом обратился к ней Ласточкин. — Идите сейчас же спать... Как вы еще на ногах держитесь?

Секретарша поставила на стол термос, положила папку и вопросительно взглянула на Ласточкина.

— Я тоже сейчас прилягу, — ответил он на ее молчаливый вопрос. — А вы идите, идите, отдыхайте...

Он поглядел на ее немолодое бледное лицо, на гладко зачесанные волосы, аккуратный черный костюм и, желая как-нибудь вознаградить этого своего самого близкого сотрудника, добавил:

— Отбили мы первый штурм, Марья Алексеевна... Хоть и не без труда, а справились...

— Да, теперь легче будет, Яков Захарович! — сказала секретарша. — Так я пойду, если у вас ничего нет...

— Идите... Вот только, не знаете ли, как с семьей Трифонова? Где она сейчас? — спросил Ласточкин.

— Жена и сын здесь, а родители живут в Орехово-Зуеве... Я уже справлялась.

Они оба помолчали минуту, и Ласточкин очень тихо проговорил:

— Как герой погиб наш Трифонов...

Потом он выпрямился на стуле и пододвинул к себе папку с почтой. Женщина, постояв еще немного, точно в задумчивости, вышла... Ласточкин открыл папку, взглянул на конверт, лежавший сверху, и тотчас же его распечатал, — это было письмо директора завода, эвакуиро-

ванного из Т. еще в начале осени. Дочитав последнюю страничку, Ласточкин поднял глаза и посмотрел на спящего Шарова, колеблясь, не разбудить ли его, чтобы поделиться важной новостью. Оказывается, один из больших Т-их заводов начал уже на новом месте выпускать продукцию, хотя строительство цехов, как сообщал директор, было далеко не закончено. Но, повидимому, собственные трудности казались автору письма малозначительными по сравнению с теми, что приходилось преодолевать сейчас его товарищам в осажденном городе. И в письме говорилось главным образом о том, что сделано уже на заводе для обороны, для армии и что будет сделано в ближайшее время. «В общем, самое тяжелое позади, надо думать, — писал директор. — Мы и расселились помаленьку, и со снабжением особых перебоев нет... А начинать пришлось, не скрою, на голом месте. Да и климат здесь, по правде сказать, суров, непривычен для нас...» А дальше следовал рассказ о том, как люди под свирепым северным ветром перетаскивали на себе оборудование, как они сутками не отходят от станков, как инженеры в течение нескольких ночей конструируют сложные механизмы, как работает на заводе молодежь.

Ласточкин сложил уже было письмо, но потом развернул вновь и перечитал некоторые строчки... Да, эвакуация промышленности из Т. была завершена в необычайно короткий срок... Казалось, что огромные Т-ие заводы, ведущие свою историю с XVI века, если не раньше, были чудесной силой подняты и перенесены на другое место, где они опять начали уже дымить. Возникнув некогда здесь, на срединной земле Московского государства, эти знаменитые заводы, выросшие ныне в первоклассные машиностроительные предприятия, находились уже далеко от фронта, чтобы там работать для него... А ведь это был только один, правда, немаловажный, эпизод в планомерно осуществленной перебазировке промышленности из западных областей страны на восток. И в то время как тысячи железнодорожных составов подвозили к фронту войска и оружие — пушки, танки, минометы, снаряды различных калибров, патроны, — тысячи других составов перебросили в противоположном направлении миллионы тонн бесценного заводского оборудования — станки, прессы, турбины, моторы, прокатные станы — и сотни тысяч людей, умеющих изготавливать оружие...

Читая и перечитывая письмо, пришедшее издалека, Ласточкин и радовался и пережил особое волнение: для партии, к которой он принадлежал, не было невыполнимых задач, непреодолимых трудностей... И он, секретарь обкома партии, давний член ВКП(б), как бы сызнова ощутил сейчас ее величайшую организующую мощь...

Отложив наконец письмо, он поднялся и постоял над столом минуту — другую, приподняв плечи; лицо его с выпуклым широким лбом покраснело, он чувствовал теперь как бы легкий жар; видимо, сказывалась бессонница последних дней...

Зазвонил телефон, и он взял трубку:

— Да, да, Петр Кириллович, здравствуйте, — тихо сказал он, — как дела у вас идут? Людей собрали достаточно? Чем мы вам можем помочь сейчас? Говорите все, как есть, все, что думаете...

На станкостроительном заводе, оборудование которого было вывезено на Восток, не оставалось уже ни станков, ни металла, и Ласточкин не был пока уверен в том, что там действительно удастся наладить производство минометов.

Он долго, не перебивая, слушал, поправляя на плечах пальто, потом проговорил:

— О, и старик Громов у вас?.. И Казаков?.. Да, вот это бригада!..

— Пришли, как же... — услышал он в трубке. — Профессорская бригада... Им и разряда дать невозможно, разве какой-нибудь специальный, академический...

Далее Ласточкин поинтересовался, испытали ли уже на заводе трубы, доставленные туда по указанию Комитета Обороны, и подойдут ли они для минометных стволов. Лишь после продолжительного молчания донесся к нему ответ старого механика:

— Полагаю, что подойдут, выдержат...

— Значит, сделаем, Петр Кириллович! — возвысил голос Ласточкин и тут же снова перешел на полусшепот, покосившись на спящего Шарова. — Будут у нас свои минометы?..

— Будут, Яков Захарович! — ответил Орлов.

И Ласточкин подумал, что хотя Т-ие заводы и переместились отсюда, они одновременно как бы начали уже восстанавливаться на старом месте... Еще несколько минут Ласточкин сидел за столом, перебирая бумаги, по-

том неожиданно голова его поникла, спутанные волнистые волосы упали на лоб, и он мгновенно заснул, привалившись к краю стола.

...Секретарша Марья Алексеевна прилегла в соседней комнате на клеенчатом диванчике, покрылась пальто, но сон не приходил к ней. Совсем недавно, перепечатывая анкету Трифонова, она узнала, что в 1919 году Трифонов состоял уже в комсомоле, что отец у него был каменщиком, а мать чернорабочей, что он был ранен в гражданскую войну на Восточном фронте, а с 1933 года и до последнего дня находился на партийной работе. И Марья Алексеевна все возвращалась мыслями к этому не очень даже хорошо знакомому ей человеку, прожившему такую чистую и цельную жизнь, будто отлитую из одного куска драгоценного металла.

Работа на предприятиях города, а точнее — в опустевших заводских корпусах, возобновилась с первых же дней осады. В одном месте ремонтировались теперь пушки, поврежденные в боях, покалеченные танки, в другом — женщины делали гранаты, в третьем — изготавливались запалы для бутылок с горючей смесью; в депо железнодорожного узла, где сооружался бронепоезд, работа не прерывалась, собственно, ни на час, а на станкостроительном заводе группа рабочих и инженеров, собранных там, приступила к производству минометов. Кое-какие станки, отслужившие, правда, свой век, нашлись на заводском складе и требовали только починки; кое-что удалось раздобыть в мелких кустарных мастерских, и не прошло суток, как в одном из пустовавших помещений этого эвакуированного завода вновь был создан небольшой цех.

Алексей Васильевич Громов, получивший, не в пример другим, вполне исправный, не слишком изношенный «Дип», внимательно обследовал его и остался в общем доволен. Однако в глубине души старый токарь испытывал крайнее, тщательно скрываемое от других беспокойство. Он не боялся, что утратил свое редкостное, создававшееся на протяжении полувека умение, но его тревожило, сможет ли он попросту выстоять у станка на больных ногах столько, сколько сейчас потребуется. Возвращаясь на завод из дому, куда он ходил за инструментом

и где так неожиданно познакомился с женой сына, старик на полдороге почувствовал себя плохо. Ноги его точно налились чугуном, тупая боль в коленных суставах усиливалась с каждым новым шагом, и он с большим трудом на этот раз добрался до завода. Казалось, что силы и здоровье, необыкновенным образом вернувшиеся к нему накануне, опять в самый решительный час предательски его покидали...

Поздно вечером Громов, покончив с устройством своего рабочего места, рассортировав инструмент, приготовив резцы, едва приковылял из маленького импровизированного цеха в подвал заводского убежища, превращенный в общежитие. Опустившись на железную койку, покрытую серым солдатским одеялом, он очень долго молча стаскивал сапоги, сжав зубы, чтобы не застонать. И тоска, как от незаслуженной обиды, горькая стариковская тоска опять овладела Алексеем Васильевичем...

У стола под лампочкой с жестяным кружком абажура Орлов, Петр Кириллович, седобородый, в очках, читал вслух газету, высоко держа ее своими длинными, тонкими пальцами. Пять — шесть человек, расположившись вокруг на тесно составленных койках, слушали его.

— «...Наши войска вели бои на Можайском, Малоярославецком, Харьковском и Таганрогском направлениях, — донесся к Алексею Васильевичу голос Орлова. — На разных участках Западного фронта немцы предприняли ряд ожесточенных атак на наши позиции. Все атаки немецко-фашистских войск были отбиты с большими потерями для врага...»

— Вчера Харьковского направления не было, ребята! — заметил кто-то из слушателей. — И как это понимать надо: направление? Ближко подошли немцы к Харькову или нет? Неясно отчасти...

— Что уж тут неясно?.. — слышался чей-то хмурый ответ.

— «После многодневных сражений, — негромко продолжал Орлов, — в ходе которых немецко-фашистские войска потеряли до пятидесяти тысяч убитыми и ранеными, свыше двухсот пятидесяти танков, более ста семидесяти орудий, около тысячи двухсот автомашин с военными грузами, наши части оставили город Сталино...»

— Эх-ма!.. Дела-а... — не удержавшись, протянул хмурый голос.

Орлов замолчал. Кто-то в наступившей тишине сипло, тяжело вздохнул.

— До каких пор мы — трясца его матери! — перед ним пятиться будем?! — выкрикнул человек, спрашивавший о Харькове. — Не может же того быть, чтобы у нас войска было меньше — народонаселения, слава богу, хватает...

— Грешному путь вначале широк, да после тесен, — раздался бойкий пришепетывающий голосок Казакова. — Погодите, растрясет немец свою силу, тогда другой разговор пойдет...

Алексей Васильевич с трудом поднял на койку ноги и вытянулся... Он сразу же ощутил физическое облегчение во всем теле, но никогда еще он до такой степени не был сам себе неприятен, как в эту минуту.

— «На предприятиях, в колхозах и совхозах нашей страны с каждым днем расширяется предоктябрьское соревнование на лучшее выполнение заданий фронта. Напряженный военный график ленинградского Энского машиностроительного завода ежедневно опережается. ...Каждую смену токарь Полубояринов выполняет четырехдневную норму...» — прочитав это, Орлов обвел слушателей взглядом. — Был у меня ученик Миша Полубояринов, не тот ли самый? — спросил он. — Похоже, что тот... Ну, так: «...токарь Москалев и его сменщик Кудрявцев дают за смену двадцать деталей вместо семи по норме... Токарь Брусникин, увеличив вдвое скорость резания, выполняет задание на четыреста процентов...»

«И чего они читку эту устроили на ночь глядя? — подумал Алексей Васильевич, мучимый ревностью к успехам неизвестных ему Полубояринова, Москалева, Брусникина. — Людям же поспать надо».

...Орлов вскоре снова ушел в цех, и Казаков подсел к Алексею Васильевичу. Тоненький, маленький, с покатыми плечиками, с легчайшим белым пушком, обрамлявшим венчиком его плешистую голову, он был на год или даже на два старше Громова. Но вот посчастливилось же ему, — сердито подумал тот, — сохранить завидную подвижность; Казаков даже немного подпрыгивал при ходьбе, точно вспархивал...

— Ты что кручиноват стал, Алеша? — спросил он, пришепетывая. — Спи, брат, лучше... Завтра раненько заступаем.

— А сам что не ложишься? — недовольно отозвался Алексей Васильевич.

— Я, брат, почти что и совсем могу не спать, просто удивительно даже, до чего мой организм теперь дошел, — охотно, как всегда, вступил в разговор Казаков. — Подремлю часок — другой, и все — как в родничке умылся. Аппетиту вот то же вовсе нет. Поклюешь чего-нибудь, кашицы там, сухарика, и сыт.

Громов подвигал под одеялом своими отекавшими ногами; боль в них как будто несколько ослабела.

— Так ты и совсем, поди, отучишься скоро жевать, — не глядя на приятеля, сказал он, — вроде как небесным ангелом станешь...

— Во-во... Я и сам того опасаясь, — весело ответил Казаков. — А только я думаю, что это у меня потому, что я сохну все, словно бы испаряюсь. Значит, и требуется мне сейчас не как другим, а четвертиночка.

Приставив ребром свою правую руку к пальцам левой, он показал, сколько именно ему сейчас надо.

— Чудеса в решете, да и только! — все так же продолжал он. — Ты вот, я замечаю, слишком отяжелел, Алеша, а меня, брат, все меньше на земле становится. Ты словно бы прибавляешь год от году, даже чересчур у тебя получается, а я легчаю все.

Алексей Васильевич промолчал: болтовня Казакова раздражала его.

— Эх, было времечко, ела кума семечки!.. — воскликнул тот. — И куда все подевалось, вот вопрос! Ты же, к примеру, даже вообразить невозможно, какой силач был. Прямо медведь косолапый!..

На соседней койке зашевелился токарь Алмазов — седоволосый, с окладистой бородой, похожий на рождественского деда; сеточка мелких красных жилок у него на щеках создавала впечатление румянца. Сунув между колен руки, свесив на грудь красивую гривастую голову, Алмазов давно уже неподвижно сидел так, не принимая участия в беседе.

— Видишь ты, какие дела, — глухо заговорил он теперь. — Если мы считать возьмемся, у кого какая хворь, так до утра не сосчитаем. А теперь об этом забыть надо.

— В самую точку попал! — радостно закричал Казаков. — Нынче молодежи без нас никак не обойтись. Придется еще разок, напоследок уж, за свою власть постоять.

— Ты бы потише, Кузьма! — сказал Громов. — Люди отдохнуть легли.

Алмазов опустил белоснежную голову и опять погрузился в задумчивость. Казаков оглядел высокий, со сводчатым потолком, просторный подвал; из дальнего угла, где на скамьях, а то и на полу спала «молодежь», то есть люди, возраст которых не превышал полувека; доносился чей-то громкий, равномерный храп.

— Заснул уже Протасов, — удивившись, сказал Казаков. — Здоровый, черт, как лег, так сейчас же и заснул...

Неподалеку приподнялась над подушкой остриженная ежиком голова Николаевского — чеканщика и гравера. Это был тоже давний знакомый Громова — очень деликатный, мягкий и участливый человек.

— А вы заметьте, Кузьма Данилович, — нетвердым, как бы с трещинкой голосом проговорил он, обращаясь к Казакову, — привычный труд — это лучшее лекарство. Через недельку и аппетит у вас появится, как у молодого, и сон...

Громов закрыл глаза, делая вид, что хочет спать... Легко было Николаевскому, еще довольно крепкому старику, который, кстати сказать, по характеру своей профессии работал сидя, рассуждать о том, что будет через неделю; Громов же внутренне ужасался, что он может сплеховать на работе. Его тело, не подвластное ему, одряхлело гораздо раньше, чем его разум, чем его способность любить и ненавидеть, чем его требовательная воля. Ощущая себя поэтому еще не старым, в сущности, он переживал свою телесную немощь тем более тяжело, что вокруг собрались люди, помнившие его в лучшую пору, когда не было ему равного в их общем труде. И привыкнув за долгие миновавшие годы к первенствующему положению, он никому не хотел сейчас признаться в тайных опасениях на свой счет. Со стыдной, как ему казалось, бедой, постигшей его, он должен был справиться сам, не прибегая к чьей-либо помощи.

Поднявшись еще до света, Алексей Васильевич растер свои ноги, потом очень тщательно, крепче, чем обычно, обмотал их портянками поверх носков. Одевшись, он медленно, грузно ступая, двинулся к выходу — сумрачный, полный решимости, как пошел бы на неравный поединок, приготовившись сопротивляться до конца. Себе

он сказал, что не уйдет из цеха, чего бы это ему ни стоило, и что его могут только вынести оттуда.

В большом зале центрального конструкторского бюро, превращенном ныне в цех — здесь было теплее, чем в огромных пролетах других заводских помещений, — стояло уже несколько готовых к работе станков. Токарные с «гитарами» — ветхозаветным устройством перемены скоростей, фрезерные и сверлильные с поржавевшими, облупившимися станинами — они вызвали бы у Алексея Васильевича в иное время снисходительную улыбку. Сейчас, однако, самый вид их подействовал на него угнетающе, напомнив о собственной старческой участи...

Но прошло четверть часа, полчаса, мотор безотказно работал, ходовые части станка послушно двигались, блестела светлая «сливная» стружка, падавшая с тихим музыкальным шелестом к ногам токаря, струилась охлаждающая жидкость, и Алексей Васильевич незаметно для себя душевно помягчел. Было бы неверно сказать, что, встав опять к станку после долгого перерыва, он испытывал в эти минуты торжественную приподнятость. Скорее наоборот, он снова ощущал себя в очень привычных, естественных условиях, заботах, действиях, отчего ему становилось все более мило и свободно. Это напоминало отчасти состояние человека, возвратившегося домой из гостей и надевшего будничную, но единственно удобную одежду. Алексей Васильевич закреплял деталь в патроне, включал станок, подводил резец к изделию, пробовал различные скорости, увеличивал или уменьшал подачу, и самая работа вновь раскрывалась ему в увлекательных тонкостях мастерства. На протяжении многих лет у Алексея Васильевича образовались сложные, очень индивидуальные отношения к машинам и инструменту, служившим ему: у него были любимые приспособления и нелюбимые, он с чем-то всегда спорил, чего-то добивался, относясь к своему станку, как к некоему своенравному существу, покладистому, даже заметно добревшему лишь в умелых руках. И уже давно труд был полон для него интереснейших секретов созидания — тех секретов, что открываются только мастеру. Специалист по доводочным, особо точным операциям, Алексей Васильевич в высшей степени обладал качеством, которое за неимением более подходящего слова обычно называют чутьем.

Но его способность видеть, даже, казалось, предугадывать в работе то, что многими другими оставалось до времени незамеченным, была удивительным на посторонний глаз плодом его долгого опыта. И его опять радовало сейчас собственное мастерство, являющееся само по себе источником удовольствия, а со стороны глядя, как будто бы и не требовавшее больших усилий. Рассматривая готовое изделие, — теплое еще, увесистое, посверкивавшее, как драгоценность, на широкой, залоснившейся от масла ладони, — старик позабывал о своих недавних опасениях.

Затем на заводе стало известно, что на южной окраине города, на Орловском шоссе, начался бой с наступавшими немцами. Завод находился примерно в полутора километрах от передовых позиций, и шум боя — орудийная стрельба, разрывы снарядов, пулеметные очереди — был хорошо слышен в мастерской; оконные стекла непрерывно позвякивали, раздражающе хлопала полусорванная форточка. Алексей Васильевич и его товарищи продолжали работать, точно ничего исключительного не происходило, но ожидая каждую минуту приказа покинуть завод. Они знали, что его корпуса заминированы и будут взорваны, если враги подойдут сюда; люди, состоявшие в особой подрывной группе, безотлучно, с вечера еще, дежурили на своих местах, готовые по сигналу включить ток. Поэтому Громов, как и все другие в мастерской, чрезвычайно торопился, будто рассчитывал успеть еще, пока последний приказ не отдан, сделать все, что требовалось.

На крупном, в толстых морщинах лице Алексея Васильевича выступила испарина, седые с желтизной усы распушились. Мысль, что в это самое утро сын его Павел отбивается от наседающих врагов, была полна и огромной тревоги и великой побудительной силы. Алексею Васильевичу казалось, что именно Павел, а не кто-нибудь другой, нетерпеливо ждет нового оружия, которое он, отец, только еще обтачивает. И, стараясь не думать об опасностях, угрожавших Павлу, он страшился сейчас лишь того, что ему скомандуют вдруг уйти из мастерской, что заводские стены рухнут в дым и под их развалинами погибнет надежда на победу сына.

К двум часам дня канонада стала тише, потом совсем прекратилась, и тут Алексей Васильевич обнару-

жил, что он простоял у станка, не присаживаясь, забыв о своих недугах, больше семи часов. Порученные ему детали он изготовил в двойном количестве, и только теперь, когда бой, повидимому, кончился, он сразу почувствовал боль в ногах. К счастью, его позвали к Орлову на совещание, а так как совещаться можно было и сидя, старик немного отдохнул. К вечеру, однако, он изнемог уже настолько, что не возражал, когда секретарь парткома отправил его, Алмазова и Николаевского на койки.

На следующий день секретарь принес ему валенки. Алексей Васильевич поблагодарил, но, заподозрив, что его физическая немощь уже замечена, отказался их взять. Да и кроме того в сапогах ему было привычнее на работе, а значит, удобнее. Этот второй день, проведенный у станка, оказался для него самым трудным. Незадолго до обеда наступила минута, когда он подумал, что не вытянет больше: ноги его так отяжелели, что отказывались повиноваться. Выключив мотор и грузно опершись о станину, Алексей Васильевич застыл на месте, боясь пошевелиться, чтобы не упасть... И тут, однако, не позвав на помощь, он только зажмурился, как бы не желая видеть своего поражения.

— Ты что, Алеша?! — услышал он за спиной голосок Казакова. — Ты бы водицы испил, постой-ка, я принесу.

Алексей Васильевич открыл глаза, поднял голову и странно, слабо усмехнулся. Собрав всю свою решимость, сосредоточившись на одном желании сдвинуться с места, он выпрямился и рывком, будто падая вперед, переставил сперва одну ногу, потом другую... Достав из кармана металлическую коробочку с табаком, показывая тем самым, что собирается покурить, он проговорил:

— Поковки кончаются, Кузьма! Ты бы похлопотал, что ли...

Очень медленно, на негнбавшихся ногах, он направился к выходу. Казаков с беспокойным видом следил за ним и, когда дверь за Грозовым закрылась, воскликнул:

— Какой был Алеша Громов, такой и остался! Крутой человек!

В коридоре Алексей Васильевич повалился на скамью, долго в молчаливой ярости мял свои колени и, немного передохнув, не покурив, вернулся в мастерскую.

На третий день Громову была поручена Орловым обточка минометных стволов — дело особо деликатное и ответственное. И когда наконец первый ствол, вернее — его труба с утолщением у дульного среза, с нарезкой на казенной части, блистающая свежееобработанной поверхностью, была сдана Громовым и принята, на него сошел давно забытый покой — покой удовлетворения и сознания своей полезности. Именно его недоставало Алексею Васильевичу в недавние месяцы одинокого, праздного и только внешне покойного существования. И один труд, ничто другое, мог вернуть ему ощущение прочной своей устойчивости в мире, без которого так тяжело бывает гордым душам.

...На заводе, как и повсюду в осажденном городе, люди быстро приспосабливались к новым условиям труда и существования... На окраинах шел, то затихая, то возобновляясь, бой, сирены воздушной тревоги завывали с наступлением темноты, а днем немцы обстреливали город из орудий. В больницах, рядом с бойцами, доставленными туда прямо с переднего края, лежали женщины, раненные осколками снарядов в своих квартирах или на улицах... Просыпаясь утром и собираясь на работу, человек не был уверен в том, что доживет до вечера, и матери, уходя из дому, не знали, увидят ли они еще своих детей. Но, невзирая на все это, а точнее — в борьбе с этим, люди все лучше делали свое дело, необходимое для жизни и победы. В положенный час открывались магазины, и продавщицы с противогазными сумками через плечо вставляли к своим прилавкам. Работали бани, парикмахерские, столовые; большая, недавно выстроенная фабрика-кухня в центре города доставляла в термосах обеды на передовые позиции. В артелях инвалиды-кустари валяли солдатам валенки, тачали сапоги; на швейной фабрике женщины шили солдатские шинели; у себя на квартирах хозяйки стирали по ночам солдатское белье. И в то время как на крыше городского родильного дома дежурили подростки из групп самозащиты, внизу, в белых, блистающих никелем и масляной краской палатах, раздавались голоса, крик, плач самых молодых граждан города, за жизнь и счастье которых шел недалшний бой...

На четвертый день осады две двухсотпятидесятикилограммовые бомбы упали на территорию станкостроитель-

ного завода; была уничтожена часть механического цеха и значительно повреждена литейная. После этого долго еще хрустело стекло под ногами во дворе, а в зияющие, с выбитыми рамами окна заводских зданий залетал первый снежок. Но работа в бывшем чертежном зале конструкторского бюро не прекращалась ни на один час: ночью к станкам вставали те, кому удавалось поспать днем. Слесари начали уже сборку первых минометов, а на площадке завода круглосуточно трудилось теперь в разных местах несколько добровольных бригад.

Кузнецы из своего опустевшего цеха, высокого, как собор, широкого, как проспект, перекочевали в гараж. Ковали здесь вручную; молотобойцами к наковальне встали начальник цеха и председатель цехового комитета, отковавшие вертлюги для минометов. В малой литейной происходил ремонт автоматического оружия, привезенного из городского парка или с позиций перед Мышкинским Поселком.

Теперь лишь на первый невнимательный взгляд большой завод выглядел покинутым своими хозяевами. Правда, немногочисленные кучки людей, разбросанные по его уголкам, терялись на обширной, заваленной обломками заводской территории; их не сразу можно было приметить в гигантских коробках цехов, просвистанных сквозняками, дувшими в разбитые окна. И вспыхивавшие там в промозглой, будто задымленной глубине синие звезды электросварки казались такими же туманными и далекими, как небесные звезды. Однако сами люди не ощущали себя здесь беспомощными от своей малочисленности. А под ноябрьским студеным ветром, все злее игравшим в этой каменной пустоте, ярко горел их неугасимый сердечный жар... Складывая на морозе горны в новой кузнице, печники отогревали стынувшие руки в теплой воде, приготовленной для раствора. Пальцы у них вскоре от этого распухли, а из трещин на коже выступила кровь, но горны тем не менее были сложены быстро и хорошо. И печники лишь слабо морщились, когда благодарные кузнецы слишком крепко пожимали их умелые израненные руки.

Алексей Васильевич чувствовал себя теперь с каждым днем все крепче, хотя отдыхал очень мало, как и другие, спал урывками, а ел что придется. Его недуги не оставили его совсем, но как бы смирились перед

стариком, тревожа его тем реже, чем меньше он с ними считался. Впрочем, глядя на своих сверстников, подлетков, как говорил Казаков, живших теперь вместе с ним на заводе, Алексей Васильевич не мог не заметить, что и они преобразились наперекор возрасту. Они стали общительнее, шумливее, подвижнее, часто шутили, посмеиваясь друг над другом, как в давнишние времена. Можно было подумать, что неожиданное, вызванное грозными обстоятельствами изменение в их тихой, спокойно угасавшей жизни даже помолодило их.

Обычно замкнутый, невеселый Алмазов все чаще, к удивлению Алексея Васильевича, заговаривал теперь с окружающими. Как-то за обедом — тут же, в мастерской, на уголке потемневшего от металлической пыли стола — он высказал Громову такую мысль:

— Клеится, видишь ты, у нас все здорово! Об себе я подумать некогда, а? Захлестывает, видишь ты... Одно к одному, так и идет...

В его голубых глазах под спутанными белыми бровями было наивное и ласковое выражение.

— А это потому, что и живем артельно, и работаем, — сказал Казаков. — Спайка у нас большая. Это, хлопцы, — первое дело!.. Второе — что не обойтись без нас молодежи, не сдюжит она одна...

— Меня мой сын уламывал долго, — с усмешкой в голосе сказал Громов. — «Уезжайте отсюда, — просил, — нечего вам здесь оставаться, а там и встретят вас с почетом и устроят...» Очень я его обидел, что не поехал...

— Молодежь частенько к нам спустя рукава относится, — продолжал Казаков. — А в суть нашего положения не вникает. Чего они там ершатся, старые хрычи, думает: теплый угол у них есть, уважение есть... А иной и стар, да петух, другой и молод, да протух...

— Ну, про Пашку этого не скажешь, — нахмурившись, заметил Алексей Васильевич.

— Про Пашку-то... — Казаков засмеялся мелким, дробным смехом. — Шла бабка из Заморья, несла кузов здоровья, тому-сему кусочек, Пашке весь кузовочек! Сыном бог тебя не обидел, Алеша, это верно!

В качестве бригадира токарей Казаков был непоседлив, криклив и неутомим. Его плешивая, похожая на полуоблетевший одуванчик головка непрестанно мель-

кала по мастерской, и то и дело слышался его пришепетывающий голос.

— Нет, брат, тут еще снять надо, — говорил он кому-нибудь, обмеряя деталь. — На целую гривну, брат, снять надо, а то на семишник... Как это не понимаешь? Мало каши ел, ежели не понимаешь!

И он заливался мелким хохотком, к которому присоединялся отрывистый, как лай, глухой смех Громова. В дни юности обоих стариков единственной мерой точности на заводе была толщина мелких разменных монет. И теперь Алексей Васильевич и Казаков от души веселились, вспоминая, как в ту пору им приходилось работать.

Иногда по вечерам перед сном, покуривая на койках в бомбоубежище, они обсуждали различные события из своей прошлой жизни. Им вспоминалось самое начало века, 1903, 1904, 1905 годы: первая массовая демонстрация рабочих города, забастовки, столкновения с полицией, «засеки» — окрестные леса, где они собирались, чтобы послушать большевиков. Заговорив о пятом годе, старики пересказывали потом на семнадцатый и делились впечатлениями о солдатах Временного правительства, которых они разоружали, о штурме арсенала в осеннюю холодную ночь, о первых комиссарах, устанавливавших в городе Советскую власть. И хотя они говорили о самом значительном в своей жизни, они особенно охотно отмечали в больших событиях обыденное, случайное, забавное, становясь немногословными, когда речь заходила о героическом. Алексей Васильевич, слушая эти вечерние разговоры, испытывал такое чувство, будто он прожил не одну жизнь, а несколько, получив от судьбы на свою долю гораздо больше, чем ему, быть может, было положено.

А порой в мастерскую, где он работал, из-за дощатой остекленной перегородки доносился дребезжащий с трещинкой тенор Николаевского. Старый гравер, сидя у окна, трудился там над квадрантами для минометных прицелов.

...Живет моя отрада
В высоком те-рему...

пел Николаевский, забывшись, устремив прищуренные кроткие глаза на мелкие деления и цифры угломерного круга.

Заслышав его голос, Казаков взглядывал на Громова с таким видом, точно хотел сказать: «Вот мы как еще можем!»

Но, разумеется, чаще всего старики обсуждали военные события, положение в стране, под Москвой, обстановку на фронте. Он проходил рядом, по предместьям города, и его опаляющее дыхание ощущалось на заводе ежечасно. Не у одного Громова сражался там родной человек, и вести о первых потерях в рабочем полку коснулись уже иных из его приятелей. У слесаря Протасова был убит младший брат; Алмазов навестил в больнице тяжело раненого племянника. Но и то, что стало известно теперь о боевых успехах полка, было, в свою очередь, как бы семейным делом многих жителей города... Несколько раз на заводе появлялся председатель Городского Комитета Оборона Ласточкин, обходил цеха, расспрашивал мастеров, отвечал на их вопросы. И ежедневно туда приезжали на грузовиках бойцы, доставлявшие искалеченное и получавшие в обмен исправное оружие. У них были простуженные голоса, заветрившиеся, огрубевшие от непогоды лица, руки в царапинах, в ссадинах; часто это оказывались знакомые молодые люди с металлургического завода, с оружейного, с самоварной фабрики, с мебельной, с завода комбайнов, с железной дороги.

Алексей Васильевич каждый день ожидал, что и Павел хотя бы на несколько минут заглянет на завод. Он очень хотел и повидать сына — лично удостовериться, что Павел невредим, — и показаться ему сейчас, когда сам он, казалось, встал с ним вровень. Ибо при всей своей любви к сыну Алексей Васильевич упорно продолжал с ним соперничать, даже ему не желая уступать в том, что полагал сейчас всеобщей обязанностью. Павел, однако, не приходил, лишь переправил отцу с одним из бойцов своей роты коротенькое письмо.

«Отец, ну и удивили вы меня... — начиналось оно; Алексей Васильевич так разволновался, что три раза прочитал эту первую строчку, прежде чем понял ее смысл. — Когда мне сказали, что вы опять на заводе, я, признаюсь, сперва не поверил, — писал Павел дальше. — Но вы и самый свой возраст переспорили... И — спасибо, отец! Давайте нам побольше оружия, и не видеть фашистам нашего города, как своих ушей».

Алексей Васильевич поджал губы, машинально потер пальцами шею — он был растроган. Павел обращался к нему, как к равноправному, полноценному работнику, и ничто не могло бы доставить старику Громову большего удовольствия.

«Бываете ли дома? — спрашивал Павел отца. — Как Наташа, видите ли ее? Очень прошу вас позаботиться о ней. Это моя просьба к вам на все случаи жизни (слова «позаботиться о ней» были подчеркнуты). Кланяйтесь тете Ане. Простите, что мало пишу, но тут нам опять немного мешают... Крепко обнимаю вас всех».

Павел не знал, повидимому, что Наташа также работала теперь на заводе... Она пришла сюда на второй же день осады, грустная, очень расстроенная; ее попытка определиться в полк, где служил Павел, кончилась полной неудачей. В райкоме, куда Наташа обратилась за помощью, ее, студентку четвертого курса машиностроительного института, тут же направили на завод, а не в полк. И Алексей Васильевич, которому она обо всем этом рассказала, выслушал невестку с глухим недоброжелательством — маленькая, беспомощная, растерявшаяся, казалось, она ему окончательно не понравилась. Нет, не такой была его собственная жена, Ольга, — уж та добралась бы до него, будь он на месте Павла. И не такую подругу выбрал бы он для сына... Но поправить в этом деле что-либо уже не представлялось возможным. И, подавив свое огорчение, Алексей Васильевич, как можно мягче, проговорил:

— Ну что же, дочка! Заступай командовать над нами, стариками...

2

Первая же встретившаяся Наташе на заводе женщина — Прасковья Никитична Кузнецова, фрезеровщица, разговорившись с Наташей, предложила ей разделить комнату, в которой обосновалась сама, — один из пустовавших ныне кабинетов в доме заводоуправления.

— Приходите, заживем с вами по-холостяцки, — сказала Прасковья Никитична, моложавая, бойкая, с лукавыми пронизательными глазами, — и вам удобнее будет и мне веселее...

Наташа, сразу же почувствовавшая большое доверие к этой новой знакомой, поблагодарила и согласилась.

— Мне ведь ненадолго, — добавила она, — я здесь на заводе все равно не останусь.

— Ну, что же, зачислим вас в таком случае на временное жительство, — пошутила Прасковья Никитична, — а только я вам скажу: которая служба нужнее, та и честнее...

Идя на завод, Наташа действительно утешала себя тем, что добьется еще своего и что от ее настойчивости зависит в конце концов исполнение ее желания — быть вместе с Павлом. Но первые же заводские встречи и впечатления лишили ее внутренней убежденности в своей правоте. Люди, с которыми она здесь познакомилась, — несколько десятков человек, все больше немолодых, собравшихся на обширной, пустынной, наводившей уныние площадке мертвого завода, чтобы вернуть его к жизни, — превратились вскоре для Наташи в предмет ее почтительного удивления, когда она увидела, как они умели работать, или искреннего сочувствия, когда ей вспоминалось, что их здесь пока совсем немного, или признательности и восхищения, когда она узнавала о доблести этих людей — каждодневной, будничной, привычной.

С первого же дня, проведенного на заводе, Наташа почувствовала себя очень занятой. В момент ее прихода на завод еще не было закончено изготовление всей необходимой технической документации по минометам, и Петр Кириллович Орлов, под начало которого поступила Наташа, засадил ее за черчение деталей. Она помогала затем Орлову в организации учета, выполняла другие его поручения, а кроме того, у нее значительное время стала отнимать неожиданная хозяйственная деятельность... Люди, вернувшиеся на завод, мало заботились вначале об удовлетворении своих насущных потребностей, питались кое-как, всухомятку, а то и вовсе забывали поесть. И долго продолжаться так не могло: кто-то сыскал по соседству и привел двух женщин, согласившихся взять на себя обязанности стряпух; Городской Комитет Оборона отпустил продукты для заводской столовой, а Наташу попросили лишь присмотреть за чистотой и порядком на кухне... Однако она незаметно для себя быстро оказалась вовлеченной во все хлопоты,

связанные с этим новым немаловажным «цехом питания». И хотя она порядком уставала теперь, хотя в конторе Петра Кирилловича бывало то нестерпимо жарко от временной железной печки, то коченели пальцы, державшие карандаш, хотя в комнатке, где поселились Наташа и Прасковья Никитична, замерзала к утру вода, Наташа не только не жаловалась, но и не утратила своей способности радоваться всякому доброму проявлению жизни: на улыбку отвечать улыбкой, на шутку — смехом.

Сама Наташа, надо отдать ей справедливость, никак не заботилась о том, чтобы понравиться новым товарищам. Но она вызывала к себе благожелательную симпатию потому главным образом, что и сама испытывала участливый интерес к окружающим. Это, собственно, и помогало ей во многих случаях делать или говорить то именно, что было в данную минуту всего правильное...

По вечерам, сидя в кухне заводской столовой, с наслаждением ощущая тепло, исходившее от плиты, Наташа обсуждала состряпухами хозяйственные вопросы. Постреливали горевшие поленья, плескалась вода в тазике, ворочался во сне ребенок одной из женщин, уснувший тут же, на лавке. А его мать, мывшая тарелки, полная багроволицая женщина, жаловалась на то, что не хватает кухонной посуды, что гречневая крупа на исходе, что сырые дрова не хотят гореть, что от мужа с фронта редко приходят письма, а сама она совсем уже сбилась с ног. Наташа молча кивала головой, соглашаясь: в столовой действительно было мало посуды, а о крупе следовало немедленно позаботиться. И ей становилось жалко эту женщину — сварливую, вечно чем-нибудь недовольную, но никогда не сидевшую без дела, у которой от многих тревог и забот так испортился характер. Без всякой, казалось, связи с положением дел на кухне Наташа начинала расспрашивать женщину о ее жизни, о муже, о детях, бралась позаботиться о том, чтобы ее ребенка взяли в ясли, просила показать последнее письмо, пришедшее с фронта...

— Вот еще моду выдумали мужики: когда ни придут, хоть в ночь-полночь, хоть в самую бомбежку, подавай им горячее! — ворчала стряпуха, поглядывая на Наташу, читавшую письмо, но ее голос звучал теперь тише.

...Алексей Васильевич, присмотревшись поближе к своей невестке, начал думать, что его сын и не совершил, быть может, такой уж ошибки, женившись на этой маленькой женщине. Не прошло и полной недели со дня появления Наташи на заводе, как, со стороны глядя, можно было подумать, что она работает здесь уже давно. А затем — и это казалось самым удивительным — она без видимых усилий завоевала расположение даже таких много повидавших на своем веку, взыскательных людей, как товарищи Алексея Васильевича. Он заметил, что каждый ее приход в цех доставлял старикам удовольствие. Алмазов улыбался Наташе из-под белоснежных бровей, как улыбаются детям, Казаков начинал сыпать своими шутками, развлекая ее, а Николаевский — отменной вежливости человек — становился особенно предупредительным. Как-то, проводив взглядом невысокую, плотную, ловкую фигурку Наташи, пробегавшей по цеху, Алмазов поделился с Алексеем Васильевичем своим мнением о его невестке.

— Не прогадал сынок твой... — сказал он. — Ладную жену взял себе! Коса сноп снопом, и нрав приятный, веселый. Это в супружеской жизни — первое дело.

— Условие семейного счастья, можно сказать, — подтвердил Николаевский.

Казаков, случайно слышавший разговор, не без иронии посмотрел на своих приятелей.

— Да-а, хлопцы! — протянул он. — Нам теперь в этих вопросах одна лишь теория осталась...

— Веселого нрава жене не купишь, нет, — помолчав, согласился Алексей Васильевич.

Он испытывал удовлетворение: как-никак, а Наташа носила ныне фамилию Громовых, она была женой его сына, и похвалы, полученные ею, тешили самолюбивого старика.

Сборка первого миномета была наконец закончена; он стоял посредине мастерской, новенький, чистенький, задрав кверху ствол на двуноге, упираясь казенной частью в круглую плиту. Вокруг толпились люди — небритые, усталые, в промасленной одежде, — внимательно, придирчиво, любопытно смотревшие на свое создание. Щепкин, бригадир сборщиков, строго косился на миномет, обтирая ветошью руки; на морщинистом бескровном личике Казакова читалось простодушное

изумление; казалось, старый токарь все еще не мог взять в толк, как это им в несколько дней удалось изготовить такую штуку.

Алексей Васильевич Громов хмурился — кое-что в отделке миномета не нравилось ему: плита, носившая на себе слишком явные следы зубила, выглядела грубо, двунога тоже была нехороша, по его мнению. И так как он снова в полной мере чувствовал себя мастером, он не мог не придирается к мелочам.

— Дикообразный немного вид... Отделки настоящей нету, — поделился он своим выводом с Алмазовым.

— Плита, видишь ты, всю картину портит, — согласился тот.

Теперь оставалось только испытать миномет, и где еще это можно было проделать с большей пользой для общего дела, как не в своем рабочем полку. Его позиции находились недалеко от завода, и даже первые, пробные выстрелы могли быть направлены оттуда в неприятеля.

— Опробуем по захватчикам, — решил Власов, новый директор завода. — Чего зря в белый свет минами кидаться?

— А я договорился уже, — сказал секретарь парткома. — Вчера еще звонил. Там все условия обещали создать.

И миномет погрузили на машину, чтобы прямо из цеха отвезти в бой. Вместе с теми, кто должен был сопровождать миномет, в открытый кузов машины забрались также старики: Громов, Казаков, Алмазов, Николаевский. И хотя их присутствие на испытаниях было совсем не обязательно, никто не отважился отказать им в этой поездке.

Наташа, у которой блеснула надежда повидать Павла, — могло же случиться, что они с минометом попадут в ту именно роту, где он теперь командовал, — упростила своего шефа Орлова взять ее с собой. Лишь с крайней неохотой, и то под давлением окружающих, Петр Кириллович уступил Наташе. Сам он, худой, высокий, белобородый, держался сегодня суше и молчаливее, чем обычно. Являясь в большей, нежели другие, степени ответственным за новое оружие, он в последнюю минуту усомнился в исходе испытания. Собственно говоря, он не мог ясно сформулировать причину своего беспокой-

ства, иначе он, разумеется, принял бы соответствующие меры и уж, во всяком случае, не повез бы миномет сразу в полк. Но сама быстрота, с которой это оружие создавалось в совершенно необычной, исключительной обстановке, смущала теперь его. И хотя все, казалось, было выполнено именно так, как требовалось, невзирая на труднейшие условия работы, Орлова начала мучить боязнь, что он, давно ушедший с производства человек, в чем-то ошибся, чего-то в спешке не предусмотрел. Как-никак, а предстояло огневое испытание, когда техническая неточность или низкое качество металла могли привести к гибельным последствиям. Труба, например, пошедшая за неимением в городе специального материала на минометный ствол, вызывала теперь в Орлове недоверие. По его расчетам она годилась, — выбирать, впрочем, было не из чего, — но все же никогда и никто не стрелял еще из этих труб, предназначенных для насосов.

Остальные пассажиры, устроившись в машине, сразу же повеселели. Было еще раннее утро, и крепкий морозный ветерок, точно спирт, пощипывавший кожу, навел слабый румянец на их серые лица. Казаков, перегнувшись через борт кузова, закричал шоферу в окошко кабинки:

— Слышь, друг сердечный, таракан запечный, жми на полный газ!

Едва машина выехала за ворота, как ее тряхнуло на выбоине, и люди в кузове попадали друг на друга, что вызвало еще большее оживление.

— Жив, Алеша? — воскликнул Казаков, судорожно ухватившись за брезент, покрывавший миномет.

— Держись крепче, а то вправду вроде ангела вознесешься, — миролюбиво отозвался Алексей Васильевич.

Николаевский пододвинулся к нему, уступая Наташе свое место за кабинкой.

— Пожалуйста к нам, барышня, тут поспокойнее будет, — любезно предложил он.

— Не надо, сидите... И какая я барышня? — сказала Наташа.

Вцепившись обеими руками в прыгающий борт, она безуспешно пыталась примоститься на нем. Ветер больно колол ее лицо, а когда она отворачивалась, опуская голову, грозил сорвать берет.

— Нет, уж не обижайте, пожалуйста к нам, — настаивал Николаевский, блестя из-под очков заслезившимися от холода глазами, — у нас уж так полагается, чтоб женщине было лучшее место.

— Смотри, Алеша! — Казаков ткнул Громова локтем в бок. — Отобьет Иван Тимофеевич жену у твоего Пашки... Даром что старик, а обхождение понимает!

Громов поглядывал на Наташу подобревшими глазами. Сейчас она даже внешне понравилась ему: лоб и короткий носик ее побелели на морозе, а на тугих щеках выступили два алых, резко очерченных кружка, похожих на румяные яблочки.

— Пересаживайся, Наталья! — возвысив голос, приказал Алексей Васильевич. — Что ты в самом деле маешься, как курица на жердочке?..

Машина выехала на центральную улицу и промчалась мимо бронзового памятника Ленину, мимо большого двухкрылого здания гостиницы, мимо пустынного скверика с облетевшими, голыми деревьями... Наташа вспомнила, как она блуждала здесь в первую ночь по приезде в город, и ей показалось, что это было уже очень давно — столько событий произошло с тех пор, так неожиданно все обернулось, так по-новому выглядело! Вот и гостиница, в которой ей советовал остановиться ее храбрый ночной провожатый Витя Веревкин; она была превращена в госпиталь — флаг с красным крестом развевался там в глубокой нише входа. А впереди на мостовой зияла свежая воронка от бомбы и валялись повсюду мерзлые, искрившиеся кристаллическим налетом комья земли. Машина мчалась дальше, и перед Наташей промелькнули витрины универмага, обшитые до половины досками, газетный щит с белыми прямоугольниками приказов Комитета Оборона, железные «ежи», сваренные из обрезков балок и разбросанные на перекрестке. Ветер гнал навстречу машине желтоватую вымороженную пыль, и она завивалась дымчатыми спиралями, носившимися по асфальту.

На тротуарах было мало пешеходов, а в перспективе оголенных улиц города, в чугунной неподвижности темных фасадов, посеченных кое-где осколками, в самом воздухе этого морозного утра чувствовалось что-то резкое, жесткое, металлическое... Часто встречались патрули: два-три бойца с винтовками за плечами. Издалека

доносились артиллерийская стрельба, и Наташе опять почудилось, что за городом бьют не спеша, в разную тяжкие кузнечные молоты.

— Обратите внимание, — заговорил Николаевский, обращаясь к Наташе, — здесь вот у нас краеведческий музей, — он показал на старый двухэтажный с мезонином дом. — Сейчас, конечно, он закрыт, да и вывезли все оттуда, надо думать... А когда откроется, советую полюбопытствовать.

Она удивленно посмотрела на Николаевского: любезный старик считал как будто своей обязанностью развлекать ее в этой поездке. Пытаясь усидеть вполоборота к ней, он кротко улыбался, несмотря на слезы, неудержимо заволакивавшие его глаза.

— Поучительные экспонаты имеются, — поянил он Наташе, — бивни мамонта, например, разные каменные орудия, ножи, наконечники для стрел... Монеты древней чеканки, если интересуетесь этим делом... Медные вещицы искусной работы, а также финифть, старинная полива по металлу... Особо представлены предметы из истории нашего города. Рекомендую взглянуть при случае...

Наташе очень захотелось сказать: «Иван Тимофеевич, мне сейчас совсем не до бивней вашего мамонта», — но старик был так мил и благожелателен, что она посоветилась.

— Девятьсот лет, знаете ли, стоит наш город — немалый срок, — говорил Николаевский дальше. — За этот период времени всякие у нас происшествия бывали... И многие памятники старины, реликвии древности, иначе сказать, сохранились...

Наташа, покусывая губы, отвела в сторону глаза; как ни была она сейчас взволнована возможностью встречи с Павлом, ее начал разбирать смех...

— Сохранились, вы говорите? Обязательно пойду взгляну... — дрогнувшим голосом, едва удерживаясь от смеха, сказала она.

— Весьма советую...

Машину опять тряхнуло, и Иван Тимофеевич подскочил на досках кузова.

— Не ушиблись, все в порядке? — заботливо осведомился он у Наташи. — Да, музей у нас содержательный... А завод, на котором вы изволите работать в

настоящее время, — продолжал он, — завод от самого Петра Первого начался. Слышали, наверно?

— Завод у вас знаменитый, — сказала Наташа. — Вы, должно быть, и его историю отлично знаете?

— Ну, как же... Мы тут, наша семья то есть, издревле живем. При Демидове, в петровские времена еще, Николаевские кузнецами были... Прапрадед мой Данила Терентьевич тоже у наковальни весь век свой простоял. А вот дед мой Влас Данилович — тот в граверы пошел... Дед по матери, Карп Алексеевич, в оружейниках мастеровал.

— Я его помню, — сказал Громов. — Знатно он стволы отделывал.

— Совершенно верно, славился, — подтвердил Николаевский; вынув из кармана пальто аккуратно, квадратиком сложенный платок, он принялся отирать мокрые щеки.

Машина свернула в боковую улицу, перегороженную баррикадой, и здесь ее остановили часовые. Пока Власов, сидевший в кабинке, разговаривал с командиром, к борту машины подошли два бойца в коротких тулупчиках, с винтовками.

— Здорово, ребятки! — приветствовал их Казаков. — Как живете-можете, как гадов тревожите?

Солдат с молодым толстым лицом, с голубыми на выкате глазами ухмыльнулся, заглядывая в кузов.

— Вас, дедушка, дожидались... — сипловатым голосом сказал он. — Прямо до ужасной крайности без вас дошли.

— А ты зубы не скаль, не скаль, — закричал Казаков. — Сейчас услышишь, как фриц у нас аллилуйю запое!

И он подмигнул на укрытый брезентом миномет.

— Это что же вы такое везете, старички? — спросил второй солдат, тоже молодой.

— А то самое... — загадочно ответил Казаков, и его высохшее личико, точно заштрихованное в разных направлениях морщинками, выразило огромное удовольствие.

— Что то самое? — спросил солдат.

— А то самое, чего у вас нехватка, сынки! — задорно выкрикнул Казаков.

— Ишь ты... — Первый солдат с сомнением покачал головой. — Вы откуда ж будете, с завода, никак? Что ж вы там сделали такого опасного!

Казаков в восхищении шлепнул себя ладошкой по колену.

— Что сделали? — и он залился мелким смешком. — Чижа доили, шуку утопили, на безмене свесили, коптить повесили!

Машина в это время тронулась, и он, привстав, закричал:

— Счастливо прохлаждаться, молодые люди, а нам недосуг!

Миновав баррикаду, грузовик запетлял по переулкам, выведившим на окраину города. Иногда над головами людей, сидевших в кузове, проносились с негромким, свистящим шелестом невидимые снаряды — наша артиллерия была с закрытых позиций по немецкому расположению.

— Теперь бы по сотке на брата, а? — неожиданно предложил Алмазов. — В самый раз было бы.

Его щеки в сеточке красных жилок цвели ярким склеротическим румянцем; вытянув ноги в валенках, он опирался ладонями в настил кузова.

— Верно, Саша! — тут же подтвердил Казаков. — На морозце она, родимая, ух, как хороша бывает!

— И видишь ты... — воодушевившись, продолжал Алмазов, — я ее лет десять, почитай, в рот не брал... Как сказали мне доктора, что нельзя, так я и вкус к ней потерял — оробел, стало быть... Отрава, думаю, ничего больше. А сейчас душа запросила.

Конец рейса был уже недалек — машина ехала по окраине, — и Казаков с Алмазовым становились все более разговорчивыми. Их спутники, те, кто был помоложе, отмалчивались, иные настороженно, другие от усталости; кто-то дремал, покачиваясь, стучаясь спиной о борт. И одни старики, охваченные странной, неуместной веселостью, болтали, шутили, пересмеивались, напоминая расшалившихся детей, на которых, как известно, возбуждающе действует самая перемена обстановки.

— Чего распетушились, добры молодцы? — незлобиво проговорил Алексей Васильевич. — И по сотке не выпили а уж захмелели.

Сам он держался более солидно, но это объяснялось его не слишком общительным, тяжеловатым характером. Как и его ровесники, он чувствовал себя очень приподнято сейчас, сидя в машине, увозящей их всех в бой... Еще недавно и он и его друзья лишь бессильно наблюдали, как стремительно увеличивалась жестокая угроза всему, что они любили в жизни; еще вчера они были только жертвами этой войны, сегодня они сами боролись. С особенной остротой они ощущали себя в этой поездке солдатами одной великой воюющей армии, в которую снова были призваны. И не осенний, холодный ветер, но обжигающий, веселящий ветер молодости, давно отшумевший для них, снова сегодня дул им в лица. Наперекор беспощадной природе они опять, казалось, были новобранцами, едущими, чтобы сражаться.

Машина достигла, наконец, городского кладбища и медленно взбиралась в гору вдоль кирпичной кладбищенской ограды. Не доехав до конца стены, она встала, и миномет бережно сгрузили на землю — отсюда надо было идти пешком. Помогая друг другу, подхватив под локти Алексея Васильевича, старики выбрались из кузова; Николаевский, сошедший раньше Наташи, галантно протянул ей руку:

— Обопритесь, прошу, а то здесь высокогато, — предупредил он.

Нетерпеливо отмахнувшись, она соскочила сама. Кидая по сторонам быстрые взгляды, поглощенная одной мыслью о Павле, который находился где-то поблизости, она не заметила, как вместе со всеми обогнула кладбищенскую стену и очутилась в негустой рощице. Молодые дубки и клены росли тут вразброс по довольно крутому склону, поднимавшемуся к облачному небу. Кое-где деревья были повалены, торчали расщепленные, мохнатые пеньки, а взрыхленная земля чернела вокруг них пятнами копоты.

Здесь Наташу и ее спутников окружили бойцы рабочего полка; они громко и весело здоровались, заговаривали с Наташей, и она улыбалась, отвечая, поддавшись невольно общему радостному тону этой встречи. Но глаза ее не переставали искать Павла, и, не видя его, она решила, наконец, спросить, как к нему пройти. Стоявший в сторонке пожилой боец, к которому она обратилась, ничем не смог ей помочь, но другой, юношески несклад-

ный, суетливый, с любопытными глазами, услышав случайно ее вопрос, закричал, что он знает, как найти товарища Громова.

— Их рота недалеко тут... А вы кто же такая будете? — поинтересовался он. — Жена? — и юноша безнадежно махнул рукой. — Прямо отбою нет от вашей сестры, ходят и ходят — то к одному, то к другому...

— Послушайте, я вас очень прошу! — воскликнула Наташа. — Скажите только, в какую сторону мне идти. Юноша отрицательно замотал головой.

— Нельзя, ни под каким видом! Запрещено командованием... И зря вы все ходите к нам — напрасный шум и мартышкин труд.

Но весь вид Наташи выражал такую мольбу, что он тут же смягчился.

— Вы бы товарищу Громову позвонили лучше, — посоветовал он ей.

— Откуда же я ему позвоню? — сказала Наташа.

— А из нашей землянки, чего лучше? Вот она, за кусточком, там мы, связные, живем...

Провожая Наташу в землянку и то забегая вперед, то останавливаясь, боец вслух размышлял о возможности ее свидания с мужем:

— Отлучиться ему самовольно никак невозможно, это первое. А разрешение просить — тоже долгое дело... Так что навряд ли вы, гражданочка, повидаете своего мужа.

— Я к нему сама пойду, — решительно сказала Наташа. — Я одна пойду.

— Тоже никак нельзя! Я же вам говорю, — закричал он, — запрещено категорически! А то у нас тут целый табор образовался бы... Каждый день ведь ходят, к одному — жена, к другому — мать... И ничего не боятся, лезут в самый огонь. Как слепые делаются от этой семейственности.

Однако юноша оказался отзывчивым и услужливым. В землянке он сел к ящику полевого телефона и потребовал соединить себя с «Сиренью». Наташа, ожидая, что он вот-вот передаст ей трубку, машинально торопливо поправляла волосы, выбившиеся из-под берета... Но и на этот раз ее постигла неудача — Павла не оказалось на его КП. И юноша-боец попросил лишь телефониста из «Сирени» передать своему командиру, когда тот придет, что на участке «Резеды» находятся его жена и отец.

Тем временем на склоне косогора, перед кладбищенской стеной, солдаты и рабочие завода устанавливали миномет. Для плиты был отрыт, вернее, выломан в мерзлой земле небольшой ровик, а для наводки вколочена на некотором отдалении свежеструганная жердь. Капитан, командир батальона, в расположении которого производилось испытание, указал также цель для стрельбы — лошину впереди за косогором, в направлении Мышкинского Поселка, где укрывалась немецкая пехота... Когда Наташа вернулась, она увидела, что на самой вершине склона, в кустах орешника, стоит на коленях человек в шинели и машет рукой, как бы отталкивая что-то от себя. Несколько красноармейцев, поглядывая на этого человека, хлопотали около миномета, поворачивая его трубу. Пониже немного, разбившись на кучки, стояли люди с завода, молча наблюдавшие за происходившим. Человек в шинели вдруг резко опустил руку вниз и, обернувшись к красноармейцам, закричал:

— Отметиться!

Наташа удивленно осматривалась: все вокруг, а главное, отсутствие каких-либо признаков неприятеля, показалось ей слишком будничным, обыкновенным, чтобы это можно было назвать настоящей боевой обстановкой. Но тут же до нее дошел взволнованный, странно тонкий голос Орлова:

— Прошу всех немедленно отойти подальше! Товарищи красноармейцы, будьте добры, отойдите!

Потом капитан — командир батальона — и Петр Кириллович о чем-то, повидимому, заспорили, окруженные молчаливыми слушателями. До Наташи долетели обрывки фраз Орлова: «Только лично убедившись в качестве механизмов...», «Не имею права, ни формального, ни морального...» Капитан, судя по его решительной жестикуляции, не соглашался с Орловым. И вместе с Власовым — директором, который недовольно почему-то поглядывал на Орлова, — они втроем отошли в сторону, вероятно, для того, чтобы их не могли слышать.

«Что там такое случилось?» — забеспокоилась Наташа и быстро пошла к Алексею Васильевичу. Но только она собралась его расспросить, как раздался голос капитана, приказывавшего своим бойцам отойти от миномета; Власов, подошедший следом за капитаном, отправил вниз, к стене кладбища, своих людей. И часть их послушно

стала спускаться по кособогу вместе с бойцами; однако старики, державшиеся отдельной кучкой, не тронулись с места.

— Идите, друзья, идите... — поторопил их Орлов, — Алексей Васильич! Иван Тимофеич! Кузьма Данилыч!

Он замахал рукой, потом поспешно снял очки, протер их тонкими пальцами, снова надел; ветер трепал его длинную белую бороду, что усиливало впечатление порывистости, встревоженности, какое он сейчас производил. Наушники на шапке он поднял, но не завязал наверху, и они, отгибаясь в сторону, трепыхались, как крылышки.

— Неспособно вам будет одному, Петр Кириллыч! — волнуясь и от этого еще больше пришепечывая, возразил Казаков. — Не сладите вы один с этой штуковиной.

— Отчего же? Теперь только мину опустить в ствол... — ответил Орлов. — Управляюсь один, без помощников... Прошу вас отойти! — выкрикнул он.

— Конечно, сейчас и одному управиться можно, дело нехитрое, — глуховатым голосом проговорил Громов. — Да только не по справедливости получается, Петр Кириллыч! Коли уж на то пошло, я один должен опробовать нашу пушечку.

— Вы? Но почему вы? Не будем пререкаться, Алексей Васильич! — сказал Орлов.

— Верно, не к лицу это нам, — подтвердил Громов. — Я ведь понимаю, что вас мучает, понимаю, для чего вы один за весь расчет остаетесь хотите... А ну как беда случится, думаете, трубу разорвет или что... Всякое, конечно, бывает... Да только трубу эту самую я обтачивал, и никто другой. Мне, значит, и полагается пухнуть из нее... Это уже, как дважды два — четыре, Петр Кириллыч!

Громов согнутым указательным пальцем огладил снизу свои седые, с желтизной усы; что-то и веселое и жесткое одновременно было в выражении его крупного, тяжелого лица... Наташе, слышавшей весь разговор, старик не казался в эту минуту ни обрюзгшим, ни сутулым — такой неожиданной силой повеяло от него.

— Откуда вы взяли, что я боюсь, как бы трубу не разорвало? — нетерпеливо сказал Орлов. — Труба выдержит...

— Ну, а коли так, чего ж вы меня отсылаете? Труба-то чьей работы? Моей! Я ее и опробовать должен...

Одно к одному. Петр Кириллыч! А вы сами лучше бы в сторонке посидели пока, поглядели... Вы у нас всему делу голова, вам никак нельзя, не полагается...

Казалось даже, что Алексей Васильевич посмеивался сейчас и над Орловым и над самим собой. Водянисто-светлые под косматыми бровями глаза его сузились, как от улыбки.

— Так я пойду... — громко заключил он, точно все уже было между ними решено.

И молодцеватым, к полному изумлению Наташи, жестом он поправил свою ушанку, такую же пушистую, пыжиковую, как у Павла, глубже насадив ее на голову.

Орлов молча оглядел Громова.

— Вот вы еще богатырь какой, удалой молодец! — проговорил он так, будто был раздосадован этим обстоятельством. — Ладно, вас не переспоришь... И одному, действительно, трудновато будет. Ну, а остальных — прошу!

Казаков, Николаевский, Алмазов дружно, хором запротестовали, перебивая друг друга. Опасение Орлова за исход этой первой пробной стрельбы, хотя и было неожиданным для всех, не могло не вызвать тревоги... И лишь вмешательство Власова заставило стариков, к большому их неудовольствию, подчиниться.

— Алеша, как же так? Почему ты, Алеша? — оглядываясь на ходу, восклицал Казаков. — Это обмозговать надо... А почему не я, к примеру?

— Ступай, ступай, Кузьма! — насмешливо напутствовал его Алексей Васильевич. — Гляди, как мы сейчас воевать будем... Подале только становись. — Обернувшись, он увидел Наташу, все еще стоявшую около него. — Ты что, Наталья! — рявкнул он повелительно. — Чтоб духу твоего тут не было!

Озорно сверкнув из-под бровей глазами, он махнул ей рукой... Наташа, ошеломленная этим внезапным преобразованием Алексея Васильевича, не обиделась и не посмела послушаться. Попятившись, она присоединилась к его друзьям... Снизу, где все теперь собрались у кладбищенской стены, было хорошо видно, как на опустевшем склоне среди голых деревьев возились около миномета два старика: худой, длинноногий Орлов в коротком пальто с развевавшимися полами, похожий на большую угловатую птицу, и массивный, широкий в плечах, неторопливый Громов... Только сейчас Наташа в полной мере

поняла, что могло угрожать обоим старикам, если миномет не выдержит огневого испытания. И она испуганно огляделась... Власов, опустив голову, покусывал свои черные усы; Казаков болезненно морщился, кожа на его лбу собралась мелкой гармошкой; Николаевский суетливо смахивал уголком платка слезы, набегавшие на глаза. Все хранили молчание, и в тишине, наступившей вокруг, были слышны лишь далекие орудийные удары, показавшиеся Наташе похожими на тревожный, заглушенный расстоянием набат. У миномета тем временем два старика продолжали что-то делать, двигались, приседали, наклонялись друг к другу, точно советовались.

Сверху, из кустов орешника, донесся еле слышный голос командира-минометчика, отдельно выговаривавшего:

— По противнику... фугасной... взрыватель замедленный... заряд первый... основное направление... левее один-двадцать... прицел шесть-двадцать...

Наташа невольно придержала дыхание. Она не видела командира — кусты на гребне косогора скрывали его — и слова команды сами собой как будто возникали там и летели по ветру. Алексей Васильевич выпрямился и поднял над трубой руки, в которых что-то сжимал.

— Ой, не вырони, Алеша! Не дай бог... — пробормотал у самого уха Наташи Казаков.

И опять сверху донесся оборвавшийся было голос командира:

— Одна мина... Огоны!

В ту же секунду Алексей Васильевич развел руки, выпустив из них мину, скользнувшую в ствол, и чуть подался назад.

Прозвучал выстрел, Наташа вскрикнула и зажмурилась. А когда открыла глаза, между деревьями тянулся серый дымок — мина ушла вверх... Но главное — и оба стрелявших старика и самый миномет были невредимы. Люди вокруг Наташи разом задвигались и заговорили:

— Так, Алеша! Давай, крой! — выкрикнул Казаков и осекся — из орешника опять послышалось:

— Левее ноль-девятнадцать... Одна мина... Огоны!

На этот раз выстрел последовал не сразу после команды: старики почему-то замешкались, присев у миномета и что-то разглядывая.

— Ну, ясно, осмотреться надобно... Это ж не блины на масленицу печь, — объяснил Казаков Наташе причину задержки.

Но вот Алексей Васильевич, разогнувшись, опять вытянул над минометом руки, точно колдуя над ним... Снова грохнул выстрел, и вторая мина ушла за косогор. Орлов поднял голову, глядя ей вслед, а Громов рывком стащил с себя свое ватное пальто и швырнул на землю.

— Ясно, жарко парню... — сказал Казаков; его маленькое личико ежесекундно менялось — то хмурилось, то озарялось восторгом.

Кто-то, не устояв, рванулся было наверх к старикам, но его остановил строгий окрик Власова:

— Куда?! Всем оставаться на месте!..

Далее и слова команды и выстрелы раздавались через одинаковые почти промежутки, приблизительно в полминуты или немногим больше. Командир вел пристрелку цели, все время меняя установки: «Прицел шесть-восемьдесят пять», «Прицел шесть-пятьдесят», «Прицел шесть-сорок два»... Только он один, укрывшись в кустах наверху, наблюдал разрывы мин — ни сами стрелявшие, ни, тем более, зрители, находившиеся еще ниже, у стены, не видели, что происходило на равнине. Но, успокоившись за участь двух стариков, Наташа с нетерпением и азартом, как и все, кто был здесь, ожидала теперь результатов их стрельбы. Меняя прицелы, командир, повидимому, все ближе подбирался к точке, в которую хотел попасть.

— Прицел шесть-сорок два... — прозвучала бывшая уже команда, — две мины... десять секунд выстрел... Огонь!

Мина — одна и вторая — умчались, а спустя еще несколько секунд ветер принес отрывистый голос командира:

— Есть!.. Накрыли!.. Четыре мины... Огоны!

Казаков сильно толкнул Наташу локтем.

— Ясно, Алешка стрелял! — ликуя, выкрикнул он.

Прогревели почти без пауз четыре новых удара, и командир вновь скомандовал:

— Четыре мины!.. Прицел тот же... Огонь!

Раздались еще четыре выстрела, потом сверху послышалось:

— Есть!.. Спасибо за меткую стрельбу!

И Казаков, не выдержав, сорвав с головы свой каракулевый «пирожок», побежал наверх — легкий, как будто порхающий. За ним устремилась Наташа, а потом и все остальные...

— С двенадцати выстрелов попали! Я считал! Это знает!.. — торжествующе восклицал кто-то.

Двух удивительных минометчиков плотно обступили, и Наташа с трудом протиснулась к Алексею Васильевичу. Старик стоял, широко расставив ноги, держа узкую сигаровидную мину, казавшуюся игрушечной в его больших руках. Орлов, сидя на корточках, сосредоточенно рассматривал минометную трубу.

— Товарищ Орлов, товарищ Громов, поздравляю с боевым успехом! — подходя, громко сказал Власов. — Также с производственным.

— Может, пальнем еще, а, Петр Кириллыч?! — как бы подзадоривая, спросил Громов.

Орлов отрицательно покачал головой, и наушники на его шапке затрепыхались. По контрасту с Громовым он выглядел особенно бледным; борода его беспорядочно растрепалась по воротнику пальто, по груди.

— Механизмами довольны, Петр Кириллыч? — спросил Власов. — Ничто не отказало?

— Надо будет кое-какие мелочи устранить. — Орлов выпрямился, рассовывая по карманам измерительные инструменты. — Поворотное устройство лучше отрегулировать... — Он мягко улыбнулся, облегченно вздохнув. — Опробовали так-таки! Теперь дело яснее стало...

— Только разогрелись... — с сожалением проговорил Громов.

И, обернувшись, откинув голову, он посмотрел в сторону невидимых врагов. Он все еще не расстался со своей миной; положив ее на ладонь левой руки, придерживая за оперение правой, Алексей Васильевич, казалось, примеривался, глядя вверх: не зашвырнет ли он ее сам, хорошенько размахнувшись, туда, за косогор, выше молоденьких дубков, чуть пониже серого неба.

— Будет действовать наш миномет, — с удовлетворением заключил Орлов.

Люди теснились поближе к нему и к Громову; Наташе хотелось расцеловать обоих стариков.

— Как был ты ухарь, Алеша, так ухарем и остал-

ся!..— выкрикивал Казаков, наскakiвая на Алексея Васильевича.

Орлов не успевал отвечать на вопросы и советы, сыпавшиеся с разных сторон.

— Прицел как? Соответствует своему назначению? — осведомился Николаевский.

— Амортизатор хорош?.. Я насчет амортизатора, Петр Кириллович! — добивался кто-то ответа.

— Сегодня закончим все, товарищи? — спросил Власов. — Надо сегодня, чтоб к празднику выпустить, к годовщине... По традиции, как у нас водится.

Сверху спустился командир, управлявший огнем, и пожал обоим минометчикам руки; подошел капитан, командир батальона, и Власов, заведя его, крикнул:

— Все в порядке, так можете и по начальству доложить, товарищ капитан! Дадим вам в скорости сколько угодно новеньких минометов. Бейте из них захватчиков днем и ночью! Ну, а на сегодня мы отстрелялись... Что же, товарищи, давайте собираться домой.

...Возвращаясь к машине и унося с собой миномет, создатели его продолжали шумно обмениваться впечатлениями. И даже то, что немцы начали вдруг артиллерийский обстрел, не испортило настроения людям, возбужденным успешным исходом испытания. Правда, снаряды рвались пока далеко — на равнине, за косогором — и не слишком часто. С дороги, на которой поджидал заводской грузовик, было видно лишь, как над гребнем возвышенности всплывал кудрявый дым, продираясь сквозь голый орешник. Потом снаряд разорвался где-то на противоположной стороне обширного кладбища, может быть даже за его пределами.

Наташа, только подойдя вместе со всеми к машине, подумала о том, что ей так и не удалось повидаться с мужем. Она невольно оглянулась назад. В это же мгновение из-за кладбищенской стены выскочил на дорогу очень высокий человек в красноармейской шинели, но в знакомой пыжиковой шапке и кинулся со всех ног вниз, к машине... Наташа, не вскрикнув, молча побежала обратно, навстречу мужу, протягивая к нему руки — со стороны можно было подумать, что она взывала о помощи. И радостное выражение на лице Павла сменилось встревоженным...

— Ната, Наточка! Что с тобой? Что? — закричал он.

Не отвечая, она прижалась к нему, и ее опажнул неожиданный чужой запах сырости и земли, исходивший от его шинели; инстинктивно отстранившись, она воскликнула:

— А мы стреляли у вас... То есть не мы, а твой отец и Петр Кириллыч.

— Что случилось? Что? — спрашивал Павел, обхватив жену за талию и заглядывая ей сверху в глаза.

Она показалась ему такой перепуганной и прелестной, что от страха за нее, от любви к ней он плохо понимал, о чем она говорила.

— Да ничего не случилось, — Наташа коротко, поспешно поцеловала Павла в губы и откинулась, повиснув на его руках. — Все обошлось благополучно... Они даже в немцев попали с двенадцати выстрелов... Ох, а я думала, что уже не встречу тебя.

— Кто попал в немцев?.. — переспросил Павел, жадно любуясь Наташей, сознавая лишь то, что он снова видит и обнимает ее.

— Я ж тебе сказала, твой отец и Петр Кириллыч... Они испытывали миномет... — Она опять отстранилась, упираясь ему в грудь. — Что это у тебя? — спросила она другим, тихим голосом.

Кончиком пальца она осторожно дотронулась до розовой с присохшей кровью царапины на лбу Павла.

— Все зажило, чепуха! — сказал Павел и расслабленно улыбнулся. — Отец стрелял? Не может быть! Отец здесь?.. Прямо чудеса.

Алексей Васильевич сидел уже в машине, когда появился Павел, и выбрался из кузова, чтобы поздороваться с ним.

— Дай-ка, дай поглядеть на тебя, Аника-воин! — приветствовал он его со снисходительной, как в давние времена, усмешкой.

Казалось, он опять относился к своему сыну немного иронически. Тем не менее, он обнял Павла и трижды крест-накрест поцеловал.

— Ой, какие вы оба большие! — простодушно проговорила Наташа, глядя на них снизу, и засмеялась.

Даже встав на цыпочки, она не доходила до плеч ни мужу, ни свекру.

— Так что же, Павел, как у вас тут дела? — спросил Алексей Васильевич более сердечно.

— Теперь пойдут дела, — ответил тот, с удовольствием всматриваясь в изменившееся лицо отца. — Говорят, у нас минометчики меткие появились.

Старик действительно был неузнаваем. И самое удивительное заключалось не в том, что он держался прямо, крепко стоял на ногах, а в той покровительственной ласковости, с которой он снова говорил с сыном.

— Что ж нам, старикам, оставалось? Видим, поддается молодежь, слабнет день ото дня, — пошутил он. — Ну, мы и надумали подпереть вас.

С машины раздавались возгласы:

— Поспел все-таки, Паша!

— Подойди-ка покажись!

— Павел, друг, здорово!

Его все знали на заводе, и он вынужден был обойти вокруг машины, пожимая тянувшиеся к нему руки, отвечая на расспросы. Петр Кириллович, перегнувшись через борт, тоже поцеловал его.

— Хорошо, что повидались, — сказал он растроганно. — Я, знаешь, много думал о тебе...

— А все ж, Пашка, против своего отца ты мальчишка, и не больше! — прокричал Казаков. — Далеко тебе еще до него...

— Приятно вас видеть в добром здоровье, — сказал Павлу Николаевский.

Павел отвечал, отшучивался, поминутно оглядываясь на Наташу. Щеки у нее ярко румянились, а золотистый свет в ее темных, теплых глазах сиял жарче, чем всегда; она сама то и дело вмешивалась в разговор, снова принимаясь рассказывать, как происходило испытание миномета, и Павел, не вникая в смысл слов, бесконечно наслаждался одним ее присутствием. Ему, покинувшему только что свои окопы, казалось, что в ней одной сосредоточено все человеческое счастье, вся земная, живая красота. И он не замечал ни ее помятого пальто, ни запыленных ботинок, ни спутанных волос, выбившихся из-под берета.

Внезапно будто тяжелый камень ударил в железный лист и раскололся; на косогоре, замыкавшем позади видимое пространство, поднялся земляной столб, перемешанный с дымом и обломками веток. Тотчас же заработал мотор автомобиля, и те, кто еще не успел сесть, стали карабкаться в кузов.

Павел, обхватив Наташу за плечи, прижав к себе, торопливо повлек ее к машине.

— Не бойся! Вы успеете уехать... Не бойся! — повторял он. — А я приду, я вернусь...

Он, как девочку, взял ее подмышки, высоко поднял и поставил на платформу кузова.

— Паша, до скорого! Заезжай на завод при случае... Привет всем нашим! Бокову привет! — неслось с машины.

— Передам! Все передам! Уезжайте!.. Я вернусь, вернусь! — прокричал Павел, глядя на Наташу, обещая это не только ей, но и самому себе, тоскуя и ужасаясь тому, что она покидает его. — Я обязательно вернусь!

Вспомнив, что надо еще попрощаться с отцом, он обернулся. Алексей Васильевич не спеша подходил к нему сам. И уже не насмешничая, но со сдержанной, неумелой ласковостью он легонько погладил сына по груди.

— В шинелишке не зябко, нет? — понизив голос, точно по секрету, спросил он.

— Ну, что вы! До свиданья, папа, спасибо за оружие, — сказал Павел.

— Так ты приходи к нам, если можно будет... — проормотал Алексей Васильевич и, насупившись, пошел к машине.

Павел помог отцу забраться в кузов, потом поднял борт и закрепил его.

Наташа, оттолкнув кого-то, вставшего впереди нее, рванулась к борту.

— Павлик! Пустите меня... — спохватившись, закричала она.

Лишь теперь, попрощавшись с Павлом, она рассмотрела вдруг, как он сильно изменился: шинель была ему узковата и коротка, отчего он показался ей каким-то неустроенным, неблагополучным; лицо его потемнело, будто закоптелось, а свежая царапина над глазами напоминала горестную морщину. И Наташе невыносимо было покинуть его таким...

— Что ты? Да уезжайте же! — почему-то разозлившись, крикнул Павел.

И машина двинулась, как будто шофер только и ждал этого его распоряжения.

Некоторое время Наташа видела еще одинокую фигуру своего мужа, стоявшего посредине дороги. В тот

момент, когда машина поворачивала за угол, ударил новый близкий разрыв, и земляной фонтан взметнулся за стеной кладбища.

— Озлились фрицы на наш миномет, — сказал Алмазов.

3

Лена Колесникова осталась в команде разведчиков, и даже Витя Веревкин ничего теперь не имел против этого; Володя Тихонов, хотя и предложил было девушке поселиться пока в городе у его матери, также в глубине души одобрил решение Лены. И с памятной ночи их первой разведки все трое — Лена, Володя и Витя — не расставались больше ни на отдыхе, ни на выполнении заданий. Правда, каждый раз, когда надо было опять уходить в расположение врага, Володя огорчался, беря с собой Лену, — он боялся за нее, — но, во-первых, она упрямо настаивала на своем участии в этих поисках, а во-вторых, сам Володя считал, что иначе она и не должна была поступать. В его отношении к жизни и к людям безраздельно господствовала ясная, не знавшая компромиссов логика равенства и справедливости. И он не находил ничего, что позволило бы Лене занять исключительное по сравнению с другими разведчиками положение. Знание местности и умение метко стрелять, обнаружившееся на занятиях, делали девушку безусловно полезным спутником. А ее необыкновенная, на взгляд Володи, красота, ее удивительно милая, как ему казалось теперь, манера говорить, улыбаться, встряхивать своими белокурыми кудрями, удивленно приподнимать брови не могли, конечно, служить поводом для освобождения от трудов и опасностей их службы. Больше того, самые эти опасности и труды представлялись ему такими естественными сейчас и обязательными для каждого, что отказать в них кому-либо было бы опять-таки обидной несправедливостью.

Из своего похода в сожженное немцами Первомайское Володя вернулся как бы сразу повзрослевшим и еще более деятельным. С этого момента он не разрешал уже решительно никаких послаблений по службе ни себе, в первую очередь, ни другим.

Он подолгу возился теперь со своим оружием, разбирал и чистил его, а на занятиях, возобновившихся у раз-

ведчиков, тренировался с каким-то упрямым ожесточением. Их небольшая группа была недавно пополнена, переформирована, и ею командовал ныне лейтенант, назначенный штабом боевого участка. Новый командир, в прошлом спортсмен, инструктор физкультуры, особенно заботился о физической подготовке разведчиков, и Володя так много и старательно бегал, прыгал и переползал, что коленки у него постоянно болели от ушибов и ссадин. За несколько дней он еще заметнее похудел, и зеленые строгие глаза его на смуглом лице как будто увеличились... Избранный комсоргом, Володя неукоснительно требовал и от товарищей такого же подвижнического почти рвения, искренне удивляясь, если они бывали порою им недовольны. На этой почве у него произошло даже столкновение с Леной, едва не окончившееся ссорой.

Случайно как-то, заметив нагар в стволе револьвера, принадлежавшего Лене, он вежливо и серьезно напомнил ей о правилах ухода за личным оружием и был глубоко озадачен, когда в ответ на его разумное, товарищеское указание она почему-то раскричалась:

— Ты надоедливый мальчишка, вот ты кто! Ты показательно-образцовый придира!.. Сухарь ты... больше ничего... И отстань от меня, пожалуйста, со своими замечаниями! И вообще, не твое дело — вмешиваться...

В довершение всего ее глаза неправдоподобно быстро наполнились слезами, задрожавшими на слипшихся ресницах.

— Послушай, Лена!.. Ведь револьвер может каждую минуту тебе понадобиться... И он портится от нагара, это ясно... — стараясь не выдать собственного волнения, как можно убедительнее сказал Володя. — Я говорю для твоей же пользы...

— Никто тебя не просит беспокоиться! — жалобно закричала Лена, и слезы покатились по ее выпуклым, гладким щекам. — Надоел ты всем до чертиков! И устала я, измучилась, можешь ты это понять!..

Володя был так изумлен и подавлен, что не пытался больше вразумить девушку. Не понимая ни ее, ни себя в эту минуту, он торопливо, испуганно заговорил:

— Что ты?! Что с тобой?! Перестань!.. Что ты?! — Он морщился, так как видеть плачущую Лену было мучительно для него. — И давай я буду чистить твой ре-

вольвер. Только не реви, слышишь! — он понизил голос и покраснел. — Я всегда буду чистить, хорошо?

Это было явно не по правилам, и он очень смутился, предложив Лене свои услуги... Но, странное дело, девушка, рассердившаяся на него только потому, что он из лучших побуждений побеспокоился о ней, нисколько не обиделась, когда на следующий день он после учебной стрельбы взял для чистки ее револьвер. Если б кто-нибудь другой попробовал за него самого сделать то, что являлось его прямой обязанностью, он, конечно, возмутился бы. Но Лена вообще была мало ему понятна — то она проявляла легкомысленное отношение к своему оружию, то хвасталась своей действительно снайперской стрельбой, то безутешно горевала, вспоминая о матери и сестре, то начинала вдруг беспричинно шуметь, смеяться, то откровенно зевала на занятиях с картой и с компасом... Все это противоречивое поведение обескураживало Володю, не поддаваясь разумному объяснению.

Сам он, с суровой добросовестностью, готовил сейчас себя и своих товарищей по взводу к безжалостной борьбе, еще предстоявшей им. И он стремился лишь возможно скорее увидеть их всех настоящими солдатами, зрелыми воинами, закаленными и умелыми, как это и было необходимо, чтобы победить... Но увы, воспитание некоторых его друзей в этом жизненно необходимом направлении шло медленнее, чем требовали того обстоятельства. И даже испытанный его напарник Витя Веревкин, который, кстати сказать, точно родился солдатом и разведчиком — так хорошо чувствовал он себя на новом положении, — вызывал у Володи тревогу. Витя ловко и быстро ползал, превосходно усвоил обращение с гранатами, остроумно маскировался, никогда не терял присутствия духа, но иногда на занятиях он становился рассеянным, почти как Лена, дневалить он не любил, от хозяйственных дел отлынивал, кроме того, он был сонлив. По утрам Володе стоило больших усилий добудиться приятеля, спавшего рядом на полу, на соломе, застеленной плащ-палатками. А затем внезапно обнаружилось, что и в моральном отношении Витя находится еще далеко не на высоте.

С некоторых пор внимание разведчиков стал привлекать вещевой мешок Веревкина — непомерно тяжелый и тщательно охранявшийся им от любопытных глаз. На вопросы товарищей, что там у него хранится, Витя недо-

вольно отвечал: «Мой мешок, что хочу, то и кладу». Но однажды, оставшись наедине с Володей, он, поддавшись тщеславному искушению, высыпал перед ним на пол содержимое своего мешка. И, к большому удовольствию Володи, это оказалась богатейшая коллекция патронов: револьверных, автоматных, винтовочных, трофейных немецких. Были там и зажигательные с красным венчиком на острие пули, и трассирующие с зеленой каемкой, и утяжеленные — для стрельбы на короткой дистанции — с желтой отметиной, и бронебойные — черные. Бог весть откуда, какими способами накапливалось это сокровище, но оно было в полной мере неоценимым.

— Вот молодец, Витя! Вот здорово! — восклицал обрадованный Володя, сидя на корточках и перебирая патроны. — Теперь мы в случае чего и сигнал подать сможем и указать цели! Вот удружил! Теперь и по танку можем пальнуть...

— Ладно, хватит тебе, — хриловато проговорил Веревкин, почему-то забеспокоившись, и начал убирать свою коллекцию в мешок. — Смотри, ребятам не рассказывай, — предупредил он. — Все равно никому не дам.

— Как это не дашь? — переспросил Володя.

— Не дам — и все... Самому пригодятся...

Володя медленно выпрямился, не сводя с приятеля изумленных глаз.

— Отдашь, если прикажут... Вот еще собственник выискался, папаша Гобсек!.. — возмутился он. — Отдашь тому, кому они будут нужнее, поделишься со всеми. Понятно?

— Очень надо... Пускай бы сами о себе заботились, — обиженно ответил «папаша Гобсек». Круглое, курносое, с бархатной родинкой на щеке лицо его поскучнело. — Так каждый захочет на готовенькое... Ишь ты, умный какой — «поделишься со всеми...» А мне что останется?

— Не ты один воюешь, все воюют... Понятно? И не о своей только славе надо думать, а обо всех, понятно? — сказал Володя.

— А я не для славы... Очень мне нужна слава... — пробормотал Веревкин. — Я по фашистским осьминогам стрелять хотел...

— Подумаешь, удивил... Все по осьминогам хотят, — сказал Володя.

Витя, сидя на корточках, завозился со своим мешком, долго, без нужды перекладывая там что-то, потом спросил вялым голосом:

— Немного оставить себе можно?

Но бывали также минуты, в которые Володя искренне, от души любовался своими товарищами. Это случалось, когда они пели песни, усевшись вечером в первой комнате большой избы на окраине города, где всех их поселили. Запевала обычно Лена в паре с Женей Синицыным, учеником ремесленного училища, — у обоих был хороший слух, — а остальные тотчас же вступали хором. В песнях вспоминались приамурские партизаны и девушка из горящей Каховки, матрос Железняк и Степан Разин, Щорс и Ворошилов. И происходила странная, но весьма приятная вещь: казалось, что к славным судьбам и к легендарным подвигам, о которых были сложены песни, становились каким-то образом причастны в эти минуты сами поющие. И то, что жило в их сердцах, — их отвага и благородство, пылкость и бескорыстие, — читалось на изменявшихся, как будто светлевших лицах ребят. Лена нетерпеливо откидывала волосы со лба, и ее выпуклые щеки розовели; Витя посверкивал своими карими глазами, а иногда, не удержавшись, пронзительно свистел; грустноватая, задумчивая физиономия Синицына приобретала решительное выражение, а его друг, застенчивый Валя Лукашевич, мечтательно устремлял взгляд вверх. У поющих были все больше высокие, резкие голоса, и песни звучали, может быть, слишком громко и однообразно. Но кто-нибудь от удовольствия хлопал себя по колену, кто-то клал руку на плечо Володи, и ему тоже хотелось дружески обнять соседа. Сам он пел громче других и был в эти минуты счастлив, ощущая общую со всеми готовность к любым битвам и испытаниям.

Впрочем, и на деле, на выполнении заданий, его товарищи, строго говоря, не заслуживали упреков. Все они перебивали уже в опасных переделках, а Синицыну и Лукашевичу довелось даже однажды отстреливаться от немецкой погони. Володя после ночи в Первомайском еще один раз ходил с Витей и с Леной в разведку и; выполнив поручение, благополучно, в срок вернулся. Бородатый капитан из штаба боевого участка остался очень доволен результатами этой второй разведки, когда

Володе удалось связаться с одним из партизанских отрядов, действовавших под городом. Но сам Володя был пока не удовлетворен: его старшие товарищи, державшие оборону, находились в непрерывных почти боях, и то, что он сделал до сих пор со своими друзьями, представлялось ему малозначительным.

Пробираться сквозь немецкое расположение становилось, однако, все более сложным делом, и Володя почувствовал это, отправившись в новую, третью разведку. В первые дни осады у немцев, осевших в населенных пунктах, не было сплошного фронта, и обойти их на флангах, то есть попросту свернуть с дороги в сторону, в лес, в поле, не составляло большого труда. Позднее непрерывной линии окопов также не появилось, но промежутки между неприятельскими частями сузились, а местами и вовсе исчезли. В пригородных лесах укрывалась немецкая артиллерия, подтянутая к городу, на проселках стояли немецкие дозоры.

Володя, Витя и Лена — так само собой повелось, что ходили они всегда вместе, — должны были снова встретиться с представителями партизанского отряда, передать им инструкции Комитета Обороны, а взамен получить сведения о противнике. Выйдя под вечер из города и дождавшись на рубеже нашего боевого охранения темноты, разведчики выбрались вскоре на знакомый им проселок, по которому три дня назад без помех дошли до Гнилой засеки — условленного места встречи. На этот раз, однако, они едва не наскочили на неприятельский патруль, и если б кто-то из немцев не закурил, выдав таким образом свое присутствие, разведчикам не миновать бы столкновения с ними. Переждав в кустарнике, пока патруль удалился, Володя, свернув с дороги, повел товарищей опушкой соснового бора. Правее них по горизонту трепетало зеленоватое сияние ракет — там находился Мышкинский Поселок, превращенный немцами в свой опорный пункт, а слева и впереди простирался густой мрак. Неожиданно послышалось довольно близкое урчание разогревавшегося автомобильного мотора, и Володя круто забрал еще левее, углубившись в бор. Сделав таким образом большой крюк, разведчики с опозданием достигли наконец места, где их должны были ждать. Они долго искали расщепленную березу на лесной полянке, от которой следовало взять прямо на запад, потом осторожно

продирались через можжевельник, цеплявшийся за ноги. Чтобы не заблудиться, Володя то и дело справлялся со своим новеньким компасом на руке. Узкая ромбовидная стрелочка, источавшая фосфорический свет, подрагивала за стеклом, колеблемая таинственными дуновениями, и замирала, указывая всегда одно и то же направление...

— Темнотища какая! — тихонько пожаловалась Лена. — Прямо на глаза давит, даже голова разбалливается.

Володя чуть было не напомнил ей, что разведчик должен уметь видеть и в темноте, но на этот раз сдержался. Спустя несколько минут из глубины леса послышался негромкий голос:

— Стой на месте!.. Кто такие?

— Свои!.. — поспешно выкрикнула Лена, и тотчас же раздался недовольный шепоток Вити:

— Что ты, Лена, суешься всегда первая? Просто неловко с тобой!

— Пароль? — спросил невидимый человек.

— Порох, — сказал Володя. — Отзыв?

— Псков... Вы, что ли, ребята? Я аж замерз, дожидаясь вас!..

— Мы, мы! — обрадованно воскликнула Лена и бросилась вперед.

Еще минут десять они шли по лесу, следом за партизанским связным, а затем спустились в глубокую землянку. Здесь было очень накурено и душно, но относительно светло от фонаря, оплетенного проволокой, называвшегося почему-то «летучая мышь». За столом, сбитым из неструганных досок, сидел, подпирая голову рукой, пожилой, как показалось Володе, человек с недлинной курчавой бородкой, в овчинном полушубке. Ступив вперед, Володя вытянулся и, как полагается по уставу, доложил о своем прибытии. Но человек, лукаво вдруг прищурившись, подмигнул Володе, что и озадачило его и, по правде говоря, мало ему понравилось.

— Старшой будешь? — благодушно спросил партизанский командир. — По имени-то как величать? Володей? — он поднялся из-за стола и поочередно пожал всем руки. — Тебя как? — обратился он к Веревкину. — Виктором? Так... Тебя? Леной?.. Тоже доброе имя... Будем, значит, знакомы... Меня Никитой Данилычем все зовут... Ну, садитесь, ребятки!

Он поинтересовался, как добирались сюда разведчики, Володя коротко ответил, затем достал из-за пазухи куртки связку газет, а из нагрудного кармана — приказ в конверте. И командир, тут же вскрыв конверт, углубился в чтение, машинально почесывая, видимо, с непривычки, свою недавно отпущенную бородку.

Володя, услышав за спиной сдавленный голос Лены, обернулся.

— Стыдно, Виктор! И не проси, чтоб тебе ее дали! — волнуясь, шептала Лена. — Не смей просить...

— А я на обмен, так на так... Я им свою дам, а они мне свою... Ничего тут нет такого, — бормотал Витя. — Взаимная выручка, вот и все...

Володя догадался, что речь шла о гранате, лежавшей перед командиром на столе, — такой штучки и он еще не видел. Круглая, как мячик, зелененькая, с короткой красной шейкой, с аккуратным металлическим колечком, она сама как будто просилась в руки. Но, разумеется, Лена была права, пытаюсь усовестить Витю.

— Взаимная выручка! — Она даже покраснела от негодования. — Ты-то их чем выручаешь? Я ведь знаю: строишь умильную рожицу и начнешь клянчить. Ну, конечно, пожалеют, дадут...

— Ребята! — строго окликнул их Володя, и они замолчали.

Кончив чтение, командир сложил бумажку, спрятал в карман на грудь, взял было газеты, но отложил их и сказал:

— Слушай, теперь ты, старшой, передай своему начальнику...

Он поднял с пола и кинул на стол портфель. Володя очень удивился — так неуместно выглядел здесь, в землянке, обыкновенный дерматиновый, потертый портфель, с пожелтевшими металлическими уголками. Вынув из портфеля карту, командир расстелил ее на столе и начал показывать, где расположены немцы.

— Запомнишь, старшой, запомнишь? — поминутно спрашивал он. — Повтори-ка... А то запиши лучше... Только ежели что, ты эту бумажонку...

— Не беспокойтесь, я ее уничтожу, — сказал Володя.

— Во-во!.. Ты, видать, парень образованный, знаешь, с какого конца ложку брать, — сказал командир и опять, неизвестно для чего, подмигнул.

Володя недовольно нахмурился... Однако сведения, которые он получил сейчас, были важны: оказалось, что во всех почти ближайших населенных пунктах стояли теперь крупные части неприятеля; партизанский командир точно называл их номера, сообщал данные об их численности, о вооружении. Из его слов следовало также, что в основном это были войска, прибывшие сюда в самое последнее время, — немцы стягивали, повидимому, силы для новых атак... И Володя, слушая, подумал, что у этого странноватого, несерьезно державшегося командира разведка была поставлена совсем неплохо.

Между прочим, командир сказал, что в лесу, через который пробрались сюда Володя с товарищами, находились немецкие танки и что там следовало поэтому соблюдать особенную осторожность...

Вручив затем Володе для передачи свое донесение в запечатанном конверте, командир снова потянулся к газетам, — вероятно, ему очень хотелось поскорее развернуть их, — и снова помедлил.

— Еще передай в городе, что товарищ Волков умер... — сказал он, — от ран, не приходя в сознание. Да, вот так... — Он с ожесточением поскреб в своей бороде. — Легкое у него было пробито.

— А кто это товарищ Волков? — сочувственно спросил Володя.

— Хороший очень человек, — сказал командир. — Бухгалтер совхоза нашего, комиссар мой.

Откинувшись затем к земляной стенке и упершись ладонью в край стола, он оглядел разведчиков.

— Когда думаете идти, ребятки? Вам бы отдохнуть малость надо... Эх-ма, и угостить вас нечем!.. — пожалел он.

— Спасибо, мы сейчас же пойдем. Нам надо вернуться до рассвета, — сказал Володя.

— Сейчас и пойдете... Ну, молодчаги! — и командир, встав, чтобы проститься, опять насмешливо сощурился.

«Что вы нам все время подмигиваете? — чуть не проговорил вслух Володя. — Что вы за детей нас считаете?»

— Бывай здоров, Володя, и ты, Виктор!.. Лихие вы ребята, как погляжу! — командир задержал в своей руке пальцы Лены. — Говоришь, тебя Леной зовут, Колесниковой? Постой-ка, — он потер подбородок. — Ты не Петра ли Афанасьевича дочка?

— Да, конечно,— ответила Лена.

— Какая невеста выросла! — обрадованно воскликнул командир. — И не признаешь тебя теперь! Ах, ты, какая красавица стала!.. Ну, что тут скажешь? — Рассматривая Лену, он склонял голову то на одно плечо, то на другое. — А ведь я тебя еще девчушкой махонькой помню!

— Меня? — Лена, подняв бровки, улыбнулась. Это была та особая, неопределенная, слабая улыбка, что, по наблюдениям Володи, появлялась у нее всякий раз, когда ей хотелось понравиться.

— Именно тебя! Смотри ты, что бывает! — Командир никак не мог успокоиться. — Я ведь учился на курсах у вас в Первомайском, у Петра Афанасьевича!.. Давно это, правда, было, тебя еще в одеяльце носили тогда. Скажи, как все меняется! Петр-то Афанасьевич в армии, я слышал? Где он, как он?

— Не знаю, — тихо сказала Лена.

— Постой-ка, постой... — Командир пристально взглянул на Лену. — Ваши-то успели уйти из Первомайского?

Улыбка сбегала с лица девушки, и она только качнула отрицательно головой.

— Не успели? Как же так! — с досадой сказал командир. — Ну, да не горюй, ничего, — помолчав, громко заговорил он, нарочито возвысив голос. — Немцев побьем, прогоним, тогда и твои найдутся.

— А где? Вы знаете что-нибудь о них? — прошептала Лена.

Володя невольно встал поближе к девушке, как бы желая защитить ее от дурного известия, и кинул гневный взгляд на хозяина землянки, такого неловкого и неделикатного, несмотря на свой почтенный возраст.

— Точных сведений не имею, Леночка! — ответил тот нерешительно. — Как же это они не уехали?! — опять с укоризной спросил он.

— Ну, значит, не смогли уехать, случается же так!.. Помешали им или поздно уже было... — сердито сказал Володя.

Не обратив внимания на его тон, командир, глядя на Лену, невесело подтвердил:

— Всякое могло случиться, верно... Что ж теперь делать? Будем, Леночка, надеяться на лучшее.

— Да что, что вы знаете? — испуганно вскрикнула она.

Командир, отвернувшись, яростно рвал ногтями свою бородку, не решаясь, повидимому, сказать правду. И Лена, побледнев, прижала руки к груди, лицо ее стало недоброе, диковатым...

— Увели всех из Первомайского, к себе погнали, — выговорил наконец командир. — Вот что вытворяют, гады! — Он стукнул кулаком по столу так, что огонек в фонаре подскочил и тени людей метнулись разом по стенам, по бревенчатому потолку, точно в землянке действительно неожиданно выпорхнули из углов летучие мыши. — Из Дубиничей тоже жителей увели, — со злобой продолжал он, — кто в чем был, в том и погнали, а деревню сожгли.

Он положил руку на плечо Лены и легонько встряхнул ее.

— Не горюй, голубка! Заплатят нам изверги за все... А потом, ничего же еще не известно. Некоторые вот убегают, например...

— Конечно, многие убегают... Это ясно! — тотчас же поддержал его Володя. — Пока до границы доведут, сто раз убежать можно...

Но Лена все молчала, диковато глядя, губы ее начали вздрагивать, и Володя, чувствуя, что если не прекратить этого разговора, она обязательно заплачет, очень громко, официально спросил:

— Разрешите отправляться, товарищ командир?

Тот удивленно посмотрел на Володю и кивнул головой. Вместе с разведчиками он вышел из землянки и проводил их немного, идя рядом с Леной, повторяя время от времени: «Не горюй, голубка, не падай духом...» Видно было, что он искренно сочувствовал девушке, но тем не менее Володя обрадовался, когда командир, прощавшись с каждым в отдельности, оставил их.

За недолгое время, что они провели в его землянке, старый лес с непривлекательным названием Гнилая засека неузнаваемо изменился. Небо расчистилось, на нем засияла круглая, полная луна, и ее рассеянный голубоватый свет пронизал воздух. Стоял несильный морозец, как и всю последнюю неделю, но снега было мало, днем он подтаивал, и земля мягчала, а по ночам покрывалась твердой коркой. Теперь земля казалась выкованной из

мерцающего пестроватого металла, а лес, которым шли разведчики, превратился в фантастическую путаницу обледенелых, будто застекленевших стволов и веток, светлых туманных пятен, иссиня-черных, резких теней. Высокая фигура партизанского командира быстро пропала в этой лунной неразберихе, и Володя остановился, ожидая Лену.

— Я хотел тебе сказать, — начал он тихим, но решительным голосом. — Ты ведь не одна-одинешенька, верно?

Лена не отвечала, глаза ее, не мигая, вопрошающе смотрели из глубокой, синеватой тени, упавшей на лицо; легкий парок дыхания вылетал из полуоткрытого рта.

— Тебя этот товарищ расстроил, я знаю, — заговорил Володя еще тише. — Заладил одно: «Не горюй, не горюй!..» А мы, чем горевать, мстить будем! Вот тоже, старый человек, а не понимает...

— Какой же он старый? — проговорила Лена устало. — Лет тридцать ему, не больше...

— А тридцать — это мало, что ли? — сказал Володя. — Также хватит... И подмигивает все время, словно мы с ним в игрушки играем.

— Ох, Вовка, тебе еще все взрослые стариками кажутся!.. Чудачок ты! Дружок мой дорогой!.. — печально воскликнула она.

И он не успел что-либо ответить, как она обеими руками неожиданно обняла его за шею и пригнула к себе. Володя ткнулся губами в ее пушистый платок, испугался чего-то, инстинктивно попытался высвободиться, но в ту же секунду почувствовал, что губы Лены и ее холодный носик вдавились в его щеку. Она три раза чмокнула, точно клюнула его, всхлипнула и зарылась лицом в его меховой воротник. Платок у нее развязался, сполз на плечи, как это, впрочем, часто случалось, и ее спутанные волосы поднялись золотистым, полупрозрачным, искрящимся облачком у самого его лица... Мгновенно одеревенев, Володя не шевелился, даже придержал дыхание, но сердце его бешено застучало. А золотистое, пронизанное светом, щекодавшее кожу облачко ее волос быстро, казалось, увеличивалось, росло, окутывая его и не позволяя двинуться...

— Дружок мой, дружок... — невнятно, сквозь слезы, повторяла Лена, вздрагивая от плача, шмыгая носом. —

Ты прости, что я... что ругала тебя. У меня нервы часто не выдерживают... Мне и мама говорила... Ой, мамочка моя! — выкрикнула она и, оттолкнувшись от Володи, закрыла лицо руками.

Он также поспешно отступил на шаг и глубоко, жадно вздохнул.

— Сейчас опять... упадет у тебя, — проговорил он первое, что пришло ему в голову.

Лена ладонями отирала от слез щеки.

— Что упадет? — спросила она.

— Ну что... с головы упадет... — сказал Володя и, сообразив, что сказал глупость, растерянно умолк.

Его оглушило сознание того, что Лена сейчас, вот здесь, обняла его и поцеловала — первой обняла и сама поцеловала! И будто душный внезапный жар обдал вдруг Володю — таким устрашающим и счастливым было это сознание.

— Ах, это ты про платок!.. — Лена быстренько повязала голову. — Ты понимаешь, что меня мучает? — заговорила она жалобным шепотом, снова близко подавшись к Володе. — Ты понимаешь, если бы я не ушла тогда в город, мы бы с мамой и с Лизкой убежали. Я бы их, наверно, спасла, наверно...

Володя не в силах был что-либо ответить ей.

«Она, Лена, и я... И она моя девушка теперь... — молниеносно проносилось в его мыслях. — Как это все произошло?! Она такая красивая!.. И этот лес... — и она, Лена!»

Он задыхался, и ему хотелось пробежаться, подпрыгнуть, может быть, влезть на дерево, встать на руки, что-то прокричать.

— Но я должна была пойти, должна была! — как бы убеждая самое себя, говорила Лена. — А теперь вот их угнали... И я не знаю, куда, зачем... А Лизке всего двенадцатый год пошел. И мама у меня хотя и хорошая очень, но нерасторопная, знаешь...

Полные слез глаза девушки блестели в тени, опять лежавшей на ее лице. И Володя видел только эти лучащиеся глаза, устремленные на него, от которых, казалось, и исходило то светлое, необыкновенное сияние, что наполняло лес и поднималось до неба... Лена, скомкав в руке варежку, провела ею под округлым подбородком, вытирая слезы.

— Лена, вот тебе мое слово! — чужим, севшим голосом вымолвил наконец Володя.

Небывалый, трудный восторг его рвался наружу, требуя выхода, и все его лучшие помышления, все самые дорогие надежды разом сейчас заговорили в нем.

— Лена! — повторил Володя.

— Что? — спросила она.

— Мы будем бороться, Лена, слышишь? И ты не плачь... Мы, знаешь, как будем бороться! Я... я вот и сейчас могу... И я буду мстить... И ты... И я не отступлю ни перед чем...

Сбиваясь, не находя нужных, достаточно сильных слов, он в эту минуту клятвенно обещал своей девушке быть достойным ее во всех обстоятельствах жизни. И он не заметил, что Лена слегка от него отстранилась, наморщив обеспокоенно свой носик, потом слабо улыбнулась... Тихий двойной свист донесся со стороны опушки — Веревкин, поджидавший там спутников, счел нужным поторопить их. И Володя, сейчас только о нем вспомнив, оборвал свою речь, смешался, махнул Лене рукой и побежал... Витя отвернулся при его приближении, проявив на этот раз необычную деликатность...

Все, что этой ночью происходило затем с Володей, представлялось ему совершавшимся как бы в мире чудес, где и обычное становится необыкновенным. Идя впереди по опушке леса, Володя слышал за собой шаги Лены, и все вокруг казалось ему теперь, в ее присутствии, новым, незнакомым, поразительным... В небе, под голубоватой круглой луной, громоздились облака, похожие на вздутые ветром крутые паруса кораблей, выплывавших из тумана. И, будто застывшие волны, тянулись понизу, слева от разведчиков, невысокие, заснеженные холмы, поблескивавшие на выгнутых склонах. Белая ветка березы, нависшая над тропой, или пенек в сторонке искрились множеством игольчатых огоньков, зажженных этой ночью, а тени, пересекавшие тропу, были бездонными, как пропасти. И все вокруг зыбилося, лучилось, переходило из одного состояния в другое: земля — в мерцающую пыль, а пыль — в свет, все напоминало музыку, или, еще точнее, — Володя ощущал себя сейчас как бы в самой музыке, согласно звучащей и в нем и вне его, на тысячах невидимых инструментов. Когда он изредка оборачивался, ему удивительно было видеть тонкую, лег-

кую, маленькую фигурку молчаливой хозяйки этих неожиданных, чудесных превращений. Лена шла, наклонив голову, засунув руки в карманы своего колушка, осторожно обходя кусты и сухие ветки на тропе. Она выглядела так же, как всегда, даже, быть может, более озабоченной, но все в этой ночи исходило, казалось, от нее одной, все ей повиновалось в небе и на земле...

Разведчики благополучно спустились в лошину, выведившую к сосновому бору, в котором по дороге сюда они слышали шум автомобиля, и вскоре добрались до самого бора. Здесь Володя пошел медленнее, часто останавливаясь и озираясь, а его примеру последовали его спутники. Твердо помня указания командира, он тихо ставил ногу сперва на пятку, потом опускал перекатом на носок, отчего движения приобретали бесшумный, крадущийся характер... Высокие, прямые, чуть отливавшие медью, искрящиеся стволы сосен расступались перед ним и как будто кружились, смыкаясь сзади... И необычайное, острое, дерзкое чувство охватило Володю; в сущности это было совсем не страшно пробираться вот так с друзьями под самым носом у врага, ощущая себя ловким, расчетливым, умелым, и главное — таким удачливым, как сегодня. Точно в подтверждение его необычайной удачливости разведчики, опять никого не встретив, беспрепятственно во второй раз пересекли этот лес. Но, забрав в сторону, они вышли метров на двести правее проселочной дороги, отделявшей их от города, и перед ними лежало теперь совершенно открытое место — ровное поле, ограниченное по горизонту туманной полоской другого леса. Впрочем, и на проселке показываться было небезопасно: он патрулировался немцами, и при свете луны разведчики едва ли могли незаметно проскользнуть там...

Выпрямившись и сдвинув на затылок свою тесноватую кубанку, Володя огляделся... Отсюда следовало уже ползти, используя для маскировки канавки, кусты, ямки, а еще правильнее было повременить, пока зайдет луна. И Володя, подумав, приказал товарищам залечь на опушке бора.

Лена тотчас же послушно опустилась на землю, на снег, подогнула ноги, прикрыв их полым колушка, и затихла; повидимому, как ни странно это показалось Володе, она уже устала. Сам он тоже лег, но его обуревала жажда деятельности, и никакой риск, никакая

опасность не представлялись ему этой ночью слишком большими. Внезапная, блестящая мысль осенила Володю: темноты надо было ждать часа полтора — луна закатывалась лишь перед самым рассветом, — и он мог попытаться выяснить за это время, много ли немецких танков находилось в лесу. Володя высказал свои соображения Веревкину, тот одобрил их, но предложил отправиться вдвоем, оставив на месте одну Лену. И только после небольшой дискуссии на тему о правах командира в армии Витя с неохотой согласился остаться. Лена опять немного удивила Володю: во время его пререканий с Веревкиным она держалась безучастно и не произнесла ни слова, думая о чем-то своем.

Наказав товарищам не предпринимать чего-либо самостоятельного, Володя пошел, потом пополз лесом, стараясь не слишком отдаляться от опушки — если немецкие танки действительно находились здесь, они, вероятно, стояли где-нибудь неподалеку от проселка, с которого свернули под укрытие деревьев... Полз Володя опять-таки по всем преподанным ему недавно правилам, мысленно повторяя их сейчас...

«Подтянуть согнутую правую ногу под грудь, одновременно левую руку выставить вперед...» — учил разведчиков лейтенант, и Володя в соответствии с его наставлением подтягивал ногу и выставлял руку. «Передвинуть тело вперед до полного выпрямления правой ноги и, одновременно подбирая под себя другую согнутую ногу, продолжать движение в том же порядке», — вспоминал Володя, поочередно подбирая ноги, выбрасывая руки, почти не приподнимаясь над землей, радуясь тому, что у него это получалось легко и отчетливо. «Продолжать движение в том же порядке! Продолжать... движение... в том же... порядке!», — скандировал он про себя, отсчитывая каждое согласованное усилие своих рук и ног, как отсчитывают шаги: «Раз, два, три, четыре!» И, равномерно изгибаясь туловищем, он все быстрее передвигался по смерзшейся хвое... Стукнувшись коленкой о твердый, как камешек, бугорок, Володя даже прикусил губу от внезапной боли, но сейчас же, воззвав к себе «продолжать движение в том же порядке», заскользил дальше. Разогревшись, чувствуя на губах солоноватый вкус пота, заливавшего лицо, он припал грудью к земле, чтобы передохнуть. И впереди, в мутноглубом воздухе, исчер-

ченном мерцающими вертикалями сосен, различил вдруг нечто темное, большое, как дом. Всмотревшись, Володя узнал очертания танка... Потом неожиданно послышался шорох чьих-то шагов, и, поискав глазами, Володя увидел, что неподалеку от машины мелькает длинная синяя тень, то пропадая за стволами, то ломаясь на корнях, торчавших из снега. Приблизившись несколько к Володе, она стала затем удаляться и спустя минуту — другую вновь вернулась... Несомненно, это прохаживался немецкий часовой, однако его самого Володя обнаружил с трудом: что-то едва заметное, зеленовато-серое возникало иногда в лунной полумгле.

Улучив момент, когда часовой находился в наибольшем удалении, Володя очень медленно подтянул ногу, выставил руку и пополз вперед, огибая танк. «Продолжать движение в том же порядке...» — мысленно напомнил он сам себе.

Позади первого танка обрисовался второй, далее — третий, четвертый. Володя, проползая мимо, незаметно для себя подобрался к ним поближе, и теперь ему хорошо были видны их скошенные плоскости, гусеницы, повисшие на катках, круглые башни, короткие, направленные в разные стороны дула пушек. Опять во второй раз уже эти бронированные чудовища предстали его глазам, но ныне они не произвели на него подавляющего впечатления. Наоборот, Володя чувствовал сейчас свое решительное превосходство над ними — неподвижными, застывшими, будто погруженными в сон, тогда как он — бодрствующий и деятельный — наблюдал их и спокойно подсчитывал. В одном месте он разглядел на снегу неясное подобие укутанной человеческой фигуры, а подле нее — еще одну, привалившуюся спиной к железной бочке; в другом — слабо серебрились под луной какие-то металлические цилиндры... Заметив шагах в двадцати немецкого солдата, скорчившегося на поваленном дереве, Володя слишком поспешно подался назад, и под ним что-то скрипнуло. Немец, выпрямившись, обернулся через плечо; над поднятым воротником шинели блеснули его глаза... Но тут же он принял прежнюю позу, согнулся и свесил голову, решив, видимо, что ему померещилось...

Крайний в колонне танк стоял с откинутой крышкой люка, так ярко озаренной луной, что она сама казалась светившейся... Володя полежал здесь немного в стороне,

отдыхая и подытоживая свои наблюдения. Было тихо вокруг, неодолимая сонная одурь овладела, казалось, огромными панцирными чудовищами, столпившимися на узкой лесной просеке, — будто околдованные, спали они в этом морозном бору, лишившись всей своей недавней дьявольской силы... Володя, справившись с компасом и прикинув расстояние до проселка, попытался мысленно нанести на карту и просеку и местоположение танковой вражеской колонны. Более двух десятков машин укрывались тут сейчас или, быть может, вышли сюда, на рубеж завтрашней атаки. И надо было возможно точнее запомнить этот их тайный лагерь, их ночное стойбище...

Представив себе, какое опустошение могли бы произвести в их оцепенелом табуне несколько хороших залпов, очень довольный результатами своего поиска, Володя тихонько пополз назад... Когда он вернулся к товарищам, пожелтевшая луна висела уже невысоко над горизонтом, близился рассвет, и в бору стало темнее. Приближаясь к своим, Володя услышал в противоположной от танков части леса какой-то неопределенный прерывистый шум, — вероятно, и там находились немцы... Веревкин, завидев Володю, быстро пополз к нему навстречу и торопливо сообщил, что минут десять назад вдоль опушки, по направлению к проселку, прошли три фрица.

— Один здоровенный такой, толстый!.. И шею платком обмотал... А раньше еще из нашего леса, вон оттуда, тягач вышел с пушкой, поволок ее прямо через поле... — докладывал Витя, обдавая Володю своим теплым дыханием.

Действительно, местность вокруг, как теперь оказалось, была полна врагов. Но Володя испытывал то чувство превосходства над ними, которое и возникает в результате успеха и само ему способствует. Вот сумел же он с товарищами два раза за ночь благополучно пересечь этот бор, кишевший немцами, и многое тут высмотреть, почему же в дальнейшем должно было быть иначе?.. Между деревьями, откуда все еще доносился неясный шум, блеснул далекий слабый огонек; может быть, фрицевские повара начали уже готовить завтрак. Там тоже, значит, укрывались враги... Ну, что же, и о них будет сегодня же доложено кому следует, рассудил Володя. Однако задерживаться тут дольше, очевидно, было бы неразумно — ночь подходила к концу. Только узкий

сегмент луны выглядывал теперь из мгlistых облачных волокон, и наступала та короткая предутренняя темнота, которой и надо было воспользоваться.

Разговаривая с Веревкиным, Володя то и дело поглядывал на Лену. Она лежала там же, где он ее оставил, под могучей старой сосной, слегка наклоненной в сторону опушки, и не пошевелилась при его появлении. Но сам Володя, увидев девушку, почувствовал прилив благодарности, точно ей именно они все были обязаны сегодняшними успехами.

Он сел подле нее, и ему показалось, что она спала. Это было так неожиданно, что в первое мгновение он даже испугался, не случилось ли с нею чего-нибудь... На выпуклой щеке Лены чуть блестел еще последний лунный луч, а по краям платка мохнатился иней.

— Ты видишь, Виктор, она спит... — прошептал Володя растерянно.

— Нашла время... — отозвался Веревкин. — Пустика... я ее мигом разбужу, — предложил он.

Лена подняла вдруг голову, быстро села и поправила свой платок.

— Ой, я совсем зачоченела, — пробормотала она и поежилась.

— А я вот никогда не спал еще в разведке, — хрипло сказал Витя.

— Я и не спала. Просто задумалась... — сказала Лена. — И не беспокойтесь, я все видела очень хорошо...

Володя поднял предостерегающе руку, призывая к молчанию, — вдалеке, во мраке, снова спустившемся над полем, шли люди. Вначале он подумал было, что это возвращается с проселка патруль, смененный тремя солдатами, о которых рассказывал Веревкин. Но шагов было значительно больше, и слышались они примерно там же, откуда, по словам Вити, немцы тащили пушку.

Подождав еще немного, Володя извлек из кармана гранату, и Витя, глядя на него, вынул из-за пазухи свою...

Лена достала револьвер — гранат она побаивалась, как догадывался Володя, хотя и не признавалась в этом.

Дробный стук и шорох шагов постепенно становились громче, донесли неразборчивые окрики, и Володя, выглядывавший из-за дерева, различил, наконец, на равнине темную расплывчатую массу пехотной колонны. Точно определить расстояние до нее было трудно, но оно

не превышало восьмидесяти — ста метров. Немцы, не дойдя до разведчиков, повернули от опушки бора вправо и переходили теперь поле, направляясь к дальнему лесу на горизонте. Вскоре, однако, они где-то там задержались, и сразу стало слышно много голосов...

Володя молча поманил товарищей за собой и, пригнувшись, держа наготове гранату, очень медленно двинулся по опушке. Когда голоса, раздававшиеся некоторое время справа от разведчиков, остались позади, он невольно заулыбался от сознания новой удачи.

«Продолжать движение в том же порядке...» — снова вспомнилось Володе, и в то же мгновение он застыл на месте: впереди треснула под чьей-то ногой сломавшаяся ветка. Спустя еще несколько секунд Володя уже не сомневался в том, что навстречу разведчикам по опушке также двигались немцы; видимо, на проселке произошла смена патруля.

Молча, действуя одними знаками, Володя расставил своих товарищей за деревьями. Сам он спрятал гранату, вынул пистолет и встал поближе к Лене, загородив ее собой; глаза его даже в темноте блестели. Он пребывал сейчас в том состоянии, когда опасность не страшит, а возбуждает, когда все реакции мгновенны и точны, когда тело — руки, ноги — как бы опережает мысль, быструю и ясную. Лена держала свой браунинг на уровне груди и внимательно смотрела на Володю. Он, обернувшись, ободряюще кивнул ей...

Немцы подходили не спеша, и Володя даже вспотел от нетерпения, а шея у него под меховым воротником невыносимо зачесалась... Внезапно они показались за деревьями — совсем близко, один в затылок другому — и он быстро навел свой пистолет на первого... Не больше восьми — десяти шагов отделяло разведчиков от немецких солдат, когда те поровнялись с ними. И можно было рассмотреть, что руки у первого немца засунуты в рукава, а из подмышки торчит ствол автомата, что у двух других — края пилоток отогнуты на уши. Сутулясь, глядя себе под ноги, солдаты прошли мимо, и, дав им время удалиться, Володя тихо ступил вперед. Высунувшись из-за деревьев и осмотревшись, он подал товарищам знак идти за ним...

Не доходя немного до проселка, разведчики по его команде залегли в неглубокой рытвине. Теперь им оста-

валось только пересечь дорогу, пробежать еще полсотни метров по полю, а там по оврагу, минуя разбитый снарядами авторемонтный заводик, можно было выйти к нашему боевому охранению. Но уже начиналось утро... На востоке появился туманный розоватый свет, воздух заметно посерел, и в нем стали обозначаться отдаленные предметы: кусты, деревья, столбы. А вдали на проселке неясно маячили три темносерые фигуры, и проскочить через него незамеченными было уже, пожалуй, невозможно.

Одним мгновенным усилием воображения Володя, как бы со стороны глядя, представил себе обстановку, в которой очутился он с товарищами. Их верный союзник — ночная темнота отступилась от них, по проселку к ним сюда подходил патруль — три вооруженных солдата, — с тыла можно было каждую минуту также ожидать появления немцев: враги таились повсюду...

«Да и нам уже поздно прятаться», — со странным облегчением подумал Володя.

И, опять достав из кармана гранату, он поманил рукой Витю и Лену.

Витя на локтях пододвинулся к нему; Лена вплотную почти приблизила свое побледневшее, обесцвеченное серым, предрассветным сумраком лицо. И, глядя ей прямо в глаза широко открытыми блестящими глазами, Володя едва слышно зашептал:

— Ребята, принимаю решение: будем прорываться с боем, — его потрескавшиеся, сухие губы быстро шевелились. — Стрелять по команде, это ясно! Дальше — по оврагу, и ходу... Продолжать движение в том же порядке! — не удержавшись, проговорил он вслух.

— Есты! — отозвался Веревкин.

Его круглое лицо с пятнышком родинки на щеке посерело, но оттопыренные уши, на которых держалась ушанка, были и в сумраке красны, как морковь. Лена шепнула Володе:

— Не забудь во-время скомандовать, слышишь?

И они замолчали, поспешно готовясь к бою, пристраиваясь, ища удобной опоры для локтей. Володя машинально подвигал на голове свою кубаночку, потом взял в левую руку гранату, а в правой зажал пистолет... Тем временем фигуры трех солдат на дороге обрисовались более четко. Немцы шли в один ряд, и тот, кто был по-

середине, раскачивался на ходу; крайний слева был действительно толст и высокого роста.

Володя намеревался открыть огонь, когда патруль окажется прямо перед разведчиками, то есть на самом коротком расстоянии от них, чтобы таким образом расчистить себе путь первым же залпом. Но солдаты неожиданно остановились, и тот, кто раскачивался на ходу, показал рукой в сторону разведчиков. Медлить больше было нельзя, и Володя, заторопившись, выкрикнул пронзительным голосом:

— По фашистам — огоны!

Он так часто репетировал про себя эту команду, и она так ему нравилась, что он повторил ее еще раз, громче. Но ее заглушил револьверный выстрел Лены, а вслед за тем прогремел пистолет Веревкина. Сам Володя выпустил подряд три пули и рывком встал на колени.

Толстый солдат неподвижно лежал поперек дороги, еле заметный теперь на ее снежно-сером фоне; второй ползал около убитого не то потому, что сам был ранен, не то стремясь укрыться от огня, а третий сидел на корточках, водя своим автоматом по сторонам. Вдруг в руках у него забилося рваное бело-желтое пламя... И Володя, перехватив из левой руки гранату, одним круговым движением правой руки отвел ее назад, потом метнул в стрелявшего врага...

Припав тут же к земле, он покосился на Лену — в безопасности ли она?

На дороге грохнул разрыв, пронеслись осколки, вражеский автомат смолк, и Володя вскочил на ноги.

— Лена, живее!.. Витя!.. — закричал он.

Разом поднявшись, они быстро побежали впереди него... Володя, торопясь, не смог в подробностях рассмотреть, что именно натворила его граната, но из тающего облачка, повисшего над проселком, не доносилось ни звука... Лишь в стороне леса сухо шелкнул далекий выстрел...

Едва лишь разведчики спрыгнули в овраг, точно нырнули туда, как позади них, за дорогой, ударил пулемет. И над лесом, из которого они так счастливо выбрались, взлетели в разных местах зеленые и желтые ракеты — немцы подняли тревогу...

Пальба с каждой минутой становилась громче; автоматные очереди доносились уже с проселка, а справа и

слева от разведчиков начали верещать и лопаться мины.

«Наделали мы переполоха!» — с великим торжеством подумал Володя.

Выскочив из оврага, разведчики во весь дух побежали вдоль кирпичной полуобвалившейся стены, завернули за угол и оказались перед деревянным сараем. Было уже довольно светло, и небо на востоке окрасилось в чистейший алый цвет. Витя свистнул, сунув пальцы в рот, и ему ответил из-за сарая такой же свист. Разведчиков ждали, и через минуту они были среди своих...

Володя обернулся, — немцы с возрастающим ожесточением палили из автоматов, из минометов, и над их расположением непрерывно взлетали бледные, потускневшие ракеты.

4

В начале ноября Богданов был отозван из Т. — он получил командование дивизией и одновременно ему было присвоено звание полковника; повидимому, как рассудил он, недавний вызов его в штаб фронта был также связан с этим назначением. Новое звание, как и новое назначение, обрадовали Богданова, но, готовясь к отъезду, он почувствовал неожиданное сожаление. Как оказалось, Богданов полюбил уже этот незнакомый ему доселе город, где он так недолго пробыл, и ему очень нравились люди, вместе с которыми он здесь воевал. Ибо так уж устроен человек — его привязанность бывает тем сильнее, чем больше сердечных забот отдано предмету этой привязанности. И ничто так не способствует его любви, как усилия и жертвы, принесенные во имя нее. Впрочем, безотносительно к тому, что пережил в Т. сам Богданов, люди, встретившиеся здесь, вызывали в нем теперь признательное уважение.

Устояв в первый день немецкого штурма под таранным ударом танков, защитники Т. и в последовавшие дни успешно отбивали атаки неприятеля. Бой, завязавшийся в дождливое утро на южной окраине города, длился с недолгими перерывами в течение трех суток, перебрасываясь с одного участка обороны на другой. Затем после непродолжительного затишья, во время которого немцы перегруппировывались и подтягивали резервы, он

опять разгорелся. Танки и пехота противника обтекали Т., нащупывая слабые места в нашей обороне, пытаясь прорваться то в одном, то в другом пункте. И части армии, защищавшие город, а тем самым прикрывавшие южные подступы к Москве, стойко отражали эти упорные, непрекращавшиеся попытки противника прорваться дальше на север.

С первого же дня боев в Т. и в близлежащие районы начали прибывать новые стрелковые, танковые, кавалерийские части, направленные сюда по указанию командования фронта. Оборона города крепла и совершенствовалась со дня на день, а позиции перед ним занимали теперь в основном кадровые армейские части. Сыграв решающую роль в отражении первого штурма Т., они приняли на себя и всю главную тяжесть последовавших боев. Но, разумеется, это обстоятельство не умаляло доблести бойцов рабочего полка и полка НКВД, зенитчиков, никогда раньше не участвовавших в наземном бою, да и всего населения города, так или иначе — на строительстве укреплений, в противопожарных звеньях, в больницах, превращенных в лазареты, и на электростанции, бесперебойно дававшей ток, на железной дороге и на телефонном узле, в пошивочных мастерских и в ремонтных бригадах оружейников — крепко державшего оборону. И Богданов с неохотой покидал людей, в которых открылась ему во всем своем могуществе та духовная сила, та высшая нравственная красота, что называется патриотизмом.

Однако до победы было еще не близко: сражение за Москву продолжалось и здесь, в Т., к югу от нее, на левом фланге подмосковного фронта, и в центре его, и на севере, под Калинином. Пожалуй, в самые последние дни немецкий натиск, казалось Богданову, начал несколько ослабевать. Но едва ли можно было думать, что гитлеровское командование, не взяв Москву к 7 ноября, как недавно еще рассчитывало, вообще отказалось от своего намерения. Богданов не сомневался в том, что по крайней мере здесь, в районе Т., следовало в недалеком времени ожидать новых наступательных ударов с той же главной целью прорыва на Москву.

...Было раннее утро 6 ноября, когда Богданов, собравшись уезжать, вошел в шинели, в полном снаряжении к Дьякову, чтобы проститься. Генерал не спал

уже, и у него сидели люди — все знакомые Богданову командиры штаба, вчерашние сослуживцы.

— А, Николай Федорович! — проговорил генерал своим звучным, с хрипотцой голосом. — Собрались, я вижу... Садитесь, сейчас потолкуем. Продолжайте, товарищ подполковник!

Богданов присел в сторонке, чтобы не мешать... Начальник артиллерии, недавно назначенный к Дьякову, докладывал об огневом налете на противника, произведенном сегодня на рассвете. Налет оказался успешным: в лесу, где, по донесению разведки, укрывались немецкие танки, были замечены столбы дыма и произошел сильный взрыв; повидимому, снаряды попали в склад боеприпасов.

— ...И сейчас еще там дымит. — Начальник артиллерии повернулся к бородатому капитану, ведавшему разведкой: — Спасибо вашим мальчуганам — указали нам неплохую цель...

— Девушка еще с ними ходила, Колесникова. Инициативные ребята! — подтвердил капитан.

— Хорошие ребята! — сказал Дьяков. — Учиться бы им надо сейчас, учиться, книжки читать, в кино ходить... А вот под пулями ползают... — Он помолчал немного. — Геройские ребята!

Богданов слышал и раньше о мальчиках бородатого капитана, но ему не случилось встретиться с ними, и он пожалел, что теперь этого уже не произойдет.

Далее Дьяков заговорил о намечавшейся на ближайшие дни боевой операции — первой наступательной операции защитников города, ограниченной по задаче, но знаменательной по существу. Немцы, овладевшие в первый же день штурма Мышкинским Поселком, превратили его в свой передовой опорный пункт, и Дьяков намеревался выбить их оттуда... — Я докладывал командующему армией — план наш одобрен, — сообщил он своим помощникам, — но на усиление артиллерии рассчитывать не приходится. Мне генерал-лейтенант сказал: «У вас теперь всего достаточно, и пехоты и пушек... Сумейте использовать в полную меру то, что есть...»

Богданов, вчера еще принимавший участие в разработке плана операции, о котором шла речь, даже огорчился оттого, что не сможет увидеть его осуществления.

Отпуская помощников, Дьяков сказал начальнику разведки:

— Удачно, что вы наладили связь с партизанами, очень удачно... И этого Фишера доставьте ко мне сегодня же, я сам с ним побеседую. — Он обернулся к Богданову: — Разведка кавалеристов «языка» привела... Красиво очень взяли, без выстрела.

— Эсэсовец, но отвечает охотно... Болтлив даже, перетрусил, должно быть... а взяли его действительно лихо... — Капитан, прижав к груди разлохматившуюся бороду, поблескивал исподлобья смеющимися голубыми глазами — он был, видимо, доволен.

Командиры торопливо, на ходу, попрощались с Богдановым; некоторые молча крепко жали руку, другие коротко желали успехов, кто-то попросил передать привет Москве — видно было, что все они озабочены, все поглощены своими делами. Когда они разошлись, Дьяков пересел на стул напротив Богданова.

— Едете, значит, товарищ полковник! — с ударением на слове «полковник» проговорил он. — Дивизию принимать будете... В большие начальники выходите... Ну, ну...

Он по своему обыкновению так сощурился, что один глаз его совсем почти исчез в складках кожи.

— Ежели мне у вас под началом служить придется, вы уж не прижимайте очень, — продолжал он, — по старой дружбе, а?

— Ну, это еще нескоро случится, — в тон ему, улыбаясь, ответил Богданов. — Очень хотел бы снова оказаться под вашим командованием, товарищ генерал!

— Под моим? Ой ли? — Дьяков с преувеличенным сомнением покачал головой. — Небось, рады-радешеньки, что ускользаете от меня.

Так, лукавя и посмеиваясь, они поговорили еще несколько минут, этим именно способом выражая взаимное расположение друг к другу. Потом Дьяков перестал щуриться и, что случалось с ним довольно редко, даже погрустнел. Широкое, массивное лицо его, покрытое красноватым солдатским загаром, помрачнело.

— Под праздник расстаемся с вами, Николай Федорович! — сильно окая, проговорил он. — Вот как встречаем наш праздник!.. В прошлом году я седьмого ноября на Красной площади был, с моими курсантами шагал.

— Нас в Академии каждый год выводили на парады, — сказал Богданов. — А накануне, помню, столько волнений было и трепета! Подтягивали нас крепко.

— Как же иначе? — Дьяков даже выпрямился на стуле. — Тут уж надо подтягиваться, когда на тебя народ смотрит, правительство смотрит... Большая это, священная наша традиция — ежегодный Октябрьский парад! Это, знаете... — он умолк на секунду. — Ну, а в нынешнем году не представляю, как и будет.

Богданов подумал о том, что немецкие армии находятся на расстоянии двухдневного марша от Москвы; в памяти его опять встала картина воздушного налета на столицу: зарево пожаров, ночное небо, искрящееся от зенитных разрывов, — и он сказал:

— Сложное это дело — организовать сейчас в Москве военный парад, скрытно провести его подготовку, абсолютно надежно прикрыть с воздуха...

— Да, да, — согласился Дьяков. — Парад — это слишком большая мишень!

— Что же, в конце концов, можно и без торжеств... По логике они не обязательны на войне.

«Но неужели действительно нашего праздника не будет, в первый раз с восемнадцатого года?» — мысленно спросил себя Богданов. И, не соглашаясь внутренне с тем, что он сам сейчас высказал, споря с этой своей вынужденной, обидной логикой, он как бы пояснил:

— Встречаете годовщину в боях, товарищ генерал. Жалею, что приходится уезжать от вас...

Видимо, схожие мысли волновали и Дьякова; кивнув головой, он сказал:

— Да, отсалютуем боевыми... Сдается мне, что в скорости, если не завтра, то послезавтра, немцы опять пойдут на нас со всей отчаянностью. На нашем участке появились новые танковые части, сие вам известно... Партизаны доносят также о целом новом пехотном соединении. «Язык», которого доставили сегодня кавалеристы, рассказал, что в их полку побывал Гудериан. Надо полагать, это инспекционный объезд частей перед наступлением.

Дьяков поднялся со стула.

— Счастливо, Николай Федорович, — сказал он, сжимая руку Богданова своими толстыми теплыми пальцами. — Спасибо вам, помогли нам тут.

Богданов откозырял и направился к двери; генерал окликнул его:

— Бензина-то хватит до Москвы? Камера запасная имеется?.. И вот еще что: хорошенько расспрашивайте о дороге... — Дьяков потянулся к телефонному аппарату и негромко закончил: — Ночью мы оставили Ю., немцы там к самому шоссе выходят...

Он назвал крупное село, находившееся к северо-востоку от города... Новость была тяжелая, и Богданов остановился в дверях, ожидая пояснений. Но генерал, положив руку на телефонную трубку, видимо, не собирался продолжать. Вдруг он круто, всем грузным туловищем повернулся к Богданову:

— Поведете в бой свою дивизию, полковник, помните об одном: поражения не бывает, пока вы сами не признали себя побежденным... Говорю вам это, как старший по званию, пока... — и генерал, опять посмеиваясь, сощурился. — Селиверстов вот, был на нашем участке такой франт...

— Селиверстов! — воскликнул Богданов. — Что же с ним?.. Простите мое любопытство, товарищ генерал!

— Вы что, знакомы с Селиверстовым? — спросил Дьяков.

— Больше, чем знаком. Мы в академии вместе учились.

— Я его тоже встречал... Представительный очень командир, — с насмешкой сказал Дьяков. — Подробностей я не знаю, мне рассказывали... Умудрился же, заячья душа, увидеть свое поражение раньше, чем оно произошло на самом деле...

Богданов молчал, припоминая свою последнюю встречу с Селиверстовым, оставившую такое тягостное впечатление.

...Выйдя от Дьякова, полковник отправился в Комитет Обороны — ему надо было еще повидать Ласточкина. Но в Заречье, куда перебрался теперь Комитет, секретаря обкома не оказалось, — он выехал на один из заводов. И, переговорив с Шаровым, вручившим Богданову документы для передачи в Москве, попрощавшись с председателем облисполкома, Богданов снова сел в свою «эмку». Ничто в городе больше не задерживало его.

На дворе совсем уже рассвело. Стоял небольшой, градусов на пять-шесть морозец, и снега на улицах не было. Лишь иней, выступивший за ночь, жестко белел в извилистых складках затвердевшей земли, отчего она стала похожей на мрамор. Машина Богданова, свернув с асфальтированного шоссе, подскакивала на глубоких, неподатливых колеях, как будто высеченных в сером, с белыми прожилками камне.

Богданов рассеянно смотрел прямо перед собой в ветровое стекло. Им овладело смутное, немного щемящее чувство, что возникает, когда мы расстаемся с чем-либо прочно вошедшим в нашу жизнь. И хотя его пребывание в этом городе ограничилось каким-нибудь десятком дней, казалось, он оставлял здесь какую-то часть себя, своей души. Он вспомнил, как ехал сюда из Москвы, вспомнил молодую, смешливую, доверчивую женщину, встретившуюся по дороге, и даже поглядел по сторонам с бессознательным желанием увидеть ее снова... Подумав, что она, быть может, застряла в городе, он огорчился — слишком уж сурово все было здесь, в то время как ему хотелось, чтоб эта женщина оставалась такой же благополучной и беззаботной, какой рассталась с ним. Он не однажды потом думал о своей случайной попутчице, но мельком, мимоходом, не предпринимая ничего, чтоб ее разыскать, каждый раз, однако, испытывая удовольствие при мысли о ней... Надо сказать, что в свои двадцать девять лет Богданов не только не был женат, но, собственно говоря, все его личные привязанности ограничивались пока родительской семьей — матерью, которой он писал письма в маленькую заводскую деревню, братьями да несколькими друзьями. Богданов мог, конечно, припомнить в своей жизни две-три встречи, когда казалось, что им вот-вот овладеет то большое, радостное чувство, о котором написано столько хороших книг. И он не без зависти, смешанной с любопытством, размышлял порой о своих, повидимому, более удачливых в этом смысле женатых товарищах. Но большое чувство так и не посетило его до сих пор, а кроме того, Богданов, как это бывает с очень деятельными, много работающими людьми, подолгу попросту забывал о возможностях иной, менее суровой жизни, нежели та, что он вел... Условия его службы, прошедшей частью в далеких приграничных северных районах, в свою очередь, способство-

вали этому. Надо же было случиться, чтобы его недавняя, бесследно исчезнувшая куда-то попутчица заставила его именно теперь острее, чем когда-либо, почувствовать свое холостяцкое одиночество... И невзирая на то, что у Богданова не имелось ни малейших оснований считать эту женщину чем-либо связанной с ним, она странным образом продолжала для него существовать. Не сегодня и даже не завтра, но где-то в отдалении она мерещилась молодому полковнику в том счастливом, удивительном мире, в котором он обязательно, казалось, найдет ее после победы.

Вскоре, впрочем, его мысли обратились к более близкому времени — к обстоятельствам и событиям, на пути к которым он находился. И, как это бывает в дороге, не только соединяющей разбросанные в пространстве пункты, но точно перебрасывающей нас из прошлого в будущее, вчерашний день мгновенно, одним скачком отодвинулся от него. Жестокая, не на жизнь, а на смерть, борьба, в которой участвовал Богданов, вступала в новую, грозную фазу. И то, что происходило вчера, какого бы напряжения оно ни требовало в свое время, представилось ему с этой минуты малозначительным и легким по сравнению с тем, что предстояло сегодня и завтра. Еще не выехав из города, он сразу, живым своим ощущением как бы очутился в обстановке и условиях, ожидавших его впереди.

— Товарищ полковник, поглядите-ка... — заговорил шофер, — интересно живут люди. У иных так прямо терема стоят, как в «Царе Салтане». Нынче, конечно, жилищное строительство другой вид имеет...

Улицы, по которым шла теперь машина, были похожи одна на другую — длинные, широкие, пересекавшиеся под прямыми углами, они как будто сызнава повторялись за каждым новым поворотом. По обеим сторонам улиц ровными порядками тянулись невысокие одноэтажные домики. Изредка среди них действительно попадались очень нарядные, с остроугольными кровлями, с резными наличниками и подзорами, поблескивавшими от инея, с пышным деревянным кружевом на карнизах, с жестяными петушками и рыбками над дымовыми трубами. Но большей частью это были скромные, в три — четыре окошка чистенькие жилища, обшитые тесом, либо бревенчатые и тоже сегодня побелевшие в пазах. Оголенное

деревцо — рябина, березка, тополь, клен, — посаженное в маленьком дворике, охраняло, казалось, каждую калитку в этом деревянном, раскинувшемся на значительном пространстве мирке. Довольно часто, впрочем, встречались здесь и каменные сооружения: кирпичная пожарная каланча, похожая на маяк, многооконный жилой корпус новой постройки, кубическое, обильно остекленное здание клуба... На улицах было тихо, немногочисленно и спокойно; правда, с востока доносились глухие, точно подземные, удары, но в осажденном городе никто уже не обращал внимания на столь далекую стрельбу.

— Самостоятельный народ, я пригляделся, тут... — благожелательным тоном продолжал шофер. — Живут, можно сказать, на передовой, а паники не заметно... Гляньте-ка, товарищ полковник, к празднику как готовятся!

В самом деле, какая-то женщина в мужском стареньком пальто, с ведерком в руке и девочка-подросток красили калитку в светлоизумрудный цвет; деревянный заборчик возле их домика был уже покрашен, и ярко, повесенному зеленел. Немного дальше Богданов увидел старика в ушанке, подметавшего свой тесный дворик.

«А ведь и впрямь готовятся к празднику», — подумал Богданов, удивившись, почувствовав благодарность и к этой неизвестной женщине и к старику с метлой.

Далее, перед фасадом углового каменного дома в два этажа, может быть, школы, стояла седая женщина в пенсне, вероятно, учительница, и что-то кричала другой в белой косынке, взобравшейся на лестницу. Та прикрепляла к стене конец длинного кумачового полотнища, протянутого под окнами второго этажа; на полотнище большими буквами было написано:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ XXIV ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ!

Встав на табурет, вынесенный на улицу, еще какая-то хозяйка протирала снаружи окна в своем домике. И, по-видимому, она опаздывала с уборкой, потому что у ее соседей стекла уже прозрачно блестели, отражая рассеянный свет серого утра. А на подоконниках виднелись растения в горшках, в кадках, неясно, как водоросли в аквариуме, зеленевшие в полутьме комнат... Растения выглядели здесь буквально из каждого окошка, пере-

плетаясь стеблями и листьями, тесня друг друга, отгибая края тюлевых занавесок. И кое-где на них цвели цветы: синие трубчатые и оранжевые, круглые, как шарики.

Богданову не доводилось раньше бывать в этих местах днем, но, зная план города, он догадался, что проезжает сейчас по его старейшему пролетарскому району... Именно здесь вот, за рекой, селились люди, из поколения в поколение трудившиеся потом на знаменитых заводах города и создавшие его славу. Многие Богданов узнал об этих людях за время своего пребывания в городе, и гораздо раньше, еще мальчиком, он о них впервые услышал. В его представлении о родной стране, такой обширной и богатой, прославленной великими делами, многими победами в труде и в борьбе, какое-то отдельное место занимала также память об искусных мастеровых этого старого города, непревзойденных кузнецах, механиках, оружейниках, токарях, граверах. И теперь он с особым интересом и не без почтительного чувства смотрел на тихие, мирные, празднично украшенные улицы, бежавшие мимо... Он подумал о том, что отсюда вот двадцать четыре года назад, в Октябре семнадцатого, двинулись к центру города на решительный бой рабочие колонны, ведомые большевиками. И что сегодня, почти четверть века спустя, сыновья тех, легендарных уже красногвардейцев вновь сражаются за справедливое дело своих отцов, за возможность счастья для всех людей, добытую отцами... Голубая эмалированная дощечка на углу известила Богданова о том, что он проезжает по Штыковой улице, дальше за поворотом по такой же дощечке, прибитой к тесовой стене, он узнал, что выехал на Пороховую... Миром, обещанием тепла и уюта веяло в этих заселенных рабочим народом, принарядившихся кварталах. Но их старые цеховые названия, уцелевшие на протяжении веков, звучали и сегодня, как предупреждение врагам.

«Эмка» вышла к реке, пересекавшей город, и начала быстро подниматься к мосту. Там, около чугунных обелисков на въезде, хлопотали комсомольцы, юноши и девушки, устанавливавшие большие, окаймленные красными лентами портреты. На одном был изображен во весь рост Ленин, стоящий во дворе Кремля, на другом — Сталин в военной шинели и в фуражке. По всей длине моста над перилами развевались флаги...

Становилось все светлее — студеная дымка, заволакивавшая небо, поредела, и сквозь нее проступило туманное золотистое солнце... Машина въехала на деревянный настил, и глазам Богданова открылись на противоположном берегу низкие, длинные корпуса огромного завода. Правее них, на излучине реки, да и за ними в разных местах высились над городом трубы других заводов. Река, лежавшая в отлогих, тронутых инеем и как бы изваянных из сероватого камня берегах, еще не замерзла, но черная матовая вода курилась. Налево от моста виднелись какие-то развалины, треугольный кусок кирпичной стены, зубчатый, как пила, валялся у самой кромки берега, отброшенный взрывом, — там падали бомбы. Прямо на западе стояло дымное, рыжеватое облако — что-то горело на линии фронта. Но вообще особенных разрушений не было заметно, а над крышами повсюду вились мирные белесые дымки.

Морозный воздух, пронизанный неяркими лучами, сам теперь слегка золотился. Мягкая желтизна появилась на голом, в прожилках, мраморе берегов, а красные флаги, расставленные по обеим сторонам моста, как будто теплели и наливались цветом... Богданов повернулся на сиденьи, привлеченный новым зрелищем: над заводом, расположенным у реки, медленно поднималось на невидимом флагштоке, уходя все выше, осеняя собою весь город, большое алое полотнище. Чуть скошенное ветром по краям, оно было похоже на вытянутое, заостренное крыло, трепещущее в свободном полете... Город, хотя и был обложен врагами, встречал свой революционный октябрьский праздник, как и во все предыдущие годы. И хотя пожары горели на его окраинах, а смерть и лютое разорение смыкали вокруг города кольцо, красное Знамя Победы реяло над этой старой крепостью великого и неодолимого русского рабочего класса.

5

У Ольги Ильиничны Тихоновой случилось подряд две радости: утром она получила письмо от мужа, он был жив и здоров, а позднее к ней в пошивочный цех пришли из конторы и сказали, что туда звонил ее сын Володя. Сперва, правда, она очень испугалась, услышав это: страх за сына заставлял ее трепетать при каждом

известии о нем. Но, как оказалось, Володя просил лишь передать матери, что сегодня он собирается с товарищами ее навестить. И Ольга Ильинична, отпросившись у начальника цеха, помчалась к себе домой, испытывая невыразимое облегчение от того, что была теперь, хотя б на несколько часов, свободна от злого, измучившего ее ожидания несчастья.

«Только б не расплакаться, увидев его... — мысленно наставляла она себя перед свиданием с сыном. — Когда еще отпустят его домой, зачем же его расстраивать? Пусть мое со мной и останется, а ему душой отдохнуть надо, повеселиться... Мальчишка ведь он еще, ребенок, и по дому соскучился, наверно...»

Задыхаясь, Ольга Ильинична едва добежала до квартиры... В течение последней недели она почти не уходила с фабрики, даже ночевала там, и ей хотелось до прихода сына привести в порядок запущенные, неприбранные комнаты. Кроме того, надо было приготовить на всех поесть, и если соседка не купила, как обещала, хлеба, успеть еще побывать в булочной.

К счастью, ей встретился в коридоре Гога, обычно, впрочем, здесь и проводивший большую часть дня. Узнав об ожидавшемся приходе Володи, он тотчас же с большим жаром принялся помогать Ольге Ильиничне. Довольно ловко, несмотря на костыли, орудуя щеткой, Гога подмел полы, пока она чистила картошку и накрывала стол; он же, взяв карточки, бодро поскакал за хлебом, благо булочная была недалеко.

В городе, обложенном врагами, ощущалась уже нехватка продовольствия: масло выдавалось только по детским карточкам, мясо — в половинном против нормы количестве, сахар исыяк совсем. И Ольга Ильинична вздохнула, оглядев небогатое угощение, которое ей удалось сегодня собрать... Не зная, как лучше встретить сына, она, поколебавшись немного, достала из буфета бутылку с водкой и тоже поставила на стол. Давно уже, с того жаркого, июльского дня, когда она прощалась с мужем, уходившим на фронт, стояла в буфете эта едва початая бутылка. И как ни хотелось Ольге Ильиничне сохранить ее до радостного часа возвращения мужа, приходилось, видимо, угостить из нее сегодня также и сына.

В самом деле, если уж Володе пришлось поднять на свои мальчишеские плечи тяжкое солдатское бремя,

несправедливым было бы отказывать ему и в этом солдатском утешении.

«От одного стаканчика большой беды не будет... Пусть побалуется», — успокаивала Ольга Ильинична свою совесть.

То и дело поглядывая на часы, она торопливо затем переделалась и причесалась. Сидя перед зеркалом, она почувствовала неловкость: очень уж не ко времени и не по ее душевному состоянию показалась ей эта забота о своей внешности. Но, устраивая сыну праздник, такой поневоле кратковременный, она и сама, конечно, должна была попытаться выглядеть, как на празднике... А когда вернулся с хлебом Гога и, запыхавшись, деловито объявил: «Одного белого взял, горячий еще!.. Перед Октябрьской годовщиной всем выдают!», — Ольга Ильинична и его заставила умыться и переодеться. Детская белая рубашка Володи с матросским синим воротником и его короткие брючки оказались Гоге впору. И он, облачившись в них, тихо уселся на диване, присмиревший и напряженный, сложив подле себя свои костыли.

— Володя сказал, что наверно придет, что обязательно? — осведомился он после молчания.

Ольга Ильинична, покончившая со всеми хлопотами, присела напротив на кончик стула, каждую секунду, готовая вскочить. Ее тоже начало мучить беспокойство, так как время приближалось уже к половине пятого, а Володя обещал быть к четверем.

— Он просил передать, что их отпустили и что они все придут, — ответила она громко, точно пытаясь заглушить свое волнение.

На минуту Гога задумался.

— Володька не такой парень, чтоб соврать, — убежденно проговорил он. — Если сказал, что заявится, значит заявится.

— Ну как же, господи!.. Он просил передать, что их отпустили и что они обязательно придут: он, Витя и еще один их товарищ, — сказала Ольга Ильинична.

Гога снова погрузился в размышления; остренькое личико его стало озабоченным.

— А какой такой еще товарищ? — после паузы спросил он.

— Не знаю... Он только просил передать, что они

все придут, — настойчиво, как будто возражая Гоге, повторила Ольга Ильинична.

И они опять замолчали, прислушиваясь, избегая почему-то встречаться глазами... Когда же в коридоре застучали вдруг быстрые шаги, приближавшиеся по чугунным плитам, и Гога, сорвавшись с дивана, в два прыжка очутился у двери, когда одновременно с длинным, нетерпеливым звонком щелкнул язычок замка, Ольга Ильинична так растерялась, что осталась сидеть у стола, посредине комнаты. В следующую минуту, увидев на пороге стройную, ладную фигуру Володи в меховой курточке, в кубанке, сдвинутой набок, она страдальчески, как от внезапной боли, поморщилась...

«Что с ним? Почему он так похудел, почернел?» — пронеслось у нее в голове и, внутренне затрепетав, она кинулась к нему...

Но Володя неожиданно отступил в коридор.

— Мама, принимай гостей! — закричал он оттуда, пропуская впереди себя молоденькую девушку в коротком кожаном пальто.

...Володя, вернувшись из разведки, находился весь день в необыкновенном возбуждении. Впервые наконец он со своими друзьями участвовал в настоящем бою, и они не только успешно выполнили задание, но, атаковав неприятеля, вышли из схватки победителями. Вспоминая события минувшей ночи, докладывая о них начальникам, не скупившимся на похвалы, рассказывая своим товарищам, Володя и удивлялся про себя тому, что все так замечательно ловко получилось, и торжествовал. А затем этой же ночью произошло также и нечто другое, чрезвычайно важное, касавшееся, правда, лишь его и Лены... Было и тревожно отчасти и бесконечно радостно сознавать, что между ним и Леной, поцеловавшей его, завязались уже, быть может, отношения, которые соединяют потом людей на целую жизнь. Во всяком случае, насколько Володе было известно, эти исключительно серьезные по своим последствиям отношения часто так именно и начинались у многих людей... И он, поразмыслив над поведением Лены в лесу, пришел к счастливому выводу, что в будущем, когда он и она станут совсем взрослыми, они, видимо, поженятся. Володя не торопился сегодня же окончательно выяснить с девушкой этот вопрос, но разве сама она, поцеловавшись с ним,

могла теперь думать иначе, и разве то таинственное, немного стыдное и восхитительное, что произошло между ними, не налагало теперь на обоих равные обязательства взаимной верности?

— Здравсте! — с подчеркнутой независимостью проговорила Лена, подойдя к Ольге Ильиничне.

Откинув голову, тряхнув светлыми локонами, выпущенными из-под платка, она решительно, по-мужски протянула свою маленькую руку. Казалось, что-то новое, резкое, даже бесшабашное появилось в ней по возвращении в город после всех событий прошлой ночи.

— Мама, это Лена! Она тоже наш боец... Это Лена! — закричал Володя.

И Ольга Ильинична, принужденно улыбаясь, оглядела гостью. Почувствовав неестественное возбуждение сына, следуя все тому же бескорыстному желанию угодить ему сегодня во всем, она привлекла к себе Лену и поцеловала.

— Мамка! — воскликнул Володя, преисполнившись благодарности за это проявление любви к девушке, которая была почти что его невестой. — Ох, и соскучился я по тебе!

Он подскочил к матери и громко чмокнул ее; она обняла сына, прижала к себе. И все: он, она, Лена, Витя, Гога — заговорили разом, не слушая друг друга, как это и бывает в суматохе встречи.

— Ольге Ильиничне — боевой красноармейский привет! — хрипло выкрикнул Веревкин.

Из всех троих один он остался верен себе и соорудил смешливую гримасу, когда Ольга Ильинична и его поцеловала в стриженую, плюшевую макушку.

Гога, жаждавший поздороваться с Володей, прыгая за его спиной, однообразно восклицал:

— А я?.. А со мной?.. А я?..

— Гога, да ты моряком стал, юнгой! Смотрите-ка! — обратил наконец на него внимание Володя.

Усаживаясь за стол и увидев бутылку с водкой, Володя сразу и не сообразил, что водка предназначалась для него с товарищами. Потом, обнаружив стопку у своего прибора, он удивленно взглянул на мать...

— Погрейтесь немного... — сказала Ольга Ильинична, чуть покраснев. — С устатку можно... Это я для отца бергла.

Володя насупился было, но затем смягчился, подумав, что так оно и полагалось бойцу — приходя домой, пить на радостях водку. Встав, он сам разлил из бутылки всем по стопкам, и даже Гога получил на самое донышко.

— Фу, противная она очень!.. — сказала Лена, брезгливо поморщившись, и тут же воскликнула, отбросив рывком волосы со лба: — Все равно, давайте выпьем!..

Ольга Ильинична первая подняла свою стопку.

— Ну, солдатики мои, чтоб поскорей эта проклятая война кончилась! — сказала она. — Чтоб видеть вас всех здоровыми... — и голос ее пресекся.

Веревкин, посерьезнев, солидно проговорил:

— Чтоб не последнюю, ребята!

Он храбро, залпом выпил весь стаканчик и закашлялся.

Володя, не испытывавший к водке ничего, кроме отвращения, так же мужественно осушил свою стопку. Горло ему обожгло, на глазах выступили слезы, и он отвернулся, чтоб этого не видела Лена.

Больше к бутылке никто в продолжение всего обеда не притронулся. А когда Ольга Ильинична поставила на стол банку с вареньем, единственную, сохранившуюся у нее от довоенного времени, Веревкин, показав на варенье глазами, подмигнул Гоге, а Лена просто-душно призналась:

— Клубничное?! Самое мое любимое!..

В общем же обед проходил очень шумно и весело. Веревкин рассказывал о приключениях разведчиков, по обыкновению преувеличивая и придавая всему забавный оттенок. Лена и Володя, немного все же захмелевшие, то от души смеялись, то перебивали Витю, чтобы восстановить истину.

— Лена, конечно, самое интересное проспала, — хрипловатым голосом повествовал он. — Кругом фрицы ходят, а она припухла... Может, это болезнь у нее такая, не знаю. Чуть где приткнется — сейчас же на месте засыпает...

— И не ври, не ври! — горячо запротестовала Лена. — Сам спишь так, что добудиться невозможно...

— А все-таки в разведке я еще ни разу не спал, — настаивал на своем Витя. — Ладно, идем мы дальше, выбираемся на дорогу... А там тоже фрицы, целый

взвод, может, поменьше... Тут Володька как закричит: «Огонь!»

Володя от изумления даже привстал, потом расхотелся, откинувшись на спинку стула.

— И не взвод, а всего трое... — сквозь смех проговорил он.

У Ольги Ильиничны, слушавшей все это, обмирало сердце... Она перестала вскоре задавать вопросы, боясь узнать что-нибудь еще более страшное, более жестокое о делах, в которых участвовал ее сын. В то же время никогда еще он так не нравился ей и никогда она так самозабвенно не любовалась его смуглым погрубевшим лицом, блеском его зеленоватых смелых глаз, его смехом, его стремительными движениями. Она даже как будто оробела перед своим сыном и лишь тихо просила иногда:

— Кушай, Вовочка, кушай... Я тебе еще положу... Витя, а ты что же? Леночка, не стесняйтесь!.. — и щедро накладывала на тарелки и пододвигала чашки этим удивительным детям, так быстро ставшим солдатами.

Глядя на Володю и Лену, она не могла не заметить, что ее сын относился к этой девушке по-особому, с готовностью подчиняясь ей во всем. И хотя, разумеется, между ним и Леной ничего еще не могло завязаться серьезного, Ольга Ильинична присматривалась к девушке с невольной ревностью...

Володе, сидевшему между матерью и Леной, казалось, что вот-вот должны были начаться какие-то совсем уж невероятные вещи: ему было и очень хорошо, как никогда в жизни, и томительно, и беспокойно... Над столом в комнате мирно и светло горела лампа под шелковым с кисточками абажуром; другая — поменьше — освещала в углу рабочий столик Володи, закапанный чернилами, застланный зеленой глянцевиной бумагой. На стенах висели с детства изученные им во всех подробностях картинки в фанерных рамочках, изображавшие охотников на привале и прилет грачей; гипсовый раскрашенный кот с бантиком на шее сидел на своем обычном месте — на диванной полочке. А в простенке между столиком и буфетом валялась на полу запыленная холщевая модель планера, похожая на большую стрекозу, так и не законченная Володей. Но он

бегло скользил взглядом по всем этим знакомым, милым его сердцу предметам... И, вглядываясь в раскрасневшееся гладкое личико Лены, в странно молоджавое лицо матери, кротко смотревшей на него, в Гогу, ловившего каждое его движение, в оживленного, без умолку балагурившего Веревкина, он ждал как будто чего-то еще... Казалось, должен был вот-вот наступить тот высший, невыносимый предел человеческого счастья, за которым, вероятно, следуют уже чудеса: лилии и розы расцветают на обеденной скатерти, а на потолке зажигаются звезды... Володя не очень удивился бы даже, если б в комнату внезапно вошел сейчас отец, взял его за плечи и, отстранив легонько на вытянутую руку, спросил: «Докладывай, комсомол, что делал тут без меня?» Но хотя так не могло, повидимому, случиться, Володя с сияющим лицом поворачивался на каждый стук двери...

...К концу обеда к Тихоновым начали приходить один за другим соседи по квартире, слышавшие о гостях с фронта. Первой появилась старушка-табельщица с хлебозавода, вслед за нею пришли еще две женщины; одна из них, Аглая Тимофеевна Быкова, служила бухгалтером в конторе «Гастроном», другая работала там же, где и Ольга Ильинична, на швейной фабрике. Заглянул на минуту Пчелинцев, слесарь из трамвайного депо, расцеловался с Володией и убежал, торопясь на работу. Потом в уголке у двери присела дворничиха с грудным ребенком на руках, закутанным в стеганое красное одеяльце; последним постучался старик Бухарцев, художник.

— Михал Михалыч, что же вы!.. — закричал Володя. — Заходите!! Как здоровье ваше?

Бухарцев нерешительно постоял на пороге, высокий, худой, в запачканном красками пиджаке, в помятых брюках, пузырившихся на коленях. На его морщинистом лице с воспаленными веками, лишенными ресниц, было сконфуженное, просительное выражение...

— Не прогоните старика? — тихо спросил он. — Извините великодушно, не усидел у себя. Захотелось поглядеть на героя нашего...

— Что вы, что вы! — сказала Ольга Ильинична. — Присаживайтесь, сейчас я вам чаю налью.

Бухарцев замахал рукой, как бы отказываясь, но все же окинул взглядом стол и, осторожно ступая, прошел к нему.

Соседки, перебивая одна другую, расспрашивали Володю о его боевых делах, любопытствовали, какой он получает паек, не простуживается ли он и не слишком ли строг к нему начальник. Старушка-табельщица шумно вздыхала, глядя на разведчиков; Аглая Тимофеевна советовала им не соваться без нужды в самый огонь и не баловаться с оружием, что очень их развеселило.

— Один так-то вот осколочками от снарядов интересовался все, — укоризненно сказала табельщица. — Только, значит, начнет сверху сыпаться, он сейчас же во двор бежит... Известно, дитя еще... Ну, и зашибло ему голову, в больницу теперь свезли...

— Как же, Володичка, когда мы извергов этих назад погоним? — слегка подкидывая на руках ребенка, спросила дворничиха.

— Я думаю, скоро уже, — убежденно ответил Володя. — Такого им жару дадим, что своих не узнают...

— Дай-то бог, — сказала Аглая Тимофеевна, дебая, рослая, с темным пушком над губой.

— Вот оно что, — проговорил Бухарцев и два раза кашлянул в руку. — Что же, большая помощь к нам в город пришла?

— Не знаю. Но вы не беспокойтесь, Михал Михалыч! — решительно сказал Володя. — Немцев мы обязательно побьем...

— Богатырь ты наш! — растроганно пробормотала табельщица.

— Отрадно слышать, — заметил Бухарцев, — а только покамест бомбы на наши головы падают... — и он опять кашлянул.

— Немцам тоже здорово достается, — сказал Володя. — Вы не сомневайтесь...

— В прошлом году об это время, перед праздником, такая везде радость была, чистота, иллюминация, — снова заговорила дворничиха. — А нынче, хоть и прибрались мы по дому и мусор весь вывезли, а на душе ровно камень лежит.

— Я все думаю: как в Москве теперь? — сказала Аглая Тимофеевна. — Помните, товарищи, мы всегда в этот вечер торжественный доклад из Москвы слушали.

— Бои-то под самой матушкой Москвой идут, — вздохнув, сказала табельщица.

— Да, не до торжеств нынче, Аглая Тимофеевна! Немцы уж в Химки вошли, в Покровское-Стрешнево... — начал было Бухарцев, но тут же опасливо умолк.

— Откуда вы взяли про Химки, про Покровское-Стрешнево? — громко спросил Володя.

— Рассказывали тут одни военные. Может, и не так это, — поспешно ответил Бухарцев.

— Ясно, что вранье!.. И нечего вам, Михал Михалыч, всяким слухам верить...

Володя быстро оглядел всех в комнате, казалось, что и мать, не сводившая с него влюбленных глаз, и другие женщины, опечаленные, затосковавшие, ждали ободряющего, правдивого слова. И один он мог здесь успокоить их... Чувствуя, что его как бы вздымает на себя теплая стремительная волна, Володя вскочил со стула и закричал:

— Ну, чего вы, чего! Знаете, как вся молодежь настроена по-боевому?! Ребята за Родину в огонь и в воду готовы пойти!.. Нет у комсомольцев ничего дороже Родины! И каждый из нас жизнь отдаст за нее.

Ольга Ильинична даже побледнела, ощутив укол в самое сердце... Но как хорош был сейчас ее сын, пылкий, стройный, туго перетянутый поясом, прямой, как тростинка! Его отросшие волосы, более темные у корней и выцветшие на концах, растрепались, а на затылке — он стоял в профиль к матери — они были совсем светлые, выделяясь узким мысиком на смуглой коже. Заглядевшись на сына, Ольга Ильинична не заметила, как, улыбаясь ему, закивала одобрительно головой.

— И мамки своей тебе не жалко, голубь? — спросила табельщица; в щелочках ее глаз, полуприкрытых припухшими веками, блестели слезы.

Гога, не выдержав, подхватил свои костыли и запрыгал к Володе. Ему хотелось только постоять в эту минуту с ним рядом, просто постоять, ничего больше...

— Счастливая ты, Ильинична, — проговорила расслабленным голосом табельщица. — У кого хочешь спроси, все скажут — счастливая...

Зашевелился ребенок на руках у дворничихи, и в комнате раздались слабые, чмокающие звуки. Женщина пе-

реложила ребенка с руки на руку и начала легонько покачивать.

— Вот еще один герой о себе заявляет, — без улыбки сказала она.

Лена засмеялась и, выбравшись из-за стола, подошла к женщине.

— Ах, какие мы сердитые! — воскликнула она, отогнув уголок красного одеяльца. — И пузыри пускаем уже... Ах, какие мы чудненькие!.. Ах, какие мы!.. — почти пропела она, опустившись на корточки.

Бухарцев не произносил больше ни слова, допивая свой чай, отирая ладонью намокшие усы... Ничего нового, обнадеживающего он не услышал здесь, а между тем его положение становилось, повидимому, день ото дня опаснее. Недавно был арестован Никитин, взятый с ракетницей в руках во время очередного налета бомбардировщиков. И кто мог поручиться, что на допросе этот недавний его гость не упомянет и о нем, Бухарцеве, бывшем штаб-ротмистре, приютившем диверсанта на ночь... Деятельный Борис Николаевич, известивший его об аресте Никитина, попрежнему не сомневался в скором падении города. Но могло случиться, что он, Бухарцев, так и не дожидется своего часа...

Старик покосился на Володю; тот в это мгновение встал к нему спиной, разговаривая о чем-то с Веревкиным... «Поглядеть бы только, как вы оба на перекладине болтаться будете», — подумал Бухарцев и испуганно отвел глаза, будто кто-нибудь мог прочитать его мысли.

— Нездоровится вам, Михал Михайлович? — спросила Ольга Ильинична. — Дайте еще чашечку налью...

— Благодарю, — спохватившись, пробормотал старик. — Увольте, почтеннейшая. Покорно благодарю...

Но уходить он медлил: его пугало возвращение в свое пустынное обиталище, пропахшее олифой, пылью, грязной одеждой, где все чаще его охватывали теперь сомнения и страхи. Он и сюда пришел сегодня не потому только, что в его обязанности входило сеять слухи и охотиться за ними, но в большей мере — спасаясь от одиночества, которое не мог уже переносить. И пока люди, собравшиеся здесь, не стали еще его жертвами, как это мечталось ему, он очень нуждался в их обществе... Лишь

когда ушла дворничиха с ребенком и начали прощаться другие женщины, он также с сожалением поднялся.

Витя по уходе соседей задремал на диване; Володя устроился подле него, облокотившись о валик... Он чувствовал усталость — как-никак, он не спал вторые сутки, — но все еще бессознательно чего-то ожидал: казалось, этот счастливейший из его дней должен был и закончиться иначе, чем все другие... Гога, усевшись на валик с противоположной стороны, попытался было завязать разговор с Володей, но тот, рассеянно улыбаясь, только кивал головой, не слушая его... Ольга Ильинична и Лена, сидя за столом, негромко беседовали; собственно, говорила больше Лена, потряхивая время от времени своими белокурыми кудрями, а мать, споласкивавшая чашки, участливо переспрашивала ее. И, глядя на них обеих, Володя подумал, что они похожи одна на другую, как две сестры — старшая и младшая. На первый взгляд, все у них было разное: глаза — голубые у Лены, зеленоватые с желтыми искорками — у матери; щеки — впалые, бледные у одной, круглые, будто облитые глазурью, — у другой; лоб — покатый, в морщинах у матери и выпуклый, как отполированный, — у Лены. Тем не менее какое-то невидимое сходство роднило их, сближало и это было приятно Володе. Но так и не установив, в чем именно оно заключалось, улыбнувшись обоим сквозь внезапную дремоту, он уснул.

Гога погрузился, заметив это, — у него накопилось слишком много новостей, которыми он собирался поделиться с Володей, как только представится к тому возможность. Прежде всего он хотел сказать, что снова начал решать задачки и списывать в тетрадь из книги по русскому языку, хотя и не ходил попрежнему в школу. Затем Володе небезинтересно, конечно, было бы узнать, что Колька Званцев поступил на завод учеником, что Игоря Перевозчикова приняли в истребительный комсомольский отряд, что Прохоровы всей семьей уехали в деревню и что к старику Бухарцеву повадились ходить никому не известные люди, не то гражданские, не то военные — не разберешь. А сам Михаил Михайлович с некоторых пор сделался злым, запсиховал и как-то даже обругал его, Гогу, на чем свет стоит... Расположившись на валике поудобнее, Гога решил терпеливо дожидаться пробуждения своего старшего друга. Но Ольга

Ильинична разбудила Володю лишь за несколько минут перед тем, как ему надо было уже уходить, и задумчивый разговор с ним так у Гоги и не состоялся.

...Сбежав с лестницы и выглянув во двор, Володя невольно зажмурился: снег, ударивший в лицо, запорошил ему глаза. Неожиданно разыгралась метель, и город потонул в колючей мгле, то уплотнявшейся, то внезапно редевшей. Однако прохожие встречались сегодня чаще, чем обычно бывало теперь в вечерние часы. А на перекрестке, на углу улицы Металлистов и площади Труда, разведчики увидели в метельном, беспокойном тумане большую толпу людей.

Когда они подходили к перекрестку, оттуда донеслись к ним чьи-то громкие неразборчивые слова, летевшие сверху из невидимого радиорупора. Потом наступила недолгая пауза, во время которой было слышно, как скребет ветер по крышам, как сдержанно дышит молчаливая толпа. И вдруг над примолкшими, неподвижными людьми, теснившимися друг к другу в этой снежной буре, зазвучал, далеко разносясь над площадью, сильный, неспешный, очень спокойный голос:

«Товарищи! Прошло 24 года с тех пор, как победила у нас Октябрьская социалистическая революция и установился в нашей стране советский строй. Мы стоим теперь на пороге следующего, 25-го года существования советского строя».

«Сталин!.. Это говорит Сталин!» — едва не вскрикнул Володя.

Он обернулся, ища Лену, увидел сквозь морозную пыль ее лицо с побелевшими бровями, схватил Лену за руку и потянул вперед.

«Значит, все происходит, как и раньше происходило, — подумал он. — И торжественное заседание в Москве и доклад... Ах, как хорошо!»

«...Истекший год является не только годом мирного строительства, — раздавалось над столпившимися, тихо дышавшими людьми. — Он является вместе с тем годом войны с немецкими захватчиками, вероломно нападшими на нашу миролюбивую страну».

Володя застыл, стараясь не проронить ни слова; душа его ликовала. Конечно же, он не напрасно весь вечер

ожидал чего-то еще, самого замечательного, самого важного...

«Война значительно сократила, а в некоторых областях прекратила вовсе нашу мирную строительную работу, — продолжал Сталин. — Она заставила перестроить всю нашу работу на военный лад. Она превратила нашу страну в единый и всеобъемлющий тыл, обслуживающий фронт, обслуживающий нашу Красную Армию, наш Военно-Морской Флот».

Падал снег, ветер подхватывал его, срывал с крыш, завивал в белые столбы, насакивал на людей, царапал лица, забирался в рукава... Но на площади никто не шевелился: люди слушали доклад Сталина. И по мере того как он говорил, разъясняя, воодушевляя, огромная тревога, обуревавшая людей в эту позднюю осень 1941 года, переплавлялась в уверенность и решимость.

6

На позициях, охватывавших город гигантским полукольцом, день 6 ноября прошел сравнительно спокойно. Немцы только изредка постреливали, а к вечеру утихли совсем: видимо, они перегруппировывались и подтягивали свежие части. Надо было ожидать, что завтра, 7 ноября, в 24-ю годовщину Советского государства, с их стороны последуют особенно яростные атаки. И защитники города, в свою очередь, использовали недолгое затишье для укрепления обороны. Павел Громов, заменивший раненого лейтенанта и вот уже неделю как командовавший ротой, занялся восстановлением разрушенных кое-где окопов, приказал углубить ходы сообщения, роздал противотанковые гранаты нового образца, оборудовал запасный наблюдательный пункт и проделал много других неотложных работ. А когда стемнело, он и политрук Елисеев приступили к распределению подарков, полученных для бойцов от населения города... Елисеев вернулся в роту на следующий же день после боя у Николиной балки; как оказалось, он был контужен в ночном бою с танками, пролежал, потеряв сознание, несколько часов в придорожной канаве, пока его не подобрала колхозники. Они же помогли Елисееву добраться до города.

Было невозможно, к сожалению, собрать сегодня всю роту в одном месте хотя бы на короткое время, и там, как

полагалось, поздравить с наступавшим праздником. Поэтому Павел решил, что он и политрук обойдут вечером своих бойцов и, поздравив каждого на его посту, вручат подарки — аккуратные, перевязанные тесьмой пакеты с папиросами или табаком, с байковыми портянками и атласными кисетами, с теплыми носками и варежками, с куском сала, завернутым в чистую суровую тряпочку, или сухой колбасы. Иной удачник мог обнаружить в пакете с подарками даже бутылку водки либо домашней, пахнувшей смородиновым листом настойки. И во всех без исключения пакетах были письма к бойцам от жителей города, а иногда и фотографии дарительниц: ученицы какого-нибудь 9-го «Б» класса средней школы или девушки-работницы с швейной фабрики, с железной дороги, с фабрики-кухни.

Павел, сидя вечером у себя на КП, с особенным удовольствием участвовал в приготовлениях к предпраздничному обходу роты. После семи дней очень тяжелых боев, потребовавших от всех огромного напряжения, ему было и странно и необыкновенно приятно хлопотать о деле, могущем доставить его измучившимся людям только радость.

Три бойца, представители взводов, укладывали в мешки подарки для своих подразделений, и Павел громко, с увлечением распоряжался:

— Не ощупывай, клади подряд... Ишь вы, хитрецы какие! Полегче, полегче, не бросайте так! Тут и бьющиеся вещи имеются... Понятно?

— На наш взвод почти не досталось бьющихся, — пожаловался кто-то из бойцов. — Одни шарфики, должно быть, да зубной порошок...

— А это, брат, кому какое счастье... — и Павел засмеялся своим отрывистым, гогочущим смехом.

В подвале разбитого снарядами дома, где находился его командный пункт, было слышно, как шумит наверху разыгравшийся ветер. Временами что-то погромыхивало, постукивало, дребезжало; вероятно, железные листы, сорванные с кровли, дерекатывались по обледенелым кирпичам. Но в низком вместительном подвале застоявшийся воздух, отдававший тиной, был неподвижен и темен, как болотная вода. Будто сквозь ее толщу слабо просвечивали крохотные желтые огоньки коптилок: две горели на

деревянном ящике, заменявшем Павлу стол, третья мерцала в углу у телефониста.

— Слышите, как погода разгулялась? — проговорил Елисеев, подняв глаза к затененному, бетонированному потолку. — В семнадцатом году в эту ночь тоже, помню, мороз ударил. Мы на Арсенал тогда ходили, вместе с папашей вашим, с Алексей Васильевичем. Только я в городском отряде был, а он с зареченским подошел...

— Да, я вам не успел сказать... — отозвался Павел, — отец с Орловым были вчера у нас в полку, испытывали свой миномет... Представляете себе? На заводе ничего же не осталось, все станки давно вывезены... Так они отремонтировали те, что ржавели на свалке...

Елисеев, задумчиво улыбаясь, смотрел на трепетные лепестки огня, плававшие в растопленном стеарине...

— Намерзлись мы, помню, тогда, дожидаясь отряда из Заречья, — тихо проговорил он. — Под самое утро только пошли в бой, сразу с трех сторон.

Было видно, что эти воспоминания доставляли Елисееву удовольствие... Впрочем, выглядел он очень утомленным, глаза у него провалились, и он сутулился, чего не было раньше.

— А потом, минометный прицел, — снова заговорил Павел, поднявшись с табурета, на котором сидел, — это же сложная штука, требующая большой точности, специального оборудования... Как они изготовили ее, ума не приложу!

— С песней, помню, пошли, с Интернационалом, — продолжал Елисеев, все так же улыбаясь, не слушая Павла. — Взяли Арсенал и сейчас же начали раздавать оружие... — Он умолк и опять посмотрел вверх. — Даже непривычно как-то... Вы обратили внимание: ни выстрелов, ни разрывов... Словно и войны нет.

— Действительно, отвыкли мы уже, — сказал Павел; голова его, ушедшая под самый потолок, была почти неразличима в темноте, лишь в зрачках чуть теплились золотистые точечные отражения пламени. — Ожидайте гостей завтра утром, Порфирий Яковлевич! — сказал он.

— Завтра, да, — подтвердил Елисеев.

— Давайте, товарищи, кончайте! — поторопил Павел бойцов и вновь обратился к политруку: — Металл с завода мы тоже вывезли... Это вы знаете... Так старики

наши насосные трубы использовали для минометных стволов... Прямо кудесники!

Елисеев пристально взглянул на Павла, точно сейчас лишь уразумев, о чем, собственно, тот говорил.

— Ну, еще бы — золотые руки у людей, — ответил он. — Наш Левша когда-то и блоху подковал.

— Не по душе мне ваш Левша, — с неожиданной горячностью сказал Павел. — И что он так полюбился всем? Вы меня простите, Порфирий Яковлевич, но мне вообще не нравится Лесков... А Левша его и вовсе двусмысленная фигура. Вы помните блоху, что смастерили англичане, он подковал, а после этого она перестала прыгать... То есть попросту испортил ваш Левша вещьцу... Кончили, товарищи? — закричал Павел бойцам, и его голос глухо отдался под бетонными сводами. — Эй, эй, не заглядывайте в пакеты! Мы ж условились — кому какое счастье...

— Все же, знаете, Лесков художественно писал, — заметил Елисеев. — Язык у него образный, меткий... Большой знаток языка был.

— По-моему, нет ничего более художественного, чем любовь к людям, чем прославление полезных человеческих дел, — сказал Павел.

Бойцы поднимались, вскидывали мешки на плечи; Павел взял с ящика гранату и сунул в карман шинели.

— В «Левше» русский мастеровой изображен дикарем каким-то, — сердито проговорил он. — Это же неправда... И мне кажется, Лесков хотел высмеять, представить бесцельным, неразумным замечательное умение нашего мастерового человека.

Вглядевшись в своего собеседника, Павел осекся и понизил голос:

— Порфирий Яковлевич, заморились вы... Отдохнули бы, пока тихо... А я и один как-нибудь управлюсь, — участливо предложил он.

Сам Павел держался еще крепко, но ему на редкость, с избытком отпущено было здоровья и силы. Сознывая свою завидную исключительность в этом смысле, он чувствовал себя как бы в постоянном долгу перед товарищами.

— Нет, нет, что вы? — испуганно пробормотал Елисеев, торопливо застегивая свое ватное пальто с черным каракулевым воротником. — Что вы, Павел Алексеевич! Как можно мне не пойти сегодня?

Павел включил электрический фонарик и, пригнув голову, пошел первым; Елисеев поднял на ходу воротник пальто, поправил кобуру на поясе; за ними гуськом двинулись бойцы. Голубоватый кружок света, скользивший впереди, выхватывал из мрака то квадратную кирпичную колонну, подпиравшую своды, то растоптанную солому на полу, то кадку с игольчатой, стынувшей водой, отливавшей льдистым блеском, то металлический плоский ящик для гранат, то кусок стены, малахитовой от сырости. Ступив на лесенку, ведущую наверх, Павел обернулся через плечо.

— Мы с вами сегодня, как новогодние деды с подарками, — сказал он Елисееву, — только и разница, что с револьверами на боках...

Елисеев промолчал, и Павлу, охваченному ребяческой веселостью от предстоящей процедуры раздачи подарков, стало немного неловко.

— Заодно и посты проверим, — добавил он.

Наверху их с такой силой обдал колючий ветер, что они невольно затоптались на месте, сбившись в кучу. Как будто белые косматые кони неслись мимо них, не касаясь земли, но взвихривая снег. Потом круто поворачивали и всем призрачным табуном мчались обратно, окутанные морозной мглой... Ничего нельзя было рассмотреть в этой метельной ночи; лишь в стороне немцев стояло радужное, туманное свечение. Оно то меркло, то разгоралось, когда в завьюженном воздухе повисали разноцветные ракеты. Неожиданно в двух шагах от Павла обозначилась белая печная труба, торчавшая среди обломков; ветер кружил над нею, и казалось, что из трубы вырывался ледяной дым.

Засыпанные снегом, ослепленные, Павел и его спутники добрались по овражку до блинжада Щукина, командира первого взвода. Щукин стоял, сгорбившись, перед входом в свою земляную нору, точно поджидал их к себе.

— Поздравляю с наступающим праздником нашей пролетарской революции, — сказал Елисеев командиру взвода.

— Спасибо! И вас также, товарищ политрук, — ответил тот застуженным голосом.

В узком луче фонарика роем проносились снежинки, и сквозь их частое, суетливое мелькание обрисовалось

лицо Щукина, с мохнатыми, как у старика, побелевшими бровями, с опущенными ресницами.

— Мы к вам, товарищ взводный, не с пустыми руками, мы с сюрпризом... — сказал Павел.

Вместе со Щукиным все направились соединительным ходом в окоп. Ветер обдувал обледеневший бруствер, и над ним завивались снежные быстрые вертуны... Снова вспыхивал фонарик, в его волшебном световом конусе возникала земляная стенка с наметенным подле нее сугробом и ссутулившаяся фигура наблюдателя. Вслед за тем политрук обращался к бойцу, громко, отчетливо выговаривая слова:

— Поздравляю с наступающим праздником Великой Октябрьской социалистической революции!

— Спасибо... Взаимно, товарищ политрук! — слышался невнятный ответ, произносимый непослушными, закоченевшими губами.

— Это вам, товарищ боец, от мирного населения нашего города, — говорил Павел, протягивая подарок, — посмóтрите, когда сменитесь.

И они шли дальше, отворачивая лица от сыпавшего навстречу сухого снега.

— Поздравляю с наступающим праздником!.. В следующем году отметим его веселее — победой... — снова раздавался громкий, неожиданно окрепший голос Елисеева.

— Не иначе, товарищ политрук!.. — с готовностью отвечал боец, жмурясь от света, направленного на него...

Метель разыгралась по-зимнему, и в окопе в иных местах снегу было по колено; Елисеев, приближаясь к солдатам, отгибал углы своего воротника, обмахивал запорошенные усы.

— Поздравляю с наступающим праздником!.. — раздавалось в шуме и свисте ветра.

— И вас также, товарищ политрук! — слышался ответ. — Спасибо, товарищ командир роты!

Низко нагнувшись, Павел протиснулся во взводную землянку. Тесная, набитая людьми, она освещалась только отблесками пламени, бушевавшего в круглой железной печке. И в то время как лица бойцов, сидевших перед дверцей печки, были резко высвечены, другие едва различались в задымленной, угарной темноте. Елисеев отогнул воротник пальто, откашлялся...

— Товарищи бойцы первого взвода пятой роты рабочего полка! — медленно начал он.

Павел сел среди бойцов, внимательно вглядываясь в них, — почти каждого в своей роте он знал уже по имени и фамилии. И как непохожи были теперь они на тех мирных, штатских, неестественно возбужденных людей, с которыми так недавно он вышел на позиции! Не все, кто вышел с ним, остались в строю, и не один Егор Трошин — при воспоминании о нем Павел все еще чувствовал себя виноватым — был отнесен товарищами неподалеку, за кладбищенскую ограду. Но те, что уцелели, представлялись ныне Павлу настоящими солдатами... И не потому только, что перестали нервничать при близких выстрелах и научились спать на голой земле, под дождем и на морозе, что не боялись больше вложить запал в гранату, как это раньше случалось, или подпустить неприятеля на дистанцию прицельного огня. Люди в полку не просто притерпелись к великим ратным тяготам и к постоянной смертной опасности... Но, не отступив перед нею, они внутренне изменились, обретя в себе стойкость такого высокого закала, о которой раньше и не подозревали. У разных людей она по-разному проявлялась... Вот Иван Дружников, газовщик, он заметно помрачнел, замкнувшись в неслабном внутреннем напряжении; вот Коля Охотников, подручный горнового и полковой поэт, в нем обнаружилась такая безудержная удаль, точно ему понравилось играть с опасностью; вот Чекин и Михайлов, тоже доменщики, Свешников — литейщик, уверенность и спокойствие которых возрастали с каждым днем, проведенным в окопах... Правда, все они — Павел видел это — устали, осунулись, почернели, у всех выпятились скулы, у многих запали глаза. Будто жестокая болезнь, были пережиты его людьми первые бои, из которых они вышли еще более крепкими, сохранив, однако, на себе следы тяжкого испытания.

— Братья рабочие, все мы здесь одна семья, — продолжал Елисеев, и по несвойственной ему медлительности речи Павел догадался, что политрук взволнован. — Давайте вспомним, как обстояло у нас дело двадцать четыре, двадцать три года назад. Я помню это довольно хорошо... Молодая Советская республика сражалась буквально в огненном кольце, против всего мирового капи-

гализма... И что же? Она полностью, как вам известно, разгромила своих врагов...

В землянке было так тесно, что слушатели сидели и стояли вплотную к оратору, касались его локтями. От горького дыма, сонившегося из щелей печурки, глаза у Елисеева заслезились; кто-то, сдерживаясь, хрипел и кашлял в темном углу... В жарком, дымном воздухе было трудно дышать, а ноги людей зябли от холода, стелившегося понизу.

— ...Сегодня в лице озверевшего немецкого фашизма на нас снова идет мировой империализм, — проговорил политрук. — И не может быть сомнения, что он также будет разгромлен до конца! Потому что, как и в семнадцатом году, нами руководит испытанная в классовой борьбе партия большевиков... Товарищи бойцы первого взвода пятой роты рабочего полка!.. — Елисеев помолчал, переводя дыхание. — Поздравляю вас с двадцать четвертой годовщиной нашей победоносной пролетарской борьбы за дело всех трудящихся, за народное счастье...

— Как в песне получается, товарищ политрук, — сказал Свешников, литейщик, худошавый, с тонким лицом, с упавшими на глаза длинными прядями, — «За дело народное бьются отряды рабочих бойцов...»

Малиновый отсвет огня, будто орденская лента, лег узкой косой полосой на его стеганный ватник, окрасил в розовый цвет высокий лоб Дружникова, протянулся красными фестонами по березовым бревнам наката, заблестел на вороненом стволе чьей-то винтовки...

— ...И в знак своей горячей благодарности вам, товарищи бойцы, — закончил политрук, — мирное население нашего города собрало для вас скромные подарки.

Слушатели зашевелились, раздались восклицания, вопросы, смех... И Павел с наслаждением наблюдал, как Щукин и его бойцы, все взрослые люди, любопытствуя и забавляясь, получали бумажные пакеты с гостинцами.

— Ах ты, гляди-ка, и карточку свою мне прислала! — прогудел Михайлов, горновой, бородатый, лет под пятьдесят человек, отец большого семейства.

Сидя у огня, Михайлов с интересом рассматривал фотографию незнакомой молодой женщины, оказавшуюся в пакете.

— Озорница какая, а? — удивлялся он.

— «Дорогой товарищ боец! — наклонившись к дверце печки, вслух читал Шукин письмо, полученное им. — В первой строке моего письма низко кланяюсь вам и шлю привет от себя и от бабушки Клавдии Григорьевны. Она стала теперь совсем слепая и не может написать вам сама. А мне пошел уже десятый год. И мы с бабушкой просим вас, дорогой боец, бейте проклятых фашистов не жалея!..»

Лед на лице Шукина растаял, и стало видно, что командир взвода очень молод, что у него русые брови и выгнутые, как у девушки, ресницы.

Охотников, подмигивая соседям, разматывал пуховый вязаный шарфик, доставшийся ему; бойцы шумели, толкаясь, перебивая друг друга, делясь впечатлениями. И даже Дружников, получивший нарядные, с узором на тыльной стороне варежки, заулыбался, примеряя их... Дело, однако, заключалось не в этих вещичках, подчас даже не слишком необходимых: люди в полку были и одеты и сыты. Но каждый из бойцов чувствовал себя сегодня именинником. И как бы ни были иной раз тяжелы для человека условия его жизни и борьбы, сердце его, пока оно живо, тянется к радости, молодежи в ней.

Солидный Михайлов, вертя перед собой фотографию, никак не мог успокоиться.

— Пропал я теперь, ребята, с карточкой с этой! — объявил он товарищам. — Ежели Анюта моя дознается про нее, не жить мне на свете... — он ухмылялся, почесывая бороду, весьма довольный, видимо, этим поразительным происшествием — вниманием и приветом молодой женщины.

— Ничего, жена поймет, не обидится, — засмеявшись, сказал Павел.

Он чувствовал себя очень хорошо сейчас, всем существом своим отдыхая среди развеселившихся людей.

— Повезло тебе, Коля! — крикнул он, глядя на Охотникова, по-женски повязавшего пуховым шарфом свою курчавую, цыганскую голову. — Такие штуки только жёнкам вяжут... Что у вас? Покажите-ка, покажите... — любопытствовал он, повернувшись к Свешникову. — Отличный кисет, шелковый, с вышивкой. Вот это ценная вещь! — восхищался Павел.

Ему хотелось, чтоб все без исключения его солдаты были довольны сегодня — именно они, как никто, заслу-

живали, по его мнению, самых драгоценных земных благ. И он с увлечением комментировал достоинства шерстяных носков и крупно нарубленного самосада, искренне их преувеличивая.

— Товарищ командир роты! — просительным тоном сказал Дружников. — Когда наступать будем, ничего не известно? — Розовый свет от печки обрисовал его профиль: высокий лоб, острый с горбинкой нос, выдававшийся подбородок. — Хотелось бы лично дождаться дорожного часа...

Павел едва не ответил «Завтра, товарищ Дружников, завтра мы пойдем с вами в наступление». Но, конечно, он не мог обещать того, в чем не был уверен. И он громко, своим рокочущим баском проговорил, покрыв без усилий разноголосый шум:

— Давайте завтра так отметим годовщину Октября, чтоб фрицы ее надолго запомнили. А там, недалек час — ударим на них сами.

Он встал, упираясь головой в накат.

— Завтра фрицы обязательно опять полезут, — сказал он. — Что же, пусть попробуют еще раз, если им мало было... Верно, товарищи? Пусть попробуют?

Охотников сорвал вдруг с головы шарфик и, подавшись вперед гибким телом, блестя наивными, беззаветно отважными глазами, продекламировал:

За мирный труд, за жизнь детей
Стой твердо, не робей,
И в сердце бей, и в землю вбей
Фашистского злодея!

...Из первого взвода Павел и Елисеев прошли в третий, в центр слободки, которую обороняла их рота. Здесь, в маленьком каменном домике, одном из немногих уцелевших, они нашли чуть ли не половину бойцов взвода; люди, сидевшие и толпившиеся вокруг стола, заставленного котелками и кружками, только что, видимо, кончили ужинать. Квадратная, с закопченной русской печью комната была слабо освещена керосиновой лампой, отбрасывавшей на беленые стены огромные силуэты теней. Хозяйка домика Серафима Селивестровна — дородная, с пухлым безбровым лицом, с жиденьким узелком волос на макушке — стояла около цветастого полога, сложив на животе толстые руки.

— Серафима Селивестровна, принимаете еще гостей? — весело спросил Павел, отряхиваясь от снега и топоча сапогами.

— Заходите, чего уж... — снисходительно ответила женщина. — Назяблись, поди, в своем капе.

Павел, как и все в роте, знал, что оба сына этой женщины воюют на других фронтах: один — под Ленинградом, другой — на юге, а сама она не уходит отсюда только потому, что без нее здесь было бы еще тяжелее. Так уж повелось, что в промежутках между немецкими атаками бойцы забегали к Серафиме Селивестровне обсушиться, погреться, попить чаю, переменить портянки. И она, не выделяя никого в особенности, привечала каждого, кормила картошкой, испеченной на углях, бралась постирать по мелочи, пришить пуговицу, и в случае нужды она же делала первую перевязку. В любых обстоятельствах она, что было особенно важно, сохраняла ровное, слегка насмешливое настроение, чудом уцелевшее в этой полосе огня и разрушения. Когда же на равнине перед слободкой появлялись немецкие танки и снаряды начинали рваться на улице, она без излишней торопливости залезала в подпол.

— Вы бы, хозяйшюка, в город ушли до времени... — советовали ей иногда. — Блиндажик у вас не ахти какой надежный...

— А я заговоренная... — усмехаясь, отвечала она. — Я, милые, только тараканов боюсь...

И женщину не слишком разубеждали, боясь, что с ее уходом перестанет существовать и этот солдатский клуб, в котором все так нуждались.

— Порфирий Яковлевич, — оглядев политрука, сказала она, — да на вас лица нет!.. Занедужили, что ли?.. — Елисеев действительно был очень бледен. — Садитесь, чайком погрейтесь...

Политрук только кивнул ей, ничего не ответив... Затем всё произошло, как и в первом взводе: он обратился к бойцам с короткой поздравительной речью, после чего началась раздача подарков... Павел, увидев за столом Ивана Бокова, обрадовался и подсел к нему — в последние дни в связи с новыми обязанностями Павла им редко удавалось поговорить.

— Ваня, друг, как дела? Как Марина? Я слышал: ничего особенно опасного? — начал он.

Боков отчужденно, даже неприязненно взглянул на Павла; лицо его было нечистого, серого цвета, отросшая щетинка на подбородке слегка курчавилась.

— Оперировали ее, второй раз уже, — будто нехотя, ответил он. — Кровь переливали. Много крови она потеряла...

Вокруг было шумно, никто не обращал внимания на их беседу; Павел положил руку на плечо Бокова. Ему не терпелось поскорее успокоить товарища, утешить, сделать его таким же, как и все другие в эту ночь.

— Ваня, поверь мне, — как можно убедительнее сказал он, — я наводил справки в госпитале, мне сказали, что Марину поднимут обязательно... Я не стал бы тебя обманывать.

Боков отстранился от Павла; казалось, ему неприятно было его сочувствие.

— Я сегодня перед вечером девятого достал, — холодно произнес он. — Еще одного достану, и вся десятка у меня будет.

Павел удивленно посмотрел на друга.

— Девятого фашиста убил? — переспросил он. — Вот оно что!.. Молодец, Ваня! А насчет Марины не беспокойся... Меня врач честным словом заверил, что она поправится.

— Видно, наблюдатель был ихний, — продолжал Боков, точно пропустив мимо ушей слова Павла. — Я давно заметил, где он, мерзавец, местечко себе облюбовал... И взял со второй пули.

— Боков, получай! — крикнул кто-то, протягивая бумажный пакет.

Но тот, даже не поинтересовавшись его содержимым, небрежно кинул подарок на стол.

— Мне бы оптическим прицелом разжиться! Поговорил бы ты в штабе насчет прицела... — он покосился на Павла большим глазом с красноватым белком, воспаленным от долгого снайперского наблюдения.

— Я уже говорил в батальоне. Дадим тебе первому, — сказал Павел. — Ты бы все-таки хоть поглядел, что тебе досталось, — напомнил он о подарке.

— Цацки это все... — вяло, через силу улыбнувшись, Боков замолчал. Кудрявые свалявшиеся волосы его беспорядочно свешивались на лоб, на брови.

— Почему цацки? — Павел даже немного обиделся. — Люди собирали, готовили, а ты говоришь — цацки... Да ты выслушай меня, упрямая голова! — Он пристукнул кулаком по колену от нетерпеливого желания утешить Бокова. — Мне авторитетно заявили, что Марина поправится. Что ты, не веришь мне?

— Допустили меня к ней, — опустив глаза, заговорил Боков. — Позвала она меня тихонько так. «Ваня, — сказала, — я скоро встану». А в лице ни кровинки, и пальчиками все время скребет... Лучше бы меня самого десять раз убило, чем ей так мучиться.

Павел с невольной досадой и состраданием смотрел на товарища, чувствуя себя бессильным помочь ему... Между тем, в комнате, где они сидели, становилось все более шумно.

— Почтенная Серафима Селивестровна, хозяйюшка наша! — возгласил полный лысый человек в солдатской шинели. — Мы вам от всего сердца, по-простому... За все ваши хлопоты, за внимание... Как же вы отказываетесь?

— Вам дали, вы и пользуйтесь... А мне и своего хватит, — с некоторым пренебрежением даже ответила женщина.

Ее со всех сторон обступили бойцы, наперебой предлагая лучшее из того, что было ими сейчас получено. Один совал ей в руки носки, сшитые из фланели, другой банку консервов, третий протягивал перчатки, четвертый угощал конфетами из кулька. Солдаты пытались хотя бы в какой-то мере отдарить хозяйку этого чудесного, спасительного домика, и их щедрость была ограничена лишь тем, чем каждый в данную минуту располагал. Но, не двигаясь с места, усмехаясь, сложив на животе красные, обнаженные по локоть руки, она упорно отвергала солдатские приношения.

— Вы ж у нас на положении бойца, — уговаривал ее Ивлев, отделенный командир — молодой, черноволосый, с орлиным носом, — вроде как начальница ротного тыла... А значит, вам все то же полагается, как бойцу.

— Этого еще не доставало, — спокойно обронила женщина. — Нет уж, оставайтесь вы на своем положении, а я, обратно, на своем. У меня и так беспокойства довольно...

— Серафима Селивестровна! — умоляюще проговорил

высокий юноша в очках. — Мы же вас любим все, мы вас обожаем!.. Вы нам, как мать родная!

— Ишь ты, ласковый какой! — насмешливо сказала она. — Больно вас много объявилось, сынов-то!.. У меня и за своих двоих сердце изболелось. А тут вы еще...

Но что-то новое промелькнуло на ее пухлом лице, как будто тайный страх отразился на нем... Оборвав фразу, она умолкла, потом решительно, с досадой выкрикнула:

— Не возьму, и все! Ничего не возьму от вас!.. — Она поморщилась. — Родные вы мои! Детушки!.. Да я... за кровь вашу!..

Как бы в крайнем раздражении Серафима Селивестровна махнула рукой и отвернулась.

— А ну вас! Только расстроили меня!.. — пробормотала она и всхлипнула.

Бойцы, разом замолчавшие, испуганно переглядывались — этого они никак не ожидали; Павел поднялся и подошел к бойцам. Женщина стояла спиной к ним, опустив голову с тощей шишечкой волос, неловко утираясь рукавом кофты. На стене, беленной мелом с примесью ультрамарина, шевелилась ее огромная тень, и Павлу показалось, что это была тень великанши.

...Когда он и Елисеев отправились во второй взвод, снег уже не сыпал больше. Черное студеное небо как бы отделилось от более светлой, заснеженной земли, и зарево разноцветных ракет, непрерывно взлетающих над Мышкинским Поселком, стало выше и ярче. Но ветер не унимался, бежала поземка, и казалось, что из невидимых трещин на равнине просачивался наружу бледный проворный газ. Он чуть розовел или принимал нежнозеленый оттенок в зависимости от того, какого цвета огонь горел на горизонте.

— Хорошая ночь! — убежденно проговорил Павел. — Замечательная ночь!

— Крепко забирает морозец, — отозвался Елисеев. И будто догадавшись, что, собственно, имел в виду его собеседник, хваля эту ночь, добавил другим, мягким, задумчивым тоном: — Да, хороши у нас люди! Сколько уже сделали, какие трудности осилили... Обо всем сегодня вспоминается...

— Превосходная женщина Серафима Селивестровна! — громко сказал Павел. — Если б награждали за душевное богатство, я бы представил ее к ордену.

— Большой, всемирно-исторической судьбы у нас люди, — продолжал Елисеев. — То есть дело не в судьбе, конечно... Дело в том, что перед нами задача освобождения всего человечества. И это поднимает каждого нашего человека на небывалую высоту... Я, может быть, туманно выражаюсь?..

— Да нет, в общем понятно, — сказал Павел.

Он расстегнул верхний крючок на шинели, подставив шею под царапающий зимний воздух.

— Четверть века почти прошло уже, как мы начали свой поход к коммунизму, — проговорил Елисеев. — Я-то в партии с девятьсот четырнадцатого... Но это к слову... Я хотел сказать, что наши люди быстро меняются и растут. Мне это заметно особенно хорошо.

— Счастливый вы человек, Порфирий Яковлевич! — с уважением в голосе проговорил Павел.

— Я, как говорится, низовой партийный работник. — Елисеев подумал немного. — Да, конечно, я прожил интересную жизнь...

Второй взвод держал оборону на самой окраине слободки, укрепившись там в развалинах и на пепелищах. В подполе последней на улице сожженной фугаской избы находились пулеметчики Анисимов и Бурлаченко, тоже шахтер, переведенные из первого взвода. Увидев там сейчас третье лицо — жену Анисимова, — Павел даже не особенно удивился: эта энергичная и, видимо, упрямая женщина хорошо запомнилась ему в утро выхода их полка на позиции. Бог весть какими способами удалось ей пробраться к мужу сегодня сквозь все посты, но, так или иначе, она встречала праздник вместе с ним. И это понравилось Павлу, хотя и было, конечно, явным непорядком...

Одеяло, протянутое на веревке, занавешивало угол погреба, в котором вокруг бочки, заменявшей стол, сидела вся компания. Про себя Павел отметил, что такая предосторожность была нелишней, так как иначе свет от свечи в фонаре, озарявшей угол, мог быть замечен из пулеметной амбразуры... Все же появление постороннего человека на переднем крае являлось грубым нарушением дисциплины, и Павел сделал вид, что не заметил женщину: очень уж не хотелось ему нынешней ночью быть суровым со своими людьми.

Но командир второго взвода, старший сержант Синельников — сумрачный, немолодой человек — сердито поглядывал на неожиданную гостью, пока Елисеев поздравлял бойцов. Когда политрук кончил, старший сержант с раздражением проговорил:

— Опять вы здесь, гражданка Анисимова! Я ж вам категорически запретил являться...

Женщина — она была все в той же мужской меховой куртке и в желтом платке — только покосилась на него.

— Ты своей жене запрещаешь, а чужой не касайся, — довольно небрежно ответила она.

— Маруся! — строгим тенорком окликнул ее Анисимов. — Ты с кем так разговариваешь?!

— Что ж это, Петяша! — сразу изменив тон, жалобно сказала женщина. — Все гонят, все не допускают. Пока сюда дойдешь, одного страха сколько натерпишься... А тут сызнова канитель начинается... Как будто я чужая тебе...

Лицо ее было неясно видно в темноте, но Павел, улыбнувшись, подумал, что когда эта женщина разговаривает с мужем, вся ее воинственная независимость мгновенно улетучивается.

— Извините ее, товарищ командир взвода! — сказал Анисимов. — Бабы — они военного устава не понимают. Партизанщины в них еще много, сами знаете, наверно. Не стоит и обижаться...

— Чтоб это было в последний раз, — проворчал Синельников. — В противном случае вы мне ответите, товарищ Анисимов, слышите?

— Это как же? — встревожилась женщина. — Я, значит, не подчинюсь вам, а через меня неповинный человек в ответе будет? Это где же такое беззаконие видано? Да я до самого генерала вашего дойду!..

— Маруся, не вступай в пререкания! — снова остановил Анисимов жену. — Помолчи!

— Молчу... Ох, господи! — недовольно сказала женщина.

И снова бойко заговорила, как только Анисимов принялся выкладывать себе на колени содержимое доставшегося ему пакета.

— Это тебе, пожалуй, сгодится, Петяша! — объявила она, рассматривая теплые носки, оказавшиеся среди по-

дарков. — Жалко только, что пятка не двойная... И сама я поплотнее вяжу...

Она наклонилась к фонарю, и Павел теперь лишь рассмотрел ее гладкое, крепкоскулое лицо с прямым носом, с тонкими, красиво очерченными губами. Рядом с нею узкоплечий, сутуловатый Анисимов, со своей клочковатой бородкой выглядел намного старше. Но, повидимому, как подумал Павел, это нисколько не мешало ее неукротимой супружеской привязанности. Опорожня бумажный мешочек, шахтер на самом дне его обнаружил маленький, завернутый в носовой платок шестигранный флакончик духов. Отвинтив пластмассовую пробочку и понюхав желтоватую прозрачную жидкость, он удовлетворенно кивнул головой.

— «Гвоздика», — прочитал затем Анисимов этикетку, — Главпарфюмер, фабрика «Новая заря», Тэжэ... Так-с... — И он протянул флакончик жене.

— А это тебе, Марья Никитична! Не богато, да в самый раз... — сказал он.

— Что ты, Петя! — Женщина засмушалась, и даже при скупом свете огарка было заметно, что она покраснела. — Для кого это я стану теперь душиться?..

— Бери, бери... Твои любимые — «Гвоздика», — сказал Анисимов с грубоватой ласковостью.

«Вот он какой кавалер!» — мысленно одобрил пулеметчика Павел.

Женщина взяла духи, Анисимов пошарил у своих ног и поднял с пола початую бутылку водки, вероятно, принесенную женой и поспешно убрannую при появлении ротного начальства.

— Товарищи командиры, разрешите с вами ради праздника, — громко сказал он. — Маруся, ставь посуду!

И, не дожидаясь разрешения, он разлил остатки водки в две стопочки, в алюминиевый стаканчик от фляжки, в жестяную кружку, в чашку с отбитой ручкой. Синельников вопросительно, даже с некоторой опаской посмотрел на командира роты.

— Что же, друзья! В такой хорошей компании грех не выпить, — сказал Павел.

— Чтоб фашистам было пусто, а нам — густо, — проговорил Анисимов своим хриловатым тенорком. — Так оно, между прочим, и будет. — Он хозяйственно оглядел,

все ли разобрали свои порции. — А ты, Маруся, почему уклоняешься?

— Я ж совсем захмелею, Петя, — скромно, чуть жеманно ответила женщина.

— Нет уж, выпейте вместе с нами... Иначе не годится, — сказал Павел, подавая ей кружку. — Ну, за скорую нашу победу, за наших людей!

— С наступающей годовщиной Октября! — сказал Елисеев, подняв стопку. — С великим нашим праздником!

Все, стоя, начали чокаться. И хотя их здесь, в полутемном подполе, была лишь небольшая горстка и они находились на одной из передних точек обороны, они все ощущали себя сейчас как бы за крепкими, неприступными стенами. Ветер, врывавшийся в амбразуру, охлаждал их лица, вздувал одеяло, висевшее на веревке; снежок, залетевший сюда, белел на полу, на рассыпанной картошке. А вокруг простирались бескрайние поля, изрезанные траншеями, изрытые воронками, опаленные огнем — поля жесточайшего, кровопролитного сражения... Но сильнее этого ужаса и уродства войны было жизнелюбивое мужество людей, каждый из которых чувствовал себя только частицей общей, не поддающейся измерению силы всего сражавшегося народа.

Жена Анисимова, когда до нее дошла очередь чокнуться с Синельниковым, проговорила, как ни в чем не бывало:

— Не обессудьте, товарищ взводный, закуска у нас нынче простая... Вот приедете с победой к нам на шахту, угощу вас кулебякой.

Мужчины быстро выпивали, кричали, тянулись к закуске, женщина осушила свою чашку маленькими глотками, с достоинством и, не поморщившись, отерла рот уголком платка.

Простилась она с мужем на этот раз без слез и пританий, сдержанно обняв его и троекратно поцеловав.

— До свиданья, Петяша, спасибо тебе, — сказала она тихо. — Об нас не беспокойся... А я еще наведаюсь к тебе, — и, обернувшись к Синельникову, погромче добавила: — Лучше вы до нас не касайтесь, товарищ взводный... Извините!

...Возвращаясь на командный пункт, Павел с сожалением подумал о том, что с ним нет сегодня Наташи и

что он не знает, как она и отец провели этот вечер. А затем он признался себе в том, что, помимо всего, он попросту очень затосковал по ней... Вчера утром в их такое короткое свидание Павел пережил невыносимое почти восхищение, глядя на свою жену, — все в ней было ему по сердцу, все вызывало умиленную признательность. И, провожая взглядом быстро мчавшуюся машину, уносившую Наташу, он в первый раз остро почувствовал, что ее насильно оторвали от него...

«Лучше бы уж не приезжала совсем, не показывалась», — едва не сказал Павел вслух, вспоминая сейчас приезд Наташи. Но тут же поймал себя на неискренности: он был бесконечно благодарен даже за это ее мимолетное посещение. И его мысли, естественно, обратились к тому времени, когда он снова сможет ее увидеть, но не в течение нескольких минут, как это было вчера, а непрерывно, годами, многими десятилетиями радоваться ее близости — меньшее его сейчас не устраивало. Попытавшись измерить воображением тот длинный путь в войну, который предстояло еще ему пройти, чтобы вернуться домой, он с необычайной отчетливостью осознал вдруг, что находится в самом его начале... Недолгий солдатский праздник, осветивший и согревший эту фронтовую ночь, подходил к концу, снова наступали будни трудной борьбы, и, как обычно бывает после краткого душевного отдыха, они показались Павлу в эту минуту непомерно суровыми. Он не то что устранился их, но самый ночной воздух как бы сразу похолодел, ветер усилился, и все вокруг стало недобрым...

Видимо, и его спутники переживали сейчас нечто похожее — никто из них не произносил ни слова. Женщина, опередившая командиров, одиноко шагала между развалинами и вскоре исчезла за поворотом.

У самого спуска в подвал Павлу показалось, будто в ночи, окружавшей его, действительно что-то изменилось. Обернувшись назад, он увидел, что на юге, над немецким расположением, погасли все ракеты; низкие волны поземки бежали по ветру, пропадая в крошечном мраке, укрывшем Мышкинский Поселок. Это было странно, так как обычно по ночам немцы весьма усердно освещали подступы к своим позициям.

— Что еще за новости?.. Похоже, нам сегодня не уснуть, Порфирий Яковлевич! — сказал Павел.

Вернувшись к себе на КП, Павел по телефону связался с командиром батальона и только успел закончить свое сообщение, как в подвале послышался отдаленный гул идущих танков. Вместе с политруком он снова поспешил наверх... В первые минуты ничего нельзя было рассмотреть в стороне немцев, но, судя по шуму, раздававшемуся во мраке, там двигались десятки машин. И вдруг в глубине ночи почти одновременно вспыхнуло много белых сильных огней, за которыми ревела и лязгала чернота. Танки, развернувшись параллельно фронту нашей обороны, устремились на нее с зажженными фарами, рассчитывая ошеломить защитников города одним своим необычным появлением.

— Психическая, по всей форме! — выкрикнул связной, стоявший рядом с Павлом. — Товарищ командир роты, это ж психическая атака! На панику хотят взять...

Огни танковых фар неслись издалека прямо на позицию роты. Клинообразные полосы света, бежавшие впереди них, то взмывали кверху, то падали и сокращались, когда машины заваливались носом. Но об этом можно было только догадываться — казалось, что круглые, раскаленные добела, сверкающие шары сами по себе катятся и прыгают над беспокойной, как зыбь, снежной поверхностью.

— Видели вы что-нибудь подобное? — закричал Павел Елисееву. — С фонариками решили попробовать... С ума они посходили, по-моему!

И тотчас же позади него раздался грохот частых пушечных выстрелов... Это ударила наша артиллерия.

«Психическая атака! Что выдумали, мерзавцы! — проносилось в голове Павла, когда он отдавал приказания, рассылал связных. — На мою психику эта иллюминация не действует... Кого, кого они хотят испугать?» Он подумал о бойцах роты: Анисимове, Свешникове, Михайлове, Охотникове, Дружникове, Бокове, и нетерпеливое, гневное, злорадное возбуждение овладело Павлом. «Сейчас мы вам покажем «психическую», сейчас... Вот болваны! — выругался он про себя, охваченный презрением к врагу. — Лучшей мишени, чем эти ваши фонарики, не найти...»

...Ожесточеннейший бой продолжался всю вторую половину ночи. Немцы, несмотря на потери, понесенные от огня нашей артиллерии, упорно рвались вперед. Фары их машин то потухали, то вспыхивали вновь, ослепляя защитников рубежа; непрерывно, оглушительно били танковые пушки. Два раза враг оказывался в расположении роты Павла, но, встреченный гранатами и бутылками с горючей смесью, дальше не прошел. Однако лишь к утру немцы прекратили атаки, и их уцелевшие танки уползли на исходные позиции. А когда небо на востоке порозовело, Павел увидел перед собой не чистое, заснеженное поле, но рябое, местами совершенно черное, покрытое копотью отбушевавшего огня. Остовы сожженных машин, дымившие на равнине, да разбитые, засыпанные мерзлой извергнутой на поверхность землей стрелковые ячейки говорили о ярости происходивших схваток...

Спотыкаясь, не от усталости, а от странной, как бы похмельной рассеянности, Павел ступил несколько шагов по окопу и опустился на колени. Набрав горсть серого, пахнувшего гарью снега, он жадно проглотил холодную кашу и растер по лицу ее остатки...

Становилось все более светло. Наступило 7 ноября...

...Сталин неторопливо поднялся на трибуну Мавзолея Ленина и подошел к гранитному парапету. Было без нескольких минут восемь часов утра. Снегопад прекратился, но в воздухе, еще чуть синеватом, летала, поблескивая, морозная пыль. Москва — посуровевшая, сумрачная, — казалось, за одну ночь вступила в зиму, и все вокруг посветлело, побелело. Снег покрывал площадь, лежал на куполах Василия Блаженного, на башенках Исторического музея, протянулся ровной оторочкой по выступам и карнизам. И, как бывает в такое вот первое зимнее утро, свежая, всегда немного неожиданная близна придавала знакомому пейзажу новую, строгую красоту.

Вслед за Сталиным на Мавзолей взошли члены правительства, руководители партии... Ветер нес и кружил над площадью поземку, вздувал красные полотнища, развешенные на фасадах зданий.

Аплодисменты на трибунах для зрителей не стихали, и тысячеголосое «ура» перекатывалось от Москворецкого

моста до улицы Горького. Будто потревоженные этим могучим шумом, покачивались верхушки зеленых елей, роняя к подножию кремлевской стены легкие хлопья...

Полковник Богданов стоял недалеко от Мавзолея в группе командиров штаба Западного фронта. На трибунах раздавались громкие возгласы, люди теснились, махали руками. Худощавый седоусый генерал-майор в кавалерийской шинели, задев Богданова локтем, вытянулся, как в строю. Невысокий Богданов поднимался на цыпочки, чтобы лучше видеть.

Главкомандующий был в военной фуражке и в серой шинели... Минуту — другую он молча оглядывал войска, выведенные на площадь для традиционного октябрьского парада. Правильными прямоугольниками они были расставлены вдоль ГУМа и тянулись дальше к Москве-реке. Светлый пар человеческого дыхания летал над запорошенными пургой ушанками, над примкнутыми штыками. Сталин медленно провел глазами по шеренгам батальонов... Неожиданно он мягко улыбнулся, как бывает при встрече с очень близкими людьми, и, высоко подняв руку, поздоровался с солдатами. «Ура», несшееся отовсюду, усилилось...

Богданов тоже вытянулся, как по команде «Смирно!». Всем своим существом он ощутил в эту минуту величие происходившего...

Положение под Москвой, как было хорошо известно Богданову, оставалось попрежнему чрезвычайно тяжелым. Правда, немцам не удалось войти в столицу ни к 16 октября — сроку, предписанному армиям «центра» в начале их наступления, — ни к 7 ноября, как потребовал потом заспешивший Гитлер. Но линия боев проходила уже в дачном поясе столицы, и на ее площадях скрещивались армейские коммуникации. В штабе Западного фронта ожидали в ближайшие дни нового немецкого наступления на Москву; там чувствовалось большое, хотя внешне и не очень заметное напряжение. И Богданов, побывав в штабе фронта, повидавшись со знакомыми командирами, проникся тем же предгрозовым настроением, в котором они пребывали. Сам он, разумеется, мог только гадать о новом оперативном замысле немцев, о силах, сосредоточенных ими к этому второму туру гигантского сражения. Но, видимо, враги готовились нанести на этот раз подавляющий удар. И не подлежало

сомнению, что не сегодня-завтра на близких подступах к Москве должна была возобновиться борьба, от исхода которой зависела и судьба столицы и независимость Родины.

Накануне в штабе фронта Богданов получил билет на Красную площадь.

Узнав о назначенном на завтра в прифронтовой Москве военном параде, вспомнив свои сомнения на этот счет, он и устыдился и пришел в восхищение — в приказе о параде чувствовалась неодолимая воля к победе, алмазной твердости уверенность в ней... Помимо того, самая возможность организации и проведения такого парада в нескольких десятках километров от переднего края была в высшей степени обнадеживающей. Как стало известно также Богданову, сотни самолетов должны были в утро 7 ноября подняться с аэродромов, прикрывая воздушные подступы к столице.

...Полковник быстро окинул взглядом небо: оно было пустынно и бело, лишь на востоке утренний розовый свет еще слегка окрашивал низкие облака, висевшие над городом. Зубчатые стены и башни Кремля казались потемневшими на их метельном фоне, снежок курился под ветром, и из старинных узких бойниц как будто вылетали пороховые дымки...

Мелодичный звон проплыл в воздухе и не успел затихнуть, как раздался второй... Вместе с последним, восьмым ударом кремлевских часов из-под арки ворот Спасской башни вынесся на галопе всадник в серебристой папахе.

Богданов тотчас же узнал в нем Буденного... Навстречу маршалу поскакал командовавший парадом генерал-лейтенант. Всадники сблизились, и Буденный на полном скаку едва заметным движением руки остановил своего коня. Тот лишь зацарапал копытами снег.

— Товарищ маршал Советского Союза! — начал генерал, приподнявшись на стремянах. — Войска Московского гарнизона построены для парада в честь двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Приняв короткий рапорт, Буденный с места снова послал коня в галоп, и командующий парадом поскакал

за ним... Все происходило с точным соблюдением установленного традиционного церемониала, слаженность которого была похожа на музыку. И сегодня в Москве, ставшей военной крепостью, обведенной противотанковыми рвами, перегороженной баррикадами, все это показалось Богданову особенно, неизъяснимо прекрасным... Как зачарованный, следил он за всадниками, мчавшимися по фронту войск. И счастливо улыбнулся, когда маршал, закончив объезд частей, подъехал к Мавзолею и легко спрыгнул на землю.

Наступила недолгая пауза, пока Буденный поднимался на трибуну.

— Скачет как, а? — негромко, с удовлетворением проговорил кто-то позади Богданова.

Полковнику почудился вдруг смутный гул, будто где-то далеко начали бить зенитки. Встревожившись, он опять посмотрел на небо... Но гул не повторился, и небо оставалось пустынным; розовый свет на облаках померк уже, отчего они как будто уплотнились...

Сталин подошел к микрофону, и сразу огромная тишина простерлась над площадью.

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, — звучал его спокойный, чуть глуховатый голос, — командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу нашего врага, временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!

К каждому советскому человеку обращался Сталин, и радиорупоры разносили его слова над Москвой, где их слушали во всех домах, на улицах, в цехах заводов, над заснеженным Подмосковьем, над почерневшими от огня полями сражений, где насмерть стояли защитники столицы... Эта речь раздавалась сейчас на Урале и на Кавказе, в Ленинграде, обложенном врагами, и в самодельном приемнике в закоптелой землянке партизанского отряда.

— От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую вас и поздравляю с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, — проговорил Сталин. — Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годов-

щину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы...

Сталин секунду помолчал. На Красной площади была такая тишина, что слышался сухой шорох поземки, бежавшей по снегу.

— Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени, — снова заговорил он. — Но враг жестоко просчитался. Несмотря на временные неуспехи, наша армия и наш флот героически отбивают атаки врага на протяжении всего фронта, нанося ему тяжёлый урон, а наша страна, — вся наша страна, — повторил Сталин, — организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков.

Ветер, налетавший свирепыми порывами, усиливался. Все гуще веял снег с кремлевских зубцов, и казалось, ружейный дым застилает стену древней твердыни. Над заснеженным куполом дворца, видневшегося за стеной, трепетал и струился красный флаг... Богданова снова пронзило острое, похожее на внезапный озноб ощущение. Сама история, великая история советского народа, творилась и продолжалась здесь, сейчас, у Мавзолея бессмертного Ленина, на священной площади Москвы...

— Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? — спросил Сталин, обращаясь ко всем двумстам миллионам советских людей, слушавшим его. — ...Кто может отрицать, что наша Красная Армия не раз обращала в паническое бегство хваленые немецкие войска? — сказал он дальше. — Если судить не по хвастливым заявлениям немецких пропагандистов, а по действительному положению Германии, нетрудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой.

Он возвысил голос:

— Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей.

Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии!

Осыпанные снегом, побелевшие, будто высеченные из камня, стояли, не шевелясь, прямоугольные массивы батальонов. Не колебались примкнутые штыки, мохнатые от инея, однообразно свисали на ремнях автоматы...

— Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая, — с особой силой произнес Сталин. — Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

Богданов, не шелохнувшийся в продолжение всей речи, прерывисто вздохнул. Чувство бесконечной готовности к борьбе и к подвигу, верности партии, охватившее полковника, ничем не отличалось от того, что испытывали сейчас и самый молодой солдат в строю и прославленный маршал, стоявший рядом со Сталиным на трибуне. Тысячи сердец стучали сейчас как одно исполинское сердце, и Богданов точно ощутил в себе его непомерное, оглушительное биение.

— Под знаменем Ленина — вперёд к победе! — закончил Сталин, и бесчисленные рупоры разнесли этот призыв над всей советской землей.

Неуловимое, краткое, как молния, движение прошло по рядам войск. Снова покатилося «ура», и, когда оно достигло предельной мощи, загрохотал артиллерийский салют. Казалось, буря, родившаяся в душах людей, вырвалась наружу и забушевала... Потом в ней возникли стройные трубные поющие голоса — сводный оркестр заиграл «Интернационал».

...И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей! —

пел металл в оркестре, и пело в человеческих душах.

Колонны войск задвигались; открывая торжественный марш, пошли курсанты артиллерийского училища...

Сколько раз на военных парадах Богданов любовался этим сложным, гармоническим, как симфония, движением сотен вооруженных людей. Неоднократно он и сам

вел на смотрах свои подразделения, слыша за спиной двухтактный стук множества одинаково шагавших ног. Он был кадровым командиром, любил свою профессию, и монолитность военного строя, послушного, точного, единого в многообразии, неизменно приятно возбуждала его. Но ничего подобного тому, что происходило сегодня, сейчас, Богданов еще не видел...

Стрелковые части, длинными шеренгами, по-батальонно проходившие мимо Мавзолея, были снаряжены для похода и боя. На спинах солдат висели ранцы с приложенными к ним скатками плащ-палаток; на поясных ремнях виднелись патронные сумки, саперные лопатки... В любую минуту эти части могли быть развернуты в боевой порядок, занять оборону или пойти в атаку. И в самом деле, прямо отсюда, с Красной площади, они отправлялись на близкий подмосковный фронт. В то же время это был именно торжественный марш...

Трубили трубы оркестра, большие барабаны ухали, как колокола... Мелодии, рожденные в годы гражданской войны, звучавшие под Царицыном и Перекопом, проводжали войска, которые к вечеру, быть может, выйдут уже на линию огня. И солдаты, соблюдая положенные интервалы, держа равнение, проходили ряд за рядом, обратив лица к Мавзолею Ленина.

Твердой и единообразной была их поступь. Проходили курсанты, стрелковые батальоны, войска НКВД... Минуя Мавзолей, они спускались в Москве-реке, скрываясь в полупрозрачном тумане, встававшем там. Автоматические винтовки с насаженными на них плоскими кинжалами, вскинутые на плечи, слегка колебались в ритме согласного шага. Показались черные шинели морской пехоты; краснофлотцы, явившиеся сюда, чтобы защищать столицу, приближались к трибунам безукоризненными шеренгами, обратив свои лица к Мавзолею...

Вслед за армейскими частями на площадь вступили бойцы рабочих отрядов — люди с Красной Пресни, с Трехгорки, с заставы Ильича, из Ленинской слободы. Непokoйный ветер кидался им навстречу; полы их пальто, перепоясанных солдатскими ремнями, отгибались; их кепки, шапки-ушанки залепил снег. Можно было подумать, что это вышли в бой те же красногвардейские дружины, которые сражались за Москву в ноябре 1917 года, и тот же злой ветер поздней осени напрасно ярился

вокруг них... Люди из фабричных пригородов, вооруженные винтовками, автоматами, ручными пулеметами, сыновья и внуки бойцов Красной гвардии, шагали в новые бои, обратив свои лица к Мавзолею...

На рыси, взметывая снежок, пошла кавалерия... Всадники на белых, как пурга, конях, на серых, на вороных, на рыжих, точно огонь, подобранных по мастям, сменяли друг друга и скрывались в стороне набережной. Проносились на пиках штандарты эскадронов, и льдистым, холодным блеском сверкали клинки, салютующие главнокомандующему...

Будто окутанные вьюгой, промчались тачанки и двинулась мотопехота, затем — зенитные установки. Гладкие длинные стволы орудий, устремленных в небо, образовали на площади подвижной стальной частокोल, оборонявший Москву... Куранты проиграли девять часов, а мимо Мавзолея все еще шла артиллерия — противотанковая и тяжелая.

Богданов неожиданно заулыбался всем лицом. Он почувствовал себя так, будто именно сегодня, в годовщину Октябрьской революции, произошел уже решительный перелом на фронте... Этот необыкновенный марш, торжественно начавшийся здесь 7 ноября, должен был продолжаться до окончательного разгрома врага. И войска армии, рожденной революцией, войска, на которые сегодня смотрел весь мир, вся поработанная Европа, уходя из Москвы, могли стать на бивуак только в поверженном фашистском Берлине...

Оглянувшись, чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своими ощущениями, Богданов встретился глазами с незнакомым генерал-майором.

— Как идут, а? Сила, а? — взволнованно крикнул тот. — И ведь, заметьте, командиры частей только в ночь на седьмое были извещены об участии в параде...

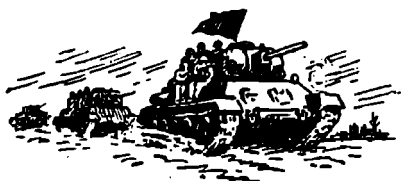
Со стороны Исторического музея послышался железный грохот и рев моторов — взрывая снег, двинулись танки... Вскоре они заполнили площадь своими сотрясающимися металлическими телами; снег, взвихренный гусеницами, носился теперь так, будто опять началась метель... И то, что танки — это необходимейшее в данное время оружие — были собраны в таком большом количестве здесь, на параде, необычайно обрадовало Богданова.

Главкомандующий был внимателен, очень серьезен, очень спокоен... Держа руку у козырька фуражки, он принимал этот парад советской силы и мужества, решимости и патриотизма, парад преданности Родине и партии, парад-клятву. И Богданов подумал: пройдут года, человечество переживет еще многие опасности и великие радости, солнце коммунизма озарит всю землю от полюса до полюса, но никогда не забудется день этого Октябрьского парада, на котором советские войска начали свой марш к полной победе.

Подобно грому, гремели советские танки. Над Кремлем развевался, струился, пламенел подхваченный ветром, навечно поднятый красный флаг.



КНИГА ВТОРАЯ



Часть первая



1

Вечером, накануне атаки на Мышкинский Поселок, когда бойцы после всех хлопот и трудов, связанных с подготовкой к наступлению, получили приказ отдыхать, Павел Громов еще раз обошел свои взводы. Там в эти предбоевые часы люди приводили в порядок «личные дела»: писали письма или перечитывали старые, пришедшие в разное время из дома; кто-то копался в вещевом мешке, перебирая и получше укладывая небогатое солдатское имущество — мыльницу, полотенце, сухари, банку консервов; кто-то брился, устроившись на краешке дощатого стола; кто-то переодевался в чистое белье. Дружников — возбужденный и суетливый — чистил свою винтовку; Боков, увидев Павла, входившего в землянку, повернулся к стене, притворившись почему-то спящим... А в домике Серафимы Селивестровны, в этом уцелевшем до сих пор «солдатском клубе», политрук Елисеев писал Чекину рекомендацию в партию. Тут же сидел Охотников, бывший подручный горнового и ротный поэт; подперев рукой курчавую голову, Охотников тихонько насвистывал: «По долинам и по взгорьям...»; смуглое цыганское лицо его было необычно задумчивым. Серафима Селивестровна, появившись из-за ситцевого полога, предложила Павлу чаю и пшеничных лепешек своего приготовления, которыми она угощала сегодня всех, кто к ней заглядывал.

А по соседству со слободкой, где на фланге рабочего полка находилась рота Павла, сосредоточились уже для атаки пехотные части гарнизона.

Вечером туда приехал начальник Т-го боевого участка Дьяков, и Павел увидел его: генерал в сероголубой ши-

нели, в высокой папахе медленно прошел, увязая в снегу, недалеко от ротного КП; два командира следовали за ним... Ночью прибыли на исходный рубеж наши танки, встали на огневые позиции артиллерийские батареи, переброшенные из других пунктов, и до рассвета в тылу у пехоты раздавался шум автомобильных моторов...

Перед частями, сосредоточенными для атаки, стояла ограниченная задача: надо было вновь овладеть Мышкинским Поселком, выступом вдававшимся в наше расположение, и, сбив врага с этой выгодной позиции, предотвратить тем самым новые попытки его прорваться из поселка к городу... Так на совещании командиров частей Дьяков и определил главную цель предстоявшей операции. Но хотя она не выходила за пределы того, что на военном языке называется боем местного значения, это не делало ее менее значительной или более легкой для непосредственных участников. Немцы, обстреливавшие из поселка южную окраину Т., прочно закрепились, создали комбинированную систему огня, опоясались колючей проволокой, и чтобы отбросить их от города, Дьяков собрал довольно крупные силы. А затем, это была все же первая наступательная операция защитников Т. — ответный удар по врагу, быть может, предвестник тех больших ударов, которых люди так напряженно ждали в эту осень сорок первого года.

Было еще совсем темно, когда Павел и Елисеев вышли из своего подвала наверх, чтобы вести роту в атаку. Павел поежился не то от холода, не то от нетерпеливого острого чувства...

— Ну, Порфирий Яковлевич, поцелуемся, что ли... — сказал он, — в наступление идем...

Они поцеловались и, сконфузившись, застеснявшись, тотчас же разошлись по своим местам.

Ранним утром, едва начало светать, наша артиллерия забросала снарядами немецкие дзоты, наблюдательные пункты, укрытия для стрелков, минометные позиции; затем в утреннем сумраке вспыхнули голубые, как небесные звезды, сигнальные ракеты и пехота поднялась для броска... Еще через четверть часа красноармейцы овладели первой линией неприятельской обороны, и немцы стали поспешно отходить. Против ожидания, а вернее сказать именно потому, что можно было ожидать упорного сопротивления, тщательно подготовленная внезапная

атака принесла быстрый успех. И когда два батальона рабочего полка, наступавшие с фланга, приблизились к Мышкинскому Поселку, немцы оставили уже его — лишь кое-где отстреливались их разрозненные, не успевшие уйти группки. Красноармейские части, не задержавшись в самом поселке, с боем продвигались теперь за его пределами...

Рота Павла Громова получила приказ очистить от гитлеровцев одну из улиц. Бойцы вбегали в дома, распахивая прикладами двери, обшаривали дворы, держа наготове гранаты, ожидая засад, выстрелов из-за угла. Но только в одном месте навстречу им забил из развалин каменного сарая автомат; Чекин с хода метнул гранату, и автоматная очередь оборвалась. На противоположной стороне улицы бойцы нашли в палисаднике четырех раненых немецких солдат, и Павел распорядился прислать к ним санитаров. На рассвете подул колючий морозный ветер, дым от горевших построек стал редеть, и в посветлевшем воздухе закружился мелкий, редкий снег, перемешанный с пеплом. Прямая улица, открывшаяся бойцам, была вдоль и поперек исполосована глубокими ребристыми следами танковых гусениц, затвердевшими в мерзлой земле. На каждом шагу попадались здесь гильзы от снарядов; длинной волнообразной полосой лежал на снегу поваленный танками забор... Но немецкие машины, укрывавшиеся долгое время в поселке, также уползли уже отсюда; улица — первая, отнятая ротой Павла у врага, первая, освобожденная им из неволи — была неожиданно пустынна. И Павел жадно, пытливо всматривался в нее, в немногие сохранившиеся дома — иные с выгоревшими окнами, с провалившимися крышами, полуобугленные, черные от дыма...

Запутавшись ногой в перебитом кабеле, он остановился, высвободил ногу и громко, во весь голос позвал связного: пора было посылать донесение командиру батальона о том, что приказ выполнен.

— Поутекали гитлерята... На них только нажать покрепче, — со злым удовлетворением сказал Игнатьев, связной.

Павел отрывисто засмеялся; та легкость, с какой был достигнут этот полный успех, вызвала радостное удивление.

— Не задерживайтесь в батальоне, — отпуская Игнатьева, сказал он. — Если встретите телефонистов, поторопите их...

Ему представлялось, что сию же минуту он со своей ротой должен будет двинуться дальше, освобождая другие улицы и селения.

Сзади подбегали по двое, по трое, с винтовками наперевес, бойцы. Все были разгорячены, возбуждены успехом — счастливым скоротечным боем; на мокром от пота, смугло-румяном лице Охотникова блестели веселые дерзкие глаза.

— Противник не обнаружен, товарищ командир! Как ветром фрицев сдуло... — издали прокричал он.

Дружников точно споткнулся на бегу и взял винтовку «к ноге».

— Спасибо вам, товарищ командир роты! — почему-то поблагодарил он Павла. — Дожили все ж таки...

Его исхудалое, заострившееся, прозрачно-бледное лицо выражало огромное облегчение: «мы победили, и я остался жив...» — было ясно написано на нем.

Подошел Щукин в сбитой на затылок ушанке и, широко улыбаясь, доложил, что в его взводе потерь нет... Становилось все более светло; сизые облака, закрывавшие небо, точно поднялись выше над землей, окрасившись в легкий розоватый цвет. И теперь можно было окинуть взглядом всю эту землю — изуродованную металлом, изъезженную, истоптанную солдатскими сапогами и как бы сызнава родившуюся, возвращенную к жизни из мрака, из небытия... Тревожило лишь, что на улице не появлялось никого из жителей — никто не встречал бойцов, не выбегал к ним из подвалов, из щелей. И хотя трудно было предположить, что в поселке, ставшем укрепленной неприятельской позицией, остался кто-либо из прежних обитателей, Павел, глядя по сторонам, все искал их глазами.

— словно циклон прошел, словно чума... — услышал он в группе бойцов высокий, как бы обиженный голос Чекина, — смотришь — душа горит!

И в самом деле: враги, угнав из поселка всех, кто жил здесь, разгромили и жилища людей — повсюду на улице, во дворах валялись выброшенные из домов, потоптанные вещи. Было странно видеть на снегу циферблат от настольных часов или холщевый тюфяк, вмерзший в сугроб,

обрывок тюлевой занавески, обледеневший на воротах, или порванную женскую кофту под ногами. Казалось, что не просто злобные, но обезумевшие, движимые противостественными побуждениями существа бесновались здесь. И надо было спешить, чтобы нагнать их, спешить, чтобы спасти то, что уцелело еще...

Бойцы, столпившиеся на улице, поглядывали на Павла, ожидая команды, — неизрасходованная энергия людей требовала выхода. Охотников вскинул вдруг винтовку, изогнулся и выстрелил в небо два раза подряд; Павел резко повернулся...

— Прекратить стрельбу! — всердцах крикнул он.

— Не туда пули расходуешь, Коля! — серьезно пояснил Анисимов, пулеметчик. — Ну что ж, перекур, братцы, коли: такое дело...

Он сел на обугленное бревно, шапкой отер пот с лица и достал свой малиновый атласный, вышитый женой кисет.

Вскоре связной, вернувшийся от командира батальона, передал приказ вывести роту на окраину... Проходя по площади поселка, Павел и его бойцы обнаружили, что она была превращена в кладбище — вся беспорядочно утыкана низенькими березовыми крестами, под которыми враги хоронили своих мертвецов. В нескольких местах снаряды разворотили неглубокие могилы — там вокруг воронок валялись измятые каски, изорванные черные и зеленые лохмотья. И казалось, сама земля извергла из недр эти гниющие мундиры, не принимая их.

...В это же время генерал Дьяков приказал наступавшим войскам остановиться на достигнутом рубеже и закрепляться.

— Окапывайтесь, где стоите, — ответил он в телефонную трубку командиру мотострелкового полка, просившему разрешения идти вперед. — И смотрите, как следует окапывайтесь, основательно — сам приеду проверять...

Несмотря на то, что результат сегодняшней операции не оставлял желать лучшего, генерал был заметно неудовлетворен. Наклонив голову, глядя из-под бровей недобрыми, светлыми, как ледок, глазами, отдавал он распоряжения, стоя на опушке рощицы, откуда наблюдал за боем... Вокруг на его НП царило приподнятое настроение: командиры вполголоса, но с оживившимися, помягчевшими лицами обсуждали хорошие новости — они

не были ими избалованы; офицер связи — младший лейтенант, прискакавший на коне из Мышкинского Поселка, докладывал с сияющим видом начальнику оперативного отдела. Но сам Дьяков — медлительный, насупленный — упрямо не замечал как будто этого общего настроения.

Больше недели уже на фронте перед Т. длилось относительное затишье: неприятель не проявлял активности даже в воздухе — налеты авиации на Т. почти прекратились в последние дни, что, впрочем, не обманывало генерала. Начальник Т-го боевого участка знал — германское командование заканчивало подготовку к новому наступлению на город; знал также, что оно располагало теперь значительно большими силами, нежели в конце октября — начале ноября... И естественно было думать, что именно Мышкинский Поселок — выдвинутый вперед укрепленный плацдарм — представлял для немцев особенную тактическую ценность. Атакуя в направлении поселка, Дьяков рассчитывал предупредить их удар оттуда по городу. И сегодня утром генерал почувствовал себя так, точно нанес удар в пустоту — противник слишком легко отдал этот свой плацдарм, в непосредственной близости к которому у него не оказалось крупных резервов... А следовательно, они были сосредоточены на других направлениях и немецкому командованию удалось скрытно произвести перегруппировку сил.

До полудня Дьяков находился на НП, ожидая, что неприятель предпримет все же попытку вернуть выгодную позицию... Тяжело ступая, прохаживался он по утопанному на опушке, скрипучему снегу, останавливался, заложив за спину руки, хмуро рассматривал какую-нибудь заиндеветшую елочку. И опять грузно, неторопливо шагал... К полудню проглянуло на недолгое время солнце, равнина перед Мышкинским Поселком вспыхнула белым слепящим огнем, и как будто тысячи свечей зажглись на елях... Мороз усилился, ветер обжигал лица, и доброе оживление, охватившее было людей на НП, незаметно покинуло их. Молоденький офицер связи ожесточенно растирал снегом свои побелевшие щеки...

Наконец, на переднем крае наступила полная тишина; однообразные донесения, приходившие из частей, говорили о том, что противник контратаковать не собирался. И Дьяков, ни на кого не глядя, точно сердясь, пошел по просеке к автомобилю... Серьезная угроза, вновь навис-

шая над городом, возросла, казалось ему, за сегодняшнее утро, потому что была замаскирована лучше, чем он предполагал. А главное — он не мог устремиться немедленно навстречу новой опасности, так как не знал, откуда ее ждать. Подобно всем деятельным людям, Дьяков предпочел бы любую, пусть даже очень тяжелую, но ясную обстановку. И ему трудно было мириться с тем, что инициатива попрежнему принадлежала врагу...

Позднее рабочий полк был выведен из Мышкинского Поселка — там закреплялась войсковая часть, а полк занял оборону левее, ближе к железной дороге. Перед вечером рота Павла Громова устраивалась уже на новом месте. Отсюда, между прочим, было недалеко до станко-строительного завода, на котором ремонтировалось принадлежавшее полку поврежденное в боях оружие. И майор Чашкин (это звание было присвоено командиру рабочего полка всего лишь несколько дней назад), вызвав к себе Громова, приказал ему отправиться на завод, чтобы ускорить дело с ремонтом.

— Вы там сами работали, лично всех знаете, — многозначительно, с ударением на «лично» сказал Чашкин, — вас тоже не забыли, я полагаю...

Чашкин, такой же молодой и почти такой же рослый, как Павел, атлетического сложения человек с квадратной грудью, пунцовый от мороза, дружелюбно осклабился: ему было известно, что на заводе работают жена и отец Громова. И ему хотелось, раз уже возникла надобность в поездке, наградить его этого храброго, отличившегося в боях командира роты.

— Берите двух бойцов, берите полуторку и не теряйте времени, — закончил он.

Павел недоверчиво переспросил:

— Мне ехать, товарищ майор?!

Большое скуластое лицо его потемнело от прилившей крови; чтобы скрыть свое волнение, он полез в карман за табаком...

— Боюсь, как бы не затянули с починкой пулеметов, там у них два станковых, три дегтяря... А вам и карты в руки. — И Чашкин, весьма довольный тем, что в его власти оказалось осчастливить человека, добавил, рас-

щедрились: — Можете переночевать в городе, завтра вернетесь...

— Слушаю, товарищ майор! Разрешите выполнять? — Павел сразу же заторопился.

— Выполняйте, выполняйте! — сказал молодой майор и засмеялся от удовольствия.

Через полчаса Павел мчался уже на машине по знакомым улицам города; в кузове полуторки сидели, укрывшись за кабиной от ветра, Анисимов и Боков (Павел взял с собой друга, чтобы тот мог проведать Марину, лежащую в госпитале — по последним сведениям, жене Вани Бокова становилось все хуже). В сумерках, рано наступивших теперь, машина подъехала к заводским воротам; Павел выпрыгнул из кабины и, спеша, сбиваясь, не договаривая фраз, прокричал товарищам, что рано утром они обязаны явиться на завод... Но приблизившись к проходной будке, он невольно замедлил шаг, глубоко вздохнув, точно собираясь с душевными силами.

В проходной навстречу ему встал с табурета чернородый старик с винтовкой. И Павел чрезвычайно обрадовался, узнав вахтера, с которым в течение многих лет лишь молча здоровался, приходя на работу, — старик был самым придиричивым и несимпатичным из всей их суровой команды.

— Никак... сынок Алексей Васильича?.. — неуверенно начал тот, и его голос задрезжал: — Желаю здравствовать, Павел Алексеич! С благополучным прибытием...

Прислонив винтовку к стене, он поднял руки, чтобы обнять гостя... И с этой минуты Павел очутился в совершенно особом мире, как бы в ином счастливом климате, в другом времени года, переступив некую волшебную черту. Там, откуда он пришел сюда, господствовала тяжелейшая необходимость, свирепствовала непогода, гибли его друзья, ожесточались сердца; здесь, за этой тесной дощатой проходной, все решительно представлялось ему исполненным сердечного участия, любви, красоты... А старик вахтер в своем кисло пахнувшем тулупе был подобен привратнику у райских ворот.

Появление Павла на заводе вызвало общий искренний интерес — слишком хорошо его здесь знали. А затем — он был теперь не просто Павлом Грозовым, которого помнили еще учеником, но одним из командиров полка, стоявшего на обороне города. И после того как Алексей Ва-

сильевич, завидев сына и сдержавшись, вытирая ветошью руки, сказали «Дай-ка, дай поглядеть на тебя, Аника-воин», — Павла обступили все, кто работал в цехе. Секретарь парткома, пришедший поздороваться с молодым Грозовым, предложил ему осмотреть кузницу, вновь созданную на заводе (казалось, товарищи Павла торопились отчитаться перед ним в том, что успели сделать для восстановления производства), и он вместе с Наташей и с отцом отправился в гараж, где была теперь кузница. Там ему показали новые горны, штамповальные прессы, собранные из частей, найденных на свалке, два отремонтированных молота; далее его повели в малую литейную, также начинавшую понемногу оживать. И всюду Павла окружали почерневшие от железной пыли, измазанные, усталые, но находившие для него ласковое слово люди, везде он — фронтовик, явившийся с переднего края, был в центре благодарного внимания... Когда он вернулся в цех минометов, Иван Тимофеевич Николаевский преподнес ему подарок от всей «профессорской бригады» — пистолет особой конструкции, двенадцатизарядный, отдельные детали которого вытачивали его отец и Алмазов, сборку производил его учитель Петр Кириллович Орлов, а искусную гравировку: гирлянду дубовых листьев, украсившую рукоятку, выполнил сам Иван Тимофеевич. К пистолету была приспособлена кобура от парабеллума, и Павел — растроганный и восхищенный — тут же с помощью Наташи повесил подарок на поясной ремень.

...Наташа от неожиданности этого свидания с мужем как бы растерялась в первые минуты и примолкла. На щеках у нее вспыхнули два алых правильных кружка, темные, теплые глаза просияли, и она, сама того не подозревая, сразу очень похорошела. Даже сердитая стряпуха Капитолина Константиновна, поглядев на Наташу, прибежавшую на кухню, чтобы похлопотать об ужине для Павла, смягчилась сердцем:

— Вы, словно невеста, светитесь вся, — снисходительно сказала она, — идите, идите к своему... Мы тут без вас управимся...

А соседка Наташи по комнате — Прасковья Никитична Кузнецова, повстречав ее в коридоре, шепнула:

— Уж не знаю, кто из вас двоих лучше... Павел Алексич тоже красивый мужчина, один рост за себя говорит. Ну, совет вам да любовь.

И наклонившись к самому уху, она сообщила, что на всю ночь уходит в цех... Наташа, не сказав ни слова, порывисто обняла и поцеловала умную, деликатную Прасковью Никитичну.

В столовой, куда она привела, наконец, мужа ужинать, вокруг них также столпился народ. Казаков поощрительно хлопал Павла по его богатырскому, каменной твердости плечу, толкал в бок и балагурил по обыкновению. Алексей Васильевич, перегибаясь через угол стола, расспрашивал о последних событиях на фронте, о том, как был взят Мышкинский Поселок. И Павел, безотчетно улыбаясь, что-то отвечал, плохо слыша самого себя... В столовой, светлой комнате с белыми занавесками на окнах, повешенных поверх маскировочных штор, было жарко, даже душно-вато, и он точно опьянел с непривычки от одного этого поразительного тепла: все умиляло его — чистая скатерть, которой был застлан стол, аккуратно нарезанный хлеб в плетеной корзинке. И поворачиваясь к Наташе, он каждый раз счастливо изумлялся тому, что она действительно была здесь, с ним...

— Выходит что ж: пришли вы в поселок, а немцев там и след простыл, живо убрались, — проговорил Алексей Васильевич, уточняя обстоятельства сегодняшнего боя. — Не по вкусу, стало быть, пришлось...

— Ага, да... — пробормотал Павел, — побросали оружие даже, винтовки.

Наташа подавала на стол, присаживалась на минутку другую, вновь скрывалась в кухне... И когда она исчезала вдруг, Павел начинал беспокойно озираться, ища ее.

— И свинья поумнела, как отведала полена! — выкрикнул на всю комнату Казаков.

— Во, во! У них, у фашистов, какая тактика? Чисто хулиганская, нахальная. Нахрапом действуют, бахвалятся, напугать хотят, — продолжал Алексей Васильевич. — А как получают крепко сдачи, так слабина в них и видна...

— Верно, Алеша! В самую точку угадал, — подтвердил Казаков.

Алексей Васильевич погладил снизу согнутым пальцем свои белые с желтизной усы. Он испытывал сейчас особенное удовольствие оттого, что его сын — не кто-нибудь другой — командовал в успешном бою, о котором много нынче толковали...

— Ты, Паша, со своей ротой где шел, со стороны Попова пустыря?.. — осведомился он.

Вопрос этот явно преследовал одну цель — напомнить присутствовавшим еще раз, кому именно обязаны они сегодняшней победой. И ответ сына несколько обескуражил Алексея Васильевича.

— Наше дело, положим, было десятое... — Наташа вошла, неся новое блюдо, и Павел невольно выпрямился навстречу ей. — Немцев красноармейцы выбили... Так ударили, что на нашу долю и не осталось ничего.

— Скажи ты... — с сомнением проговорил Алексей Васильевич.

— Сильно, должно быть, пострадал поселок? — спросил Щепкин, слесарь. — У меня там на Голубовской улице свояк жил, женин брат, дом номер четыре.

— Не попал я на Голубовскую, — начал Павел и умолк, как бы потеряв вдруг нить разговора.

В памяти его отчетливо встало то, чему он был утром свидетелем: обезлюдившие, выгоревшие улицы, разграбленные жилища людей, пепел, летевший по ветру, кровь на снегу... И мысль Павла тут же перенеслась в окопы за городом, где его солдаты крепко, должно быть, мерзли этой ночью — их укрытия не были еще обжиты там, утеплены, где и домика Серафимы Селивестровны не имелось поблизости. Он подумал о Бокове, который, быть может, стоял в эту минуту около койки умиравшей Марины... И по естественной связи ему вновь припомнился Егор Трошин, неподвижно лежавший под деревом на берегу Николиной балки. Точно очнувшись, отрезвев, он повторил другим голосом:

— Не попали мы на Голубовскую... А вообще много домов пострадало... Да что пострадало! — перебил он сам себя. — Половина поселка выгорела начисто, одни печные трубы торчат. И жителей — нигде ни души...

В столовой стало тихо, Щепкин испуганно взглянул на молодого Громова. А тот, замолчав, сосредоточенно, казалось, что-то обдумывал; глаза его в костистых орбитах сузились. С пронзительной остротой Павел почувствовал сейчас, что в мире, в огромном холодном мире за стенами этой вот счастливой комнаты, ничего пока не изменилось. И ему — солдату — лишь обманчиво почудилось на недолгое время, что он нашел здесь убежище для себя...

— Как же вы дали немцу уйти? — снова заговорил

Алексей Васильевич. — Уж коли побежал гад, так надо было наперерез ударить, — он провел ребром ладони по столу, показывая, как это следовало сделать. — А после с двух сторон взять, в тиски...

— Правильно, Алеша! — воскликнул Казаков. — Без поддержки надо было действовать, не давать фрицу передышки, раз из крепости его вышибли. А ты слушай, что отец говорит, — закричал он Павлу, — вникай, вперед пригодится.

Он неизменно с недавних пор поддакивал Алексею Васильевичу; было заметно также, что после того как Алексей Васильевич отличился на испытании миномета, Казаков гордился своей близостью к старику Громову.

Павел поднял голову.

— Никуда мне не спастись от начальства, — попытался отшутиться он. — И в полку покоя не дает, и здесь донимает...

— А ты думал, мы тебя помилуем? Ишь ты какой Еруслан Лазаревич! Нет, брат, и не надейся, — Казаков замахал сухонькой ручкой. — Раз уж сбили немца с места, так надо было, как Суворов велел: «Бей, коли, гони, забирай в полон!» Эх, молодо-зелено, упустили вы удобный момент!

— Приказа не было, что ли, дальше идти? — нахмурившись, спросил Алексей Васильевич и, не дожидаясь ответа Павла, повернулся к Казакову. — Без приказа в армии никуда не пойдешь... Дисциплина, брат, у них — первое дело.

Сам Алексей Васильевич считал своей обязанностью поучить немного сына, но ему не нравилось, когда за это брались другие.

— Придираетесь вы к Павлу, Кузьма Данилович! — сказала Наташа, — дайте ему хотя бы поесть сперва.

Она даже обиделась немного за мужа... Все, что говорил Павел, представлялось ей верхом ума и доблести, а при мысли о том, что пришлось перетерпеть ему, сердце ее сжималось.

— Ешь, ешь, а то остынет, — просительно напоминала она. — Капитолина Константиновна в твою честь свой энзе опустошила. Сначала поешь, а потом уж будешь рассказывать.

— Что за оказия, почему добавки не просишь? — прогудел Алексей Васильевич. — Не обижай, Павел, нашу хозяйку, — и он одобрительно посмотрел на Наташу.

Павел, опять задумавшись, не отозвался... Он точно лишился внезапно права на весь этот уют, на ласковую заботу, обращенную здесь на него одного. И, греясь в этом драгоценном тепле, он как будто похищал его у других, присваивая себе награду, которой никогда не получают многие. Перед его мысленным взором вновь возник тихий недавний вечер: туманное зарево на горизонте, красная, прямая, как меч, полоса воды, прорезавшая равнину, бледное в сумерках лицо Трошина... «Ты ведь у нас вообще счастливчик, — опять прозвучал в его ушах невнятный голос друга, — ты напиши, отбыл, мол, Егор Трошин в долгосрочную командировку, приказал много не плакать...» И в том, что бедняга Егор назвал его — Павла — счастливчиком, была неуловимая укоризна, странное осуждение.

За столом все также умолкли, глядя на Павла. Потом раздался слегка насмешливый, но мягкий, как бывало в минуты наибольшего расположения, голос Алексея Васильевича:

— Видать, ты притомился, сынок...

Павел встряхнулся и, сознавая себя вправду счастливчиком, виновато огляделся.

— Пашка, а я тебя насквозь вижу! — Казаков толкнул его локтем. — Знаю ведь, об чем размышлялся: «И когда они, старые черти, пни замшелые, меня с молодой женой вдвоем оставят?» — вот что у тебя на уме... Ага, сконфузился, забегал глазами...

Он залился мелким, довольным смехом, кто-то еще засмеялся, и люди стали подниматься из-за стола. Щепкин, нахлобучивая шапку, сказал, что оружие для полка будет к утру починено и что на этот счет Павел может не беспокоиться. Алексей Васильевич тоже встал. Дверь в кухню приоткрылась, и оттуда выглянула багроволицая тучная женщина; другая высывалась из-за ее спины. Казаков вскочил, выбежал на середину комнаты, склонил свою лысую голову набок и запел пришепетывая:

Как у солнышка лучи ясные,
Лучи ясные, распрекрасные!
Как на ком, на ком кудри русые,
Кудри русые, самородные?
Как на Паше-то кудри русые,
На Натальюшке самородные,
Самородные непамятые...

Он начал ударять в ладоши, отбивая такт; за соседним столом тоже захлопали... И с таким дружелюбием, хотя и не без нескромного любопытства, с такой симпатией все присутствовавшие наблюдали за Павлом и Наташей, что это стало походить на проводы новобрачных после свадебного пира. Павел посмотрел на жену — она смеялась удивленная, раскрасневшаяся, даже уши у нее пылали; свет от лампы позолотил ее волосы, уложенные тугим венцом, блестел на изгибе гладкой полной шеи.

Казаков пристукнул ножкой, обутой в детский валежок, задергал плечиком, собираясь пуститься в пляс:

— И-ех! Эх! Эх! — выкрикивал он. — И-ех! Эх! Эх!

Павел сделал невольное движение к двери, покачал головой, поднял руку... Но веселый шум вокруг только усилился. Можно было предположить, что люди заранее сговорились по-праздничному отметить его — Павла — недолгую побывку, украсить этот вечер его свидания с семьей. И ему трудно стало дышать — что-то сдавило горло... Признательность и горечь, растроганность и стыд, омешавшись вместе, привели его в полное смятение. А затем все исчезло, растворилось в одном могучем чувстве своей близости к этим великодушным людям, своей вечной связанности с ними, своей готовности служить им.

— Гляди гоголем, Паша! — не унимался Казаков. — И-ех! Эх! Эх! Выходи на круг, кто кого перепляшет!

И Павел, точно взятый в окружение этой общей радостью, точно плененный этой любовью к нему, нагнул голову, опустил глаза.

...Приведя мужа к себе, Наташа обнаружила, что комната, которую она занимала вместе с Кузнецовой (один из кабинетов в пустовавшем доме заводоуправления), тщательно прибрана — пол был вымыт, несгораемый шкафчик в углу, превращенный в тумбочку, застелен чистым, с кружевной мережкой полотенцем, печка-временка затоплена. «Это все милая Прасковья Никитична!» — успела еще подумать Наташа... Близо, за спиной у нее слышались шаги Павла, и больше она не могла уже помыслить ни о чем, кроме того, что сию минуту он подойдет к ней.

Павел притворил за собой дверь, Наташа обернулась, и они остановились друг перед другом... Наконец-то, после

стольких тревог и несчастий, после длинной, после бесконечной разлуки они были совсем одни!.. Но, может быть, именно потому, что они так долго искали этой встречи, слишком часто о ней думали, слишком многого от нее ждали, ими овладело странное замешательство... И Наташа, вместо того чтобы броситься к мужу, обнять его, как это тысячу раз ей воображалось, застеснявшись, опустила руки. Павел как бы насильственно улыбнулся...

— Вот ты где, оказывается, устроилась, — проговорил он с затруднением. — Тут кабинет Осипова был, предза-
кома.

— Осипова?.. Да... Разве?.. — сказала Наташа.

— Что ж, жить можно... — сказал он. — Комната большая... Жить вполне можно...

И они опять замолчали... Наташа подошла к печке, открыла дверцу, но позабыла, казалось, для чего это сделала. Павел шагнул к жене, и они рядышком постояли у печки... Огонь начал ослабевать — зеленые и синие язычки сгорающего газа метались в узком пространстве между кирпичными стенками. Павел опустился на корточки, нагнулся и подложил несколько березовых поленьев. Кора на них сразу же задымилась, затрещала, пошла свертываться в трубочки, вспыхнула, и живой жаркий свет хлынул в комнату.

— Я перед ужином к Анне Васильевне позвонила, на фабрику, — тихо сказала Наташа, — не было ее там, мне обещали обязательно ей передать...

— Позвонила?.. Обещали передать?.. — переспросил Павел.

Его изумляла эта способность Наташи никогда, ни при каких обстоятельствах не пренебрегать своими житейскими обязанностями — она помнила даже дни рождения родственников, даты других семейных событий: свадеб, похорон, юбилеев. И эта ее милая деловитость, эта добросовестность в мелочах представлялась ему чем-то недо-
стижимым для обыкновенных людей...

— Ну, спасибо! Пропал бы я без тебя, наверно, — со всей искренностью вырвалось у Павла.

Он быстро выпрямился, обнял Наташу за плечи, и она подняла к нему неулыбавшееся, помертвевшее лицо с черными, без блеска, затуманенными глазами.

...Павел открыл глаза, прислушался, и сон сразу отлетел от него. В комнате в полной темноте раздавался тяжелый, глухой, нестройный гул, который он тотчас же узнал, — где-то перед городом вновь шел большой бой. Минуту Павел лежал, стараясь сообразить, откуда, с какой окраины доносилась сюда канонада. Но ему не удалось даже вспомнить, где было окно, где дверь в этом погруженном в студёный мрак жилище... Печурка давно уже, вероятно, остыла, и Павел содрогнулся всем телом, выпростав из-под одеяла руку. Нашарив на краю стола коробок со спичками, он осторожно, чтоб не потревожить жену, приподнялся и чиркнул спичкой. Слабый огонек осветил толстую, изогнувшуюся на подушке косу Наташи, затем из темноты выступил на мгновение ее профиль, полуоткрытые губы, округлый лоб... Спичка догорела, и Павел ощупью начал одеваться, вздрагивая от холода и спеша. В шуме боя он улавливал теперь треск пулеметных очередей, а это означало, что линия огня проходила не слишком далеко.

Тихонько, насколько позволяли его тяжелые на подковках сапоги, он подошел к окну и отогнул штору. Во дворе густел еще синеватый зябкий сумрак — был тот час, когда и земля и чуть посветлевшее небо сливаются в одноцветной предутренней мгле. И на низких облаках, висевших над городом, непрерывно трепетали слабые бледнолиловые стблески, как от молний или от залпов. Впрочем, определить, где именно, на каком участке фронта разгорелся этот бой, было трудно — Павлу казалось, что канонада доносилась отовсюду...

— Ты встал уже... Павлик! — слышалось из глубины комнаты. — Рано как...

— Спи, спи, — сказал он, торопливо, обеими руками затягивая на себе ремень. — Ничего страшного...

— Подожди, я тоже встану... дам тебе позавтракать, — сказала Наташа сонным, как бы спотыкавшимся голосом. — Я сейчас... Неужели ты уходишь уже.

— Полежи еще, поспи, — повторил он, — наверно, просто артиллерийская дуэль.

Передвинув на ремне кобуру так, чтобы удобнее было достать пистолет — вчерашний двенадцатизарядный подарок, он вернулся к Наташе, наклонился, и на него пахнуло восхитительным теплом, в которое была как будто укутана она.

— Но ты же не завтракал... Я сейчас встану, подожди, — просительно заговорила Наташа.

— Спи, спи... Ничего особенного не случилось... Это дуэль, — твердил он, целуя жену, и то прижимал ее голову к себе, то отстранял.

— Ты придешь еще? — спросила она, цепляясь за него. — И куда ты так бежишь... Нельзя же без завтрака...

— Да, да, обязательно, — сказал он, — обязательно, обязательно...

Гулкое железное гроыхание раздавалось где-то за стенами комнаты... И, оторвавшись от жены, Павел пошел к выходу, вытянув перед собой руку, чтоб не сокрушить чего-нибудь в темноте.

2

В начале ноября фронт под Москвой временно стабилизировался: на отдельных участках продолжались тяжелые бои, но в целом наступила, как говорят военные, оперативная пауза — недолгий в данном случае перерыв между двумя турами гигантского сражения.

Осень в Подмосковье была на исходе: по ночам стояли довольно сильные морозы, первый снег лег на затвердевшую, изрезанную окопами землю, первые метели пронесли над минированными полями, над частоколом проволочных заграждений, первый ледок появился у берегов рек, превращенных в укрепленные рубежи. И стремясь добиться решающего успеха еще до прихода зимы, Гитлер и его генералы крайне торопились сократить эту вынужденную паузу в своем наступлении. Командование группы армий «центр» спешно производило перегруппировку обескровленных частей и требовало свежих пополнений; в середине ноября ему удалось сконцентрировать против одного только нашего Западного фронта пятьдесят одну дивизию. И вновь гитлеровские генералы спланировали еще одни «Канны», то есть окружение и полное уничтожение войск противной стороны... Главная наступательная задача и на этот раз возлагалась на мощные танковые группировки, расположенные на обоих заходящих крыльях немецкого построения: 3-ю и 4-ю армии Гоота и Хюпнера на левом фланге и 2-ю танковую армию Гудериана на правом. Предполагалось, что два этих танковых

клина, расколов фронт советских войск, сомкнулся позади Москвы, осуществив таким образом ее окружение. А основная пехотная группировка: 9-й, 20-й, 12-й, 13-й немецкие корпуса, должна была сковывать наши войска, нанося удары на звенигородском, наро-фоминском и серпуховском направлениях. Идея «Канн» все еще не давала гитлеровским военачальникам покоя. И ганнибалову конницу на флангах боевого порядка, решившую некогда исход сражения при Каннах, заменили теперь, спустя более чем две тысячи лет, подвижные танковые соединения...

План второго «генерального» наступления на Москву повторял в главных своих чертах оперативный замысел первого октябрьского наступления; взятый сам по себе, он был нисколько не хуже (правда, и не лучше) других планов, изготовленных усердными учениками Шлиффена и Людендорфа. Следует также напомнить, что он базировался на военной теории, которая к зиме 1941 года почиталась еще иными стратегами и в Европе, и за океаном непогрешимой. Недавние молниеносные успехи немецких войск в Голландии, во Франции, в Польше были достигнуты при помощи этой же тактики танковых клиньев и охватов. А силы и средства, стянутые гитлеровским командованием на поля Подмоскovie, — сотни тысяч штыков, сосредоточенных в восьмидесяти-семидесяти километрах от Москвы, десятки тысяч моторов, заправленных горючим и только ожидавших приказа, — намного превышали силы и средства, брошенные в наступление под Парижем и под Дюнкерком, в долине Вислы и на берегу Северного моря. Тем не менее именно на советской земле, на подступах к советской столице немецко-фашистская военная теория потерпела крах...

В середине ноября приготовления врага к новому наступлению на Москву были закончены, и 15 числа оно началось атакой танков в районе Московского моря. На следующий день оно расширилось к югу и захватило клинское и волоколамско-истринское направления — огромное количество машин на земле и в небе устремилось здесь на рассвете на наши позиции.

Но завеса огня, вставшая от земли и до неба, встретила их...

Мы знаем теперь, что оперативный замысел врага был своевременно разгадан командованием советских войск. И части, стоявшие на последних перед Москвой

рубежах, были к середине ноября пополнены людьми, усилены техникой. Москвичи, главным образом женщины, так как мужчины находились в армии, полмиллиона москвичей, вышедших с лопатами и топорами в окрестности столицы, превратили эти мирные дачные места в исполинскую укрепленную позицию. И жесткая, глубоко эшелонированная оборона, созданная в кратчайший срок, преградила путь немецким танковым дивизиям... Мы знаем также, что удары, нанесенные советскими войсками в ноябре 1941 года под Тихвином и под Ростовом-на-Дону, не только сорвали планы фашистских стратегов в отношении Ленинграда и Кавказа, но и не позволили им направить с этих участков войска под Москву. И в то же время из глубины страны, из Сибири, из Закавказья, из Средней Азии, с Поволжья шли к Москве в течение всего ноября многочисленные железнодорожные составы; каждый час, полчаса, а в дальнейшем еще чаще прибывали эти поезда. Мало кто был осведомлен о том, в каких пунктах они разгружались, куда исчезали десятки свежих дивизий, сформированных за Уралом и Волгой, массы оружия и военной техники: танков, пушек, самолетов — леса у Дмитрова и у Рязани бесследно поглощали их. И лишь теперь всем нам известно, что именно там, за пределами спланированного немцами танкового кольца, сосредоточивались в глубокой тайне сильные резервные группировки. План разгрома врага под Москвой предусматривал внезапный переход от обороны к контрнаступлению в широком стратегическом масштабе — труднейшую, восходящую к вершинам военного искусства операцию. И потребовалось небывалое напряжение сил народа — многих миллионов людей в армии и в тылу, чтобы план этот был выполнен. Их стойкость, единство, величие и терпение, как в зеркале, отразились в одержанной под Москвой победе.

Первыми на волоколамском направлении приняли на себя страшнейший удар врага пехотинцы генерала Панфилова, кавалеристы генерала Доватора, танкисты генерала Катуква, занимавшие смежные участки. Тяжелейшее испытание стало уделом этих солдат, сражавшихся один против четырех. И когда гитлеровцы, используя свое превосходство в силах, прорывались здесь вперед, это нередко означало, что на рубеже не оставалось в живых никого из защитников.

В двадцатых числах ноября бои на подмосковных рубежах достигли предельного напряжения; особенно тяжелыми они были в районе Клина и в районе Истринского водохранилища. Груды железного обгорелого лома, кучи трупов в грязно-зеленых шинелях, в награбленных женских платках громоздились на закопченном снегу, на дорогах, ведущих к Москве; запах паленой резины, исходивший от сожженных танков, долго держался в морозном воздухе... Все же немцы продвигались — очень медленно, терпя исключительно большой урон, гораздо медленнее, чем в июне, июле, много медленнее, чем в октябре... В конце ноября в Химках была отчетливо слышна пулеметная стрельба, и наступил момент, когда только двадцать пять километров отделяло вражеские танки от городской черты столицы. Но и в эти, самые тяжкие, самые горькие дни Верховный Главнокомандующий не тронул, не ввел преждевременно в битву свои стратегические резервы. Их сосредоточение только еще заканчивалось; в лесах под Дмитровом и Химками становилось тесновато от людей, одетых в новенькие полушубки военного образца, от машин, замаскированных ветками... И неизменно будет вызывать благодарность человечества и та спасительная твердость, с какою эти резервы были сбережены, и та солдатская стойкость, что позволила их сберечь.

...Почти одновременно с наступлением на северо-западе от Москвы неприятель атаковал и к югу от нее. В распоряжении командующего 2-й немецкой танковой армией Гудериана имелось приблизительно 600 танков, 1000 орудий, 80 000 штыков, 300 самолетов. Наступление началось на сравнительно узком фронте; в течение трех суток наши части сдерживали здесь напор подавляющих по численности сил неприятеля; на четвертый день — ему удалось прорваться...

Генерал Дьяков был вызван для срочного доклада командующему армией. Штаб армии находился попрежнему пока что в пяти километрах от Т., в небольшом селе, но Дьяков, выехав на машине, не скоро туда добрался... Немецкие самолеты только что пролетели над шоссе; впереди одна трехтонка была опрокинута, разбита, две другие застряли в кювете, — образовалась пробка из несколь-

ких машин, сзади приближалась целая автоколонна, и Дьякову пришлось выйти из своего вездехода. Собранных шоферов, остановив группу пехотинцев, шедшую в город, генерал повел их всех расчищать путь... А когда машины готовились двинуться дальше, в небе — бледном и безоблачном — опять появились самолеты. И бойцы — их было человек двадцать пять — мгновенно рассыпались, залегли в кюветах, в поле.

— Ховайтесь, товарищ генерал! — бросил Дьякову на бегу бородатый, в лоснившемся полушубке солдат; неловко придерживая винтовку, болтавшуюся за спиной, солдат соскочил в кювет и, скорчившись, выглянул оттуда.

— Скорей, скорей! — замахав рукой, прокричал он.

Дьяков посмотрел по сторонам и, точно не найдя места, где ему — генералу — позволительно было бы лечь, остался стоять — рослый, грузный, осанистый, в голубоватой шинели, распахнутой на выпуклой груди... Три самолета, выпорхнувшие из-за дальнего леска, летели вдоль шоссе, быстро увеличиваясь в размерах; это были мессершмитты-истребители, как определил Дьяков. И еще раз окинув взглядом снежную, совершенно голую равнину вокруг, неподвижные автомашины, стеснившиеся на дороге, темные фигурки людей, распластанных на снегу, он рассердился как будто на то, что один он не смог найти себе подходящего укрытия...

— Для стрельбы по стервятникам готовы! — гаркнул он во всю мощь звучного голоса. — Винтовки заряжай!

Стащив с правой руки перчатку, генерал достал из кобуры пистолет... И кое-где из-за кузовов машин, из кюветов высунулись вслед за этим стволы винтовок. Легко ступая, несмотря на свою полноту, Дьяков сделал несколько шагов вперед — он так был поглощен этой схваткой с врагом, что невольно устремился к нему навстречу.

— Прицел три. Стрелять в головы без упреждения, — скомандовал он, гневаясь все больше. — Залпом! Пять выстрелов!

Завывание моторов превратилось в неистовый рев, который не было уже возможности перекричать — самолеты стремительно снижались... Дьяков выпрямился, поднял

пистолет на уровень глаза и выстрелил — на миг ему почудилось, что не мессершмитты ринулись сверху прямо на него, а он понесся стремглав на них...

Солдат в полушубке, следивший, как загипнотизированный, за генералом, опомнился, сорвал с плеча винтовку, тоже выпалил в головную машину... И на него вдруг с ужасающим грохотом обрушилось небо — на мессершмиттах ударили крупнокалиберные пулеметы... Исполинские птицеподобные чудовища — снизившиеся, ревушие, посверкивавшие огнем — заполнили своими черными крыльями все видимое пространство, и солдату показалось, что наступила ночь. Но, отчаянно сопротивляясь, он посылал в этот мрак пулю за пулей, и к нему едва доносились частые выстрелы его товарищей. А затем все внезапно вновь посветлело, свирепый треск пулеметов прекратился — мессершмитты удалялись...

Заслонившись свободной рукой от солнца, Дьяков проводил их взглядом — мясистое красное лицо его все еще было рассерженным, но вот оно распустилось в усмешке: самолеты не повернули на новый заход... Бородатый солдат, сидя в своей канавке неподалеку, быстро, торопливо толкал затвор винтовки, напрасно стараясь ее перезарядить...

— Что у вас там? — крикнул генерал. — Что вы суетесь?

— Заклинилось... лихоманка ее забори!.. — пробормотал солдат, испуганно глянув снизу вверх, — он был изжелта-бледен.

— А что делать при заклинении? Забыли уже? — сказал Дьяков. — Дайте-ка мне...

Шагнув к солдату, он взял винтовку, открыл затвор, пальцем поправил патрон и легко дослал в патронник.

— Давно не чистили, — сказал он. — А хаять трехлинейку зачем же — оружие надежное. И что у вас руки дрожат? Вы из пополнения, недавно здесь?

— В повозочных я... — невнятно ответил солдат.

Генерал опять поднял голову — самолеты скрывались в бледноголубом небе.

— Ушли, — сказал он и повернулся к солдату. — Вот видите, фрицы вас больше боятся, товарищ повозочный...

Он нагнулся, взял горсть снега, растер его между пальцами и не спеша, твердо ставя ноги, пошел к своему вездеходу. Бородатый повозочный с каким-то виноватым

восхищением на лице посмотрел в его широкую спину... Бойцы, громко перекликаясь, вылезали из кюветов, навстречу Дьякову бежал шофер.

— Товарищ генерал! Товарищ генерал! — с укоризной повторял он.

Один из пехотинцев был тяжело ранен, и Дьяков распорядился посадить его к себе в машину. Затем он поблагодарил бойцов за дружную стрельбу и попрощался с ними... В машине генерал вынул папиросы, дал прикурить раненому, закурил сам и задумался — маленькие глазки его сузились, почти исчезнув в складках кожи. Автоколонна, которую он только что видел, груженная всевозможным интендантским имуществом, шла не к фронту, а от фронта, на север, к Москве. И из этого можно было вывести лишь то заключение, что тылы войск начали отходить...

...Перед командующим армией, генерал-лейтенантом Волгиным стоял офицер связи, прибывший с передовой. Волгин, полуобернувшись к окошку, к свету, читал донесение; указав Дьякову на стул, он попросил подождать... Некоторое время все в избе молчали; два штабных командира, работавшие за большим на неокрашенных козлах столом, где были расстелены карты, внимательно посматривали на Волгина; офицер, доставивший пакет, не отрывал от командующего глаз...

Тот медленно встал; спина его закрыла окошко, и в комнате потемнело.

— Подполковник Бережков доносит — противник занял Молоково, — суховатым тоном сообщил он своим командирам. — В семь пятнадцать Бережков идет в контратаку.

Офицер связи переступил с ноги на ногу, и его промерзшая, покрывшаяся понизу ледяной коркой плащ-палатка гроыхнула, как железная.

— Точно так... товарищ генерал-лейтенант, — запинаясь, проговорил он, с трудом двигая закованевшими губами. — Когда я сюда выезжал, наши пошли выбивать... противника... Все пошли — писаря, легко раненые... Я лично видел — перевязанные были в строю, у кого — рука в бинтах, у кого — голова...

Он никак, видимо, не мог отогреться — поводил плечами и подрагивал в своей затвердевшей, звякающей одежде.

— Что ж так долго ехали сюда? — спросил Волгин.

— Задержался немного. Болота там... с конем в болото утодил... — и тем же затрудненным голосом, звучащим глухо и как бы безучастно, офицер добавил: — Двадцать атак полк отбил за ночь... Четвертая рота легла на рубеже... до одного бойца.

Командарм не отозвался — он стоял спиной к свету, и поэтому нельзя было рассмотреть выражение его затененного лица. Один из штабных командиров тоже встал, обеспокоенный, как видно, известием, за ним поднялся и второй...

— Бывал я в этом полку... Там архангельцев служило много, — угрюмо вымолвил наконец Волгин. — Надежный народ — лесорубы, рыбаки.

— Точно так, товарищ генерал-лейтенант, — подтвердил офицер. — Четвертая рота держалась до последнего...

И повинувшись безотчетному побуждению, Дьяков также поднялся со стула; сейчас все, кто был в комнате, стояли, точно отдавая в молчании почесть героической роте.

Командующий наклонился к столу и подчеркнул карандашом несколько строчек в донесении... Во внешности Волгина, в его мускулистой фигуре, в чертах загорелого, с глубокими продольными морщинами лица, в коротко подстриженных усах было что-то, заставлявшее вспоминать о солдатах из старослужащих, о строгом ротном старшине. И в самом хмуром спокойствии, с которым держался в эти критические часы командующий, чувствовалась натруженная, жилистая, солдатская выносливость...

— Попросите к телефону комдива сто двенадцатой, — сказал он одному из своих помощников. — Затребуйте также обстановку на участке бригады Сафонова. А вы, — он повернулся к офицеру связи, — будьте готовы немедленно отправиться обратно, повезете приказ.

— Слушаю, товарищ генерал-лейтенант!

Офицер громыхнул плащ-палаткой, как доспехами, пристукнул обледенелыми валенками и пошел к двери.

Распорядившись затем вызвать сюда начальника штаба, командарм сел и обратился к Дьякову.

— Доехали без приключений? — спросил он. — Немцы с утра висят над шоссе. — И не дожидая ответа, он тотчас же приступил к делу: — Так вот, прошу принять меры на случай возможной блокады Т. Полагаю, что до

этого не дойдет, но надо предвидеть и наиболее тяжелый вариант...

Он пристально взглянул на Дьякова...

— Мы времени не теряли, товарищ генерал-лейтенант, — сказал тот.

— Полагаю, что до полной блокады дело не дойдет, — повторил Волгин, — но приготовиться следует к худшему...

Дьяков выпрямился на стуле — невозмутимый, осанистый, молодцеватый, ожидая пояснений...

— Противник бросил против нас огромное количество техники, — продолжал командующий. — Потерпев неудачу в лобовых атаках на Т., немцы стремятся обойти город с востока... Далее, если это им удастся, они будут прорываться либо прямо на Каширу и Москву, либо в зависимости от обстоятельств повернут на запад... В последнем случае они окажутся у вас в тылу на важнейших коммуникациях... Они попытаются взять город в кольцо, задушить его блокадой.

— Многого я не попрошу, товарищ командующий, — сильно окая, сказал Дьяков.

— Сейчас вы доложите... Но предупреждаю, рассчитывайте в основном на свои силы. У вас есть стрелковые части, моточасти, противотанковая артиллерия, зенитная...

Волгин замолчал, точно какая-то новая мысль отвлекла его...

— Отличный у Бережкова был полк, — вдруг проговорил он как бы с упреком. — Крепкий был полк...

Он машинально потянулся к кисету с табаком и принялся свертывать папиросу; его морщинистые пальцы, темные, как у людей, много трудившихся под открытым небом, — крестьян, матросов, солдат, ловко, привычно задвигались...

— Сил у вас достаточно, генерал, — после паузы сказал Волгин. — Меня интересует, в каком состоянии у вас укрепления на восточной и северной окраинах? Если есть необходимость в дополнительном строительстве, немедленно ставьте вопрос перед Городским Комитетом Обороны... Я говорил уже об этом с товарищем Ласточкиным... Затем я хочу знать, как вы обеспечены боеприпасами, продовольствием, медикаментами, перевязочным

материалом? Как в городе обстоит дело с электроэнергией, с водоснабжением?

Зазуммерил телефон, и командующий снял трубку... Было трудно по выражению его лица или по кратким репликам: «Да, да... продолжайте... Говорите громче», понять, хороши или дурны новости, о которых ему в эту минуту докладывали. Но слушал он с таким сосредоточенным вниманием, что Дьяков невольно придерживал дыхание... «Приходите ко мне сейчас же, товарищ полковник! Через полчаса я выезжаю к Сафонову», — со своей обычной сухостью закончил Волгин разговор.

Положив трубку, он долго молча курил; все его мысли, как видно, были там, где третьи сутки части его армии сражались с врагом, подавлявшим своей численностью и техникой...

— Слушаю вас, генерал! — наконец, проговорил он.

Когда Дьяков после доклада командующему армией и совещания с начальником штаба вышел от них, можно было, глядя на генерала, подумать, что ему стало известно нечто в высшей степени обнадеживающее. Шагая по улице села к машине, оставшейся за околлицей, Дьяков благожелательно улыбался, посматривая на встречных: на бойца, торопливо седлавшего коня, на часового у калитки, неотрывно смотревшего в небо, на девушку в меховом жилете и в сапогах, опрометью перебежавшую через дорогу, на связиста, снимавшего с шеста проводку. И, казалось, с особенным удовольствием, отчетливо и не спеша, Дьяков козырял, отвечая на приветствия... Вокруг по множеству признаков угадывалась большая тревога — кое-какие отделы армейского штаба готовились уже уезжать отсюда. Но именно это и подзадоривало как будто Дьякова, весь вид которого говорил: «Я не вижу оснований для беспокойства — берите пример с меня»... Бой за Т. вступил в решающую фазу, что с полной ясностью определилось теперь для начальника Т-го боевого участка — намерения неприятеля не вызывали больше сомнений. И Дьяков почувствовал даже облегчение оттого, что пауза ожидания этой решающей схватки закончилась...

Над шоссе опять кружили немецкие самолеты... Выйдя на околицу, генерал увидел, как пятерка их пикировала на цель, скрытую за поворотом дороги. Пять последова-

тельных ударов прогремели там, и белесый от взвихренного снега дым пятью толчками поднялся вдали, расплываясь над придорожной рощей.

— Переждать бы надо, товарищ генерал, — просительным тоном сказал шофер Дьякова.

Они стояли на краю колхозного сада, где под старыми, искривленными яблонями была спрятана их машина. Потревоженный движением воздуха снежок, слетевший с веток, посыпался на них.

— Прогрей-ка мотор покуда... Не застыл он у тебя? — спросил Дьяков.

Шоссе было пустынно... Лишь вырвавшийся из упряжки конь — яркорыжий с белой отметиной на лбу — мчался мимо них, волоча оглоблю, повисшую на хомуте; оглобля подпрыгивала, била коня по крупу, по ногам, и он огромными скачками устремлялся вперед.

Неожиданно из-за поворота появился одинокий человек в военной шинели... Он шел по обочине ровным, небыстрым шагом пехотинца, отмахавшего уже не один десяток километров, слегка сутулясь под тяжестью вещевого мешка. Когда он подходил к околице, самолеты, отбомбившись, понеслись вдоль шоссе, как бы нагоняя его. Но солдат даже не обернулся...

— Жизни своей не жалеет, должно быть... — сердито, с обидой сказал шофер Дьякова. — Судить надо за такую халатность...

— Зряшное геройство, — согласился генерал.

Заметив на себе вопрошающий взгляд шофера, он покачал головой, прищурившись...

— Ты, брат, оставь, ко мне это не относится... Неудобно, в самом деле, генералу в канаву лезть, неловко. Да еще когда на него все смотрят... — и он развел руками, точно смиряясь перед необходимостью. — То-то и оно...

Самолеты, набирая высоту, повернули в обратном направлении; легкое, растрепанное по краям облако встретилось им на пути, и они один за другим исчезали в нем. Одинокий солдат поровнялся тем временем с Дьяковым, и генерал крикнул:

— Товарищ красноармеец, подойдите ко мне!

Солдат остановился. И хотя он сразу же разглядел генерала, вышедшего из-под деревьев, он как будто призадумался, выполнить ему приказание или нет?.. Дьяков с

интересом его разглядывал: на красноармейце была командирская, ладно по фигуре пригнанная шинель без петличек, командирские сапоги и солдатская матерчатая ушанка... Поколебавшись, странно одетый боец счел все же за благо подойти к генералу. И Дьяков, к немалому своему удивлению, узнал в нем Селиверстова — полковника и командира дивизии в недавнем прошлом.

— А-а... Да мы знакомы... Мы встречались, — любезно сказал генерал.

Лицо Селиверстова — длинное, белокожее, засиневшее от холода, с вытянутым книзу плоским подбородком выражало откровенную досаду. Он и устыдился, видимо, генерала, с которым встречался в лучшие времена, и злился на него за свой стыд... Незадачливый комдив этот был, как довелось слышать Дьякову, отстранен от командования за серьезный проступок и предан суду; следовало думать, что и приговор трибунала был ему уже вынесен.

— Здравия желаю... — глухо, преодолевая внутреннее сопротивление, выговорил он и отковырял.

— Здравствуйте... Да... Так вот, — растягивая слова, неопределенно сказал Дьяков.

Про себя он отметил, что Селиверстов, несмотря на беду, постигшую его, сохранил достойный вид — был выбрит, аккуратно подпоясан, и это понравилось Дьякову; общее впечатление несколько портила ушанка — потертая, побывавшая уже в употреблении, она оказалась великоватой новому владельцу и сползала на брови...

— Откуда и куда путь держите, если не военная тайна? — поинтересовался Дьяков.

— Из пересыльного пункта — в часть согласно назначению, — отрапортовал Селиверстов.

— В качестве?

— Рядового, товарищ генерал!

Было заметно, что разговор тяготит разжалованного полковника, что тот с нетерпением и тоской ждет, когда его отпустят. Но Дьяков любезно, даже дружелюбно продолжал расспрашивать:

— В какую именно часть вас направили?

— В двести двенадцатый мотополк.

— А, ко мне, значит... Могу подвезти вас в город, — предложил Дьяков.

— Благодарю... Не смею беспокоить... — отрывисто, поспешно сказал Селиверстов.

— Чем же вы меня беспокоите? Идите, садитесь в машину.

Генерал пошел первым, пролез на заднее сиденье и, видя, что его попутчик остался стоять, скомандовал:

— Садитесь! Да поживей!

Селиверстов, нагнув голову, принялся медленно, неохотно стаскивать с плеч вещевой мешок...

— Сюда, сюда, — сказал генерал, указывая на место рядом с собой.

В машине он некоторое время искоса наблюдал за соседом; тот, отвернувшись, упрямо смотрел в сторону...

— Что там бомбили немцы на шоссе? — спросил Дьяков.

— Обоз... Сани с концентратами, — коротко ответил Селиверстов.

— Вы что ж это бравируете, под фугасками разгуливаете? — возвысил голос генерал. — Или смерти ищете? Так это совсем скверно...

Селиверстов круто повернулся, но тут же глаза его — измученные и злые — полуприкрылись веками; сдержавшись, он отчеканил:

— Никак нет!

— Добро, ежели правду говорите... Ну что там стряслось с вами, докладывайте, — мягко проговорил Дьяков.

— Простите, товарищ генерал, однако, если вы разрешите, я бы предпочел...

— Нет, не разрешаю... — перебил Дьяков. — Вы в одной из моих частей служить будете. Мне положено знать...

Машина, в которой они ехали, нагоняла рыжего коня, умчавшегося по шоссе... Ошалевшее животное несло все тем же бешеным галопом, волоча оглоблю, окутанное паром, валившим от взмокшей шерсти. Заслышав за собой шум мотора, конь шарахнулся к обочине и, вскинув голову, обнажив розовые нежные десна, заржал, будто жалуюсь и взывая о помощи; пена хлопьями срывалась с его морды. Потом, перемахнув через кювет, он заскакал по целине, а сбоку от него взлетала, подстегивала, била по колену, по бокам неотступная, наводившая ужас оглобля...

— Положено мне, голубчик,— повторил Дьяков.— Да вы не обижайтесь...

— Не смею спорить в таком случае,— сказал Селиверстов.

Он вытащил из-за пазухи бумажник, извлек оттуда сложенный вчетверо, захватанный пальцами листок и подал генералу...

— Прошу ознакомиться... Здесь все изложено,— холодно, даже высокомерно добавил он.

Держа легкий листок обеими руками, чтоб не вырвал ветер, Дьяков прочел копию приговора, вынесенного бывшему комдиву; дочитав последнюю строчку, он вернулся к началу, затем опять посмотрел на подписи, на печать.

— И правильно здесь все изложено? — негромко спросил он.

— Не полно, конечно. Но в общем...— Селиверстов не поднимал глаз, перекладывая что-то в своем бумажнике.

— Повезло вам,— сказал генерал, возвращая листок.— Дешево отделались, не по заслугам... Попадись вы мне, да под горячую руку... — он не закончил.

И хотя подобие улыбки все еще блуждало по его лицу, было совершенно ясно, как именно он поступил бы...

Селиверстов пожал плечами, высоко приподняв их... Но, как видно, он не ожидал столь безжалостного заключения, а, может быть, именно его и боялся. Сунув бумажник в карман, он достал платок и, быстро скомкав его, спрятав в кулаке — платок был грязный, отер лицо.

— Я принял дивизию в бою, товарищ генерал!..— проговорил он резко, с вырвавшейся наружу злобой.— Я не знал людей, и они не знали меня. Но не в том дело... В штабе армии мне дали одну обстановку, а когда я прибыл на место, мой сосед уже отошел... Все же мы держались. Это было выше человеческих сил... До вечера мы держались... Нас бомбили непрерывно, связь с частями была порвана... — ушанка опустилась ему на брови, и он сдвинул ее назад.— А главное, главное — надежды на то, что удастся удержаться, не было ни малейшей...

Дьяков слушал с холодным замкнутым видом... Селиверстов, как явствовало из приговора ему, был повинен в невыполнении боевого приказа: не получив разрешения на отход с рубежа, он отступил со своими частями, отдав противнику несколько важных пунктов... И что бы ни говорил сейчас этот слабый, побитый врагом неумелый

командир в свое оправдание, на что бы ни ссылаясь, — не вызывало в Дьякове сочувствия. Обстоятельства, в которых действовал он сам, были, вероятно, не легче тех, в которых пришлось сражаться Селиверстову, ныне они становились еще более тяжелыми. И, как обычно в трудных обстоятельствах, Дьяков испытывал нечто прямо противоположное тому, что погубило его собеседника. Точно дух решимости и отваги — недобрый, протестующий, неуступчивый — овладел им после всего, что он сегодня узнал. И чужая слабость представлялась уже Дьякову не просто жалкой, но непонятной...

— Танки и мотопехота немцев шли волна за волной, откуда только они взялись в таком количестве, — продолжал Селиверстов. — В частях быстро росли потери, два моих батальона были раздавлены в первый же час боя. И я ясно видел — я не смогу отстоять рубеж... с теми силами, что имел... Мой НП попал под огонь автоматчиков, комиссар дивизии был смертельно ранен... — он удивленно, тоскливо улыбнулся, — я вот уцелел, не берут меня пули, ни чужие... ни свои.

Генерал ничего не ответил, прищурившись, глядя на своего соседа как бы с любопытством.

— Мне вменено в вину, что я отступил без приказа, — заговорил Селиверстов громче. — Но я чему-то учился в свое время и я не первый день на войне... Против танка одних приказов недостаточно, нужны еще средства, соответствующие средства... и в большом количестве... Ломает нас гад! — Селиверстов с отчаянием и ненавистью взглянул на своего собеседника, — как ни упирайся, как ни держись, а результат один...

— Я все это слышал, когда дезертиров допрашивал, — спокойно сказал Дьяков.

Селиверстов растерянно умолк; на немолодом, синеватом лице его, с чуть покрасневшими скулами, появилось беспомощное выражение; машинально он опять поправил свою ушанку.

Вскоре машина выехала в полосу пригородных укреплений; показались траншеи, высунулись из-под снега железные, скошенные зубья надолб, приподнялись в разных местах колпаки дотов... Здесь, на этой окраине, боев еще не было, но город, видневшийся впереди, раскинувшийся на большом пространстве, выбросивший в небо множество заводских труб, похожих на стволы гигантских зени-

ток, сумрачный, темный, точно закоптившийся в пороховом дыму город приготовился уже к круговой обороне. Дальше потянулись улицы, перегороженные на скрещеннях баррикадами, немногочисленные, заваленные онегом, площади, изрытые узкими щелями укрытий, дворы, ставшие огневыми позициями зенитной артиллерии.

У здания штаба боевого участка машина остановилась.

— Вы знаете, где мотополк искать? — спросил Дьяков. — Вам в Пролетарский район надо... Это недалеко отсюда.

— Благодарю, товарищ генерал, дойду, — сказал Селиверстов, выйдя из машины и прилаживая на спине мешок.

— Послушайте-ка... — Дьяков помедлил, смутная, брезгливая жалость шевельнулась в нем. — Я вас могу, пожалуй, при штабе оставить... Желаете в комендантскую роту?

— Нет, нет... Никак нет... — Селиверстов, казалось, испугался. — Простите, товарищ генерал... Командир из меня получился плохой. Я с винтовкой отслужу... — он вытянулся и приложил руку к своей великоватой ушанке. — Разрешите идти...

— Да, идите... — генерал стал серьезен. — Искушайте вину, тяжкую вину неверия в победу. Вам предоставлена эта возможность, используйте ее, как должно... Вы же солидный человек... Идите.

Селиверстов с автоматической четкостью повернулся на носках и пошел, слегка сгибаясь под вещевым солдатским мешком...

«Ушибло человека, ничего он не услышал из моего напутствия...» — думал Дьяков, поднимаясь по лестнице. Его впечатление от Селиверстова несколько улучшилось после того, как тот отказался остаться в штабе... «А, впрочем, может, войдет еще в разум, если жив будет, если сам под пулю не встанет», — рассудил про себя генерал.

3

В двадцатых числах ноября бои вокруг Т. шли с ослабевавшим ожесточением... Неприятель, прорывавшийся на север к Москве, предпринял одновременно попытку вторгнуться внезапно в Т. с северо-востока, но был отбит. После этого он вновь крупными силами атако-

вал на юго-востоке, и в бой были брошены здесь эсэсовские части... Неумолчная канонада раздавалась все эти дни над городом; на его улицах, тонувших в снегу, который давно уже не убирался, рвались снаряды немецкой дальнобойной артиллерии. И только к ночи наступала иногда для защитников Т. недолгая передышка до следующего утра.

...Близились сумерки, и юнкеры, бомбившие позиции рабочего полка, скрылись, набрав высоту, в потемневшем, мутнобагровом небе. Павел Громов брел, спотыкаясь, по окопу, неся Бокова, обвисшего у него на руках. Возле блиндажа пулеметчиков Павел опустил свою ношу на снег, и тут он заметил, что Боков открыл глаза, очнувшись...

— Ваня! Что же ты!.. — закричал Павел. — Куда тебя?.. Ах ты, черт полосатый!

Он прислонился к стенке окопа; голова у него кружилась после недавней бомбежки, а во рту был тошнотный вкус серы. Но он улыбался всем своим мокрым от пота лицом... Четверть часа назад Павел увидел, как Боков, пробиравшийся ходом сообщения, подпрыгнул вдруг, опрокинулся на спину и взметенная разрывом, искрошенная земля засыпала его, — казалось, он был убит на месте и тотчас же погребен. Поднимая его, Громов со страхом думал, что поднимает мертвеца. И то, что происходило с его другом сейчас, представлялось ему подобным воскрешению...

Сидя на снегу, Боков подвигал руками, ногами, потрогал затылок и посмотрел на Павла, как бы спрашивая: «Что было со мной?»

— В медпункт тебя отправим сейчас, — сказал Павел.

— Чего я там не видел, — неожиданно громко, точно разговаривая с глухим, ответил Боков и сплюнул — в рот ему набилась земля. — Обошлось покуда...

— Вот, черт полосатый! — обрадованно повторил Павел.

Боков как будто вдруг удивился:

— Гляди ты, ведь нигде не задело, — проговорил он, — а трянуло крепко...

Цепляясь за земляную стенку, он встал и осторожно разогнулся; Громов стащил со своего плеча снайперскую винтовку и подал ему.

— Держи... Еще постреляешь, кудряш!

— Ага, — подтвердил Боков. — Хорошо, что винтовку подобрал...

Они немного помолчали; на шелушившемся от мороза лице Бокова появилось растроганное выражение.

— Ты что? — спросил Павел.

— Нет, ничего... Я про Марину вспомнил, недаром она довольная была, что мы в одной роте... Ладно... Иди, Паша, иди!.. Я и сам теперь.

Громов поднялся на ступеньку и выглянул в смотровую щель... Крутой склон, открывшийся ему, утыканный кое-где одиночными колышками, оставшимися от проволочных заграждений, был завален черной землей. Выброшенная только что наверх из подпочвенной сырой глубины, она исходила паром, остывая на морозном воздухе, и все поле боя курилось. Тонкий звук, как от дискантовой струны, привлек внимание Павла; он долго искал глазами, пока не сообразил, что это расщепленный осиновый пенек, торчавший вблизи, печально дребезжал под ветром. Больше не было слышно ничего... И в сознание Павла лишь теперь совершенно ясно вошло то, что огонь прекратился, что день, еще один день миновал и что его рота вновь удержала свой рубеж — два изрезанных траншеями, изрытых воронками, дымившихся холма на берегу речушки с ласковым названием «Русалочка»... Он скорее угадал, чем увидел, в сгущавшихся сумерках темносерую полосу леса, по опушке которого проходил передний край расположения немцев. А оглянувшись назад, с трудом различил на противоположном берегу станционные постройки: недалекую городскую окраину — синеватая мгла укрыла ее... И Павлу очень захотелось сесть там, где он стоял, и хотя бы полчаса, хотя бы только десять минут посидеть, ни о чем больше не беспокоясь. Но он перешибил себя — надо было посылать донесение в батальон, позаботиться о раненых, о восстановлении разрушенных окопов и о многом другом...

— Ступай все ж таки на медпункт, кудряш, — сказал он Бокову, уходя, — может, тебе лечение требуется...

Из блиндажа выполз Анисимов, пулеметчик, сел на деревянный чурбачок, достал кисет, газету и аккуратно, экономя каждый сантиметр бумаги, оторвал уголок. Вот так же, наверно, он присаживался где-нибудь на свежем воздухе — усталый и покойный — после того, как выхо-

дил из шахты, отработав смену... Но пальцы плохо повиновались ему, вздрагивали и на снег сыпалась махорка.

— Не напасешься на фрицев боезапаса, десять полных лент израсходовал я нынче, — сообщил Анисимов своим сильным тенорком, затем протянул кисет Бокову. — Угощайся, стрелок... Какие твои сегодня достижения?

Выслушав рассказ снайпера о том, как его сбило с ног взрывной волной, Анисимов поинтересовался:

— Винтовочку твою не покалечило, прицел в порядке?

— И за нее спасибо Паше, — тихо ответил Боков.

— Душа он человек! Когда и матюгнется, а злости в нем нету, — сказал шахтер; светло и пронзительно блестя в сумерках белки его глаз.

— Бесхитростный он... До того доверчивый, что иной раз досада на него берет, — тоном упрека сказал Боков. — Я его давно знаю — с одной улицы мы, с Пороховой. И всегда ему в людях одно хорошее воображалось, одно честное...

— Я и говорю — добряк он у нас... — Анисимов посмотрел на свои руки и добавил без связи с предыдущим: — Вот ведь ненормальность: как за пулемет берусь, так пальцы у меня ровно железные делаются, а перестану стрелять — дрожат.

Боков повесил винтовку на плечо.

— Ну, будь жив, — попрощался он, — командир мне на медпункт приказал идти, — и, сразу заторопившись, он подмигнул шахтеру: — Верно, что душа-человек.

Подходя к своему блиндажу, открытому на обратном склоне, и увидев издали Елисеева, Павел ускорил шаг. Политрук в запорошенном снегом пальто, в каракулевой шапке «пирожком» стоял перед блиндажом, разговаривая со старшиной.

— Никак не могли раньше доставить, — донеслось к Павлу. — Шквальный же огонь, товарищ политрук! Подноски с термосами залегли, головы не поднять было, — оправдывался старшина.

— Порфирий Яковлевич! — воскликнул Павел и едва удержался, чтоб не добавить: «Живы! Вот и хорошо!»

— Это вы, наконец! — сказал Елисеев. — Комбат звонил пять минут назад, спрашивал о потерях. Предупредил, что ночью, возможно, немцы опять атакуют...

И в пристальных быстрых взглядах Елисеева — политрука роты и Громова — ее командира промелькнуло

и удовольствие от того, что они увидели друг друга невредимыми, и беспокойство, и одобрение — все те молчаливые, молниеносные вопросы и ответы, какими обмениваются близко сжившиеся люди, делающие одно дело.

— После обеда снова будем копать, — сказал Павел, когда оба они сошли в свой блиндаж. — Во втором взводе завалились ходы сообщения, пострадала центральная траншея... Всех, кроме наблюдателей, поставим на земляные работы, — он запнулся, подумав, что его бойцы — их не насчитывалось сегодня к вечеру и четырех десятков — жаждут сейчас одного — выспаться. — Глубже надо зарываться, глубже, — возвысил он голос, точно возражал самому себе. — Как Дружников? Видели его, Порфирий Яковлевич?

— До медпункта не донесли Дружникова... — Елисеев, пройдя вперед, возился с коптилкой. — Был он до конца в сознании, все санитаров просил: «Поскорее, товарищи, мне на операцию надо».

Коптилка чадила, мигала, желтый огонек то снижал, то разгорался, и тогда из мрака выступала шероховатая, неструганая поверхность стола, а на черных, как антрацит, стенках блиндажа слабо поблескивал иней.

— А, черт!.. Еще этот мороз собачий!.. — пробормотал Павел и длинно, сквозь стиснутые зубы выругался... Он очень ясно представил себе, как Дружников, которого на плащ-палатке вынесли из огня, торопил санитаров.

Елисеев, наладив освещение, сел на свой земляной лежак, покрытый еловыми ветками, и достал из кармана пальто газету.

— Хотите взглянуть, Павел Алексенч? — спросил он. — Свежая, московская... Здесь и о нашем полку имеется...

И Елисеев показал на статью под заголовком: «Борьба идет за каждый метр земли».

— Так оно и есть, именно — за каждый метр, — сказал Павел, наклонившись над газетой. Далее он прочитал:

«...После некоторого относительного затишья с новой силой возобновились бои на подступах к Т. Сейчас трудно предсказать их исход — положение остается весьма серьезным и отдельные пункты в окрестностях города по несколько раз переходят из рук в руки...»

В конце статьи Павлу бросилась в глаза фраза: «Бок о бок с красноармейцами самоотверженно и героически сражаются бойцы рабочего полка...»

«Самоотверженно и героически», — мысленно повторил он. — «Это мы, это про нас?»

Он задумался, как бы усомнившись в истинности того, что прочитал... Вот уж больше недели он со своей ротой находился в бою, под огнем, изредка прерывавшимся в вечерний час. Он отвык уже от тишины и он забыл, как раздеваются на ночь, он дурел от бессонницы, от много-часовых бомбежек и минометных налетов, он потерял счет атакам, отбитым его ротой, и он что ни день хоронил теперь товарищей — здесь же, на берегу Русалочки, в твердой, как железо, земле вырубали им могилы. И Павлу показалось странным, что все это, ставшее его каждодневной, невыразимо трудной, но каждодневной жизнью, было названо торжественным словом — героическое. Он поднял глаза на Елисеева: тот, намерзшийся за день, продрогший, сидел, свесив голову, точно в дремотном оцепенении, упрятав подбородок в воротник пальто.

«Пожалуй, верно написано в газете», — решил Павел, глядя на товарища. Но мысль, что они сражаются здесь героически, не принесла ему облегчения и тотчас же забылась...

...Ночь проходила спокойно — немцы, вопреки предположениям, не проявляли активности. Бойцам было дано, наконец, разрешение отдыхать, а позднее в роту вместе с запоздалым ужином принесли почту... Павел обрадовался вначале, получив сразу три письма — два от Наташи и одно с завода, на котором он работал, эвакуированного в далекий тыл. Но, нетерпеливо прочитав их, он неожиданно для себя пережил такое тоскливое волнение, что не сумел его скрыть. Письма Наташи, длинные, со множеством подробностей, полные ласковых и милых выражений, были по-обычному бодры, даже веселы; она стремилась успокоить, развлечь, доставить удовольствие. И самая заботливость ее — драгоценная и бесполезная — обернулась сегодня для Павла нечаянной жестокостью. В последнее время он мало вспоминал о доме и о близких, вернее, старался не вспоминать, инстинктивно сторонясь всего, что могло ослабить его, размягчить. И в том особом состоянии, в каком он пребывал теперь, в той строгой душевной сосредоточенности, с какой он делал

здесь свое дело, была безотчетная отрешенность. Он не говорил себе, что обязательно должен погибнуть, но он слишком много уже видел, как умирали другие: вчера он недосчитался в роте четверых, позавчера двое бойцов были убиты наповал, сегодня также выбыло четверо. И добрые, милые, веселые голоса, дошедшие сегодня к Павлу с противоположного берега Русалочки и как бы с другой планеты — из далекого тылового города, в котором не было даже затемнения, напомнили ему то, о чем он приневоливал себя не думать: все соблазны жизни... Заводской товарищ Павла — такой же, как и он, молодой инженер — обстоятельно написал о своей работе, о своих производственных успехах; между другими новостями в письме сообщалось, что на заводе конструируются ныне в большом количестве станки-автоматы. И Павел, сам специализировавшийся в области автоматического машиностроения, обиделся горько на судьбу за то, что его собственная работа — спроектированный им станок — так и осталась незаконченной; уложенные в папки, свернутые в трубки чертежи этого станка покоились где-то в отцовском шкафу. И кто мог сказать, будут ли они извлечены оттуда на свет, перенесены в цех, на завод, если сам хозяин никогда больше к ним не прикоснется...

Стиснув кулаки, поставив их на стол перед собой, ссутулившись так, что голова ушла в плечи, Павел молчал; огонек коптилки, осветивший снизу его лоб, выпуклые надбровные дуги, колебался от его частого сильного дыхания. Раскрытые письма лежали перед ним... И Елисеев, сидевший напротив, поглядывал то на них, то на огорчившегося, помрачневшего командира роты (письма, полученные от своей жены, он спрятал уже). В блиндаже вновь похолодало — печка из листового железа, затопленная перед ужином, быстро остыла; однообразно короткими, в четыре-пять пуль, очередями стучал время от времени пулемет на участке соседнего батальона, и, вторя ему, Павел машинально постукивал по столу — не замечая этого — своими тяжелыми кулаками.

— Павел Алексеич! — окликнул его политрук. — А, Павел Алексеич! Давайте опять нашу времяночку топить...

Не пошевелившись, Павел поднял на него глаза.

— Представляете себе, живут без затемнения, — ска-

зал он, — кинотеатры в огнях, витрины... Ходят — не пригибаются... Даже вообразить нельзя...

— Я говорю — давайте печку топить, — сказал Елисеев. — Все повеселее будет...

— Что ж, давайте... — согласился Павел. — А на заводе работа на полный ход пошла... В кадрах только, в обученных кадрах — нехватка...

— И знаете, какая идея меня осенила? — Елисеев помедлил немного, было видно, что он не без труда перевозмогает собственную усталость — легкая гримаса, как от физического усилия, промелькнула на его постаревшем лице с отросшей, совершенно седой бородкой. — Да вы слушайте!.. Есть у нас с вами бутылочка портвейна — помните, в моем пакете с подарками оказалась. Чего мы ее бережем, спрашивается?

Он вдруг проворно встал с лежака и потер руки с таким видом, точно и сам предвкушал и предлагал Павлу нечто в высшей степени заманчивое, редкостное...

— Давайте раскупорим ее по случаю... — Прокофий Яковлевич запнулся, — ...по случаю тихого вечера, хотя бы... Вы — за мое здоровье, я — за ваше... А, что вы скажете? Возражений нет?

Елисеев даже подмигнул; обычно сдержанный, суховатый, он изо всех сил старался зачем-то выглядеть оживленным и, как говорится, «компанейским» человеком.

Павел, насупившись, с недоверием воззрелся на него.

— Хорошие вести получили из дома? — спросил он.

— Вполне. Кстати, Агриппина Семеновна привет вам шлет... Пишет, что и для вас шерстяной жилет связала. Так что ж, кутнем мы сегодня, а? На страх врагам, а?

И Павел, как бы спохватившись, принялся убирать со стола письма.

«Это для меня все, — догадался он. — Это меня Прокофий Яковлевич порадовать хочет, «отвлечь»... Ах, чудак, ну и чудак!»

Растерявшись, он пробормотал:

— Кутнем, пожалуйста... Если хотите...

— Живее, живее! — поторопил Прокофий Яковлевич — можно было подумать, что он сгорает от желания поскорее приступить к выпивке. — Очищайте стол, ставьте кружки... Эх, вы, медведь неповоротливый! Да двигайтесь же, а я дровец в печку подкину.

— Сейчас, сию минуту... — Павел торопливо засовывал письма в сумку. — В самом деле, давайте выпьем, раз выдался тихий вечер, — с преувеличенной готовностью, в тон Елисееву заговорил он. — Вы — за мое здоровье, я — за ваше. Это как раз то, что нам надо... Я, знаете, давно нацелился на этот ваш портвейн, — даже приврал он, смущенный и тронутый. — Все ждал приличного повода...

А когда бутылка вина была раскупорена и кружки налиты, Павел повторил:

— Я — за ваше, Прокофий Яковлевич, друг вы мой бдительный!

«В чем только душа держится? — дивился он, глядя на своего очень уже немолодого политрука. — Крепкая закалка, старинная...»

И Павел подумал, что не было у него сейчас более близких, более необходимых ему людей, чем те, с которыми он стоял тут, — боевые его товарищи: Елисеев, Боков, Щукин, Анисимов, все другие. Их оставалась малая горсточка на этой пристрелянной, голой, страшной полоске земли... Но все они подпирали один другого, немедленно приходя на помощь к тому, кто терял силы от вражеской ли пули или от внезапного прилива тоски; в первом случае они жертвовали жизнью за товарища, во втором — отдавали последнюю щепоть табака... И даже родной отец не был бы, наверно, более участлив к нему — Павлу, чем неродной Прокофий Яковлевич со своей неловкой, немного смешной попыткой утешить его сегодня.

Сознавая себя в долгу перед Елисеевым, Павел признался:

— Письма из дома взбудоражили меня — с кем не бывает... Хорошие слишком письма...

Затем он поведал политруку о том, что испытал, читая письмо заводского приятеля, поведал с полной откровенностью, свойственной людям на передовой позиции, где нет нужды что-либо скрывать...

— Позавидовал я, Прокофий Яковлевич, — сказал он. — И не тому, что человек в кино ходит по освещенным улицам, не пригибается, как мы с вами... Никогда бы я не поменялся с ним, честно говоря... А в то же время до слез обидно: делает он сейчас как раз то, над чем я работал...

Начав рассказывать о своем станке-автомате, Павел незаметно для себя увлекся. Вырвав из тетрадки боевых донесений чистый лист, он начал чертить.

— ...Сперва получалось что-то очень громоздкое или вообще ничего не получалось, — рокотал, заполняя низкий блиндаж, его голос. — Потом как-то я проснулся утром — выходной день, помню, был — и сразу представил себе узел управления станком в работе. Очень ясно увидел.

— Психология творчества — не простая штука, — уважительно сказал Елисеев.

— Психология? Может быть... — Павел не отрывал от бумаги глаз.

Впервые за долгое время он снова почувствовал себя инженером, создателем, человеком мирной профессии. Это вожаденное возвращение к ней походило на возвращение в родной дом, правда, мимолетное... Набрасывая схему станка, Павел невольно заулыбался, узнавая ее в стремительно возникавших на бумаге линиях. И ему представлялось поразительно красивым это найденное некогда им и как бы сызнова воплощаемое, сложное, целесообразное сочетание сил, движений, форм. А то, что он опять чертил, не утратив, как оказалось, ни твердости в руке, державшей карандаш, ни глазомера, доставляло ему само по себе наслаждение.

— Вот обозревайте, — он протянул Елисееву листок. — Конечно, это в самом общем виде. Я добивался, чтоб токарным станком можно было управлять так же просто, как набирают номер по телефону-автомату... — приступил он к пояснениям.

— Опытной модели не изготовили еще? — спросил Прокофий Яковлевич.

— Только собрались... Все было договорено и сроки намечены, но грянула война...

Павел поерошил свои жесткие спутанные волосы, заглянул в чертеж и, взяв его из руки Елисеева, принялся что-то исправлять.

— Ничего, вернетесь с войны, постройте станок, — сказал политрук. — Любопытно было бы опробовать...

— Если вернусь, то разумеется. А не вернусь... — Павел отставил от себя листок со схемой, любясь ею на расстоянии; он сразу воспрянул духом, повеселел, взглянув на свое создание и найдя его прекрасным. — А, знаете, Прокофий Яковлевич, — продолжал он, — я пошлю на

завод чертежи... Станка моего строить не будут пока что, не время. Но кое-что из найденного мной пригодится, пожалуй, и сейчас...

— Чертежи пошлете? — переспросил Елисеев, будто не поняв. — Зачем же?

— А я рассказывал: пишут мне с завода, что там автоматику везде внедряют. Оно понятно — на заводе много зеленой молодежи работает, это раз; детали идут крупными сериями — два. Я и думаю — пусть посмотрят там мой проект, может, кое-что используют.

Он еще что-то исправил в наброске и с явной неохотой отложил карандаш.

— Напишу отцу, пусть все соберет и отправит, — сказал он. — Мои чертежи отец бережет, он уж никого к ним не подпустит... — и такими несущественными показались ему здесь, в блиндаже переднего края, все соображения, связанные с правом на авторство, с мечтами о славе, что он добавил, оправдывая отца: — Ну, как же, — сыновний труд, результат многолетних ночных бдений. Я ведь в институте еще засел за свой проект, а отец у меня в курсе был... Вы что, Прокофий Яковлевич? Чему это вы?

Елисеев негромко, с хрипотцой засмеялся; растрепанная борода его, торчавшая над воротником, затряслась.

— Ничего особенного... Дайте-ка вашу кружку, товарищ изобретатель! — сказал он. — Славное вино, между прочим, натуральное, виноградное.

— Сладкое чересчур, — возразил Павел. — И не натуральное оно, по-моему, крепленое, должно быть.

— Ишь вы, какой разборчивый, крепленое вам не по вкусу. Я, когда молодой был, вообще спиртного избегал.

И, придя на этот раз в непритворно хорошее расположение духа, Елисеев вновь налил вино в кружки; затем он пояснил:

— Мы, видите ли, строго к себе относились... Курение табака и то осуждали. В общем требовали, чтоб революционер был самым примерным человеком во всех отношениях. Это вы, молодежь, иногда себе лишнее позволяете.

Но в его взгляде, обращенном на Павла, было то же выражение нежности, с каким Павел любовался только что своим созданием...

Давным-давно, юношей еще, в воскресной рабочей школе, а потом в подпольном большевистском кружке —

одном из первых в Т. — услышал слесарский подмастерье Елисеев о возможности такой жизни, в которой люди, свободные от нужды и угнетения, освободятся и от эгоизма. И каждый раз, когда он обнаруживал ныне в поднимавшемся вокруг него новом поколении то нравственное здоровье, ту душевную щедрость, что лишь не очень отчетливо некогда воображалась ему, — он испытывал тайное удовольствие, родственное наслаждению творца, художника, создателя... Сейчас перед ним сидел рабочий парень — Павел Громов, выросший уже в тех условиях жизни, за которые сам он — тоже рабочий парень в прошлом — сорок лет боролся. И хотя его молодой товарищ отличался в чем-то от идеального человека будущего, рисовавшегося в свое время Прокофию Яковлевичу, — был излишне мягок, впечатлителен, поддавался приступам грусти, ему он нравился.

— Избаловались вы, на готовенькое пришли, — с явным удовлетворением проговорил Елисеев. — Ну, и жалеть об этом не приходится, дай вам и впредь.

— Разве избаловались? Я что-то не заметил, — сказал Павел.

— Поверьте мне... Здоровяк вы этакий!

Не удержавшись, Прокофий Яковлевич перегнулся через стол и притронулся к груди Павла — широченной, как будто литой из металла.

— А насчет своих чертежей вы, конечно, решили правильно, разумно решили.

— Плохо, что раньше не сообразил, — сказал Павел, — безобразие же получается: лежат они у меня без толку, а там, может, сослужили б службу...

Он подумал, что следовало бы рассказать Бокову о своем решении — Ваня больше, чем кто-либо здесь, знал о его станке, кое-что советовал даже внести в конструкцию, исходя из собственного опыта, — и пожалел, что Бокова, ушедшего на медпункт, нет сейчас в роте.

Потянуло холодом, морозное облачко ворвалось в блиндаж, и огонек коптилки заметался, точно стремясь оторваться от фитиля и улететь. Сквозь узкий вход протиснулся Шукин, командир первого взвода.

— Во-время, Женья! Садитесь, вина выпейте, — предложил Павел. — Что там нового?

Шукин затоптался, сбивая снег с валенок, стащил рукавицы и стал обметать ими шинель.

— В балке, левее от Анисимова — шумок подозрительный, — сообщил он. — Накапливаются, должно быть...

Он присел на край лежака и потупил глаза; казалось, он находился в затруднении и нервничал.

— Снег идет, Женья? — спросил Павел.

— Идет... Снег идет... Потеплело малость... — И не поднимая глаз, прикрытых длинными, как у девушки, ресницами, Щукин вполголоса проговорил: — Чепе у нас, товарищ командир роты.

— Да ну? Что за чепе? — Павел наливал Щукину вино.

— Своей рукой застрелил бы подлеца! — выкрикнул Щукин; молодое, припеченное морозом лицо его посветлело от ярости, как это бывало с ним в бою. — Про Бокова я, товарищ командир роты.

— Вы что? Вы что? — быстро сказал Павел.

— Позор на весь полк, сбежал наш Ваня, то есть Боков Иван.

Вновь потупившись, овладев собой, Щукин доложил, что боец его взвода, снайпер Боков, отправившийся по приказу командира роты на медпункт, не явился туда... И последние сомнения в том, что Боков обманным способом отлучился из части, то есть дезертировал, исчезли у Щукина, когда полковой почтальон рассказал ему о случайной встрече со снайпером на окраине города.

— Погодите... Вы сами, лично, разговаривали с почтальоном? — спросил Павел.

— Лично, именно лично! — с сожалением в голосе ответил Щукин. — Почтарь крикнул: «Здорово, Ваня!», а тот только рукой махнул. Он в кузове машины стоял, что в город ехала...

— Когда эта встреча произошла? — тихо задал вопрос Елисеев.

— Почтарь говорит — стемнело уже, часов в семь, наверно, в восемь...

— Вот он и обознался в темноте, — гневно перебил Павел. — Я же Бокова знаю, давно знаю...

Первым побуждением его было не дать старого друга в обиду, опровергнуть жестокое обвинение; он порывисто встал, но бревенчатый накат не позволил ему выпрямиться и он опять сел.

— Запросите еще раз медпункт, — распорядился он, не желая больше слушать плохое о Бокове. — Пошлите

санитаров, пусть обыщут местность за Русалочкой. Вечером там несколько мин упало.

— И верно! Может, и вправду свалило Ваню на том берегу, — Щукин оживился. — Может, и обознался почтарь — в темноте свободно могло получиться. — Как видно, ему очень хотелось, чтоб так и было.

Он вскоре ушел, и Павел, повернувшись к Елисееву, громко, поспешно заговорил, заранее возражая на то, что мог сказать политрук...

— Чепуха какая-то, недоразумение... Никогда не поверю, что Боков дезертировал... Мы же с ним и с Трошиным... Да что долго говорить! Мы все трое с одной улицы... Я его знаю, как самого себя, росли вместе...

Елисеев молча аккуратно застегнул пальто, поднял воротник, замотав его снаружи шарфом, повесил на плечо трофейный автомат.

— Погляжу пойду, что делается, — хмуро объявил он. — Ночь выюжная, темная, как бы чего... — Он двинулся к выходу и остановился. — Скверно, Павел Алексич, очень скверно... Не доглядели мы, я не доглядел...

И по глубокому огорчению, прозвучавшему в его голосе, Павлу стало ясно: Прокофий Яковлевич был убежден в том, что Боков действительно обманул их.

— В трибунал теперь пойдет Ваня, — невольно вырвалось у Павла.

— Да его разыщут, конечно, — не иголка в сене, — сказал Елисеев.

Представив себе Бокова, кудряша Ваню Бокова перед судом трибунала, подумав о Марине, Павел пришел в смятение... Допустить, что Иван — лучший снайпер в батальоне, уничтоживший больше тридцати гитлеровцев, струсил вдруг, он не мог, это безусловно исключалось. Но что же в таком случае, какое несчастье стряслось с ним?

Павел вспомнил, как трое их — Боков, Егор Трошин и он — встретились в ночь перед выступлением на позицию, как встреча эта показалась им добрым предзнаменованием, как они долго не могли уснуть, советуясь и подбадривая друг друга, как все вместе пошли на следующий день в первый бой... И вот Егора давно нет в живых, а Ване Бокову угрожает, быть может, нечто худшее, чем вражеская пуля.

— Подождемте до утра, Прокофий Яковлевич, — просительно сказал Павел, — а там уж доложим по началь-

ству. Никак не укладывается у меня в голове, что Боков сбежал... И потом — за такие вещи по военному времени...

Он не кончил фразы и, чувствуя, что его сердце сильно застучало, проговорил медленно, перебарывая свое волнение:

— Если уж к утру... Боков не появится...

— Проморгали мы человека... Хуже этого ничего не бывает, — сказал Прокофий Яковлевич.

Перед рассветом Павел поднялся, перезарядил пистолет, положил в карман гранату, разбудил Игнатьева, связного, спавшего за дощатой перегородкой, приказал ему следовать за собой и вышел — надо было обойти посты и принять донесения наблюдателей... Беспокойный, ветреный, градусов на пятнадцать ниже нуля воздух охватил Павла наверху, обжег щеки. С севера доносилась орудийная канонада, и будто зарницы пробегали по горизонту; небо уже чуть позеленело на востоке, и звезды, видневшиеся в разрывах облаков, начали меркнуть. Выпавший ночью снег смутно белел во мгле... Павел, наклоняясь навстречу ветру, зашагал по окопу. И ему померещилось, что он, как бывало обычно в зимнюю пору, вышел затемно из дома, направляясь на работу, на завод — также пробирал его тогда утренний холод, также спешил он, засунув руки поглубже в карманы. Усмехнувшись внутренне, Павел подумал, что в сущности он и шел на работу, — с минуты на минуту бой должен был возобновиться, — до крайности трудную, невероятно изнурительную, которую требовалось выполнить как можно лучше.

В боковом ходе сообщения слышались чьи-то быстрые шаги, и Павел остановился:

— Кто? — окликнул он. — Стой на месте!

— Паша, ты? — раздался из темноты знакомый голос.

И перед Павлом обрисовалась невысокая фигура Бокова, вышедшего из-за поворота.

— Ах, ты! Да как же!.. Где ты пропадал, черт! — воскликнул Павел.

В эту первую минуту он близок был к тому, чтобы стиснуть возвратившегося друга в объятьях.

— Мы тут думали бог знает что... Ах ты, черт полосатый! Где пропадал, говори! — закричал он, сердясь уже

за то, что Боков доставил всем столько тревоги.— Услали тебя, что ли, в госпиталь? Или опять контузило?

— Дома я был, дома... Марину видел, выписали ее...— радостно сообщил Боков.

— Как дома? — переспросил Павел. — Где, в городе, на Пороховой?

— Ну да... Тихо у нас на участке было, я и рискнул... Изныл я весь, Паша, живого места во мне не осталось...— каким-то прыгающим шепотом продолжал Боков. — А Маринка тебе кланяться велела, встала она уже, ходит... Вчера из больницы вернулась...

И Павел, поддавшись той счастливой горячности, с какой Боков выкладывал ему все это, повторил:

— Ходит... Ну, слава богу!

— Отлежалась, — растроганно промолвил тот. — Говорит — совсем поправилась... Слабенькая только, походит немного и сядет, за стол, за стул держится... А глаза — большие, в пол-лица, — торопился он высказать то, что переполняло его сердце. — И здорово, понимаешь, подвезло мне — попутная машина шла в город.

— Сам-то ты на медпункт так и не явился? — спросил Павел.

— А мне без надобности было, — простодушно признался Боков. — Если б я сказал кому, что мне жену дозарезу повидать требуется, разве отпустили бы меня? Я и воспользовался моментом — вместо медпункта домой поехал. Рискнул, конечно... Но ничего же тут не случилось без меня...

— Ну, а если б случилось, тогда как? — Павел сказал это с тоской. — В роте и половины людей не осталось, каждая винтовка на счету...

— Так ведь не случилось же, — возразил Боков, и по его тону можно было догадаться, что он улыбнулся.

— А если б случилось? — настаивал Павел. — О чем ты думал только, когда домой поехал?

— Я подумал: Паша — свой человек, простит, — шепнул Боков. — Так я решил — Паша не выдаст...

Громов ничего не смог ответить; засунув пальцы за воротник шинели, он с силой потянул его книзу.

— Маринка благодарить тебя велела, — сказал Боков, точно почуяв неблагополучие. — Как узнала, что ты меня из огня вынес, так заплакала и говорит: «Золотое у него — у тебя, то есть — сердце».

Павлу удалось, наконец, перевести дыхание, и он сразу стал спокойнее...

— Что ты натворил, Ваня! — пробормотал он.

— «Золотое сердце», говорит, — как бы не расслышав, продолжал тот. — «Себя для товарища не пожалеет»... А я говорю: «Кто же Пашку не знает?»

— Снимай свою винтовку, Ваня, — также перейдя на шепот, сказал Павел.

— Зачем? — еле слышно спросил Боков.

— Отдашь ее мне, снимай...

И странно — Павел не находил в себе больше ничего, что побуждало его до сих пор так горячо сочувствовать Бокову: точно утратили вдруг над ним власть все воспоминания об их давней безоблачной дружбе. Самая любовь Ивана к Марине, восхищавшая когда-то Павла, представлялась ему в эту минуту убогой, так как заставляла ловчить и обманывать. И с той безжалостностью, что бывает свойственна очень добрым людям, когда они обмануты в своем доверии, оскорблены, уязвлены, Павел, взяв у друга его оружие, проговорил:

— Пойдешь к командиру взвода, Ваня, скажешь, что я арестовал тебя...

Затем, подозвав Игнатьева, связного, он приказал ему сопровождать арестованного.

4

К утру небо расчистилось, нежнейший розовый свет разлился в воздухе, свежий снег, выпавший ночью, полилсвел, и бой, прервавшийся накануне вечером, возобновился. На этот раз немцы начали с огневой подготовки: в течение двадцати минут снаряды и мины падали на позиции рабочего полка, потом прилетели юнкерсы... Лед на речке, в излучине которой занимала позицию рота Павла, был взорван бомбами, студеной пар стеной поднялся от обнажившейся черной воды. И в нем возшло тусклое бледножелтое солнце, подобное затуманенной луне.

Вскоре связь между подразделениями прервалась; последнее, что услышал Павел по телефону от командира батальона, было:

— Громов, дышишь? Стой на месте, честью прошу! Отсекай пехоту от танков... Умри, но держись, честью прошу!

И голос комбата пропал в страшном железном грохоте, от которого Павел на некоторое время оглох.

Тяжелый снаряд рванул рядом с его командным пунктом, и будто мертвая тишина сразу же воцарилась вокруг. Выход из блиндажа был засыпан мерзлой землей, острыми обломками известняка, и пришлось разгребать их, задыхаясь в дыму, обдирая в кровь руки. Выбравшись наружу, Павел и Игнатъев, связной, очутились в только что образовавшейся воронке; теплое смрадное облако, встававшее со дна этой круглой ямы, окутало их с головой. Еще один снаряд разорвался поблизости, и земля, в которой они пытались укрыться, колыхнулась, будто утратив свою тяжесть.

Павел, обливавшийся потом, несмотря на мороз, приподнялся над краем воронки. И прямо перед собой, метрах в шестистах-семистах увидел длинные разорванные вереницы немецких солдат, выходивших из леса. Левее мчались на окопы соседнего батальона танки, выкрашенные в белый маскировочный цвет; спускаясь в ложбину, они скрывались за железнодорожной насыпью... Павел посмотрел по сторонам, на земляные, дымившиеся осыпи, на беспорядочные нагромождения бревен, досок, кольев, и в первую минуту ему подумалось, что, кроме него и Игнатьева, никто не уцелел в роте. Но вот высунулась неподалеку из-за бруствера и спряталась чья-то ушанка; далее на открытом месте показались ползущие Щукин и Елисеев. И Павел сам закарабкался из воронки...

— Игнатъев, за мной! — скомандовал он.

Пониже, в центральной траншее, мелькнуло еще несколько человек — бойцы выбегали из укрытий, и позиция, представлявшаяся мертвой минуту назад, быстро оживала.

...Иван Боков (до рассвета его не успели отправить в тыл, в штаб полка, а позднее это стало попросту невозможным) выглянул из землянки Щукина, где его покинули одного. У входа в землянку полулежал на снегу, привалившись спиной к хворостяной обшивке, подогнув под себя ногу, убитый боец. Лицо его было покрыто запекшейся кровью, залеплено землей, и Боков так и не узнал, кому именно принадлежала винтовка, валявшаяся тут же, которую он поднял. Обтерев заботливо рукавом затвор, он пошел по ходу сообщения, переполз через встретившуюся на пути воронку и, увидев стрелявшего Охотни-

кова, встал рядом... Внизу солдаты в черных эсэсовских шинелях, достигнув подножия холма, залегали в редком ольшанике, накапливаясь для броска. И Боков бил их на выбор, не спеша, тщательно прицеливаясь; после каждого выстрела он закрывал на секунду-другую свои воспаленные от постоянного снайперского напряжения глаза, давая им отдых.

Охотников покосился на нового соседа. И когда снайпер одним выстрелом свалил на самой опушке леса какого-то одинокого эсэсовца, вероятно, офицера, Охотников крикнул застуженным, скрипучим голосом:

— Гутен морген, Ваня! Бей фашистов, наше дело правое!

Он выглядел немного опьяневшим: жар пятнами горел на его цыганском смуглом лице, необычайно возбужденном и дерзком в этот час.

Боков, смежив припухшие веки, проговорил:

— Тридцать восьмой...

— За тобой не угонишься... Возьми меня в ученики, Ваня! — вновь крикнул Охотников.

Самый юный в роте и, вероятно, самый удалой, он попросил об этом вполне искренне — ему действительно очень захотелось так же метко стрелять. Даже свою славу полкового поэта он обменял бы, пожалуй, сейчас на умение снайпера.

— Война всему обучит, — отозвался Боков.

...В течение немногих минут оборона на участке роты была восстановлена — люди недаром пробыли целый месяц в непрерывных почти боях. И после того, как открыл огонь станковый пулемет Анисимова, а затем в дело вступили два оставшиеся в строю ручника, атака немецкой пехоты захлебнулась — эсэсовцы поползли назад к лесу. Анисимов, экономя патроны, перешел на короткие очереди, а Боков, высмотрев новую цель — неясную, крохотную фигурку, полурастворившуюся в утреннем розовом свете, посылал всего лишь одну пулю. Удостоверившись в том, что цель поражена, он отворачивался, закрывая красноватые, как у кролика, глаза.

Павел обходил свою позицию, вернее, переползал из одной земляной щели в другую... И не считаясь с тем, что его люди находились на пределе человеческой выносливости, он опять торопил их.

— Живее, живее! Берите лопаты... Почему не подняли

бруствер, кто это за вас сделает? Игнатьев, ко мне! Передайте Анисимову: обстрелять цель номер семь... Мигом, Игнатьев!... Вы что приуныли, товарищи!

И он беспокойно, требовательно вглядывался в коричнево-багровые от мороза, угрюмые лица. В центральной траншее Павел разбудил уснувшего бойца... Это было удивительно — не прошло и получаса, как немцев отбросили, а доменщик Михайлов, отстрелявшись, похрапывал уже, примостившись на ящике с гранатами, уткнувшись носом в пышную, заиндевевшую, посверкивавшую под солнцем, будто парчовую, бороду. И как ни жалко было Павлу будить для нового боя этого пожилого, за пятьдесят лет, человека, он крепко тряхнул Михайлова за плечо и приказал взять лопату... Он слишком тревожился сейчас за своих людей, слишком дорожил ими, чтоб уступить опасной жалости к ним.

Добравшись до окопчика, в котором стояли Боков и Охотников, Павел подумал было, что ему предстоит еще раз отобрать у Бокова, находившегося под арестом, оружие... И, как бы отдаляя эту жестокую обязанность, он в первую минуту сделал вид, что не заметил здесь ни своего несчастного друга, ни винтовки в его руках.

— Что, Охотников? — крикнул он. — Потерь нет?

— Как у кого, — сказал юноша. — У фрицев есть потери.

Павел выпрямился — большой, на голову выше других, взмокший, в расстегнутой шинели, в шапке с поднятыми наушниками — и посмотрел вниз на склон холма. Там в разных местах рябили на снегу черные пятна — неубранные трупы, и Павел неожиданно для самого себя мысленно проговорил:

«Похоже на мух в молоке, на мертвых мух...»

— Боков дает фашистам жизни, — пояснил Охотников. — На моих глазах, товарищ командир, десятерых пригвоздил...

Павел резко всем телом повернулся к Бокову.

— Что же, Ваня, — сказал он, — оставайся здесь покуда... Раньше вечера я не смогу тебя отправить в полк...

— Ну, Паша, от души!.. Спасибо, товарищ командир! — торопливо поправился Боков.

— И ты вот что... — Павлу стало легче после того, что он услышал о своем друге. — Ты не отчаивайся... Я сам

доложу о тебе командиру полка, поговорю с комиссаром, с райкомом свяжусь, если надо будет...

— Я, что с меня следует, отработаю, Паша, на двести процентов отработаю. Я за свою вину вдвойне отслужу... Я ж понимаю...— взволновавшись, сказал Боков. — А отчаиваться мне теперь нечего, раз Маринка дома... Словно камень у меня с сердца свалился. — На изнуренном, но все еще миловидном лице Бокова с правильными и мелкими чертами выступила улыбка. — Ты сам посуди: была бы еще какая опасность для Марины, ее б не выписали из госпиталя. Верно я говорю? А раз выписали — чего мне отчаиваться... Теперь Маринке только усиленное питание необходимо. Это уж само собой...

— Любишь ты ее, однако,— сказал Павел недовольно, как бы с осуждением.

— И то правда, — подтвердил Боков. — Я и не таюсь, что люблю.

Солнце поднималось к зениту, и потоки света лились с голубого, ясного, без единого облачка неба; мир утонул в морозном сиянии, белым холодным пламенем пылал снег, и на нем золотой россыпью поблескивали винтовочные гильзы... Охотников после ухода Павла достал из кармана шинели два ржаных квадратных сухаря, сдунул с них махорочные крошки и предложил один снайперу. Не отходя от бруствера, бойцы громко хрустели сухарями... Все напряжение боя переместилось влево от них, на участок соседней части — оттуда из-за железнодорожной насыпи доносились выстрелы танковых пушек, будто звенели вдалеке стеклянные колокола, а здесь на километр в радиусе не было заметно никакого движения. И Боков и Охотников с легкостью бывалых фронтовиков, привыкших ценить каждую минуту покоя, почувствовали себя на недолгое время, как в тылу.

— Красивая у тебя очень жена, если так ее любишь? — закуривая, спросил Охотников.

— Маринка-то! — воскликнул Боков. — Что тебе сказать, Коля?! Красивее я в жизни не видывал. Ну, а как тебе сказать, какая она!..

Охотников насмешливо посмотрел на снайпера.

— Пушкин вот сказал: «...как гений чистой красоты...» Подходит? — спросил он своим осипшим голосом.

— А что — подходит, — согласился Боков. — Я за нее, за Маринку, жизни не пожалею, и еще спасибо скажу.

Я из-за нее и учиться дальше не стал, — радостно сообщил он. — И ты обрати внимание, Коля, в любой час мне тут полная крышка может быть. И в трибунал я пойду, должно быть — не помилует меня Паша, как теперь вижу... А на душе у меня светло, и настроение улучшено.

— Что учиться дальше не стал — это зря, конечно, — сказал Охотников, но в его быстрых, блестящих, переменчивых глазах засветилось любопытство.

— И я считаю, что зря, — с непонятным удовлетворением подтвердил Боков. — И то, что за проступок мой судить меня надо, — ясно, как дважды два. Только я и в трибунале скажу: судите, скажу, но имейте снисхождение — не волен я был в себе.... Ну, да к чему там ни присудят, а Маринку я проведаль, поговорил с ней, сам поглядел, что и как.

Он умолк и тотчас же встрепенулся.

— Эх, Коля! Не умею я сказать, какая она — Маринка... Вот тут она во мне живет! — Боков прижал руку к груди, и этот театральный жест, такой неожиданный для человека в солдатской, вываленной в снег, обожженной на подоле шинели, был полон у него пылкой искренности. — Где б я ни был, хотя б и в пристрелянном окопе, везде она со мной... Гляжу и не нагляжусь — тоненькая, тихая, до того хороша, что плакать навзрыд хочется. Верно, что гений красоты! А уж если сама слезу обронит, так словно ножом полоснет... Я за нее, за мучения, что ей вытерпеть пришлось, сорок гитлерят в землю вбил и не расшелся еще.

Казалось, Бокову доставляла большое удовольствие его откровенность. А то облегчение, что он испытывал после долгих недель тревоги за жену, сделало его почти равнодушным к собственной своей участи.

— С фашизмом ты без убытка разочтешься, — сказал Охотников, он был теперь заметно заинтересован. — Но, между прочим, не у всех она бывает, такая любовь. Многие и без особенной любви гуляют с девушками — сперва в кино ходят, потом женятся.

— Тебе сколько лет-то? — спросил Боков.

— В декабре девятнадцать исполнится, — Охотников стал серьезен, точно собрался услышать что-то действительно важное для себя.

— Ну, готовсь, парень. Скоро тебе срок выйдет, тогда узнаешь, какая она, любовь, — с торжеством сказал Боков. — Скрутит она тебя, и как больной сделаешься...

— Меня, положим, не скрутит, — Охотников засмеялся глухим, похожим на стариковский кашель, смехом, — не родилась такая красавица, чтоб я ума из-за нее лишился...

— Мальчишка ты еще, — закричал Боков. — И не таких, как ты, она ломала.

— Меня не сломает, — весело возразил юноша.

Но было видно, что пророчество более опытного мужчины показалось ему скорее соблазнительным, нежели пугающим. И в глубине своей жадной к жизни, открытой, удалой души Охотников завидовал уже не снайперскому умению Бокова, а его необыкновенной страсти.

...К полудню обстановка на рубеже резко осложнилась: немцы на участке соседнего батальона вклинились в оборонительную полосу рабочего полка, и рота Павла, выдвинутая вперед, на левый берег Русалочки, обстреливалась теперь и с фронта, и с фланга. Телефонная связь опять была порвана, связные, посланные к командиру полка, не возвращались, и Павел утратил в конце концов ясное представление о том, что происходило рядом. Железное громохание, свист и скрежет доносились к нему и справа, и слева, и сзади; в тылу роты густо ложились мины; дым, копоть и снежная пыль вихрились, застилая пространство... И наступил момент, когда общая обстановка становится тем менее понятной, чем более она ухудшается. Немецкие танки действовали уже, по всей вероятности, в тылу роты, в районе железнодорожной станции — оттуда, из-за дымовой завесы, доносился непрерывный звон стеклянных колоколов... Но одно Павел знал твердо: пока он держался на своих прибрежных холмах, неприятельская пехота не могла пройти за реку, чтобы закрепить успех танков. Повидимому, и немцы убедились, что их продвижению мешает прежде всего фланкирующий огонь с высот на левом берегу, — теперь их атаки на эти холмы следовали одна за другой, перемежаясь огневыми налетами...

Вскоре среди бойцов роты пронесся тревожный слух о том, что подразделения, державшие оборону на противоположном, правом, берегу Русалочки, отступили — санитары, которым посчастливилось переправить туда

группу раненых, рассказали, вернувшись, что в окопах за рекой нет больше войск. И услышав об этом, дрогнул даже такой испытанный в суровых обстоятельствах человек, как Щукин, командир первого взвода, — Щукин тотчас же бросился к Громову. Скатившись в воронку, он прокричал над ухом Павла, нервничая и торопясь:

— Павел Алексеич, товарищ командир! Нам выгоднее на разъезд номер семнадцать отходить... А через эту Русалку чертову правее переберемся, пока есть возможность.

Павел, лежа на земляной осыпи, вглядывался в противоположный берег, но рассмотреть что-либо там было трудно. Плотный пар неистощимо клубился над аспидно-черной водой, освободившейся ото льда, и лишь силуэты старых ветел виднелись в этом бегущем тумане.

— Выгоднее нам на месте стоять, как приказано было, — без улыбки пошутил Павел.

— Некому скоро стоять будет, — во взводе у меня одиннадцать человек под ружьем, — сказал Щукин; на-ушники шапки, стянутые под подбородком, подпирали его круглые кирпично-красные щеки, что придавало командиру взвода по-детски надутый вид, — вместе со мной одиннадцать...

А на его обиженном лице было в это время ясно написано: «Мы остались здесь одни, и это несправедливо...»

Павел не ответил — он думал о том, что если даже соседи справа действительно отошли, его задача — сдерживать немецкую пехоту — не изменилась; во всяком случае, кроме его людей, некому было остановить ее здесь.

— ...Из одиннадцати — двое раненых у меня: Чекин и Свешников, — упрямо продолжал о своем Щукин. — Смех и слезы смотреть, товарищ командир: один заряжает, другой стреляет... В третьем взводе бойцов не больше, чем у меня...

«Мы все до одного ляжем, если тоже не отойдем», — было за его словами.

Павел, пораженный внезапной мыслью, опять промолчал: судьба всех этих людей — Чекина и Свешникова, Боккова с его сумасшедшей любовью и Охотникова с его юной удалью, пулеметчика Анисимова — шахтера, и связанного Игнатьева — театрального машиниста, политрука Елисеева и взводного командира Щукина — решалась

сейчас, сию минуту... И от того, останутся ли они здесь, на холмах, окруженных врагами, или отступят, как другие, зависело, жить им или умереть... В самом деле: стоило Павлу сказать два слова: «Приказываю отходить...», и они будут пощажены, а его такая же краткая команда «Стоять на месте...» означала для них гибель. Все существо Павла — доброе и привязчивое — напряглось в это мгновение. И он физически — кровь прихлынула к его сердцу, оно глухо застучало — почувствовал тяжесть бремени командирского, единоличного, окончательного, неумолимого решения... Думать о себе самом у Павла не было уже ни времени, ни душевных сил. Придвинувшись к Шукину вплотную, он сказал сдавленным голосом:

— Одними танками сволочи ничего не сделают... А пехота их не пройдет, пока мы стреляем...

Шукин, взметнув длинными ресницами, жалобно взглянул на Павла.

— Боезапас у меня на исходе... По полсотне патронов на стрелка не наберется, — со страстной тоской возразил он.

И в том, как это было сказано, Павлу послышалось: «Почему все-таки мы, а не другие? Почему мы? Несправедливо, товарищ командир!»

— Полсотни патронов — большое дело... И гранаты у нас есть... Возьми себе, Женя, два ящика... — начал Павел... И, не сдержавшись, охваченный злостью и на Шукина, и на себя, и на обстоятельства, вынуждавшие его к жестокости, выкрикнул:

— А побежишь — застрелю на месте! Учти!

Ему показалось, что это вырвалось не у него, а у кого-то другого... Он вспомнил своего первого командира — строгого чернобрового лейтенанта, от которого сам слышал такую же угрозу. И ему стало несколько спокойнее, точно лейтенант вернулся в роту и вновь принял командование.

Шукин, изумившись, молча попятился...

Спустя полчаса очень опасное положение создалось как раз перед траншеями первого, шукинского взвода. Большая группа эсэсовцев прорвалась к ним, и в ход с обеих сторон пошли гранаты. Всю группу удалось уничтожить, но это обошлось недешево: еще три бойца были тяжело ранены, а один, самый молодой в роте — поэт и общий любимец Николай Охотников был убит... Когда

Павел, взяв с собой Игнатьева и телефониста — свой последний резерв, подоспел на место схватки, там все окончилось. Охотников, прикрытый до подбородка плащ-палаткой, неподвижно покоился на покатой стенке обширной воронки, на синей от окалины, отливавшей сталью земле. Подле него сидел, сгорбившись, Прокофий Яковлевич, политрук, стояли Боков и Щукин с забинтованной шеей...

Было некогда обсуждать происшедшее, так как неприятель готовился повторить атаку... Павел, подползая сюда, заметил вдали на опушке леса какое-то неясное движение, поблескивание, и, прыгнув в воронку, он первым делом распорядился:

— Игнатьев, быстро к Анисимову! Цель — номер два с рассеиванием влево...

Только после этого он посмотрел пристально на Охотникова и судорожно вдруг всхлипнул — ему вспомнилась просьба Щукина об отходе. Щукин, у которого в схватке была поцарапана осколком шея, повернулся к нему всем корпусом — казалось, он хотел что-то сказать. Но, поймав выражение расширившихся, страдающих, бешеных глаз Павла, отвел свои в сторону...

Елисеев привстал, держа в руках пачку бумаг, взятых у Охотникова: помятые листки писем, комсомольский билет, школьную тетрадку с портретом Пушкина на розовой обложке... Политрук участвовал здесь в бою, стрелял из автомата, шапку свою он потерял, и в его спутанных полуседых волосах застряли земляные крошки. Задыхаясь, он проговорил:

— Все должны знать в полку, все! Эту атаку отбили Боков и Охотников.

— У Коли была противотанковая образца сорокового года, — отозвался Боков, перекладывая из патронной сумки Охотникова к себе в карман патроны. — Он гранату в самую фашистскую свору метнул. В тот момент его и ужалило...

Смуглые щеки Охотникова и лоб лишь слегка посветлели, веки были неплотно сомкнуты, и казалось, он прислушивался, как бы сквозь дремоту, к тому, что говорилось о нем.

Павлу захотелось позвать его, разбудить, и, спохватившись, он отвернулся... Солнце стояло уже в зените, и с холодной, небывалой яростью пылали белые беспредель-

ные поля, возвышенности, рощи, заваленные снегом. Поближе, шагах в двадцати перед окопчиком, где сражались Охотников и Боков, громоздились кучи черного шинельного тряпья, торчали сапоги с надетыми на них войлочными галошами, высывались головы в пилотках с толстыми бортами, опущенными на уши... Кто-то из немцев носил очки — целехонькие, в роговой оправе, они валялись там же, на снегу. А еще ближе, на глинистых глыбах, извергнутых на поверхность, тронутых морозом, вспыхивали и лучились радужные, желтые, зеленые, синие негреющие огоньки.

— Фашистов, что наутек кинулись, я из винтовки достал, — продолжал Боков. — Теперь у меня сорок девять их набралось — ни больше, ни меньше. Не скажу, чтоб полностью расчелся, сальдо подождем выводить.

Он был удивительно спокоен, точно нечувствителен ко всему, кроме солнечных лучей, бивших в глаза — от них он заслонялся локтем...

— Спасибо, Ваня! Я же знал, что ты... — хрипло крикнул Павел. — Я тебе верил...

В эту минуту он простил Бокову его прегрешение, он восхищался им, вновь его любил. Но тот как будто ничего не услышал, опорожнив патронную сумку убитого товарища, Боков громко сказал:

— Коля на меня не обидится, доволен будет...

Над их головами ударил из блиндажа пулемет Анисимова, затем совсем близко раздался невыносимый стеклянный перезвон танковых пушек, покрывший все другие звуки. И Павел кинул последний торопливый взгляд на тело Охотникова, распростертое на спекшейся в огне, стальной земле.

Очередная атака немецкой пехоты была предупреждена, и тотчас же новая опасность возникла на другом фланге ротной позиции. Там, со стороны железной дороги, атаковали танки: четыре машины появились из-за разрушенного виадука, стреляя на ходу. Их встретили бойцы второго и третьего взводов, сведенные Павлом в одну группу, которой командовал сержант Синельников. И головная немецкая машина, подожженная горючей смесью, осталась стоять в луже растаявшего снега, а вторая подорвалась на mine; уцелевшие танки повернули назад и ушли с такой же стремительностью, с какой ринулись в атаку. Но Павел потерял здесь еще трех человек: сержан-

та Синельникова, отделенного командира Ивлева и связного Игнатьева. Он сам отнес своего связного, раненного в грудь набылет, на обратный скат холма, положил у входа в санитарную землянку на истоптанный, испещренный алыми пятнами снег и вернулся на командный пункт...

Бой достиг уже той степени ожесточения, когда ни свои, ни чужие страдания не способны поколебать солдат... И люди, оставаясь все теми же смертными существами, с хрупкой плотью, легко разрушаемой крохотным кусочком металла, как бы пренебрегали этим... Все же Павел понимал, что долго так продолжаться не могло — его рота таяла, слабела, а связи с полком, с соседними подразделениями попрежнему не было. Неприятель, точно обезумев от потерь, вновь и вновь наносил удары, сам обливаясь кровью, но удваивая усилия. И это становилось похоже на борьбу с фантастическим чудовищем, у которого на месте одной отрубленной головы немедленно вырастали две новые...

Больше всего Павел жаждал теперь прихода ночи — только она, казалось, могла прервать этот бесконечный бой... Но неторопливое время совсем остановилось для него после полудня. И с незапамятной — чудилось ему — поры видел он это голубое, ясное, без единого облачка небо над собой и режущий глаза металлический блеск на остриях штыков, белесый пар, валивший от раскаленных — так, что не прикоснуться — пулеметных стволов, и алый подтаявший снег, будто изрешеченный пролившейся кровью.

Солнце только начало склоняться к закату, и воздух чуть заметно пожелтел, когда немцы решили, как видно, покончить с защитниками рубежа одним сильным комбинированным ударом. Из леса против правого фланга роты опять вышли пехотные цепи, а слева, в стороне железной дороги, развернулись в боевой порядок танки; их было восемь, ровно в два раза больше, чем раньше. Выкрашенные в белое, они едва различались вдаль, но вместе с ними мчались их удлиненные, заострившиеся тени, четко выделявшиеся на снегу.

Павел, сосчитав эти темнофиолетовые одинаковые пятна, скользившие по полю, неожиданно усмехнулся — судьба была немилосердной к нему и к его товарищам, несмотря на всю их стойкость, все их жертвы. Он подумал, что через четверть часа, через полчаса сопротивление

ние его людей будет, вероятно, сломлено, то есть и он, и они перестанут существовать. Он очень ясно вообразил себе, как неприятельские танки поднимутся сюда, как перевалят через шумокнувшие вершины этих холмов, как поползут дальше, давя своими гусеницами раненых, как следом хлынет немецкая пехота... И в то же мгновение неслыханный гнев, именно гнев — яростное негодование на несправедливость, которая вот-вот должна была совершиться, запылал в нем и точно ослепил его.

— Игнатъев, ко мне! — позвал он, забывшись, но так как связной не появлялся, он повторил громче, во весь голос: — Игна-атьев! А, чертовщина!

Недоумевая, куда подевался его исполнительный связной, он побежал что было духу по окопу, окликая бойцов.

— Михайлов! Чекин! Касымов! Гинзбург! Свешников!

Два-три человека, еще стоявшие на ногах, обернулись на его голос...

— Гранатами! Связками! — гремел он, проносясь мимо. — Бей в моторную часть! Бросай под гусеницы!

Ниже, в центральной траншее, Павел вообще никого живого не встретил. У полуобвалившейся стенки лежали здесь рядом два трупа, и в одном из них он по пышной парчовой бороде узнал Михайлова, горнового, уснувшего уже навсегда. Но, не считаясь с самой смертью, надеясь быть услышанным наперекор ей, он прокричал и в этой опустевшей траншее:

— Гранатами! Бей под гусеницы! Луков! Гинзбург! Свешников!

И за поворотом лишь один боец — Свешников, взводный агитатор, встал с земли на его зов, покачнувшись, но удержался на ногах. Правая рука у Свешникова была обмотана марлей, почерневшей от запекшейся крови, и он снял с пояса гранату левой рукой, затем зажал ее подмышкой и вставил запал.

Лучше обстояло дело в левофланговом окопе: несколько человек стеснились там около Елисеева. Кто-то стаскивал с плеч пальто, чтоб удобнее было действовать, кто-то связывал гранаты в одну гроздь...

И когда Павел подбежал к бойцам, он услышал:

— ...За каждую каплю крови наших товарищей, павших на рубежах, — медленно, точно заклиная, говорил политрук.

Он стоял на стрелковой ступеньке — бледный, с непокрытой головой, седенький и бестрепетный, сжимая обеими руками автомат.

Лязг танков усилился, и он возвысил голос:

— ...За слезы ребятишек — смерть фашистским захватчиками!

Он как будто поднимал людей в наступление, а не призывал к обороне...

Боец, связывавший гранаты, покончил с этим делом и положил свою смертоносную гроздь на бруствер. Обернувшись, он что-то коротко сказал соседу, и сосед, молодой солдат, широко улыбнулся — на его сизо-багровом лице блеснули белые зубы. Ничто, однако, не удивляло Павла сейчас... В окопе наступила неопишуемая минута того полного, того совершенного бесстрашия, что делает людей как бы неуязвимыми, как бы бессмертными, удесятеряя их силы. Точно в воздаяние за долгую, терпеливую стойкость приходит это бесстрашие к людям, если неоткуда ждать другой помощи. И остановившись здесь, Павел жадно, длинно вздохнул — он почувствовал себя, как на головокружительной высоте, где воздух и необыкновенно чист, и слишком разрежен.

Танки были еще довольно далеко и не открывали покамест огня, лишь железный гул накатывался снизу. И сквозь него пробился монотонный нечеловеческий звук — это завывала эсэсовская пехота, бросившись в атаку с другой стороны, на противоположном фланге.

— О-о-о-о! — доносилось сюда, равномерно усиливаясь...

«Почему же молчит пулемет Анисимова? — спохватился Павел. — Что еще стряслось?»

— Игнатьев, ко мне! — вновь позвал он своего связного. — Игна-атьев!

Но тот так и не предстал перед ним, как обычно бывало, — готовый выполнить приказание. И Павел сам кинулся выяснять положение на своем правом фланге.

Пробегаая в обратном направлении, он из центральной траншеи увидел, что эсэсовцы, осмелев, взбирались по склону плотными группами, не укрываясь, размахивая оружием. Редкий огонь немногих бойцов первого взвода не мог остановить их, а пулемет Анисимова все еще молчал. И Павел метнулся вперед из последних сил. Перевалившись через осыпь, больно ушибив колено о затвердев-

шую землю, он, хромя, добрался до блиндажа пулеметчиков. Их защищенная многослойным накатом нора выглядела снаружи неповрежденной, но прыгнув, а вернее, почти упав туда, Павел сразу же задохнулся, закашлялся — вероятно, тут разорвалась граната — на глазах его выступили слезы.

В густом дыму, наполнявшем блиндаж, можно было различить только серый прямоугольник боевой амбразуры да пулеметный ствол, черневший в ней. Павел нагнулся к амбразуре, из которой выползал дым, выглянул наружу и тотчас же приник к пулемету — из белевого тумана наплывали на него множество расплывчатых, плоских, суетливых теней; они быстро уплотнялись, принимали очертания человеческих фигур... И, нашарив ленту — к счастью, она была заправлена! — Павел вцепился в теплые еще от чужих ладоней рукоятки...

— Помогите встать... О, мать твою!.. О-о!.. Помогите, слышите! — слабо раздалось за его спиной.

Не оглянувшись, он соединил большие пальцы обеих рук, нажал на спуск, и пулемет с внезапной силой рванулся от него. Длиннотелое с остреньким рыльцем существо мгновенно ожило и забилося, точно стремясь выпрыгнуть отсюда в щель бойницы. Павел также затрясся, но ему показалось, что не биение пулемета отдавалось в нем, а, наоборот — его kloкочущий гнев перешел в стальную плоть, заставив ее содрогаться от бешенства...

Туман, стоявший перед амбразурой, озарился желтым светом и сразу поредел. Сыпались, посверкивая, гильзы: горячий, пахнувший нагретым металлом воздух обдавал Павла... И ему мерещилось, что это его ненависть, его ярость вырывались наружу непрерывным уничтожающим потоком огня. Он поводил дулом из стороны в сторону, опускал его, приподымал... И жестокое, самозабвенное, страшное и восторженное выражение застыло на его облитом слезами лице.

Но вот до сознания Павла дошло, что перед ним нет больше врагов — их точно смыло пламенем с земли, и он прекратил стрельбу...

— Вы, товарищ командир?.. — снова прозвучал рядом слабый сиплый тенорок. — Не бережете вы боезапаса...

И Павел глухо, с расстановкой спросил:

— Анисимов? Какого черта?.. Ранены? Куда вас?

— Это ж последняя моя лента, а вы ее с одной оче-

реди... — проговорил лежавший на земле невидимый пулеметчик. — Погорячились, товарищ командир! — он зашевелился, охнул, выругался и добавил: — В ногу меня, я ее ремнем вместо жгута перехватил... А Бурлаченко вовсе не отзывается.

— Подождите... Потерпите до темноты, ночью мы вас эвакуируем, — сказал Павел и утер слезы, застилавшие глаза. — Последняя лента, говорите?..

— То-то и есть... Вы бы мне гранату дали, товарищ командир, на всякий пожарный... Сам я не дотянусь...

— Да ладно, отобьемся! — крикнул Павел.

Гранату он все же подал — передал ощупью, из рук в руки. Потом, осторожно ступая, чтоб не задеть раненых, пошел из блиндажа...

Наверху Павел посмотрел в небо — оно наполнилось мягким предвечерним сиянием и на востоке начало слегка синеть, но до ночи оставалось еще не меньше часа — целого часа! Это был слишком долгий, громадный, непосильный срок!..

...Бой, однако, закончился раньше, чем наступила темнота. И когда Павел вскарабкался немного выше, чтоб увидеть, как держится Елисеев со своими гранатометчиками, ему открылось поразительное зрелище. Слева, по железнодорожной насыпи, пробегали люди необыкновенного вида: они казались исполинами на медно-желтом фоне закатного неба, и их светлые просторные одежды, подобные плащам или бурнусам, были пронизаны лучами солнца. Спускаясь с насыпи в широкую полосу фиолетовой тени, великаны как бы исчезали в ней на время и вновь становились видны, попадая на освещенное место у подножия холма. Часть их залегла там в снегу, открыв огонь по опушке леса, где скрывались разрозненные кучки эсэсовской пехоты, другая часть поднималась по склону высоты к Елисееву. И в разлив красноватого света, затопившего равнину, маскировочные накидки, халаты, капюшоны красноармейцев окрашивались в чистый оранжевый цвет... Как стало вскоре известно Павлу, помощь рабочему полку оказал мотострелковый полк, контратаковавший на исходе дня и отбросивший противника на всем участке. В развалинах виадука заняла огневую позицию противотанковая батарея, преследовавшая немцев от железнодорожной станции. И Павел, глядя с вершины

холма, не сразу обнаружил неприятельские танки, исчезающие вдалеке в первых полупрозрачных сумерках...

Он вздохнул и сел на камень, вывороченный разрывом из земли. Минуту-другую он сидел один в разрушенном пустом окопе, как бы с недоумением озираясь. Он испытывал чувство странной легкости и пустоты, в то время как его тело мгновенно обессилело. И ему больше всего хотелось сейчас остаться здесь и не двигаться, ни о чем не тревожась, наслаждаясь этой блаженной легкостью, обретенной им. Но жизнь, которая еще раз была ему сохранена, — жизнь с ее нуждами, заботами, настоящими требованиями — вновь уже входила в него. И в перенапряженном сознании Павла медленно поплыли мысли о том, что необходимо позаботиться о раненых, установить связь с командиром батальона, получить боеприпасы, отправить донесение... Совершив еще одно чрезвычайное усилие над собой, Павел встал.

Красноармейцы достигли, между тем, вершины левого холма, перебегали на соседний, и немногие защитники рубежа поднимались навстречу из своих щелей и нор. Бойцы здоровались, закуривали, расспрашивали друг друга, иные обнимались. А у иных не осталось сил даже подойти к тем, кто их спас сегодня... Павел, встретившись с командиром красноармейцев, прежде всего попросил патронов для своих людей, потом — помощи в эвакуации раненых; капитан, к которому он обратился, неожиданно, в середине разговора, взял обеими руками его руку и с силой крепко потряс... Выслушав Павла, он, не мешкая, послал в подмогу санитарам нескольких солдат. И раненых понесли, наконец, вниз с холмов, а там по излучине Русалочки к месту, где можно было переправиться на противоположный берег... Анисимов, которого вытащили из его блиндажа, — весь покрытый копотью, черный, с разможенным коленом — то мычал от боли, лежа на носилках, то заговаривал с солдатами, уносившими его.

— Какой части будете? Двести двенадцатый мотострелковый. Во-время, ребята, поспели!.. А я уж думал, попали мы в вершу... Боезапас кончается, и немец до моей точки дорвался... огонек в щель метнул... Бурлаченко, напарника моего, убило...

Он силился приподняться, поводя глазами, резко белевшими на измазанном лице.

— Погнали фрица, орлы! — выкрикнул он. — Поспели в крайний срок...

Красноармейцы, выйдя на обратный склон, поставили носилки на снег, и один из них достал фляжку в суконном чехле, отвинтил алюминиевую пробочку.

— Хлебни-ка, отец, сто грамм для пользы здоровья, — предложил солдат — румяный, молодой, щекастый, — она кровь очищает — сорокаградусная, диетическая.

Опустившись на корточки, он поддерживал раненого за спину, пока тот пил.

— Ух! — выдохнул шахтер. — И закуски не требуется! Ну, познакомились мы, можно сказать... Как же вас по фамилии, орлы, откуда будете? Про кого своему семейству рассказывать стану... Анисимов я, проходчик, на Первомайской-бис мы живем.

Веселый солдат, давший шахтеру водку, назвал себя и добавил:

— Про чертогонов слыхал, отец? Мы это и есть... Нас, муромцев, спокон века так и кличут — чертогонами.

Второй красноармеец — рослый, длиннолицый, лет за сорок пять, солидный, помедлил почему-то с ответом. Но Анисимов вопросительно смотрел на него, и солдат неохотно проговорил:

— Селиверстов моя фамилия. Да зачем это...

— Для того и спрашиваю, чтоб дети знали, кто в бою первую помощь мне оказал... Четверо их у меня, и все сыновья... — срывающимся голосом, видимо, очень страдая, сказал Анисимов; передохнув, он осведомился у пожилого красноармейца: — А вы сами из запаса, должно быть... На производстве работали или по снабжению?..

— Нет, я не из запаса, — сказал солдат, берясь за ручки носилок.

Анисимова понесли к берегу Русалочки. И странно: казалось, он испытывал неловкость оттого, что его эвакуировали, в то время как его товарищи — те, что могли еще сражаться, — оставались здесь. Встречая бойцов роты, шахтер окликал их, напрягая свой сиплый тенорок:

— Бывай здоров, Прохоров!.. Счастливо, Демин! Зашибло, видишь ты, меня!.. Не обижайтесь, ребята, вместе Адольфа гнать будем. Тут вот еще чертогоны объявились, орлы!..

Он изловчился сесть на носилках, вцепившись пальцами в брусья, перемогая боль; его разлохматившаяся и

тоже почерневшая борода торчала над узкой птичьей грудью.

— Боков! До скорого, стрелок!.. Я ненадолго, я этой волюнки — по лазаретам мыкаться... по комиссиям — не терплю... Товарищ командир! — воскликнул он, завидя Громова. — Разрешите обратиться — убываю временно на излечение... Бойцы, дайте сказать слово командиру! — попросил Анисимов своих носильщиков. — Местный он, рабочий человек... Павел Алексеич, ежели вы вперед пойдете, я догоню вас, — крикнул шахтер, — не выключайте из личного состава!

И он протянул Павлу горячую, твердую, как железо, руку.

Начинало понемногу смеркаться. Большой багровый шар солнца скрывался за железнодорожной насыпью, и узкое косое облако, вымахнувшее оттуда к зениту, похожее на гигантское птичье крыло, сверкало понизу золотистым оперением.

Анисимов поплыл дальше, покачиваясь на носилках, оглядываясь, точно ему было жалко покидать эту изуродованную, обугленную землю, громко прощаясь с однополчанами и как бы оправдываясь перед ними.

— Зашибло, видишь ты, меня... До скорого! — повторил он еще кому-то.

К Павлу, провожавшему его взглядом, подошел Боков и снял с плеча винтовку.

— Кому отдать, товарищ командир? — спросил снайпер.

Секунду они смотрели в глаза друг другу, затем одновременно на их лицах — таких непохожих — выступило одинаковое расслабленное выражение. Павел шагнул вперед, притянул Бокова к себе и поцеловал в растрескавшиеся, шершавые губы.

— Живой, кудряш! — пробормотал он.

— Паша, — сказал Боков, — ты не волнуйся за меня, я же понимаю — служба... И я самовольно из-под ареста ушел, винтовку чужую взял...

Бережно приставив винтовку к стене окопа, он попятился и остановился, ожидая своей участи.

5

Разведчики — Володя Тихонов, Лена Колесникова и Витя Веревкин — вновь были посланы в партизанский

отряд Никиты Даниловича. Благополучно добравшись до лагеря партизан и побывав у начальника штаба отряда (сам Никита Данилович находился где-то в рекогносцировке), получив для передачи в город новые сведения о неприятеле, ребята отправились отдыхать до утра. Лену взяли к себе знакомые девушки из санитарной части, а Володя и Витя пошли в хозяйственный взвод...

Там, несмотря на поздний час, никто еще не спал — отряд Никиты Даниловича собрался, как оказалось, уходить со своего обжитого места и партизанские интенданты готовились к маршу... В землянке хозвзвода собралось много людей: один докладывал командиру о том, что не хватает тары под продовольствие, другой жаловался на неполадки с упряжью — словом, все происходило, как обычно в таких случаях... На несколько минут сюда заскочил невысокий бледнолицый молодой человек, почти юноша, в кавалерийской куртке; Володя тотчас же его узнал — это был знаменитый в области партизан-подрывник, о котором рассказывали необыкновенные вещи. Там, где он действовал, рушились под откос воинские эшелоны, десятками гибли гитлеровские солдаты, взрывались автомашины с немецкими генералами... И Володя вперил в бледного, немного сутуловатого паренька любопытный и как бы посветлевший взгляд.

Герой-партизан очень спешил; дожидаясь, пока принесут ему маскировочный халат, — он нынче же ночью, как видно, уходил с заданием, — паренек нетерпеливо, не присаживаясь, поглядывал то на дверь, то в потолок; было заметно, что он привык уже к особо внимательному отношению со стороны окружающих... На Володю он лишь мельком взглянул голубыми равнодушными глазами, и тот при всем своем восхищении его подвигами почувствовал себя задетым. Вероятно, нечто похожее на самолюбивую обиду испытал и Веревкин; когда молодой партизан облачился в белую маскировочную одежду и, небрежно козырнув командиру хозвзвода, ушел, Витя неодобрительно буркнул:

— Задается очень...

Володя поразмыслил и с присущей ему честностью признал, что оба они попросту позавидовали герою-подрывнику. В самом деле, то, что они покуда делали на войне, не шло ни в какое сравнение с замечательными

делами этого юноши: после давнишней схватки с немецким патрулем они — Володя, Лена и Витя — неоднократно еще переходили линию фронта, но без каких-либо приключений. Теперь они так детально изучили местность, так хорошо были осведомлены о расположении немецких войск, что выработали почти безопасный, как им представлялось, маршрут. И самые их ночные рейсы из города к партизанам и обратно превратились ныне для Володи во что-то довольно обыденное. «Вроде как почтальонами заделались...» — думал он иногда.

— Ничего не задается, просто занят человек, — после паузы сказал он Веревкину; он был слишком горд, чтоб не подавить в себе зависти, — а ты вот на его месте наверно бы нос задрал.

Ребята поужинали с аппетитом, напились горячего чаю и примащивались уже поспать, когда Володю затребовал к себе командир отряда... Никита Данилович, только что вернувшийся в лагерь, стоял в штабной землянке около круглой, натопленной докрасна печи, протянув к огню озябшие руки, потирая ладонь о ладонь.

— А, старшой!.. Подходи поближе, — крикнул он, обернувшись к Володе. — Да ты, брат, меня скоро перерастешь, ишь, как вытянулся! Ну, молодчага!..

Командир отряда мало изменился со времени их первой встречи в Гнилой Засеке, лишь отросла и закурчавилась его смоляная борода да потемнел, залоснился недавно еще чистенький полушубок. Ничего командирского, военного не было в Никите Даниловиче попрежнему, и он все так же невесть для чего смешливо шурился и подмигивал... Впрочем, Володя склонен уже был простить бывшему совхозному агроному эту манеру держаться: Никита Данилович, как он убедился, вполне справлялся со своими обязанностями — разведка, в частности, действовала у него превосходно, а любое его распоряжение, даже не по форме отданное, неукоснительно выполнялось.

— Лена тоже пришла с вами? Колесникова? — поинтересовался командир. — Как она, ничего? Не трудно ей, а? По линии дисциплины, замечаний нет?

— Нет, конечно, — сухо ответил Володя.

— Эх, обидно за девчушку!.. Вы уж, ребята, поберегите ее... Вы как-нибудь поделикатнее с ней, помягче, — попросил Никита Данилович.

Володя, не ответив, повел плечами, — просить об этом его было по меньшей мере излишним.

У стола тем временем совещались, наклонившись над картой, начальник штаба и еще два командира; судя по отдельным их фразам, отряд готовился к новой операции. Кто-то с красным припухшим рубцом на щеке, оставшимся от недавней раны, вполголоса напомнил:

— ...Там батальон егерей стоит... рота фельджандармерии... саперный батальон... Там гарнизон немалый...

Наконец и Никита Данилович приступил к делу: усадив Володю за стол, сев напротив, он поговорил сперва об очередной разведывательной сводке, что посылалась в город, потом сказал:

— А на словах передашь — мы к сроку поспеем... Так и передашь: «Сводный партизанский отряд «Серп и молот» прибудет на исходный рубеж... — он перегнулся через угол стола к Володе и сбавил голос: — ...согласно полученным указаниям. Условный сигнал: две красные ракеты, одна — зеленая». Запомнишь, старшой? А ну-ка повтори.

Володя вскочил со скамейки и вытянулся, как и полагось при получении приказа.

— На словах передать: «Сводный партизанский отряд «Серп и молот» прибудет на исходный рубеж согласно полученным указаниям, — громко прозвучал в землянке его высокий, ломающийся голос. — Условный сигнал: две красные ракеты, одна — зеленая».

— Точно! — сказал, будто припечатал, Никита Данилович. — Две красные, одна зеленая. И ты уж не оплошай, старшой, — он теперь прямо, не мигая, смотрел своими черными, утратившими вдруг всякое благодушие, как бы заострившимися глазами в широко открытые глаза Володи. — Надо, чтоб в городе узнали про сигнал не позднее чем послезавтра к утру... Упаси бог, опоздаешь или перепутаешь что — большая неувязка может произойти...

Начальник штаба также обратился к Володе:

— Да, товарищ Тихонов, успех важной операции зависит от того, доставите ли вы во-время наше донесение...

Володя перевел взгляд с Никиты Даниловича на начальника штаба, на других командиров... Все они в эту минуту смотрели на него; человек со шрамом на лице насупился... И Володя чуть не сказал, что нет нужды

убеждать его в необходимости доставить донесение в срок. Даже если б речь шла и о менее важной операции, боевой приказ во всех случаях оставался приказом — он должен быть выполнен точно и своевременно...

— Больше ничего не будет? Разрешите идти? — хмурясь, спросил Володя.

— Мы тебе доверяем, старшой! Мы на тебя крепко надеемся, — сказал вместо ответа Никита Данилович.

В землянке светила «летучая мышь» — фонарь, оплетенный проволокой, и решетчатая тень, падавшая от нее, перечеркнула худую, стройную фигуру Володи; он молчал, ожидая позволения уйти.

— Да и не впервой тебе с ребятами тут ходить... Лес кругом вы знаете, как свою улицу, где пройти нельзя — ужом проползете... Смекалки тебе тоже не занимать... — И Никита Данилович опять зачем-то подмигнул. — Так что сомнений быть не может — ты нас не подведешь...

Командир отряда захотел, как видно, подбодрить разведчика, вернее — связного. И Володя не без досады выслушивал, стоя навтыжку, это совершенно необязательное напутствие — новое задание ничем, к большому его сожалению, не отличалось от того, что он неоднократно уже и сравнительно легко проделывал.

...Рано утром партизанский отряд снялся с лагеря и, забрав раненых, продовольствие, боеприпасы, углубился в лес. Следом за головным дозором пошла первая рота, состоявшая в основном из шахтеров и рабочих зерносовхоза — это было ядро отряда, далее потянулся обоз, и замыкала колонну вторая рота. Некоторую часть пути Володя и его товарищи проделали вместе с партизанами, и солнце поднялось довольно высоко, когда на берегу лесного, закованного в лед озера ребята расстались с ними. Еще минуточку-другую мелькали в померзшем камыше полушубки и шинели бойцов, переходивших озеро, доносился скрип саней, спускавшихся на лед, окрики повозочных, потом все стихло. Ребята остались одни, и Володя повернул на Выселки — маленькую, в десять-двенадцать дворов деревеньку, — там он намеревался, как это было решено с Никитой Даниловичем, подождать до сумерек...

К утру немного потеплело, небо расчистилось, ветер, разыгравшийся ночью, упал, и в лесу было очень хорошо, как бы празднично даже. Непрестанное посверки-

вание, поблескивание пронизывало неподвижный, хрустальной прозрачности воздух. А в нем застыли опущенные ином березы, подобные огромным оцепенелым фонтанам; будто белые скалы, башни, пагоды, вздымались ели, залепленные снегом. И Володя, прокладывая лыжню, оглядываясь на Лену и Витю, шедших по следу, ощутил неожиданную добрую радость. Все вокруг — и эта мерцающая белизна, и сизо-голубые тени на тропе, и запах морозной свежести, похожий на запах земляники, будили воспоминания о школьных каникулах, о лыжных прогулках в выходной день, о чудесной поре послеэкзаменационной, полной свободы... Невольно Володю охватило такое чувство, будто действительно наступило воскресенье и он освободился, хотя б на недолгое время, от всех своих забот и трудов. Лена в желтом, обшитом разноцветным сутажем кожаном, в малиново-красных рукавичках, в пуховом платке тоже выглядела сегодня нарядной, как на воскресной массовке; солнце било ей прямо в глаза, она жмурилась, подставляя лицо теплу и свету.

Нигде в этих местах немцы пока что не появлялись; в Выселках, укрытых в чаще заповедного леса, их также не было, и ребята на пути туда могли ничего не опасаться. Да и тишина, простиравшаяся вокруг, была такой глубокой, такой невозмутимой, точно и в самом деле на войне наступил выходной день. Все же, когда деревья поредело впереди, Володя из привычной осторожности замедлил шаг... Но, выбравшись на опушку, он бессознательно заулыбался: перед ним лежала большая поляна совершенно правильной овальной формы, полого опускавшаяся к реке, и солнце отражалось здесь от покатого склона, как от гигантского серебряного подноса. Потревоженный заяц, почти неразличимый в этом сверкании, стремительно улепетывал вниз, и Володя, развеселившись, чуть не свистнул ему вдогонку. Обернувшись к товарищам, чтоб сказать им о зайце, он запнулся на полуслове и умолк... Лена, неслышно приблизившись, стояла так близко, что он увидел каждую ее ресничку на сощуренных веках, крошечную красную трещинку на заветрившейся губе. И Володе показалось, что от ее разгоряченного, но сухого, необыкновенно гладкого лица тоже исходило резкое жаркое сияние...

— Гляди, гляди, бяляк!.. — крикнул Веревкин, подхитивший сзади. — Эх, ушел косою.

Володя со странным, как бы недобрым выражением смотрел на Лену; его охватило ни с чем несравнимое, полное нежности, но в то же время тревожное, тягостное желание прикоснуться к ней, погладить ее... И опомнившись, устранившись чего-то в себе самом, он быстро заскользил вниз, стремясь поскорее уйти от девушки. Только очутившись на льду реки, он оглянулся. Лена, согнув колени, подавшись всем телом вперед, мчалась к нему сверху по слепящему склону, будто летела с неба. И светлое, пронизанное солнцем облачко, похищенное там, в вышине, окутывало ее. Ловко отвернув, подрезав лыжами наст, она остановилась, выпрямилась, и снежное облачко улеглось у ее ног... Володя отрывисто вздохнул от непосильного восхищения и опустил глаза.

— Ты бы поосторожнее все-таки, — принужденно говорил он.

Девушка сняла свою красную рукавичку и кончиками пальцев, точно боясь обжечься, потрогала щеки.

— Скажи, что я плохо съехала, — часто дыша, воскликнула она, — ну, скажи, скажи... если совести хватит.

— Хорошо, конечно, съехала... Но так и ногу сломать можно, — ответил Володя.

— А хочешь, я тебе скажу, кто ты сам, хочешь? — она помедлила, насмешливо глядя на него, придумывая, вероятно, что-нибудь обидное. — Что ж ты молчишь? Хочешь, я тебе все скажу?

Ее бледноголубые глаза округлились, точно она сама испугалась того, что собиралась произнести; капельки влаги от растаявшего инея искрились на ее тонких вничью бровях, на ворсинках пушистого платка.

— Говори, пожалуйста... — глухо выдавил из себя Володя.

Он был бледен, кровь отлила от его лица, ставшего теперь виноватым, просительным... И Лена, как ни разыгралась она, как ни подмывало ее подразнить рассудительного не по летам Володю, промолчала. Ее удивила непонятная покорность, прозвучавшая в его голосе: казалось, что Володя был совершенно беззащитен перед ней. И чувствуя за этим новое, не мальчишеское, большое волнение, она смутилась сама.

— Что ж, говори, — повторил он.

— Очень надо... — недовольно сказала Лена.

Отвернувшись друг от друга, они безмолвно стояли рядом — напряженные, как бы поссорившиеся, пока к ним не присоединился Веревкин.

— Лена, я видел... Ты здорово на лыжах натренировалась, — похвалил он девушку.

Не ответив, она вонзила свои бамбуковые палки в снег, оттолкнулась и пошла дальше. Володя, избегая встречаться с Витей глазами, нагнул, чтоб поправить на лыжах крепление.

— Знаешь, Вовка, — тихо проговорил над его ухом Веревкин, — Лена — ничего себе дивчина... Я раньше думал об ней — кукла, и все... А она — боевая!..

Володя, не разгибаясь, посмотрел исподлобья — девушка плавно шла по льду, попеременно взмахивая руками; высокий камыш, торчавший из-под снега, закрывал ее до пояса. И ярко выделяясь на окружающей белизне, вспархивали над камышом, как птицы, ее малиновые рукавички...

— Лена! — вырвалось у Володи. — Конечно, боевая!

Пересилив себя, стараясь и по отношению к ней остаться нелицеприятным, он добавил:

— Невыдержанная только, есть грех...

— Молодая еще, — убежденно сказал Веревкин. — И в семье, наверно, набаловали ее... Жили они культурно, всего хватало, одним словом...

Он придвинулся к Володе и спросил с грубоватой, мужской участливостью:

— А ты уже договорился с ней? Согласна она тебя дожидаться?

— Как дожидаться? — не понял Володя.

— Ну, пока фашистов выгоним, пока ты ученье кончишь... Ей самой тоже надо еще за десятилетку сдать.

Володя затоптался на месте, будто проверяя, хорошо ли подвязаны лыжи, потом неуверенно сказал:

— Не знаю... В общем это, кажется, ясно...

— Вот и ладно, — одобрил Веревкин, — она дивчина такая, что и парня другой раз за пояс заткнет. Верно, что боевая подруга! А из револьвера стреляет как!

Володя слушал, исполненный благодарности к Вите.

— Стреляет она неплохо!.. — сдержанно согласился он.

— Что неплохо?! Двадцать семь из тридцати возмож-

ных выбила, хорошенькое неплохо!.. — воскликнул Веревкин. — Нет, она дивчина подходящая...

Забеспокоившись вдруг, Володя сунул руку за пазуху и пощупал в нагрудном кармане бумажку с донесением. Удостоверившись в ее сохранности, он облегченно проговорил:

— Некогда сейчас думать об этом... Поважнее дела есть... Ну, давай поднажмем!

И на ходу, спеша нагнать Лену, он мысленно напомнил себе:

«...Партизанский отряд «Серп и молот» прибудет на рубеж согласно полученным указаниям. Условный сигнал: две красные ракеты, одна — зеленая».

Он повторил это про себя еще раз, чтоб точно, слово в слово передать...

Было за полдень, когда Володя, Лена и Витя добрались до Выселок и вошли в избу на краю деревни. Ребята в один из своих походов останавливались уже здесь, и хозяин этой просторной светлой избы — престарелый Андрей Илларионович, отец трех сыновей, ушедших кто — в армию, кто — в партизаны, чрезвычайно обрадовался гостям.

— Слава те, господи, слава те... — он перекрестился, узнав их. — Уберег вас, детки, Христос, не попустил... Ну, скидайте шубейки, погрейтесь...

И он растроганно вглядывался в каждого своими влажными, мутными, как у новорожденного младенца, глазами. Андрей Илларионович был очень дряхл: голова его, казавшаяся непропорционально большой по сравнению со сгорбленным туловищем, непрестанно клонилась на грудь, а в его медленных движениях появилась уже та неточность, нетвердость, что опять-таки делала его подобным младенцу.

— В городе что слыхать, скоро немца в его неметчину потурят? — спросил он, когда ребята сели на лавки у стола. — Москва-то как, Москва? Стоит?

— Каждый день по радио Красную площадь передают, — сказал Веревкин. — Вы не сомневайтесь, дедушка...

Володя в свою очередь успокоил Андрея Илларионовича, и тот, встав перед иконами — почерневшие, в медных окладах, они занимали у него весь передний угол, — вновь медленно перекрестился.

Подсев затем к гостям, старик принялся рассказывать местные новости: накануне вечером в Выселках появились люди, бежавшие, по его словам, из немецкой тюрьмы в Арсеньевске... И это возбудило у Володи интерес: разведчику, как он твердо усвоил, не следовало пренебрегать никакими источниками информации, а, кроме того, беглецы нуждались, возможно, в помощи. Услышав, что они укрылись покуда у жены одного из сыновей Андрея Илларионовича, Володя попросил старика проводить его туда.

— А вы за чайником присматривайте, — сказал он товарищам, тут же собравшись уходить. — Я ненадолго. Вернусь — чай пить будем. Оружие тоже надо бы почистить, — он с опаской взглянул на Лену. — После чаю — час на отдых, и в восемнадцать ноль-ноль выступаем. Ясно?

Лена с неожиданной ласковостью улыбнулась ему... В окошке, возле которого она сидела, цвели диковинные цветы, наведенные на стекло морозом, изгибались белые стебли с кристаллическими листьями, солнечный луч дробился и посверкивал в них, как бы оживляя эту ледяную поросль, наполняя ее теплыми соками. И Лена, откинувшись лениво к стене, уронив на пол свои рукавички, сразу же разнежилась и подобрела в жарко натопленной, залитой нежным золотистым светом горнице...

— Приходи скорей... Ты ведь тоже устал, наверно, — сказала она.

Володя не нашелся, что ответить, — заботливость Лены была слишком редким явлением, слишком драгоценным. Смешавшись, он поспешил выйти, не дожидаясь, пока Андрей Илларионович напаялит свой тулуп...

В доме на другом конце Выселок, куда привел его старик, Володя на пороге еще ощутил веяние большой беды... — окна тут были почему-то занавешены, люди, едва различимые в полутьме, переговаривались шепотом, кто-то приглушенно всхлипывал. И Володе в первую минуту померещилось, что в избе лежал тяжело больной, быть может, умиравший человек — таким печальным был этот мрак среди дня, шепот по углам, слабый плач... Беглецов из Арсеньевска здесь не оказалось уже — на рассвете они ушли и отсюда. А теперь в самих Выселках приходилось с минуты на минуту ожидать появления немцев, так как за бежавшими была снаряжена из Арсень-

евска погоня... Все это тихим, ровным голосом поведала молодая женщина — сноха Андрея Илларионовича. И Володя подивился ее спокойствию, но когда глаза его привыкли к темноте, он увидел, что у женщины было опухшее, усталое, как после обильных слез, лицо. Рассказывая, она кормила малыша, открыв свою большую, налитую молоком грудь, и крохотный белоголовый человечек чмокал и посапывал у нее на руках.

— ...Они, немцы, что выдумали, они погнали людей окопы рыть против Красной Армии, — сообщила она. — А сестрин муж с племянником не согласились на это... Их и забрали обоих, и в тюрьму, а там стали бить, чуть до смерти не забили. Ужас, что вытворяют, товарищ командир!

— Я не командир... — сказал Володя.

— В Дорохове они учительницу замучили, молоденькую совсем, Анюткой ее звали, — не слушая его, продолжала женщина. — Она из нашей деревни была, из Выселок, а служила в Дорохове; жених ее с партизанами ушел... Так изверги сперва насильничали, надругались над ней, а после застрелили...

За печью у раскрытого сундука суетились тем временем две другие женщины.

— Жакетку на низ не клади, сомнется вся, — доносились оттуда. — А где туфли мои бежевые? Куда ты туфли сунула бежевые, новые?

— Ох, господи, за что это, за какие грехи?! — вторил первому сердитому голосу жалобный старушечий.

Там укладывали добро, торопясь, как видно, схоронить его от врагов.

— Сами они вшивые, вонючие, изверги и есть, — опять заговорила сноха Андрея Илларионовича. — А людям бирки выдают с номерками, как скотине... Кто не носит, тех тоже бьют... Ой! — вскрикнула она и наклонилась к ребенку. — Что ж ты мамку свою кусаешь? Не жалко тебе мамки, не жалко, не жалко? — и глаза ее вновь наполнились слезами.

— Вот что, унывать нечего, — угрюмо сказал Володя... — И вы не думайте, что о вас забыли... Конечно, положение тяжелое и приходится напрягать все силы, но я вас заверяю, хозяйка, недолго вам осталось ждать.

Здесь, как и повсюду, Володя сознавал себя представителем великой армии — той, что обязательно освободит

всех, кто страдает в неволе, накажет насильников и убийц, защитит обиженных и слабых. И его угнетало, что он не мог утешить сейчас эту несчастную женщину известием о какой-либо большой победе...

— Надеемся на Красную Армию, помогайте ей, чем можете, так вернее будет, — закончил он.

— А если б мы не надеялись, так хоть в петлю, — сказала женщина.

Володя встал — надо было, не мешкая, возвращаться к Лене и Вите, а затем уходить из Выселок... Но в ту же минуту дверь из сеней распахнулась, в комнату хлынул серой волной морозный воздух и в нем возник силуэт девочки в платке...

— Теть... Теть Маша! — прозвучал с порога запыхавшийся звонкий голосок. — Немцы на Сергиевскую дачу приехали, на трех подводах!.. С ружьями все!..

В избе сразу стало очень тихо (Сергиевская дача находилась в полутора километрах от деревни), и в этой тишине слышалось лишь похожее на поцелуй чмоканье — малыш жадно пил молоко. Из сеней потянуло холодом, и женщина, кормившая сына, пронзительно закричала:

— Закрой дверь, а то застудишь... Закрой, я говорю!..

— Вот и до нас докатилось... Не миновала чаша, — негромко и как бы с удивлением сказал Андрей Илларионович.

Он тоже поднялся и стоял, опираясь обеими руками на палку.

Володя быстро застегнул куртку, надел поглубже кубаночку, но помедлил перед прощанием... Сам он, побывавший уже в опасных переделках разведчик, испытывал прилив нетерпеливой энергии, но ему было и жалко и неловко покидать сейчас этих женщин, этого голенького малыша, дряхлого Андрея Илларионовича. И хотя Володя не располагал собой, как он отлично понимал, хотя важное донесение не позволяло ему задерживаться, он устыдился своей поспешности.

— Уходите скорей, товарищ командир, — сказала хозяйка, точно разгадав его состояние. — Один вы все равно ничего не сделаете...

— Я не командир, но это неважно, — пробормотал Володя. — Андрей Илларионович, я побегу... Ждите нас на днях... До свиданья, хозяйка, простите! — крикнул он.

И открыв дверь, окутавшись густым паром, выбежал за порог.

Во дворе он остановился на миг, соображая, как лучше идти, и вдруг до его слуха дошел слабый револьверный хлопок. Потом с околицы, где несколько на отшибе стояла усадьба Андрея Илларионовича, донеслось гулкое щелканье винтовочных выстрелов, и с деревьев, росших там, поднялась в небо черная беспокойная туча — множество ворон с недовольным карканьем улетало оттуда... Володя побежал было прямо на улицу, но опомнился и, выхватив пистолет, повернул на огороды. Обогнув дровяной сарайчик, он помчался что было сил по протоптанной вдоль плетня дорожке. Может быть, как успокаивал он себя, эта внезапная стрельба и не имела прямого отношения к его друзьям, но она предупреждала о близкой опасности. И Володя жестоко упрекал себя за то, что не оставил своим спутникам никакого указания на случай тревоги... Наконец, среди елей блеснула залитая ярким солнцем крыша избы, в которой ждали его Лена и Витя. Он замедлил шаг, чтоб отдышаться, и тут же невольно подался назад — за деревьями, почти рядом, раздались крикливые голоса, кто-то сыпал, сопя и задыхаясь, немецкими ругательствами. И Володя быстро лег плашмя на снег... Скользя под ветви старой ели, укрывшись там, как в шатре, он осторожно приподнялся. Сквозь хвою, повисшую у самых глаз, будто сквозь расплывчатую сетку, он увидел большой двор Андрея Илларионовича, а во дворе — солдат в зеленовато-грязных шинелях. Зияла настежь распахнутая дверь в избу, и два немца с винтовками наперевес топтались у высокого крыльца; третий, встав коленями на завалинку, заглядывал в разбитое окошко...

И вслед за мыслью о том, что Лена и Витя попали в беду, что их надо спасти, в голове у Володи пронеслось: «А донесение? Кто доставит донесение?»

На крыльцо выскочил еще один солдат — низенького роста в пестром платке, по-женски повязанном поверх пилотки, и, обернувшись, навел автомат на проем двери. А через мгновение показалась Лена!.. Выйдя из избы, она огляделась, откинув белокурую непокрытую голову; руки она почему-то держала за спиной. И Володя почувствовал мимолетное облегчение — она была жива и невредима...

Солдат в платке что-то крикнул, приказывая, наверно, идти дальше, но Лена все озиралась, не трогаясь с места. Тогда он, коротко размахнувшись, ткнул ее в бок дулом своего автомата. Чуть не упав, девушка сорвалась вниз, спотыкаясь на ступеньках...

И как будто невыносимый жар ударил в лицо Володе... Усилие, которое понадобилось ему, чтоб не броситься на защиту Лены, не выстрелить в ее обидчика, было так велико, что он застонал. Но к этому моменту Володя со всей беспощадной повелительной ясностью сознавал уже полную невозможность сделать что-либо для спасения друзей. Он сумел бы, вероятно, уложить из своего пистолета одного или двух немецких солдат, прежде чем остальные откроют огонь. И, быть может, в суматохе, что поднялась бы здесь, Лене и Вите повезло бы уйти... Могло, однако, случиться и так, что никому из них троих не довелось бы уже вернуться в город и в этом случае партизанское донесение не было бы там получено. Не колебавшись, Володя отдал бы свою жизнь, чтоб выволить из беды друзей. Но от него требовалось сейчас нечто большее — сохранить жизнь, так как он должен был доставить донесение...

Следом за Леной из избы вышел немец в длинной, до пят шинели, потом двое солдат вынесли на одеяле раненого — повидимому, Лена и Витя пытались сопротивляться... И вот на крылечке появился сам Витя — без шапки, в одной гимнастерке, порванной на плече, в своих больших не по росту сапогах; рот и подбородок его были в крови. Медленно сходя по ступенькам, он тоже, казалось, что-то высматривал вдали, вытягивая шею, поворачиваясь из стороны в сторону...

Теперь человек двенадцать немцев пробежали по двору в разных направлениях, крича и размахивая оружием; они не то спорили друг с другом, ссорились, не то шумно обменивались впечатлениями. Володя, стискивая заочевенными пальцами пистолет, вновь подумал, что, начав стрелять, свалив одного-другого, он при удаче заставил бы остальных разбежаться. Забывшись на мгновение, он поднял пистолет на уровень глаз, прицеливаясь, и, спохватившись, опустил руку... Исход важной операции зависел от того, будет ли получено в городе сообщение, которое он нес... А значит, ни при каких обстоятельствах

ему — единственному, кто остался на свободе, не дозволялось обнаживать себя...

Немец в женском платке шагнул к Лене и опять толкнул ее автоматом. Она неловко боком отступила, стремясь избежать ударов, кожушок на ней распахнулся, открыв синий свитер... И Володя почувствовал такую муку и такой стыд, что был тяжелее любой телесной боли — жар унижения горел на его щеках, во рту пересохло... И хотя то, что он видел, причиняло ему величайшее страдание, он не отводил от Лены глаз, ловя и запоминая безжалостные подробности. Она неестественно выгнула локоть, чтоб заслониться, растрепавшиеся волосы упали ей на глаза... Но тут в поле зрения Володи снова появился Веревкин... Метнувшись к солдату в платке, маленький Витя подпрыгнул и ударил насильника носком сапога. Солдат, схватившись обеими руками за живот, присел на корточки...

— Молодец! — одними губами выдохнул Володя. — Беги, Витька, беги! — он ужаснулся тому, что должно было сию минуту последовать.

Три-четыре солдата одновременно бросились к Веревкину... Но немец в длинной шинели, повидимому, старший здесь, остановил их, что-то сердито гаркнув. Витя, нагнув круглую, как мячик, голову, выдвинув вперед плечо в порванном рукаве, стоял, ожидая нападения. И Володя сейчас лишь заметил, что руки у него скручены на спине веревкой.

Немецкий командир издали погрозил ему револьвером и опять крикнул; солдаты начали выходить со двора. Под дулами винтовок и автоматов, наставленных в упор, пошли Лена и Витя; они держались рядышком, локоть к локтю, и Лена помотала головой, чтоб откинуть волосы, свисавшие на глаза, — руки у нее тоже были связаны сзади. А Веревкин, оглянувшись напоследок, посмотрел как раз в том направлении, где лежал, спрятавшись под елью, его друг...

«Это он меня зовет...» — подумал с отчаянием Володя.

Двор Андрея Илларионовича опустел, недлинное шествие скрылось вскоре за соседними постройками, и Володя, вскинувшись, сел на снегу... Первым побуждением его было остаться в деревне, разузнать, куда отвели Лену и Витю, и устроить им побег; если б это оказалось не под силу ему одному, он мог известить о несчастье

Никиту Даниловича, попросить помощи у партизан... Но в следующую минуту Володя понял, что и то и другое неосуществимо, так как требовало времени — немалого времени! А короткий зимний день близился уже к концу, солнце садилось за лесом, и надо было немедленно отправляться прямо в город, надо было спешить, чтоб успеть в срок.

Большая ворона пролетела близко от Володи, распластав шелестящие крылья, кренясь набок, и опустилась на порозовевший снег; суматошливое карканье вновь огласило лес — птицы, распуганные недавними выстрелами, возвращались на место своей ночевки.

— Надо идти уже... — вслух, внятно проговорил Володя.

Но не поднялся, внезапно обессилев. Ему представлялось, что он предал своих друзей, изменил им, ничего не сделав для их спасения...

— Надо идти, — повторил он не двигаясь...

И, как бывает, когда несчастье слишком огромно, мысль его инстинктивно попыталась уклониться от того ужасного, что произошло. Боясь сказать себе, что надежды на освобождение Лены и Вити — его невесты и его боевого друга — не осталось никакой, он твердил, будто внушал себе:

— Надо идти... Да... Надо идти...

Потом его охватила странная злоба на Никиту Даниловича, приказ которого — доставить в город донесение — он выполнял. Ведь если б не этот его приказ, Лена и Витя были бы, наверно, свободны уже — так по крайней мере подумалось сейчас Володе.

— Подмигивает все... — задрожавшим голосом пробормотал он. — Чего подмигивает?.. Весело ему...

Ворона, прогуливавшаяся неподалеку, глянула на Володю остреньким, блестящим глазком и, взмахнув своими черно-фиолетовыми крыльями, перелетела подальше немного... Он встал, наконец, и прислушался; из деревни дошел к нему неразборчивый шум: какие-то голоса, может быть, плач, лай собак... И, не оглядываясь больше, Володя быстро пошел в сторону от Выселок, углубляясь в лес. Рука, в которой он все еще держал пистолет, совсем застыла и не разгибалась — пальцы примерзли к металлу. Тогда Володя с силой, испытывая ка-

кое-то дикое удовлетворение, рванул пистолет левой рукой из ладони правой, содрал с нее кожу.

«Так мне и надо», — подумал он, кривясь от боли.

Сквозь ветви блистало медно-красное заходившее солнце; мрак в лесу сгущался, становясь из розоватого дымно-лиловым, мутнея, теряя краски. Но там, где последние, проникшие в чащу лучи, прямые, как копья, вонзались в снег, выступали на его поверхности светлые алые пятна... Володя медленно, с трудом брел, проваливаясь где по колено, а где и по пояс, — лыжи его остались в избе Андрея Илларионовича. Остановившись в изнеможении, он пощупал за пазухой на груди бумажку, полученную в партизанском штабе, а потом заставил себя мысленно произнести: «...Сводный партизанский отряд «Серп и молот» прибывает на рубеж согласно полученным указаниям. Сигнал — две красные ракеты...»

Не dokonчив, он поморщился, закусил губу, но не выдержал и, будто в припадке, затрясся всем телом. Ему вспомнилось, как Лена в распахнувшейся колушке, в синем свитере пыталась локтем заслониться от ударов, как Веревкин — верный, бестрепетный друг — бросился со связанными руками — не в пример ему самому — на немецкого солдата!..

— Витя!.. Я тебе за это... На всю жизнь!.. — вырвалось у Володи.

И понимая, что он ничего уже не сможет сделать для Вити, он вновь задергался, давась невылившимися слезами, отчаиваясь и презирая себя. Схватив горсть снега, он растер его по лицу, стремясь охладить нестерпимый жар, горевший на щеках...

А отдышавшись, он пошел дальше, увязая в сугробах, пробиваясь через эту сыпучую, легчайшую, невесомую, забивавшуюся в сапоги, в рукава и такую неподатливую, плотную, бесконечную снеговую преграду. Солнце зашло, и в лесу сразу потемнело, хотя по небу блуждал еще бледный зеленоватый свет...

Поздно ночью Володя добрался до деревни, за которой начиналась передовая позиция немцев; он дышал со свистом, ноги у него подгибались. Полежав немного в ольшанике на краю леса, собравшись с силами, он двинулся вдоль опушки, огибая занятую врагом деревню... Справа в туманной морозной мгле проносились со злобещей медлительностью искры трассирующего огня — там, за

деревней, разгорался бой. Забрав влево; Володя некоторое время опять шел лесом, полз, продираясь сквозь лещину... Овражистый, трудно проходимый участок этот тянулся до полосы нашего боевого охранения, и именно здесь разведчики два дня назад благополучно пересекли фронт. Но нынешней ночью Володе пришлось повернуть отсюда обратно, после того как он едва не наскочил на немецкий дозор.

— Wer ist da? Du, Fred? ¹ — окликнули его.

— Ich, ich... Schiess nur nicht ², — ответил за него, к счастью, неизвестный Фред, подходивший сзади.

Попятывшись, взяв вправо, Володя очутился вскоре на открытом месте; черное от копоти, простреливавшееся с обеих сторон, оно простиралось между двумя линиями огневых точек. нашей и немецкой. И так как ночь была уже на исходе, а донесение надлежало доставить к утру, Володя решил переползти это гибельное «ничье» поле.

Припадая к земле, обнажившейся из-под снега, слыша над головой повизгивание свинца, Володя пережил странное состояние: казалось, что он, как это бывает во сне, раздвоился... И пока тело его осторожно шевелилось на твердой, мерзлой осыпи, ловило ухом татаkanie пулемета, пока оно поджималось, распластывалось, выжидало, кидалось вправо, влево, сам он наблюдал за собой откуда-то издалека, с высоты. Его руки, ноги, зрение, слух, его мысль, рассчитывавшая малейшее движение, упрямо боролись за каждый метр пространства. И в то же время сам он не принимал как будто в этом участия, несколько не страшась за себя... Он точно пролетал где-то во мраке, невидимый, неуязвимый для огня; свирепствовавшего внизу...

...Брезжил рассвет, когда в доме на окраине города в пустой, освещенной керосиновым фонарем комнате он предстал перед капитаном, начальником разведки. Володя вполне овладел собой; откозыряв, он извлек из-за пазухи бумажку, измятую, влажную от пота, и вручил ее командиру. Затем он отступил на шаг, вытянулся и тихо проговорил:

— На словах приказано передать: «Сводный партизанский отряд «Серп и молот» прибывает на исходный ру-

¹ Кто там? Ты, Фред?

² Я, я... Не вздумай стрелять.

беж согласно полученным указаниям... — Володе не хватило воздуха, и он прерывисто глотнул его. — Условный сигнал: две красные ракеты, одна — зеленая».

— Верно, Володя, — сказал капитан и осекся, едва не прибавив: «Я все знаю уже... Опоздал ты немного...»

Полчаса назад ему то же самое — слово в слово — сообщил партизанский связной из отряда «Серп и молот», добравшийся до Т. раньше Володи (Никита Данилович, как и полагалось в подобных случаях, дублировал важное донесение). Но капитан, внимательно посмотрев на своего разведчика, счел за лучшее умолчать об этом... Володя, измазанный пороховой гарью, вывалившийся в снег, стоял в положении «смирно», глядя в упор на командира блестящими, обведенными чернотой глазами; правая рука его была покрыта запекшейся кровью.

— Ты что, ранен? — спросил капитан.

— Нет, только кожу содрал, — ответил Володя. — Разрешите также доложить, — и он опять беззвучно пошевелил губами, хватая воздух, — красноармейцы Колесникова и Веревкин захвачены противником... при выполнении задания...

— Лена и Витя?! Что же ты?! — огорченно воскликнул капитан. — Говори, как случилось? И как ты, ты допустил?!

Володя стиснул пальцы в кулаки. Ладонь его, с которой была сорвана кожа, точно обожгло огнем, но эта боль помогла ему пересилить душевную муку.

— ...Я все ясно видел. Видел, как Лену и Витю уводили, как они шли со связанными руками... И я ничего не мог сделать, — закончил он свой рассказ. — Ничего не мог сделать, — повторил он, испугавшись, что ему могут не поверить. — Я не имел права рисковать, я должен был доставить донесение... Ведь правда? — потеряв самообладание, он шагнул к командиру...

— Я получил приказ... И в конечном счете это было важнее — доставить донесение. Я так считаю.

Он умолк, подался назад и встал «смирно», опустив руки по швам.

— Разумеется, важнее... Ты поступил совершенно правильно, — поспешно сказал капитан.

И почему-то отвел в сторону глаза... Начальнику разведки было известно о большой дружбе, связывавшей его бойцов: Тихонова, Колесникову, Веревкина. И взволно-

ванный, догадывавшийся о том, чего стоило Володе оставить в беде своих друзей, капитан захотел утешить его. Но как было подступиться к этому тоненькому юноше, почти подростку, со страдальческим жестким блеском в глазах, задыхавшемуся, окровавленному и закованному, как в броню, в свою суровость, в свое поразительное, беспощадное и к себе и к другим мужество.

— Спасибо, Володя, — сказал капитан и, положив руку на плечо юноше, попытался его обнять. — Понимаю, как тебе было тяжело... Молодец!..

С неожиданной резкостью поведя плечом, Володя высвободился, уклоняясь от сочувствия.

— Может быть, к матери наведаться хочешь, погостить денька два-три? — спросил в некотором замешательстве капитан.

— Разрешите по личному вопросу, — сказал Володя.

— Ну, конечно!.. Говори!.. — с готовностью отозвался капитан.

— Вернее всего, Колесникову и Веревкина отправили в Арсеньевск. Это же ближайший к Выселкам районный центр... — сказал Володя. — Разрешите отлучиться туда на несколько дней.

— Ты вот о чем?.. — капитан задумчиво поскреб в своей окладистой бороде. — А ведь у меня есть для тебя предложение... Подожди-ка...

И нагнувшись к телефону, стоявшему на табуретке, он снял трубку...

6

Немцы вошли в избу Андрея Илларионовича совершенно неожиданно для Лены и Вити; Лена, увидев в сенях немецких солдат, не успела даже вытащить из кобуры пистолета, и лишь один раз выстрелил Веревкин. Солдаты бросились на них, сбили с ног... И с этой минуты для Лены и Вити началось то неправдоподобно жестокое, то полное ужаса существование, которое и вообразить себе нельзя было без содрогания, — они находились в плену, во власти врагов.

Оставшись в Выселках на ночлег, заняв самую большую избу, немцы заперли пленников в темной, вымороженной пристройке для скота; руки им развязали здесь. И Веревкин, закоченевший в своей порванной гимна-

стерке, запрыгал, затопал ногами, забежал из угла в угол, стараясь согреться...

— Иди ко мне... Я здесь, здесь... — позвала Лена. — Иди же... Ты где?

Она сняла с себя кожушок, и они оба, сев на мерзлую солому, попытались укрыться под ним.

— Подвинься ближе... Дай я тебя обниму, ты же совсем застыл, — сказала она, — дрожишь весь.

— Ни черта... Володька, наверно, уж тут где-нибудь, — пробормотал Витя, с трудом двигая своими разбитыми в драке опухшими губами.

— Наверно, — согласилась Лена. — Хорошо еще, что он не попался вместе с нами... А ты молчи лучше, тебе же больно. И не вертись ты все время...

Вскоре и сама она начала дрожать то ли от холода, то ли в лихорадке нетерпения и надежды...

Пока Володя — их старший верный друг — находился на свободе, ужасная беда, постигшая ее и Витю, представлялась ей как бы не окончательной еще. И требовалось, быть может, только одно решительное усилие со стороны Володи, чтобы все сразу переменилось и сделалось таким же благополучным, каким было до сегодняшнего вечера.

— Он зря времени терять не станет, не такой он парень... — опять заговорил Веревкин. — А ты, как до дела дойдет, около меня держись, слышишь!

— Что-нибудь он придумает, я уверена... — отозвалась Лена шепотом.

И они жадно прислушивались, ожидая, что вот-вот загремят за стеной выстрелы, затем распахнется от сильного удара дверь и к ним вбежит — это было бы таким счастьем! — Володя... Казалось наиболее вероятным, что он нынешней же ночью попытается вызволить товарищей из беды, так как завтра их могли увезти из Выселок куда-нибудь далеко в немецкий тыл.

Несколько раз Веревкин вскакивал и принимался обшаривать помещение, в котором немцы заперли их; случайно нащупав гвоздь, вбитый в стену, он расшатал его, вытащил и спрятал за голенищем. Но больше ничего полезного Витя не обнаружил в этом пустом, просторном, прочно сложенном из толстых бревен хлеве — выбраться отсюда без посторонней помощи было невозможно.

— Вовка ждет, чтобы фрицы спать легли, — сказал

он, опять сядясь около Лены и прижимаясь к ней. — Что ты мне весь кожих отдала, ты ж сама замерзнешь...

— А я не так озябла, как ты... — она обхватила его обеими руками, пригнула к себе его голову. — Конечно, ждет, чтоб фрицы заснули. Ты ведь знаешь Володю — наобум он ничего не сделает...

В эти первые часы они почти не сомневались в том, что их освобождение произойдет так же внезапно и стремительно, как внезапно и стремительно обрушилось на них несчастье. И они оба замирали, придерживая дыхание, когда из теплой половины избы, где расположились немецкие солдаты, доносились особенно громкие возгласы или где-то на деревне начинали лаять псы. Но горчайшая, страшная, бесконечная ночь однообразно тянулась, и спасение не приходило. Немцы постепенно затихли, улеглись, за дверью сменялись часовые, иногда было слышно, как кто-нибудь из солдат пробирался, спотыкаясь, в сених, брэнчало ведро, кудахтали разбуженные куры... И вот неотчетливо выделилось во мраке посеревшее продолговатое окошко, прорезанное под крышей. Лена, забывшаяся было перед рассветом, очнулась и, припомнив все, что произошло накануне, тихо застонала от отчаяния...

— Ни черта, Ленка, — прошептал Веревкин, — Володя, наверно, к Никите Даниловичу побежал... Не такой он парень... У него расчет есть.

...Утром немцы присоединили к двум своим пленникам третьего — дряхлого Андрея Илларионовича, в избе у которого разведчики были схвачены; затем их всех троих вывели из хлева и посадили в одни розвальни. Солдаты, собираясь в дорогу, хлопотливо сновали из избы во двор и обратно, укладывали на подводы битых кур, тушку заколотой свиньи, еще какую-то снедь в плетеных корзинах. Сегодня эти люди, хорошо, должно быть, выпавшиеся, вкусно досыта позавтракавшие, выглядели совсем не такими свирепыми, как вчера; они весело переговаривались, смеялись, даже шалили — один из них запустил в другого снежком. А низенький солдат с автоматом — вероятно, первый шутник в команде — громко о чем-то разглагольствовал под общий хохот в то время, как Лене и Вите вновь связывали телефонным кабелем руки... В отдалении стояло несколько человек жителей, молча смотревших на все это; молодая женщина, выбежавшая из

соседнего двора, сорвала с плеч теплый платок, скомкала его и бросила в сани Веревкину. Немец повозочный замахнулся на женщину прикладом — она, жалобно ахнув, кинулась опрометью назад, — но не отобрал платка. И Андрей Илларионович укутал в него Витю с головой...

Лишь только розвальни выехали за околицу, Витя энергично задвигался, стараясь улечься так, чтобы видеть по обе стороны дороги. Немцы, как он и предполагал, повернули на Арсеньевск, в районный центр, а вчера — он запомнил это — ушел туда же, к Арсеньевску, партизанский отряд. И следовательно, у командира отряда — думалось теперь Вите — у Никиты Даниловича, которого Володя, несомненно, оповестил уже о случившемся, была полная возможность устроить здесь на дороге в город засаду... Веревкин склонялся сейчас к тому, что Володя поступил правильно, воздержавшись от нападения на немцев в Выселках, так как партизанская засада имела, разумеется, больше шансов на успех. И он поминутно приподнимался, вглядываясь в придорожный кустарник, высывая из платка стриженую голову, когда лес вплотную белой заснеженной стеной подступал к обочинам.

Лена сидела в санях так, что прямо перед нею была спина солдата, правившего лошадей; впереди виднелись еще одни сани с конвоем, сзади тоже ехали солдаты — оттуда доносились взрывы смеха. И она отворачивалась, чтобы не видеть этих развеселившихся и ненавистных, вызывавших омерзение, грязных, дурно пахнувших людей в шинелях гнило-зеленого цвета. Когда она смотрела в небо — голубое, такое же чистое, как вчера, или на деревья, ей становилось немного легче — на мгновение чудилось, что в ее судьбе ничего не изменилось. Но боль в связанных затекших руках возвращала ее к действительности, и она кусала губы, чтоб не кричать, не плакать.

«Гордая какая! Молодчага! — думал Веревкин, поглядывая на Лену. — Потерпи еще самую малость...»

И один Андрей Илларионович не переставая говорил что-нибудь, привалившись к задку саней. Голова его, утонувшая в широченном воротнике тулупа, безвольно дергалась от толчков, но очень старое, сморщенное, в желтых пятнах лицо с реденькой щетинкой на щеках было беспокойно оживлено; какое-то чрезвычайное возбуждение овладело Андреем Илларионовичем. И он то

принимался совестить немецкого солдата-повозочного и, напрягая слабый голос, выкрикивал:

— Развязал бы детишек, слышь-ка! Что вы их мучаете? Ох, и тошно тебе будет, человече, ох и тошно, как твой час придет...

То, побуждаемый потребностью в общении, Андрей Илларионович начинал рассказывать Лене и Вите давнишние истории, свидетелем или участником которых он был, вспоминал свою миновавшую жизнь. Он, казалось, искал в прошлом объяснение тому, что происходило сейчас, сменяемый тоской и тревогой...

— ...На моем веку, слышь-ка, детки, четыре войны было да три раза горели мы... да в Оке я тонул, — поспешно перечислял старик. — Всего в жизни отведал: и холода, и голода, и страха смертного... Пятерых сынов народили мы — двоих схоронили, четверых дочек замуж поывадали... Слышь-ка, слышь, — требовал он внимания к себе. — Я всякого звания людей видал. Я самого графа Льва Николаевича Толстого, царство ему небесное, вечный покой, как живого, помню... Он наш, местный был, тут и учил он, тут и помер. Он хотя не в нашем звании состоял, а ходил по-простому, в лаптях. И все углядывал по крестьянским делам. Он чему учил? — Слышь, ребята!..

Голос Андрея Илларионовича прерывался, и старик беспомощно водил по сторонам своими водянистыми младенческими глазами.

— Было это, дай бог памяти, на Васильев день, на самые святки... — едва отдышавшись, продолжал старик, и, казалось, он торопился, пока имелось еще время, поведать о чем-то особо важном и поучительном. — У мужика одного, у яснополянского, балка сопрела в хате. Мужик и поехал в лес — денег-то не было купить... Повалил он добрую березу, тащит на телегу, а пуг, как на грех, сам Толстой. «В чем дело?» — спрашивает. Оробел мужик, снял шапку: «Так и так, — говорит, — ваше сиятельство... У меня балка сопрела, потолок скоро завалится». — «Ну что ж, — говорит Толстой, — бери, коли надо, дай я тебе помогу». И ловко так, сноровисто стал увязывать березу... А после сказал: «Вези, брат, с богом, одно дерево срежешь — десять вырастет...» Во, как учил: «Одно срежешь — десять вырастет...» Эй, ты, война, слышь-ка! — тоненько закричал Андрей Илларионович в спину немецкому солдату.

Повозочный обернулся — мясистые подушечки его щек стали пунцовыми на морозе, брови опушил иней — и вопросительно, любопытно посмотрел на старика.

Лес между тем кончился, дорога вилась теперь по открытой пустынной равнине, голо и холодно сиявшей на солнце. И Витя, обманутый в своей надежде, разочарованный, вынужден был признать, что наиболее удобные для засады места остались позади. Еще через некоторое время показались в студеной дымке стены старинного монастыря, стоявшего на въезде в Арсеньевск... Немецкий солдат, озябший в своей шинельке, выскочил из саней и побежал рядом, высоко поднимая ноги в коротеньких сапогах, размахивая руками.

— А! А! — кричал он.

Вероятно, это развлекло солдата, показалось ему забавным, и, оглянувшись на пленников, он благодушно заулыбался, как бы приглашая их разделить с ним его хорошее настроение.

...Тюрьма в Арсеньевске, под которую гестапо приспособило трехэтажное здание сельскохозяйственного техникума, была переполнена; немцы, производившие в последние дни массовые аресты, свозили сюда людей со всего района. И в небольшой сравнительно комнате, ставшей тюремной камерой, где Андрей Илларионович, Витя и Лена ожидали допроса, находилось помимо них человек пятьдесят-шестьдесят мужчин и женщин... Время от времени кого-нибудь из сидевших тут вызывали к следователю, и ушедшие больше не возвращались, а на их места приводили других, только что доставленных в тюрьму.

На дворе стоял еще день, но тут был полумрак; свет едва пробивался в щели между досками, закрывавшими снаружи окна. Изморозь тусклым налетом покрывала стены, а под потолком густо мохнатился иней, зловонием, смесью карболки и нечистот тянуло из угла... Ни скамеек, ни нар здесь, видимо, не полагалось, и люди, ввергнутые в этот промозглый смрадный сумрак, теснились на грязном, черном, как земля, полу. Мало что из них обманывался насчет того, что ему предстояло. Иногда сквозь стены проникал в комнату неясный шум — глухие голоса,

неотчетливые крики; иногда было слышно, как в коридоре топали подкованные сапоги, бряцало оружие — рядом, на всех этажах, в бывших аудиториях и кабинетах шла ужасная, но тщательно налаженная, безостановочная дьявольская работа. Солдаты в черных шинелях войск «СС» приводили и забирали заключенных с тем равнодушием, что проявляется и в жестокости, ставшей будничной, автоматической. И пока в соседних помещениях следователи допрашивали людей, пока их избивали там, привязав ремнями к окровавленной скамье, пока на заднем дворе института, обнесенном забором и колючей проволокой, исполнялись приговоры над ними, — другие люди должны были дожидаться своей очереди на допрос, то есть на неизбежные почти мучения и гибель. Испуганные или яростные, подавленные, угрюмые, подозрительные — они молча готовились, кто как умел, к своей отчаянной последней борьбе...

Витя, завернувшись в платок, обхватив колени, скорчился у стены; справа от него была Лена, слева оказался средних лет мужчина в очках с толстыми, сильно выпуклыми стеклами, в шубе с лисьим воротником. Человек этот непрестанно шевелился и то поднимал воротник, то опускал его, потирал ладони, покашливал; внезапно вскочив, он стал прохаживаться на узеньком свободном пространстве, оставшемся посередине камеры. В ближнем углу шептались две молодые женщины; они сидели обнявшись, держась за руки. Там же, прислонившись к стене, стоял парень с взлохмаченной головой, одетый в коротковатую, вероятно с чужого плеча, бекешу... Андрей Илларионович, опустившись на пол, долго ворочался и постанывал, стараясь устроиться поудобнее; отдышавшись, он тотчас же опять заговорил:

— Откуда будете, дочки? — обратился он к своим соседкам, двум женщинам. — С маслозавода, городские... А я вот лет десять уж как в городе не был. То да се, да недосуг, да хворость...

Несмотря на то, что телесные силы старика заметно убывали, его беспокойная общительность не становилась меньше; Андрей Илларионович боялся как будто, что не успеет полностью высказаться, что у него отнимут эту возможность.

— ...И не чаял уж я никуда ехать, думал, помру на

своей печи, сыновья глаза закроют... Ан нет, господь иначе рассудил, — раздавался его слабый голос.

Витя с тревогой смотрел на Лену; закинув голову, не двигаясь, она беззвучно плакала — слезы текли у нее из-под опущенных век и нависали крупными каплями на ресницах.

— Ты что? — спросил он и сморщился: вспухшие губы его кровоточили и каждое произносимое им слово причиняло боль.

Лена не ответила; как видно, надежда на освобождение, поддерживавшая девушку до сих пор, покинула ее в тюрьме. И Витя попытался ее ободрить...

— Ничего же еще неизвестно... — медленно зашептал он. — Володька не такой парень, чтоб про товарищей забыть...

Она промолчала, а слезы, срываясь с ресниц, закапали на ее гладкие округлые щеки.

— Не знаешь ты его, раз так... — пробормотал Веревкин, хотя и сам не слишком надеялся уже на то, что Володе удастся им помочь.

— Нет, знаю, — еле слышно отозвалась Лена. — Может быть, его тоже взяли, а может...

Девушка не закончила, но Веревкин понял: она оплакивала Володю, считая, что его нет больше в живых. И в самом деле, как иначе объяснить было то, что он — их безупречный друг, их решительный командир — даже не попытался сделать что-либо для их спасения, даже не подал знака — ждите, мол, я действую. Но если б его также взяли в плен, он, естественно, был бы сейчас вместе с ними.

— Я Володю лучше тебя знаю, — тихо сказала Лена. — Он был самый храбрый у нас. Я злилась на него, но за другое... А он вот ни разу на меня не разозлился... Он мне все буквально прощал...

— Ничего с ним не случилось, — растерянно выговорил Веревкин и умолк; мысль, что Володя погиб, потрясла его.

В камере, между тем, стало еще темнее — день склонялся к вечеру... Стукнул снаружи на двери засов, и два полицейских в черных коротких куртках, с парабеллурами в руках переступили через порог; один сказал другому, продолжая начатый ранее разговор:

— ...Im Dezember bekomme ich Urlaub. Ich habe schon meiner Frau geschrieben: Weihnacht verbringen wir zusammen. Jetzt ist sie in Köln, bei meiner Mutter¹.

— Schön, so siehst du die Deinen, alle zusammen², — сказал второй полицейский.

Человек в шубе с лисьим воротником, завидя эсэсовцев, попятился, не отводя от них взгляда. Первый полицейский выкрикнул с сильным немецким акцентом:

— Сапошничкоф Силанти, здес?

И эти русские фамилия и имя прозвучали так незнакомо, что и сам их обладатель не сразу, должно быть, понял, что вызов относился именно к нему. Но вот у окна встал невысокий человек в стеганке, в ушанке и, повернувшись к эсэсовцам спиной, негромко заговорил с соседями, вероятно прощаясь.

— Schneller!³ — нетерпеливо сказал второй полицейский.

— Скоро! Скоро! — поторопил первый.

С заключенными он разговаривал не своим обычным голосом, а нарочито сдавленным, рывающим, специально, очевидно, выработанным для употребления на службе.

Человек в стеганке — неизвестный Силантий Сапожников точно не обращал на эсэсовцев внимания. Не торопясь, он поочередно пожал протянутые к нему руки, а закончив с этим, стал зачем-то завязывать под подбородком тесемки своей ушанки.

— Скоро! Бегом! — скомандовал ненатуральным голосом первый полицейский.

Но только аккуратно завязав тесемки, человек двинулся к выходу, и в самой этой медлительности были вызов и сопротивление. Первый полицейский вздохнул, как бы с упреком, а когда заключенный приблизился, он неожиданно ударил его в середину груди рукоятью пистолета — тот пошатнулся, схватился за грудь, но устоял.

— Собака! — не удержавшись, пробормотал Витя; к счастью, полицейский не услышал этого.

¹ — ...Мне в декабре отпуск дают. Я уже и жене написал, что рождество мы проведем вместе. Она в Кельне у моей матери гостит.

² — Удално у тебя получается, сразу всех своих увидишь.

³ — Быстрей!

...Спустя некоторое время Веревкин опять разомкнул свои опухшие губы.

— Лена, — позвал он.

— Что, замерз очень? — спросила девушка.

— Ни черта, — он потянулся к ее уху. — Дай мне только осмотреться. Мы и сами отсюда выберемся... А на допросе ото всего отпирайся: не знаю, и только И меня не знаешь: говори, что встретились случайно — ты за продуктами пришла в Выселки.

— Никто ж не поверит... У меня в кармане пистолет нашли и четыре обоймы, — прошептала Лена.

— Ну и что? Скажи, что это не твои, а мои... Я тоже скажу, что сунул их тебе в карман, когда на нас напали... И ты, главное, не плачь, дай мне осмотреться, ты подожди...

Это было покамест все, что он надумал сказать ей в ободрение. Но теперь, когда Володя — повидимому, погибший — ничем не мог помочь своей осиротевшей невесте, Витя почувствовал себя вдвойне обязанным позаботиться о ней. А в его силах оставалось одно — постараться заслонить ее собой.

— Ты думаешь, я боюсь? Я не боюсь! — сказала Лена. — Жалко, конечно, что так рано умру, да ладно, не я первая... — Выпуклые щеки ее блестели от непросохших слез, но усталый голос звучал спокойно. — А с фашистами я вообще не стану разговаривать, ни слова от меня не дождутся...

Она поднесла ко рту руку, на которой выше запястья виднелись ссадины от телефонного провода, и подула на них.

— Ты подожди умирать, — сердито проговорил Витя. — Эти сволочи еще попомнят нас... И за Володю рассчитаемся.

Лена тихонько кончиками пальцев потеряла болевшее место на руке.

— Как огнем печет, — пожаловалась она.

Витя втянул голову в плечи, съежившись так, что глаза — горящие, цепкие — приходились на уровне колен. Он искренно, самым решительным образом не соглашался с Леной в том, что для них все было кончено... Правда, отныне им приходилось рассчитывать на самих себя да на товарищей по заключению. И Витя, затаившись, всматривался в темные, расплывшиеся в сумраке фигуры лю-

дей, окружавших его, стремясь угадать возможных соучастников — тех, кто не выдаст. Ему нужен был лишь счастливый повод — хотя бы проблеск надежды, какое-то благожелательное указание, хотя бы слово совета, чтоб начать действовать самому. Очень страдая от холода, больше даже, чем от боли в избитом теле, он ту же стягивал на себе платок, стискивал зубы, но его зрение, слух, все чувства необычайно обострились. И не зная еще, что предпринять, Витя готов был в любую секунду броситься в схватку — живой комочек яростной энергии. Однако люди в камере больше молчали, погруженные в свои думы или в свое отчаяние, и не умолкал один Андрей Илларионович...

— ...Ходил он, стало быть, по селам, по городам, расспрашивал, как люди живут, какая у кого нужда, какая где неправда. И тут же на месте выправлял, — повествовал старик своим соседкам. — Вот надел Толстой зипун поплоче, лапти обул и пошел в губернский город. А дело-то на Тимофея-полузимника приключилось, снега навалило в ту пору аршина на два... Вот идет он и видит — слышь-ка, бабоньки! — катит в своих саночках становой пристав, а навстречу мужик дрова везет. «Сворачивай, такой-сякой!» — кричит пристав. Мужичок понимает — делать нечего...

Андрей Илларионович застонал, стараясь приподняться и переменить положение.

— Что вы хотите? Дайте я помогу, — сказала Лена.

Она больше не плакала, и нечто новое, как будто неожиданная твердость появилась в ней: она и в самом деле ничего уже не боялась. До этого часа она с великим трудом удерживалась, чтоб не кричать, не биться, не вопить от ужаса... Но и тяжелейшая душевная боль не может продолжаться бесконечно с одинаковой силой, не меняясь. И Лена переступила через тот крайний предел своей муки, за которым ослабевает и самая способность души испытывать страдание. Слишком много Лена лишилась уже, чтоб дорожить тем, что ей еще осталось; она как бы оторвалась, отдалилась от всего, что вчера еще составляло радость и богатство ее жизни. И точно не о себе, но о другой, безжалостно обиженной судьбой девушке думала она сейчас, когда в ее памяти проносились недавние дни, вставали милые образы. Точно горький, жестокий покой,

невесть откуда взявшийся, проник в сердце Лены, и оно опять билось ровно.

— Спасибо, внучка, дай тебе господы!.. Вот так, вот ладно... Ты слышь-ка... — продолжал Андрей Илларионович, — своротил это мужичок с колеи и завяз в сугробе — ни вперед, ни назад, а пристав дальше покатил. Тут Толстой и заступил ему дорогу: «Эй, голубчик, остановись!» — говорит. «А ты что за указчик мне?» — удивился пристав. — «Я — Лев Николаевич Толстой приказываю тебе грубияну остановиться!» — Вот он как умел! Пристав из саночек выскочил, честь по форме отдал: «Простите, — говорит, — ваше сиятельство, обознался я!» А Толстой к нему: «Что ж ты наделал, — спрашивает, — мужичка в сугроб загнал, ему и не вылезти... Поворачивай, помогай, как знаешь, хоть лошадь выпрягай и на себе вези». Видит пристав — делать нечего: «Дай, мужичок, я тебе подсоблю», — говорит...

Утомившись, Андрей Илларионович оборвал свой рассказ... В камере стало уже совсем темно; едва различались посиневшие щели между досками, закрывавшими окно.

— А что с этим приставом потом было? — спросила одна из женщин.

— Вот не дознался я... — ответил Андрей Илларионович. — Наказал, должно быть, Толстой пристава — он ведь крутенок был.

— Что вы?! Как он мог наказать? — вырвалось у Лены. — И вообще Толстой говорил, чтоб не противиться злу. Подумать только, что проповедывал!

— Как так не противиться? — недоверчиво переспросил старик.

— Ну, покоряться без борьбы, — сказала Лена.

— Не знаю, внучка, не слыхал я про такое... — Старик помолчал размышляя. — А только сомнительно мне... Как же он говорил, чтоб покоряться, ежели он за народ стоял? Попы это говорили, так они Толстого, ровно Гришку Отрепьева, по церквам поминали... Нет, внучка, ты не всякому слуху верь...

Со двора донеслось урчание автомобильного мотора — быть может, в тюрьму доставили новую партию арестованных. Потом за дверью загремели сапоги, вновь стукнул отодвинутый засов. И острый электрический луч веером скользнул от стены к стене по спинам, головам,

платкам, шапкам сидевших людей. Мелькнули чьи-то зажмуренные глаза, поднятая, как для защиты от удара, рука, чьи-то шевелившиеся плечи, лисий взъерошенный воротник на шубе человека в очках, откинута голова Лены вся в белокурых завитках... Из темноты — вошедших полицейских не было видно — раздался тот же сдавленный, неестественный голос:

— Феторенко Ифан!..

— Это я, — сказал человек в шубе.

Луч фонарика уперся ему в лицо, белым огнем сверкнул на стеклышках очков.

— Товарищи! — крикнул человек. — Если кто выйдет отсюда, передайте моей жене... Я Федоренко, врач, здешний врач... Улица Пушкина, три...

— Скоро! Скоро! — скомандовал немец.

— Сейчас иду. — Скажите жене — я все время думал о ней... Передайте привет... — Человек кричал так громко, точно люди, к которым он обращался, находились где-то в отдалении, а не подле него. — Улица Пушкина, три... Скажите — я не унижился...

— Schneller! ¹ — перебил его второй полицейский.

— Я буду стрелять, — рявкнул первый. — Бегом!

— Ах, я сейчас иду! — воскликнул доктор.

И отклонив вбок лицо, ссутулившись, отчего приподнялся его рыжий воротник, он шагнул вперед. Подходя к эсэсовцам, доктор быстрым движением снял свои очки, желая уберечь от осколков глаза.

Один из эсэсовцев схватил его за руку, потянул к себе и вытолкнул в коридор. Тотчас же дверь захлопнулась, и в камере опять воцарилась полная темнота.

— Так по одному нас и перебыют всех, а мы дожидаемся, — негромко проговорил кто-то невидимый. — Чего дожидаемся?

Витя встрепенулся — в этих словах содержался явный призыв к действию... Но трудно было определить, кто именно их произнес.

— Звери! — пронзительным, рыдающим голосом выкрикнула какая-то женщина. — Будьте вы прокляты! И матери ваши, что народили вас!.. Будьте вы прокляты, прокляты!..

— Я Федоренко знаю... Он в детской больнице рабо-

¹ — Скорей!

тал... Жена его там сестрой служила... Очень внимательный врач, знающий, — отрывисто, будто задыхаясь, сказал кто-то в другом углу.

Отделившись от стены, Витя осторожно начал пробираться к месту, где стоял, как он помнил, высокий с взлохмаченной головой парень в бекеше. Почему-то парень этот вызывал у Вити наибольшее доверие, да и голос неизвестного единомышленника, только что прозвучавший, — низковатый, недобрый — соответствовал, казалось, его сумрачному облику... Андрей Илларионович, при молкший было, вновь заговорил:

— Как же можно не противиться? Слышь-ка, внучка, наврали это тебе про Толстого. И птица противится, когда ее гнездо зорят. Младший мой, Алексей, что в агрономы пошел, отличник учебы... Он с малолетства мухи не обидел, всё травки собирал, цветочки... А нынче пулеметчиком стал...

Витя нащупал рукав бекеши, обшитый каракулем, и придвинулся к ее владельцу вплотную.

— Кто? Что надо? — спросил тот.

— Свой, — поспешно ответил Витя, узнав недобрый голос и обрадовавшись, что не ошибся.

— Кто свой?

— Привезли нас перед вечером... — затрудняясь, как еще отрекомендоваться, Витя добавил: — Трое нас... А вы кто? Это вы сказали, чтоб не дожидаться...

У окна послышался неясный шумок — там тоже о чем-то шептались, переходили с места на место... И новый голос — густой и мягкий бас, полный сдержанной силы, принадлежавший, должно быть, физически могучему человеку, зазвучал на всю камеру:

— Не вешайте голов, друзья!.. У нас политрук был в экипаже, так он говорил: «Пока жива в тебе душа — ты боец». Чуете, а? И еще объяснял он: «Убить краснофлотца могут, но победить — никогда». Я что хочу сказать... Эх, досадно, не вижу я никого из вас!.. Но неважно... Я хочу сказать: не сдавайся, стой на своем, и баста. А Красная Армия недалеко уже, она бьется и день и ночь...

— Я вот подумал... Дайте мне... — сбивчиво заговорил кто-то еще вибрировавшим, как струна, юношеским голосом: — Всем известно — болезни бывают от микро-

бов, от грязи... И нередко умирает человек... А все ж таки он человек, а они — микробы, грязь и больше ничего.

— Верно. До чего верно! — обрадованно прогудел мягкий бас. — Докажем этой фашистской нечисти, недоноскам гитлеровским, что мы советские бойцы... Иди сюда, браток, потолкуем... Я не могу к тебе, — ноги у меня перебиты...

Будто ожив, люди, запертые в тюремной камере, в черной, зловонной, ледяной тьме, подавали друг другу голоса ободрения и надежды. Незнакомые до этой ночи, быть может последней для них, они отыскивали таким образом во мраке друзей и а жизнь и на смерть.

— Наших тут много, видать, — проговорил парень с недобрый голосом.

— А как же, — Витя крепко вцепился в рукав его бекеши. — Тут и с колхозов есть народ, и городские... Тут все наши...

— Что ж ты трясешься, зубами ляскаешь? — спросил парень.

— Озяб я, беда, — ответил Витя.

В разных углах завязывался теперь торопливый, жаркий разговор; люди задвигались, вставали, пересаживались, и тьма, бессильная разъединить их, изолировать друг от друга, точно расступилась перед ними.

— Красная Армия отомстит за нас, за каждого, за все муки! — выделился из общего шума пронзительный женский голос.

— Ты с Павловска... Ну, а я подальше жил, в Днепропетровске, а службу отбывал в Севастополе. Все мы с разных мест, а задача у нас одна... — покрыл этот шум мягкий бас краснофлотца. — Недоноски заблуждаются, что нас можно напугать, покорить... Смешно даже слушать... Мои товарищи в морской пехоте бьются с врагом до последнего вздоха, с песней на шквальный огонь идут, сам видел. А враги мои плачут, когда им помирать приходится...

Где-то наверху раздался вдруг гулкий удар, точно на втором этаже выстрелили из револьвера. На мгновение все замолчали, и в камару донеслась какая-то немецкая команда.

— Чего нам дожидаться? — сказал Веревкин свистящим шепотом; встав на цыпочки, но так и не дотянувшись до уха своего нового знакомого, он припал к нему всем

телом. — Когда недоноски войдут, навалиться на них сзади... У меня гвоздь есть большой, что твой кинжал... А парабеллумы мы у них заберем...

— Ты, видать, смекалистый... — неопределенно проговорил парень в бекеше и сам понизил голос до шепота: — А ты не запомнил, в коридоре стоит здесь пост?

— Нету там поста, только на лестнице и во дворе, — шепнул Веревкин.

— Братки! Не отступайте от своего... — громко проговорил невидимый краснофлотец. — Держись, как положено по присяге — с честью и до последнего!..

— Потихе бы все-таки, услышат, — нервно сказал кто-то.

— А чего тише? Ну что тише?! Поздно уже, тише, — зазвенел юношеский голос.

И умолк, потому что за дверью отскочил со стуком засов и острый луч фонарика опять рассек темноту.

— Голубеф Андрей здес? — почти правильно на этот раз выговорил эсэсовец русское имя.

— Здесь, здесь, — тотчас же отозвался Андрей Илларионович.

Фонарик осветил его; старик, упершись ладонями в пол, попытался встать; ослепленные глаза его жмурились и мигали... Лена, сидевшая рядом, нагнулась к нему, вошла в световой кружок, и все увидели, как она быстрым движением откинула волосы, упавшие ей на лоб.

— Скоро! — поторопил первый полицейский.

Старик ответил неразборчивым бормотанием. Он согнул в коленях ноги, вытягивал шею, но, несмотря на все усилия, не мог оторваться от пола и в его бормотании Лена уловила отдельные малопонятные выражения:

— «...иже еси на небесех... да придет царствие твое... да будет воля твоя... тако же и на земли...» — молился Андрей Илларионович.

— Скоро! Скоро! — скомандовал первый полицейский и недовольно добавил, обращаясь ко второму:

— Vor diesem Kriege wusste ich nicht, was Nerven heisst. Aber dieses russische Verharren ist zum Wuten... ¹.

— Подсоби-ка, внучка, — попросил Андрей Илларионович, — «...И остави нам долги наши, яко же и мы остав-

¹ До этой войны я не знал, что такое нервы, но русское упрямство меня бесит...

ляем должникам нашим», — чрезвычайно торопясь, продолжал он. — А сынам скажи, Степану скажи: благословил, мол, отец... Наказывал, чтоб мучителей этих... до единого... что б и семени ихнего не осталось... — он потерял голос, пошевелил беззвучно губами и выдохнул: «Яко же и мы должникам нашим».

Второй полицейский раздраженно сказал:

— Aufstehen! Schnell! ¹

— Я буду стрелять, — пригрозил первый.

— Он не может... Вы посмотрите сами!.. — крикнула Лена тонким альтом, вскочила и выпрямилась.

Она видела только пучок белого слепящего света, устремленный на нее, да тускло мерцавшие пуговицы на шинели полицейского, державшего фонарик. Но она знала, что из темноты, скрывавшей немцев, направлен в ее сторону револьвер, и инстинктивно выбросила перед собой руку, заслоняясь от пули.

— Он совсем старый, поймите! — напрягая память, она раздельно повторила по-немецки:

— Er ist sehr alt, sehr alt... Verstehen Sie? ²

На секунду-другую наступила тишина; слышался лишь молитвенный шепот Андрея Илларионовича: «...яко же твое есть царство... и сила и слава... ныне и присно и во веки веков...»

Луч фонарика резал Лене глаза, но она не отворачивалась, а поднимала голову и тянулась, тянулась всем телом кверху; белокурые, спутавшиеся волосы окутывали ее голову легким, пронизанным светом облачком. Потом с порога донеслось:

— Zurück! ³

— Отходи! Я тебя тоже буду стрелять, — рявкнул второй полицейский.

— Как вы можете? — удивилась Лена. — Ну как вы можете? — она бессознательно приподнялась на цыпочки, точно стремясь оторваться от земли и взлететь. И чувствуя поразительное наслаждение от своей отваги, то высшее, ни с чем несравнимое наслаждение, что содержится в самой смелости как награда за нее, она крикнула: — Изверги вы, звери вы! Подождите, придут наши, они вам

¹ Встать! Быстро!

² Он очень старый, очень старый... Понимаете?

³ Назад!

покажут! И ничего вы не сделаете с нами, не боимся мы вас!..

— Эх, дайте мне встать! — грянул в полную силу голос моряка. — Да помогите же!

Кто-то сильно толкнул Лену в плечо, она качнулась, отступила к стене, чтобы не упасть, и вышла из полосы света. Мимо метнулся маленький Вережкин в развевавшемся платке, и Лена догадалась, что это он попытался таким образом спасти ее от пули. Но в первое мгновение она даже рассердилась.

Витя и еще двое мужчин загородили ее собой; белый луч стремительно обежал камеру, осветив множество лиц, глаз, рук, заискрился на мохнатом от янея потолке и внезапно погас. Все заключенные были теперь на ногах, отчего их стало как будто вдвое больше; кто-то пробирался к двери, кто-то подошел к полицейским вплотную, и это испугало их.

— Auf ihre Plätze! Ah, zum Teufel!.. Zurück, schnell! — послышалось во мраке. Но на этот раз «назад» и «быстро» относились к самим немцам.

Дверь затем захлопнулась и взвизгнул засов — полицейские успели выскочить.

— Ушли! Выпустили их... — горестно воскликнул Вережкин.

— Сейчас воротятся... Ну, накрылись мы, — угрюмо проговорил парень в бекеше.

Витя достал из-за голенища гвоздь, потрогал острое и, подавив недолгое колебание, вложил гвоздь Лене в руку.

— На, пригодится тебе, — сказал он. — А я и так отобьюсь...

Он отдавал ей самое драгоценное в данную минуту — единственное свое оружие. И перед неминуемой и, видимо, безнадежной схваткой он не мог сделать лучшего, более щедрого подарка.

— Спасибо, Витенька! — просто сказала Лена.

— А ну, кто помоложе да покрепче — ко мне! — раздался бас моряка. — К последнему решительному готовсь!.. Сестричка, ты где? — позвал он Лену. — Здравствуй и прощай, сестричка, дорогая девушка нашей страны!..

¹ По местам! А, черт!.. Назад! Быстро!

...К тому часу, когда Володя Тихонов явился в красноармейский лыжный отряд, отправлявшийся в тыл врага, он был уже настолько измучен телесно и духовно, что с трудом понимал происходившее вокруг. Как и все, он ходил, вставал, садился, чистил оружие, съел обед, но если бы у него спросили, что он делал четверть часа назад, он не смог бы ответить. И он подолгу молча смотрел на людей, советовавших ему поплотнее поесть или предлагавших мазь для лыж, напрасно стараясь сообразить, что они от него хотят. Единственное, что не притупилось в его душе, а наоборот, непрерывно усиливалось, — это нетерпение, с каким он дожидался команды выступить. Иногда Володя даже как будто позабывал, куда и для чего он так торопится, — память отказывалась ему служить, но тем томительнее становилась в эти минуты его неутихавшая безымянная тревога.

За несколько часов перед выступлением всем в отряде было приказано спать, и Володя покорно лег, как и другие. Неожиданно для себя он очень быстро уснул, одурманенный усталостью... А затем ему приснилось, что его будят и он не может проснуться. Он знал, что проснуться необходимо, что если он не откроет глаз, не встанет, произойдет непоправимое несчастье, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Его охватил страх, нестерпимый, пронзительный, неодолимый... И вдруг он догадался — он не может подняться не потому, что спит, а потому, что руки и ноги у него связаны веревками. Это было так ужасно, что он вскрикнул. И в ту же минуту он открыл глаза... Было еще рано вставать, товарищи рядом спали, и он едва подавил в себе страстное желание немедленно разбудить их всех.

Как только смерклось, лыжники выступили; миновав тихий, окутанный вечерней тенью городской парк, они выбрались на шоссе и в районе Мышкинского Поселка перешли полосу нашего боевого охранения. Отряд направлялся к Арсеньевску... Там, как стало известно командованию Т-го боевого участка, находилась база снабжения немецких войск, действовавших на юге и юго-востоке от города. И чтобы ослабить натиск врага, было решено разгромить ее — вывести из строя железнодорожный узел и уничтожить воинские склады, устроенные немцами. Удар по Арсеньевску, в котором стоял крупный гарнизон, предполагалось нанести объединенными силами пар-

тизан и специально сформированной красноармейской группы. Где-то вблизи городка, в лесах, подступивших с запада, партизаны поджидали лыжников; нынешней же ночью те и другие должны были одновременно внезапно атаковать. И лишь теперь в ночном походе Володя начал догадываться о той связи, что имелась, повидимому, между донесением партизанского командира Никиты Даниловича и этой совместной операцией... Судьба, столь немилосердная накануне, вновь как бы улыбнулась Володе и его друзьям — все самым неожиданным образом складывалось благоприятно. И если только Лену и Витю действительно увезли в Арсеньевск, час их освобождения был, быть может, недалек. Володя, прикомандированный в качестве разведчика к отряду лыжников, шел с целой сотней красноармейцев освобождать своих друзей. И в третий раз за последние двое суток он благополучно пересек линию фронта... Поход вообще оказался поначалу удачным — большая сравнительно группа бойцов проникла незамеченной во вражеский тыл, беспрепятственно прошла по лесистым местам около двадцати пяти километров и появилась перед Арсеньевском даже несколько раньше, чем предполагалось...

В перелеске отряд построился для боя... И еще полтора часа Володе пришлось ожидать здесь сигнала к атаке. Незадолго до рассвета в темном безлунном небе возникла далекая розоватая точка, рядом появилась вторая, а когда они исчезли, на их месте замерцал туманный зеленый огонек...

— Две красные ракеты, одна зеленая... — прошептал Володя...

Неизъяснимое, острое и смутное чувство пронзило его. Вот, наконец, он увидел их: две красные и одну зеленую, просиявшие на мгновение в ледяной тьме — вот они и померкли уже одна за другой. И он очень удивился тому, что они были так тусклы, так слабы, еле заметны — эти крохотные, быстро отгоревшие звезды.

Тотчас же после сигнала красноармейцы начали выходить из-за деревьев. Вдалеке на окраине Арсеньевска, протянувшейся неотчетливой, совершенно черной полоской, залаяла собака, и сразу стало понятно, что до первых домов гораздо ближе, чем казалось. Затем перед окраиной замечались вспышки огня, загремели винтовочные выстрелы — это партизаны, должно быть, завязали

бой... И Володя, стиснув в правой руке гранату, поморщившись от боли, ринулся вперед вместе со всеми.

«Только б они были здесь — Лена и Витя! — пронеслось в его голове... — Только б не опоздать!»

Часть бойцов красноармейского отряда устремилась прямо к железнодорожной станции, другая прокладывала себе путь к центру городка, куда с противоположной стороны пробивались партизаны... В центре были расположены главные силы немецкого гарнизона — пехотный батальон и рота полевой жандармерии, здесь же помещалась кriegскомендатура, гестапо и стояло здание сельскохозяйственного техникума, превращенное в тюрьму. И хотя не все в дальнейшем происходило так, как намечалось по плану операции, хотя партизанам, встретившим на окраине города сильный немецкий патруль, пришлось открыть стрельбу преждевременно, беспорядочное сопротивление гарнизона, застигнутого врасплох, было сломлено довольно быстро.

На центральной площади Арсеньевска Володя столкнулся с Никитой Даниловичем. Вокруг шел бой — трещали автоматные очереди, звенели стекла, сыпавшиеся на мостовую, в окнах двухэтажного дома с большой вывеской «Универмаг» мелькало желто-белое пламя, отовсюду неслись крики, топот, перестук копыт... Рота жандармов, забаррикадировавшаяся в доме Универмага, еще отбивалась. И в этой тесной, оглушительной, сверкающей внезапным огнем неразберихе ночного уличного боя Никита Данилович медленно проезжал верхом на белогривом высоком коне...

— Товарищ командир! Товарищ командир! — закричал Володя обрадованно.

Он бросился вдогонку за Никитой Даниловичем, исполненный уверенности, что стоит только сказать партизанскому командиру о Лене и Вите, как тот немедленно помчится их освобождать. Простирая руку, цепляясь за седло, за стремя, Володя побежал рядом.

— Разрешите... Разрешите обратиться! — восклицал он.

— Это ты, старшой! — узнал его Никита Данилович. — Ты как сюда попал?

Конь затанцевал, завертелся на месте, и Володя едва успел отпрыгнуть.

— Здесь Лена и Витя! — крикнул он издали.

— Слушай, старшой! — возвысил голос Никита Данилович. — Беги, найди командира армейцев, скажи лейтенанту, что мы сейчас управимся... Скажи, что комендатуру порешили уже...

И видя, что Володя все порывается с отчаянным видом приблизиться к нему, подбегает и отскакивает, он ободряюще добавил:

— Давай, давай, старшой! Гляди веселей...

Рванув повод на себя так резко, что конь присел на задние ноги, он что-то сказал всаднику, подъехавшему сбоку, и, ослабив повод, пустил с места коня стрелой. Комья снега, вылетевшие из-под копыт, ударили Володю в грудь. А через минуту к нему донесся полноразличный, сильный, точно ликующий голос Никиты Даниловича:

— Кончай дело, ребята! Дружно!

Обернувшись, Володя увидел, как этот совхозный агроном, привстав на стременах, извлек из ножен клинок своей шашки, блеснувшей голубым огоньком, и с величием истинного военачальника выбросил ее вперед острием...

Раздалось «ура», снег озарился багровым светом от одновременных почти разрывов гранат, по фасадам домов пронесли гигантские тени... Володя, не колеблясь больше, кинулся исполнять новое поручение партизанского командира — разыскивать лейтенанта, командовавшего лыжниками... Но как он был обескуражен! И какая злость на Никиту Даниловича — невольная, безрассудная — вновь поднялась в нем.

Впрочем, командира красноармейцев он нашел легко — тут же за углом на главной улице городка. Лейтенант стоял перед оградой из колючей проволоки, которою было обнесено здание сельскохозяйственного техникума; вдоль ограды пробегали бойцы... И судьба, точно играя с Володей, одарила его еще одной доброй улыбкой: лыжники уже совершили то, о чем он неудачно пытался напомнить Никите Даниловичу, — тюрьма только что была взята и сейчас происходило освобождение заключенных. В рассветном посеревшем воздухе плохо различались лица людей, выбегавших из огромного темного здания. Но Володя услышал женские голоса: кричащие, плачущие, счастливые, и сердце его неистово заколотилось — в то-

ропливом, буйном человеческом потоке, растекавшемся по двору, по улице, должны были где-то быть Лена и Витя.

Три бойца с винтовками наперевес провели быстрым шагом кучку полицейских в черных шинелях. Какие-то женщины в платках обступили лейтенанта; толпа освобожденных непрерывно росла. Володя беспомощно топтался на месте, не зная, как разыскать здесь своих друзей, боясь разминуться с ними...

Неожиданно за колючей проволокой у самой стены тюрьмы забилось на снегу пламя пулемета... И толпа на улице точно вздохнула — так громко, что даже пулеметная стрельба не смогла заглушить этого ее испуганного вздоха. Володя успел еще заметить, как люди метнулись в разные стороны, как залегали на тротуаре красноармейцы, как блеснули ответные выстрелы. А затем все его внимание, все силы души и тела устремились на одно — подобраться ближе к этому скакавшему в углу двора пламени и загасить его, задавить...

Пробежав несколько шагов, Володя, опомнившись, тоже лег и пополз...

«Скорее, скорее, — подгонял он себя. — Там же безоружные, там Лена и Витя!»

Ужаснувшись за них, Володя поднялся на ноги. Еще пять-шесть шагов он пробежал пригнувшись, и вновь инстинкт самосохранения повалил его на землю; щекой он ощутил, как ласку, холодное прикосновение снега и прижался к нему. Но до эсэсовского пулеметчика — невидимого убийцы с полными патронными дисками оставалось метров пятьдесят, и на такое расстояние Володя мог не добросить гранаты... Сердце его переполнилось яростью и отчаянием.

«Трусишь!.. — возмутился он. — Там же Лена!.. Там женщины!..»

Будто прыгая в пропасть, Володя опять вскочил... Промчавшись еще пять шагов, и еще три, и два, он почувствовал сильный толчок в грудь. Но ступив еще шаг вперед, он размахнулся, изогнувшись, швырнул гранату и лишь после этого, как бы споткнувшись, упал лицом вниз.

Больше он не поднимался... В последнюю секунду Володе показалось, как это было с ним во сне, что если он немедленно не встанет, то произойдет что-то непостижимо

страшное. Но он даже не двинул головой, так как в это именно мгновение сознание его погасло.

Он не увидел ни того, как разорвалась в углу двора его граната, как черные обрывки и обломки мелькнули в дыму, ни того, как через улицу бежала Лена в распахнутом кожаном плаще...

— Володя! Вова! — звала его девушка. — Пришел!.. Вова!..

И нагоняя ее, хрипло восклицал Вережкин:

— Я ж тебе говорил — Володька меры примет... Я ж говорил — объявится он... Я ж говорил!

Будто близкая молния прорезала внезапно темноту, все посветлело на миг, и загрохотал огромной силы взрыв — это взлетел на воздух в районе железнодорожной станции немецкий склад боеприпасов... Лена, подбежав к Володе, опустилась на колени, нагнулась над ним и коротко, тонко, как подраненный зверек, вскрикнула.

7

В конце ноября — начале декабря бои под Т. достигли наивысшего напряжения; немцы, стремясь замкнуть кольцо блокады, атаковали одновременно с юго-востока и с запада. И когда мы рассматриваем теперь военные карты и схемы, относящиеся к заключительному периоду обороны Т., старый город в Подмоскowie предстает перед нами в окружении множества нацеленных на него синих стрел, обозначающих наступательные усилия врага. Было что-то обреченное, что-то подобное безумию в этих бесконечно повторявшихся атаках, после которых переставали существовать целые немецкие соединения. Но и силы и средства защитников Т. истощались... Со дня первого штурма — 30 октября город не переживал столь большой опасности, какая нависла над ним сейчас, к началу декабря.

...Отброшенный от безымянных высот на берегу Русалочки, неприятель с утра следующего дня попытался продвинуться на соседнем участке. Там, в районе деревни Голые поляны, в течение двух суток не прекращались атаки эсэсовской пехоты и танков, но на линии рабочего полка установилось на это время относительное (если не считать минометного огня) затишье.

Вечером на исходе вторых суток Павел Громов был

вызван на правый берег Русалочки в штаб полка, и Елисеев не без тайного беспокойства дожидался его возвращения, так как Павел должен был докладывать о вещах первостепенной важности: о безусловной необходимости пополнения роты людьми, о перебоях в снабжении бойцов на переднем крае горячей пищей и между прочим о Бокве, судьба которого также, вероятно, решалась сегодня. Обойдя посты и вернувшись в командирский блиндаж, Прокофий Яковлевич прилег было отдохнуть на свой застеленный хвоей лежак, но вскоре вновь поднялся, — глухая тревога томила его, побаливало сердце. И Елисеев решил, раз уже выдались спокойные полчаса, написать письмо родителям Коли Охотникова — рано или поздно это труднейшее, горчайшее письмо надо было написать. А помимо того Елисеев в глубине души сам искал утешения. Мысль об Охотникове не оставляла его. И в рассказе о подвиге этого юноши, о последних минутах его жизни — недолгой и бесстрашной — Прокофий Яковлевич как бы надеялся ослабить, истощить свою печаль о нем.

Достав бумаги Охотникова: письма из дому, с которыми тот не расставался, его комсомольский билет, тетрадку с портретом Пушкина на обложке, Елисеев, насупившись, поджав губы, отчего встопорщилась седая бородка, долго перебирал и разглядывал их. Каждый человек по глубокому убеждению Елисеева был рожден для больших дел, для славного доброго труда; каждый или почти каждый в огромном множестве людей, близких по единству жизненных целей, был так или иначе необходим и дорог всем остальным. Беспольных людей, по мнению политрука, вообще не существовало — требовалось лишь правильно понять человека, внимательно отнестись к нему... А сейчас Прокофию Яковлевичу казалось, что он потерял в бою настоящего, быть может, великого поэта. Разумеется, Коле надо было еще много учиться, Елисеев сам не раз говорил ему это, читать побольше классиков, но и теперь уже всем в роте, и не только в роте, но и в полку, нравились его стихи...

Елисеев открыл помятую тетрадку... На первой странице вверху он увидел нарисованную красным карандашом пятиконечную красноармейскую звезду, от которой расходились в стороны острые лучи. Внизу неровным, без нажимов, ученически неустоявшимся почерком было написано:

«Дядя не будет за меня фашистов бить, и у него свой счет».

Дальше следовали стихи, и Прокофий Яковлевич углубился в чтение. Иногда он шумно вздыхал — в блиндаже, кроме него, никого не было; иногда покачивал головой, точно удивляясь тому, что читал; поежившись от холода, он поднял воротник пальто. Из-за дощатой перегородки, где помещался телефонист, время от времени слышалось: «Яблоня, Яблоня... Я — Сосна... Это ты — Касаткин... Все в порядке — зажигаем покамест... Рябина!.. Я — Сосна... Проверка» — да без перерыва почти доносились в блиндаж глухие частые удары, как будто забивали сваи в мерзлый грунт — это в стороне Голых полей все еще шел бой...

Вскоре к Прокофию Яковлевичу пришли за газетами: Куликов — агитатор из третьего взвода, а с ним — два бойца.

— Сейчас, я сейчас, посидите, товарищи, — сказал политрук.

Бойцы расположились на лежаках и закурили. Продрогшие и не просто утомленные, но как бы даже апатичные от усталости, безучастные ко всему на свете после недавних боев, они молча ждали...

Отдав Куликову свежие газеты и сводку Совинформбюро, присланные из штаба полка, Прокофий Яковлевич спросил:

— Время у вас есть, товарищи? — он осторожно, озябшими, неспявавшимися пальцами опять взял тетрадку в розовой обложке. — Желаете послушать? Это наш Коля Охотников сочинил.

Вместо ответа один из бойцов негромко, с усилием проговорил:

— Товарищ политрук, насчет пополнения ничего не слыхать? В Ташкенте, в Томске народу, я думаю, хватает еще...

— Будет пополнение... Обязательно, — сказал Елисеев и перевернул страничку. — Так вот, желаете послушать?

— Эх, стишки-басни!.. — неопределенно сказал боец; он глубоко затянулся и, выпуская табачный дым, поднес ко рту свои темные руки, сложенные ковшиком, чтобы согреть их этим летучим теплом.

Не спрашивая больше, Елисеев придвинул к себе копилку, поправил хилый огонек и, отогнув воротник пальто, стал читать вслух медленным важным голосом:

Над нашим окопом стрелковым
Завыли снаряды опять,
Но дали мы гордое слово
До смертного вздоха стоять.
Окоп наш фугаски кромсали,
И танки стремились в прорыв...
Не дрогнули мы, устояли,
Собою Россию прикрыв.

Елисеев читал излишне старательно, с длинными паузами, выделяя чуть ли не каждое слово. Тем не менее его слушателям почудилось, что это голос самого Охотникова — преобразившийся, необыкновенно значительный, торжественный — зазвучал в полутемном блиндаже; ощущение было таким неожиданным и сильным, что Куликов даже встал с лежака. И хотя в другое время в другом месте эти несовершенные стихи и не произвели бы впечатления, они воздействовали здесь, сейчас неотразимо. Внимание, с которым бойцы слушали своего павшего в бою товарища, вновь заговорившего с ними наперекор самой судьбе, становилось все более напряженным, трудным; на худом, цвета земли лице Куликова выразилось в первую минуту изумление...

Мы помнили в битвах кровавых —
За нами — родная земля,
И нашей столицы заставы,
И древние башни Кремля.
Мы наше рабочее слово
Сдержали в жестоких боях...

Тут у самого Елисеева пресекался от волнения голос; подождав немного, он громко, раздельно повторил:

Мы наше рабочее слово
Сдержали в жестоких боях,
В горящих домах поселковых,
В родных подмосковных полях...
Мы жизнью рискуем не даром
И скоро по ордам врагов
Ударим, ударим, ударим
Всей мощью советских полков!

Куликов оглянулся на бойца, спрашивавшего о пополнении; тот застыл в неловкой позе, держа на весу недокурную самокрутку... В стихах их товарища все было

правдой, той возвышенно выраженной правдой, которою они жили, Охотников больше, чем кто-либо, имел право так именно высказать ее. И она — правда — придавала его стихам необыкновенное могущество истинной поэзии.

— Замечательно написано, — тихо сказал Елисеев, кончив читать. — Надо в Боевом листке поместить... Вы, товарищ Куликов, перепишите-ка стихотворение...

— Как составил, а! Ах, Коля, Коля! Ведь все до точности — и про окоп, и про танки! — Куликов озирался, будто искал глазами автора, голос которого только что раздавался в блиндаже.

Второй боец, хранивший до сих пор молчание, откашлялся и проговорил:

— В нашем листке — само собой... Надо в областную газету переслать, в «Коммунар».

— Да, да, правильно! И туда пошлем, — сказал Елисеев.

— Я бы и в центральные газеты послал, в Москву, — сказал первый боец. — Пусть все прочитают. И полную подпись дал бы: Николай Охотников.

— Позвольте мне, я для себя лично спишу, — попросил второй боец.

И пока стихотворение переписывалось, Елисеев подумал, что Охотников и после своей гибели действовал и сражался, оставаясь вместе с живыми... Мысль эта несколько утешила Прокофия Яковлевича.

Бойцы еще не разошлись, когда вернулся в роту Павел. Он принес дурные вести: неприятель, наступавший из района Голых полян, прорвался к самой черте города... Бой грозил переброситься на улицы, и части, оборонявшиеся на берегах Русалочки, в том числе рабочий полк, получили приказ отступить, чтобы не оказаться изолированными. Новый рубеж обороны, который надо было нынешней же ночью занять, проходил уже по линии городской окраины.

...Незадолго до рассвета рота Павла, выполняя приказ, оставила два безымянных, сплошь изрытых воронками, голых холма, которые так долго и стойко она защищала. В полном молчании, очень медленно, спотыкаясь на неровном льду, обходя свежие полыньи, бойцы переправлялись на другой берег. С вечера разыгралась метель, и всю ночь в густом безлунном мраке носились

снежные колючие вихри. Одним из последних уходил Боков (только что он вновь получил винтовку — командир полка счел возможным прекратить дело об отлучке Бокова, геройски искупившего в бою свою вину); бережно, обеими руками нес снайпер возвращенное ему оружие, но был угрюм и молчалив, как все.

Прошел месяц с начала осады Т., но Ласточкину иногда казалось, что это тянулся один и тот же безмерно длинный день. За окнами время от времени светило солнце, и секретарша Марья Алексеевна, подняв маскировочные шторы, гасила электричество, горевшее всю ночь, потом опять спускались сумерки, и она, занавесив окна, включала свет. Но и с наступлением вечера ничто не изменялось в кабинете председателя Городского Комитета Оборона, где в полночь было так же беспокойно, а порой людно, как в полдень. Нескончаемой чередой проходили перед Ласточкиным командиры, рабочие, комсомольцы, хозяйственники, политработники, колхозники, связной партизанского отряда, заведующая детским домом, директор магазина, врач, заводской мастер... И то, что составляло теперь главное, а точнее — единственное содержание жизни Ласточкина, было в делах и в судьбах этих людей. К председателю Комитета являлись за указаниями и с отчетами, с донесениями и за помощью; из его кабинета отправлялись на передний край или на восстанавливаемый завод, на окраину города в контратаку или в тыл врага на подвиг. И Ласточкин должен был как бы сопутствовать каждому... Даже ощущение собственной личности, то есть каких-то одному ему — Якову Захаровичу Ласточкину — присущих вкусов, симпатий, потребностей, привязанностей, часто теперь покидало его. И вместе с тем никогда еще важнейшие, лучшие его душевные способности — цепкость мысли, неравнодушие, упорство — не обнаруживались столь полно. Никогда еще Ласточкин не был в такой степени самим собой, как сейчас, когда надолго позабывал о себе. А успех или неуспех людей, окружавших его, новые затруднения и новые задачи питали в то же время его сильнейшее личное переживание — чувство своей ответственности. Со стороны глядя, можно было подивиться неумоимости Ласточкина — он мог не спать по двое

суток и, поспав два-три часа, вновь принимался за работу. И это же постоянное, не дававшее ни минуты покоя чувство ответственности за людей неизменно поддерживало его.

Поздно вечером на заседании Городского Комитета Оборона обсуждались очередные и, как всегда, неотложные вопросы. Председатель облисполкома Шаров доложил о запасах продовольствия в Т. и о необходимости уменьшить нормы выдачи населению хлеба. Город находился ныне в почти полном окружении: все железные и шоссейные дороги, связывавшие его с Москвой, с другими городами, были перерезаны неприятелем. И следовало поэтому возможно экономнее расходовать то, что имелось пока еще на складах... Затем Комитет Оборона принял решение о сборе и пошивке зимней обуви для Красной Армии.

— Обязать секретарей райкомов ВКП(б), председателей райисполкомов, председателя горисполкома, заместителей директоров заводов, — Ласточкин, откинувшись на спинку стула, полуприкрыв глаза, диктовал текст постановления, — организовать среди трудящихся... сбор валенок для бойцов, командиров и политработников... Пункт второй: обязать секретаря Центрального райкома ВКП(б) товарища Малышкина...

Вспыхнула сигнальная лампочка на столе, и он автоматически, не поворачиваясь к телефонному аппарату, протянул руку... Переговорив с директором фабрики, сообщившим о выпуске новой партии противотанковых мин, Ласточкин так же, не глядя, опустил телефонную трубку на рожки. И секунду-другую молчал, вспоминая; тускло блеснул его высокий, выпуклый, покрытый испариной лоб.

— Пункт второй — написали? Обязать секретаря Центрального райкома ВКП(б) товарища Малышкина организовать изготовление валенок из войлока, имеющегося на предприятиях, — продолжал он, точно речь его не прерывалась. — Написали, Марья Алексеевна? Передайте, пожалуйста, телефонограммой... Петр Акимович, — обратился он к Шарову, — надо нам собрать наших хозяйственников. Завтра не сможем, не успеем оповестить, а послезавтра соберем обязательно.

Ласточкин выпрямился на стуле и быстро светлыми глазами оглядел присутствовавших.

— Ко мне приходили утром представители «Металлопродукта», — возвысив голос, проговорил он. — Товарищи считают, что если их артель заготовила десять тысяч скоб, то на этом можно успокоиться. На ближайшее время этого, пожалуй, и в самом деле хватит... Ну, а если подсчитать, сколько скоб потребуется нам на восстановление одного только Черепановского моста?

— Черепановского? — переспросил кто-то.

Сидевший в дальнем углу пожилой человек с наголо обритой головой — руководитель областной кооперативной организации, приглашенный на сегодняшнее заседание, оглянулся на соседей, как бы спрашивая, правильно ли он расслышал?

— Десятью тысячами не обойдемся, ясное дело, Яков Захарович! — неуверенно сказал он. — Да ведь надобно еще немца выбить из Черепанова.

— Думаете — рановато ставить такие задачи? Нет, не рановато...

Ласточкин поднялся со стула и вышел на середину комнаты, стоя он выглядел особенно, по-студенчески молодым — худой, туго подпоясанный узким ремешком, широкий в плечах, но со впалой грудью; защитного цвета гимнастерка топорщилась на его спине.

— Москва нас запросила, товарищи, готовимся ли мы восстанавливать наше разрушенное хозяйство? — сказал он. — Москва напомнила о том, что нам предстоит...

— Дела будет много, — как бы с удовольствием даже сказал Шаров, — ох, много!

— Совершенно с вами согласен! — воскликнул человек с бритой головой. — Дела на всех хватит.

Люди задвигались, заговорили все разом: неожиданное сообщение председателя Комитета было в высшей степени утешительным. И если, несмотря на всю чрезвычайную тяжесть положения на фронте, Москва запрашивала осажденный город о готовности к мирному труду — это означало, что недолго теперь оставалось ждать решительного поворота к лучшему...

— Следует учесть, что использовать придется в основном местные ресурсы, — торопился высказаться кооператор

— Именно, — сказал Ласточкин. — Необходимо подсчитать, прикинуть... А главное, необходимо, чтоб товарищи уяснили себе — время не терпит. Надо завтра уже начать выпускать продукцию, которая потребуется для восстановления хозяйства в области.

— Отрадно слышать, Яков Захарович! — сказал начальник военного отдела Терехов.

— Одного кирпича сколько требуется, а леса, а гвоздей, а стекла! — Кооператор потер ладонью свою голую макушку. — Ох, чует мое сердце, Яков Захарович, вызовете вы меня в скорости и скажете: «Медленно поворачиваетесь, товарищ Полуянов».

Он проговорил это с мечтательной почти интонацией.

— Обязательно скажу, покрепче скажу, если долго раскачиваться будете, — сухогато, не приняв шутки, пообещал Ласточкин.

Шаров засмеялся, а руководитель областной кооперации с благодарностью посмотрел на Ласточкина. В эту минуту перспектива даже самого тяжелого, но мирного труда представлялась людям, собравшимся здесь, самой счастливой.

Опять загорелась на столе сигнальная лампочка. На этот раз звонил генерал Дьяков; начальник боевого участка был на своем командном пункте, и обстоятельства не позволяли ему приехать сегодня на заседание. Слышимость почему-то испортилась — в трубке раздавался такой свист и гул, точно это выюга, закружившая с вечера над городом, шумела в ней.

— Танки бригады Эбербаха атакуют прямо на запад... — с трудом разобрал Ласточкин... — Третья немецкая танковая дивизия охватывает город с северо-востока...

И голос Дьякова потонул, пропал в шуме и завывании, потом опять пробили издали...

— ...Жарко, Яков Захарович, жарко... — еле слышно донеслось к Ласточкину. — Мои люди по суткам не выходят из огня...

Это было похоже на жалобу — первую, вырвавшуюся у Дьякова за все время их совместной деятельности...

Далее генерал сообщил, что неприятель только что овладел деревней Голые поляны, что группа немецких танков прорвалась к юго-восточной окраине города и что там идет сейчас ожесточенный бой...

На какое-то мгновение Ласточкин почувствовал острую досаду, точно ему помешали в более важном деле. Потом он подумал, что необходимо было, не откладывая, привести в боевую готовность все резервы, имевшиеся у Комитета Обороны.

— Сегодня же приеду к вам, товарищ генерал! — прокричал он в трубку несильным, зазвеневшим от напряжения голосом, — не считаете ли нужным выдвинуть на рубеж истребителей?..

Говоря это, он имел в виду комсомольские отряды истребителей танков — всего двадцать семь отрядов, что вновь были сформированы в Т. в помощь Красной Армии.

— А что ж, вреда не будет, давайте мне их... — отозвался сквозь вой и треск Дьяков; казалось, что аппарат генерала был установлен в самой гуще боя, посреди стрелявших винтовок и рвавшихся мин. — Пусть молодежь привыкает к обстановке... Присылайте — пусть осваивается...

Но Ласточкин помедлил вдруг с ответом. В отряды истребителей пошла действительно зеленая молодежь — семнадцатилетние юноши и девушки; до сей поры они несли охрану складов, патрулировали на улицах города. И отправляя их нынешней ночью в распоряжение военного командования — в бой, Ласточкин в последнюю минуту заколебался...

— Алё, алё... Яков Захарович, вы слушаете? — будто сквозь треск пальбы раздавалось в трубке.

— Через час истребители поступят в ваше распоряжение, товарищ генерал, — крикнул Ласточкин.

Ему захотелось добавить, что молодежь следует поберечь, что лишь в самом крайнем случае позволительно послать ее в огонь... Но тут опять заговорил Дьяков.

— Отобьемся, Яков Захарович! Были у нас с вами и похуже времена. А до этой вашей молодежи дело не дойдет, я полагаю. Тут мы принимаем кое-какие меры. Приедете ко мне, потолкуем...

В аппарате щелкнуло, и наступила тишина — Дьяков положил трубку... Не выпуская из руки своей трубки, Ласточкин соединился с горкомом комсомола и отдал приказ поднять немедленно по боевой тревоге все двадцать семь истребительных отрядов... Обернувшись, он увидел,

что Шаров, щуря припухшие глаза, испытующе смотрел на него, а кооператор торопливо убирал в портфель бумаги, собираясь уходить.

Ласточкин сел к столу и внешне спокойно, сдерживаясь, сказал:

— Итак, товарищи, записываем: мы собираем наш хозяйственный актив на оперативное совещание... Куда вы заторопились, товарищ Полуянов? — мы не кончили еще. Вас мы попросим представить свои соображения по предприятиям промкооперации.

И почувствовав, что люди обеспокоены, опечалены, удручены, отвечая на их невысказанные вопросы, он проговорил — медленно и негромко:

— Тяжелые бои идут и днем и ночью, товарищи... Враг не ослабляет натиска. Тем не менее мы ближе сегодня к нашей победе, чем вчера. Время работает на нас... на нас... По сравнению с концом октября мы на целый месяц ближе к нашей победе. А значит, пора подумать и о том, что мы будем делать на следующий день после победы. Может быть, ты, Петр Акимович, — он взглянул на Шарова, — коротенько доложишь на совещании.

Шаров в знак согласия наклонил голову.

— И народ послушает... Люди нам многое подсказут, — сказал Ласточкин.

Внезапно в кабинете погас свет... И только крошечные красные огоньки папирос остались в темноте, будто хлынувшей сюда с ночной улицы. За стеной в коридоре забегали бойцы охраны, потом в соседней комнате грохнул опрокинутый стул.

— На подстанции авария, что ли? — пробормотал кооператор, — или отключили нас?

Ему никто не ответил... И одна и та же мысль возникла у всех, одна и та же догадка: немцы, действовавшие далеко на севере, в районе Каширы, перерезали, возможно, линию высоковольтной передачи, идущую оттуда в Т. А, следовательно, город, взятый врагами в кольцо, лишился, быть может, главного источника энергии, питавшей промышленность, хлебозаводы, мельницы, водопроводную станцию... Все это мгновенно оказывалось парализованным, если только поступление электроэнергии действительно прекратилось.

— Может, замыкание где, надо бы пробки посмотреть, — после долгой паузы вновь подал голос кооператор — он не терял еще надежды.

Затем в кабинете появились Марья Алексеевна и два бойца охраны, несшие зажженные керосиновые лампы. Поставив лампы на стол, Марья Алексеевна наклонилась к Ласточкину:

— Нигде нет света, Яков Захарович! — сказала она. — Со станкостроительного звонили — там остановились моторы.

И как ни тихо она сообщила это, ее услышали все... Самая тревожная догадка подтверждалась таким образом: на заводах в Т. перестали работать станки и непроглядный мрак воцарился повсюду в городе — в цехах, в мастерских, на фабрике-кухне, в квартирах; замерли, должно быть, механизмы на водопроводной станции, немота поразила радиосеть. И могло случиться так, что завтра уже в булочных не будет хлеба, потому что машины на хлебозаводах тоже, повидимому, остановились... Новый удар был нанесен врагом по важнейшим жизненным центрам города, и точно внезапное окостенение быстро в разных направлениях охватывало его.

— Телефон действует? — так же тихо, но нетерпеливо спросил Ласточкин. — Полевой действует, ну разумеется...

Придвинув к себе ящичек с телефоном, он поочередно стал вызывать районные комитеты партии: Привокзальный, Зареченский, Пролетарский...

...А за чертой погрузившегося в темноту города, в одном-двух километрах от его окраин, солдаты Советской Армии отбивали этой ночью многократные атаки врага. На снегу пылали зеленые, белые, малиновые ракеты, и трассирующие пули роились в стылом воздухе, светясь и жужжа, точно осы. Дальше, перед Каширой, конногвардейцы генерала Белова сосредоточивались в эти часы для удара по флангам прорвавшейся немецкой мотопехоты. И еще дальше на севере от Москвы пехотинцы генерала Панфилова, кавалеристы генерала Доватора, танкисты генерала Катуква стояли этой ночью насмерть в дачной подмосковной местности, сражаясь один против четырех. Там так же метались по снегу зеленые, белые, малиновые отсветы, так же бесновался огонь — уничтожающий, отсечный, заградительный, кинжальный, фланкирующий, прикрывающий... И лишь там,

где падал сейчас бездыханным последний защитник рубежа, враг проходил по трупам своих солдат на сотню метров вперед...

8

Наташа под вечер, лишь начало смеркаться, пришла с завода в Заречье. Павел в последнем своем письме просил отправить в тыл на Урал чертежи его станка-автомата, и Алексей Васильевич послал Наташу домой взять их. Не застав Анны Васильевны, присев отдохнуть в комнате мужа (Наташе было известно теперь условное место, где лежал ключ от входной двери), она незаметно для себя уснула — уж очень нахлопоталась она на заводе за последние дни. А когда проснулась, звонкое назойливое дребезжание раздавалось в домике — тряслись все стекла в ветхих окошках. И этот пронзительный шум не могло заглушить даже тяжелое гроыхание пушек... За окраиной, не слишком далеко отсюда, опять, как и вчера, как и третьего дня, шел бой.

В комнате было уже совсем темно; Наташа поспешно опустила бумажные шторы на окошках, нащарила выключатель, но как ни вертела его, свет не вспыхнул... Случайно задела она локтем свечу в подсвечнике, чуть не опрокинув ее, и в кухне на полке с посудой нашла спички. Взглянув на «ходики», висевшие в столовой, она изумилась — было уже около одиннадцати часов ночи... А близкая канонада не прекращалась, и старый, разохшийся домик Алексея Васильевича отзывался на нее таким отчаянным звоном, точно весь он был стеклянный. Держа подсвечник в одной руке, прикрывая другой слабый огонек, Наташа с заколотившимся сердцем прислушалась. Тяжкие удары пушек и еще какой-то трескучий шум доносились, казалось ей, со стороны заставы, из района Голых полян, а там где-то стоял теперь рабочий полк и, значит, был Павел.

Больше месяца уже прожила Наташа в Т., в осаде, и притерпелась ко многим невзгодам и опасностям — к холоду в вымороженных цехах, к налетам немецких бомбардировщиков, к почти постоянному гроыханию боя вблизи города. Но свыкнуться с тем, что в этом бою под бомбами, снарядами, минами, пулями находился бессменно изо дня в день ее муж, Павел, она не смогла... После их недавнего и, несмотря ни на что, счастливого свидания

на заводе ее тревога, облеченная в одни и те же вопросы: «Что с ним?», «Где он?» — лишь увеличилась. И думая о муже, сражавшемся почти что у ее порога, она, как и другие женщины в городе, испытывала постоянную страстную потребность что-то для него сделать: помочь, защитить, утешить...

Поручение Алексея Васильевича — принести на завод чертежи Павла — обрадовало Наташу: все же таким образом она оказывалась полезной мужу. А очутившись в опустелом, звеневшем, как ящик с разбитой посудой, домике свекра, она подумала о том, что чертежи эти давно следовало переправить в более надежное место... И так как ей просто необходимо было услышать сейчас чей-нибудь живой голос, она заговорила сама с собой:

— Подумать только — в незапертом шкафу весь проект держать! — Нет, только подумать... мало ли что могло случиться. Вот всегда он такой, всегда!

Но самый звук собственного голоса ободрил Наташу, вернее возбудил ее энергию. Не мешкая больше, она принялась за дело: распахнула шкаф Алексея Васильевича, придвинула стул, поставила на него подсвечник со свечой... И появляясь из темных недр старого вместительного шкафа, быстро замелькали в ее руках папки, листы ватмана, свернутые в трубки, тетради вперемежку с пожелтевшими газетами, письмами, потрепанными книжками, ученической готовальней, карманным фонариком... Все это грудой легло у ног Наташи, распространяя запах нафталина и махорки.

— Так.... Папки заберем, газеты оставим... Кальки тоже заберем... — вслух громко оповещала она, встав на колени. — Письма оставим.

Неожиданная находка привлекла ее внимание: в нижнем ящике шкафа Наташа обнаружила небольшую железную, искусно сделанную в виде сундучка шкатулку, а в ней — женский головной гребень, старинный, усыпанный блестящими стекляшками, сережки с крохотными капельками бирюзы и обручальное кольцо, гладкое, медное со следами серебрения...

«Неужели от жены Алексея Васильевича осталось?» — мелькнула у Наташи догадка.

И любопытство, удивление, сочувствие охватили ее. Нивесть сколько времени пролежали здесь эти вещицы,

драгоценные лишь для одного состарившегося человека, хранившего их, и она как бы подглядела нечаянно в чужой жизни то, что обычно прячут от постороннего глаза, — неисцелимую душевную скорбь, глубокое потаенное чувство. Незвестная ей, давно умершая «красавица Оленька», мать ее мужа, была и в самом деле, как видно, очень хороша, если внушила к себе такую долгую, неумершую любовь. И Наташа повертела задумчиво в пальцах медное кольцо, потрогала провололочные сережки; на лице ее — округлом и все еще румяном, с теплыми темными глазами — выразилось искреннее сожаление. Осторожно, точно драгоценность, поставила она на место в шкаф железный сундучок...

Наконец, Наташа собралась уходить. Она едва обхватила толстый рулон, в который скатала все ватманы и кальки (отделить в них важное от неважного она была не в силах сейчас, при свече, да еще под уханье пушек); в другой руке она держала тяжелую связку папок с эскизами и расчетами. Но Наташа была довольна, спасая, казалось ей, от гибели большой труд своего мужа. И если б только ему понадобилось, она дотащила бы на себе этот рулон и папки до самого Урала — так по крайней мере подумалось ей...

Возвращаться на завод было уже поздно — ее, без сомнения, остановил бы ночной патруль. И Наташа решила идти искать Анну Васильевну: старуха задержалась, должно быть, в своем уличном комитете — через пять или шесть домов отсюда; там же в комитете имелось бомбоубежище, где всего лучше, пожалуй, было подождать до утра.

...В эту же ночь и примерно в этот же час двадцать семь истребительных комсомольских отрядов, поднятых по боевой тревоге, занимали рубежи на окраине города. В темноте, храня молчание, торопясь и волнуясь, юноши с гранатами на поясных ремнях, девушки с санитарными сумками пробирались по заваленным снегом улицам, входили в дома либо ложились в пышные сугробы, наметенные у заборов. Один из отрядов прошел в конец Пороховой улицы; дальше, за крайними строениями, лежал обширный пустырь, смутно выступавший из мглы, когда зеленые, желтые, багровые отцветы близкого боя окрашивали над ним небо.

— Проверь оружие! Стрелять по команде! — напоми-

нали командиры, обходя своих бойцов. — От танка не беги ни под каким видом...

Невыносимо медленно, под колючим ветром, вздымавшим снежную пыль, или в нетопленной избе у разрисованных морозными узорами окон тянулись минуты ожидания.

— Песню запеть, что ли? — предлагал кто-нибудь. — С песней время скорее идет...

Но песня не получалась на этот раз — молодые бойцы нервничали перед первым огневым испытанием. Каждый так или иначе готовился к нему: один засовывал сзябшую руку за пазуху, чтоб не подвела, когда придется действовать гранатой; другой дул на стекло, чтоб не затянуло лунку, в которую надо было наблюдать за пустырем; третий твердил про себя правила борьбы с танками; четвертый стискивал зубы, силясь перебороть невольную дрожь...

Комитет Пороховой улицы, где председательствовала Анна Васильевна, находился в подвальном этаже каменного углового дома на перекрестке со Штыковой улицей. Когда-то там был трактир — «погребок», как помнили его старожилы, потом — склад изделий промысловой артели «Кожевник». И терпкий запах выделанных кож держался еще в этом большом, разделенном арками на несколько помещений подвале. Нынешней ночью он ошутимо примешивался к запахам мыла, соды, мокрого белья, к испарениям нагретой воды, что поднимались к сводчатому запотевшему потолку.

Женщины — Анна Васильевна и ее соседки — стирали этой ночью белье солдатам, сражавшимся невдалеке. Танковая рота и целый гаубичный дивизион стояли теперь на Пороховой улице, в окраинных садиках и дворах, и жители Заречья, как умели, ухаживали за своими постояльцами и защитниками... С вечера сегодня те стреляли непрерывно — замолкала одна батарея, начинала бить другая; глухо, точно снег сбрасывали с крыш, отдавался под низкими сводами грохот орудий, срывались с потолка и шлепались крупные капли, и Настя, поднимая голову, отерев взмокшее лицо внутренней стороной локтя, говорила:

— Слышь, слышь, наши пушкеры лютуют!

— Дай им, господи, домой живыми вернуться, — от-

зывалась тучная Варвара Егоровна, окутанная, как облаком, паром. — Вот мучение еще, словно слепые, в этой темнотище тычемся! — вздыхала она.

Около полуночи в доме погасло по неизвестной причине электричество. И сейчас одна маленькая керосиновая лампа с жестяным рефлектором, повешенная на стене, слабо мерцала в насыщенном влагой воздухе.

Наташа, опустившись в подвал, не сразу нашла глазами Анну Васильевну — расплывчатые тени шевелились здесь в жарком тумане, перекликаясь женскими голосами, слышались плеск, журчание, шарканье калош... Но вот раздался громкий бас тетки Павла — старуха, стоявшая недалеко от входной двери, разговаривала с человеком в пальто, также, видимо, только что вошедшим. Когда Наташа, обрадовавшись, подошла к ней, она выпрямилась над корытом и, сгоняя с рук мыльную пену, позвала:

— Настя!

На невестку она лишь мельком взглянула и почему-то нахмурилась, точно была недовольна ее приходом. Из-за квадратной колонны, подпиравшей свод, появилась Настя в подоткнутой юбке; мокрые пряди налипли у нее на лбу, обнаженные покатые плечи тускло блестели.

— Останешься за меня, Настя! — распорядилась Анна Васильевна. — Полоскать сегодня уж не придется, видно... Что не успели прокипятить, намочите, и все. Возможно, на нашей улице неспокойно будет — так наверх без дела не выходите. Принимайте людей, что придут в убежище... И смотри, Настя, не шуми ты без надобности, не теряй головы. А я вернусь скоро...

Она вытерла руки о передник и аккуратно застегнула на пуговицы рукава своей неизменной черной сатиновой кофты.

— Любовь Михайловна, — подите-ка... — окликнула она другую свою помощницу.

Старуха показалась Наташе даже более суровой, чем обычно; костистое лицо ее, на котором все было крупноватым — нос, лоб с выпуклыми надбровными дугами, глазные впадины, подбородок — выглядело невозмутимым, но сумрачным...

— Собирайте свою группу самозащиты, — приказала она молодой женщине в пестром домашнем халатике, появившейся из-за колонны. — Ведите сюда Трофимова,

обоих Огуренковых... Меня к командиру истребителей вызывают — возможно, от нас содействие потребуется; я вернусь, скажу...

— У Коли Огуренкова грипп, — тихо сказала женщина, которую звали Любовью Михайловной (Наташа слышала о ней — это была учительница русского языка в зареченской средней школе). — А остальные все — на центральном посту ПВО... Сию минуту я буду готова, только оденусь.

И она исчезла за колонной. Старуха повернулась к невестке.

— Уж коли наведалься к нам, Наташенька, мы вас скоро не отпустим, — без улыбки проговорила Анна Васильевна. — Вы домой к нам идите.

— А я оттуда, тетя Аня! Там все благополучно, — звонко ответила Наташа.

— Что ж там может быть неблагополучно... Пункт первой помощи устроить у нас надо. Вы на кроватях простыни смените, наволочки; чистые у меня в комоде, в среднем ящике лежат. Самовар поставьте, чтоб обязательно кипяток был... — напомнила старуха.

— Сейчас и идти? — растерявшись, переспросила Наташа.

— Поживей надо... А ты, Нюрка, что заскучала?

Это было сказано худенькой девочке-подростку в ситцевом сарафане и в валенках, остановившейся под аркой; девочка слушала Анну Васильевну с каким-то скорбным вниманием...

— И для тебя дело найдется... Одевайся, дочка! — скомандовала та. — Пойдешь вот с моей невесткой, сможешь ей. В комнатах у нас приберетесь, это уж само собой.

В голосе Анны Васильевны — громком и низком — было неотразимое властное спокойствие. Казалось, эта угрюмая за шестьдесят лет старуха одна точно знала, как именно надлежало поступать, чтобы враги не ворвались в город, не пришли сюда на Пороховую улицу. И ослушаться ее было совершенно невозможно... Наташа, не задавая больше вопросов, снова закуталась в платок и подняла толстый, длинный, как минометная труба, рулон чертежей.

— Это что же у вас такое? — спросила Анна Васильевна. — Зачем обратно уносите? Тут и положите в сто-

ронке, — распорядилась она, выслушав ответ. — Сохраннее будут.

И Наташа не посмела возразить, хотя ей и очень боязно было выпустить из своих рук чертежи Павла, очень не хотелось оставлять их на чужое попечение... Но все, что исходило от Анны Васильевны, представлялось ей продиктованным высшей, безусловной необходимостью.

Женщины, между тем, переставали работать, разгребались, подходили к своей предводительнице, ожидая еще каких-то указаний или слов ободрения. Неясно в густом тумане белели их лица, голые плечи, голые мокрые руки. Анна Васильевна, точно не замечая устремленных на нее взоров, надела пальто, накинула на голову платок.

— Васильевна! Васильевна!.. Ах ты, беда какая!.. — запричитала в дальнем углу Варвара Егоровна. — Ну, ничевошеньки не видать! Мимо корыта на ноги себе воду льешь... Уходишь, Васильевна? Куда ж ты об эту пору?

— Дивлюсь я на тебя, Варвара, — встав на ступеньку, сказала тетка Павла. — Всю-то молодую жизнь ты без настоящего света прожила. Венчалась тоже при восковых свечах... Первенького своего при копилке родила, я ж помню. А тут приноровиться не можешь.

— Так ведь привыкли мы уже, чтоб свет был, — простодушно ответила женщина.

— И верно: твоя правда — привыкли, — другим тоном, смягчившись, сказала Анна Васильевна.

Она была в высшей степени обеспокоена — только что посыльный от командира истребительного отряда сообщил ей, что отряд, заняв оборону на Пороховой улице, готовится биться здесь с танками врага. И, скрывая свои опасения, свою тревогу за город, за участь доверившихся ей людей, Анна Васильевна почувствовала себя в эту минуту как бы в долгу перед ними — точно люди вправе были потребовать большего, чем она сделала для них до сих пор.

— Твоя правда, Варвара, — повторила она. — Вот одна забота и есть теперь, чтоб опять не отняли его у нас — свет... Ну, сидите спокойно все. Если посторонний кто придет, неизвестный, спрашивайте без церемоний документы. А я, как освобожусь, приду...

Она поднялась еще на несколько ступенек, и оттуда донеслось:

— Наверх, во двор, без дела не выходите.

...На перекрестке со Штыковой улицей были поставлены рогатки, разбросаны противотанковые ежи, и, обходя их, Наташа встретила людей, спешивших в убежище: женщина вела под руку старика, тот спотыкался, едва не упал. Бледный мглистый свет веял, подобно ветру, над Заречьем, то мерк, ослабевая, то наплывал и зеленел, либо принимал малиновый оттенок. И тогда становилась видна вся Пороховая улица: одноэтажные домики, тесно прижатые один к другому, заборы, палисадники, тонувшие в снегу, деревья, оцепеневшие под этим леденящим разноцветным дуновением.

Наташа и ее спутница, не оглядываясь, задыхаясь, перебежали улицу. Потом они, чрезвычайно торопясь, устраивали в домике Громовых медицинский пункт. И пока Наташа опустошала ящики в комоды Анны Васильевны, стелила старенькие латаные простыни, растапливала печку, Нюра ставила самовар, подмела пол. Боясь, что раненых принесут раньше, чем все будет приготовлено, они метались по комнате, почти не разговаривая, и от их стремительного движения трепетало пламя свечей, зажженных в домике. Наконец, дрова в печке запылали, самовар начал посвистывать; Нюра вынесла во двор мусор и, вернувшись, села на сундук под фикусом.

«Словно к празднику прибрались», — подумала Наташа и сама ужаснулась своей мысли. — «А сейчас гостей ждем...»

Она ощутила как бы сильный жар; щеки у нее горели, а между лопаток пробирал озноб. И ее потянуло лечь, свернуться, накрывшись с головой, как в детстве, когда она заболела. Она под села к Нюре, и девочка тотчас же приникла к ней, припала головой.

— Не бойтесь... не надо бояться, вы же взрослая, — сказала Наташа отрывистой скороговоркой, — отобьют наши фрицев.

Девочка осторожно, едва притрагиваясь, погладила ее руку...

— Какие у вас пальчики холодные! — сказала она. — Ой, какие холодные! Дайте погрею...

И она взяла маленькую пухлую руку Наташи в свою, не по возрасту большую и шершавую.

— Я про вас давно знаю... — продолжала она ласково и грустно. — А вы про меня нет... Вы за Громовым, за Пашей Громовым замужем, его все у нас знают. Прямо

из Москвы к нему приехали, а его не застали, конечно... Бедная вы, бедная!

Девочка до боли стиснула пальцы Наташи, и та невольно отстранилась, высвободив руку.

— Я? Это вы мне? — очень удивившись, она в первый раз внимательно посмотрела на свою помощницу.

Нюре едва ли было больше тринадцати-четырнадцати лет... Тощие косички, подвязанные крендельком, длинная худая шея, угловатые движения делали эту девочку похожей на многих других ее сверстниц. И вместе с тем в выражении ее худого некрасивого лица, в пристальном взгляде была чрезмерная серьезность, а от переносицы вверх пролегла уже у нее страдальческая морщинка.

— Ничего, Наташенька, может, и обойдется, — как с подружкой заговорила девочка. — И на войне не всех убивают... Не отлита еще пулька для вашего мужа, — она вновь завладела рукой Наташи, согнула ее пальцы, собрала в кулачок. — Мы с мачехой моей тоже за отца слишком волнуемся. И я ей то же сказала: прежде времени горевать — беду накликать...

Грохнул близкий пушечный выстрел, и жалобно задребезжали стекла в окошках; Наташа зябко повела плечами.

— Вы с мачехой живете, Нюра? — рассеянно спросила она.

— С мачехой... Ну, как же, — отозвалась с готовностью девочка. — Мама моя давно померла! А отец в другой раз женился... Он тогда совсем молодой был, его нечего винить.

В промежутках между ударами пушек явственно слышалась теперь частая трескотня — можно было подумать, что не дальше чем в конце Пороховой улицы поднялась ружейная стрельба. Пламя свечей непрерывно вздрагивало от невидимых сотрясений, сумрак, наполнявший комнату, колыхался, и казалось — это непрочный домик Алексея Васильевича шатается, готовый рассыпаться, и звенит, звенит...

— Мне и мачеху мою бывает жаль, так жаль, — доверительно поведала Нюра. — Она, когда писем долго от отца нет, ночи напролет не спит. А утром ей на работу идти, сами знаете...

Девочка не испытывала как будто ни малейшего страха, всецело поглощенная беспокойной печалью о дру-

гих... И, почувствовав к своей помощнице внезапное полное доверие, Наташа порывисто выпрямилась и обняла ее острые плечи.

— Вот вы какая! Вам всех жалко, — высоким голосом сказала она.

— Обидно бывает, слишком обидно! — сказала Нюра. — У Светловых — напротив нас они живут — сын без вести пропал, только десятилетку кончил и вдруг — без вести... Ну, сами понимаете... Я как услышала про него, сейчас к старикам побежала. Ну, пол у них помыла, карточки им отоваривала продуктовые. Кушать ведь все равно надо...

— Вот вы какая!.. — повторила Наташа, крепче прижимая к себе эту странную девочку, признательная ей за одно ее присутствие. — Вы добрая...

— Доброта не при чем тут. В школе у нас комсомольская организация неплохо работает, — пояснила Нюра. — И все семьи, где несчастье случилось, у нас на учете. Я и к матери Трошина — его в первом бою застрелили — тоже ходила полы мыть. Слишком тяжело с ней было — старенькая и одна совсем...

Она вздохнула и рассудительно, по-взрослому добавила:

— На войну сыновей не нарожаешься...

Стрельба на улице приближалась к домику Громовых, и Наташа не выдержала.

— Вы слышите? Слышите! Надо узнать, что делается.... Вы слышите! — воскликнула она.

Нюра тотчас же встала с сундука.

— Сидите здесь, — сказала девочка, — а я пойду посмотрю.

— Ну, вот еще! Вы сидите.

И Наташа тоже поднялась; расширившиеся глаза ее стали немного косить... В следующую секунду она отпрянула к стене, потянув Нюру за собой — автоматная очередь прогремела под самым окошком у них. Кто-то остановился на улице и крикнул, точно позвал; кто-то другой с воплем пробежал мимо... И Наташа опять подумала о своем Павле:

«Не он ли?.. Где он?..»

Но тут же она проговорила — тихо, с остановками, потому что сердцебиение почти лишило ее голоса.

— Там раненые... Вы слышали?.. Один позвал...

— Я побегу, — сказала Нюра.

— Не смейте никуда идти... вам незачем, — прошептала Наташа.

По смутному душевному побуждению она привлекла девочку к себе и, не то прощаясь, не то стремясь выразить то, что не успевала облечь в слова: свое величайшее волнение, свою готовность — если уж будет безусловно необходимо — пожертвовать собой, — поцеловала ее в губы. И кинулась в коридорчик — быстрая, легкая, несмотря на полноту, бесшумно касаясь пола своими мягкими чесанками.

— Закройте за мной дверь... — попросила она, надевая пальто. — Если будут звонить, спрашивайте — кто? Да дайте, пожалуйста, сумку с бинтами... Боже мой, чуть не забыла!

Она все силилась глубоко вздохнуть и не могла.

— Я с вами, — закричала Нюра. — Я только выгляну — и назад!

Выскочив в коридорчик, девочка споткнулась о порожек и с размаха упала на колени. Сильно, должно быть, ушибившись, сморщившись от боли, она, не вставая, протянула безмолвно санитарную сумку.

— Ах, вы! Разве можно так! — с усилием сказала Наташа. — И вы не должны со мной, я одна, одна...

Над Заречьем полыхало все то же холодное, пестрое изменчивое зарево... Когда Наташа выбежала на крылечко, неяркий красный свет просиял ей навстречу, наполняя дворик, и она даже порадовалась безотчетно в этот раз — при свете и умереть, казалось ей, было легче, чем в полном мраке.

Нежданно воцарилась тишина — ни криков, ни выстрелов не раздавалось больше. Наташа довольно смело открыла калитку, переступила через дощечку, поставленную на ребро, огляделась... Улица была пустынна — никого, ни врагов, ни друзей, не увидела она ни под окошками, ни вообще поблизости; возможно, раненых подобрали уже, а вернее — ей лишь слышалось, что кто-то звал на помощь. Чтобы вполне успокоиться на этот счет, она решила дойти до перекрестка и посмотреть там... И она не сделала десятка шагов, как впереди во мраке блеснул огонь, точно искру выбили из кремня... Всем телом Наташа прижалась к забору — на улице опять вдруг поднялась оглушительная стрельба.

Наташе не удавалось разглядеть: кто стрелял и в кого? Но что-то темное, бесформенное, сыпавшее желто-красными искрами, двигалось, почудилось ей, в глубине улицы. Должно быть, это и был бой, представлявший ей в эту минуту живым, огромным, проворным чудовищем... И Наташа боялась пошевелиться, выпрямившись, ощущая затылком твердую доску забора.

Пока что бой шел, то есть поблескивали выстрелы, за перекрестком; угловой дом, где в подвале помещался уличный комитет, оставался еще как бы в тылу. Но каждое мгновение и перед этим смутно белевшим домом мог заметаться огонь.

«Немцы в городе! Идут сюда!» — будто крикнул кто-то на ухо Наташе.

И она тут же отделилась от забора и побежала вперед — она вспомнила, что в подвале углового дома лежали чертежи ее мужа.

Ах, она почувствовала себя преступницей, которой нет оправдания! Она — именно она — не сберегла того, что было таким важным для Павла, чем он так дорожил и гордился! И ее ужас перед его справедливым укором оказался сильнее ее страха за себя... Если б немцы провались к перекрестку, люди, спасавшиеся в убежище, попытались бы, конечно, уйти оттуда. Но кто, подумалось Наташе, кто позаботился бы в этот страшный час о рулоне с чертежами и о связке эскизов Павла? Забытые в невидном месте, «в сторонке», по совету Анны Васильевны, они, наверно, попали бы в руки врагов... И Наташа, не помня себя, втянув голову в плечи, точно полил дождь, метнулась через улицу. До слуха ее дошел шум шагов за спиной, но она побоялась обернуться... Кто-то догонял ее, кричал ей, но она не разобрала слов...

Большая бело-желтая искра вспыхнула на самом перекрестке, и ударил, как бы независимо от этой вспышки, короткий гром. Наташа, сделав еще шаг, спохватилась и бросилась в снег, на мостовую... Кто-то упал рядом, толкнул ее... И она вновь услышала железный удар — разорвалась еще одна граната. А неизвестное существо навалившись, придавило ее руку.

— Пустите же! — ничего не понимая, пробормотала сердито Наташа.

Она попыталась высвободиться, но ей в спину уперлись локтем. Изогнувшись, она искоса посмотрела через плечо... И в глаза ее заглянули сверху пристальные, точно увеличившиеся глаза Нюры — девочка почти касалась ее лица своим лицом.

— Ну зачем вы?.. Бегите сейчас же домой! — негодуя, сказала Наташа.

— Не вставайте, нельзя... — выкрикнула девочка, обхватив ее обеими руками.

Выстрелы сверкали теперь перед угловым домом — бой распространился уже и на перекресток... А высоко в небе ходило как будто северное сияние: за волной зеленоватого ледяного света наплывала мертвенная волна лилового, и тени на снегу потемнели.

— Вот несчастье! Сюю минуту ползите домой! — умоляя и злясь, воскликнула Наташа. — Ведь убьют, глупая!.. Бессмысленно же обeim!

— А как же вы? — кричала девочка, обдавая ее своим теплым дыханием... — Как же вы? Уж лучше вместе...

Кто-то выскочил из-за угла и побежал по противоположной стороне улицы... Обернувшись назад, человек задержался на миг, выстрелил и изо всех сил помчался дальше. А из лилового сумрака появился второй человек, вскинул автомат... И прерывистое пламя осветило его усатое лицо; Наташа, как при вспышках магния, увидела сощуренные глаза и растянутый рот под щетинившимися усами: казалось, стрелок трясся от хохота. Видимо, он не попал в беглеца, так как тот — в длинной шинели и с непокрытой головой — прыгнул в сторону, перемахнул через заборчик... И человек с автоматом ринулся по его пятам.

На перекрестке все вдруг прекратилось; невнятные, относимые ветром возгласы донеслись со Штыковой улицы — схватка перекинулась, должно быть, туда. А поблизости скрипнула калитка и залилась визгливым щенячьим лаем точно сейчас лишь разбуженная собака.

— Да пустите же, наконец! — воскликнула Наташа.

Она выскользнула из рук Нюры, и та вскочила вместе с нею.

Когда обе они добежали до угла, навстречу им из-за поворота вышли вооруженные люди. Один из них, тяжело дыша, распорядился на ходу:

— Ищите на Арсенальной. Смотрите во дворах, в сараях... Обследуйте соседнюю улицу...

Наташа мало что поняла, но запыхавшийся командир говорил по-русски и это было главное...

«Отбились все-таки», — со счастливым чувством подумала она.

На самом перекрестке не оказалось уже ни души. Но из подвала углового дома вырывался на улицу многоголосый крик (лестница, огражденная перильцами, вела вниз прямо с тротуара), и, спускаясь по обледенелым ступенькам, хватаясь за стену, чтобы не упасть, Наташа различала в общем шуме пронзительный фальцет Насти:

— Бабы, чего ждать-то? Застрелить их на месте... — тонко, по-детски прозвучало из-под земли.

Там, в подвале, творилось что-то необычайное: женщины кричали все разом, перебегали с места на место. Паренек с киркой в руке — вероятно, из группы самозащиты — метнулся в угол мимо Наташи, подняв свое оружие... Затем в тумане, окутывавшем попрежнему людей, прозвучало:

— Девчата, поутекали фрицы! Погнали их...

— Отбились наши! — задержавшись под аркой, звонко возвестила Наташа. — Мы своими глазами видели. Ох, еле добрались!..

И она устремилась в глубину подвала, где оставила на скамейке чертежи Павла, — они лежали там в полной сохранности; не доверяя зрению, она потрогала и рулон, и связку папок... Между тем все, кто был в подвале, сгрудились в одном углу, направо от входа; задние напирали на стоявших впереди. Оттуда наперебой несло:

— ...Мы их своим судом, коротким!

— По-нашему оделись, думали — не узнаем...

— Гляди, молоденький какой, а туда же! У, гадюка!

— Чего ждать-то, бабы! — вновь выделился в этом неистовом хоре фальцет Насти.

— Мамка-а! — пискнул чей-то ребенок. — Где ты, мамка?

И, покрыв другие голоса, раздался бас Анны Васильевны:

— Тихо, бабы! Катерина, ступай за патрулем в дом девять.

За спинами женщин, за их кофтами, платками, вострепанными головами ничего нельзя было разглядеть. Но

Нюра энергично проталкивалась, и Наташа последовала за нею... Встав на цыпочки, она в самом углу, около лохани с мокнувшим бельем, увидела мужчину в шинели. Упав на колени, откидываясь назад, он припал плечом к стене. А над ним стояла Настя с немецким автоматом, держа оружие за ствол, как палку.

— Застрелить их! — выкрикивала она.

И мужчина, не отрывая от нее округлившихся глаз, изогнувшись всем корпусом, вжимался в стену.

По другую сторону лохани сидел на полу второй солдат. С этого шинель сорвали, вероятно, — он был в темносерой куртке с двумя рядами пуговиц, с помятыми мягкими погончиками. И Наташа бесконечно изумилась: в убежище попали каким-то образом немецкие солдаты.

— Нюра! — испугавшись за девочку, позвала она, — Нюра, где вы! Это же немцы!..

— Они и есть! — высокая в белой косынке женщина обернулась на ее возглас. — В шинелях наших ввалились сюда, в ушанках... Вошли, да не вышли.

— Но как же это? — Наташа всплеснула руками. — И вы сами схватили их?..

— На обман хотели нас взять, — торжествующе сказала женщина.

— Ох, Наташка, — тучная Варвара Егоровна, обливавшаяся потом, протиснулась к ней. — Васильевну нашу чуть не убили. Ой, что сделалось!.. Заскочили к нам эти двое и молчат, к печке жмутся... Ох, не могу, Наташка! Ноги не держат!.. — «Вы кто такие, откуда?..» — подступила к ним Васильевна. — «Ваши документы!» А один — мальчонка вот этот — автомат на нее наставил... Убил бы, кабы не Настя...

— Ишь, сиротой прикинулся! — с удовлетворением сказала женщина в косынке. — Заплакал, разбойник!

Второй немец, действительно, плакал. Единственная в подвале лампа висела над его головой, и было видно, что по толстому лицу этого юноши-солдата струились слезы; нижняя губа его отвисла и подергивалась.

— Молодец, Настя, не растерялась! У нее топорик был — она щепки на растопку колола, — радостным голосом продолжала женщина. — Она и ахнула по автомату, по рукам... Тут и ребята из самозащиты навалились, и мы все...

Женщины плотно обступили своих пленников... Среди этих матерей, жен, невест не было ни одной, у кого война не забрала мужа или сына, или жениха, чье сердце не изболелось в тоске, в постоянном ожидании несчастья; ни одной, кто не прокляла лютым проклятием чужеземцев, повинных во всех их бедствиях... И сейчас двое из их смертельных, безжалостных, самых коварных врагов были в их власти.

Даже Наташу охватило особое, неведомое ей ранее чувство недоброго, тревожного удовлетворения; оно было и очень острым, и неполным — Наташа как бы ожидала чего-то еще. А при мысли, что два эти солдата стреляли сегодня — весьма возможно — в Павла, ей захотелось крикнуть так же, как Настя: «Застрелить их!» У нее не возбудило сострадания то, что один из фашистских солдат плакал теперь от страха или от боли — кисть правой руки была у него залита кровью. И она лишь отвернулась, чтоб не видеть этого... Первый немец, пролезший в узкое пространство между лоханью и стеной, выглядывал оттуда, облизывая кончиком языка пересохшие губы.

— Чего ждатель-то?! — однообразно выкрикивала Настя. — Чего ждатель-то?!

Ее потряс, как видно, собственный отважный поступок, она испытывала запоздалый испуг... И со злостью и неуверенностью она повторяла, точно подбадривая себя:

— Застрелить и вся недолга!

В руках у женщин было оружие, отнятое у врагов: гранаты, пистолеты; учительница Любовь Михайловна держала, изготовившись для стрельбы, еще один трофейный автомат... Но люди медлили, медлили, осыпая пленников угрозами; казалось, они ждали, кто нанесет первый удар?

— За их вину и казни им не придумаешь! — пожаловалась Варвара Егоровна.

— Посадить в клетку и возить по улицам... А после в прорубь, — сказал кто-то.

И в толпе засмеялись — не злобно, а отходчиво, предложение было слишком невероятным, явно несерьезным. Анна Васильевна оглянулась на голос.

— Кто там глупости болтает? — строго оборвала она. — А, Наташенька, подите-ка сюда, — заметила старуха невестку. — И сумка с вами... Перевяжите этого — видите, обревелся.

— Фашиста? А если б он убил вас... — воскликнула Наташа.

— Лечить их! — закричала Настя. — Они, если попадешься к ним, звезды на спинах вырезавают... А мы — лечить их!

— Так то — они, а то — мы, — громко проговорила Анна Васильевна. — Что же ты с собой равняешь?.. Мы не капиталисты, мы люди трудящиеся. — И в том, как она сказала это — вскользь, пояснительно, было спокойное сознание высшего человеческого достоинства. — У нас лежачего не бьют... Этого у нас никогда не водилось, не нам и заводить. Идите, Наташенька, перевязывайте, — повелительно заключила она. — Вы ж обучались первой помощи...

Послушно ставив с плеча сумку, Наташа подошла к немцу, сидевшему на полу. Тот, заслоняясь, поднял здоровую руку, попробовал отползти, шевельнул раненой рукой и всхлипнул... Немедленно подле него очутилась и хлопотала Нюра.

— Сидите спокойно, — прикрикнула она. — Вам же лучше будет... Ах, ничего он не понимает! Надо ему поихнему объяснить, чтоб не боялся.

Анна Васильевна сняла со стены лампу и протянула девочке.

— Держи, святая душа, посвети Наташе, — приказала старуха.

Немецкий солдат не пытался больше защититься... Но молодая красивая женщина, нагнувшись к нему, навела на него, должно быть, ужас, и он закрыл глаза; толстые щеки юноши вздрагивали...

— Куртку надо разрезать, рукав, способнее будет, — вздохнув, сказала Варвара Егоровна.

— Я ножницы принесу, погодите... — сказала женщина в белой косынке.

Умолкнувшая Настя взяла автомат подмышку и подошла к раненому. Поглядев на то, как шла перевязка, она изменившимся глуховатым голосом неожиданно предложила:

— Дайте помогу... Я первую помощь тоже оказывала.

И расслабленно улыбнулась...

Освободившись от необходимости быть беспощадной, Настя как бы повеселела даже. Чувство облегчения овла-

дело сразу же и другими женщинами — они оживились, принялись давать советы... И опять раздался смех, когда немец, прятавшийся за лоханью с бельем, чихнул вдруг, отогревшись здесь, в подвале. Любовь Михайловна, опустив ствол автомата, сказала:

— *Gehen sie aus... Niemand wird ihnen etwas tun*¹.

Она поморщилась от презрения.

На лестнице слышались шаги, бряцание винтовок; в подвал спустились бойцы патруля, их встретила Анна Васильевна, окружили женщины... И вскоре все окончательно выяснилось: красноармейцы рассказали, что немцы — больше сотни автоматчиков, переодетых в русские шинели, — попробовали было этой ночью проникнуть на улицы города; без выстрела подошли они к крайним домам Заречья... И здесь истребители танков — комсомольцы преградили немцам дорогу, а артиллеристы, находившиеся по соседству, отрезали им пути отхода. Спасаясь, автоматчики прорвались на Пороховую улицу, но на перекрестке со Штыковой были частью истреблены, частью взяты в плен... К этим оставшимся в живых принадлежали и два солдата, обезоруженные женщинами в бомбоубежище, куда они попали, пытаясь скрыться от преследования.

— Меняемся с вами, мужики, — со смехом сказала бойцам женщина в белой косынке. — Вы нам свои самопалы давайте, а мы вам горшки да ухваты уступим, вы к печам становитесь, а мы будем Гитлера воевать.

Но это было сказано без намеренья обидеть, а от приятного сознания своего бесспорного равенства с мужчинами.

Наташа, перевязав руку немецкому солдату, тоже почувствовала беспричинную как будто веселость — что-то отлегло у нее от сердца. И, слушая разговор Анны Васильевны с бойцами, блестя своими темными, теплыми глазами, она едва удерживалась, чтоб не расцеловать эту суровую, деспотическую старуху. Впрочем, не одна Анна Васильевна, но все вокруг — и переменчивая Настя, и воинственная Любовь Михайловна, и немного смешная Варвара Егоровна, и красноармейцы в скрипучих, промерзших валенках, оба бородатые, пожилые, торопливо курившие самокрутки, — представлялись сейчас Наташе

¹ Выходите... Никто вам ничего не сделает.

истинно великодушными, прекрасными людьми. И она сама, к большому своему удовольствию, чувствовала себя такой же великодушной и хорошей, как другие.

...Через полчаса она перевязывала одного из этих бородатых красноармейцев, раненного осколком немецкого снаряда и принесенного в домик Громовых. Бой шел всю ночь, и к утру кровати Анны Васильевны, Павла, Алексея Васильевича и диванчик в столовой были заняты истекавшими кровью, искалеченными людьми. Побледневшая, осунувшаяся Наташа едва держалась на ногах, но Нюра, помогавшая ей, не обнаруживала даже признаков усталости. Эта девочка была поразительно неутомима, когда ей приходилось утешать, спасать или оказывать милосердие.

9

В районных комитетах партии и комсомола не осталось этой ночью никого, кроме дежурных — работники райкомов находились там, где было всего тревожнее: на заводах, погрузившихся в темноту, на узлах связи, на окраинных оборонительных рубежах... Ласточкин по телефону распорядился докладывать ежечасно в Комитет Обороны о положении в районах; затем сам позвонил на хлебозавод, на мельницу. И лично таким образом убедился, что в жизненно важных пунктах города работа почти не нарушилась — аварийный ток начал поступать туда без промедления... Еще в начале ноября в Комитете Обороны было решено на случай перерыва связи с Каширой отремонтировать имевшийся на одном из заводов, поврежденный бомбежкой турбогенератор. Правда, его тысячи киловатт могло хватить только на первостепенные, самые насущные потребности. И одновременно с его ремонтом были на некоторых других предприятиях в Т. — везде, где представилась возможность — приняты по указанию Комитета специальные меры.

— Надо будет поехать на станкостроительный, — сказал Шаров. — Почему там стали моторы? Не должны бы...

— Сейчас мы кончим, и поѐзжай, Петр Акимович...

Ласточкин тяжело опустился в кресло и, потирая ладонями припухшие веки, закрыл глаза. Он пережил только что большое волнение: новая опасность, надвигавшаяся на Т. — прекращение подачи электроэнергии —

была исключительно серьезной... Разомкнув веки, он увидел, что присутствовавшие поднимались со своих мест. Шаров стоя перезаряжал револьвер, кооператор Полуянов, сутулясь, боком пробирался между стульев к выходу; весь вид его говорил: «Я понимаю, сейчас не до меня, не до моих гвоздей и кирпича». Терехов, заведующий военным отделом обкома, повесил на плечо карабин; в гражданскую войну Терехов служил в коннице, и он остался верен своему кавалерийскому оружию.

— Что это все сразу?.. Куда это? Прошу сесть, товарищи! — резко сказал Ласточкин. — Итак, записываем; мы созываем наш хозяйственный актив на оперативное совещание...

Он приподнял плечи и выпрямился, сделав над собой привычное усилие... Каждый почти час приносил теперь новые огромные угрозы, которые надо было предотвращать, обходить, устранять; это было похоже на бесконечное восхождение по крутому обрывистому склону, где опасности возникают на каждом шагу, но где нельзя остановиться, чтобы передохнуть. И Ласточкин опять как бы двинулся в путь — дальше и выше с тем упорством, что знакомо солдату в долгом, в очень долгом походе.

— Поговорить у нас есть о чем, — продолжал он, возвратившись к прерванному обсуждению, — и в первую очередь, конечно, о нашей энергетической базе... Дня через три-четыре мы введем в строй еще одну турбину, также на тысячу киловатт, найдутся и другие ресурсы... Мы не можем допустить и не допустим, чтобы наши предприятия, работающие на оборону, испытывали нехватку энергии. — Он налил себе воды в стакан и выпил ее залпом, не отрываясь. — Вы, товарищ Полуянов, — Ласточкин повернулся к кооператору, — доложите нам свои соображения о выпуске продукции для нужд хозяйства. Ищите, ищите неиспользованные возможности...

Присевший было на край стула около двери Полуянов опять встал, прижав к груди руку, не то желая возразить, не то — оправдаться...

— Яков Захарович... — только и выговорил он с укоризной.

— Да... Слушаем вас... — сказал Ласточкин.

Влажное лицо его стало яркорозовым от прилива крови... Он отлично понимал состояние Полуянова, да и

всех других, кто был здесь, — он разделял их острое беспокойство, их тоску... Но сейчас в нем внезапно поднялось гневное, быть может, незаслуженное его товарищами чувство.

— Слушаем вас... — повторил Ласточкин и, не дождавшись ответа, тоже встал... — Мы не уйдем из города, пусть в этом никто не сомневается, — сказал он зазвеневшим голосом. — Если враг ворвется на улицы, у нас начнут стрелять стены, дома... Мы все ляжем в оборону, но города не сдадим!.. Если гитлеровцы будут продолжать атаки, мы истребим их до единого... до единого!

Ласточкин машинально одернул гимнастерку, топорщившуюся на спине; затем, помолчав, коротко и сухо закончил:

— Мы примемся строить немедленно после того, как враг будет отброшен. И нам понадобится много кирпича, много гвоздей, много леса, много стекла; подумайте об этом, товарищ Полуянов. Сегодня уже вы должны подготовиться к тому, что потребуется от вас завтра...

...Вскоре члены Комитета Обороны разошлись: Шаров отправился на станкостроительный завод; Ласточкин и Терехов, вооруженный карабином, решили поехать в штаб боевого участка.

— Марья Алексеевна, позвоните, пожалуйста, в горком комсомола, узнайте, что у истребителей слышно? — попросил Ласточкин перед уходом.

— Я позвоню... Вы бы потеплее оделись, Яков Захарович, мороз сильный, — сказала секретарша.

Взяв лампу, она вышла на лестничную площадку, чтоб посветить, и постояла там, высоко держа лампу, пока внизу не захлопали двери.

Ласточкин, спускаясь по ступенькам, слыша за собой тяжелые шаги Терехова, неожиданно припомнил:

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки...» — это Ленин, это из «Что делать?» Ленина», — мысленно сказал он себе.

На улице был беспросветный мрак; стоял действительно крепкий, градусов на двадцать мороз, и дул резкий ветер, но снегопад прекратился.

«Мы идем... по обрывистому и трудному пути, — опять пронеслось в мыслях Ласточкина. — Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем».

— Товарищ Терехов, давно я хотел спросить, — сказал он, — получил ты от сына что-нибудь? Он в Ленинграде, ты говорил...

— Нет, ничего, — ответил Терехов. — Да и ждать покамест не приходится, и Ленинград в блокаде, и мы в блокаде.

Когда они сели в машину, сверху, с черного неба, донеслось монотонное завывание — немецкие самолеты кружили над объятым тьмою городом, отыскивая цели...

Перерыв в работе на станкостроительном заводе был непродолжительным. Здесь на случай перебоев в подаче электроэнергии удалось заблаговременно привести в порядок и установить движок, найденный в полуразобранном состоянии среди так называемых «неликвидов». Но случилось, что в ночь, когда эта аварийная электростанция понадобилась, движок вновь был частично разобран для замены некоторых деталей. И в механическом цехе, где собралась вся «профессорская бригада» во главе с Казаковым и Алексеем Васильевичем, начали раздаваться голоса о том, что надо попробовать пустить иные из станков вручную: люди помоложе могли вращать привод, а мастера обрабатывали бы металл. До этого, однако, не дошло — движок через недолгое время заработал, и ток для станков был дан.

Алексей Васильевич тут же пошел к своему «Дипу», хотя и отстоял днем очередную смену. Казаков, Алмазов, Николаевский также не пожелали возвращаться на койки, да и все, для кого не нашлось даже занятия сейчас, долго не расходились. Люди были растревожены, распалены... И удивительное дело: в эту полную опасностей ночь особенно ладилась их бессонная работа... В цехе горели керосиновые «молнии», было непривычно темновато, но это никого не смущало.

— Давай, давай на левую! Эх, в горе жить — не кручину быть, — выкрикивал с веселой отчаянностью Казаков.

— И верно! Кручиной, брат, моря не переплывешь, — поддакивал Алмазов.

— Хорошо бы шахтерские фуражечки с фонариками раздобыть... — сказал Протасов, слесарь. — Подошел к

станку — включил лампочку, отошел — выключил. Удобно!

Все как будто условились не сокрушаться из-за новых затруднений, а обратить их в повод для насмешек, для шуток, отчего и большие затруднения сразу же становятся меньше. Главное заключалось в том, что станки попрежнему действовали, что на них опять изготовлялось оружие, которое должно было остановить врага, покарать его. И сознание своей умелости, своей непокоримости обстоятельствам придавало людям силы, горячило сердца...

— Чисто сработано, а, Прасковья? — спросил Алексей Васильевич, снимая готовую деталь... — И шлифовка не понадобится...

Фрезеровщица Кузнецова, остановившая в эту минуту свой станок, выпрямилась; пот стекал по ее лицу, выпавшие из-под косынки волосы лезли в глаза, и она, выпятив нижнюю губу, подула кверху, отбрасывая их...

— Игрушечка, — сказала она. — Как это вы с одного прохода?

— А я слово такое знаю... — Алексей Васильевич взял новую заготовку. — Без слова, Прасковья, иклада не кладут... Кому дастся, а кому и нет...

Среди шумных, разгоряченных людей, заполнивших цех, старик Громов выделялся этой ночью добрым ясным спокойствием. Именно в последние дни он чувствовал себя так, точно вообще никогда не болел, и это чудесное исцеление преобразило его. Алексей Васильевич приветливее, ласковее относился ныне к окружающим, не завидуя больше их молодости, но снисходя к ней... Казалось, что его жизнь, подошедшая уже было к концу, вновь необыкновенным образом возобновилась, и в том, как это произошло, в труде и в борьбе, раскрывалась, быть может, главная тайна долголетия. Невольно у Громова зародилось ощущение одержанной победы, самой большой за все минувшие годы — победы над безжалостной природой, — и справедливая гордость смягчила его строптивую душу.

— Не узнать вас... Будто вы живой воды испили, как к нам вернулись, — глядя на Громова, сказала Кузнецова.

— Ой, Прасковья, поберегись!.. Женщина ты еще мо-

лодая, приметная... Как бы я да стариной не тряхнул! — пошутил Алексей Васильевич.

Кузнецова улыбнулась, показывая ровные, белые, как у девушки, зубы; ватник она скинула, закатала выше локтей рукава спецовки, и стало видно, что руки этой сорокапятилетней женщины еще красивы и белы.

— Одна беда — блондинки мне больше по вкусу, — смеясь глазами из-под насупленных бровей, продолжал Алексей Васильевич. — Пожалуй, не столкнемся мы.

— Ладый мой, да это ж теперь пустяковое дело — только в парикмахерскую сходить... Там в какую хочешь масть произведут, — в тон ему сказала Кузнецова.

...Живет моя отра-да
В высоком те-рему...

послышалось из-за застекленной перегородки. Это подал свой тонкий с трещинкой голос Николаевский, любивший петь во время работы.

Ночь проносилась незаметно; шумели, как и всегда, моторы, посвистывали приводные ремни, блестела стружка, отделяясь от изделия, падая с легким звоном на пол. И по стенам летали, перекрещивались, изгибались огромные тени быстро двигавшихся, стремительных, точно в боевой схватке, людей. Иногда кто-нибудь подбегал к бачку с водой, торопливо пил, томимый жаждой, как и бывает в бою, затем тотчас же возвращался на место. Готовые части минометов отправлялись в сборочное отделение, там образовался большой задел, и Петр Кириллович Орлов сам встал на сборку, помогая бригадир-у слесарей Щепкину... Каждая новая деталь, снимавшаяся со станка, была сегодня как бы выстрелом по ближнему, рано торжествовавшему врагу. И токари, фрезеровщики, шлифовальщики, слесари трудились этой ночью так, будто и в самом деле вели отсюда, из цеха, губительный огонь. Даже когда слышалось гудение самолетов, круживших над городом, и начали бить зенитки, они мало обратили на это внимания, как и в настоящем сражении, где не уследишь за всеми опасностями. Только Власов, директор, и Шаров, приехавший на завод, вышли во двор, чтобы проверить светомаскировку.

В ночном небе сверкали гигантские мгновенные звезды зенитных разрывов; на востоке, в стороне Заречья,

туманилось высокое зарево — там шел бой. Но заводская площадка была надежно, казалось, укрыта мраком — нигде вокруг не виднелось и слабого огонька... Шаров отогнул обшлаг на рукаве шинели и взглянул на часы: фосфоресцирующая зеленоватая стрелка показала двадцать пять минут третьего... И неожиданно ее чуть заметное мерцание усилилось — зеленый свет залил странным образом весь циферблат, выбелил руку Шарова, осветил обледенелые ступеньки крыльца, дорожку в снегу... Удивившись, Шаров поднял голову и тотчас же потянулся к револьверу — над выступившей из темноты позеленевшей крышей механического цеха стремительно и бесшумно возносилась ракета, озарив двор предательским сиянием...

Забравшись с полуночи в развалины заводского клуба, Эвеминг совсем закоченел там, дожидаясь прилета бомбардировщиков. Он лежал в узкой глубокой щели, образованной с одной стороны остатками кирпичной стены, с другой — куском железной кровли, вставшей на ребро, и ему больше всего хотелось поскорее очутиться в каком-нибудь теплом углу... Недавно он надумал брать с собой, выходя по ночам, одеяло (он носил его в вещевом мешке), которое и расстилал на снегу в облюбованном месте. Но и оно не спасало в сильный холод... Заслышав, наконец, шум моторов, Эвеминг мысленно выругался, обрадовавшись, — его ожидание подходило к концу... И, подобрав под себя ноги, стацив зубами с озябших пальцев варежку, он выстрелил из ракетницы, подняв ее прямо над головой; потом он поспешно скатал промерзшее одеяло... Однако выбраться заблаговременно из своей щели он не успел — поблизости на улице, отделявшей его от ограды завода, послышался топот ног, вероятно, это выбежали за ограду бойцы охраны. И Эвеминг, как он ни торопился уйти отсюда, предпочел не встречаться с ними. А через минуту-другую вылезать вверх было уже поздно, потому что бомбардировщики, оглушительно завывая, снижались над заводом...

Эвемингу сразу сделалось жарко... Бросившись опять на снег, он уткнулся лицом в согнутый локоть, зажмурился. И вся его злоба, вся ярость обратилась на людей, вместе с которыми он подвергался сейчас смертельной

опасности... Они слишком долго, слишком упорно сопротивлялись — эти непостижимые для него люди — в то время, как каждый новый день, каждая ночь, проведенная среди них, грозили гибелью ему самому. Вот и сию минуту его могла бесследно уничтожить, разорвать на сотню кусков бомба, сброшенная на них... И только они, казалось ему, были бы в этом повинны... Пытаясь перебороть свой страх, Эвеминг принялся считать про себя:

— Eins, zwei, drei, vier, fünf...

Он напряг все силы, чтоб не сбиться со счета (иногда в критические моменты этот способ помогал ему)... Но он позабыл вдруг, какое число следует после пяти?.. Его ужас и его ненависть к людям, не желавшим послушно умирать, лишили его памяти... И он повторял, как заклинание, как молитву:

— Fünf, fünf, fünf...

Алексей Васильевич выполнил к половине третьего сменную норму; обтерев ветошью руки, он двинулся в коридор покурить... Но тут до его слуха дошло, что Алмазов просил у соседа резец...

— Возьми у меня, Данила, ежели подойдет тебе, — сказал Алексей Васильевич. — Инструмент, ежели какой надо, — бери...

Последние слова возбудили общий интерес — всем в цехе было известно, что Громов чрезвычайно дорожил своим редкостным, скопленным в течение полувека набором инструментов и приспособлений.

— Так и идет одно к одному... Захлестывает, видишь ты, — растрогавшись, проговорил Алмазов.

Алексей Васильевич, от которого не ускользнуло впечатление, произведенное его словами, усмехнулся.

— Пользуйтесь, пока я добрый... — сказал он. — Берите, кому что надо...

— Это как же понять: на подержание или насовсем? — полюбопытствовал кто-то.

— А хотя б и насовсем, — ответил Алексей Васильевич. — Понравится — оставляй у себя...

— Алеша! — испуганно воскликнул Казаков. — Слово — не воробей, Алеша, вылетит — не поймаетшь...

— Берите и насовсем, — громко подтвердил Алексей Васильевич.

Он искренне предлагал это, готовый без малейшего сожаления расстаться сейчас с тем, что было предметом его особого, профессионального тщеславия. И если он продолжал еще стремиться к первенству, если он соперничал с товарищами этой ночью, то только в щедрости...

— ...А мне понадобится что — так я у вас возьму, — добавил он. — Только всего.

— Верно, Алеша! — в полном восторге закричал Казаков. — Эх, жизнь — мечта! — и он подскочил к Громову, точно желая его обнять.

— Что хочешь — отдам! Что скажешь, то и отдам! — радостно повторял он, ударяя себя в грудь маленькими морщинистыми кулачками.

— Ладно уж... Чем у тебя попользоваться... — насмешливо бросил Алексей Васильевич.

Давно уже, казалось, он не выглядел таким довольным и покойным... Над крупной, все еще вихрастой, как у Павла, головой старика бесшумно пылала «молния», но наклоненное с распушившимися усами лицо его было покрыто тенью, скрывавшей морщины.

В коридоре Алексей Васильевич встретил Власова и Шарова, торопливо возвращавшихся в цех.

— Идите в убежище, — сказал на ходу Власов, — все в убежище!

Громов проводил директора и председателя облисполкома сочувственным, чуть ироническим взглядом, достал из кармана металлическую коробку с махоркой и принялся свертывать папиросу.

— Все — немедленно в убежище! — крикнул Власов, входя в цех. — На местах остаются пожарные звенья...

И внезапный, поглотивший все другие звуки свист рассек воздух; затем ударил взрыв, загрохотал обвал, захлопали двери в коридоре, холодное дуновение коснулось Алексея Васильевича, закачалась лампа, свешивавшаяся с потолка, и черная струйка копоти выпорхнула из лампового стекла. Громов, тяжело топая, но с неожиданным для его грузного тела проворством побежал во двор...

В первое мгновение он мало что смог разглядеть: высоко в небе вспыхивали и гасли огромные раскаленные добела звезды. А ниже, на земле, все было задымлено; серый туман плыл там, где стояло здание кузницы, и в нем шевелились тяжелые плотные клубы... Вдруг левее

блеснуло на кровле инструментального цеха желтое пламя... И оно как бы обожгло старика; в следующую секунду Алексей Васильевич ринулся вперед, как ринулся бы на защиту своего дома...

У входа в инструментальный корпус его обогнали несколько человек, тащивших багры и ведра с песком. Люди побежали по лестнице наверх, и он последовал за ними... Во втором этаже горел как будто свет, пробивавшийся сквозь неплотно притворенные двери. И, распахнув двери в цех, Алексей Васильевич невольно заслонился рукой... Огонь метался здесь в большом пустынном помещении: бело-голубые крупные искры, треща и дымясь, разлетались с потолка в разных направлениях, а на полу кое-где трепетали резвые-острые язычки. Алексей Васильевич рванулся было за порог, желая затоптать их, но тут же отшатнулся — летающий огонь опажнул его смрадным жаром. Зажигательная бомба, пронизав, подобно стреле, кровлю здания, застряла в перекрытии второго этажа, разбрызгивая термит. И чтоб обезвредить ее, надо было подняться еще выше, на чердак... Увидев на лестничной площадке ящик с песком, старик подхватил его и понес с такой легкостью, точно в ящике и не было трех-четырех пудов. Лишь смутно, краем сознания он подивился самому себе, своей вновь обретенной силе.

...Пожар в левом крыле инструментального корпуса был сравнительно легко ликвидирован заводской командой ПВО; огонь, обнаруженный Алексеем Васильевичем, также потушен. Но хуже обстояло дело на правой стороне, где загорелось одновременно в нескольких местах и занялись, как спички, стропила. Когда примчалась на автомашинах городская команда, пожаром были охвачены здесь оба этажа, часть кровли обвалилась и сильный ветер, раздувавший огонь, грозил поджечь соседние постройки. На чердаке воспламенились пустые деревянные ящики, пролежавшие там, быть может, целое столетие; паутина и пыль, свисавшие с кровли, были сорваны потоком воздуха и понеслись, пылая на лету, роняя искры на дом заводоуправления, на конструкторское бюро, в котором помещался цех минометов...

Около получаса уже люди боролись с огнем — теперь они стремились главным образом помешать его распространению. И хотя воздушное нападение на город продолжалось, бойцы из противопожарных звеньев, а вме-

сте с ними десятки добровольцев живой цепью, оградой из человеческих тел окружили ближайшие здания, оберегая их... Алексей Васильевич, оставшись на чердаке инструментального цеха, поднял оброненный багор; пожарники рубили стропила, и он, цепляя багром горящие балки, сталкивал их вниз, в снег. Вначале ему кричали, чтоб он ушел отсюда, потом бойцы ПВО как бы признали в нем одного из своих, а сам он совершенно забылся... Он хорошо понимал, что именно происходило вокруг и что в каждую данную минуту надо было делать. Вместе с тем ему мерещилось, что он — уже не он, Алексей Васильевич, почтенный человек, пенсионер, а — Алешка Громов с Пороховой улицы, молодой двадцатилетний парень... И что не сверстники его сына орудуют вокруг топорами, а его погодки, его лихие товарищи встали с ним вместе в этом жгучем угарном воздухе. Дым проник в легкие Алексея Васильевича и душил его, слезы непрерывно заволакивали глаза; упавшее бревно больно задело по плечу, но на удары, полученные в драке, не приходилось жаловаться... И если ветер, налетавший порывами, валил набок дымную тучу и морозный воздух обвевал опаленное лицо, Алексей Васильевич узнавал и это свежее прикосновение, такое сладостное для бойца. Ни на миг не покидало его вполне ясное сознание: завод объят пожаром, и надо любой ценой отстоять завод. Но параллельно этому главному сознанию он чувствовал себя реально перенесенным в свое прошлое — та же гневная удаль, что и сорок лет назад, переполняла его бешено стучавшее сердце. И он боролся сейчас, как тогда, — в открытую схватившись со злобным живучим врагом... А рядом бились, как и бывало, его верные друзья со Штыковой улицы, с Арсенальной, с Курковой...

— А-а, давай, не робей! — хрипел он, задыхаясь, но подбадривая товарищей. — Эх, голубчики!

— А-а, ай! — доносилось к нему сквозь рев огня, сквозь яростное шипение воды, превращавшейся в пар, — друзья откликались на его голос.

Алексей Васильевич упирался багром в балку, толкал ее... И она переваливалась за карниз, становилась вертикально, похожая на исполинский факел, который скользил в темноту, освещая заводской двор, людей, пробегавших внизу, красные пожарные машины, шланги, змеившиеся по снегу.

Огонь на этажах удалось, наконец, залить водой, но наверху с ним все еще не могли справиться. В задымленной глубине огромного чердака появился новый очаг пожара: вспыхнули обломки цеховой мебели — верстаков, шкафчиков, табуреток, бог весть когда сваленные там. И командир, распорядившийся наверху, приказал бойцу со шлангом сбить это пламя... А несколько раньше, не дожидаясь приказа, пошел в горячую плотную мглу Алексей Васильевич, углядевший опасность.

— Куда? Стой! — крикнул ему вдогонку командир. — Стой, старый черт!

Но Алексей Васильевич не услышал... Как будто желтые, хвостатые зверьки прыгали под ребрами кровли, вырастая и множась у него на глазах. И он устремился на них, подняв багор... Однако лишь с трудом добрался старик до этой резвой стайки — его пошатывало, влекло куда-то вбок, он спотыкался... Все же он принялся растаскивать костер: вонзив свой багор в разбитый стол, трещавший в огне, он выволок обломки на открытое место, чтоб сбросить вниз... Секунду Алексей Васильевич помедлил, жадно глотая воздух; пиджак на нем тлел в нескольких местах... И в это мгновение кровля, из-под которой он только что выбрался, осела и двинулась сзади на него...

Казаков, Николаевский, Алмазов, выбежавшие на крыльцо, видели, как их друг — неумный Алеша Громов — стоял на самом верху трехэтажного корпуса инструментального цеха, а над его удалой седовласой головой непрерывно рождались в черном, как уголь, небе белые ослепительные звезды!

— Алеша! Слезай, Алеша! — в страшном волнении выкрикивал Казаков.

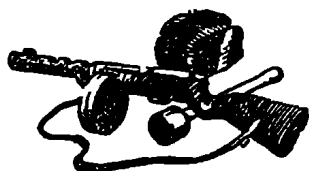
Потом Громов исчез в дыму и вновь появился, размахивая багром, опять пропал... И Казаков еще раз увидел его как раз в тот момент, когда огромный кусок железной кровли, потерявший опору, напoлз сзади на Громова... Накрыв его, кровля рухнула, и острое, как конье, пламя высоко взвилось там, где она упала.

Через несколько минут Алексея Васильевича снесли во двор; он дышал, был в сознании, но говорить не мог.

А спустя еще полчаса пожар на заводе был потушен; соседние с инструментальным корпусом строения совсем не пострадали, и ночная смена вернулась к работе. Ша-

ров, докладывая по телефону Ласточкину о случившемся, упомянул и о том, что ракетчика, осветившего завод во время воздушного налета, схватить не удалось: мерзавец и на этот раз ускользнул.

...К утру части Красной Армии остановили эсэсовскую дивизию на юго-востоке от Т., но сейчас же возникла новая угроза на севере от города: там крупные соединения танков и пехоты врага атаковали на встречных направлениях — одновременно с востока и запада. И теперь только небольшая полоска в четыре-пять километров шириной, занятая советскими войсками, отбивавшимися на обе стороны, связывала еще Т. с тылом.





1

Дивизия, куда назначен был командиром полковник Богданов, находилась с начала ноября на отдыхе после продолжительных осенних боев. К концу месяца она опять была полностью укомплектована и вооружена: новые командиры и политические работники заняли в подразделениях места тех, кто выбыл из строя, и сотни обученных различным военным профессиям людей — саперов, артиллеристов, минометчиков, связистов, разведчиков, медицинских сестер, интендантов — пришли в специальные части. Пехота получила в это же время много автоматического оружия: пулеметов станковых и ручных, зенитных установок, автоматов, а в артиллерийском полку появились орудия, отличавшиеся от старых, побывавших в походах, своей свежей заводской окраской; впрочем, их вскоре перекрасили в маскировочный белый цвет. Люди затем тепло оделись для зимней кампании в полушубки, в стеганки под шинель, в байковое белье, в меховые жилеты; был пополнен и отремонтирован автомобильный транспорт, а гужевой переведен на сани; отдельные подразделения встали на лыжи...

В дивизии, как и в других больших и малых соединениях, сосредоточенных в резерве Западного фронта, шла полным ходом подготовка к новым боям, и лишь в очень условном смысле это ее пребывание за линией огня являлось отдыхом. Помимо того, что техническое оснащение войск должно было быть завершено в чрезвычайно короткие сроки, требовалось как можно лучше использовать предоставленную передышку для повышения боевого мастерства солдат и командиров, для освоения большого опыта, накопившегося за военные месяцы, для политиче-

ской, агитационной работы. И Богданов, со всей своей нетерпеливой энергией, погрузился в эти труды и хлопоты: с рассвета и до сумерек комдив бывал в частях, на тактических занятиях, допоздна засиживался в штабе... Но как ни ясно сознавал Богданов жизненную необходимость тщательной боевой подготовки войск, его охватывали порой и недоумение, и чувство неловкости — слишком продолжительным все же представлялось молодому комдиву его пребывание в тылу...

Известия, приходившие с других участков фронта, стали, правда, в последние дни ноября более утешительными. Так, в ночь на 23-е число Совинформбюро сообщило об ударе по войскам врага, нанесенном западнее Ростова-на-Дону; там к исходу третьих суток нашего наступления были разгромлены немецкий 49-й горнострелковый корпус, дивизия СС «Викинг» и 16-я танковая дивизия. Спустя несколько дней был нанесен еще один удар — части нашего Ростовского и Южного фронтов освободили Ростов-на-Дону, и потерпевшие поражение войска группы генерала Клейста начали беспорядочный отход в сторону Таганрога. Однако под Москвой положение оставалось тяжелым, критическим, грозным — Богданов достаточно хорошо был о нем осведомлен... И странным, как бы противоестественным казался иногда полковнику тот мирный быт, что теперь окружал его: дымок баньки, истопленной бойцами, вернувшимися с учения; концерт красноармейской самодеятельности, устроенный дивизионным клубом; солдатское, развешанное на плетне белье, стучавшее под морозным ветром, как фанера; баян, игравший по вечерам на деревенской улице; смех и девичий шепот в сумерках у калитки — весь тот быт, которым с такой быстротой обрастает на отдыхе воинская часть. Как-то даже Богданов заговорил на эту тему с комиссаром дивизии Машковым, и присутствовавший тут же начальник штаба, подполковник Веснин, заметил:

— Ставим стяг, Николай Федорович, дело серьезное, ответственное... Ставим стяг.

Богданов насупился, не понимая, но затем кивнул головой, вспомнив, что выражение «ставить стяг» означало некогда в русской армии — строиться в боевой порядок, готовиться к бою.

Веснин, бывший до войны преподавателем истории военного искусства, любил щегольнуть своими знаниями,

особенно в разговорах с молодым комдивом. Чаше, чем в том встречалась, по мнению Богданова, надобность, Веснин пускался в теоретические рассуждения, вспоминал князя Святослава или Тюренна, ссылаясь на малоизвестные ученые исследования. И обычно это заставляло Богданова настораживаться — начальник штаба умышленно как будто подчеркивал свое теоретическое превосходство над ним... На сей раз, впрочем, полковник мысленно согласился с тем, что Веснин сказал удачно: выражение «ставить стяг» было не только уместным в данном случае — оно прозвучало особо значительно, почти торжественно.

— Не терпится, товарищ полковник, понимаю вас... Всем нам не терпится, — сказал Машков. — Возьмите вот, и пушки мы получили новые, и оружие, и снаряжение, и машины, и валенки. Даже мелочи не забыты, даже грелки прислали нам — видели их? — грелки, чтоб руки в окопах не мерзли... А ведь немец к Москве подошел, под Ленинградом стоит, промышленное производство пострадало в большой степени. И я частенько думаю, какой труд, какой беззаветный труд понадобился, чтобы так щедро снабдить нас! Я получаю письма из тыла, люди там на все жертвы идут, отказывают себе для нас в самом необходимом.

Богданов опять кивнул, соглашаясь; лицо его, по-солдатски загрубевшее, песочно-красноватого оттенка, было хмурым, недовольным.

— С начала войны я отступал, — резко проговорил он. — С утра двадцать второго июня я дрался с врагом, превосходившим меня численностью и вооружением... И немец теснил моих солдат, прорывался в тыл, нападал с флангов, окружал. Я по целым дням только и слышал, что гул его моторов... И я не дождусь, когда придет моя очередь.

— Хочу напомнить вам одно место из «Трактата о военном искусстве» Сунь-Цзы, — оживившись, быстро заговорил Веснин. — Две с половиной тысячи лет назад — обратите внимание, Николай Федорович: две с половиной тысячи! — этот китайский военачальник написал: «Непобедимость — есть оборона; возможность победить — есть наступление. Когда обороняются, значит есть в чем-то недостаток; когда наступают, значит есть все в избытке», — процитировал на память начальник штаба.

Богданов нетерпеливо дожидался, когда Веснин кончит.

— Александр Аркадьич,— громко сказал он.— Черт те что у нас делается, черт те что! Я утром заехал в авто-роту, часть машин не вышла до сих пор из ремонта... Куда такая работа годится! Мой помощник по тылу полагает, как видно, что мы простои́м тут всю зиму.

Веснин — худощавый, сутуловатый, с поседелой головой, слушал, опустив глаза.

— И затем,— продолжал Богданов,— я не получил еще плана ночных тренировочных занятий. Мы же договорились, Александр Аркадьич...

Говоря так, комдив был далек от намерения обидеть своего ближайшего помощника; он лишь напоминал о том, что было сегодня важно для всей дивизии, а следовательно, и для Веснина. Но если б он мог проникнуть в мысли начальника штаба, ему открылось бы примерно следующее:

«Нелегко с тобой сработаться... — огорченно думал подполковник, — и зачем ты непрерывно подстегиваешь меня, торопишь? Разве ты не видишь, что я делаю все, что могу, сплю по три часа в сутки».

Веснину казалось, что новый комдив — неутомимый, полный молодых, неистраченных сил, способный по суткам не спать, не сходить с седла, — постоянно недоволен им, быть может, даже не считает его способным справиться со своими обязанностями. И начальник штаба прилагал огромные старания, чтобы убедить комдива в обратном: именно эту оборонительную цель — только ее — и преследовали частые экскурсии Веснина в историю военного дела.

Богданов, настороженный в свою очередь, ничего подобного не подозревал... С первого же дня по приезде в дивизию полковник заметил, что к нему пытливо присматриваются, его изучают и оценивают, как обычно бывает в подобных случаях. И надобно сказать, что он не был безразличен к этой оценке... В то же время Богданов прямодушно полагал, что лучший способ завоевать доверие подчиненных заключается в неукоснительной требовательности и к себе, и к другим — весь грозный ход событий диктовал ее. И он был бы очень удивлен, если б узнал, что новые сослуживцы составили уже о нем пред-

ставление, как о чрезмерно взыскательном, даже придиричивом, жестком в обращении командире.

В самом конце ноября Богданов получил, наконец, приказ о передислокации — его дивизия подтягивалась ближе к фронту. Надо было думать, что теперь осталось совсем недолго ждать приказа и о занятии боевого участка.

С наступлением темноты полки снялись с обжитых мест. Была безветренная холодная звездная ночь, когда Богданов, сидя на побелевшем от инея коне, пропускал мимо себя части дивизии. По дороге, пересекавшей снежную равнину, катился и шумел плотный, темный поток людей и машин; стрелковые подразделения одного из полков прошли уже, и теперь на шоссе вступила артиллерия. Медленные тягачи проползали в морозной мгле, звеня и громыхая гусеницами, таща за собой длинноствольные пушки; стучали цепи, надетые на колеса трехтонок, груженных боеприпасами. Тяжелый гул плыл над землей... И, отражая далекий рассеянный звездный свет, чуть мерцали каски бойцов оружейных расчетов.

Богданов обернулся к комиссару дивизии; Машков, приподнявшись в стремени на своем крупном вороном и тоже поседевшем сегодня коне, смотрел в голову колонны.

— Выступили точно, минута в минуту... — отрывисто сказал полковник. — К рассвету придут на место.

Он был внутренне разгорячен, возбужден, сознавая себя командиром всей этой массы людей, этой обильной сложной военной техники, двинувшейся к фронту; он был и озабочен, так как ночной марш дивизии являлся в известном смысле проверкой ее оперативной готовности.

— Нельзя иначе, обязательно придут к утру, — сказал Машков.

Как и комдив, он испытывал волнение: полки направлялись к линии огня, и приближался момент, когда неисчислимы́е усилия множества людей, создавших их военную мощь, выплавивших эту звенящую сталь, построивших эти реву́щие моторы, изготовивших эту дремлющую в тысячах снарядов страшную силу, должны были разом обрушиться на врага.

— Мороз, а? Знатоно забирает... — с удовлетворением добавил он.

Тронув своего коня, комиссар встал бок о бок с полковником; белый парок дыхания, вылетающий из рта, застилал его лицо.

— В арtpолку сегодня было подано много заявлений о приеме в партию, — сказал он. — Бойцы так и пишут: «Выступаю на фронт и прошу считать меня коммунистом». Во всех дивизионах хорошо прошли партийные собрания.

— Народ в полку неплохой, — кратко, резко бросил Богданов.

— Народ превосходный! — убежденно проговорил комиссар.

А гроыхающая, тесная, темная колонна все тянулась мимо них; пушки и автомашины утратили в ночной мгле привычные очертания, и казалось, это шествуют гуськом гиганты, бряцающие своими доспехами.

Постояв еще немного, Богданов и Машков проехали в конец колонны, поговорили там с командиром арtpолка, затем свернули в сторону, чтобы выбраться на параллельную дорогу.

Некоторое время они ехали лесом — густая чернота сомкнулась вокруг, ветки деревьев задевали всадников, и кони храпели, вздрагивая, порываясь пуститься вскачь. Младший лейтенант Зуев, адъютант комдива, достал из кобуры пистолет и переложил его в карман полушубка.. Собственно, в этом не ощущалось надобности — неприятель находился еще не близко, и едва ли какая-нибудь опасность угрожала сейчас командиру и комиссару дивизии. Но адъютант был очень молод, и его обуревало этой ночью особенное служебное рвение. Стараясь держаться поближе к комдиву — ровно на полкорпуса лошади позади — Зуев подозрительно всматривался в лесную темень, и ему нравилось чувствовать себя бдительным, усердным, готовым ко всяким случайностям...

За лесом опять открылось ровное поле; вдоль опушки прямо по целине скользили аэросани — маленькая флотилия белых лодок, качавшихся будто на волнах, плыла в снежном океане. Синеватые, как звезды, трепетные огоньки поблескивали перед каждой лодкой, — это отсвечивали вращавшиеся и поэтому невидимые пропеллеры.

А через поле шла на запад в бой пехота; как и предполагал Богданов, он встретил здесь на проселке еще один из своих стрелковых полков. Подъехав к колонне,

комдив приказал адъютанту позвать кого-либо из командиров... Вскоре он увидел перед собой увязавшего в снегу высокого человека в длинной шинели с заиндевевшим светлым автоматом на груди.

— Командир второй роты второго батальона, двенадцатого полка лейтенант Горбунов, — доложил, запыхавшись, подошедший командир, вскинув размашистым движением руку для приветствия.

— Когда выступили с ротой? — громко, не наклоняясь с седла, спросил Богданов. — Отсталых нет?.. Покармлили людей перед выходом?.. Энзе выдали?.. Сколько патронов выдали?

И, подчиняясь властному тону, каким были заданы эти быстро следовавшие один за другим вопросы, лейтенант невольно заторопился, отвечая, заспешил, точно оправдываясь.

Пустив коня шагом, Богданов поехал рядом с бойцами, приглядываясь к тому, как они одеты, как несут оружие. Его опажнул знакомый теплый запах — смесь махорки, пота, ружейного масла и хлеба — ржаного сухого хлеба... Мягко стучали валенки, множество валенок, скрипел снег, звякал иногда котелок; лица людей казались в потемках почти черными. За спиной Богданова раздалось:

— Равнение на пра-во! — Горбунов подал своей роте соответствующую случаю команду.

Полковник, натянув поводья, встал в стремянах:

— Здравствуйте, товарищи бойцы второй роты! — крикнул он.

— Здравст... товащ... ком... див... — невнятно воскликнул кто-то, опередив остальных.

Тотчас же грянуло много голосов:

— Здрав-ствуй-те...

Но в общем ответ получился не слишком дружный — быть может, потому, что начальство появилось неожиданно, — и Богданов оглянулся на командира роты.

— Вы давно в армии, товарищ лейтенант? — строго спросил он, придержав коня.

Горбунов машинально оправлял шинель под ремнем, ожидая немедленного выговора.

— С тысяча девятьсот сорокового, товарищ полковник, — почему-то озабоченным тоном ответил он.

— Где служили?

— Отбывал действительную на границе... В этой же самой роте. С нею сюда дошел с боями, — Горбунов опять заторопился.

— Много у вас солдат старой службы? — продолжал расспрашивать Богданов.

— Есть такие, товарищ полковник: сержант Румянцев, рядовые Двоглазов, Кочетов... — лейтенант стал называть фамилии.

Тем временем рота проходила дальше, и солдаты в свою очередь внимательно, любопытно, придирчиво, уважительно, беспокойно приглядывались к командиру дивизии. Именно ему, этому нестарому еще человеку, в искрящемся от морозной пыли полушубке, сидевшему в седле с высоко подтянутыми стремянами, доверено было повести целое войсковое соединение в бой. И люди, побывавшие уже в огне, думали о том, что от умения, энергии, знания, военного таланта этого недавно присланного к ним полковника зависят в известной мере и общий их успех, и личная судьба каждого; тем же, кто впервые шел в огонь, особенно нервничавшим, этот низкорослый всадник на дымившемся, окутанном паром коне представлялся исполненным сурового, неограниченного могущества. А его внезапное появление на дороге было непосредственно как будто связано с тем невообразимо трудным и грозным, что предстояло им в близком будущем.

Солдаты плохо слышали разговор лейтенанта с Богдановым, но, судя по долетавшим голосам, комдив сердился, казалось, а лейтенант оправдывался. И те из бойцов, что проделали уже со своим ротным командиром много маршей, перетерпели много одинаковых бед на длинном пути от границы до Москвы, начали тревожиться за Горбунова. Встретившись сегодня с большим начальником, они действительно немного подкачали, как говорится, и было похоже, что их лейтенант получает от командира дивизии нагоняй... Шеренги, потерявшие строй на заваленном снегом проселке, быстро подравнивались теперь, люди ускоряли шаг. И вдруг послышалась песня — над колонной взметнулся одинокий надсадный сиплый голос: '

Слушай, товарищ,
Война началась!
Бросай свое дело,
В поход собирайся!

Горбунов узнал по голосу одного из старейших бойцов роты — сержанта Румянцева и мысленно поблагодарил его... Сержант хотел, повидимому, показать своим пением комдиву, что во второй роте второго батальона шагают настоящие brave воины, на которых вполне можно положиться.

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

подхватило припев еще несколько голосов, таких же солдатски натруженных, огрубелых. И лейтенант почувствовал себя растроганным — ветераны роты старались, чем только могли, помочь своему командиру, поддержать его в трудных обстоятельствах.

...И как один умрем
В борьбе за это!

запела вся рота, и в ее хоре выделился высокий, чистый, красивый тенор. С отчаянной удачей его обладатель пропел последние слова, лихо отрывая их одно от другого в такт шагам. И можно было догадаться, что это поет солдат из пополнения, новичок, стремившийся заглушить, пересилить свой душевный трепет перед надвигавшимися событиями.

Рвутся снаряды,
Трещат пулеметы...

начал Румянцев вторую строфу. И хотя голос его, навсегда простуженный, потерявший звучность под осенними дождями, в июльский пыльный зной, в ноябрьские метели, был негибок, невыразителен, он понравился Богданову и Горбунову больше других — такая упрямая солдатская выносливость слышалась в нем.

...Их не боятся
Красные роты!

ответил служаке сержанту ухарский, вибрировавший от напряжения, прозрачно-чистый тенор новичка.

Богданов, стащив перчатку с руки, нагнулся.

— Желаю вам боевого успеха, товарищ лейтенант! — серьезно сказал он, протягивая руку...

У Горбунова отлегло от сердца — полковник, как видно, остался все же доволен состоянием роты...

— Благодарю! — поспешно сорвав свою шерстяную

перчатку, воскликнул он, хотя благодарить начальство и не полагалось.

— Надеюсь, что скоро мы с вами пойдем в обратном направлении, к границе, — сказал Богданов.

— Так точно, товарищ полковник, — радостно ответил лейтенант, — все мечтаем об этом.

Он откозырял и бросился догонять своих людей. Богданов некоторое время стоял на месте, провожая взглядом уходившую роту; песня постепенно ослабевала — мгла как будто поглощала ее... И снова стал слышен шорох сотен ног, ступавших по снегу, — слитный, довольно громкий, однообразный шорох. А над головами солдат, над их форменными ушанками, над вещевыми мешками, над покачивавшимися винтовками, над длинными стволами противотанковых ружей блистали звезды... Их неисчислимо много высыпало сегодня на иссиня-черном небе — таких крупных и ярких, точно они приблизились этой ночью из своих бескрайних просторов. Светло сияло семизвездие Большой Медведицы, белым холодным пламенем горела Полярная Звезда. И величественный, неописуемый, ни с чем несравнимый мерцал, посверкивал, расплывался в туманностях, густел голубоватыми скоплениями исполинский, объявший полнеба Млечный Путь... Вскоре потянулись другие роты, песня затихла совсем, но пехотная колонна все не кончалась.

Позднее, глубокой ночью, Богданов и Машков спешили у какой-то встретившейся им по дороге избы, чтобы погреться. Пока Зуев хлопотал насчет чая, полковник, скинув полушубок, присел к столу, на котором только что затеплился восковой огарок... В тесноватой, закопченной избе витал еще сон, заволакивая темные углы; хозяйка зевала, возясь с чайником, шаркая валенками, чье-то равномерное спокойное дыхание доносилось из-за печи. Здесь было тепло, даже душно, пахло кислым тестом, с вечера, вероятно, затворенным, дымком, овчиной...

— Потревожили людей, неудобно отчасти, — тихо сказал Машков.

— Да, нехорошо, — согласился Богданов.

— Веснин, должно быть, дожидается нас, — помолчав, опять заговорил комиссар. — Он на своем вездеходе всех обогнал.

Богданов, задумавшись, не ответил... Ему померещилось, что он был уже когда-то, давным-давно, в этой са-

мой избе, слышал это шарканье разношенных валенок, смотрел в этот темный, низкий потолок... Потом он вспомнил — вот точно так же шаркала по избе его мать, поднявшаяся до света, чтобы приготовить на всю семью завтрак. А он, мальчишка, первоклассник Колька Богданов, пробудившись на печи, прислушивался к ее возне, к стуку жестяной заслонки, к бульканью воды в чугушке, соображая, может ли он поспать еще или надо собираться в школу. Что-то неощутимо почти шевелилось у его ног, и в жаркой сонной темноте запечья вспыхивали два плоских, волшебных зеленых огонька — кошка садилась и бесшумно начинала умываться. А чуть светало за окном — мать подходила, становилась на приступок и шарила своей мягкой рукой...

— Опоздаешь, Коленька, — с сожалением говорила она, дотрагиваясь до головы сына. — Собирайся, голубок...

И он недовольно, просительно бормотал:

— Рано еще... Чего ты в такую рань?..

«Да было ли это когда-нибудь?» — удивившись, спросил себя Богданов.

Ему подумалось, что в каждой деревне, в каждой избе, где он побывал за войну, а этих деревень, этих придорожных изб, в которых он ночевал, командовал, располагал для обороны своих солдат, набралось уже великое множество, — в каждой было что-то, напоминавшее родную деревню и родную, рубленную в пять стен избу. Отходя, оставляя их врагу под Минском, под Смоленском, под Медынью, он всякий раз сызнова как будто покидал на разорение свой дом.

Хозяйка отодвинула заслонку, брякнула ухватом. И неожиданно под потолком, на печи, тонувшей во мраке, вспыхнули и засветились два плоских изумруда — два зеленых глаза; там, как и в детстве, появилась неслышно кошка... Богданов выпрямился и огляделся — казалось, он и впрямь очутился вдруг в родной избе, заехав к матери по дороге в бой. Это ощущение было таким сильным, что сердце его беспокойно и приятно заныло.

— Наши ближайшие соседи тоже выступили сегодня, — наклонившись к его уху, тихо проговорил Машков. — Вероятно, в одном с нами направлении.

— А... Надо полагать, что так... — отозвался Богданов.

«Ближайшими соседями» были танкисты, стоявшие в резерве рядом с его дивизией.... Повидимому, этой ночью

происходила большая передвижка войск, быть может, целых армий, совершалось нечто чрезвычайно важное — резервы фронта подтягивались к переднему краю. А это означало, что свежие мощные соединения будут не сегодня-завтра введены в подмосковное сражение.

— Серьезных новостей надо ожидать, — сказал Машков. — Сдается, что так...

— Будут новости, — подтвердил Богданов.

«Скоро уже, совсем скоро...» — мысленно продолжал он, обращаясь не к Машкову, а к своей матери. — Скоро все решится... Ты услышишь, узнаешь...»

...К утру полки дивизии прибыли в назначенные им пункты, и в это же утро Богданов и Машков были вызваны в штаб армии на совещание к командующему. Оттуда они вернулись, увезя с собой боевой приказ — армия переходила в наступление, и их дивизии также надлежало атаковать врага, чтобы отбросить и разгромить его. Не была лишь указана покамест дата — день и час начала операции... И затем, прошло еще несколько суток в сложной, скрытно выполняемой работе, непосредственно предшествующей атаке крупных войсковых масс, когда уясняются тактические детали, уточняются формы взаимодействия, в план вносятся последние коррективы, а частные задачи доводятся до взвода, до отдельного солдата.

Богданов наружно стал спокойнее в эти дни, хотя почти не спал... И, присматриваясь к людям, замечая, что ординарец его тоже не спит по ночам, что в глазах телефонистов, писарей, связанных застыло выражение ожидания, вглядываясь в сумрачное, недоброе лицо солдата-постового, Богданов узнавал в окружающих свое душевное состояние, как бы отразившееся в чужих душах.

Во всех подразделениях дивизии была, по предложению комиссара, вновь прочитана военная присяга. И тысячи вооруженных людей, опустившись побатальонно, поротно на колени, повторили за своими комиссарами и политруками:

— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик... принимаю присягу и торжественно клянусь... до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Правительству.

На опушке рощи и на окраине деревни, на заснежен-

ном картофельном поле и на лесной просеке из тысячи уст одновременно вырывалось:

— Я всегда готов... выступить на защиту моей Родины... и, как воин Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

На обнаженные, остриженные головы солдат падал мягкий редкий снежок. И глуховато, сдержанно, согласно звучали тысячи мужских голосов:

— Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся.

Потом командиры подразделений целовали знамена — красные, обшитые золотой бахромой, ниспадавшие длинными шелестевшими складками, иногда потемневшие от пороховой гари, и, встав к ним лицом, выпрямившись, побледнев, клялись выполнить в сражении свой воинский долг.

Но миновали еще одни сутки, а приказ об атаке все не приходил...

Наряду с выбором направления удара одна из главнейших задач стратегического руководства заключается в том, чтобы найти, указать наилучший для нанесения удара момент, то есть момент наиболее выгодного соотношения своих сил и сил противника. Определить этот критический момент в ходе борьбы, в непрерывно меняющейся обстановке, когда одни сутки или даже несколько часов могут иметь бесповоротное значение, когда поспешность так же опасна, как и медлительность, — задача вообще исключительно трудная. А в сражении за Москву Советское Главное Командование решало ее в то время, когда гул сражения был слышен в предместьях столицы. И поразительная точность этого решения — неторопливо вынесенного, всесторонне обдуманного — представляется нам сейчас не только классическим примером полководческого искусства, но и великим человеческим подвигом.

В конце ноября, в первых числах декабря 1941 года немецко-фашистские войска наступали, как мы помним, с крайним ожесточением. И, вместе с тем, в эти именно дни начали обнаруживаться признаки утомления врага.

Немцы еще упорно атаквали, еще продвигались кое-где, но уже множились случаи, говорившие о материальном и моральном истощении германской армии.

Генерал Катуков, командир гвардейской танковой бригады, действовавшей на одном из важнейших — истринском направлении, писал впоследствии: «2-го и 3-го декабря в бою в районе Бакеево был отмечен мало-значительный на первый взгляд эпизод: три наших танка пошли в контратаку, и немцы обратились в паническое бегство... Мы проанализировали этот эпизод. Были возможны три варианта: либо немцы шли на провокацию, заманивая нас в ловушку, либо на этом участке находились нестойкие вражеские подразделения, либо, наконец, немцы стали выдыхаться. Послали к пункту В. группу в восемь танков под командованием лихого танкиста Самохина — немцы дрались вяло, допуская грубые тактические ошибки. Стало окончательно ясно, что в рядах противника, в связи с затяжной операцией, возникло замешательство».

Эпизоды, подобные описанному Катуковым, наблюдались теперь на различных участках подмосковного фронта. А в многочисленных показаниях военнопленных, в письмах немецких солдат на родину все явственнее выступали растерянность и страх — страх перед русской зимой, перед стойкостью русского солдата, перед меткостью русской артиллерии, перед мстительностью русских партизан, страх перед русской Москвой!

За первые четыре месяца войны потери германской армии убитыми, ранеными и пленными достигли гигантской семизначной цифры. В приграничных сражениях, а затем под Смоленском, под Киевом, под Ельней, под Брянском, далее, под Москвой враг понес небывалый, невосполнимый урон. И Москва, находившаяся уже совсем недалеко, но попрежнему недостижимая, Москва, где гитлеровские солдаты намеревались отдохнуть, но на пути к которой они сотнями тысяч укладывались на вечный отдых, вселяла теперь ужас в их души.

В оперативном отношении обстановка на подмосковном фронте характеризовалась к началу декабря тем, что неприятель вынужден был все чаще переходить к обороне, в то время как наше командование захватывало инициативу в свои руки. К югу от Москвы в районе Каширы первым из наших резервных соединений вступил в бой

гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова, усиленный пехотной дивизией и танками. Немецкие мотополки, подходившие к Кашире, были 28 ноября атакованы гвардейцами-конниками на обоих флангах и поспешно стали отступать на Мордвес, бросая вооружение. Чтобы остановить кавалеристов, неприятель ввел здесь в бой еще одну моторизованную дивизию, но это не принесло ему успеха.

Одновременно советские войска разгромили передовые немецкие части, переправившиеся на восточный берег канала имени Москвы под Яхромой. Удар свежих резервных войск генерала Кузнецова оказался достаточно сильным, чтобы противник в дальнейшем отказался от попыток форсировать эту важную водную магистраль...

Итак, в начале декабря гитлеровские армии группы «Центр» были скованы на ряде важных участков, а бои навязывались немцам советскими войсками. На южных подступах к столице 2-я танковая армия Гудериана оказалась разбросанной по огромной территории; клин, вбитый ею в наше расположение, был расщеплен, и большинство ее частей, прекратив дальнейшее продвижение, спешно принялось зарываться в землю, сооружая опорные пункты. Очень ожесточенные бои шли еще в районе Кострово — станция Ревякино, где пытались соединиться немецкие танковые и пехотные части, наступавшие на встречных направлениях... Но при всей серьезности создавшегося там к 5 декабря положения эти бои имели лишь местное значение. В основном же немецко-фашистская армия вынуждена была к 4 и 5 декабря перейти к обороне почти на всем советско-германском фронте.

И в этот момент наибольшей слабости врага советские войска, усиленные мощными, своевременно сосредоточенными резервами, нанесли по врагу тяжкий, сокрушающий удар.

Утром 6 декабря войска Западного фронта, которыми командовал генерал армии Жуков, и войска правого крыла Юго-Западного — маршала Тимошенко перешли по приказу Верховного Главнокомандующего Сталина в решительное контрнаступление. Днем раньше развернулись наступательные действия частей Калининского фронта (генерал Конев) под Калинином.

Меч, занесенный над немецко-фашистской армией, опустился.

Только спустя сутки после разгрома немецкого гарнизона в Арсеньевске (как раз в ночь на 6 декабря) отряд лыжников вернулся в Т.; обратный путь был гораздо более трудным. Вспокоившееся немецкое командование подняло на ноги все ближайшие гарнизоны: эсэсовские и полицейские части пытались окружить отряд, мессершмитты, высматривая его, кружили с утра и до темноты над окрестными лесами. И лыжникам, уносившим с собой раненых, уводившим большую группу людей, освобожденных из плена, дважды пришлось принимать бой, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо...

Но Володя Тихонов ничего уже об этом не знал, как не видел и того, что Лена неотступно следовала за носилками, на которых его несли, что Витя то и дело наклонялся к нему в упрямой надежде усмотреть какие-либо признаки начинающегося выздоровления. Жизнь едва теплилась в Володе — недвижимом, умолкшем, не приходившем в сознание, — лицо его страшно побледнело, и лишь по редкому дыханию, чуть приподнимавшему грудь, можно было догадаться, что его обескровленное, пробитое пулей тело еще противилось смерти.

— Главное до города поскорей дойти. А там Володьку быстро вылечат, — твердил Лене Веревкин, успокаивая также и самого себя; опухшие губы все еще болели у него, и он медленно выговаривал каждое слово. — Доктора свое дело знают... Помнишь, Володька объяснял — по сто пятьдесят лет люди жить будут. — И он опять — в который раз уже — возвращался к тому, что больше всего потрясало его:

— Я ж тебе говорил, Володька меры примет, а ты, чудачка, не верила... А он, видишь, с целым батальоном появился... Да еще партизаны пришли... Я же знал — Володька товарищей не оставит, не такой человек!

— Я верила — я боялась, что его тоже взяли немцы, — оправдывалась Лена.

Как и Веревкин, девушка не сомневалась, что своим спасением они обязаны главным образом Володе. И было невыносимой безжалостной несправедливостью, что в тот момент, когда они и много других людей как бы вернулись к жизни, он, быть может, уходил уже от них... Вероятно, он очень любил ее — Лену, чем иначе можно было

объяснить его постоянную бескорыстную заботу о ней и то незлобивое терпение, с каким он сносил бесчисленные обиды. И дивясь своей слепоте, своему бессердечию, Лена ужасалась при мысли, что она опоздала признаться ему в своем раскаянии. Точно невидимая, и тем менее доступная, непреодолимая стена отделила его от нее — стена, сквозь которую не могли пробиться ни грохот выстрелов, ни шепот признания... На утончившемся бледном лице Володи яснее обозначились теперь темноватые тонкие волосики над верхней губой, точно выросшие за несколько часов; казалось, он сразу стал намного старше после всего, что ему пришлось перетерпеть. И не отходя от него, безвольно покачивавшегося на носилках, Лена мысленно обещала ему быть самой ласковой, самой кроткой — только бы он выздоровел, — самой любящей. Ей необходимо было сделать что-то большое и бесповоротное, способное хотя бы в какой-то мере облегчить для нее сознание собственной неблагодарности. И она решила про себя любить отныне Володю до глубокой старости — только бы он выздоровел!

В течение первой половины дня отряд медленно пробирался лесными дебрями; потом колонна стояла на месте, дожидаясь темноты. Падая снег, покрывая, как одеялом, Володю; Лена красными заочевевшими пальцами смахивала снежинки, застревавшие в его волосах. А Веревкин все бегал от одной группы бойцов к другой, стараясь разузнать, как скоро они двинутся дальше. Иногда к девушке подходил кто-нибудь из людей, сидевших с нею в тюрьме в одной камере, чтобы сказать в утешение несколько слов... А на соседних носилках приподнимался моряк с перебитыми ногами — он оказался действительно огромным, атлетического сложения человеком — и окликал се:

— Сестричка! Ты, когда мы в город придем, требуй, чтобы побольше крови перелили твоему дружку. Ты, ежели доктора волянить станут, бей немедля тревогу... Мы близко будем...

К утру следующего дня раненых удалось, наконец, перенести через фронт в наше расположение. Люди с носилками торопливо шли по открытому месту под небом, исчерченным светящимися пулевыми трассами, в то время как лыжники, залегшие сзади, огнем сдерживали преследователей.

— Ну, теперь Володке жить до ста пятидесяти, теперь уж не сомневайся, — сказал Лене повеселевший Веревкин, когда санитарная машина увезла раненых в госпиталь.

Однако и там, в госпитале, Володе не стало лучше, хотя трудная, длившаяся около трех часов операция прошла благополучно. И после того, как Володю сняли со стола и понесли в палату, врач, оперировавший его, сказал хирургической сестре:

— Пять-семь часов проживет еще, быть может, десять... — Низенький, сутулый, с желчным недовольным лицом, он утирал куском марли свой мокрый побагровевший лоб. — Что вы так смотрите на меня, нечего так смотреть!

Сестра отвела в сторону глаза и не ответила.

— Что вы молчите? — неожиданно вспыхнул хирург. — Достойно удивления, что мальчик вообще дотянул до операции...

Сестра опять промолчала, и врач нетерпеливо взмахнул рукой.

— Перестаньте, — сказал он. — Случаи выздоровления при этих травмах насчитываются единицами. И чаще всего нам вообще не приходится оперировать людей с подобными ранениями.

— Простите, Натан Маркович, но, кажется, я ничем не заслужила такого отношения с вашей стороны, — задрожавшим голосом проговорила сестра. — Мне, конечно, жалко мальчика...

— Некогда нам выяснять отношения, — бросил хирург, идя к умывальнику. — Готовьте следующего.

Затем все же он заглянул в палату, послушал пульс юноши и что-то изменил в лечебных назначениях...

...После полудня в госпиталь пришла мать Володи, Ольга Ильинична. Веревкин, взявший на себя жестокую обязанность известить ее, был несколько озадачен — казалось, Ольга Ильинична мгновенно догадалась обо всем, лишь только увидела его — Витю. Не дав ему выговорить ни слова, она крикнула: «Живой еще? Володя живой?» И не дослушав сбивчивого Витинога рассказа, чрезвычайно заторопилась. По дороге в госпиталь она несколько раз задавала тот же самый вопрос: «Он живой еще? Скажи правду — живой?» И порывалась бежать, но, про-

бежав несколько шагов, останавливалась — ей не хватало дыхания.

В палату к сыну Ольгу Ильиничну впустили лишь на четверть часа, но миновали полчаса, час, а дежурная сестра никак не могла решиться напомнить ей, что пора уходить... В первую минуту Ольга Ильинична как будто бы даже обрадовалась, увидев Володю, — на лице ее появилась удивительная робкая улыбка. Сев около его койки, наклонившись, она что-то зашептала, обращаясь к сыну, и глаза ее выражали не боль, не скорбь, но просьбу... Но затем она начала слегка покачиваться на своем стуле — вперед и назад, как покачиваются иной раз сами раненные, когда их страдания становятся слишком большими... Близился вечер, в палате — небольшой комнатке на две койки — смеркалось, вскоре сестра зажгла лампу, а Ольга Ильинична все покачивалась, сидя подле Володи, неслышно о чем-то упрасывая его.

Вечером пришли соседки Тихоновой по квартире — старушка табельщица, дворничиха, бухгалтер Аглая Тимофеевна... Пропуска в палату им не дали, и они остались внизу в вестибюле; здесь же на лавке у стены приютились Лена и Витя. Получив разрешение отдыхать и отпуск на три дня, они тотчас же отправились проведать Володю и уже не уходили из госпиталя...

— Я вот яблочков сушеных принесла... Компот бы Володичке сготовить... — неуверенно проговорила табельщица и вздохнула. — Ах, он отчаянный, неосторожный голубок, ни себя, ни матери не пожалел!..

— При чем тут неосторожность? — хмуро сказал Веревкин. — Если не видели сами, так и не говорите... Володя подавил огневую точку.

— Он — герой, понимаете? А осторожных героев не бывает, — сказала Лена.

— Верно, что герой, — согласилась табельщица. — Я бывало гляжу на него — ведь на моих глазах вырос, — гляжу и думаю: «Как есть Иван-царевич — и характером прямой, и на личико хорош, и сердцем светел». Такие-то вот первыми и идут.

И они умолкали, объятые тревогой, скупившись все вместе в углу около широкой лестницы, что вела наверх, в палаты, боязливо прислушиваясь, встречая искательными взглядами каждого, кто в белом служебном халате проходил мимо.

— Доктора что говорят, есть надежда хотя бы? — спросила Аглая Тимофеевна; ей никто не ответил.

В это же время у койки Володи собрались врачи. Они опять послушали пульс, постояли с тем непроницаемым, сосредоточенным видом, что скрывает бессилие, — полуоткрытые губы раненого приобрели уже зловещий синеватый оттенок, — и вышли, стараясь не смотреть на худенькую женщину с молящими глазами, оставшуюся в палате.

— Пульс в периферических сосудах почти не прощупывается, — сказал в коридоре один из врачей. — Сколько лет пареньку — семнадцать, шестнадцать?

Хирург, оперировавший Володю, досадливо вздернул плечи.

— Сестра, товарищ Скворцова, чего вы ждете? — резко сказал он. — Немедленно горячую воду к ногам... И приготовьтесь, — будем опять переливать кровь.

Прошло еще какое-то время, Володю унесли в операционную и принесли обратно. Наступила ночь, а Ольга Ильинична попрежнему сидела у койки, что-то нашептывая сыну. Забываясь, она говорила громче... И странной, неразумной показалась бы, наверно, эта бессвязная речь всякому, кто подслушал бы ее.

— Потерпи, Володечка, ничего... Скоро уж... Скоро, сынок... Заживет и болеть перестанет... — как бы внушала она. — Потерпеть надо, а там и легче будет... Вот когда ты скарлатиной болел, тоже огненный был, по подушке метался, все пить просил... Очень тяжело ты скарлатину перенес... А после быстро на поправку повернуло, отходили мы тебя с отцом. И такой аппетит, такой здоровый аппетит у тебя стал...

Иногда Ольга Ильинична легонько касалась руки Володи, вытянутой вдоль тела поверх одеяла, и поглаживала ее.

— ...Переболеешь, а после и полегчает... А выздоровеешь, дальше учиться пойдешь. Война кончится, опять за книжечки возьмешься... — точно приманивала она сына к жизни. — Так-то хорошо будет... На инженера выучишься, на конструктора, как ты хотел... Ничего, ничего, это пройдет, Володечка, сыночек, пройдет...

И не устывая, она опять уверяла Володю, что его мучения скоро уже окончатся, опять молила его потерпеть. А за этим стояло одно желание — помочь сыну в его

ужасной борьбе, одна великая мольба — живи, живи, не умирай, живи долго, живи вечно! Безотчетно Ольга Ильинична пыталась убедить Володю в том, что он должен, что он может пересилить свой недуг. Всем своим существом она переживала сейчас ту скрытую непостижимую борьбу, что происходила в теле сына, она ощущала ее, как свою собственную, как отчаянное сопротивление своего сердца, своих кровеносных сосудов, нервов, мышц... И стремясь утишить, ослабить телесную боль, которую испытывал, должно быть, Володя, она машинально, бессознательно покачивалась — вперед и назад — с постоянством и терпением маятника.

На соседней койке заворочался человек с забинтованными руками и грудью, застонал в своем тяжком сне и затих; изредка кто-нибудь проходил по коридору, и на матовом стекле дверей скользила расплывчатая человеческая тень...

Истек еще один час, и что-то изменилось в состоянии Володи: кожа на его заголубевшем лице заблестела от обильного пота, а дыхание сделалось частым и неравномерным.

Сестра, снова вошедшая в палату, поглядела на раненого и тотчас же ушла, чтобы сообщить об этих дурных симптомах врачу. Как только дверь за нею закрылась, Володя очнулся — веки его приподнялись лишь наполовину, но из-под них ясно глянули зеленоватые глаза.

— Сыночек... — пролепетала Ольга Ильинична, нагнувшись ниже.

И, видимо, Володя узнал ее.

— Возьми... возьми меня за руку, за правую, — проговорил он внятно и требовательно.

Ольга Ильинична обеими руками схватила влажную руку сына; она ждала, что он скажет еще что-нибудь, но он молчал, пристально и загадочно глядя на нее.

Тем временем внизу в вестибюле кучка людей у лестницы увеличилась: пришли узнать о здоровье Володи два его товарища — Валя Лукашевич и Ваня Симоненко; затем появились женщины с фабрики, на которой работала Ольга Ильинична, — они принесли для ее сына белый хлеб и сахар... И вскоре тут тоже стало известно, что состояние Володи ухудшилось и пульс у него почти уже не прощупывается.

Старушка табельщица тихонько заплакала, услышав это; Лена вцепилась в рукав шинели Веревкина и отрывисто проговорила:

— Что делать, Витя? Я не перенесу... Надо же что-то сделать...

— погоди, я сам пойду к докторам, — сказал Веревкин с угрюмой решимостью в голосе. — Ты успокойся только... Я прямо скажу: государство вас учило, деньги на вас потратило. Ты погоди...

И сорвавшись с места, он опрометью, как был — в шинели и в красноармейской ушанке, побежал вверх по лестнице... На площадке второго этажа он остановился, озираясь: направо и налево тянулись длинные белые коридоры, виднелись двери, множество одинаковых дверей с матовыми стеклами в верхних половинках; кто-то в больничном темном халате и на костылях ковылял в глубине коридора... И Витя вдруг почувствовал себя совершенно беспомощным, маленьким, ничтожным... Какие-то неизвестного назначения тележки на высоких металлических ножках с колесиками стояли у дверей вдоль стен, странный аппарат в виде большого ящика с выключателями и измерительными приборами был вынесен на площадку — все здесь казалось непонятным, все вызывало душевный трепет... И самый воздух госпитальных, тускло освещенных коридоров был как будто насыщен человеческими страданиями — неслышные вздохи, стоны, сетования витали в нем...

Но, собравшись с духом, Витя переступил порог и вошел в коридор. Надо было во что бы то ни стало удостовериться, что о Володе, который не мог уже напомнить о себе, не позабыли там, где и помимо него сотни людей нуждались в помощи. Могушественные средства исцеления были заключены, быть может, в этом черном ящике с выключателями, поставленном почему-то на лестничной площадке... И мысль, что чего-либо из самых новейших, самых мудреных средств не испробовали еще для спасения Володи, придавала Веревкину мужество.

Раненый в байковом халате, передвигавшийся на костылях, молодой, с исхудалым лицом, с густыми, толстыми, сросшимися бровями, поровнялся с ним...

— Дяденька!.. — тихо окликнул Витя. — Как мне главного вашего найти, не знаете?

Раненый — лейтенант Грачев — строго сверху вниз поглядел на круглолицего мальчугана в красноармейской форме.

— Главного врача разыскиваете? Зачем вам главный врач? — осведомился он.

Тон, каким это было сказано, не допускал ни пререканий, ни промедления с ответом.

— Про товарища узнать, — жалобно вырвалось у Вити. — Тут он у вас лежит.

Грачев нахмурился, точно рассердившись.

— Про товарища хотите узнать? — Он помолчал секунду. — Вы действительно служите в армии? Вы же по возрасту не подходите, — сказал он.

— Не подходим, как же... Володя вот огневую точку подавил.... А вы — не подходим... А теперь, говорят, помирает он.

И подбородок у Вити запрыгал, голос пресекся, чувство нестерпимой обиды за Володю охватило его.

— Вы что это? — сказал Грачев. — Не годится так, нехорошо...

Но одновременно он положил руку на плечо мальчику, выказывая таким образом свое сочувствие.

— Что с вашим товарищем, где и как его ранило? — спросил он. — Пойдемте на площадку, там есть скамейка.

Не посмев ослушаться, Витя последовал за этим не совсем обычным раненым, который хотя и опирался на костыли, но разговаривал так, точно он и здесь в госпитале был облечен некоей особой командирской властью.

— Говорите! — приказал он, сев на скамейку.

— Мы в разведке были, а немцы схватили нас — меня и Ленку — дивчина у нас в команде есть, — отвезли в тюрьму, — торопливо начал Витя.

Дойдя в рассказе до поединка Володи с немецким пулеметчиком, он и сам снова разгорячился, и его слушатель также заметно взволновался.

— Ваш товарищ на пулемет бросился? — переспросил Грачев.

— Ага... Это он нас спасал, как безоружных, — воскликнул Витя.

— На пулемет — с гранатой?

— Ага... Тот поливает в упор, а Володька идет и не пригибается... Кругом все залегли, а он идет себе и идет.

— Здорово! — тихо проговорил лейтенант.

На его худом, по-больничному бледном лице отразилось восхищение; необыкновенные угольно-черные брови приподнялись.

— А после — как размахнется, как кинет! — закричал, не сдержавшись, Веревкин. — Одни тряпки вверх полетели! В самый пулемет всадил гранату!

— Молодец! Отлично! — сказал Грачев. — Прикрыл он вас...

— Точно! — хрипло выкрикнул Витя. — Вот вам и «не подходит по возрасту...»

— И много узников освободили? — продолжал спрашивать Грачев.

В эту минуту лейтенант сам был немного похож на распалившегося мальчишку, стоявшего перед ним: один и тот же сухой огонь горел в их глазах. И одинаковый высокий восторг владел их душами, такими, как оказалось, родственными.

Выслушав Веревкина, лейтенант решительно проговорил:

— Надо вылечить вашего Володю! Как его фамилия?

— Тихонов, — поспешно ответил Витя.

Он был убежден уже, что его собеседник сможет оказать ему важное содействие, и они оба как будто согласились, не сговариваясь, в том, что исцеление людей находится или по крайней мере должно находиться в прямой зависимости от их боевых заслуг.

Грачев умолк, склонив свою остриженную голову, обдумывая, должно быть, план действий.

— А вы сами кто? Тоже раненый? — участливо поинтересовался Веревкин.

— Скоро выписываюсь... Тренируюсь пока в ходьбе. Утром и вечером, по два часа, — сказал лейтенант.

— Это хорошо! — с жаром одобрил Веревкин. — Без тренировки хотя б и на лыжах, на коньках ничего не добьетесь.

Помягчевший лейтенант доверительно, как товарищу, признался ему:

— Досадно было, понимаешь... В первом же бою и свалился... Не повезло, в общем...

Он поднял костыли, расставил их и вскочил на одну ногу, затем осторожно опустил на пол вторую.

— Так вот, товарищ красноармеец... — начал он.

— Веревкин моя фамилия, — вставил Витя.

— Так вот, товарищ Веревкин, ступайте вниз, дождитесь меня там, — вновь по-командирски строго сказал Грачев. — С доктором переговорю я, может быть, дело еще не так плохо... В какой палате лежит Тихонов? Не знаете? Я узнаю... Если будет необходимо, я доложу комиссару госпиталя... Все пока. И смотрите, не распускайте себя, — он поудобнее примащивал подмышками подушечки костылей. — Солдат никогда не жалуется, запомните это. Солдат идет вперед, преодолевая все трудности.

И лейтенант быстро заковылял обратно в коридор; байковый халат, висевший на нем, как на вешалке, развевался.

Сойдя вниз в вестибюль, Витя увидел там еще одного командира, разговаривавшего с Аглаей Тимофеевной и с другими женщинами; как выяснилось, это был адъютант самого командующего всей обороной города. И Лена, показавшаяся Веревкину смертельно перепуганной, сообщила чрезвычайную новость: в штабе боевого участка стало известно о подвиге, совершенном Володей, и их друг был представлен к награждению орденом Красного Знамени.

— А Володя об этом не знает... Ты только вообрази... Мы все знаем, а ему и сказать невозможно... — с отчаянием шептала девушка.

Адъютант — в ушанке, надвинутой на брови и набедренный ремень, затянутый в ремни, выглядел очень недовольным.

— Медики, — с пренебрежением бросил он, отвечая на какой-то вопрос Аглаи Тимофеевны, — я докладывал начальнику госпиталя, что командующий приказал передать рядовому Тихонову благодарность. А начальник руками развел: «В данное время это совершенно исключено», говорит.

Но Витя ощутил как бы веяние большой надежды... Было немыслимо, невозможно себе представить, что Володя умрет, так и не дождавшись награды, и сама эта завидная награда, сама сверкающая воинская слава, связанная с ней, обязывала его выздороветь... Все новые и новые люди — их насчитывалось теперь множество: друзья и товарищи Володи по части, соседки по квартире и подружки его матери, товарищи, освобожденные

из немецкой тюрьмы, и неизвестный раненый командир на костылях, начальник госпиталя и генерал, командовавший войсками, — вступали в борьбу за его жизнь, отстаивали ее. Точно клич пронесся по городу: Володя — славный боец, верный друг, доблестный разведчик — в опасности! — и даже незнакомые люди тотчас же спешили на помощь... Перед этим согласным натиском, перед всеобщей любовью и заботой, заслонившими Володю, не могло, не должно было устоять то бесчеловечное, слепое, чудовищное, что ему угрожало.

— Ленка, я тебе в Выселках еще сказал: Володя, он... — придя в большое возбуждение, заговорил Вerezкин. — Не такой он парень... И ты смотри... Мы все и сам командующий... Ленка, помяни мое слово...

Как ни бессвязно было это, девушка поняла Витю.

— Не знаю, чего б я ни сделала для него, — сказала она. — В огонь бы, кажется, пошла...

И ее налившиеся слезами бледноглубые глаза удивленно расширились.

А наверху подле Володи попрежнему сидела Ольга Ильинична, сжимая обеими руками руку сына. Володя опять впал в забытие, и его единственная просьба все еще оглушительно раздавалась в ее ушах: «Возьми меня за руку, за правую...» Ольге Ильиничне казалось, что пока она держит сына за руку, ему не так одиноко. И она стискивала его вялые пальцы, точно боясь, что Володю вырвут у нее. Иногда ей мерещилось, что он отвечает на ее пожатие, что его пальцы шевелятся, и, вглядываясь в отливавшее синевой влажное лицо сына, она стремилась угадать: что еще надобно для него сделать... Все в ней необыкновенно напряглось: на висках выступили набухшие жилки, как от физического усилия; она слышала глухой, частый стук, но не могла бы сказать, ее ли это сердце бьется или сердце сына, — она не существовала сейчас отдельно от него. И нагибаясь к нему все ближе, совсем близко, щека к щеке, Ольга Ильинична стремилась принять на себя ту муку и тоску, что испытывал он.

Но вот в палате появился хирург, приведенный сестрой, и вокруг Володи возобновилась тихая быстрая работа: врач вполголоса отдавал распоряжения, сестра поспешно подала ему шприц, наполненный прозрачной

жидкостью. Затем был сделан укол в вену, и Ольга Ильинична, отступившая к стене, со страхом смотрела на алую струйку, побежавшую по обнаженной, тонкой, бесильно откинутой руке Володи.

В течение остатка ночи сестра не отходила уже от раненого. Утром опять заглянул хирург — невыспавшийся, все такой же раздраженный. И, повидимому, его умелое вмешательство, знания и упорство возымели, наконец, действие — Володя спал, дыхание у него стало глубже, и легчайший, жалкий, но живой румянец окрасил его щеки.

Врач сел у койки, достал из кармана часы и долго слушал пульс, отсчитывая шепотом удары. «Один, два, три, четыре...» Пока он считал, недовольное лицо его несколько прояснилось. И спрятав часы, он поправил на Володе одеяло с особенной заботливостью — юноша, спасенный им, был ему теперь очень дорог, может быть, даже более дорог, чем в час операции.

— Что же, товарищ Скворцова... — начал он, обращаясь к сестре, и не закончил.

В окне виднелось посветлевшее утреннее небо, и, подойдя к окну, хирург неожиданно громко проговорил:

— «Горит восток зарею новой...» Ну, так, товарищ Скворцова, — он повернулся к сестре. — Показывайте следующего...

Было совсем светло, когда Ольга Ильинична вышла из палаты; внизу в вестибюле находились только Лена и Витя, уснувшие сидя на лавке, да старушка табельщица, вновь на рассвете притащившаяся в госпиталь... Ольга Ильинична медленно спускалась, держась за перила, — ее пошатывало, и она боялась упасть. Но в ее запавших глазах было выражение усталого покоя, нежной блаженной радости. И табельщица, увидев ее, воскликнула:

— Ох, Ильинична, да ты словно во второй раз родила Володю! Вот такая ж точно слабая ты была, когда из больницы с ним вернулась.

...Над улицей кружил легкий снежок; изредка слышались далекие выстрелы пушек; шли вторые сутки контрнаступления советских войск.

Стоя на высоком обрывистом берегу, Богданов смотрел, как его минометчики снимались со своих позиций за рекой. Деревня, видневшаяся вдалеке, была только что взята, туда по утоптанному пехотой снегу бежали связисты, проехала кухня, промчалась на большой скорости автомашина с боеприпасами, оттуда шли легко раненые, а навстречу им шагал командир с толстой полевой сумкой на боку; Богданов, присмотревшись, узнал в нем работника дивизионной газеты. Стрельба прекратилась, наступило тихое морозное утро, одно из тех, когда небо затянуто стылой дымкой, сквозь которую слабо просвечивает низкое солнце, когда на земле все бело и пушисто от инея...

Богданов повернулся к адъютанту и попросил карту.

— Сообщите начальнику штаба: капе будет в Михайловском, — сказал он, возвращая планшет с картой. — Сейчас и поедем...

Он улыбнулся своей медленной, неумелой улыбкой, снял перчатку, потер красное ухо; на его лице выступило простодушно-радостное выражение... За истекшие сутки Богданов во второй раз уже менял командный пункт, перебрасывая его вперед, следом за быстро продвигавшимися частями дивизии.

— Да ты, Сережа, спишь на ногах... Смотри, не свались ненароком, — сказал он Зуеву.

Тот повел на комдива сонными, беспомощными глазами, потом, смутившись, потупился — впервые полковник обращался к нему на «ты» и по имени.

— Утром, верно, спать очень хочется... — признался он. — А после ничего, разойдешься — и ничего...

— Дай-ка мне командира двенадцатого, — сказал Богданов.

Поговорив по телефону с командиром полка, назначив ему встречу сегодня в пункте, который надлежало еще освободить от врага, — в селе с необычным названием Большой дом, Богданов пошел к своему коню. Вестовой Авдеев, обросший инеем до такой степени, что на его молодом лице образовалась как будто белая мохнатая маска, изображавшая седого старика, сипло сказал, передавая комдиву повод:

— Перековать бы надо заднюю правую, товарищ полковник! Того и гляди отскочит железяка.

— Что ж не перековали? — спросил Богданов.

— Да ведь некогда все... Ни часу не стоим на месте.

— Незадача, а? — Богданов коротко засмеялся. — Не стоим, говорите? Вот так незадача!

— А как же, товарищ полковник! — Авдеев, глядя на Богданова, тоже повеселел. — Своя трудность во всяком положении имеется.

По пути в Михайловское надо было пересечь старый дубовый лес, и будто в огромную снеговую тучу, павшую на землю, въехали всадники в это заповедное урочище, где все сливалось сегодня в однообразную полувоздушную массу... Неожиданно их здесь обстреляли: ударила автоматная очередь, замелькали осыпавшиеся хлопья; одна из пуль пискнула у самого уха Богданова, схавшего первым, другая оцарапала круп его коня... Конь присел на задние ноги, шарахнулся в сторону... И прежде чем Богданов успел сообразить, откуда был открыт огонь, сзади прогремела еще одна очередь. А затем с высоченного белого дерева, стоявшего в самой чаще, кудрявой, как замороженный дым, сорвалось вниз, ломая ветки, стряхивая с них снег, что-то темное, бесформенное, похожее на мешок... Полковник осадил коня и обернулся — к нему во весь опор скакали его спутники, Зуев держал в поднятой руке автомат.

— Товарищ полковник! Товарищ полковник! — испуганно выкрикивал он.

— Это ты, Сережа, снял? — спросил Богданов.

— Он, он! — ответил Тарелкин — командир из оперативного отдела штадива. — И как он сразу усмотрел! Вот, что значит молодые глаза!

— А я издали заметил что-то ненормальное... Подъезжаем — вижу, в самом деле, кукушка, — Зуев облегченно и счастливо вздохнул.

— Откуковалась теперь, — сказал Тарелкин. — Находятся же у мерзавцев такие вот смертники! В финскую кампанию от этих кукушек тоже неприятности были...

— Не ранены, товарищ полковник? — выкрикнул Зуев.

— Хорошо стреляешь, Сережа! — сказал вместо ответа Богданов. — Погляди-ка, что за птицу ты снял.

Спустя некоторое время, выбравшись из леса, он не помнил уже об этом происшествии.

На участке, где наступала дивизия Богданова, немцы подготовили жесткую оборону, зарылись в землю, создали комбинированную плотную систему огня, и их не сразу удалось опрокинуть. С утра 6 декабря части дивизии атаковали высоты, занятые неприятелем, бой шел до вечера, но и к исходу дня решительный успех еще не обозначился; наступавшая по соседству кавалерийская дивизия также почти не продвинулась... Это был тот труднейший, изнуряюще напряженный день, когда из частей поступают тревожные сведения о растущих потерях, когда то там, то здесь атакующие подразделения залегают, когда командиры полков требуют все большего огня, а из штаба армии настойчиво запрашивают о причинах задержки.

Только на второй день неприятель начал откатываться, и Богданов отдал своим полкам приказ идти дальше, сбивая заслоны... Умолкла тяжелая артиллерия, грохотавшая на рассвете, поползли по склонам высот танки, брошенные в образовавшуюся брешь, пошла резервная пехота; люди в маскировочных халатах, машины, окрашенные в защитный цвет, сливались со снежным фоном, самолеты, пролетавшие на штурмовку неприятеля, едва различались в облачном небе. Рев моторов постепенно затихал, бой медленно перемещался на запад, и комдив, землисто-серый от бессонницы, сел на коня, чтобы ехать вслед за своими полками...

Второй день наступления также прошел для Богданова в чрезвычайных заботах и трудах, поглотивших его душевные силы без остатка, и лишь позднее он, как и другие участники этих боев, вполне постиг истинное их значение. Когда командующий армией позвонил Богданову вечером второго дня и поздравил с победой, полковник, удивившись, подумал даже: «Неужели это и есть победа?» Во всяком случае, результаты, полученные его дивизией, представлялись ему не слишком большими... Но на третий день Богданову стало известно об успехах советских армий, действовавших на других участках Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов — к северу и югу от Москвы. И перед его мысленным взором вырисовалась смутная пока еще картина грандиозного общего перелома в ходе подмосковного сражения; далее хорошие новости быстро следовали одна за другой. Однако Богданову казалось, что самый момент

счастливого перелома в обстановке, — выстраданного, потребовавшего такого терпения и таких жертв, — долгожданного перелома к победе каким-то поразительным образом ускользнул от его внимания.

После того как неприятель лишился своих опорных пунктов, темп наступления нарастал изо дня в день. Немецкие войска, вклинившиеся в наше расположение на юге от Москвы, оказались сами в начале декабря под угрозой окружения: с одной стороны гвардейский корпус генерала Белова продолжал преследовать 17-ю танковую и 29-ю моторизованную дивизии, с другой — войска генерала Голикова продвинулись к Венёву, а частью своих сил отбрасывали немцев на Елифань; с третьей стороны перешли в контрнаступление войска генерала Болдина. И хотя немцы пытались еще организовать отпор, переходили в контратаки, цеплялись за промежуточные рубежи, — движение советских армий все ускорялось. Теперь ни у кого не оставалось сомнения в том, что мощь врага подорвана, что в решающих боях он не устоит... На лице телефониста, подававшего Богданову трубку, было как будто написано: «Наконец-то, и мы наступаем!» Связой, прибывший с донесением из части, всем своим возбужденным видом говорил: «И мы дождались своего часа, теперь пойдет дело!» Даже раненые, вышедшие из огня, — те, что могли еще добраться без посторонней помощи до медсанбата, — были необыкновенно оживлены и подбадривали встречавшихся им на пути, шедших в огонь стрелков из резерва.

Есть выражения: «дело ладится» и «дело не ладится». Так вот ныне оно ладилось. Оно ладилось потому, что было задолго до этих декабрьских дней задумано и тщательно подготовлено, оно ладилось также потому, что в душах миллионов людей, участвовавших в нем, жила одна страсть, одна боль, одна цель. А то, что дело ладилось, поднимало в свою очередь дух солдат. Никогда еще за всю войну Богданову не доводилось видеть у окружающих такого порыва к действию, такой энергии, предприимчивости, находчивости, какие обнаружились сейчас у каждого — от рядового до генерала, — каждый, казалось, стал в эти дни талантливее и удачливее. А мысль, что он идет вперед, а не враг, он наступает, а не фашист, он гонит неприятеля с родной земли, удваивала силы людей, вызывая страстное нетерпение. Богданов перестал

вскоре удивляться, когда ему докладывали о необычайных случаях, происходивших с его бойцами ежечасно, — о дерзкой удали одних, о боевом везении, постоянно сопутствовавшем другим. И на комдива также не произвело сегодня особенного впечатления ни избавление от смертельной опасности, подстерегавшей его, ни очень удачное вмешательство адъютанта, — все это стало теперь как бы в порядке вещей. Удача, столь долго отворачивавшаяся от Богданова и его товарищей, повернулась, наконец, к ним лицом, и счастье, как это и бывает, сдружилось с теми, кто заставил его служить себе.

Богданов подъехал к Михайловскому; по дороге повсюду видны были следы торопливого отступления врага... На въезде в деревню стояли брошенные немцами тяжелые пушки на огромных, точно паровозных колесах; их толстые, замохнativшиеся от инея стволы были повернуты в разные стороны, и казалось, что пленные, пораженные немотой чудовища растерянно озирались. Подальше немного вмерзли в снег многотонные автомашины с крытыми брезентом кузовами, а вокруг валялись металлические цилиндры для противогозов, обрывки бумаги, разломанные ящики, рыжие немецкие ранцы из телячьей кожи...

В Михайловском, лишь вчера к вечеру освобожденном от неприятеля, уцелело всего три или четыре избы, остальные были сожжены, — только закопченные печи сохранились от них. И глазам Богданова открылась довольно обычная для этих опустошенных врагом мест картина — в печах, торчавших на равнине, точно надмогильники, светился желтоватый огонь, а возле своих очагов хлопотали женщины. Поблизости бегали дети, обряженные в бабы кофты, в солдатские стеганки, из которых торчала вата, в мешковину, во все тряпки, какие только смогли сыскать для них матери; тут же толпились бойцы, выбившие из села немцев...

Трудно, повидимому, было бы вообразить себе что-либо более печальное, чем эти семейные очаги на пепелищах, под открытым небом, на бескрайнем снежном поле. Но возле затеплившихся мирных огней вновь стеснились люди, и в разных местах слышались голоса — скрипучие, застуженные, но деловитые или даже весе-

лые. Какая-то женщина кричала на всю polegшую прахом улицу:

— Настя, голубка, картошка остынет... Иди, девонька!..

Другая — помоложе, растолстевшая от множества платков, накрученных на нее, и плакала и смеялась; разговаривая с бойцами. Те, вероятно, балагурили, и она по минутно раздражалась мелким звенящим хохотом, переходившим во всхлипывания. Поставив ведро с водой на землю, она то беспомощно махала руками, откидываясь в смехе, то утирала мокрые щеки...

— Будет, Варя! Эх, тебя прорвало, — беззлобно сказала первая женщина.

— Ох, я сама не в себе сделалась, — жалобно воскликнула девушка. — Ровно, как пьяная, опаматоваться не могу... — Она всплеснула руками. — Родимые мои, да ведь мы опять людьми стали!

Увидев Богданова, медленно проезжавшего на коне, она улыбнулась ему всем своим лиловым от мороза лицом.

Из леса закрывшего серой завесой горизонт, доносились сюда время от времени короткие пулеметные строчки — там шел бой. А здесь поднимались уже над очагами дымки, пахнувшие печеной картошкой, гречневый концентратом, и тянуло милым, драгоценным, таким хрупким и непобедимым человеческим теплом, — жизнь снова возвращалась сюда.

В Михайловском Богданову стало известно, что его сосед — дивизия, продвигавшаяся рядом, отстала и локтевая связь с нею утрачена. Несколько позднее прибыло донесение от командира двенадцатого полка, майора Покровского, сообщавшего, что против его фланга, в совхозном поселке, появились значительные силы противника — не меньше пехотного полка с танками и с артиллерией... По всей вероятности, это были отходившие на запад остатки разбитых немецких частей. И Покровский запрашивал: продолжать ли ему наступление на Большой дом или заняться предварительно ликвидацией угрозы, возникшей против его фланга.

— Пусть выполняет свою задачу, — распорядился

Богданов, — к ночи майор должен быть в Большом доме...

Веснин, начальник штаба, собиравшийся писать приказ Покровскому, закивал головой, как бы соглашаясь, но в глазах его было недоумение.

— Пусть прикроется с фланга... Одного батальона хватит там, я полагаю... — сказал Богданов.

Он вполне сознавал, что полк пехоты с танками и артиллерией представлял опасность, с которой следовало считаться. Но в то же время было очевидно, что, приостановив дальнейшее продвижение, он позволил бы врагу привести свои растрепанные части в порядок и укрепиться. Дивизия Богданова наступала прямо на запад, на Т., и в задачу ее входило соединиться возможно скорее с частями армии, оборонявшей город; речь шла о полном разгроме немецких войск, действовавших в районе Т., и, проявляя чрезмерную осторожность сегодня, Богданов мог дорого заплатить за нее завтра — теряя время и темп, он наполовину как бы обезоруживал себя.

— У Покровского есть противотанковая артиллерия, мне майора нечего учить, куда ее ставить, — продолжал он, прохаживаясь по избе; круто повернувшись к офицеру связи, доставившему донесение, Богданов с веселой угрозой в голосе добавил:

— Передайте майору: ночью я приеду к нему ужинать в Большой дом.

— Николай Федорович! — заговорил Веснин; решительность командира дивизии импонировала старому преподавателю военного искусства, но вместе с тем пугала его. — Если противник атакует во фланг двенадцатому, одного батальона будет недостаточно...

— Ну, что вы, Александр Аркадьич! — Богданов остановился посредине избы. — Вы-то уж хорошо знаете: один батальон в наступлении, когда противник в панике, бывает равен трем батальонам... Не помню, кто это сказал, — вам тут и карты в руки. Это при неудаче в отступлении он частенько и роте не равен.

Он посмотрел в угол, где приютились на лавке двое детей: девочка в кацавейке, перешитой из солдатской шинели, и бледный, с болячкой на губе, парнишка лет пяти, закутанный в рваную овчину... Ребята в этой избе, одной из немногих уцелевших, выглядели отовсюду: с печи свешивались еще две нечесанные мальчишеские

головы, еще какая-то замурзанная, с голубыми, как незабудки, глазами девочка сидела на деревянной кровати.

— К вечеру подтянем артиллерию и собьем немцев, — громко продолжал Богданов, неотрывно, в упор глядя на детей, не отдавая себе, впрочем, в этом отчета, — а до вечера батальон продержится, если даже арийцы и сунутся, — у Покровского народ активный.

Брат и сестра, укрывшиеся в уголке, встревожились почему-то, заметив, что на них обращено внимание. Мальчик вдруг залился слезами, точно от страха, и девочка торопливо, сердито принялась его успокаивать. Богданов невольно насупился, и она, обхватив брата, прижав к себе его голову, воскликнула с каким-то просительным отчаянием:

— Дядечка, он не будет... Мы тихо посидим, дядечка! Молчи, чтоб тебя, — накинулась она на мальчика. — Молчи, а то — как стукну!

Она перепугалась, должно быть, что их обоих могут выдворить отсюда во двор на мороз.

— Да сидите, чего вы! — пробормотал Богданов.

Кровь бросилась ему в лицо, точно он сконфузился; на щеках, под красноватой кожей, вздулись мышцы... Эти дети все еще, как видно, не оправились от ужаса, в котором жили, пока здесь властвовали враги.

— Сережа! — кликнул Богданов адъютанта. — Выкладывай свои запасы... Что там у тебя есть? Сахар, печенье... Угощай молодежь.

Веснин, не споря больше, дописал приказ и протянул его Богданову для подписи; противоречивые чувства раздирали душу начальника штаба, и он одновременно был доволен и тем, что подал Богданову осторожный совет, и тем, что комдив не последовал этому совету. Подписав бумагу, Богданов вручил ее офицеру связи:

— Немедленно в полк, возьмите свежую лошадь, — сказал он своим резким голосом, заслышав который подчиненные Богданову командиры вытягивались «смирно» или, не раздумывая, бросались исполнять его команду.

Начальник штаба вздохнул: молодой комдив вызывал в нем восхищение, но Веснин сознавал, что сам он никогда не отважился бы действовать столь смело.

Весь день Богданов провел в Михайловском, подготавливая атаку на Большой дом, снаряжая танковый десант в обход этого пункта, подтягивая свои тылы, перебрасы-

вая артиллерию, совещаясь с Весниным и Машковым, докладывая командующему армией... «Пусть у вашей пехоты вырастут крылья, пусть она не идет, а летит», — сказал ему сегодня командующий. И в словах генерала содержалось не только указание на то, что стремительность в наступлении определяет в большой мере его успех — в них была и та нетерпеливая жажда скорейшей полной победы, какую испытывал сам Богданов, какая горячила сердце его солдат. Каждый их шаг вперед приносил счастье их соотечественникам, каждый удар по врагу означал освобождение новых деревень, сел, железнодорожных станций, заводов, полей, лесов, рек, городов... И солдаты, держа путь на запад, чрезвычайно спешили.

Раза два Богданов звонил Покровскому, справляясь, как обстоит дело у него на фланге — все же комдив был несколько обеспокоен; Покровский отвечал, что противник не проявляет активности. А перед вечером майор позвонил сам и донес, что немцы — около тысячи человек, скопившиеся в поселке, — капитулировали, обязавшись сдать в полной сохранности свою артиллерию и несколько танков, оставшихся без горючего... Даже для Богданова это оказалось неожиданностью — повидимому, неприятель был деморализован в большей степени, чем он думал.

— ...Мы их блокировали там, товарищ полковник, — гудел в трубке голос Покровского, — а после спектакль устроили, как в МХАТе.

Далее майор рассказал, что командир одной из его рот ввел противника в заблуждение, удачно используя для этого рельеф местности... К пункту на развилке дорог, где роте надлежало закрепиться, можно было выйти и по шоссе, частью просматривавшемуся немецкими наблюдателями, и по тропе, заслоненной от них холмами. Бойцы роты, перебежав открытое место, возвращались назад по тропе, вновь бежали по шоссе, вновь скрытно возвращались. И проделав этот маневр три раза, командир роты заставил немцев поверить в то, что у него втрое больше сил, чем было на самом деле.

— Не совсем, как в МХАТе, но тоже удачно... — засмеявшись, сказал Богданов. — Кто же это у вас отличился?

— Командир второй роты лейтенант Горбунов, — ответил майор, — артист в своем роде, мастер самодеятельности...

— А, Горбунов! — повторил Богданов, вспомнив встречу с лейтенантом на марше дивизии. — Знаю его... Ну, что же, принимайте молодчиков и отправляйте в тыл, товарищ майор! Старших немецких офицеров препроводите в штадив. И вы не забыли — сегодня я ужинаю у вас в Большом доме?

Вскоре комдив уехал из Михайловского на свой новый НП. В небе, начавшем меркнуть, замерцали первые бледные, едва различимые две-три звезды; с запада наплывала огромная синяя тень, но последний свет минувшего дня как будто медлил покинуть эту холмистую, изрезанную оврагами волнообразную равнину. И Богданов довольно отчетливо видел, как справа, в одном с ним направлении, скользили по замерзшей реке сани — десятка два их вытянулось там в бегущую цепочку — это спешил к месту боя порожний санитарный обоз. Затем, обогнав полковника, промчались две полуторки, груженные печеным хлебом; часто попадались на дороге одиночные пешеходы — подноски пиши, связные, командиры; проехали легкие, с ковровой спинкой саночки дивизионного интенданта и розвальни, в которых сидел инструктор политотдела... Близился час атаки на Большой дом, вернее, на гряду высот перед этим селом, где на лесистых склонах неприятель вновь попытался удержаться. И в тылу сосредоточенных для броска вперед частей дивизии все находилось в движении — заканчивались последние работы, предшествовавшие бою... Спускаясь в ложбину, Богданов нагнал пехотный отряд. Рассеянный зеленоватый свет еще реял в воздухе, и полковник издали увидел рослого лейтенанта Горбунова, поднимавшегося впереди по склону, — лейтенант вел своих людей в новое дело. Вольным шагом, разбившись на группы, шли стрелки, автоматчики, пулеметчики, бронебойщики с длинными ружьями, напоминавшими старинные пищали; шли не слишком быстро и не медленно, размеренной, тяжелой походкой. Некоторые из бойцов подвязали каски к поясным ремням, оставшись в подшлемниках, плотно, точно кольчуга, облежавших головы, и это сделало их похожими на былинных дружинников. Иные сутулились под тяжестью оружия, которое несли на себе.

Богданов подскочил к Горбунову... И не одно только намерение похвалить лейтенанта за инициативу и находчивость, но в большей степени внезапное желание встать

поближе к своим солдатам в час их общего успеха и накануне нового боя, в эту пору их первых побед, побудило полковника слезть с коня. Кинув повод Зуеву, он пошел рядом с командиром роты. Тот, растерявшись несколько, быстро и неловко козырнул на ходу.

— Вот и опять мы встретились, товарищ лейтенант!— Богданов с насмешливой ласковостью смотрел на Горбунова. — Ну-с, рассказывайте про ваш сегодняшний спектакль. Говорят, художественно очень получилось, массовые сцены особенно удались...

— По обстановке действовали, товарищ полковник!— Горбунов насупился, но губы его растягивались в улыбку; было заметно, что он сдерживался, стараясь не показать, как славно у него сейчас на душе. И хотя командир роты был обвешан оружием, хотя на поясе у него виднелись две противотанковые гранаты, в нем обнаружилось сходство со школьником, сдавшим трудные экзамены...

Солдаты, прислушиваясь к разговору командиров, стеснились сзади, по бокам... Затем кто-то из бойцов — высоченный и худощавый — обратился к Богданову:

— Товарищ полковник, разрешите доложить: вымотались гансы... Они думали — троица, венки завивать шли... А вышло им — панихиду служить...

— Ефрейтор Двоглазов... В ночь на двадцать второе июня первый открыл в дозоре стрельбу по противнику. У него личных впечатлений много, — сказал Горбунов, как бы рекомендуя комдиву этого своего бойца.

— Товарищ полковник, ежели дело так пойдет, скоро мы на Смоленщине будем, а там и до границы недалеко... Главное, чтоб по линии боепитания перебоев не было, — сказал другой солдат с коричнево-черным скуластым лицом.

— Сержант Румянцев... — представил и его командир роты, заметно гордившийся своими ветеранами. — Главный участник сегодняшней самодеятельности.

Богданов отвечал, шагая среди бойцов, испытывая от этой беседы большое удовольствие. Он сам был солдатом и по бытовым привычкам и по душевным склонностям. Что-то в профессии, избранной им, быть может, в ее суровости, в ясности и определенности военных уставов, в прямоте взглядов на жизненные явления отвечало существенным потребностям его натуры. Ему нравилась и солдатская шутка, и солдатская песня; он быстро и безоши-

бочно угадывал солдатскую заботу или печаль, потому что сам чувствовал так же, как его люди. А сейчас полковник точно захмелел немного вместе с ними от первой улыбки боевого счастья.

За перевалом вновь потянулся пологий спуск; ночная тень покрыла уже землю, а в небе, иллюминированном, как для праздника, посверкивало теперь множество звезд.

— Разрешите заметить, товарищ полковник, — проговорил Двоеглазов, — человеку хотя бы два-три часа в сутки поспать надо, это верно. И лично я большего не прошу — отдыхать будем, когда гада прикончим. Я к тому веду, что если случится высшему командованию докладывать, вы можете заверить: солдаты настроены гнать вора до Берлина.

Богданов все поглядывал по сторонам: лица людей было трудно уже рассмотреть, лишь чуть мерцали в синих морозных потемках их глаза...

В такт шагам покачивалась бронебойная пищаль на плечах двух бойцов, шедших в затылок друг другу, смутно темнели как будто кольчужные шлемы, шелестели широкие плащи, ниспадавшие до колен, голубовато поблескивала сталь штыков, подобных наконечникам копий. И те же звезды, что светили далеким предкам этих людей, воинам Юрия Долгорукого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, проливали над ними сейчас свое сияние...

4

Войска армии, оборонявшей Т. и прилегавшие к городу районы, 9 декабря также перешли в общее наступление, нанося удары одновременно и на запад, и на юго-восток. Вражеское кольцо, едва не сомкнувшееся вокруг Т., распалось, осада города, длившаяся около полутора месяцев, прекратилась, и шум сражения быстро отдалился от него.

...Анна Васильевна и Настя вышли рано утром из своего уличного комитета, чтобы отнести артиллеристам, стоявшим на окраине, выстиранное белье. Но ни солдат, ни пушек на месте не обнаружили; как видно, слух, пронесшийся накануне вечером по Заречью, был правдив — неприятель отступал от города под натиском наших войск. По словам знакомых женщин, встречавшихся Анне Васильевне, все батареи снялись со своих позиций ночью, перед самым рассветом... И старуха, рассудив, что чистое

белье должно было понадобиться артиллеристам и в наступлении, решила, не теряя времени, отправиться на их поиски.

Довольно долго она и Настя тащились с узлами на плечах по шоссе, никого не встречая. За городом было пустынно и тихо; ночью обильно подвалило снега, и от его свежей, неомраченной белизны исходило нерезкое, рассеянное сияние; небо, закрытое плотными облаками, казалось сегодня гораздо более темным и тусклым, нежели земля. И лишь неровности в поле, там, где под снегом угадывались воронки или окопчики, да телеграфные столбы с оборванными проводами, да подбитый бронетранспортер, завалившийся в кювет, да полупогребенная под сугробом мертвая лошадь напоминали о недавних боях, гремевших здесь.

— Батарейцы наши на машинах укатили, а мы на своих на двоих чешем, разве догонишь? — сердито проговорила Настя.

Анна Васильевна не отзывалась; скуластое мужеподобное лицо ее выражало сегодня какую-то несвойственную ей ласковость; небольшие серые глаза жмурились, выглядывая из-под приспущенного на лоб платка.

— Два пуда будет в этом моем узле проклятом, а то и все три, — опять пожаловалась Настя. — Ты что ж, Васильевна, — думаешь до самого Венёва идти?

— Хотя б и до Венёва, — с неожиданным лукавством в голосе сказала старуха, — можно и до Венёва — невелико дело.

— Тебе что, ты куда хочешь дойдешь... Ишь, как вышагиваешь... Двужильные вы все в вашем семействе, — будто порицая, проворчала Настя. — Давай постоим немного, что ли...

Она бросила в снег свою ношу, помахала затекшей рукой и вдруг улыбнулась, блеснув мелкими крепкими зубами.

— А далеко наши погнали фрицев!.. Тихо как, а? Ни пулеметов, ни самолетов — душа отдыхает! — восхищенно сказала она. — Ой, Васильевна, дай я тебя поцелую.

Старуха тоже скинула узел и выпрямилась; Настя шагнула к ней... И стоя посреди безмолвной пустынной равнины, обнявшись, женщины троекратно поцеловались в губы.

— С праздничком тебя! — воскликнула Настя.

— И верно, что с праздничком, — сказала Анна Васильевна.

— Молодцы все-таки мужики! Что там ни говори, а герои. Зря мы на них иной раз обижаемся. Мой вот тоже, если уж созреет он, распалится сердцем, так нипочем его не остановишь, все вокруг крушить начнет. Ну, пошли... — заторопилась теперь Настя. — Хотя бы и до Венёва дойдем, ладно... Получайте, скажем, ваши чистые сорочки, дорогие товарищи мужчины! Дай я тебе подсоблю, Васильевна!

Они пошли дальше... Дорога постепенно оживала: из города проехало несколько грузовых машин, пронесся, подскакивая на выбоинах, легкий вездеход, почему-то еще не перекрашенный для зимы, — зеленый в черных пятнах, похожий на огромную лягушку. Потом вдаль показались подводы — целый обоз, направлявшийся в город.

— Давай, Васильевна, остановим какую-нибудь машину, — предложила Настя. — Должны нас подвезти, раз мы тоже по служебному делу.

Но попутных машин больше пока не было. Тем временем обоз, ехавший навстречу, приблизился, и женщины увидели, что в розвальнях на соломе лежали раненые... Медленно тянулись подвода за подводой с неподвижными, будто объатыми тяжелым сном людьми в измятых, коробившихся, запорошенных снежком шинелях, в жестких, промерзших плащ-палатках; иные из бойцов были прикрыты байковыми одеялами, у других виднелись марлевые в темнокрасных пятнах повязки на голове, на ногах...

Женщины, отступив к обочине, замерли... Анна Васильевна беспокойно, напряженно всматривалась в каждого раненого бойца, и Настя догадалась, что старуха ищет и боится найти на этих повозках своего племянника — Павла.

— Тоже нелегко было нашим, — пробормотала она.

Неспешно проходили мимо повозочные, ведя лошадей, неслышно скользили полозья по свежему, неукатанному снегу; чье-то обескровленное, синеватое лицо с закрытыми глазами мелькнуло на соломе, чьи-то новенькие валенки, высовывавшиеся из-под шинели, бессильно, точно пустые, покачивались на весу... Когда последние в обозе сани проехали, Настя, закивав головой, сказала:

— И ведь за каждого слезы где-нибудь льются... За каждого материнское сердечко обмирает...

Анна Васильевна метнула на свою спутницу быстрый жалобный взгляд, и это было так необычно для нее, что Настя вскрикнула:

— Ой, Васильевна!

Старуха, как бы не услышав, подтянула повыше узел на спине и, не проронив ни слова, пошла.

Еще две автомашины нагнали женщин, Настя замаяла рукой, но водители не вняли ее просьбе... На некоторое время дорога опять опустела, потом появились одинокие сани, ехавшие в город; возница в армейском полушубке и в ушанке остановился на крик Насти. Но только та спросила, не встречал ли он поблизости артиллеристов, как боец, внимательно оглядев ее, погнал коня дальше.

— Даже разговаривать не захотел! — обидевшись, сказала Настя.

— Торопится, наверно, по своим делам, — примирительно объяснила Анна Васильевна.

И снова размашисто, по-мужски зашагала, согнувшись под тяжестью большого узла. Настя, решившая было подождать на этот раз, пока Анна Васильевна первая предложит отдохнуть, долго крепилась, выжидательно поглядывая на нее. Но старуха молчала, не испытывая, как видно, усталости; лишь слабый румянец окрасил ее скулы.

«Вот двужильная, действительно...» — с досадой, но и с невольным одобрением подумала Настя. — «Что она, вправду нацелилась до Венёва идти?»

Из леса, справа, вышел на равнину отряд лыжников в белых халатах; вытянувшись цепочкой, бойцы направлялись к шоссе, и Настя объявила:

— Остановим сейчас командира, и все... Ты ему объясни, Васильевна: разыскиваем, мол, свою часть, пусть принимает меры...

— Что ж, попытаем, — согласилась старуха, — может, командир и видел наших пушкарей.

Лыжники, которым надо было взять не крутой, но длинный подъем, приближались медленно... Впереди небольшого — в двадцать пять — тридцать бойцов — отряда шел очень высокий человек в откиннутом на плечи капюшоне халата, в пушистой шапке; наклоняясь всем корпусом, припадая то на один бок, то на другой, прокладывая

по рыхлому снегу лыжню, он был всецело, казалось, поглощен своей работой...

— Ой, да это ж Паша Громов! — прошептала, изумившись, Настя. — Васильевна, это ваш Паша! — вскрикнула она и, взглянув на Анну Васильевну, осеклась...

У старухи — побледневшей, будто перепугавшейся, беззвучно шевелились губы — она хотела что-то сказать и не могла.

Павел, выбравшись на шоссе, подняв голову, тоже увидел тетку... И по внезапному радостному побуждению, по душевной потребности, нежданно вспыхнувшей в нем, быть может, потому, что он, как и его товарищи, чувствовал себя сейчас, в эти первые часы победы, точно воскреснувшим для жизни, он, забывшись, закричал:

— Мама! Мама!

Анна Васильевна, не успев освободиться от своего узла, сделала шаг, другой навстречу и встала — силы разом покинули ее. Никогда еще Павел не называл ее так, как назвал в эту минуту, и ничего не было более желанного, более сладостного для ее слуха. И если в мире существовало что-либо, способное полностью вознаградить Анну Васильевну, одарить ее блаженством, высшим, почти невыносимым счастьем, то сейчас она приняла это награждение.

Павел, неловко переступая лыжами, подошел к тетке, помог снять узел, обнял; она припала головой к его плечу, коснулась его лица своими длинными, сухими, похожими на корни, пальцами — говорить она не могла... Павел — ее сын — сын, как он во всеуслышание признал, как он крикнул об этом на все поле, на весь мир, — был здесь, с нею, живой и здоровый, и она — она стала ему матерью, вопреки самой судьбе, обделившей ее когда-то.

Их окружили бойцы; они здоровались с Анной Васильевной, о чем-то спрашивали; потом она увидела плачущую Настю — ее спутница невеста почему разревелась, глядя на нее и на Павла, покусывая свои пунцовые губы.

— Хорошо, Пашенька, что мы встретились, — выговорила, наконец, старуха. — Ну, как же вы там?..

Лишь теперь она рассмотрела лицо Павла — мокрое от пота, темное и вместе с тем бледноватое, точно бледность проступала сквозь черноватый налет на коже.

И такого же землистого оттенка были потные лица его товарищей, но и он и они улыбались ей в эту минуту...

— Живы, как видишь... живы, — громко ответил он.

— Погнали немцев, Паша, — сказала Анна Васильевна.

— Гоним, да так, что сами с ног сбились... — и Павел засмеялся своим отрывистым смехом. — В общем, наша взяла, в общем, — выстояли, миновала опасность.

— Далеко идете, Пашенька? — спросила старуха.

— Нет, не слишком, вернемся скоро... (Павел вел специально сформированный из добровольцев лыжный отряд в тыл отступавшему врагу). — Но вы-то, вы как очутились здесь, и что это за багаж у вас?..

Заторопившись — ему решительно нельзя было задерживаться — Павел забросал Анну Васильевну быстрыми вопросами:

— ...Что с отцом? И как вы не написали мне о нем? Я совершенно случайно услышал вчера, совершенно случайно... Мне сказали — ничего опасного... Это правда? — допытывался он.

— Врачи говорят, что встанет обязательно, уход за ним в больнице наилучший, — ответила старуха и тут же перевела разговор на другое: — А Наташа твоя молодец — прижилась она у нас, и на заводе ею довольны — это главное.

— Прижилась... — повторил Павел. — Пусть пишет мне, пусть не ленится, так и скажите ей, пусть чаще, — попросил он.

И Анна Васильевна опять обняла своего только что обретенного сына, прощаясь с ним. Павел прошел в голову отряда, обернулся на ходу, выкрикнул, что белье можно сдать на воинский склад в городе, махнул рукой. И долго еще маячила на шоссе его пыжиковая шапка, возвышаясь над головами бойцов...

Все это утро Ласточкин и Дьяков находились на узле связи штаба боевого участка, ведя переговоры с командующим армией (телефонная связь с ним, отсутствовавшая в последние дни осады, вновь несколько часов тому назад возобновилась); оттуда же Ласточкин отправил по радио донесение в Москву, в Государственный Комитет Обороны. Затем он собрался ехать к себе, в обком, и ге-

нерал, надев шинель и папаху, вышел проводить его до машины.

— Голова что-то растрещалась...— пояснил он. — Сидишь, куришь все время, голова начинает болеть...

Ласточкин помедлил на крыльце, мысленно он как бы перечитывал еще раз отдельные фразы в своем донесении: «Противник, прикрываясь заслонами, отходит на запад и юго-запад...», «Мы приняли меры к тому, чтобы установить оперативный контакт с частями Красной Армии, наступающими с востока...», «Острая нехватка топлива в городе вынуждает нас...» — Ласточкина беспокоило, не упустил ли он чего-нибудь, достаточно ли полно все изложил?.. И ему впервые сейчас ясно и безоговорочно, без «если» и «кажется» подумалось: «Вот мы и выстояли! — Несомненно уже — мы выстояли, мы победили!»

Он огляделся с таким ощущением, точно не узнавал этой широкой, утонувшей в снегу улицы, на которой бывал теперь чуть ли не ежедневно... В городе начинался обычный «осадный» день: сменялся на перекрестке патруль, шли по дорожкам, протоптанным в сугробах, люди на работу, кавалеристы поили у водопроводной колонки курчавых от инея лошадей. Магазины еще не открывались, но около нефтелавки выстроилась очередь; женщины и ребятишки с жестяными бачками, с бутылками жались к стенам домов, к заборам (чтобы не видно было с самолетов скопления людей). Все происходило, как и вчера, как третьего дня, и все показалось Ласточкину иным, как бы утратившим свой суровый смысл... Ему захотелось подойти к женщинам в очереди — давно уже, с ночи наверно, терпеливо дожидавшимся открытия лавки — и громко, чтобы услышали все, сказать: «Мы победили, товарищи!.. Самое горькое, самое трудное осталось позади... Скоро и свет дадим вам в квартиры, и хлеба будет вдоволь, и угля...»

Ласточкин вздохнул, как человек, скинувший с плеч тяжелейшую ношу; на лице его — худощавом, с высоким выпуклым лбом, с русой, выступившей за сутки щетинкой на подбородке, — появилось усталое и размягченное выражение:

— Иван Тимофеич, давайте пройдемся, — неожиданно предложил он Дьякову. — А ну ее к чертям, машину! Пешком пойдём...

— Что же, прогуляться не вредно,— после некоторого размышления согласился Дьяков. — В самом деле: сидишь, куришь беспрерывно — голова начинает трещать.

И то, что они оба разрешили себе сегодня «пройтись», «прогуляться», заставило Ласточкина опять ощутить всю исключительность этого обычного утра... Он отослал машину, попросил шофера передать техническому секретарю Марье Алексеевне, что будет в обкоме через час-полтора; Дьяков сказал адъютанту, что вернется через полчаса, и они не спеша двинулись... Было тихо — ветер упал — и бессолнечно, но по-зимнему очень светло, бело, и в прозрачном морозном воздухе каждый звук — звяканье ли лошадиной сбруи, скрип ли засова на дверях нефтелавки, которую, наконец, отпирали, — был слышен далеко и отчетливо.

Сделав несколько шагов, Ласточкин обернулся к Дьякову — узкая дорожка не позволяла им идти рядом — и прокричал:

— Ну, как чувствуете себя сегодня, товарищ командующий боевым участком?

И в самом тоне этого вопроса было: «Мы выстояли с вами, мы победили!»

Дьяков, погруженный в какие-то свои мысли, ответил не сразу... В утреннем свете были хорошо заметны даже мелкие морщинки на его лице, складки кожи на щеках, подпертых воротником, припухлость покрасневших век — Дьяков выглядел сегодня постаревшим и как будто не совсем здоровым... Его барашковая папаха была глубоко надвинута на голову, голубоватая шинель застегнута против обыкновения на все пуговицы и крючки.

— Отлично чувствую себя,— отозвался он негромко. — Выспаться вот обязательно надо, хорошенько выспаться. А там...

Он не закончил и умолк... Сзади приближалась, нагоняя их, вереница людей в замасленных стеганках, в потертых пальто; у иных висели на плечах сумки с инструментами — должно быть, ремонтная бригада возвращалась с дежурства... Ласточкин и Дьяков встали на тропе боком, чтоб дать дорогу, и близко к ним замелькали отроческие и стариковские профили — шли больше допризывники и люди, которых не брали уже в армию, шли после ночной работы где-нибудь в полуразрушенном фугасками цехе... И Ласточкин подумал: эти отцы и эти

подростки, усталые, проголодавшиеся, ничего не слышали еще о том, что было точно ему известно, эти победители, уткнувшиеся в воротники, обмотанные шарфами, ничего пока не знали о своей победе...

«Враг бежит от нашего города... Вы пересилили, товарищи!» — подмывало его крикнуть им вдогонку. Повернувшись к спутнику, он горячо проговорил:

— Мало написано у нас о рабочем классе, представьте себе, что мало!.. Об оружейниках наших, о станкостроителях, о железнодорожниках, о шахтерах, о швеях поэмы надо слагать. Маяковский вот не дожил — жалко! Маяковский бы, конечно, сумел!.. Я сам в деревне родился, рязанцы мы... «Мешком солнышко ловили, блинами острог конопатили», — слышали, наверно, как нас кличут? Отец и поныне бригадирствует в колхозе, — радостно и охотно принялся он рассказывать. — Но первый человек, открывший мне глаза на жизнь, был москвич, большевик, кузнец с Гужона. В восемнадцатом году он у нас на селе Советскую власть устанавливал... А я при нем как бы в качестве посыльного состоял, порученца; кузнец и поселился в нашей избе. От него первого я узнал про дело рабочего класса, про социализм... Превосходный был человек, начитанный, книжник, умница.

Дьяков только кивнул, давая понять, что он слышит.

— Куда, куда? Стой! — воскликнул вдруг Ласточкин, растопыривая руки.

Выскочив из-за угла, навстречу им бежали два мальчугана... Впрягшись в саночки, на которые навалены были обломки обгорелых досок, ребята тащили их, как видно, в свою нетопленную квартиру.

— Где собирали? А ну, держи ответ... — закричал с напускной строгостью Ласточкин.

Он загораживал дорогу, и дети затоптались перед ним, разгоряченные и обеспокоенные...

— На улице Гончарова, а вам что? — опасливо ответил паренек постарше, в ватной курточке и в старой, отцовской, быть может, буденовке. — Там дом с самолетов пожгли, большой дом... давно уж пожгли...

Мальчик был весь в движении; объясняясь, он одновременно поправлял веревку, проходившую у него по шее и подмышками, утирал рукавом нос, подтягивал ослабевшую опояску на курточке, поглядывал назад — цела ли поклажа?

— Они ж и так горелые, только на топку и сгодятся,— добавил он оправдываясь.

— Там еще насобирать можно, — часто дыша, выкрикнул тоненько его напарник в заячьей шубейке и сам похожий на зайца — с чуть раскосыми карими глазами. — Бегите на Гончарова, дяденька, раз вам тоже надо...

— Что, что?... Ах ты, пострел! — Ласточкин засмеялся и ступил в сторону, освобождая дорогу.

— Взяли, что ли, — скомандовал старший мальчик.

И разом поднатужившись, ребята потащили свою добычу дальше.

— Боевые хлопцы, предприимчивые! — весело сказал Ласточкин.

— В школу им надо, в школу, — с неожиданной резкостью отозвался Дьяков, — учиться надо...

Ласточкин удивленно взглянул на генерала — именно сегодня этот его тон был необъясним...

— Теперь уже скоро пойдут в школу, обещаю вам, — сказал Ласточкин. — В течение двух недель в сверхсрочном порядке мы очистим и приведем в порядок школьные помещения, а в январе начнем занятия... — он наклонился к Дьякову, заглядывая в его лицо. — Придется и вас потревожить, товарищ генерал: там, где интенданты ваши обосновались, семилетка была.

— Не возражаю, — сказал Дьяков. — Да ведь и то... Скоро уж нам прощаться, Яков Захарович.

— Торопитесь отбыть... Не понравилось, я вижу, у нас...

Но Дьяков, сам умевший и любивший пошутить, не принял на этот раз шутки, вернее, не заметил ее.

— Еще через два-три дня Т. станет тыловым городом... Пришла пора гнать захватчиков, да так, чтоб ног не унесли... — заговорил он жестко, отвечая вслух на какую-то свою мысль; широкое лицо генерала отяжелело, набрякло, и из-под припухших век недобро светились его сероголубые глаза. — Я мало осведомлен о положении к северу от Москвы, пока известно лишь, что и там наши войска идут вперед. Германский фронт под Москвой дрогнул, фланги его смяты. И сдается мне... сдается, это и есть та большая наша победа стратегического масштаба, которая означает поворот в войне.

— Да, несомненно, это перелом, — сказал Ласточкин.

И тут же мысленно, про себя повторил, чтобы вполне насладиться истинным значением своих слов:

«Да, это перелом...»

Кто-то, проходивший по противоположной стороне улицы, приподнял шапку, здороваясь с секретарем обкома... И Ласточкин, издали узнав Полуянова, одного из руководителей областной промкооперации (весьма посредственного работника, по его мнению), сорвал с головы ушанку и широко помахал ею — как бы там ни было, но этот человек являлся сегодня победителем, подобно всем, кто оборонял, Т. Полуянов огляделся по сторонам — он, видимо, никак не предполагал, что восторженное приветствие секретаря обкома относилось именно к нему...

На улицах, между тем, становилось все более оживленно — было недалеко уже до центра города... Вот перед газетным щитом со свежим, за вчерашнее число номером московской «Правды» (несколько экземпляров его появилось в Т. вместе с первой почтой, прибывшей вчера вечером) столпилась большая группа читателей; вот подальше немного, возле серого дома, где, судя по вывеске, помещалась «Гармонная мастерская артели «Искусство» и где изготавливались ныне гранаты и мины, красноармейцы грузили на машину деревянные ящики... А вот распахнулись со скрипом двери булочной, и теплое, сладко пахнувшее печеным хлебом облачко выпорхнуло оттуда, окутав на мгновение Ласточкина... И даже мелкие подробности этой, ничем особо не примечательной уличной жизни возбуждали в нем необыкновенный, благодарный интерес. Город, в котором все от мала до велика были сегодня победителями, чудесным образом преобразился, казалось... И никогда раньше Ласточкин не любовался так этими знакомыми улицами, этими сумрачными озабоченными пешеходами, даже этими грязноватыми фасадами старых зданий.

Около проходной будки станкостроительного завода он посторонился, пропуская мимо трех работниц... У одной из них ярко рдели на холоде блестящие, как будто надутые щеки, у другой внимание его привлекли черные выгнутые брови; третья была, к сожалению, закутана в платок до самых глаз. Работницы несли на спинах мешки, набитые, должно быть, щепой... И Ласточкин, поглядев на них, изумился, точно сейчас лишь открыв для себя,

что в городе живут молодые и красивые женщины — вчера еще ему и в голову подобное не пришло бы; по крайней мере, двух из этих трех работниц он, не колеблясь, назвал бы сегодня настоящими красавицами... Он невольно обернулся; первая из женщин — самая румяная — тоже кинула на него взгляд из-за плеча...

— Подсобили бы, товарищи начальники, чем так, с пустыми руками гулять, — крикнула она смеясь.

— Вы видели... видели, какие у нас девушки, Иван Тимофеич! — сказал Ласточкин. — А вы уезжать торопитесь... Эх, обидно, что мы с вами семейные люди, да и староваты маленько!

И он с облегчением вспомнил, что в кармане у него лежали письма от жены — военного врача, — находившейся со своей частью где-то на Южном фронте, полученные вчера с первой почтой; больше месяца он не имел от жены ни строчки...

Дьяков не ответил; заложив руки за спину, генерал медленно шагал, держась прямо, не глядя себе под ноги.

«Да что с ним такое?!» — недоумевая, подумал Ласточкин.

Перед проходной будкой генерал остановился, решив проститься и идти обратно — ему не стало легче на душе от этой прогулки, на что он бессознательно надеялся... Вчера Дьяков также получил вести из дому, от жены, сразу несколько писем, скопившихся за то время, что в городе не было почты; вскрыв самое раннее из них — первое по штемпелю отправления, он узнал о тяжелой болезни младшего сына... И чтобы делать свое дело: руководить войсками в бою, принимать решения, выслушивать подчиненных, размышлять над картой с тем полным напряжением энергии и мысли, которого требовало начавшееся контрнаступление, генерал отложил нераспечатанными остальные письма — на вечер и ночь он заставил свое горе повременить. Лишь утром сегодня, почувствовав себя и несколько свободнее, и спокойнее (донесения из частей были в высшей степени обнадеживающими), он вскрыл последнее письмо жены — самое короткое, в одну страничку, косо, в отчаянии исписанную тотчас же после похорон сына... Семья Дьякова — жена и двое детей — уехала из Москвы еще в октябре; младший мальчик захворал в долгой дороге, и Дьякову казалось теперь, что если б не эвакуация, сын его был бы

жив. Как все неуступчивые, активного внутреннего склада люди, генерал боролся со своей бедой тем, что пытался объяснить ее себе, искал ее виновников. И найти их не представляло труда — к бесконечным, не могущим быть сосчитанными преступлениям, совершенным врагами, с которыми он сражался, прибавилась и эта напрасная смерть его ребенка... Отступая, терпя поражение, враги как бы изловчились в последнюю минуту ударить его там, где он не ждал нападения. И отцовская тоска, гнев, жажда отмщения, чувство какой-то своей оплошности, ошибки: согласился на отъезд семьи, даже сам посоветовал уехать — смешались в это утро в душе Дьякова.

— Иван Тимофеич, вы так и не наведались к станко-строителям? — спросил Ласточкин. — Нет?.. Давайте, взглянем сейчас — на пятнадцать минут, не больше... Право, не пожалеете — кадровики, золотой народ! А какие у них старики — искусники! Это станкостроители вооружили вас минометами, изготавливают для вас противотанковые ружья... Ну, не упирайтесь, доставите большое удовольствие людям, — взяв генерала под руку, он слегка подталкивал его к дверям проходной, — когда вы еще соберетесь, а здесь вас давно ждут...

Дьяков запротестовал было, но потом подчинился — возможно, и в самом деле ему следовало побывать на заводе, так много сделавшем для обороны Т.

Появление их обоих в цехе минометов не вызвало, однако, поначалу заметного оживления: рабочие молча, хмуро, кивком головы — не до церемоний было в эти дни — здоровались, не отходя от станков. Но затем у секретаря обкома партии завязался интересный и, мало того, чрезвычайно важный разговор с бригадиром Казаковым...

Сперва на вопрос секретаря обкома, как идет работа и нет ли в чем особенной нужды, Казаков — он как будто еще более высох, уменьшился, пожелтел — отвечал, пришепечывая:

— Нужда мудрёна — на все выдумки готова... Идет дело, Яков Захарович! А само не идет, мы подталкиваем. Одно есть сомнение: надолго ли достанет литья, металл у нас на исходе... Я директору, товарищу Власову, официально заявлял: во-время схватишься, после не расквесишься. И вам заявляю, надобно меры загодя принимать.

Подойдя или, вернее, подпрыгнув поближе к Ласточкину, сбавив голос, точно речь касалась предметов секретных, он сообщил:

— Слух прошел, Яков Захарович, добрый слух: будто бы отступился немец от нашего города. Из Мышкинского Поселка бойцы за винтовками приезжали, сказывали, тихо у них стало; сказывали — нет немца в окрестности. Вот мы и гадаем: верить аль нет?..

Орлов — начальник цеха, сопровождавший Ласточкина и Дьякова, вытянул шею, прислушиваясь; библейская борода его распушилась, разошлась веером; остановил свой станок Алмазов — розовощекий и седой, как новогодний дед; кто-то еще выключил мотор и повернулся к Ласточкину; появился из-за остекленной перегородки Николаевский... В цехе не топили, видимо, ни сегодня, ни вчера — люди трудились в пальто, в шапках, с опущенными наушниками, в платках; пар, исходивший от нагретого в работе металла, медленно таял в стылом, пахнувшем железом воздухе. И Ласточкин невольно заспешил с ответом — эти люди слишком долго дожидались доброй вести, и их нельзя было больше томить...

— Правде как же не верить, правде надо верить... — быстро проговорил он.

И его удивило, что он так просто сказал сейчас о самом желанном, самом прекрасном — о победе. Он посмотрел на Дьякова — тот стоял немного поодаль, заложив назад руки, глядя в затянутое тусклой морозной пленкой окно — и заговорил громче, зазвеневшим голосом:

— Слава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, товарищи! Слава нашей армии-освободительнице! Полчища врага, осаждавшие наш город, отброшены, обращены в бегство. И хорошие, отличные вести приходят с других участков подмосковного фронта... Слава нашей армии, — повторил Ласточкин, — слава ее отважным бойцам и непобедимым генералам!

Дьяков отвернулся от окна; руки его, сцепленные за спиной, разомкнулись, и он выпрямился... Множество глаз, показавшихся ему странно высветленными, необычно яркими, обведенных чернотой металлической пыли, обратились на него, и то, что он увидел в этих глазах: стариковских, юношеских, женских — замигавших, расширившихся, блещущих, — заставило генерала пододаться и вытянуться, как на смотрю...

— Ну, сынки!.. Ну, сынки!.. Товарищ генерал! — вспорхнув и очутившись моментально возле Дьякова, пролепетал Казаков. — Утешили вы народ, утешили...

Старик помахивал своими детскими ручками, точно стряхивая что-то с них... Отовсюду к Дьякову двинулись, выходя из-за станков, вбегая из коридора, люди... И тут с генералом произошло нечто такое, чему сам он немало потом дивился — на какое-то время Дьяков потерял самообладание: уголки его большого жесткого рта опустились, а в его недобрых, светлых, как ледок, глазах стояли слезы... Быть может, ничего подобного и не приключилось бы с Дьяковым, если б он не был так измучен, но сегодня он душевно ослабел. И он не то растрогался — точно игла уколола его при словах Казакова — не то оплакивал в этот миг своего сына.

— Отогрели сердце... Земной поклон вам... — лепетал Казаков, — за труд, за кровь...

Николаевский, придвинувшись вплотную к Дьякову, сказал, дотронувшись вежливо до козырька своей кепки:

— Доброго здоровья!.. Позвольте поинтересоваться, как на правом фланге: повсеместно ли отступил неприятель?

— Так точно... в полном беспорядке... — сильно окая, сказал Дьяков.

Чтоб слезы не покатались по щекам, он поднял высоко голову, выпятив грудь, и старался не моргать. Он плохо видел тех, с кем разговаривал, но казалось, осанистый, молодцеватый генерал тянулся, как перед начальством, перед семидесятилетним мастером Казаковым, перед токарем Алмазовым, перед слесарем Щепкиным, перед механиком Орловым, перед гравером Николаевским, перед фрезеровщицей Кузнецовой, даже перед молоденьким техником Наташей Громовой, выглянувшей из-за плеча Прасковьи Никитичны.

— Нашлись на немецкие клинья русские клещи, — сказал Алмазов. — Наша жила, видишь ты, покрепче будет...

— Так точно, — подтвердил Дьяков.

— Вы не из Чапаевской ли дивизии, товарищ генерал? — выкрикнул кто-то, проталкиваясь в толпе. — Да не мешайте, дайте слово сказать! Вы не в Чапаевской дивизии служили? Отец мой чапаевцем был...

— Никак нет... Начал службу пулеметчиком в Первой Конной армии, — доложил Дьяков.

Ласточкин глубоко, жадно вдохнул студеной, железный воздух цеха, стащил с головы ушанку.

«Все мы только слуги народа, — радостно и счастливо подумалось ему, — только слуги, ничего больше...»

...Когда гости: секретарь обкома и генерал, командовавший обороной города, покинули цех, Казаков забеспокоился и огорчился:

— Ах ты, господи, незадача какая! Алеша Громов в больнице лежит... Вот ведь что получается! Наталка, Наталка! — позвал он невестку своего друга. — В больницу пойдете нынче?

— Куда? — Наташа не сразу поняла, почему вдруг в этот добрый час спросили у нее о больнице. — Ах, ну, конечно!.. Передачу с пяти до шести принимают... Я почти каждый день бываю...

— Вместе нынче пойдем, Наталка! — сказал Казаков. — Я Алеше самолично про все расскажу... Вот ведь обида какая — лежит он там, ни об чем не знает!

«Уж кто, кто, а Алеша первый должен был про победу услышать», — мысленно сокрушался он.

5

Совсем смерклось, когда Богданов спешил на опушке роши, где был оборудован его наблюдательный пункт. И здесь полковник узнал еще одну превосходную новость: войска, оборонявшие Т., успешно продвигались навстречу его дивизии... Только что в расположение двенадцатого полка прибыла из-под Т. группа лыжников, посланных для связи, проделавшая безостановочный шестидесятикилометровый марш, и Покровский направил командира этой группы на НП Богданова.

— Где ж он? Давайте его сюда, — нетерпеливо сказал Тарелкину комдив.

«Дьяков... Иван Тимофеич, навстречу спешит... — с удовольствием подумал он. — Этот инициативы не упустит... С двух сторон прижмем Гудериана».

Он кинул повод вестовому, прошел вперед... И от сероватой в густых сумерках стены деревьев отделился огромного роста человек, весь белый, запорошенный с головы до ног снежной пылью. Маленький полковник, глядя снизу вверх, сказал, засмеявшись:

— Ого! Откуда вы такой?

Медленно, точно припоминая, гигант в снежной одежде ответил:

— Командир роты... рабочего полка... Громов...

И рука его тяжело поднялась, отдавая честь...

Комдив помялся, как бы в нерешительности: ему захотелось обнять посланца из Т., но парень был чересчур велик ростом по сравнению с ним, и это обстоятельство остановило его.

— Знаю вашу часть, как же! — воскликнул Богданов. — В боях познакомились.

Затем без перехода — для воспоминаний у него не было, к сожалению, времени — спросил:

— Что видели по дороге сюда? Где немцы? Какой у вас был маршрут?..

— ...Заячью Пустошь мы обошли лесом по болоту... колхозники проводников дали, — старательно двигая зазубренными губами, докладывал командир роты рабочего полка. — В самой Пустоши много техники немецкой скопилось... десятки бронетранспортеров, автомашин с боеприпасами... А дорога оттуда только одна — на Антоново; кругом болота...

Богданов, слушая, вновь почувствовал желание выразить как-то посланцу от Дьякова свою признательность... Пока этот белый исполин говорил, в голове у полковника сложился план нового маневра — сложился удивительно быстро и отчетливо, как бывает, когда воображение окрылено, а сердце не знает страха... Войска, наступавшие из района Т., преградили на широком фронте врагу путь отхода на запад, и это создавало благоприятные условия для окружения немцев, сосредоточившихся в Заячьей Пустоши.

— Ну, отдыхайте, отдыхайте... — сказал комдив. — Поспите... Даю вам шесть часов отдыха. Сережа, окажи гостеприимство товарищу командиру... Капитан Тарелкин, вызовите к телефону Белозуба.

Павел Громов попятился на шаг, прислонился к стволу дерева и, обессилив, грузно сел на снег... Подошел Зуев, адъютант комдива, отцепил от пояса свою фляжку, поболтал ею.

— Коньяку хотите? — шепотом почему-то спросил он, отвинчивая крышечку. — «Арабат», пять звездочек... Вы-

пейте, товарищ командир, чудесно согревает... Сейчас машина подойдет в штаб — отвезет вас.

Павел не отозвался — главное было сейчас в том, что он мог никуда, никуда не спешить больше, выбиваясь из последних сил. И блаженное чувство полного покоя сошло на него... Павел послушно глотнул из крохотной крышечки, поданной ему каким-то заботливым юношей; тот опять налил, он еще раз с наслаждением выпил...

«Оставьте меня теперь, прошу вас... — чуть не попросил он. — У меня есть шесть часов, шесть часов...»

Все же, чтоб не обидеть молоденького лейтенанта, Павел с усилием пробормотал:

— Спасибо... Доброе зелье.

Голова его свесилась на грудь, и он тотчас же задремал... Это был пока еще не сон, но как бы сладостное предощущение сна; смутно доносились к Павлу неразборчивые голоса, звуки — не то зуммерил телефон, не то попискивали птицы, невесть как оказавшиеся в этом лесу; что-то синеватое, расплывчатое мерцало сквозь смеженные ресницы... И он не увидел, как странные, похожие на движущиеся дома автомашины с высокими наклонными платформами прошли мимо, вдоль опушки, и исчезли, растворившись во мраке...

А спустя некоторое время там, где встали на позицию гвардейские минометы, ударили в землю косые, громадные столбы пламени. И оттуда, из лощинки, засверкали, озаряя окрестность, уносясь круто вверх, раскаленные до голубизны метеориты, окутанные бело-желтым сиянием.

Скрежешущий вой и свист сопровождали их рождение... Павел открыл глаза и, ничего не понимая, но и не слишком удивившись, точно это и был сон, смотрел, как звездный нездешний дождь пролился на отдаленные холмы. Потом позади Павла как будто загрохотал горный обвал — открыла шквальный огонь тяжелая гаубичная артиллерия. И над лесистыми склонами впереди, над всей площадью, где окопался враг, поднялось и повисло дымное толстое покрывало. Частые мгновенные вспышки освещали его снизу, а взрывные волны комкали и подбрасывали его.

Во второй раз сыграли «катюши», и из лощинки опять вылетел рой небесных звезд. Падая, они зажигали, казалось, самую землю; Павел различил березки на фоне баг-

рового колеблющегося зарева, кустарник, превращенный в сплошной костер... И все еще не проснувшись окончательно, дивясь и любопытствуя, он подумал: так вот какая она, эта таинственная «катюша», ласково названная солдатами женским именем, — лишь неясные слухи о ней доходили до него в Т...

В следующую секунду Павел вскочил на ноги; он представил себе, что происходило сейчас в окопах, на холмах, и ужаснулся. Мучительное, противоречивое, леденящее чувство пронзило его... Но вдруг в памяти Павла промелькнула иная, не столь давняя картина: окраина Т., плакучие ивы у Николиной балки, Егор Трошин, бедный Егор в сереньком пальто, скорчившийся на мокрой земле. И Павел невольно мысленно позвал друга, как бы приглашая его посмотреть на то, что видит он... За Трошиным возник на мгновение Охотников, вытянувшийся на скате воронки, Михайлов с парчовой, поблескивавшей на солнце бородой, Игнатьев, Дружников... И фантастическое несбыточное мечтание овладело Павлом — он пожелал, чтоб все его солдаты, все живые и павшие встали с ним здесь в эту минуту.

— Эх, не дожили ребята... ребята!.. — проговорил он вслух со жгучим сожалением.

Богданов молча, сосредоточенно, переминаясь с ноги на ногу, наблюдал за действием гвардейских минометов. Прогрохотал третий залп, и комдив приказал прекратить огонь — надо было дать немцам возможность запросить пощады и сдаться.

Начали поступать донесения и об успехах других частей. Командир тринадцатого полка майор Белозуб, посланный в обход немцев, позвонил и донес, что он ворвался в Большой дом почти без потерь... И командир дивизии, вновь вскочив в седло, отправился к Белозубу.

Поплотнее надвинув на голову папаху, Богданов с места пустил коня в карьер. Он переживал сейчас то необыкновенное ощущение жизненной полноты, победительной энергии, что овладевает человеком в наилучшую, самую деятельную пору его жизни, в пору важнейших трудов и больших, решающих свершений. Перед ним расстилалось открытое, широкое поле — родное, отнятое у врага, освобожденное, мягко стучали по снегу копыта, конь всхрапывал, фыркал. И Богданову любо было

мчаться вот так, в чистом, студеном, крепком, как водка, воздухе...

Зуев изо всех сил старался не отстать от комдива, шпорил своего коня и вглядывался в темень, придерживая прыгающий на груди автомат.

...На окраине Большого дома в пустом, вымороженном амбаре Богданов встретился с майором Белозубом, поджидавшим его. На лбу у командира полка белела, высовываясь из-под ушанки, марлевая повязка.

— Отлично действовали, майор! — крикнул Богданов, подходя. — Вы ранены? Серьезно вас задело?..

— По касательной... — грудным, бархатным, почти поженски мягким голосом ответил Белозуб. — Здравия желаю, товарищ полковник...

Далее Белозуб сообщил, что западнее Большого дома было освобождено еще несколько населенных пунктов и что немцы беспорядочно отступали в направлении южнее Т.

— Побросали всю технику, обоз, склады. Не блицкриг получился, а блицдрап, — проговорил он своим красивым, немного вкрадчивым голосом.

Чтобы закрыть немцам пути отхода на юг, Богданов направил наперерез им танки с пехотным десантом. Одновременно он приказал командиру тринадцатого полка преследовать отступавшего врага... Нагнувшись над картой, которую освещал карманным фонариком Зуев, полковник показывал негнувшимся, застывшим на морозе пальцем.

— Здесь у Заячьей Пустоши десантники остановят противника. Вы должны подоспеть туда к рассвету... Вы блокируете его, отрежете ему дорогу на Антоново, ударите... — Богданов с особым выражением, отчетливо, с удовольствием произносил все глаголы: «блокируете», «отрежете», «ударите». — И совместно с танкистами уничтожите его, — подняв голову, полковник улыбнулся своей неумелой улыбкой... — если, конечно, он не сложит оружия.

— Пуля виноватого найдет, товарищ полковник. Разрешите выполнять? — сказал Белозуб.

«Лихой командир! Способный командир!» — подумал Богданов, прощаясь с майором.

Впрочем, в эти дни успешных боев он был доволен едва ли не всеми поголовно людьми в своей дивизии; от

настороженности Богданова по отношению к новым сослуживцам не осталось и следа. И он чувствовал также, что к нему в свою очередь перестали присматриваться, что официальный холод, отделявший его до недавних дней от окружающих, исчез...

— Вы бывали когда-нибудь в Т., майор? — спросил он.

— Никак нет, — завязывая под подбородком ушанку, ответил Белозуб. — Говорят, там гармони замечательные делают.

— Ну, не только гармони... Старинный город, промышленный. Скоро покажу его вам, — сказал Богданов таким тоном, точно одна возможность попасть в Т. являлась уже большой наградой...

Впрочем, для него самого, возвращавшегося в этот полюбившийся ему город с победой, так оно, собственно, и было.

Белозуб ускакал в свою часть, а Богданов и Машков прошли в поле за селом, чтобы проводить десантников в новую операцию. Четвертые сутки люди находились в непрерывных почти боях, в движении, в огне, и надо было убедиться в том, что они способны еще выполнить свою задачу... К ночи ветер окреп, и летала острая, как толченное стекло, поземка, насыпала сугробы у плетней, у брошенных немцами черных автобусов, оседала белесой пылью на шинелях гитлеровских егерей, валявшихся на выезде из села. И почти невидимой была в этой беспокойной снежной мути шеренга автоматчиков в маскировочных халатах, выстроившаяся около машин.

— ...Нас ждут, товарищи! — выкрикивал Машков, надсаживаясь, тщетно стараясь разглядеть лица людей. — Ждут не дождутся наши матери и сестры! Враг отступает, бежит... и нельзя дать ему опомниться, собраться с силами...

Комиссар кончил говорить, бойцы стали карабкаться на броню танков, усаживаться там, и Богданов подошел ближе... Внезапно возникая из снежной, мгlistой крутоверти, будто родственные этой же стихии ветра, движения, бури, пробегали в разных направлениях люди в белом — быстрые призраки с хриплыми голосами. Конечно, десантники устали, не могли не устать: вот кто-то поскользнулся на косой плоскости, сорвался с танка и упал в снег. Но в разноголосице восклицаний, окликов, команд

к Богданову донесся также и смех — гулкий, глухой, как в бочку.

— У кого мягкая плацкарта, давай живей! — прокричал кто-то сквозь рев заработавшего мотора.

Жестокое воодушевление, с которым десантники только что ворвались сюда, гоня перед собой врагов, еще не покинуло их — люди острили и смеялись, вновь устраиваясь на ледяной броне, у боевых башен, теснясь к стволам пушек, не совсем остывшим от недавней стрельбы. И можно было подумать, что над этими солдатами не имели больше силы ни мрак ночи, ни двадцатиградусный мороз, спиравший дыхание, ни бессонница, ни ветер, ни металл...

Машины с десантом мгновенно исчезали из глаз, потонув во мгле, постепенно ослабел их железный лязг. Вдалеке туманно светилось бледнолимонное высокое зарево, и самый огонь в этой декабрьской вьюжной ночи казался холодным, замороженным...

«Пусть у вашей пехоты вырастут крылья, пусть она не идет, а летит», — вспомнилось Богданову.

Свой командный пункт полковник в третий раз за сутки перенес на новое место — в Большой дом; штаб двенадцатого полка расположился здесь же на конце села, и майор Покровский немедленно отправил к командиру посыльного с приглашением на ужин.

Богданов, забывший уже о том, что сам пообещал, а вернее, пригрозил майору приехать к нему ужинать, получив приглашение, расхохотался:

— Смотри ты, какой памятливый! Передайте майору, что придем, все придем, — весело сказал полковник посыльному. — Пусть готовится...

Но еще долго Богданов работал с начальником штаба, диктовал приказы частям на следующий день; потом он опять говорил с командующим армией, подписывал наградные листы, выслушивал доклады дивизионного интенданта и начальника санитарной части... А в просторном помещении сельсовета, в соседних комнатах толпились командиры штадива, связные; телефонисты склонялись над своими аппаратами, поминутно распахивались двери из сеней, люди выходили, входили, отряхивали снег с валенок, сквозняк проносился над головами, мигала под потолком керосиновая лампа, тени прыгали по стенам, с которых свисали полусорванные обои; кто-то громко, с

азартом рассказывал работнику дивизионной газеты подробности боя за село; кто-то, прибывший из полка, спрашивал, как пройти в политотдел; кто-то спал, опустившись прямо на пол у стены; кто-то угощал товарищей гаванскими сигарами, найденными на немецком складе...

Комиссар Машков, сидя у стола, разговаривал с двумя стариками — жителями Большого дома; один в овчинном тулупе, лысый, с растрепанными кустиками седых волос на висках, наклонясь к Машкову, заглядывал ему в глаза...

— Товарищ комиссар! Товарищ комиссар!.. Председателя нашего злодеи заарестовали, из всего правления колхоза один я вот живой... Товарищ комиссар! — старик выговаривал эти два слова с молитвенным почти выражением, и с просьбой о помощи, и с упованием на будущее, и с наслаждением, и с жалобой. — На все наше село три коня остались, да и те разбитые на ноги, две коровы, одна коза, пять овечек. Но инвентарь мы частично сэкономили, и ежели с семенами нас выручат... Товарищ комиссар!

Он дотрагивался своими коричневыми растопыренными пальцами до рукава шинели Машкова, на которой была нашита красная звезда.

— Соберите завтра людей, подумайте вместе с ними, как и с чего начинать, — сказал комиссар.

— Завтра и собирать можно? — переспросил лысый старик, как бы не поверив.

— А чего же ждать?.. Я вам на собрание кого-нибудь из командиров пришлю, доклад сделаем...

Второй колхозник, с бритым, иссеченным длинными морщинами лицом, стоял неподвижно, опустив руки, держа подмышкой, как портфель, клеенчатую сумку. Когда Машков поднялся со стула, этот человек достал торопливо из сумки толстую потрепанную папку, положил ее на стол и, вытянувшись по-солдатски, сказал:

— Прошу принять отчетность... По состоянию на сегодняшнее число. Все расписки, также и от партизан, коим мы сдали пшеницу и жиры...

Не договорив, он кашлянул и умолк, поджав губы, точно вдруг обиделся.

— Счетовод нашего колхоза, — поспешно представил его Машкову член правления. — Сам кавалер первой мировой... Отчетность он у себя под половицей держал...

— Служил в Нижегородском пехотном полку вплоть до января тысяча девятьсот шестнадцатого года. Уволен из действующей армии, как отравленный газом... — счетовод помолчал с обиженным видом, выпятив сжатые губы, пересиливая, должно быть, свое волнение. — Прошу ознакомиться с балансом, товарищ комиссар.

И Машков снова сел, раскрыл папку и принялся терпеливо смотреть документы — нельзя же было отказать человеку, с опасностью для жизни сберегшему их.

А в это же время на крыльце сельсовета, где еще валялись стреляные гильзы и железные ящики с гранатами, столпилась перед часовым кучка женщин.

— Может, полы надо в сельсовете помыть? — задыхаясь, спрашивала одна. — Наследили повсюду изверги, намусорили... Может, помыть, а?

— Заходите к нам погреться, когда сменитесь... — просила другая.

— Настрадались мы... Ой, и настрадались! — звонким голосом восклицал кто-то еще. — Ждали вас — глаза выплакали... От души говорю, от любви говорю!

...Позднее, около полуночи, Богданов доложили, что лыжники из Т-го гарнизона собрались в обратный путь. И он вызвал к себе их командира, чтобы снабдить его необходимой генералу Дьякову информацией... Но вот, наконец, и это было сделано; убедившись, что командир отряда правильно все усвоил, поинтересовавшись: поспали ли бойцы? хорошо ли их покормили? — Богданов вышел из-за стола...

— Где ваш рабочий полк воюет сейчас? — спросил он. — Наступает от Голых полян... Ага, так... Я приезжал к вам, когда вы на Орловском шоссе оборону держали. Хлопотливые были деньки...

Он чувствовал к этому молодому гиганту искреннее расположение... Подобно многим людям маленького роста, полковник в глубине души завидовал немного таким вот великанам и даже как бы сердился на них. Но посланец из Т. слишком порадовал его сегодня самим фактом своего появления... А главное, лыжники Дьякова доставили ему весьма своевременно ценные сведения о противнике.

— Вы в Т. до войны работали? Вы кем же были в мирной жизни? — продолжал он расспрашивать.

— Я инженер... Инженер — конструктор станков, — наклоняясь к Богданову, глядя на него преданными любящими глазами, отвечал Павел. — А работал в Т., совершенно верно...

Спасительное могущество этого маленького полковника, повелевавшего небесными громами и молниями, представлялось Павлу безграничным; высшая справедливость была обязана Красной Армии своим сегодняшним торжеством... И рядом с быстрым, подвижным, легким в движениях Богдановым он казался самому себе неуклюжим, чрезмерно громоздким, медлительным.

— Давно командуете ротой? — полюбопытствовал полковник.

— Нет, недавно... Только начал, по совести говоря, — извиняющимся тоном проговорил Павел.

— Погодите-ка... А ведь вооружены вы неважно, — сказал Богданов. — Пистолет и гранаты — это маловато для похода в тыл врага...

Он снял с гвоздя на стене свой личный автомат и протянул Павлу.

— Возьмите, товарищ инженер! Бейте захватчиков при помощи новой техники... Сережа! — окликнул Богданов адъютанта, — достань-ка запасный диск!

Павел, очень польщенный, повесил автомат комдива себе на грудь. И, не раздумывая долго, с той доброй порывистостью, что отличала его, принялся отцеплять от пояса кобуру со своим пистолетом...

— Одну минуту, простите... Вот, прошу вас... — он извлек из кобуры подарок «профессорской бригады». — Прощу, товарищ полковник, на память о нашем городе.

Богданов нахмурился — пожалуй, что и не годилось ему принимать подобное подношение... Но, несомненно, оно было сделано от чистого сердца, в этом он мог не сомневаться...

— Патроны от нашего «ТТ» вполне подходят... И взгляните на гравировку... — горячо заговорил Павел. — Действительно, художественная вещь... К тому же безотказно действует...

Он поднес пистолет к лампе, чтобы лучше был виден орнамент на стали: гирлянда дубовых листьев. И Богданов невольно залюбовался.

— Уму непостижимо... — сказал он. — Где вы раздобыли это чудо?

— На нашем заводе изготовили: отец мой с друзьями... — Павел был чрезвычайно доволен, что у него нашлось нечто, более или менее достойное его собеседника. — Отец некоторые детали выточил... А конструировал Орлов Петр Кириллыч, старейший механик, учитель мой, между прочим. Гравировку делал Николаевский, лучший мастер в городе.

— Отцовская работа? — переспросил Богданов.

— Отцовская, конечно! — воскликнул Павел.

Комдив взял у него пистолет и вложил в кобуру.

— Ну, если так, спасибо, — сказал он.

Машков, с интересом наблюдавший за ними обоими, благожелательно проговорил:

— Вот, вроде и побратались вы...

...Глубокой ночью, сидя в гостях у майора Покровского, Богданов, отогревшийся, выпивший водки, помягчавший внутренне, чувствовал себя, как среди старых друзей. И ему приятны были и хозяйственная распорядительность майора, славного служаки, из тех, которых называют отцами-командирами, немолодого, черноусого, жилистого, и раскрасневшееся, с пушком на щеках лицо Зуева, сонно улыбавшегося из угла, и спокойная приветливость Машкова, его хороший аппетит, его большие, сильные, как у кузнеца, руки. А посмотрев на Веснина — бледного, молчаливого от утомления, комдив решил, что ему очень повезло с начальником штаба, отлично знающим свое дело, исполнительным и трудолюбивым. Когда Покровский вновь налил по стопке, Богданов предложил выпить за здоровье Веснина, «знатока уставов», как он выразился, и Веснин, не ожидавший этого тоста, был растроган.

— Петр Первый указывал, товарищи: «Не держись устава, яко слепой держится стены... — благодарно взглянув на Богданова, сказал подполковник. — Ибо там порядки писаны, а времен и случаев нет; того ради ему надлежит рассуждение иметь...»

Начальник штаба отдал, таким образом, должное и самому Богданову.

Дальше разговор перешел на личные, семейные дела; Покровский, по просьбе комдива, достал из нагрудного кармана гимнастерки фотографию своих детей — двух девочек лет десяти-одиннадцати. Карточка с этими школьницами в одинаковых белых платьицах обошла стол, и

каждый, кто ее брал, постарался сказать что-либо лестное отцу; тот слушал с наивно-горделивым удовольствием и, пряча фотографию, нежно пояснил:

— Учатся неважно, вот беда-то... Ленивые обе.

— Где сейчас ваша подруга жизни, Николай Федорович? — любезно спросил у комдива Веснин.

— Моя? — в воображении Богданова тотчас встала его случайная, красивая, веселая попутчица на дороге из Москвы в Т. — бесследно исчезнувшая Наташа. И, подавшись общему радостному тону этой застольной беседы, как бы убоявшись что-то испортить в ней, он ответил:

— Недалеко... В Т. у родных гостит.

— В таком случае мы познакомимся с ней, надо полагать, — воскликнул Веснин.

— В самом деле, удачно у вас — завидую! — сказал Машков. — Мои все в Куйбышеве — только после войны увидимся, наверно...

— Жена ваша не успела эвакуироваться? — спросил Покровский. — Не было бы счастья, да несчастье помогло...

— Жена? — Богданов ощутил жар на щеках; кровь ударила ему в лицо. — Да, застряла там...

«Как это у меня вырвалось? — изумился он. — Черт знает, что такое! Зачем я соврал?»

— Теперь уж недолго вам ждать встречи... Ведь прямо на Т. идем... — сказал Веснин.

«Вот характер, — с уважением подумал он, глядя на комдива. — Ни словом до сих пор не обмолвился, что в Т. у него близкие люди...»

Богданов опустил в тарелку глаза, замолчал... И этот коричнево-смуглый, загоревший на морозе, с иссиня-черными, как вороново крыло, гладкими волосами молодой человек — крепкий, бесконечно выносливый, несмотря на свой маленький рост, на неширокие плечи, такой решительный и нисколько не страшившийся ответственности, показался Веснину живым воплощением целеустремленной, не знающей колебаний воли...

— Непохоже, чтобы нас повернули перед Т. Обязательно побываете дома, — добавил начальник штаба.

Богданов неопределенно повел плечами.

«Ах, как нехорошо! — раскаивался он. — Веду себя, словно мальчишка!.. И что я скажу, когда мы будем в Т. Придется опять что-нибудь соврать... А, черт, как неладно!»

Но при всем том эта неожиданная ложь доставила Богданову странное наслаждение. И лишь только несчастная фраза была произнесена, полковник почувствовал счастливую уверенность в том, что он обязательно еще встретится с Наташей, и встретится, как с подругой жизни... Так неотчетливое стремление, живущее в человеке, преобразается в ясное, осознанное желание после того, как оно бывает названо.

Было недалеко до рассвета, когда Богданов и другие гости ушли от Покровского, но на улице села все еще кучками толпился народ. Полковник слегка прихрамывал — у него начала побаливать старая, полученная в финскую кампанию рана на колене, что случалось в моменты крайней физической усталости. Машков молча, задумчиво шагал рядом; Зуев спотыкался, засыпая на ходу... А навстречу им кто-то бежал, какие-то подростки провожали их, из дворов неслись неразборчивые голоса, слышался женский смех, а вокруг шумело, лепетало, кричало человеческое счастье — огромное счастье освобождения.

6

Алексей Васильевич долго боролся за жизнь — около двух недель пролежал он с тяжелыми ожогами и ушибами в больнице. И до самого своего конца он не признал себя побежденным. Наташа и Анна Васильевна рассказали Павлу, что отец до последних часов упрямо бодрился и не терял надежды. Он во что бы то ни стало хотел выздороветь: доверчиво и пунктуально, как никогда раньше, выполнял он предписания врачей, терпеливо переносил мучительные перевязки, заставлял себя съедать все, что ему подавали; с жадным интересом расспрашивал он о заводских делах и просил приносить ему газеты. Медицинская сестра, дежурившая в палате Алексея Васильевича в ночь, когда в его состоянии произошел резкий перелом к худшему, вспоминала потом, что старик, подозревая ее к себе, сказал: «Я посплю маленько... А вы побудите меня, как доктор придет...» Он уснул и уже не просыпался, несмотря на все старания окружающих. Но и после того, как он впал в беспамятство и сознание его померкло навсегда, он прожил еще двое суток, агонизируя, сопротивляясь из последних телесных сил.

Павел так и не повидал больше отца живым... Вернувшись в город от Богданова, получив в штабе боевого участка увольнительную на сутки для отдыха, он на заводе узнал, что в этот именно день отца его не стало. А на следующий день Алексея Васильевича хоронили.

Утром тело его было по дороге из больницы привезено на завод, обороняя который он погиб. Здесь у соснового, обитого кумачовой полоской гроба, поставленного на сборочный верстак, держали почетный караул друзья, сверстники и младшие товарищи — ученики Громова. За четверть часа до выноса тела Павлу сказали, что он также должен идти в караул, и Павел с тем послушанием, с каким он все делал в этот день, встал, где ему было указано. Вместе с ним стояли Анна Васильевна, Наташа и Казаков...

Анна Васильевна в черном платье, в кружевной черной шали, замотанной на шее, смотрела прямо перед собой с непроницаемым, жестким выражением; глаза ее в костистых орбитах были сухи. Наташа с красными от слез веками поминутно поглядывала на Павла — она жалела его... Казаков — он, как и другие старые приятели Громова, надел сегодня парадный костюм, чистую рубашку — беспокойно озирался... Красное шелковое знамя, обвитое черной лентой, склонялось над изголовьем Алексея Васильевича; молча толпились вокруг люди, пришедшие проститься с ним. В окна — высокие с мелким переплетом — светило предвечернее желтоватое солнце, и, будто лампочка, вспыхнуло вдруг золотистым огнем металлическое острие на древке знамени. Истекали последние минуты пребывания токаря Громова на заводе... Из-за стены доносился шум моторов и постукивание — это заступила на работу вторая смена.

Павел выглядел очень растерянным и как бы оробевшим. С глухим недоумением смотрел он, стоя в карауле, на тело, лежавшее в гробу, на исхудалое, уменьшившееся лицо отца, на его затянутую бинтами голову, на руки, неловко прижатые к бокам; одну из них — правую — тоже окутывала марля... Не могло быть сомнения в том, что это его, Павла, отец, Алексей Васильевич, покоился на белой подушке в своем новом суконном пиджаке, в начищенных сапогах, повязанный галстуком, сбившимся на сторону. И, вместе с тем, что-то нечеловеческое, устрашающе чуждое появилось уже в этом знакомом до каждой мор-

щинки облик... Все же, как ни часто теперь Павлу приходилось видеть смерть, внезапная кончина отца точно оглушила его. И хотя он был убежден, что отец в большей мере нуждался в его попечении, нежели он — взрослый человек — в поддержке отца, он внезапно ощутил себя осиротелым, лишенным привычной жизненной опоры...

Власов, директор завода, тихо о чем-то распорядился, все медленно задвигались, и Анна Васильевна подошла к Павлу.

— Пора прощаться, — строго сказала она. — Тебе первому, Паша.

Он непонимающе взглянул на нее, потом послушно дотронулся губами до губ отца; безотчетно он ждал, что они ответят на его поцелуй, и ужаснулся их холодной твердости.

Гроб подняли на полотенцах и понесли Павел, Орлов, Алмазов, Николаевский, Казаков и секретарь парткома. Как только они вышли во двор, на заводе наступила тишина — умолкли моторы, остановились кузнечные молоты. И в распахнувшихся дверях цехов появились рабочие — те, что были заняты в очередной смене; сняв шапки, выходили они навстречу, теснились в окнах, глядя, как их товарищ, старик Громов безвозвратно на этот раз покидал завод... Впереди шла неизвестная Павлу девушка, неся на плоской подушечке орден, полученный Алексеем Васильевичем незадолго до войны, — Знак Почета. И один сухой скрип снега слышен был в эти минуты на обширной притихшей площадке... А когда гроб с телом Алексея Васильевича приблизился к проходной будке, раздался заводской гудок — резкий, пронзительный, хватающий за душу, оповещавший весь город о горестном событии.

За воротами проходной также собралась кучка людей. Тут были члены комитета Пороховой улицы — товарки Анны Васильевны, принесшие венки из зеленой хвои с алыми и голубыми бантами, и представители ремонтных бригад металлургического комбината со своим заводским знаменем. Какая-то сутулая старушка в черном, быть может, приятельница жены Алексея Васильевича, пришла с букетиком бумажных роз... Неожиданно для многих показался в глубине улицы оркестр, должно быть, единственный сохранившийся в городе, — три трубы, флейта, барабан; это пожарники по просьбе станкостроителей прислали на похороны Алексея Василь-

евича своих музыкантов. Гроб был помещен в кузов автомашины, и там же уселись на скамейках женщины. Оборвался, смолк гудок, оркестр заиграл «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» И небольшая похоронная процессия тронулась. Наташа, подбежав к мужу, взяла его под руку — ей казалось, что Павла нельзя было ни на минуту оставлять одного...

Вскоре машина с гробом повернула на центральную улицу — вдали показалось здание гостиницы, напротив нее — бронзовый памятник Ленину. И Наташа вспомнила, как месяц назад она проезжала по этой же улице вместе с Алексеем Васильевичем на испытание миномета. Она вздохнула, но тотчас подумала, что хотя прошло лишь три дня, как немцев отогнали от Т., все в городе изменилось... Было трудно сказать, в чем, собственно, это выражалось: мешки с песком попрежнему закрывали витрины магазинов — где наглухо, где наполовину, на перекрестках торчали из сугробов противотанковые «ежи». А в то же время улица, которой не угрожало больше вражеское вторжение, утратила свой недавний сурово-неприступный вид. Возможно, впрочем, такое впечатление создавалось потому, что всюду теперь лежал снег, пышный, светлый, окрасившийся к вечеру в желтовато-розовый телесный цвет... День выдался не слишком морозный, небо над городом было совершенно безоблачным, и Наташе померещилось, что в воздухе этого декабрьского дня пахнет мартом — первой весенней свежестью. Она опять опечалилась — было ужасно обидно, что Алексей Васильевич не видит того, что видит она, а через минуту-другую Наташа вновь, не без любопытства, посматривала по сторонам. Ее слезы о милом, добром к ней свекре были уже выплаканы — вчера, сегодня утром, и в ней заговорил неодолимый интерес к живой жизни... Наташа подняла глаза на Павла — он шел, склонив голову, большой, какой-то темный весь, в своей коротковатой, порванной на плече шинели, и она нежно погладила его руку. Вот кто нуждался сейчас в участии, в утешении, да и разве один он! Было грустно почему-то смотреть и на стариков — сверстников Алексея Васильевича... Когда Наташа взглядывала на их маленькую группку — подпрыгивавшего Казакова, Алмазова, седого и румяного, Николаевского, протиравшего то и дело

стекла очков, Орлова в его старомодной, длиннополой шубе, сердце ее сжималось от невольного сострадания.

Старые товарищи Алексея Васильевича держались несколько особняком и поближе друг к другу... Их оставалось совсем уж немного — многолетних жизненных спутников Громова, людей одного с ним поредевшего, опустошенного временем поколения. И казалось, они плотнее сомкнулись сегодня после новой потери, как смыкаются солдаты в бою, закрывая брешь в рядах.

— Жестоко отчасти поступает судьба, — задумчиво проговорил Николаевский. — Ведь на глазах у нас ожил Алексей Васильевич, словно бы десяток лет с плеч скинул... А тут такое несчастье...

— Зато и помер, как молодой, — отозвался Алмазов. — Смерть, она, видишь ты, никого не милует, как ни вилай. А он с ней, с подлой, врукопашную...

— Крутомилый был человек, — сказал Казаков, пришепывая больше, чем обычно. — Силы, удалства у Алеши и на троих достало бы. А такого не согнешь, как ветлу, нет! Дуб корабельный был!

Они все шли с непокрытыми головами; ветерок шевелил белый пух, окаймлявший лысину Казакова. И было заметно, что сверстники Алексея Васильевича старались выглядеть сегодня как можно бодрее, крепче, ступать тверже... Лишь один Казаков, забываясь, порывался куда-то вперед.

— Не упадите, не дай бог, Кузьма Данилович! Ледок тут под снегом, — заботливо предупреждал его Николаевский.

И Казаков хмурил брови, озираясь, — беспокойное возбуждение не покидало его... Старый мастер и тосковал очень по другу юности — Алеше, и гордился им, и вместе с тем он как бы расставался сейчас с чем-то лучшим и наиболее важным в своей собственной жизни. И будто бы не одного Алешу Громова, но и это — лучшее и важное, геройское и молодое, что было в нем самом, что не увядало в его воспоминаниях, в его душе, что крепко связывало его с Алешей, провожал он ныне на кладбище. И его обижало то, что людей на похороны собралось не так уж много, хотя, конечно, в городе, только что вышедшем из боев, перетерпевшем блокаду, вряд ли могло быть иначе...

Поднимая глаза, он видел знамена, двигавшиеся следом за машиной, — освещенные закатным солнцем, они

пылали, как высокий костер; почти непрерывно звучал медленный печальный марш. И Казакову чудилось, что это и о нем, о его жизни и молодости торжественно и печально рассказывает музыка, что это и в его честь вынесены на улицу знамена... Когда кто-либо из прохожих останавливался, глядя на похороны, и снимал шапку, Казакову хотелось поклониться в ответ и поблагодарить, точно уважительное внимание людей относилось в известной мере к нему самому. Когда же люди шли мимо, не оборачиваясь, поглощенные своими заботами, его подмывало выбежать и крикнуть что-нибудь вроде: «Поглядите, запомните: это хоронят Алешу Громова! А мы с ним были сердечные друзья!»

Павел нагнулся к Наташе и тихо сказал:

— Знаешь, отец овдовел еще молодым человеком... И больше он не женился.

Наташа кивнула:

— Он боялся, что тебе будет плохо при мачехе, — ласково сказала она, — мне Анна Васильевна объяснила... И он очень мать любил твою.

— Мне вот только теперь многое становится понятно, — сказал Павел. — Жил я рядом с отцом, почитал его, все, как полагается, а не задумывался даже над его жизнью. Эх, до чего ж мы!..

Он покачал головой и умолк.

Недалеко от кладбища процессию нагнала грузовая машина, полная вооруженных бойцов; машина остановилась у ограды, из кабины вышел человек в черной каракулевой шапке, бойцы запрыгали из кузова, стали строиться. И Павел, узнав политрука Елисеева, увидев стрелков своей роты, внутренне рванулся к ним всем существом. Было непонятно, каким образом могли они очутиться здесь, в этот час, но Павел не слишком удивился... Его бойцы, его несравненные — на жизнь и на смерть, на счастье и на любую беду — товарищи примчались сюда, как пробились бы в сражении к нему на выручку. И самая горькая печаль становилась легче, если рядом, локоть к локтю, стояли эти люди в помятых, простреленных, обгорелых шинелях, опоясанные патронташами. Елисеев, подойдя к Павлу, молча торопливо поздоровался, потом сказал:

— Мы с утра уже в городе — полк на другое направление перебрасывают... Но я поздно услышал о вашем

несчастье — майор Чашкин просил передать, что фашисты нам сполна заплатят. Сегодня вечером, между прочим, мы выступаем.

— Что в роте, Прокофий Яковлевич? — спросил Павел. — Происшествий никаких?

— Да, все в порядке... Получили два новых станковых пулемета, — сказал Елисеев.

— Взвод, смир-рно! — раздалась команда; Павел услышал голос Шукина. — На кар-раул!

И бойцы, вставшие у ворот кладбища в две шеренги, разом подняли винтовки с примкнутыми штыками... Гроб сняли с машины — по кладбищу было невозможно проехать — и опять понесли на руках. За оградой царил теперь полный покой: колокольня, с которой командир рабочего полка командовал в бою, опустела; дорожки, где пробегали связные и подносчики патронов, уползали в тыл раненные, скрылись под толстым слоем нетронутого снега. И только гомонили вороны, стаями летая над деревьями, выбирая себе поудобнее место на ночевку.

Анна Васильевна, отделившись от всех, прошла вперед, чтобы показать дорогу... Она побывала уже на кладбище утром и выбрала место для брата рядом с могилами отца, матери, деда, прабабки; там же в дальнем уголке под двумя березами была похоронена жена брата. И Анна Васильевна, пробираясь сейчас по тропке, припомнила, как давным-давно она и брат Алеша шли здесь за гробом своего отца. Был жестокий, сретенский мороз, и она — десятилетняя девочка — так назяблась тогда, что даже не могла плакать; вернувшись домой, она сейчас же полезла на печку отогреться, а брат Алеша переобулся и понес продавать новые свои сапоги, так как надо было справлять поминки. Потом по весне она не раз приходила сюда навещать отца, убирала его могилу... А спустя какое-то время она и Алеша пронесли по этой же извилистой дороге гроб с телом его жены — красавицы Оленьки. В тот год стояло сухое, без дождей, лето — рано, в июле, пожелтели деревья, и под ногами шуршала здесь опавшая, спаленная зноем листва. На Алешу, на брата, было боязно смотреть: глаза у него налились кровью, и он только постанывал, как подраненный, стоя на краю четверугольной ямы. А сейчас вот несли по этой же тропе его самого... Но не отчаяние и не покорность, а более

сложное, более широкое чувство владело сейчас Анной Васильевной.

Кладбище в Т., которому насчитывалась не одна сотня лет, занимало большую территорию, и шествие продолжалось довольно долго. Гладкоствольные в два обхвата тополи, вековые дубы, раскинувшие угловатые ветви, подступали к самой тропе, переплетались над нею, а внизу, по сторонам тянулся строй чугунных крестов, чугунных оград,obelisks, склепанных из листового железа, покрасневших от ржавчины. Изредка на столбах решеток тускло поблескивали медные шишечки, иногда попадались маленькие железные распятия, приваренные к скрепленным обрезкам стальных труб. Даже надгробия на могилах металлистов и оружейников, покоившихся здесь, были изготовлены из того же материала, над каким эти мастеровые люди трудились в своей жизни; одному лишь металлу, кованному в огне, а не мягкому дереву и не холодному камню, доверили они донести до потомков память о себе. И металл верно хранил ее, хотя кресты и пошатнулись кое-где и побурели, подточенные временем, да иные надгробья были поцарапаны осколками, носившимися тут вчера.

Анна Васильевна еще раз повернула по тропе, и за деревьями открылась круглая маленькая площадка... Две прямые белые березы рядышком росли посередине ее, похожие одна на другую, как сестры; под их поникшими ветвями виднелось несколько холмиков, огражденных чугунными решетками, и скамейка, прикрытая снеговой подушкой. Анна Васильевна молча обернулась к процессии, и гроб опустили на землю около вырытой ямы... Ввод рабочего полка построился справа, в отдалении; оркестр прошел на противоположную сторону, а поближе к могиле стеснились все остальные... Воздух заметно посинел, и сделалось как будто холоднее — солнце село, хотя не было еще и шести часов.

Директор завода, встав на скамейку, открыл траурное собрание. Как оказалось, Власов знал Алексея Васильевича Громова с восемнадцатого года и встречался с ним в дни, когда Т. угрожала белая деникинская армия. Он припомнил в своей речи, что Громов был участником губернского съезда рабочих-металлистов, который в телеграмме на имя Ленина просил передать Совнаркому «социалистическую клятву металлистов» победить; съезд

постановил также «сформировать железные рабочие тыловые полки, готовые в нужную минуту прямо с заводов броситься в бой с белогвардейцами». И Власов рассказал, что Алексей Васильевич одним из первых записался в такой полк... После речи директора слово взял представитель оружейно-ремонтных бригад металлургического комбината.

Но Анна Васильевна плохо слышала уже это выступление, точно какой-то внутренний голос — важный и повелительный — заглушил его, рассказывая по-своему о судьбе брата, о ее собственной судьбе и о близких им обоим людях. Их несчастья и радости, их постоянный труд и стойкая борьба проходили перед ее мысленным взором, и она вся отдалась созерцанию этих картин, милых, либо величественных... Она очень жалела брата; может быть, больше, чем кто бы то ни было, Анна Васильевна горевала за него самого, скорбела о том, что он не прожил своего земного срока, не порадовался вместе со всеми на победу, не повидал перед смертью сына... И будто кто-то утешал ее, говоря, что Алеша не мог поступить иначе, чем поступил, что погиб он за благо своего сына и детей сына. Жизнь тех, кто подобно ему трудился и сражался ради своих и чужих сыновей, была сурова, — это Анна Васильевна знала хорошо. Но в чистом и строгом мире ее мыслей и чувств только такая жизнь, отданная будущему, имела достоинство и смысл. И когда в перерывах между речами вновь раздавалась медленная горестная музыка и торжественно трубили трубы, старухе казалось, что это громко во всеуслышание звучали ее горе и ее надежда.

— ...Алеша Громов был трудовой человек, — вдруг дошел до ее слуха тонкий, пришепетывающий, точно ребячий, голосок. — Пускай математики сочтут, сколько он металла обработал за все годы. А я об одном замечу: каким он юношей был безбоязненным, таким до предела возраста остался. Пускай молодежь видит...

Казаков, взобравшийся на скамейку, откуда говорились речи, развел руками, как бы приглашая присутствовавших подтвердить истинность сказанного им.

— Жили мы и прожили, а стыда не нажили — твои слова, Алексей! С тем и прощай!..

И он закивал маленькой, опушенной редкими волосиками головкой, похожей на одуванчик.

Снова заиграл оркестр, глухо ударил барабан, протяжно запела медь; Анна Васильевна, точно задохнувшись, размотала на шее свою кружевную шаль. И опять с опозданием обнаружила она, что на скамейку поднялся новый оратор — седой человек, приехавший с бойцами.

— ...Нам, людям рабочего класса, вышедшего из неволи, много приходится бороться, — донесся к ней медленный голос. — И в старое ненавистное время по тюрьмам и ссылкам, на баррикадах и в рудниках теряли мы борцов. И ныне в схватке с мировым империализмом лучшие товарищи наши умирают за свободу Родины, за дело социализма.

Елисей говорил внешне спокойно, сдержанно... И минутно взглядывал поверх голов слушателей туда, где розовело остывавшее небо.

— Мало кто в городе у нас, разве только новоприбывшие, не слыхали про фамилию Громовых, про эту старинную местную фамилию, — продолжал он. — Я лично еще слесарским учеником был, а про Алексея Громова шла уж добрая слава. И вот нет его больше в живых, а слава его жива, а труд его остался с нами... К примеру скажу: работает машина, хотя бы ткацкий станок, и в нем жив труд Алексея Васильевича; паровоз ведет состав, и в паровозе, возможно, есть деталька, изготовленная Громовым; миномет накрывает цель, и это жив его труд на погибель врагу.

Всматриваясь в розовую полоску на небе за деревьями, Елисей подумал секунду.

— Горько, товарищи, хоронить родного человека... Но отрадно знать, что и жизнь и смерть его были не напрасны. Не даром, нет, отдали свои жизни лучшие сыны рабочего класса, — услышала Анна Васильевна то именно, что рвалось из ее собственной души. — Не пропала даром их святая кровь.

Политрук высоко поднял руку, в которой была зажата его шапка.

— Город наш... мы сообща отстояли, товарищи! — раздельно выкрикнул он. — Не впустили злобного врага... И везде в Подмоскovie Красная Армия бьет сейчас в пух и прах захватчиков. Сегодня можно со всей ответственностью сказать: Москва спасена! Вчера мы говорили: Москвы не сдадим! Сегодня мы можем сказать: Москвы не сдали!

Люди всё ближе сдвигались к политруку... И хотя оркестр не играл в эту минуту, Анне Васильевне показалось, что множество труб и целый хор поющих голосов зазвучали на кладбище; на ее скуластом лице промелькнула изумленная улыбка, точно она действительно услышала необыкновенную музыку.

— ...Когда весь трудящийся народ, сплоченный вокруг своей партии, весь — от мала до велика, стеной встает на борьбу, нет силы, что могла бы его сломить, — проговорил Елисеев.

И как будто новые певучие инструменты вступили в небывалый оркестр, и поразительная музыка ширилась — вырастала, потрясая окрестность.

— Конечно, война еще не кончена, но могу, как очевидец, заверить вас... — Елисеев прижал руку с шапкой к груди, — враг бежит, бросая огромную технику, оставляя на полях тысячи трупов своих солдат и офицеров...

— Алеша! — тоненько позвал из толпы Казаков. — Слышишь, Алеша!

Политрук запнулся на секунду, будто давал возможность Алексею Васильевичу откликнуться... Сумерки сгустились уже, синеватый туман затянул отдаленные деревья, но на верхушках двух одиноких берез лежал нежный тающий свет.

— Конечно, впереди еще немало трудностей, и мы, люди рабочего класса, должны быть готовы к новой борьбе, — возвысил голос Елисеев, — и быть может, к новым жертвам. Но освобождение нашей советской земли от захватчиков началось. И мы — в этом нет сомнения — доведем его до конца... Миллионы мозолистых рук поднялись на фашизм, и мы будем гвоздить его и гнать, гнать до полной, до окончательной победы!

Политрук огляделся, машинально провел пальцами по усам и сошел со скамейки. По кладбищу раскатилось:

— Для салюта приготовиться!

Защелкали вразнобой затворы, и строй бойцов ошетинился вскинутыми винтовками.

— Взвод, огонь! — скомандовал невидимый в сумерках Шукин.

Просверкали одновременно два ряда желто-багровых вспышек, грянул залп, и стайка одинаковых голубых дымков унеслась в небо... Гроб с телом Алексея Васильевича начали осторожно на веревках опускать в землю.

А в померкшем воздухе блистало пламя залпов, следовавших один за другим, и улетали вверх, подобно птицам, легкие дымки.

Наташа прижалась к мужу; он стоял недвижимый, прямой, глядя не на могилу, а на своих стрелявших солдат. И лицо его то омрачалось, покрываясь тенью, то светлело, когда по нему пробегали мгновенные отсветы огня.

Через несколько минут все было окончено: могила засыпана, а на земляной холм положен венок из хвои... Елисеев, подождав, помявшись, тихо напомнил Павлу, что полк вечером выступает и что им надо спешить. Павел повернулся к Наташе, взял ее за локоть.

— Ну, так... пойдем, — сказал он. — Вытри глаза и пойдем... Устала ты, должно быть.

До самых ворот он не проронил больше ни слова, но не выпустил руки Наташи, ведя ее по тропе. Сегодня, хороня отца, слушая речи над его могилой, Павел пережил не только прощание с отцом, но и со своей молодостью — именно здесь, сейчас, а не на страшном, пристрелянном берегу Русалочки. И то бремя, которое нес в жизни Алексей Васильевич, то суровое и неизбежное, и старящее и радостное бремя целиком теперь легло, казалось, на сыновние плечи... Павел понял, что в глубине души он до сих пор — пока жил отец — ощущал себя рядом с ним едва ли не мальчиком, хоть и пытался иной раз наставлять его. И вот он как бы вступил на его место в мире, открытое всем бурям. А в нем самом точно продолжал чувствовать и надеяться, и идти дальше, и любить, и ненавидеть, и сражаться его отец.

За воротами у ожидавшихся машин Павел попрощался с Анной Васильевной — коротко, поспешно — и так же коротко сказал Наташе:

— Побудь сегодня с тетей Аней. Переночуй у нее. И не плачь, не плачь... Напишу тебе при первой возможности.

Собственный голос — глухой, целасковый, но заботливый — показался ему вдруг удивительно похожим на голос отца, и это потрясло его...

К исходу 11 декабря успех войск Западного фронта определился с полной ясностью: на севере и на западе от

Москвы были освобождены Рогачев, Яхрома, Солнечногорск, Истра; к югу от столицы советские войска, заняв Венёв, Сталиногорск, Михайлов и Епифань, отбрасывали неприятеля к реке Упа... Множество разнообразного военного имущества, боеприпасов и оружия, тысячи автомашин, танков, сотни артиллерийских орудий, минометов, пулеметов были брошены немцами на дорогах Московской, Тульской, Калининской области. Вся простершаяся на эти области территория подмосковного сражения представляла сейчас грандиозное кладбище десятков тысяч гитлеровских солдат и обезвреженной, приведенной к молчанию боевой техники. За пять дней контрнаступления части Западного фронта отбили у гитлеровцев более четырехсот населенных пунктов... И в ночь на 12 декабря радиостанция советской столицы оповестила мир о том, что немецко-фашистская армия — та, что наводила ужас на Европу, та, что овладела чуть ли не всеми столицами буржуазной Европы, потерпела поражение под Москвой. Это сообщение Совинформбюро, переданное «в последний час» после вечерней сводки за 11-е число, было озаглавлено: «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы». И миллионы людей в самой Москве и за пределами ее городской черты, на фронте и за рубежами Советского Союза пережили чувство великого облегчения. Победа, о которой столько мечтали советские люди где-нибудь в осенних лесах Смоленщины у партизанских костров, в почерневших от пороховой гари фортах Брестской крепости, на белых, расколотых фугасками камнях Севастополя, в обледенелом, голодающем Ленинграде, — первая большая победа, которую так долго, так терпеливо они ждали, ради которой шли на тяжелейшие жертвы и смерть, просияла им сквозь дым горящих городов. И будто светлее и тише, и теплее стало в эту декабрьскую ночь на погруженной в студёный мрак, изувеченной взрывчаткой земле. В истории народов, как и в жизни отдельного человека, бывают моменты, когда исполняются самые большие желания, когда утихает самая жестокая тревога. А в эту осень и зиму не было у человечества большей тревоги, чем тревога за советскую, социалистическую Москву.

«С 16 ноября 1941 года, — говорилось в сообщении Совинформбюро, — германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мото-

пехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву».

В сообщении перечислялись номера сосредоточенных против нашего Западного фронта и разбитых впоследствии немецких дивизий, указывались основные направления их ударов... И в лаконичных выражениях этого, повременному точного и немногословного документа обрисовались перед москвичами и не москвичами истинные размеры той огромной опасности, что была отвращена теперь от них.

Далее в сообщении давалась общая картина положения на Западном фронте к исходу 11 декабря, упоминались генералы, войска которых сбивали и преследовали врага: Лелюшенко, Кузнецов, Рокоссовский, Говоров, Болдин, Белов, Голиков, приводились огромные цифры немецких потерь... И, слушая все это, люди в холодных — не хватало угля, не было дров — московских квартирах, в цехах, в ночных сменах, в обжитых бомбоубежищах, в далеких тыловых городах, не знавших затемнения, в полках, расположившихся на короткий ночлег, на кораблях, ушедших в открытое море, повсюду, где звучало радио, настроенное на позывные Москвы — в подполье антифашистов Рима и на конспиративной квартире французских патриотов, — везде, куда дошел голос советской столицы, испытали счастье и торжество. Москва была спасена, а вместе с нею была спасена надежда Европы на скорое освобождение от фашизма...

В течение целой недели после операции Володя Тихонов находился между жизнью и смертью — хирург Натан Маркович опасался разрыва рубца, внутреннего кровоизлияния. И не менее тревожило его общее состояние юноши, которого с таким трудом удалось покамест отстоять, — то вялое угнетенное состояние духа, что часто бывает вестником близкого конца.

По суткам Володя — исхудавший, обессиленный, тихонько покашливавший, не выходил из полузабытья. И томительные, однообразные сны одолевали его... Почему-то все в этих снах было окрашено в неестественный, неживой синий цвет: синие голые деревья росли на синих равнинах, немецкие солдаты с синими лицами маршировали по синим пустынным улицам, мертвые синие лошади

с раздутыми брюхами валялись на синей траве, проворные синие кошки ловили голубых мышей. И, просыпаясь, Володя с тоской смотрел на светлосиние, покрытые масляной краской, жирно поблескивавшие стены своей палаты.

Впервые он оживился, а точнее — заволновался, забеспокоился, когда к нему впустили Лену и Витю. Торопясь оправдаться перед друзьями, высказать то, что тайно продолжало его мучить, Володя еле слышно повторял, силясь поднять голову, вытягивая тонкую, как у ребенка, шею:

— Ребята, я ж не имел права... Честное слово! Даже выстрелить не мог... Честное слово комсомольца!.. Ребята!

Он выглядел таким виноватым, таким несчастным, что Натан Маркович, пришедший вместе с Леной и Витей, поспешил скорее их увести. А вдогонку им — растерявшимся и перепуганным — неся его отчаянный, слабый крик:

— ...Честное слово, ребята! У меня же был приказ, донесение...

Вторая встреча с Леной и с Витей прошла более спокойно; Володя, глядя на них, робко и стеснительно державшихся, смущенно расспрашивавших о здоровье, поверил, наконец, что его друзья — настоящие, заботливые, справедливые к нему друзья — не заподозрили в нем малодушия, способности к предательству... То, что они видели в нем своего спасителя, просто не приходило ему в голову. И он был невыразимо растроган, когда Лена, севшая у изголовья койки, близко нагнулась и сказала, широко раскрыв глаза:

— Ты не знаешь, как мы переживали за тебя, буквально все переживали. Я б не перенесла, если б с тобой что случилось.

Эта доброта показалась Володе чрезмерной, незаслуженной; он зажмурился, закрыл глаза, и сухие, потрескавшиеся губы его беззвучно задергались.

— Вы у командира лучше спросите... — выговорил он затем. — Командир тоже скажет... что я не имел права. Вы спросите...

После ухода друзей Володя быстро уснул — он был бесконечно утомлен. И случилось так, что именно с этого дня он стал поправляться — температура упала у него ниже нормальной, появился аппетит, и одновременно

Володя вновь почувствовал интерес к окружающему: он расспрашивал сестер о новостях с фронта и улыбался матери, Ольге Ильиничне, появлявшейся в его палате ежедневно...

Утром 12 декабря Володя проснулся поздно — перед самым врачебным обходом. И его удивило шумное движение в коридоре: шепот, шарканье, говор многих голосов. В приоткрытую дверь было видно, что там собралась выздоравливавшая — кто на костылях, кто с подвязанной рукой, кто в кресле на колесиках; наспех накинув на плечи свои синие халаты, они горячо что-то обсуждали. Медицинская сестра — Ангелина Павловна, или Ангелок, как прозвали ее раненые, полная, розовощекая женщина в очках, быстро проходившая мимо, кинулась вдруг на шею нянюшке Анне Марковне, и они расцеловались. Вообще, госпитальный день, обычно хмурый и деловой, наполненный неослабным напряжением, а часто такой печальный, начался в это утро с необъяснимого шумного беспорядка. И особенно озадачил Володю его сосед по койке — тяжело раненный в голову, в грудь и в левую руку пехотный капитан. До нынешнего утра капитана почти не было слышно, если не считать, что, засыпая, он начинал монотонно непрерывно стонать; изредка, когда его страдания становились, должно быть, слишком большими, он звал врачей и, кусая губы, скверно бранился.

— ...Одно из двух, или вы меня вылечивайте или отравите! Морфия побольше, и дело с концом!.. Я категорически требую! — кричал он, глядя на дежурного врача ненавидящим взглядом; второй его глаз закрывала повязка, оплетавшая также голову.

Сейчас капитан полулежал на подушке на правом боку — левая рука была у него в гипсе — и, задумавшись, довольно громко пел, обратив к окну свое наполовину забинтованное лицо, заросшее двухнедельной щетиной:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно,
В роковом его просторе
Много бед погребено,

пел он, перевирая мелодию, что музыкальный Володя тотчас же отметил. Встретившись с его изумленным взглядом, капитан улыбнулся.

— Помял ушко, кавалер! Ну и здоров ты спать, как я посмотрю... — сказал он. — Скоро уж нам чай принесут.

Он потер правой ладонью свою густую, черную с проседью бороду.

— Между прочим, бритвочки у тебя не найдется случайно и помазка? — спросил капитан. — Да что я тебе говорю!... — перебил он сам себя и засмеялся: — Эта забота тебе неизвестна еще...

— Ну, я ужасно рад, ужасно, что вам полегчало, — проговорил Володя сонным голосом.

— Ты ведь ничего еще не знаешь! — капитан приподнялся, опираясь на локоть. — Эх, ты, кавалер!

Но рассказать о сообщении Совинформбюро, переданном ночью по радио и уже облетевшем все палаты, ему не пришлось — вошла запыхавшаяся Ангелина Павловна.

— С добрым утром, больные! У меня для вас замечательные новости, — сказала она с порога. — Слушайте: «В последний час»...

Сестра была так возбуждена, что даже шея и уши у нее покраснели; встав к окну, она вслух прочла по бумажке сообщение... И Володя узнал, наконец, о победе, о великой победе Советской Армии под Москвой.

— Дайте мне, Ангелина Павловна, я хочу сам, — нетерпеливо потребовал он.

Прочитав про себя весь текст и возвращая бумажку, он проговорил строгим и усталым голосом:

— Получили по заслугам... Нечего было лезть к нам.

— Я не спала всю ночь, — сказала сестра. — Просто не могла уснуть, хоть и с дежурства пришла... — глаза ее, увеличенные выпуклыми стеклами очков, влажные, добрые глаза тоже были красны. — Теперь, может, и война скоро кончится.

— Что-то чай сегодня опаздывает, — сказал капитан. — И еще, Ангелок, похлопотали бы насчет парикмахера. Ведь эдак и в дикообраза превратиться легко.

— Да, конечно... Я распоряжусь... — рассеянно ответила сестра, идя к двери. — Сейчас принесут чай.

Она заторопилась в соседнюю палату, и Володя, подумав, серьезно проговорил:

— Как народ обрадовался! Это хорошо... А то ведь намучились люди.

Устремив взор в окно, матовое от мороза, машинально комкая край одеяла тонкими пальцами с отросшими ногтями, он продолжал:

— И вы только подумайте — пять дней уж наступают наши, гонят фрицев по всему фронту, а мы лежим и ничего не знаем... Но мне кажется, война не так скоро кончится, надо Ленинград освободить, Киев, массу городов.

— Ты не беспокойся, кавалер, нам с тобой достанется еще повоевать... Хотя б и на германской земле, — сказал капитан.

Кавалером он начал называть Володю с тех пор, как стало известно, что юноша представлен к ордену. Сам Володя, впрочем, отнесся к этому известию недоверчиво — видимо, люди в госпитале, говоря о награде, хотели утешить его, подбодрить. И, не споря с ними — на спор о чем бы то ни было у него не хватало покуда сил, — он просто не принимал их слов всерьез.

Капитан, устав лежать на боку, осторожно повернулся на спину и опять запел:

Смело ж, братья, ветром полный
Парус свой направил я...

Володя нахмурился — он не мог слышать, когда фальшивили мотив — и подтянул сам, стараясь поправить капитана:

Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья...

Капитан возвысил голос, и они вместе пропели:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна...

За пением их и застал Натан Маркович, обходивший палаты. Открыв решительно двери, врач, будто споткнувшись, остановился на пороге — его изумил этот дуэт полуживых людей: искалеченного, вчера еще умиравшего командира и молодого бойца, почти мальчика, с простреленной грудью, распевавших полную отваги песню. Единственный открытый голубой глаз капитана уставился с вызовом на врача; Володя, увлекшись пением, смотрел сосредоточенно в потолок.

— Bravo! Bravo! — проговорил Натан Маркович. — Не спрашиваю, как вы себя чувствуете, вижу, что отлично. Все-таки не слишком усердствуйте.

Врач подошел к Володе, откинул одеяло, легонько потрогал его грудь справа и слева от пухлой марлевой повязки, наложенной на шов — узкую грудь подростка с редкой, нежной растительностью, обтянутую бледной кожей, под которой можно было пересчитать все косточки; затем Натан Маркович послушал пульс.

— Молодчага! — сказал он убежденно.

Он испытывал к этому больному, спасенному им, чувство, похожее на признательность, точно Володя, не умерев, оказал лично ему — врачу — большое одолжение.

...Во второй половине дня в приемные часы Володю вновь навестили его друзья. Они бойко на этот раз, а Лена даже с некоторой развязностью, поздоровались с ним и с его соседом по палате... Но не прошло и пяти минут, как он заметил, что Лена и Витя чем-то расстроены, будто обижены — это проглядывало и сквозь радость, с какой они обсуждали сообщение Совинформбюро. А вскоре Володя узнал и причину их обиды: Лена, не сдержав слова, данного Веревкину, проговорила о том, что в их разведывательном взводе «увольнялись по домам», как она сказала, все, кому не исполнилось восемнадцати лет. И под внезапный приказ попадали она, Витя и Володя...

Веревкин с укором посмотрел на девушку — эту новость не следовало, по его мнению, рассказывать их не оправившемуся еще командиру — но тут же у него у самого вырвалось:

— Не нужны стали. Как Гитлер к городу подходил, так нужны были, а теперь, когда его погнали... Всегда они так...

«Они» это были взрослые — могущественные и себялюбивые люди, неизменно отстранявшие его — Витю Веревкина — от участия в своих делах.

— Пойдите, ребята, приказ уже отдан? — спросил Володя.

— Вчера зачитали нам... Батальонный комиссар из штаба приезжал — сперва поблагодарил всех, а после объявил — учиться вам надо! — ответила с нарочитой небрежностью Лена. — В общем, отвоевались мы... В общем, не доросли еще — зелен виноград.

— Так и сказал — зелен виноград? — переспросил Володя.

— Да что ты не понимаешь ничего сегодня! По смыслу так получается,— раздраженно сказала Лена.

Володя замолчал — он должен был все обдумать... Как и Веревкина, его очень обидело увольнение из армии после первой большой победы и накануне новых побед, и вместе с тем ему стало отрадно от мысли, что Лена и Витя, оставшись в городе, не подвергнутся больше никакой опасности. Приказ о демобилизации являлся несправедливостью по отношению к ним — этого нельзя было отрицать. Но страх за Лену, прежде всего за Лену, не покидал Володю — войдя однажды в его душу, он поселился там навсегда. И Володя был еще слишком слаб, чтобы бороться с ним.

— Это частично верно, что вам кончать школу надо,— нерешительно начал он. — Год пропал, конечно, но если поднажать как следует, вы наверстаете...

— А тебе не надо кончать школу? — перебила его Лена. — Тебе не надо.

И Володя не нашелся, что ответить — сам-то он решил всяческими способами добиваться по выходе из госпиталя возвращения в армию.

— Тебе легко говорить — у тебя дом есть, мама, крыша над головой... Тебе почему не учиться? — все больше ожесточалась Лена. — Ты и нажимай как следует, наверстывай. А куда я пойду — в Первомайское, что ли, на головешках плакать? Мне только осталось, что мстить.

Ее небесного цвета глаза расширились, точно она ужаснулась, вообразив себе свою одинокую судьбу. И на ее юном гладком лице, поблескивавшем на округлостях щек, выступило недоброе, диковатое выражение.

— Тише, Ленка, сумасшедшая! Володя больной, ему нельзя, — попытался урезонить ее Веревкин.

— Оставь, пожалуйста... Вы все со своей колокольни рассуждаете, а до других вам дела нет. Эгоисты вы, больше ничего! — она запнулась, увидев покорный взгляд Володи, устремленный на нее.

— Ну, Ленка! — Веревкин был так возмущен, что не находил слов, — бессовестная ты, вот что!

— Какая уродилась... — вскинув голову, сказала Лена; маленькой загрубевшей рукой, темной, как у солдата, она машинально отвела со лба белокурую прядь.

В это время она вспомнила свое клятвенное обещание быть ласковой и кроткой с Володей... Но в первое мгновение она не столько огорчилась, что нарушила обет, сколько вознегодовала опять же на Володю, вынудившего ее к этому.

— Злость берет, когда вас слушаешь, — добавила она после паузы. — Лучше совсем не советоваться с вами.

— Лена, — просительно заговорил Володя, — ты будешь с моей мамой жить, пока твоя не найдется. И Витя тоже пойдет к нам, это ясно! Как ты могла сказать, что тебе некуда идти?! Как ты могла это сказать! — Мы же все — в коллективе, ты отлично знаешь...

Плотно сомкнув свои заветрившиеся и от этого ставшие пунцовыми губы, девушка отвернулась. Именно потому, что Володя был великодушен и прав, как обычно, ей не хотелось соглашаться с ним.

Вцепившись пальцами в одеяло, он попытался встать.

— Что же ты молчишь?.. Лена! — позвал он.

— Лежи, лежи, — недовольно сказала она.

Но тут их разговор прервался, так как в дверях появился новый посетитель — Гога, облаченный в белый, непомерно длинный для него халат, волочившийся по полу. Повиснув на костылях, Гога озирался с таким видом, будто за ним гнались и он искал где спрятаться.

— Вот ты!.. Вовка!.. — испуганным фальцетом выкрикнул он. — Здорово!

Ни с кем больше не поздоровавшись, как бы не увидев никого, кроме Володи, он запрыгал к нему, ловко переставляя костыли.

— Мамка твоя велела сказать, что она тоже придет, она вечером придет, она на работе сейчас! — выпалил он и умолк, точно у него перехватило дыхание.

— Гога!.. Как добрался до меня один? — подивился Володя. — Садись, чего ж стоишь...

Застыв около койки, мальчик пристально, в упор рассматривал своего друга и покровителя.

— Не узнаешь меня? Садись, садись, — повторил тот. — Что у вас новенького, все нормально?

Но Гога не шелохнулся — было и в самом деле нелегко узнать Володю в этом наголо остриженном солдате с изжелта-бледным лицом, с провалившимися щеками;

казалось, что, попав на войну, Володя сразу же составил там.

— Отощал ты, брат!.. — выговорил, наконец, Гога с невольной откровенностью. — Сильно тебя повернуло.

— Ничего, скоро опять буду в норме. А лишний жир ни к чему... — сказал Володя, силясь улыбнуться.

— Ну да? — с сомнением протянул Гога.

И ему стало жалко друга, так жалко, что он, не сдержавшись, вздохнул... В кармане у него под халатом был подарок для Володи — ящичек с домино, с новеньким отцовским домино — белым с черными глазками, — которое он, по правде сказать, прихватил без ведома матери. Но теперь и этот великолепный подарок показался ему недостаточным. Не зная, чем еще можно было бы порадовать Володю, Гога, подумав, поискав мысленно, сообщил:

— По арифметике я все задачки перерешал... Все до одной, и на умножение, и на деление. Я не вру... А процентов мы еще не проходили.

— Зачем ты станешь врать, — сказал Володя.

— По-русскому тоже всю тетрадь исписал, — повесел Гога. — «Мороз красный нос» выучил, «Песнь о вещем Олеге».

Он не хвастался — он помнил, что Володя неизменно интересовался его школьными успехами, повидимому, они что-то значили для него. И Гога доверчиво утешал ими больного друга... Затем он достал из-под халата ящичек с домино и поставил на край столика.

— Забивай в козла, когда нечего делать, — сконфузившись и покраснев, пояснил он.

Долго беседовать им, впрочем, не пришлось: сестра, заглянувшая в палату, напомнила, что посетителям пора уходить. И Лена, стремительно встав во стула, нагнувшись к Володе, приблизив губы к самому его лицу, прошептала:

— Ты не переживай... Я сама не понимаю, что наговорила. Наверно, у меня нервы не выдерживают... После Арсеньевска особенно — после той ночи...

Он смотрел на нее своими покорными глазами, и, раскаиваясь, чувствуя себя почти злодейкой, она вновь мысленно поклялась никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы Володя ни сказал, ни сделал, не сердиться на него.

— Только не смотри на меня так, пожалуйста, — попросила Лена. — У меня сердце разрывается, когда ты так смотришь... И не переживай из-за меня...

Она поцеловала его два раза в щеку около уха и в губы.

— И ты... и ты... — Володя растерялся. — Ты сразу с Витькой, как демобилизуют, к моей маме иди.

— Хорошо, приду, хорошо, — пробормотала Лена.

Когда гости удалились, капитан, молчавший все время, но с любопытством прислушивавшийся, сказал:

— Добрые у тебя дружки, кавалер! А дивчина с норовом, капризная, должно быть.

Володя ответил не сразу; переведя на капитана растерянный и восхищенный взгляд, он воскликнул:

— Да что вы! Если б вы только знали, что она перенесла за войну!

В этот же день позднее имело место еще одно событие: в госпиталь приехал генерал, командовавший боевым участком. Обходя раненых, он вместе с начальником госпиталя, врачами, еще какими-то командирами вошел в палату к Володе. И в памяти юноши отчетливо и в мельчайших подробностях, будто освещенное резким светом, запечатлелось то, что произошло дальше... Седой полный командир в очках, выступивший вперед, громко прочел приказ, в котором Володя услышал свою фамилию, имя и отчество: Тихонов Владимир Владимирович, прозвучавшие неожиданно чуждо и важно, точно речь была не о нем. Затем генерал, одетый, как и все, в докторский халат, взял из рук командира небольшую коробочку, открыл и протянул ему; в коробочке на белом шелке лежал, распространяя сияние в комнате, круглый орден: красное эмалевое знамя над золоченой звездой... И довольно долго длилось общее молчание, пока Володя, спохватившись, вытянувшись под одеялом, прижав к бокам руки, не проговорил сломавшимся, тонким, поспешным голосом:

— Служу Советскому Союзу!

Генерал наклонился ниже и положил на его плечо свою большую белую руку.

— Поздравляю с первой боевой наградой, — сказал он, окая. — Как здоровье, орленок?

— Хорошо, товарищ генерал! — забывшись, вполне искренне воскликнул Володя. — Скоро уже выпишусь...

Дьяков покачал головой — этот раненый мальчик казался ему похожим на беспомощного птенца, выпавшего из гнезда... И его утихнувшая было, загнанная вглубь тоска вновь, точно холодом, охватила его.

— Ни-ни, ни под каким видом! — резко сказал Дьяков. — Лечись, хорошенько лечись, докторов слушайся... И смотри у меня!.. Не то — взыщу.

Он легонько погладил Володю по плечу и выпрямился — массивный, осанистый, с выпуклой грудью, гладко выбритый, пахнувший одеколоном и табаком.

— Ну, поправляйся, — сказал он другим, бодрым тоном. — Матери своей привет от меня передавай: благодарю ее от имени войск гарнизона.

Помедлив еще секунду, другую — можно было подумать, что ему не хотелось расставаться так скоро с Володей, — он подошел к койке раненого капитана.

...Ночью, когда в госпитале наступила тишина и свет в палату проникал лишь из коридора сквозь остекленный верх дверей, когда уснул рядом капитан, о чем можно было догадаться по возобновившемуся тихому постаныванию, Володя вновь открыл коробочку с орденом. Он долго, очень долго всматривался в эту мерцавшую на своем шелковом ложе драгоценность, врученную ему сегодня. И ему начало чудиться, что орден сам по себе излучает свечение — волшебное, теплое, живое свечение, исходившее от алого революционного знамени, полуприкрывшего красноармейскую пятиконечную звезду.

Второй день через Т. шли войска — части, разбившие неприятеля на севере и на востоке от города, перебрасывались на новые направления, чтобы завершить его разгром. Не задерживаясь в Т., двигалась многочисленная пехота, посаженная в машины автобатов; на проворных вездеходах, в «газиках» и в «эмочках» ехали командиры; гусеничные тягачи тащили тяжелые артиллерийские орудия резерва Главного Командования. И на площади Труда, на улице Металлистов, на Советской, на проспекте Коммуны не умолкал рокот многих сотен моторов. Бесконечные колонны грузовиков перевозили снаряды и продовольствие, патроны и фураж, медикаменты и походные кухни, штабное имущество и меховые безрукавки. Большими массами шла конница — та, что гнала немцев от

самой Каширы. И люди в городе, просыпаясь ночью от стука машин, от громких команд, раздававшихся под окнами, прислушивались с благодарностью к этому неослабевавшему, утешительному шуму наступавшей армии.

...На пути из госпиталя домой Гога после того, как он расстался с Леной и Витей, долго стоял на тротуаре, глядя на проезжавших мимо кавалеристов. Было ветрено, морозно, и он озяб, но оторваться от необыкновенного зрелища не мог — он наслаждался так, как ему редко случалось в жизни.

Все в картине, развертывавшейся перед Гогой, представлялось ему непомерно большим, исполинским и всего было много: высокие кони, обросшие мохнатым инеем до самых глаз — отчего они стали одной светлой масти, — заполнили улицу, теснясь друг к другу по четыре в ряд, стуча огромными, как булыжники, копытами. И мальчику надо было запрокидывать голову, чтобы посмотреть на бойцов, сидевших наверху в седлах; побелевшие шапки всадников приходились, с точки зрения Гоги, где-то на уровне третьих этажей домов. Оттуда, из подвижного рваного тумана, окутывавшего этих великанов, доносились иногда к нему их застуженные, как бы нечеловеческие голоса и ужасающе громкий, но совершенно человеческий, хриплый кашель их коней...

Какие-то смутные, но прекрасные образы витали в воображении мальчика, и ему вспоминалась недавно выученная «Песнь о вещем Олеге» — на языке вертелась строчка: «...с дружиной своей в цареградской броне».

— Дяденька, а почему одни с пиками едут, а другие нет? — спросил Гога у пехотинца, остановившегося подле него. — С пикой лучше, верно, дяденька? Пока фриц саблю достанет, ты его десять раз проткнешь...

Пехотинец, у которого из левого рукава шинели высывалась грязная марлевая повязка, оплетавшая руку, только покосился на мальчика и ничего не ответил.

Конники ехали шагом, слегка покачиваясь в седлах, точно отдыхая после боев, как казалось Гого. Но вот впереди коротко протрубила труба, и они, одновременно подобрав поводья, перешли на рысь: часто зацокали копыта, шашки глухо стучались о стремяна, и гуще повалил пар из лошадиных ноздрей. Галопом промчалась группа командиров в черных бурках, посеребренных мо-

розов, плавно вздымавшихся от движения. И мальчика с необычайной силой потянуло вослед за этими могущественными, воинственными и добрыми великанами, скакавшими, наверно, прямо в атаку... Но он лишь переставил на тротуаре свои костыли. А вскоре и вся эта бряцающая оружием тяжелая масса всадников, застилаемая теплым паром, ускакала отсюда, оставив после себя перепаханную широкую полосу снега. И устремив взор в конец улицы, где в белесой пыли скрывались эскадроны, Гога прерывисто вздохнул:

— Ух, голубчики, дают жизни! — закричал он, повернувшись к раненому пехотинцу. — Как наскочат, так держись!

— Что?.. Что надо? — тихо спросил солдат, неловко, боком пятясь...

Из-под надвинутой глубоко на брови ушанки взглянули на Гогу круглые, птичьи, близко посаженные к переносице глаза. И мальчик тотчас узнал этого военного, хотя на нем была теперь не пилотка, а солдатская ушанка, хотя щегольская шинель его обтрепалась, а иссиня-багровые щеки припухли и лоснились.

— Дяденька, вы тоже раненый? — обрадовавшись, воскликнул Гога. — С фронта идете? А зачем не в госпитале?..

Но военный — тот самый, что бывал в гостях у старого художника Михаила Михайловича, — не сказав больше ни слова, быстро зашагал по тротуару прочь. И Гога, собравшийся было потолковать с фронтовиком, огорчился...

Начало уже вечереть, когда он добрался до своего дома. Он разогрелся, даже вспотел, проделав такой необычно длинный путь от центра города, но притомился с непривычки. И невдалеке от дома, куда, по правде сказать, Гога не спешил возвращаться, он сел на тумбу передохнуть...

«Мамка пошла на работу, наверно, не дождалась... Ну, и пусть ее...» — подумал он рассеянно.

В его ушах раздавался еще цокот копыт, стук шашек, перед мысленным взором мелькали гигантские всадники, мчавшиеся в атаку... И один вид дома, в котором он почти безвыходно прожил свои десять лет, — сумрачной, каменной громадины, навел на него уныние. Да и все остальное, что он видел сейчас: пустынный, тихий пере-

улок, заваленный снегом, дорожки, протоптанные в сугробах, длинные заборы, исчезающие в синих сумерках, вызвало неожиданное разочарование. И, казалось, только в этот вечер, ничем не отличавшийся от множества других таких же тихих зимних вечеров, Гога разглядел, как неинтересно было то, что здесь его окружало.

Вновь мороз стал пробирать его, и, с неохотой взявшись за свои костыли, он запрыгал домой. Мать, работавшая во второй смене, действительно уже ушла; на столе ожидал Гогу суп в алюминиевой мисочке, хлеб под газетой и немного сахарного песка, недавно выданного по карточкам. Разогревать остывший суп было делом хлопотным, и Гога ограничился тем, что поел хлеба с сахаром, сидя в полном одиночестве, в полутьме... Чувствуя себя в долгу перед Володией, которому он столько наговорил сегодня о своих успехах, он опустил затем на окне штору, засветил коптилку и взял с комода учебники. Но так и не раскрыл этих надоевших книжек в разломатившихся, закапанных чернилами, разрисованных цветными карандашами переплетах... Можно было, конечно, выйти в коридор, проверить, кто из соседей пришел с работы, кто отсутствовал; можно было вырезать ножницами из газеты военные фотографии и наклеить их в особую тетрадку. Однако ни одно из этих каждодневных занятий также не привлекало Гогу — беспокойное, похожее на обиду настроение, неведомое мальчику до сей поры, овладело им. И сама тишина, стоявшая в глухих, метровой толщины стенах старого дома, необычно сегодня томила его...

Все же после некоторого раздумья Гога вновь тепло оделся, нахлобучил шапку и отправился в коридор — ничего другого ему не оставалось... Здесь по вечерам было теперь совершенно темно, и в такой же полный мрак погружалась к концу дня общая кухня — хозяйки предпочитали готовить пищу в своих комнатах, сберегая там драгоценное тепло и свет. Не обнаружив никого ни в коридоре, ни в кухне, Гога решил уже постучаться к кому-либо из соседей — как никогда раньше, жаждал он общения с людьми. И, заслышав у входа с лестницы чьи-то неуверенные шаркающие шаги, он немедленно поскакал на этот звук... Но жилец из четвертой комнаты — Пчелинцев, слесарь, возвращавшийся домой с работы, не был, как видно, расположен к беседе с Гогой. «Держись

левой, душибу!..» — крикнул он раньше, нежели мальчик успел вымолвить хоть слово, и прошел мимо.

— Ну и пусть их... — внезапно обозлившись, вслух сказал Гога.

Стоя одиноко в коридоре, он попытался было помечтать о том времени, когда он сам сделается слесарем или кавалеристом. И даже эта, никогда не покидавшая его способность легко утешаться тем, что рисовалось в услужливом воображении, изменила ему сегодня. Впервые в жизни Гоге показалось сомнительным, что он станет когда-нибудь равным во всем другим людям... «Ни в пехоту, ни в конницу все равно ведь не возьмут...» — трезво и безжалостно подумалось ему.

— А в пехоту я б и сам не пошел, — вслух громко сказал он, почувствовав себя несправедливо обойденным. — Ни за какие коврижки не пошел бы... Чего я там не видел?..

Но слезы обиды подступили к его глазам... И как бы убегая от них, Гога быстро запрыгал в конец коридора; там он вскарабкался на подоконник — свой постоянный наблюдательный пункт — и съежился, укрытый темнотой, подобрав ноги, бормоча с ожесточением:

— Не возьмут и не надо... Пусть их... Я и сам не пойду...

Кто-то еще, вероятно, Коля Бляхин — типографский ученик, вышел из второй комнаты — Гога определил это по визгливому звуку тугой дверной пружины — и протопал к выходу, на дежурство в ПВО, должно быть; затем опять надолго воцарилась тишина. И мысли Гоги по невольной естественной связи обратились к другу — Володе, лежавшему с тяжелой раной в госпитале: в этой грустной участи своего старшего товарища, искалеченного на войне, мальчик усмотрел неожиданное сходство с собственной судьбой. Правда, Володя пострадал в настоящем бою, что было само по себе завидным обстоятельством, но и его теперь навряд ли взяли бы даже в пехоту, даже в команду ПВО. И острое непривычное сожаление Гоги о себе самом перемешалось незаметно с его жалостью к Володе.

— Будем вместе теперь... — снова заговорил он. — Вдвоем — не то, что одному..

Это соображение показалось ему обнадеживающим. И мысленно пообещав Володе, когда тот выпишется из

госпиталя и вернется домой, не расставаться с ним, Гога приободрился.

— Я и чайник вскипячу ему, и за хлебом... И в аптеку смотаюсь... Трудно мне, что ли?.. — оживившись, продолжал он свой монолог. — Везде ходить будем вместе — и по городу, и в кино... Уроки тоже вместе готовить будем... Проживем не хуже других...

Прислушавшись, он умолк, — стукнула вдалеке входная дверь; кто-то вошел в коридор и затоптался на месте, зашаркал, ничего не видя в темноте. Потом блеснула искорка спички; слабый огонек, разгоревшись, высветил снизу припухшее лицо человека в ушанке, завязанной под подбородком. Заслонив огонек обеими руками, как щитком, человек осторожно двинулся по коридору — это был тот же пехотинец, которого Гога повстречал сегодня на улице. Перед седьмой комнатой солдат остановился. И лишь когда спичка догорела в его руках, мальчик вспомнил, что на одной из них, левой, была днем марлевая повязка.

8

Русский город, куда Эвеминг был заброшен почти два месяца назад и в котором он хорошо уже знал все улицы и переулки, проходные дворы и тупики, парки и пустыри на окраинах, представлялся ему ныне дремучей чащей, где везде подстерегали его ловушки, засады, волчьи ямы. На первых порах, пока немецкие танковые дивизии приближались к Т., он, проходя по городу и глядя на людей, населявших его, ощущал острое любопытство охотника, попавшего в новые заповедные места. Эвеминг даже не особенно ненавидел этих озабоченных, хлопотливых, безоружных, либо только обучавшихся владеть оружием, непонятных ему людей; он их с интересом наблюдал и, освещая по ночам ракетами их жилища или стреляя в одинокого позднего прохожего, испытывал главным образом профессиональные эмоции: боязнь разоблачения и охотничье удовольствие от меткого выстрела... Вскоре, однако, положение радикальным образом изменилось — из всей группы, переправленной в Т. через фронт, уцелел в конце концов лишь один он; явочная тщательно законспирированная квартира его была разгромлена. И Эвеминг сам почувствовал себя существом, которое неумимо отслеживают и преследуют. Жители чужого рус-

ского города не стали для него — офицера специальной службы СС — более понятными, но он достаточно знал теперь, что они упорно и умело сопротивлялись. Встречаясь с ними на улицах, в бомбоубежище, в булочной, на вокзале, на рынке, Эвемингу приходилось держаться как можно незаметнее, а если с ним заговаривали, — повторять то же, что твердили они о своей неминуемой победе. И убедившись в том, что эти люди не намерены покорно подставлять себя под его пули, он преисполнился злобой к ним.

Последние два дня Эвемингу удалось прожить в при вокзальном поселке, в домике у путевой обходчицы, выдав себя за солдата, отпущенного из госпиталя на поправку; марлевая повязка, свидетельствовавшая о ранении, производила, как он заметил, неизменно благоприятное впечатление на горожан. И слушая по вечерам рассказы хозяйки об ее сыне, служившем в армии, читая письма этого сына, которые показывала ему добрая женщина, — письма, опять-таки полные веры в близкую победу, — Эвеминг с трудом подавлял овладевавшую им ярость. Но вот хозяйка объявила, что необходимо сменить повязку на его руке, вызвать врача, промыть рану, и Эвеминг понял — надо было убраться и отсюда. Ничто не мешало ему теперь расчитаться с женщиной за ее восторженные рассказы и за свое бегство; кроме того, предпочтительнее, казалось, избежать объяснений с нею... И когда женщина повернулась к окну, чтобы опустить маскировочную шторку, Эвеминг подошел к ней сзади, быстро раскрыв свой складной нож... Перетащив отяжелевшее тело в угол за печью, вытерев о половик нож, он вскинул на плечи рюкзак и вышел... И ему опять необыкновенно повезло: прокрадываясь в сумерках по огородам, он увидел, что во двор домика, который он только что покинул, входили вооруженные солдаты — повидимому, его пребывание там было раскрыто.

Ночь Эвеминг провел на другом конце города в развалинах фабричного здания; идти куда-нибудь в бомбоубежище, как он проделывал это на первых порах, было в его положении слишком опасным. И все его силы и помыслы сосредоточились в эту длинную декабрьскую ночь на одном — досидеть в своей обледенелой норе до утра и не замерзнуть. Боясь уснуть, он время от времени принимался ползать по кучам кирпичей, по искореженному

железу, обжигавшему, как огонь, ушибался в темноте, проваливался, падал. Вместе с тем приближение дня, которое нельзя было ни ускорить, ни замедлить, ужасало его... Больше всего Эвемингу хотелось уйти из города, бежать как можно дальше от этих мест, но погоня шла по его пятам, и надо было от нее оторваться. На рассвете перед развалинами, где он укрылся, появились красноармейцы — они оцепляли территорию фабрики. И только потому, что в туманной полумгле он заметил их раньше, чем они его, он ускользнул еще раз, ползком выбравшись на соседний двор.

Днем он опять кружил по городу, заходил в магазины, чтобы погреться, останавливался посмотреть на войска — плотные колонны автомашин и конницы, двигавшиеся на юг, начинал по привычке считать их... И поймав на себе чей-нибудь взгляд, шел поспешно дальше. Он так закончел, что даже соображал медленно, точно мороз, проникший сквозь черепную коробку, сковал его мозг. И одна мысль неподвижно стояла в его сознании — мысль, что за ним неотрывно, скрытно наблюдают, ни на минуту не выпуская его из поля зрения. В каждом прохожем, в женщине, укутанной до глаз в платок, внимательно рассмотревшей на его забинтованную руку, в шофере автомашины, затормозившей рядом у тротуара, в мальчугане на костылях, почему-то заговорившем с ним на улице, Эвеминг подозревал преследователей, окружавших его, как на лесной облаве... И он готов был в любое мгновение выстрелить в каждого встречного — в женщину, в шофера, в ребенка; с величайшим наслаждением он уничтожил бы весь этот город со всеми его жителями, чтоб только спастись самому... Теряя самообладание, Эвеминг круто вдруг поворачивал, углубляясь в переулки, где было пустынее, или спешил к центру, стремясь затеряться в толпе. Недалеко от городского парка он, оглянувшись, заметил человека в штатском, в черном зимнем пальто и в серой ушанке, следовавшего в отдалении; потом он встретил его в центре города, недалеко от гостиницы. И не помня себя, он кинулся на противоположную сторону улицы, вбежал в открытые ворота, обернулся, прижавшись к стене, рванув из кармана револьвер ..

К вечеру Эвеминг очутился в Заречье — ему казалось, что он сумел уйти от погоня, обмануть ее; встав в узком

проходе между двумя заборами, он снял с левой руки, точно футляр, повязку и забросал ее снегом — теперь он опасался, что она превратилась в примету, по которой его ищут. Достав из-под шинели пачку документов, он перебрал разнообразные удостоверения и пропуска, имевшиеся у него, — иные оставил, другие тоже закопал в снег; револьвер он сунул за пазуху, где было теплее, чтобы не застыла смазка... Совсем стемнело, когда он приковылял на онемевших ногах к дому, в котором жил Бухарцев; он не был уверен, что и этого его сообщника не постигла общая участь, да и не слишком ему доверял, но Эвемингу необходимо было хотя бы час, другой побыть в тепле, поесть, прежде чем предпринять что-либо решительное... Сжав в руке под шинелью револьвер, приготовившись стрелять, если в доме подстерегает засада, он поднялся, спотыкаясь, по крутой со стершимися ступеньками лестнице.

Бухарцев был у себя... И против всякого ожидания он встретил сегодня опасного гостя даже более радушно, нежели в первое его посещение. Можно было подумать, что обманутый, вновь переживший крушение всех надежд старик искренне ему обрадовался, — он усадил Эвеминга в свое кресло, стал тут же хлопотать насчет чая, сообщил, что у него найдется еще щепотка настоящей китайской травки, как он выразился, — вообще он выглядел странно оживленным, почти веселым в своем заношенном, запачканном красками пиджаке, в стоптанных войлочных туфлях. Казалось, он не только не тревожился за себя, что было совершенно необъяснимым, но наоборот — обрел в безнадежных обстоятельствах полное душевное спокойствие. И Эвеминг, не просидев у Бухарцева и четверти часа, заподозрил то, что с его собственной точки зрения было самым естественным в подобном случае.

— Как проживали, господин Бухарцев? Что новенького имеете доложить?.. — тихо начал Эвеминг; у него пропал внезапно голос. — Зачем вы копаетесь там?

— Сейчас, сейчас, Борис Николаевич! — отозвался Бухарцев, взясь с керосинкой. — Вот закипит — горяченьким вас напою. Мороз-то нынче сердитый... А давно вы не заглядывали ко мне, почитай, месяц уж будет... Я понимаю — недосуг, то одно, то другое.

Он будто и не услышал вопросов, заданных гостем. И чувствуя к нему все большее недоверие, колеблясь, доставать ли револьвер сию минуту или повременить, Эвеминг помолчал.

— Эх беда, разладилась моя машина, — нехитрая штука, а не обойдешься без нее, — поведал как бы даже с намерением пошутить Бухарцев. — Должно быть, фитиль короток стал... Ну, а нового, сами знаете, не купишь нынче...

Эвеминг никак не мог отогреться; стараясь побороть озноб, сотрясавший его тело, он выпрямился в кресле, стиснув пальцами подлокотники.

— Вам надлежит знать... господин штаб-ротмистр, — шепотом выговорил он, — германская армия временно отошла, чтобы выпрямить линию фронта. Вы военный специалист, вы должны это хорошо понимать. Перед новым прыжком бывает необходимо концентрировать силы.

— Так точно, Борис Николаевич! Сняли бы шинельку, между прочим, у меня тепло, не озябнете, — сказал Бухарцев. — На неделе, изволите видеть, завезли нам дровишки, сыроватые, правда, свежесрубленные, намаешься, пока печку истопишь...

— И я имею... уведомить вас... — Эвеминг терял контроль над собой, и в его речи явственно слышался чужой акцент, — германское командование по заслугам вознаграждает того, кто есть надежный человек... И мы без пощады казним всех, кто есть перебежчик...

Но и эта угроза не подействовала на Бухарцева: вернее, он и ее пропустил мимо ушей. Отойдя от подоконника, на котором посреди кастрюлек и банок теплился огонек керосинки, старик принялся приводить в порядок стол...

— А я, Борис Николаевич, поджидал вас ежевечерне, — продолжал он, поглядывая на гостя; водянистые, влажные глаза его выражали непостижимое удовольствие, — как заслышу шаги в коридоре, тотчас же подумаю: не вы ли пожаловали...

Бухарцев точно посмеивался про себя, уклоняясь от ответов, точно забавлялся трудным положением своего гостя. И Эвеминг решил, что оставаться здесь ему нельзя — он был убежден уже в том, что бывший штаб-ротмистр изменил еще раз, рассчитывая купить себе если не прощение, то жизнь... Однако подняться и уйти из теп-

лой комнаты на мороз Эвеминг не смог. И в это мгновение ему с необычайной ясностью представился тот единственно милый и понятный ему мир, куда он так жаждал возвратиться... Это не было связным воспоминанием о прежних удачливых временах, но он мысленно в общей картине, где одно накладывалось на другое, увидел и свой черный с белыми нашивками, с серебряными погонами мундир, оставленный по ту сторону фронта, и своих товарищей по службе, одетых в такие же черные полицейские мундиры, и тесноватую, но натопленную до духоты пивную, в которой все они собирались по вечерам, и свою кружку подогретого пива, оплывавшего пузырячатой пеной на белый в прожилках мрамор столика, и свою недорогую подругу в опрятной жаркой комнатке с розовыми занавесками, с фаянсовым тазиком для умывания, с вышитой бисером туфелькой для часов на стене...

— *Mein Gott! Bin ich zugrundegegangen? Da wird ja schrecklich sein!*¹ — невнятно проговорил он на родном языке.

— А нынче мне словно кто шепнул про вас: придет, обязательно придет, — нагнувшись к нему, лукаво улыбаясь, сказал Бухарцев. — Я и не отлучался никуда весь день, знал, что наведаетесь.

Эвеминг посмотрел на старика, потом перевел взгляд на свои руки: одну багровую, распухшую от холода, и другую — левую, беловатую, в грязных пятнах. Он силится сообразить, что угрожает ему, если он выстрелит в хозяина этой комнаты; затем он мог бы спокойно остаться здесь на ночь, не опасаясь, что тот, пока он будет спать, приведет с улицы патруль. Ему совершенно необходимо было выспаться... И если бы тысячи людей — старых и юных, мужчин и женщин, русских и немцев, а вместе с ними и родная мать Эвеминга — стояли на его дороге, он выстрелил бы в них, чтоб вернуть себе свое достоинство: свой мундир, свое пиво, свою недорогую подругу. При мысли, что его спасение зависело, как казалось теперь, от одного этого коварного старика, спазма ярости перехватывала его дыхание... Было легко покончить с Бухарцевым и без шума — так, что соседи не всполошились бы. Но ведь каждую минуту кто-либо из них мог постучаться сюда, и тогда положение Эвеминга стало бы

¹ Мой бог! Неужели я погиб? Это будет ужасно!

безвыходным... Охваченный отчаянием, он вновь поднял на Бухарцева выпуклые птичьи глаза, будто спрашивая совета, как поступить. И до его слуха дошло:

— ...Потолковать с вами надо было, Борис Николаевич, — понизив голос, быстро, радостно говорил старик. — Я тут, пока суд да дело, списки жителей нашего переулка составил. Свыше четырех сотен номеров набралось уже — все известные мне личности.

— Was ist das? ¹ — забывшись, спросил Эвеминг.

— А вот полюбопытствуйте, поглядите.

Бухарцев, перегнувшись через стол, протягивал пухлую стопку бумажных четвертушек.

— Все здесь, как на полочках стоят, — у него был хитроватый вид человека, приготовившего приятный сюрприз, дорогое лакомство. — И местожительство указано, и должность... Вы поглядите, почитайте.

Эвеминг машинально взял бумаги. На первом листе сверху крупным почерком с писарскими старомодными завитушками было выведено: «Дом № 43». Далее следовали вычерченные под линейку графы с заголовками: «№ по порядку», «№ квартиры», «Фамилия, имя, отчество», «Занятие или должность», «Улики», «Дата изъятия». Список начинался с управдома — Серебрякова Тихона Андреевича, против которого в графе «Улики» значилось: «Производил подписку на заем», «Получает газету «Коммунар»; графа «Дата изъятия» была не заполнена.

— Берите любого на выбор, а лучше по порядку номеров, — привстав, пояснил Бухарцев; лицо его приблизилось к лампе, горевшей на столе, и он зажмурился. — Коли понадобится, можно и по другим улицам списки составить. И там известные мне личности имеются, — он отодвинул лампу в сторону. — Одному затруднительно, конечно, в короткий срок.

Эвеминг бросил бумаги на стол так, что они рассыпались веером, откинулся на спинку кресла, провел своей распухшей рукой по лицу, — он догадался, наконец, что стряслось со стариком. И если б только он не почувствовал слабости, сменившей крайнее напряжение, он ударил бы его, мстя за свой страх...

¹ Что такое?

— Дайте мне покушать,— со злостью сказал он и выругался, мешая немецкие слова с русскими.

— Возьмите себе списочек, Борис Николаевич, — собирая бумаги, сказал Бухарцев. — А у меня копия останется, я себе копию снял.

Он и вправду точно оглох с некоторых пор ко всему, что могло отвлечь его от единственной полностью овладевшей им идеи... Это произошло незаметно и для него самого, и для окружающих. Бухарцев на первый взгляд нисколько не изменился, он связно рассуждал, целесообразно действовал, он оставался таким же, как всегда, предусмотрительным и цепким в житейских обстоятельствах: спозаранку отправлялся за хлебом, первый здоровался со своими соседями, выпрашивал охапку дров, талончики на керосин. И вместе с тем он позабыл о том, что недавно еще вселяло в него ужас... Его долголетняя ненависть, с которой он не в силах был расстаться, подобная сводящей с ума жажде, требовала утоления. И ныне вести о последних событиях на фронте и в городе, о страшной для Бухарцева действительности скользили по поверхности его сознания, не возбуждая отзвука. А его невероятные мечтания показались ему чудесным образом близкими к осуществлению в тот момент, как надежды на это рухнули.

— Я хочу покушать, вы слышали!.. — шепотом повторил Эвеминг. — Schnell! Schnell! ¹

Перегнувшись в кресле, он левой рукой схватил Бухарцева за пиджак и с силой потянул через стол к себе. От неожиданности тот выронил свои списки, часть листов полетела на пол; старик задохнулся, открыл рот, на лице его отразилось недоумение, растерянность, боль.

В это мгновение в комнату постучали, и кто-то громко потребовал отпереть дверь. Выпустив Бухарцева, Эвеминг встал с кресла... За дверью раздавались шаги, неразборчивые голоса — там собралось много людей. И Эвеминг бросился к окну, откинул одеяло, заменявшее штору, вышиб локтем стекло... Но тут же увидел, что ему не пролезть сквозь мелкий переплет наружной рамы. Между тем, дверь вздрагивала от тяжелых ударов, и с нее сыпалась пересохшая краска... Эвеминг отшатнулся от окна, окутавшегося морозным паром. Окинув

¹ Быстро! Быстро!

взглядом полутемную, пустынную комнату, где его должны были сейчас взять, — голые, грязновато-голубые стены, почерневший потолок с лепными карнизами, приземистый, широкий, как ворота, старый шкаф, железную койку в углу, заваленную тряпьем, — он застонал от свирепой тоски. И в его памяти вновь промелькнули — отчетливо и живо, как наяву: кружка с пузырявшимся пивом на мраморной доске и крохотная туфелька-карманчик для часов, вышитая разноцветным бисером... Подбежав к столу, Эвеминг задул лампу и достал из-за пазухи револьвер.

...Нельзя было сказать, что пехотинец, пришедший в гости к художнику Михаилу Михайловичу, вызвал у Гоги определенные подозрения; Гога поначалу был попросту чрезвычайно заинтересован. Покинув свой наблюдательный пункт, он поскакал к седьмой комнате и постоял немного перед закрывшейся дверью, снедаемый любопытством. А когда в коридоре вновь появился Пчелинцев, мальчик, позабыв об обиде, устремился к нему лишь затем, чтобы поделиться свежей новостью. Пока слесарь умывался на кухне, Гога, прыгая около водопроводной раковины, уклоняясь от ледяных брызг, летевших в лицо, рассказал о раненом солдате, который необыкновенно быстро перестал быть раненым. И ему польстило то, что взрослый человек, лучший слесарь в депо, выслушал его со вниманием, — видимо, и Пчелинцеву случай показался интересным.

— Этот солдат и раньше бывал у Михайлы Михайловича? — кончив умываться и утираясь, спросил он.

— Ага, и раньше... Только тогда он на командира был похожий, — вспомнил Гога, — весь в новеньком ходил, в сапожках хромовых, с портупеей...

— Погоди-ка, я шапку возьму, — подумав, сказал слесарь, — надо, пожалуй, к Тихону Андреичу пойти, заявить...

— Без меня не говорите! — воскликнул Гога.

Не вполне понимая, зачем надо было идти к управдому, но предвкушая редкостное приключение, он запрыгал за Пчелинцевым на своих костылях.

Тихона Андреевича, жившего во дворе рядом с конторой, они не застали дома — дочь его сказала, что полчаса назад отца куда-то вызвали. И Гога огорчился, боясь, что приключение, в которое он уже поверил, на

том и окончится. Но Пчелинцев — недовольный и хмурый — проворчал, что он пойдет, пожалуй, в отделение милиции, и мальчик, воспрянув духом, присоединился к нему.

За воротами их остановил красноармеец; еще три красноармейца с винтовками в руках стояли поодиночке на тротуаре перед домом; тут же был и Тихон Андреевич. Человек, одетый не по-военному — в черном пальто и в серой ушанке — подошел к Пчелинцеву.

— Вы куда, товарищ? Вы живете в этом доме? — спросил он.

Слесарь поспешно стал рассказывать то, что он узнал от Гоги, и человек в пальто, который был здесь, как видно, главным, не дослушав, перебил:

— К кому пришел раненый солдат, не заметили?

— А он вовсе не раненый, — тончайшим фальцетом выкрикнул на всю улицу Гога. — Он уж выздоровел... Я не вру, дяденька!

— Тише, брат, тише, — всполошился тот. — Выздоровел, говоришь?.. Вот оно как... Возможно, что и выздоровел, — добавил он подумав.

Все, последовавшее затем, показалось Гоге подобным прекрасному сновидению, причем прекрасное состояло в том, что все происходило не в мечтах, а в действительности, не в его голове, а на самом деле... Командир, одетый не по-военному, Пчелинцев, управдом, два красноармейца и он — Гога, немного отставший на крутой лестнице от остальных, поднялись в темный коридор. Командир засветил электрический фонарик, обшарил узким лучом стены, пол, выложенный чугунными плитами, сводчатый потолок и, заметив шишечку изолятора на стене, наискосок от двери в седьмую комнату, повесил фонарик на изолятор. После этого он громко постучался к Михаилу Михайловичу, но из комнаты никто не ответил, точно там крепко спали. И тогда один из красноармейцев, встав сбоку от двери так, что туловище его осталось за выступом стены, ударил по дереву окованным прикладом винтовки...

— Гога, ты куда подевался? — услышал мальчик в перерыве между ударами голос Пчелинцева; слесарь забеспокоился, должно быть, о нем. — Ступай сейчас же домой...

И Гога попятился к выходу на лестницу, в темноту, чтобы его не обнаружили ненароком и не увели.

Середина двери была быстро выломана и провалилась внутрь в комнату Михаила Михайловича, но оттуда по-прежнему не доносилось ни звука; попадали за порог последние доски... И вдруг из темной прямоугольной дыры прогремели подряд три оглушившие Гогу выстрела. Внезапно погас свет, — стрелявший целил, наверно, в фонарик на стене. И в полном мраке раздались одновременно злые голоса:

— Не уйдешь! Куда?

— Стой! Кусается, гад!

— Дементьев, держи!

Зазвенели под ногами чугунные плиты, вспыхнул второй фонарик... И Гога увидел давешнего пехотинца, бежавшего, пригнувшись, прямо на него; свет горел за спиной солдата, и тот показался сейчас мальчику черным, будто облитым с головы до ног чернилами... Не успев испугаться, Гога даже не посторонился, стоя на его дороге, слегка раздвинув костыли...

Грохнул еще один выстрел, красноватое пламя озарило на мгновение коридор, мальчик ощутил на лице веяние горячего ветра и восторженно вскрикнул. Красноармейцы, нагнав стрелявшего солдата, схватили его сзади за плечи; подскочил Пчелинцев, и втроем они повалили его на пол...

Как были уведены Бухарцев и его гость, Гоге не удалось посмотреть — Пчелинцев на руках унес мальчика на кухню, и его обступили там сбежавшиеся из всех комнат женщины.

— Стрелял в меня, гад, ей-богу! — радостно выкрикивал Гога. — Да только мимо, за молочком пуля пошла... Я стою, а гад в меня: бах, бах! А я стою... — повторял он своим пронзительным фальцетом.

Он был совершенно счастлив, чувствуя себя таким же, как все, кто сражался и побеждал.

Против ожидания полковник Богданов не попал на этот раз в Т. Дивизия его вблизи города была повернута фронтом на юго-запад и, тесня неприятеля, двигалась теперь в обход Т., оставшегося в тылу...

Контрнаступление наших войск продолжалось... Но люди, как известно, быстро привыкают к успехам и к радости, гораздо быстрее, чем к горестям. И в общем это является благодетельной человеческой особенностью, так как не позволяет довольствоваться достигнутым в одном случае и мириться с причинами своих горестей — в другом. Дела на участке Богданова обстояли вполне успешно: в середине декабря его дивизия вышла к реке Упа и в результате умелого маневра нанесла поражение крупному арьергарду немцев; было взято много пленных. Вместе с тем непрерывное продвижение в тяжелых зимних условиях требовало непрерывных огромных усилий. И почти постоянно что-нибудь тревожило теперь комдива или вызывало неудовольствие: то отставали от передовых частей интендантские склады, то соседние части, действовавшие на стыке с дивизией, не приходили вовремя в назначенные пункты, то командующий армией высказывал неодобрение по какому-либо поводу, то сам Богданов распекал командира, допустившего в своей части слишком большие потери... Иначе, впрочем, не могло и быть, так как каждый успех — в боях ли, в мирном ли труде — является основанием и предпосылкой для следующего завтрашнего броска вперед. А пока что были сделаны лишь первые и возможно не самые трудные шаги на пути от Москвы и до полной, еще далекой, еще неясно рисовавшейся окончательной победы в войне.

Утром к Богданову на его КП приехал командующий армией; поговорив очень немного о недавних боях, в которых отличились части дивизии, генерал поставил очередную задачу: наступать дальше, не позволяя противнику закрепиться на правом берегу Упы. И он до полудня совещался с Богдановым и с командирами его штаба о том, как лучше и быстрее подготовиться к новым боям. Только перед самым отъездом, сядя в машину, командующий сказал:

— В старину так говорились: «Солдат служит, не тужит, — его начальство бережет». Поздравляю, товарищ полковник! — из штаба фронта запросили у меня наградной лист на вас.

Простившись с генералом на околице, куда тот поехал, чтобы посмотреть на трофейные крупнокалиберные минометы, Богданов и его начальник штаба Веснин возвращались к себе. Туго скрипел и потрескивал снег под

ногами; в затуманенном, но солнечном воздухе стояли над избами, почти не шевелясь, не растворяясь, круглые столбы белого дыма.

— Примите и от меня поздравление, Николай Федорович, — сказал Веснин с искренним чувством в голосе (наградной лист на него самого был, как он знал, подписан накануне комдивом).

— Рано еще, рано... Покамест не с чем, — запротестовал Богданов. — И молчок об этом, — он засмеялся. — А то ничего не дадут, примета такая есть, говорят...

Почему-то в связи с обещанной наградой ему вспомнилось, что он все еще находился недалеко от Т. — километрах в тридцати пяти по прямой к северу... И Богданов с сожалением подумал, что ему до конца войны не удастся уж наверно побывать там — скоро, завтра-послезавтра, он начнет удаляться отсюда на запад вместе со своей дивизией.

— Да, так мы и не пришли с вами в Т., — сказал он. — Человек предполагает, а Военный совет располагает. А жаль — я в Т. многих знаю — познакомился при чрезвычайных обстоятельствах... Прямо отчаянное было положение, если правду говорить.

— Почему бы вам, товарищ полковник, не снарядить в Т. свою «эмочку», — воскликнул Веснин, движимый благодарностью к комдиву. — Письмецо отправили бы подруге жизни, привет. Ведь рукой подать до города, за три часа машина сгоняет туда и обратно.

Встретив странный, ставший отчужденным взгляд Богданова, он запнулся. Молчал и полковник, досадуя и на себя и на Веснина: как видно, злосчастная фраза об этой несуществующей подруге, невеста каким образом вырвавшаяся у него на ужине у Покровского в Большом доме, не была еще позабыта... Не зная, что ответить, — хитрить и изворачиваться Богданов не умел, — он отвернулся...

Вокруг на главной улице села было оживленно — с утра сюда прибывали тылы дивизии и устраивались на новом месте. Перед домом, отведенным для интендантства, хлопотали писари, разгружавшие сани со своим канцелярским имуществом, рядом на крылечке избы, которую занял начальник АХЧ, стояли, громко смеясь чему-то, два молодых лейтенанта. Завидев комдива, они одновременно выпрямились и с особенной лихостью, от-

ведя плавно назад согнутые локти, с заметным удовольствием отковыряли. Немного дальше из голубого автобуса, принадлежавшего дивизионной газете, бойцы в почерневших стеганках выносили наборные кассы... И отовсюду доносилось громкое поскрипывание, точно все, кто проходил по улице, надели сегодня новенькую, скрипучую обувь.

— Александр Аркадьевич, вы не находите, что нам тут не разместиться всем,— сказал Богданов, сделав вид, что он не слышал предложения послать в Т. машину. — Да и неладно получается, вы посмотрите...

Впереди на площади около развалин взорванной немцами церкви горели костры; над бледным пламенем поднимались черно-серые дымные столбы. А у костров сгущались, сидя на снегу, солдаты комендантской роты, для которых не нашлось квартир в этом на три четверти уничтоженном селе...

— Первый эшелон штаба уйдет вечером,— ответил Веснин. — Мы будем в Хомякове, Николай Федорович.

Они вышли на площадь, и в это же время с противоположной стороны показалась колонна пленных, взятых в последнем бою. В голове ее, подняв воротники своих длинных шинелей, ссутулившись, засунув руки поглубже в карманы, в рукава, брели офицеры — человек двадцать, а среди них — полковник с черными чехольчиками на ушах, очень высокий и прямой, в фуражке с непомерно большой тульей. Не меняя направления взгляда, полковник смотрел на дорогу перед собой — на изрытую артиллерийскими тягачами, загаженную обозами дорогу, и на его озябшем лице застыло напряженно-безразличное выражение.

За офицерами топали вразнобой их солдаты — кто в пилотке с отогнутыми бортами, кто в женском платке; один обмотал пол-лица куском мешковины, его спутник закрутил на шее полотенце. Теснясь друг к другу, сбившись в плотную серозеленую массу, резко выделявшуюся на снежном фоне, солдаты тянулись мимо гор щебня, оставшихся от церкви, мимо обгорелых домов с пустыми окнами, мимо искалеченных деревьев с обломанными ветками...

К дороге подходили с обеих сторон жители села — те, кто уцелел в оккупации. И даже дети, даже мальчишки, выбегавшие из ворот, были необычайно молчаливы и

сумрачны. Крохотная, согнутая в пояснице, старушка в лаптях метнулась к пленным офицерам, занеся над головой бессильный кулачок; ее остановил, вытянув руку, автоматчик-конвоир.

— Поберегите свое здоровье, мамаша! — сказал он серьезно.

И в толпе крестьян также никто не улыбнулся... Обер-лейтенант, попятившийся было от старушки, поспешно устремился вперед, оборачиваясь на нее через плечо. Но и этот испуг врага не вызвал смеха, не смягчил зрителей, сосредоточенно и как бы испытующе смотревших на обер-лейтенанта. Другая женщина — простоволосая, в накинутах наспех колушке, выскочившая с хворостиной, отбросила ее, поглядев на пленных...

Группа офицеров скрылась за углом, а угрюмый, медленный грязно-зеленый солдатский поток все двигался через площадь. Многие из немецких солдат, для которых война вчера окончилась, выглядели, впрочем, вполне довольными своей участью; иные не без любопытства косились по сторонам... И было нечто недоступное человеческому пониманию в том, что эти люди, принесшие столько несчастья, пролившие реки крови, любопытствовали теперь в своем унижении или тшили сохранить какое-то достоинство, а по большей части покорно плелись, отупев от передраг, доставшихся им, озабоченные лишь тем, чтоб поскорее добраться до теплого угла... Какой-то юнец в каске жевал на ходу, доставая из кармана шинели хлеб; бородатый унтер, шедший с краю, отдал честь Богданову и Веснину, узнав в них командиров.

— Николай Федорович! — вновь заговорил Веснин, — полковник фон Грее, этот самый в фуражке, что промаршировал сейчас, — командир артиллерии десятой мотопехотной, спрашивал на допросе о вас... «Я вынужден наилучшим образом отозваться о решительном маневре командира русской дивизии, — слышите, что заявил? — Появление ваших войск у меня в тылу было в высшей степени внезапным».

— Не могу столь же лестно отозваться о действиях командира десятой мотопехотной, — резко сказал Богданов.

Его и разозлило, и удивило то, что гитлеровский полковник, побитый в бою, пытался разговаривать так, точно дело происходило не в кровопролитной войне, а в

безобидной штабной военной игре. За последние дни Богданов достаточно повидал, как вели себя в плену, сложив оружие, многочисленные соратники фон Грeve — офицеры фашистской армии. И ему представлялись в равной степени трудно объяснимыми, нечеловеческими испуганная угодливость одних, тотчас же выкладывавших на допросах все, что они знали, высокомерная заносчивость других или такая вот способность пускаться в академические рассуждения.

— Гляди, гляди — ест... Вон тот, молоденький еще... У, бесстыдник! — громко сказала женщина в колушке.

И Богданов подумал, что она сказала правильно, метко... В самом деле, пленные, проходившие мимо чужих им развалин, чужих изб, чужих деревень, чужих пепелищ, не сознавали, казалось, своей ужасной вины. И быть может, это именно обстоятельство смутно продолжало тревожить, вызывая глухое недоброе недоумение.

— В Т. отправляете молодчиков? — спросил комдив у Веснина.

— Да, через Т. пойдут, — подтвердил тот.

Богданов представил себе, как по улицам города, который с такой терпеливой стойкостью держался в долгой осаде, прошагает под конвоем его автоматчиков полковник фон Грeve, обстреливавший Т. из тяжелых орудий. И, почувствовав себя в известной мере удовлетворенным, комдив повернулся к Веснину.

— Пойдемте, Александр Аркадьич, займемся с разведчиками... Меня сейчас больше интересуют те немцы, что еще не сдались в плен.

Свернув от дороги, они пошли к развалинам церкви и обогнули их, ступая по розоватому от кирпичной пыли снегу. Здесь тоже пылали костры и вокруг дымных темных столбов, вертикально поднимавшихся к чистому небу, грелись красноармейцы...

— Так обязательно пошлите машину в Т., — раздался за спиной Богданова голос Веснина, — порадуите супругу... И от меня поклон передавайте, хотя и не имею чести быть представленным...

«Вот забота приспичила! И дернул меня черт за язык!...» — вознегодовал Богданов.

Но тут же ему стало смешно... И то, что посреди всех своих забот, дел, опасений и триумфов он серьезно огор-

чался из-за мелочи, пусть даже досадной, показалось и странным и комичным.

— Особой необходимости в посылке машины у меня нет... Пока что, во всяком случае, — сказал он весело. — Благодарю вас, Александр Аркадьич!

Главный удар на новом рубеже должен был нанести полк майора Покровского, и перед вечером Богданов приехал в эту часть. Торопясь, покамест не стемнело, провести рекогносцировку, он вместе с командиром полка тотчас же отправился в роты, пополз в боевое охранение, чтобы своими глазами увидеть местность, где предстояло атаковать, лично расспросил наблюдателей... Вернувшись на КП Покровского, Богданов долго сидел у телефона, разговаривая с комиссаром дивизии, с начальником штаба, с начальником артиллерии в то время, как майор объяснял боевую задачу своим комбатам. Затем Богданов и Покровский пообедали вдвоем при лампе, и комдив вознамерился было поспать часа полтора перед боем, когда к майору явился посыльный с пакетом от командира соседнего мотострелкового полка; часть эта, действовавшая ранее в составе Т-го гарнизона, наступала сейчас на стыке с дивизией.

Майор, прочитав письмо соседа, принялся, не откладывая, писать ответ; Богданов расстелил на лавке у печи свой полушубок, сел и начал снимать портупею...

— Располагайтесь, товарищ полковник... Я прикажу, чтоб никого не пускали сюда, — не отрываясь от писания, сказал Покровский.

Посыльный — рослый солдат в маскировочном халате с автоматом на груди — ждал у порога в тени, прислонившись плечом к косяку. Взглянув на посыльного раздругой, Богданов заметил, что тот не сводит с него глаз и — насколько можно было разглядеть — улыбается ему, как знакомый, присмотревшись, Богданов выпрямился.

— Селиверстов? — спросил он нерешительно.

— Здравия желаю, товарищ полковник! — громко ответил посыльный, как бы забавляясь удивлением Богданова.

Комдив вскочил и быстро пошел к нему, вновь затягивая на себе ремни.

— Евгений Герасимович, что ж ты молчал? — он был

в большом замешательстве. — Вот так неожиданность! Но почему ты молчал?

— А я стою и думаю — признаешь меня или нет? — сказал Селиверстов.

— Мог и не узнать, ничего б не было удивительного, — ответил Богданов; намек на то, что он мог бы и уклониться от возобновления их знакомства, он по своему прямодушию не понял. — Ну, давай здороваемся! — Он обнял Селиверстова за плечи, потянувшись всем телом кверху, так как был на голову ниже ростом. — Садись, Евгений Герасимович, садись! — Автомат сними...

И Богданов умолк, изумляясь и не зная, как поделкатнее приступить к расспросам; из затруднения вывел его сам Селиверстов.

— Мог, конечно, и не узнать, — охотно согласился тот. — Ты что, ничего не слышал обо мне, не доходило до тебя?

— Дьяков рассказывал, что у тебя были неприятности... Сейчас я припоминаю. Но, признаться, я не предполагал... — Богданов замялся и оборвал фразу.

— Про неприятности рассказывали? — с интересом переспросил Селиверстов. — Вот как — неприятности? Нет, это, пожалуй, не совсем точно... Неприятности? Занятно...

Он сел на лавку и в немногих словах, желая как будто поскорее покончить с этой неизбежной частью их беседы, сообщил: «Судили за невыполнение приказа, разжаловали, послали искупить вину...» Затем он перевел разговор на Богданова.

— Поздравляю с четвертой шпалой на петлицах, я сразу приметил... — сказал он вполне, повидимому, искренно. — Дивизией командуешь теперь. Рад за тебя...

— Да, дивизией, — как бы неохотно ответил Богданов.

Он чувствовал себя очень неловко в то время, как его собеседник несколько не был смущен и нимало, казалось, не завидовал. Лицо Селиверстова — коричневатое, под белым капюшоном, натянутым на ушанку, длинное, с тяжелым подбородком, было спокойно-благожелательным. И Богданов, припомнив свою встречу с Селиверстовым в штабе Западного фронта, подумал, что его потерпевший жестокое жизненное крушение това-

рищ производит сейчас впечатление гораздо более благополучного — внутренне благополучного человека.

— Надеюсь, и ты, Евгений Герасимович, недолго просуществуешь в этом положении, — продолжал он. — Командиры, да еще академики нужны, ох, как нужны!

— Там поглядим, — сказал Селиверстов.

— В конечном счете, главное зависит от тебя самого, от твоей решимости... — Богданов нахмурился, сознавая, что он говорит, хотя и правильно по существу, но слишком назидательно, сухо. — Догадываюсь, что тебе придется не легко.

— Да нет, ничего, даже напротив, — возразил его собеседник.

Понизив голос и наклонившись, Богданов в упор спросил:

— Служишь хорошо? Говори по совести!..

— Начальство одобряет... — усмехнувшись, но не зло ответил Селиверстов и вскользя, как о чем-то забавном, сообщил: — За бои под Т. награжден медалью «За отвагу».

— Ага! — обрадованно воскликнул комдив. — Вот это замечательно...

Покровский кончил писать и с любопытством прислушивался; Селиверстов встал — крупный, немного неуклюжий в своем белом халате-комбинезоне, надетом поверх всей одежды, и поправил на груди автомат.

— Разрешите, товарищ майор, получить ответ и отправляться, — обратился он к Покровскому.

Взяв у майора бумагу, он спрятал ее под шинелью и аккуратно завязал тесемки халата.

— Разрешите идти? — он повернулся к комдиву.

— Евгений Герасимович, может, ты проголодался, может, закусишь чего-нибудь, — спохватился Богданов.

— Приказано вернуться возможно скорее, а мне еще километра три шагать.

— Ну, я провожу тебя, — сказал комдив, взяв с лавки свой полушубок.

Он все еще чувствовал неловкость, недовольство собой... И хотя никак нельзя было заключить, что Селиверстов удручен, упал духом, Богданову подумалось, что надобно лучше подбодрить товарища, попавшего в беду. Может быть, впрочем, если б тот выглядел уязвленным

или жаловался на несправедливое к нему отношение, этой потребности и не возникло б у Богданова.

Он быстро оделся и, кивнув Покровскому, вышел первым... Была уже ночь, и лунное сияние заливало широкую деревенскую улицу. В дальнем ее конце, в иссиня-ледяном воздухе пролетали оранжевые искры трассирующего огня—там происходила пристрелка. А из дощатого покосившегося сарая, мимо которого вилась протоптанная в снегу дорожка, тянуло домашним запахом щей — солдаты ужинали перед атакой; из-за плащ-палатки, повешенной над входом в сарай, к Богданову донеслось:

— ...Что ложку убрал, Самохин, аппетита лишился?.. Это, брат, последнее дело для солдата.

— В жизни всякое, конечно, бывает, — начал Богданов медленно. — И я о чем хотел напомнить тебе, Евгений Герасимович; сейчас важно не то, что было с тобой, а то, что будет... В прошлом ничего не изменишь, ну а будущее — оно в наших руках. И сейчас имеет перво-степенное значение — как ты сам оцениваешь случившееся?..

— Мне обижаться не на кого, — сказал Селиверстов, сверху вниз глядя на маленького полковника. — Я как только увидел тебя, вспомнил наш спор в штабе фронта. Ты его тоже не забыл, наверно? Что ж, Коля?.. — он вдруг замолчал. — Позволишь еще так называть тебя?

Он спросил об этом как бы не вполне серьезно, с улыбкой в голосе, но Богданов догадался, что его товарищ действительно не был уверен, приятна ли ему эта прошлая короткость в отношениях.

— О чем ты? Да, конечно! — с досадой сказал полковник.

— Так вот, Коля! — в голосе Селиверстова послышалась признательность, — я много думал потом о нашем споре... Ты оказался прав, вижу — ты был кругом прав! И можешь мне верить — радуюсь этому, — он заговорил быстро и оживленно, точно какие-то опасения, сдерживавшие его, отпали теперь. — Сообщение Совинформбюро от двенадцатого декабря я читал и перечитывал, я запомнил его от слова до слова... С того момента, как я понял — выстояли мы, я как будто другими глазами на жизнь посмотрел. Не смею сказать, что и я выстоял вместе со всеми, и сознавать это не весело, горько... Но черт

меня подери, ведь не во мне дело!.. И не чужой же я среди вас! Не иностранец!?

— Что ты, Женя? Кто ж тебе это говорит! — пробормотал Богданов.

— Было тяжело отвечать перед трибуналом, — торопясь, рассказывал Селиверстов, — было совсем скверно дожидаться приговора — я тебе когда-нибудь подробно опишу, — трибунал совещался пять часов, а прокурор потребовал для меня пули. Конвоир мой — жалостливый парень, все вздыхал, глядя на меня, и отворачивался... Было тяжело, когда с меня снимали знаки различия... Я, знаешь, через такое прошел... Но горше было думать — честно тебе говорю, — что наступает катастрофа, конец всему, что надломилась мы. Я, встретив тебя сегодня, вспомнил, как ты наставлял меня на путь истинный. Ты верно тогда говорил, что я не в бой, а на свои похороны еду... Да только ничего до меня не доходило, словно оглушенный я был.

— В полку-то как относятся к тебе? — спросил Богданов, чтобы дать разговору другое направление; его правота в недавнем споре с Селиверстовым была настолько очевидной, что он как бы даже застеснялся ее.

— Хорошо относятся, нормально... Никто, разумеется, не утешал меня, когда я явился с копией приговора в кармане...

Селиверстов отступил в сторону, давая дорогу артиллеристам, катившим на руках противотанковую пушку; один из бойцов, запыхавшийся, тяжело дышавший, остановился у плетня передохнуть. Тут же у колодца женщина в черном платке брала воду; вытащив ведро, брякнув цепью, она осторожно мелкими шажками стала спускаться по льду, наросшему вокруг сруба. А вдали над темными силуэтами изб, над крышами, будто выкованными из голубоватого металла, порхали в лунной полумгле красивые золотистые светлячки, мгновенно вдруг погасавшие на лету...

— Сегодня ночью вперед пойдем? — спросил Селиверстов.

— Да, есть такая думка, — ответил Богданов.

— По правде сказать, — Селиверстов вернулся к первоначальному разговору, — прояснение мозгов началось у меня еще до нашей победы. Под Т. выручили мы однажды роту рабочего полка...

— А, знаю эту часть! — перебил Богданов таким голосом, точно речь зашла о близких его друзьях. — Хорошо знаю!

— Ты слушай: горстка бойцов, буквально горстка, держалась целый день против полка, усиленного танками. Когда мы контратаковали, в роте и полутора десятков не оставалось в строю... Командир — молодой парень, но, знаешь, из богатырей — косая сажень в плечах — подходит к моему командиру, спотыкается, как пьяный, и просит: «Боезапасом не поделитесь, товарищ лейтенант!» Первое о чем сказал — о боезапасе...

— А как же: выросли люди, обстрелялись! Я их отлично знаю, — как бы с гордостью даже повторил Богданов. — Ты фамилии командира роты не запомнил?

— Откуда же? Короче говоря, Коля, мне было о чем поразмыслить. Я, когда в эту контратаку пошел, готов был под первую пулю встать dobroхотно... — признался Селиверстов. — Случались у меня и такие настроения... А поглядел на людей и решил повременить.

— Разумно решил...

Они подошли к мостику на выезде из деревни, и Богданов остановился.

— Пожелаю тебе удачи, Женя: долгих лет и генеральской пенсии, — сказал он. — Не подумай, что я шучу. Звание тебе скоро вернут — убежден в этом.

Нагнувшись над ним, Селиверстов тихо проговорил:

— Надеюсь на лучшее... И если только не буду убит, я добыюсь, знаю, что добыюсь: дивизии не дадут, полк дадут, батальон... — в голосе его неожиданно зазвучали и тоска, и жалоба, и страстное желание. — Мне оправдаться надо и перед собой и перед другими, ты понимаешь — оправдаться... Жена, между прочим, ничего еще не знает обо мне.

— Ничего не писал ей? — удивился Богданов.

— Писал, что жив и здоров, новый номер полевой почты послал... А характеристику на меня, кстати сказать, запросили уже из армии.

— Вот видишь... Звание тебе скоро вернут, — сказал Богданов.

— Так что, может, и побачимся еще в лепшую годину, как говорят у нас на Белоруси... Может статься, что и к тебе в дивизию меня пошлют.. Дал бы мне полк, Коля? —

глаза Селиверстова, мерцавшие в тени капюшона, пыливо, не отрываясь, смотрели на комдива.

Тот помедлил с ответом... Как ни был расположен он сейчас к своему старому товарищу — все же он оставался самим собой — прямодушным, трезвым, по-хозяйски жестковатым. И он не доверил бы, конечно, одного из своих полков — строевую часть в несколько сотен штыков человеку, не оправдавшему уже однажды доверия, не присмотревшись к нему как следует.

— Зачем тебе полк, Женя? Я тебя заместителем возьму, — сказал он. — Вместе командовать будем.

И бывший командир дивизии Селиверстов его понял — от плохого заместителя можно было ожидать меньшей беды, нежели от плохого командира полка, да и находился первый всегда на глазах у начальства.

— Что ж, и на том спасибо... — услышал Богданов негромкий ответ; Селиверстов выпрямился и добавил без обиды, скорее с уважением. — Чую я, далеко пойдешь, Коля, большим начальником будешь...

Богданов взял его за руку около плеча и слегка тряхнул.

— До свиданья, Женя, до новой встречи, — сказал он.

— Желаю и тебе!.. Прощай! Сегодня мы с тобой в одном бою будем, почти что рядом. У нас тоже готовятся...

Селиверстов кивнул, повернулся и зашагал по снежной, залитой лунным обманчивым светом дороге...

9

И однако Богданову довелось все же этой зимой приехать в Т.

В конце декабря армия, в составе которой наступали его полки, подошла к Оке, продвинувшись к западу примерно на сто километров; в первых числах января дивизия Богданова действовала уже за Окой. И тут на недолгое время ее вывели из боев на отдых, а сам комдив был опять вызван в штаб Западного фронта (повидимому, как догадывался он, в связи с новым назначением). Штаб фронта находился пока на старом месте, в подмосковном лесу, и добираться туда Богданову пришлось через Т. — более удобного пути не было...

Выехав утром на своей «эмочке», полковник в третьем часу дня подъезжал к городу по Орловскому шоссе. Хотя

он не собирался да и не имел времени задерживаться в Т., он чувствовал себя так, точно спешил туда на какое-то обещанное ему свидание.

Недалеко от заставы шофер остановил машину — за-капризничало зажигание; полковник вышел на дорогу, огляделся. И недавнее прошлое, на свидание с которым он, собственно, и торопился, сразу обступило его... Богданов увидел слева чудом уцелевшие низкие корпуса кирпичного завода — это был район обороны полка майора Зубова; по другую сторону шоссе темнели на снежной равнине развалины Мышкинского Поселка — там сражался рабочий полк. Впереди протянулась, уходя направо, кирпичная красноватая ограда кладбища, и сквозь опущенные инеем верхушки тополей, будто сквозь белесый дымок, застывший в морозном воздухе, можно было разглядеть голубую маковку колокольни... Богданову вспомнилось, как он стоял на этой колокольне вместе с командиром рабочего полка капитаном Чашкиным, как горячился в тяжелом бою самолюбивый капитан, как сам он нервничал, прося у генерала Дьякова подкреплений, боясь, что полк Чашкина не удержится на рубеже. И Богданов внутренне усмехнулся, снисходя к этой своей минутной слабости, — ныне все, что он и его товарищи сделали здесь, представлялось ему хотя и трудным, конечно, но в общем вполне посильным для человека.

Он нетерпеливо взглянул на шофера, копавшегося в моторе, — Богданову казалось теперь, что по приезде в Т. с ним непременно случится нечто в высшей степени приятное... Возвращаясь в эти навсегда памятные места, он, как обычно и бывает, надеялся вновь узреть и пережить то именно, что в воспоминаниях становилось с течением времени все более привлекательным; он предвкушал удовольствие от встреч с людьми, вместе с которыми сражался здесь. И он опять подумал о Наташе, остававшейся еще, быть может, в Т. Поразительным образом эта женщина, увиденная им лишь один раз, прочно обосновалась в его душевной жизни; чем чаще он думал о ней, тем лучше, тем милее она становилась, непрерывно хорошея в его памяти... И молодому полковнику мерещилось, что он не столь уж постыдно обманул своих сослуживцев, сказав им о подруге жизни, обитавшей в Т., — кто бы взялся предсказать, чем могло завершиться это случайное

дорожное знакомство? А странная убежденность Богданова в том, что оно обязательно будет продолжено, что он повстречается еще с Наташей, только окрепла в результате его невольного обмана. И свыкнувшись со своей безобидной, но утешительной выдумкой, Богданов в конце концов сам почти поверил в нее...

Но вот он опять сел в машину, «эмка» тронулась, и он старательно протер перчаткой запотевшее переднее стекло... Навстречу быстро надвигались окраинные постройки; одинокие многоэтажные здания вперемежку с деревянными домиками, с пустырями, с развалинами, полупогребенными под снегом. Промелькнула на въезде высокая, будто сторожевая, водонапорная башня; далее открылась прямая магистраль, слегка опускавшаяся к центру города: главная улица — Проспект Коммуны... Богданов помнил на заставе каждый дом, каждый двор, и его безотчетно удивляло, что на углах не было уже пулеметных гнезд и зенитных орудий, поставленных против танков на прямую наводку...

Повсюду на проспекте виднелись работавшие люди: на перекрестке женщины снимали колючую проволоку, растаскивали рогатки и грузили их на автомашину; в другом месте жители, суетясь и крича, волокли по снегу трамвайную мачту. Вообще на улицах было неожиданно многолюдно сегодня: машина Богданова обогнала большую группу подростков с красным знаменем; еще одна колонна, и тоже со знаменем, шла навстречу — в Т. происходило что-то не совсем обыденное...

Когда показался справа серый фасад трехэтажного дома с массивной дубовой дверью, с часами над входом, комдив не выдержал и приказал остановиться — быть в Т. и не зайти в обком, не повидать Ласточкина, Шарова, Терехова он не смог...

«Попробую и о Наташе расспросить, вдруг нападу на след...» — решил он внезапно для себя, охваченный тем подъемом, что похож на предчувствие удачи.

Наташа жила теперь в Заречье в домике на Пороховой улице... На следующий же день после похорон старика Громова она перебралась с завода к Анне Васильевне, чтоб не оставлять ее в горе одну. И старуха, хотя и не подала вида, но оценила это внимание не-

вестки — в отсутствие Наташи она произвела в комнате Павла, где та поселилась, полную уборку: вымыла пол, повесила чистые занавески. А вскоре выяснилось, что в гораздо большей мере, нежели Анна Васильевна, Наташа сама нуждалась в участии и в поддержке. И не она заботилась теперь о тетке мужа, но эта скупая на ласку старуха нежно за ней ухаживала...

С момента, как Анна Васильевна узнала, что Наташа забеременела и должна будет летом родить, отношение ее к жене Павла изменилось. До сих пор она была лишь гостеприимна и вежлива со своей невесткой, теперь она уступила ей первое, самое важное место в семье. И мягкое, как бы даже искательное выражение появлялось в ее светлых глазах, когда она взглядывала на Наташу.

— ...Хлеб я завернула вам и сахар, держите-ка узелок. Да пообедать не забудьте... Да не на ходу, не на уголке где-нибудь, а как все люди, — напутствовала она невестку, выходя с ней утром на работу. — Жиров вот не выдавали давно... Я, пожалуй, в воскресенье на рынок схожу, может, маслица коровьего достану...

Наташа, убедившись в том, что ей предстояло стать матерью, ни в малой мере не почувствовала себя сначала счастливой; она и растерялась, не зная, как ей лучше поступить — оставаться в Т. или ехать к матери, — и перетрусилась. А то таинственное, неотвратимое, может быть, губительное, что, помимо ее воли, желания или нежелания, совершилось в ней, вызывало острую до слез обиду. Казалось, кто-то обманул ее, пообещав сперва долгое, легкое, независимое существование, а затем нарушив это обещание...

«Вот и кончилась моя молодость... — хотелось Наташе пожаловаться окружающим. — И так быстро, даже познать не успела...»

И она допытывалась — правда ли, что мать Павла, красавица Оленька, как называла ее Анна Васильевна, умерла от родов?

— Да что вы? С чего вы взяли? — успокаивала ее старуха. — От эпидемии Оленька померла, когда Паше второй годок пошел. А потом, что ж вы равняете то время с нынешним, — тогда и наука отставала еще, да и не по заработкам она была — наука. Случалось, прямо на работе в мастерской бабы рожали... Полежит, сердечная, часочек в закутке, отдышится, водицы попросит, выпьет

и пойдет, понесет дитя домой... А сейчас и консультация есть для вас, и в больницах чистота, уход...

Наташа слушала с обиженным видом, и старуха легонько поглаживала ее маленькую полную руку своей твердой, жесткой ладонью.

Но затем в настроении молодой женщины наступил перелом, и без какого-либо внешнего повода. Ее боязнь за себя, за свою жизнь распространилась незаметно и на то живое, еще неизвестное ей, еще безымянное существо, которое она носила в себе; мысли о нем — любопытные и добрые — стали овладевать ею. И теперь Наташа часто впадала в совершенно особое состояние: мечтательное и беспокойное в одно и то же время — ей и не терпелось, чтоб все поскорее окончилось, и было попрежнему страшновато и вместе с тем — очень интересно. Ее темные, теплые глаза становились как бы невидящими в такие минуты, а на лице появлялась неопределенная, беглая улыбка...

...Придя в субботу вечером с завода, Наташа застала дома целое собрание — Анна Васильевна совещалась с членами своего уличного комитета относительно назначенного на завтра воскресника. Об этом общегородском воскреснике много говорили сегодня и на заводе: все население Т. собиралось выйти завтра на улицы, чтобы засыпать траншеи и воронки, мешавшие движению, чтобы очистить от обломков, от битого кирпича тротуары, чтобы убрать снег, заваливший трамвайные пути; после воскресника должен был состояться митинг в городском театре. И Анна Васильевна, предводительствовавшая обитателями Пороховой улицы, давала последние указания на утро.

— ...Мы к заставе, на Проспект Коммуны пойдем, вместе с Арсенальной улицей, как на рытье окопов ходили, — услышала Наташа, раздеваясь в коридорчике, низкий, мужеподобный голос тетки Павла. — А собираться всем около каланчи — организовано пойдем, колонной. Там и лопаты и ломы раздавать будем... Ты, Варвара, на раздачу инструмента становись... — распоряжалась Анна Васильевна.

В комнате вокруг стола стеснилось человек двенадцать: была здесь и тучная Варвара Егоровна — соседка, и Настя, и учительница Любовь Михайловна — знакомые Наташе помощницы старухи Громовой. В стороне

на сундуке под фикусом сидела, закутавшись в пуховый белый платок, Марина — она часто в последнее время заходила по вечерам. И завидя ее, Наташа снова, как в первый раз, изумилась — Марина была попрежнему необычайно, неувядаемо хороша, несмотря на то, что все еще не оправилась вполне после ранения, недомогала и даже первые тонкие морщинки появились у ее глаз. Но эти редкостной, яркой синевы широко расставленные глаза под черными, приподнятыми на висках, летящими бровями, это удлиненное, снежно-бледное лицо с небольшим ртом были так прекрасны, что привыкнуть к ним оказалось невозможным.

— Вам белое очень к лицу! — сказала Наташа, сядя около Марины. — Чудо, как хорошо! Впрочем, вам всё к лицу, счастливая вы...

— Счастливая? Вот вы скажете... — застеснялась та. — Какая ж я счастливая?

— Идите, Наташенька, поешьте сперва, — вмешалась в их разговор Анна Васильевна. — Я разогрела вам... И Маринку забирайте, ей тоже поправляться надо.

Как ни отказывалась Марина от угощения, Наташа увела ее с собой на кухню... А когда они вернулись оттуда, члены комитета разошлись уже — оставалась одна Настя. Встав спиной к печке, засунув пальцы рук в карманчики своей узковатой, не сходявшейся на полной груди стеганки, Настя быстро говорила, откидывая назад голову, поблескивая отличными мелкими и частыми зубами:

— ...Она спать много любит! Вот помани мое слово, Васильевна, — она и завтра проспит, не явится. Известно, сон, что богатство — чем больше спишь, тем больше хочется...

По обыкновению, Настя была недовольна, разгорячена и кого-то обличала. Анна Васильевна, тяжело ступая, ходила по комнате, собирая к чаю посуду.

— Сидите, Наташенька! — сказала она невестке, взявшейся было помогать ей. — Я сама подам, сидите...

И Наташа не настаивала, догадываясь, что, собственно, имела в виду и о ком именно заботилась старуха...

— Скоро уж, должно быть, уедете от нас? Скоро провожать вас будем... — обратилась к Наташе Настя.

— Куда уеду? — не поняла та.

— В Москву, а может, и дальше куда-нибудь, вам

лучше знать... Семейство-то ваше не вернулось еще в Москву? — поинтересовалась Настя.

— Мама писала, что к весне хочет вернуться. А папа — он на фронте, так что не скоро, наверно... Я как только пошла нормально поезда, получила целую кучу писем! — воскликнула Наташа. — Все в один день — и от мамы несколько, и от отца, и от брата. Я ведь ничего не знала о них, а они обо мне...

— До весны значит у нас поживете, а рожать к матери поедете, — сказала Настя. — Это вы практично рассудили — лучше родной матери никто вам не поможет, не пожалеет...

Анна Васильевна молча старательно перетирала чашки; лицо ее было покрыто тенью от абажура. И ни Настя, ни Наташа не догадывались, с каким напряженным вниманием прислушивалась она к их разговору.

— По маме я, конечно, очень соскучилась! — ответила Наташа. — И жалко мне маму — с ней теперь одна моя младшая сестра осталась. А у нас была целая большая семья... Но я не знаю, просто не знаю...

Она замолчала, затрудняясь признаться в том, что уехать из Т., расстаться с людьми, среди которых ей так интересно и так беспокойно, так полно и так трудно жилось, было бы для нее большим несчастьем. На заводе она сделалась своим человеком, а главное, она впервые почувствовала там, что в ней действительно нуждались, — недавно вот ее выбрали в завком, и она была уже вовлечена во множество дел, предприятий, замыслов, надежд — завод только сейчас, в сущности, начал по-настоящему восстанавливаться...

— Боюсь, Павел обидится на меня, если я уеду, — пошутила она.

Но и в этом тоже была доля правды — ей, в самом деле, казалось, что пока она остается здесь, в городе своего мужа, и на заводе, где его помнят, она находится как будто ближе к нему.

— Не решили еще, значит... — Настя с неясным холодком, выжидательно смотрела на Наташу.

— Нет, не решила... Может быть, мама летом сюда приедет, со мной поживет. В общем, там видно будет...

— Я хотела сказать вам, Наташенька, — заговорила Анна Васильевна, — докладчик из райкома выступал у нас на фабрике, интересный факт привел, вы послу-

шайте... Покуда война вокруг шла, пушки палили, в городе у нас четыреста пятьдесят девять ребятшек народилось.

— Нет, верно?! — воскликнула Наташа.

— Как же не верно... И здоровенькие все, ничего, и вес хороший, как в мирное время.

— Бабы у нас не пугливые... — усмехаясь, сказала Настя. — Свою обязанность знают, стараются...

— Очень я детишек маленьких люблю, — подала голос Марина. — Была б я молодая, пошла бы на учительницу учиться или на воспитательницу. С детьми, я заметила, и самой веселее бывает.

Она легким движением головы сбросила на плечи платок, открыв тонкую девичью шею, провела руками по черным, расчесанным на прямой пробор волосам, приглаживая их.

— Ладно, будут еще у тебя свои, и навеселишься и наплачешься... Вот погоди, вернется твой Ваня ненаглядный, — насмешливо сказала Настя и тут же огорченно вздохнула. — Скорей бы уж мужики наши с Гитлером окаянным кончали! А то ведь, что получается: и на производстве за двоих продукцию давай, и за семейство хлопочи... На одну бабью спину многовато приходится.

— У нас сейчас тоже много женщин работает, — сказала Наташа, — мы и неквалифицированных на обучение берем — к весне два новых цеха хотим пустить, — она с живостью повернулась к Анне Васильевне. — Знаете, между прочим, что у нас надумали? Есть женщины, которым решительно не на кого детей дома оставить, ну решительно... — так мы комнату ребенка на заводе устраиваем — ясли, одним словом. Уж нам и деньги на это отпустили.

Наташа улыбнулась — ей было приятно вспомнить, что мысль о яслях, принадлежавшая ей, получила одобрение на заводе.

— Так что и мне будет куда своего маленького отдавать, — добавила она.

— Для себя стараетесь, так бы и говорили, — сказала, заметно смягчившись, Настя.

Анна Васильевна пододвинула к Наташе блюдечко с повидлом.

— Попробуйте — яблочное, кисленькое... Как на ваш вкус?

Она наклонилась над столом и вышла из тени; несвойственное Анне Васильевне услужливое выражение было на ее костистом лице... И вновь откинувшись к спинке стула, уйдя в тень, она молча слушала разговор молодых женщин, строго поглядывала на Настю, которой не могла простить совета, данного Наташе, — ехать к матери; благожелательно на Марину — тихую, смиренную красавицу, будто и не замечавшую того впечатления, что она производила на других. А поворачиваясь к Наташе, старуха, благодарная ей, как бы ласкала свою невестку взглядом.

Анна Васильевна не сумела бы, пожалуй, точно ответить на вопрос, почему ей так важно было, чтобы Наташа не уезжала... Отчасти, разумеется, это объяснялось тем, что она привязалась к своей невестке: «бесхитростная», «негордая», — мысленно определяла она главные достоинства жены Павла. И Анне Васильевне доставляло неизменное удовольствие видеть ее — крепенькую, чистенькую, здоровую, смешливую — «от доброго сердца», как истолковывала старуха. О ребенке Наташи и Павла она думала, как о своем внуке... И ей естественно хотелось быть поблизости в трудный и счастливый час появления ее внука в мире. Вместе с тем была еще одна причина, заставлявшая ее ревниво и влюбленно относиться к Наташе, — причина смутная, спрятанная на дне души... Не имея своих детей, Анна Васильевна безотчетно искала утешения в чужом материнстве — лишенная счастья, представлявшегося ей самым большим, она как бы робела невольной и заискивала перед могущественной молодостью. И она готова была теперь служить Наташе и оберегать ее, дивясь и радуясь тому великому чуду жизни, что совершалось в ней..

После чая Настя и Марина ушли в комнату Наташи; время незаметно подобралось к часу ночи, вставать всем надо было рано, и гости сочли за лучшее заночевать здесь... Анна Васильевна побродила еще немного по дому, прибралась на кухне, намочила белье, которое завтра вечером намеревалась выстирать, и вернулась в столовую. Посмотрев на портрет Алексея Васильевича, обвитый черной лентой, висевший среди других семейных фотографий, она покачала головой, точно укоряя брата за его смерть, вздохнула устало и села, положив на колени руки.

Из комнаты, где молодые женщины укладывались спать, доносился невнятный говор, иногда смех... Анна Васильевна подумала, что ей тоже пора идти ложиться, но привычное деятельное беспокойство все не отпускало ее... И она сидела в стареньком, покрытом рядном кресле Алексея Васильевича, борясь с дремотой, исподволь овладевшей ею, стараясь вспомнить, что еще надо было ей сегодня сделать.

...Наташа уступила Насте и Марине свою кровать, а себе постелила на диване. Устраиваясь на ночь, женщины болтали: Настя припомнила, как в этом же домике Громовых она и Марина впервые увиделись с Наташей. — «Ох, и рассердилась я тогда на вас, — без тени смущения призналась она. — Зачем, думаю, заявила к нам, геройство свое показывать...» Наташа, вынимая шпильки из волос, заплетая косы, рассказала о своем приезде в Т., о долгих блужданиях по незнакомому городу, о том, как добравшись после многих приключений до этого домика в Заречье, она никого тут не нашла.

— ...Думала — на несколько дней еду, а вот как застряла, вышло совсем не так, как думала, — сказала Наташа. — Зато ехала к вам с удобствами, в «эмочке» и с интересным попутчиком.

Нижняя, слегка выпяченная губа ее задрожала; смех, как бы закипевший внезапно в ней, еще не вырвался из ее уст, но румяное с засиявшими глазами лицо уже смеялось; в памяти Наташи живо возник этот попутчик, хозяин машины, доставившей ее в Т. С момента, как они расстались по приезде сюда, Наташа, кстати сказать, ни разу о нем не вспомнила. И сейчас по случайному поводу он вынырнул вдруг из полного забвения — любезный, воинственный и церемонный, должно быть от застенчивости — неловкий и забавный в своих попытках ухаживания, а в общем, совершенно ненужный Наташе.

— Это что еще за попутчик? — спросила Настя, косясь через плечо.

Нагнувшись к настольной лампе, она пришивала к своей кофточке оторвавшуюся пуговицу.

— Меня подполковник один подвез, — подобрал на шоссе, около Подольска, — сказала Наташа, покусывая нижнюю губу. — Очень галантный — всю дорогу не давал скучать...

— Адресок просил, наверно, а может, еще чего добивался? — полюбопытствовала Настя.

— Действительно, хотел узнать, где я буду жить... действительно, адресок просил... — Наташа перебросила косу на спину, откинула голову и с удовольствием, точно дав себе наконец волю, расхохоталась.

Настя перекусила мелкими своими зубами нитку, попробовала, крепко ли держится пуговица.

— Ох, не знаю, что и сказать вам на это, — она повела голыми покатыми плечами. — Иной раз такая жалость берет, на военных глядя... Ведь на смерть идут многие, тоскуют — молодые все, кровь с молоком. На нашей улице, между нами говоря, кавалеристы стояли; так лейтенант ихний, двадцати двух лет, с медалью «За отвагу», заходил к нам. И час сидел, и два, и три, сколько ему служба позволяла, со стариками моими чай пил.

— Не к старикам же он ходил, а к вам, я думаю, — сказала Наташа.

— Понятно, ко мне, да понапрасну: у меня у самой муж на фронте, мне мужа обижать не хотелось... А только... — Настя подмигнула, указывая глазами на Марину, — ...сдается мне, не было бы греха, если б и пожалела военного... Вы как на это смотрите?

— Что ты, что?! — испугалась Марина. — Разве ж так можно?.. Наговариваешь ты на себя.

Она сидела на кровати — тоненькая, с острыми бледными плечиками, придерживая на груди сползающую рубашку.

— Я и раньше ни о ком подумать не могла, кроме Вани, а нынче... Да мне умереть было бы легче...

Устыдившись этого разговора, она прикрыла свои необыкновенные глаза ресницами, и стрелчатая тень от них упала на ее щеки.

— Видели вы такую... снежную королеву! — с ласковой насмешкой сказала Настя.

Позднее, когда лампа была потушена и все приотмолкли, она первая нарушила тишину, но голос ее прозвучал неожиданно тоскливо:

— Ох, солдатики, где ж теперь мужики наши?! На снегу с винтовочкой обнимаются...

Ни Наташа, ни Марина не отозвались... Узкая полоска света, проникавшая в комнату из-под двери, также по-

гасла, и слышались тяжелые шаги — Анна Васильевна удалялась к себе...

— Долго, ой долго дожидаться их... — опять сказала Настя. — Ночей не спать, покоя не знать.

Белое пятно метнулось в темноте — она вскинулась на постели и стала поправлять подушку.

— Верно, что покоя не знать, — после молчания, точно запоздалое эхо, долетел до Наташи шепот Марины.

В небольшой с занавешенным окном комнате было душновато; от печки веяло сухим каменным жаром, и Наташа тоже заворочалась на постели. Настя легла, потом спросила:

— Паша-то знает, что ему отцом в скорости быть, написали вы ему?

— Теперь уж, наверно, знает... Но я не получила еще от него ответа, — прошептала Наташа.

— Вот обрадуется, воображаю, — сказала Настя.

— Обрадуется? — Наташа и сама не сомневалась, что Павел будет очень доволен, но ей было отрадно услышать об этом от других.

— Еще бы... Для фронтовика такое известие дорогого стоит... — авторитетно подтвердила Настя. — Паша сына хочет, наверно... Мне мой писал, между прочим, — жалеет, что у нас с ним нет сына.

— Павел говорил — все равно ему, а мне бы хотелось сына, — сказала Наташа.

И они снова замолчали — эти три молодые женщины, три солдатки, думая о мужьях — каждая о своем...

Наташа осторожно потрогала под одеялом живот и прислушалась — ей показалось, что она ощутила в себе слабое шевеление другой — своей и не своей, новой жизни — точно искра блеснула в сухой жаркой тьме. Затаив дыхание, она ждала, не повторится ли это поразительное, ни на что не похожее ощущение. И ей почудилось, что Павел — муж — стоит сейчас около ее постели, в изголовье, и тоже напряженно ждет...

10

Павел очистил уголок стола, отодвинул в сторону автоматные диски, гранаты, патронташ, достал тетрадку для боевых донесений, вырвал два чистых листа и принялся писать жене письмо. Рядом на полу, на соломе, привалившись в темноте друг к другу, уснули его това-

рищи; на печи спала с детьми хозяйка этой придорожной избы... До подъема оставалось около полутора часов — на рассвете рота вновь шла в бой — и Павел, поспавший немного днем, решил больше не ложиться. Да к тому же — кто знает, что могло случиться в бою?.. Лучше уж было не откладывать на завтра важного разговора с женой.

«...Вот и я скоро стану отцом. Я — отец... Повторяю про себя эти два слова и не могу к ним привыкнуть...» — быстро, с озабоченным видом писал он, низко наклоняясь над бумагой — что-то плохо горела чадившая коптилка. — «Не утерпев, я поделился новостью с Прокофием Яковлевичем, и мудрый старик наш произнес по сему случаю несколько подобающих слов о значении семьи в обществе... Твое письмо, Наташка, попало ко мне лишь сегодня утром, и весь день я хожу, как именинник...»

Минуту Павел помедлил, задумавшись, почесывая висок кончиком карандаша... По правде говоря, он не разобрался еще в тех чувствах, что вызвало в нем последнее письмо жены. Но он понимал — она ждала от него именно такого ответа... И он готов был без устали твердить Наташе о своей радости, чувствуя себя и виноватым перед нею — бедная, она ведь не хотела покуда иметь детей, — и встревоженным — нелегко ей будет сейчас с ребенком.

«Невольно, знаешь, растешь в собственных глазах, становясь отцом большого семейства», — попытался пошутить он, чтобы Наташа — не дай бог! — не догадалась о его беспокойном раздумье. — «В самом сочетании слов «отец семейства» есть что-то внушительное, солидное; звучит это как генерал-полковник или член Академии наук. И поверишь ли, я начал уже испытывать к нашему ребенку отцовское чувство: опасаюсь, не нахватал бы он двоек, когда пойдет в школу».

«Не так пишу, не то...» — подумал Павел и положил карандаш, — ему вспомнилось, как он в первый раз увидел свою будущую жену. Это произошло в Москве в читальне — Наташа, как потом выяснилось, только готовилась тогда к поступлению в институт... Держа обеими руками охапку книг, она медленно проходила вдоль длинного стола, выискивая глазами свободный стул, твердо ступая своими статными ножками в туфельках на низких детских каблуках. И Павел даже не особенно восхитился

в эту первую минуту, — Наташа показалась ему слишком девочкой — школьницей. Встретив его взгляд, она открыто и доверчиво улыбнулась: «Вот, мол, какое смешное положение, не могу найти себе места», — говорило ее лицо. Она прошла мимо, и ему захотелось остановить ее, удержать, уступить свой стул. На другой день Павел опять увидел ее в читальне, но она сидела далеко, в противоположном конце большого двухсветного зала; познакомились они лишь в следующем году в институте... И припомнив все это сейчас, Павел действительно обрадовался и затосковал, и умилился. Подперев голову рукой, он довольно долго просидел так, не шевелясь, над начатым письмом, в полутьме, охваченный волнением любви; окрик часового, доносившийся с улицы, заставил его очнуться. И не зная, как выразить свое трудное, необыкновенное волнение, он написал:

«А помимо шуток, родная, я и в самом деле по-иному начал ощущать себя — у меня словно прибавилось ответственности... И как же приятно мне знать, что фронт с каждым днем отодвигается от всех вас! Мы победили уже в этой войне... И сколько бы она ни продолжалась еще: год, два, три — дело в том, что захватчики понимают: наше торжество — их окончательная гибель — они разбиты уже». — Желая сказать Наташе о своей любви — сказать как можно сильнее, он заговорил о победе, и ему казалось, что говорит он именно о любви. — «Нас вообще нельзя победить... И это не похвальба, не пустое потрясение эфира, не заклинание, не слепая вера, это знание... Мы все, и ты, и я, и миллионы таких же, как мы, защищаем новое в мире, и значит, мы — те, кому безраздельно принадлежит завтрашний день. Победа нового над отжившим — это закономерность, это источник движения от низшего к высшему...»

Замигал вдруг и сник огонек копилки, устроенной из сплюсненной гильзы противотанкового снаряда... И Павел вынужден был, прервав письмо, заняться этим несовершенным светильником: подтянуть кверху фитиль, снять нагар. Затем он продолжал:

«Никакие пушки и никакие миллионные армии не смогут отменить или задержать приход завтрашнего дня. После всего, чему я был свидетелем на войне, я особенно ясно сознаю: будущее мира — коммунизм — в наших руках. И поэтому люди на земле будут счастливы... Но ко-

нечно, старое не хочет мириться с тем, что оно обречено, оно цепляется за жизнь, оно нападает. И вот мы вынуждены воевать также и за то, чтобы в будущем люди никогда не воевали...»

«Кажется, я опять не так, не о том говорю», — подумал Павел. Спohватившись, он приписал:

«Но береги себя, Наточка, береги! Ты спрашиваешь: оставаться ли тебе у нас в Т. или ехать к матери. Мне трудно советовать: тебе виднее; может быть, даже лучше уехать. Я об одном прошу: поберегись, дорогая, потому что без тебя мне, честное слово, не надо никакого будущего...»

В сениях раздались шаги, звякнул дверной пробой и с волной ледяного тумана переступил через порог старшина роты; Павел прикрыл письмо планшетом. А когда старшина, доложив об очередных хозяйственных надобностях, посетовав на отсутствие валенок большого размера на вещевом складе полка, получив приказание покормить бойцов перед атакой горячим завтраком, проверить, не поморозился ли кто за ночь, проверить, у всех ли имеются санитарные пакеты, удалился до подъема осталось всего лишь полчаса, и Павел заспешил:

«Обо мне, дорогая, не беспокойся. Я здоров, бодр, весел, и всё у меня в совершенном порядке», — ему представлялось, что Наташу в ее положении надо было оберегать решительно от всяких тревог. — «Наконец-то, ударила настоящая зима, а я, ты знаешь, люблю зиму. В поле, в лесу сейчас необыкновенно красиво... Между прочим, недавно приезжала к нам бригада артистов: пели, танцевали. Так что, как видишь, мы и развлекаемся иногда. Да, еще новость — нам присвоили звание: я получил старшего лейтенанта (смотри теперь у меня, Наташка!); Боков — сержанта. Передай Марине, что ее Ваня — молодец, гордость полка и гроза фашистов. Тете Ане скажи: обнимаю ее и напишу скоро отдельно. На заводе всем привет: Петру Кирилловичу особо — низкий поклон! Ну, целую тебя, целую! Прости, любимая!»

С серьезным, насупленным лицом Павел, не перечитывая письма, сложил листики треугольником. Надписав адрес, он поднялся и начал надевать портупею, горбясь над столом; он слишком много уже ходил под огнем, пригнувшись, и незаметно для себя стал сутулиться.

...К утру рота Павла укрылась в лесу близ опушки на исходном рубеже. Вскоре небо посветлело, но в гуще деревьев держался полумрак и всё вокруг: бойцы в маскировочных халатах, пулеметы, патронные ящики, санитарные носилки, прислоненные к стволу сосны, расплывалось в мутной синеве. Люди ежились, притоптывали, стоя на месте, хлопали себя по бокам — осторожно, стараясь не производить шума. Немцы находились не дальше чем в четырехстах метрах, и нельзя было преждевременно обнаруживать себя...

Павел, увязая по колени в снегу, обошел перед атакой взводы... В сумраке приглушенно звучали голоса, кашель, хриплое дыхание; в одном месте политрук Елисеев — бесценный Прокофий Яковлевич, помощник и добрый друг — разговаривал с бойцами из пополнения; в другом, под залепленной снегом елью, как под островерхим шатром, собралось несколько «старичков» (так называли теперь солдат, уцелевших из первоначального состава роты). И Павел, узнав по голосам Бокова и Куликова, задержался около своих ветеранов...

— ...Плохо мы понимали, какая она — война, когда на позицию выступили, — громким шепотом, быстро, точно хвастаясь, говорил Боков. — Под Хлебниковом — не забыли, ребята? — Танки на нас прут, а мы сидим, как птенчики, не знаем, что делать.

— Я лично так сробел в тот раз, что слова выговорить не мог, — сказал Куликов.

Людям доставляло, как видно, странное удовольствие признаваться в своей прошлой слабости сейчас, когда враг гораздо больше страшился их, нежели они его.

— Товарищ старший лейтенант, хотя б покурить нам разрешили, — попросил Боков, придвинув к Павлу свое посеревшее в утреннем свете, как бы бескровное лицо; все же чувствовалось, что он нервничал.

— Потерпи малость, Ваня, скоро трофейную сигару закуришь, — ответил Павел.

— А я этой пакости — сигар — не терплю. Это ж для мартышек занятие, — сказал Боков.

Предбоевое томительное возбуждение овладело людьми... Павел угадывал его в жарком сдавленном шепоте одних, в нетерпеливой суетливости движений у других, в напряженной, точно перед прыжком, неподвижности третьих.

— ...На смерть, как на солнце, во все глаза не взглянешь, — дошло до его слуха чье-то бормотание.

— Не скучайте, папаша... — отозвался еще один невидимый боец. — Пускай фриц о смерти думает, а не вы. Я вот поначалу тоже считал, что каждая пуля в меня летит, а вышло — мои летели верней.

Павел возвратился на свой командный пункт; утро медленно светлело, и вдали за деревьями вырисовывалась мачта высоковольтной передачи. Опушенная густым инеем, она была совершенно белой на синеватом фоне неба, похожая на исполинский чертеж, отпечатанный на синьке. Дальше виднелись прикрытые снеговыми шапками избы деревни, в которой укрепились гитлеровцы. И Павел отчетливо почувствовал: мир как бы замкнулся впереди... Чтобы пройти дальше, чтобы жить, чтобы вернуться домой, чтобы целовать жену, растить детей, надо было выбросить отсюда из этой деревни врагов.

«Почему они здесь?..» — как бы удивившись, спросил он себя.

Наблюдатель, стоявший на самой опушке, обернулся и махнул рукой; Павел шагнул к нему.

Слева из дальнего леска — темносизого, безмолвного, непроницаемого — выползало что-то на поле... А вернее, само это снежное поле неслышно надвигалось на немецкую позицию; едва видимые бугорки, неровности, сугробы чуть заметно перемещались от леса к околице деревни... Павел отвернул рукав шинели — стрелки на циферблате показывали девять с несколькими минутами; соседний батальон начал атаку точно в установленный час.

«Отлично маскируются, — мысленно похвалил он товарищей, — научились, черти, помалу...»

Некоторое время он с интересом следил за неслышным, едва различимым движением снежной равнины. Потом положил руку на автомат, висевший на груди, —сию минуту должен был прогреметь сигнал и для его роты: три винтовочных выстрела... Мысли Павла, естественно, устремились к тому, что надлежало сделать после сигнала: поднять людей, возможно быстрее преодолеть четыреста метров, отделявшие их от врагов, ворваться в деревню, забросать немецкие огневые точки гранатами... Но и за этими мыслями стояло неутихшее волнение любви, с которым Павел писал сегодня домой, — оно теснилось в нем, толкало его вперед.

«А может, через четверть часа я буду мертв...» — подумал вдруг он... Но всё в его полной жаждой любви душе тотчас же воспротивилось: «Ну уж нет... — с запальчивостью возразил он себе, — теперь-то я, наверно, дойду до конца — дойду и вернусь».

Сзади подошел Шукин, командир взвода; оглянувшись, Павел дружелюбно, рассеянно улыбнулся... Слабый ветер провеял над полем, тронул верхушки елей; снежинки, посыпавшиеся на лицо Павла, приятно покалывали кожу... Неприятель не подавал никаких признаков жизни, и только белое, слегка всхолмленное поле бесшумно, безостановочно наползало на него. Присмотревшись, можно было заметить, что ожившие бугорки имели желтоватый оттенок, а там, где они сближались и накапливались, возникало почти неощутимое золотистое пятно, как от солнечного луча, пробившегося сквозь облако.

«Что Наташка сейчас?.. Спит наверно — сегодня же воскресенье... — проносилось в голове Павла. — Да, не забыть скомандовать пулеметчикам!.. Спит, моя милая, в своей теплой постели... Да, не забыть перенести вовремя огонь!» — напоминал он себе.

Звонко, будто сталью о сталь, ударили слева винтовочные выстрелы: один, второй, третий... И холодок пробежал по спине Павла; глаза его необыкновенно посветлели. Повернувшись к Шукину, ожидавшему команды, он громко сказал:

— Пошли дальше, рабочий класс!

Богданов не нашел Ласточкина в обкоме; Марья Алексеевна — технический секретарь, одиноко сидевшая за пишущей машинкой в знакомой Богданову приемной, сказала, что в Т. происходит сегодня воскресник и первый секретарь находится с утра «на объекте», а сейчас поехал уже наверно на митинг.

— Хотим трамвай пустить на днях, — пояснила Марья Алексеевна. — И вообще, улицы очистить надо, убрать обломки, снег...

Сама она — деловитая и сдержанная, немолодая, но и не старая — в своей темносиней жакетке, гладко, волосок к волоску, причесанная, нисколько не изменилась. И то, что она оставалась именно такой, какой ее помнил Богданов, было ему приятно...

— Дела много, как вы понимаете... Вчера у нас закончилась городская учительская конференция, а завтра пускаем новые цеха на станкостроительном, — рассказывала Марья Алексеевна. — В школах занятия начались уже...

И, несмотря на всю ее сдержанность, было заметно, что появление Богданова доставило ей удовольствие. Во время пребывания его в Т. они едва ли сказали друг другу два десятка слов, но сейчас встретились, как давние друзья.

— Да, да, в самом деле... — воскликнул Богданов. — Пора школы открывать, детишкам учиться надо! — Его как будто изумило это обстоятельство.

— Много было хлопот с подготовкой школьных помещений, с ремонтом инвентаря. — Марья Алексеевна помолчала секунду и с особой значительностью произнесла: — Начинаем восстановительные работы на шахтах Подмосковского бассейна, уголь нужен в первую очередь...

— Уголь? Да, разумеется...

Казалось, Богданов сейчас лишь узнавал о том, что в школах учат детей, на шахтах добывают уголь, а дома в городе построены не для того, чтобы быть опорными пунктами обороны. Признательный Марье Алексеевне за ее новости, он со смешком в голосе сказал, нагнувшись через стол:

— Вижу, что не скучали здесь без нас... С глаз долой — из сердца вон.

— О нет, что вы?! — запротестовала та. — Плохо вы о нас думаете, если так говорите. — И слабый румянец выступил на ее желтоватом лице. — Мы вас часто вспоминали: и товарища Дьякова, и вас...

— Генерал Дьяков взял К., — Богданов назвал крупный город к западу от Т. — Это еще одна его победа. В самый канун нового года взял...

— Да, мы поздравляли товарища Дьякова, мы все его очень ценим... — Марья Алексеевна никогда, повидимому, не говорила «я», но только «мы». — Ну, а скучать нам не приходится, вы правы: попрежнему и днюем и ночуем здесь... Яков Захарович — вам стиль его работы знаком? — по суткам не спит...

— Шаров как здравствует? Кланяйтесь ему от меня обязательно... Добровольский? Терехов? — принялся расспрашивать полковник.

Через полчаса он поднялся и попросил передать Ласточкину и другим товарищам солдатский — так он сказал — привет; Марья Алексеевна проводила его до дверей.

— А вы подите на митинг, — посоветовала она, — это недалеко, в помещении театра... Там всех и повидаете...

— Не знаю, спешу, спешу... — ответил Богданов.

И уже пожимая руку Марьи Алексеевны, он спросил, возвысив голос, чтобы скрыть свое смущение:

— Вы не слышали, может быть случайно... вы ничего не знаете о такой девушке... о Наташе, студентке из Москвы? Она к родным сюда приехала...

Внезапная надежда охватила его... И хотя Богданов отлично сознавал всю ее неосновательность, он не был бы очень удивлен, если б Марья Алексеевна ответила: «Догадываюсь, о ком вы говорите... Я знаю Наташу из Москвы».

— А как ее фамилия? Можно было бы навести справки, — сказала она.

— Вот это мне, к сожалению, не известно, — Богданов широко улыбнулся, как бы сам готовый посмеяться над собой.

И, поняв по недоуменному лицу Марьи Алексеевны, что она ничем помочь ему не может, он поторопился окончить разговор.

У подъезда шофер опять возился с зажиганием, меняя свечи. И полковник медленно пошел вниз по проспекту, сказав шоферу, чтобы тот догонял его.

Еще затемно женщины с Пороховой улицы пришли на Проспект Коммуны; туда же со всех сторон прибывал народ. Почти одновременно появилась объединенная колонна Дульной, Курковой, Штыковой, Шпажной, Ложевой улиц; подходили большими и малыми отрядами жители других районов города: Центрального, Пролетарского, Привокзального... И к полудню баррикады, построенные этими же людьми три месяца назад, были разобраны, трамвайные пути, погребенные под метровыми сугробами, под кучами обломков, очищены. После перерыва, во время которого комсомольцы обносили участников воскресника горячим чаем с леденцами и хлебом,

люди приступили к починке рельсового полотна, к подвеске проводов...

Наташа принялась было вначале вместе со всеми копать снег, носить камни, но Анна Васильевна, забеспокоившись — не повредило бы невестке это усердие? — поставила ее в помощь Варваре Егоровне на раздачу и охрану инструмента. И взойдя на крыльцо углового дома, где были сложены ломы, кирки, клещи, мотки проводов, Наташа смогла обозреть почти весь широкий, прямой проспект... Насколько хватал глаз — от центра города и почти до заставы — его заполнили сегодня работающие люди; в подсиненном морозном воздухе летала снеговая пыль, сгибались и разгибались спины — сотни человеческих спин. Тут и там стояли, слегка колеблясь под слабым ветром, красные транспаранты, флаги... И было заметно — люди трудились с легким сердцем, с артельным добрым азартом. Сквозь неразборчивый шум голосов, сквозь множество смешавшихся звуков: звон рельсов, урчание автомобильных моторов, скрежет лопаты по камню, шипение паяльной лампы — пробивался вдруг женский смех или обрывок песни:

...Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону —
Уходили комсомо-ольцы...

Конец строфы исчезал в лязге металла, заглушался командами бригадиров. Было очень холодно — температура непрерывно падала; бледнолиловая дымка клубилась в небе, и затуманенный шар солнца то тускнел, то разгорался, наливаясь пламенеющим алым светом. Прошел слух, что мороз перевалил за двадцать градусов. И горожане крикали надсадно, потирали на ходу щеки, носы да старались побыстрее двигаться.

Невдалеке от углового дома, на перекрестке, мужчины ставили трамвайную мачту. Кто-то в бекеше, в башлыке размахивал рукой и рывкал со свирепым воодушевлением:

— Раз, два — взяли! Дружно — взяли!

В кучке людей, поднимавших чугунный столб, Наташа увидела председателя Городского Комитета Обороны; разгоряченный, в засыпанном снегом пальто, в сползшей набок ушанке, он подпирал мачту плечом.

— Смотри-ка, смотри — Ласточкин! — прозвучал у

крыльца резкий голос Насти. — Ишь, старается, сердечный — аж взопрел весь. Ну это лишнее даже с его стороны... — снисходительно обронила она.

Наташа засмеялась... О Ласточкине на заводе отзывались уважительно, как она знала, и в таких, примерно, выражениях: «посулам не верит, но ежели сам посулил — сделает», «основательный человек: политически подкованный», «сам покоя не знает и другим не дает». И Наташа, поглядев на Ласточкина сейчас, была несколько разочарована: «Типичный студент», — подумалось ей.

Но тут ее внимание было отвлечено возгласами, раздававшимися в глубине проспекта. Оттуда к перекрестку спускался какой-то большой военный отряд, и люди раступались перед ним, теснились справа и слева, шли по бокам... Наташа заметила, что и Ласточкин и его товарищи, оставив свою мачту, смотрели вверх на неизвестных бойцов.

— ...за-аны идут! — неотчетливо донеслось от заставы, — ...а-аны!

Настя взбежала на крыльцо и со спины обняла Наташу за талию.

— Неужто партизаны!.. — первая догадалась она.

И действительно: на шапках приближавшихся бойцов видны были красные ленты.

— Идут, идут! — не удержавшись, закричала Наташа вместе со всеми.

Ей случалось уже не только слышать, но и самой петь песни, что были сложены — неведомо кем — о партизанах — народных мстителях. И вот они подходили — вольным шагом, но в строю, по три человека в ряд — эти немногие таинственные лесные воины, вышедшие, наконец, из своих недоступных убежищ... Теперь можно было хорошо рассмотреть тех, кто шел в первой шеренге — с трофейными автоматами, побелевшими от стужи, с карабинами за плечами, с немецкими гранатами на поясах. Иней осветил у бойцов бороды и брови, курчавился на воротниках полушубков, шинелей. Точно белая метель, сдружившаяся с партизанами, заметавшая их следы, примчавшаяся с ними из беспредельных зимних просторов, из заповедных урочищ, окутывала их еще...

Участники воскресника образовали как бы узкий коридор, по которому проходили партизаны; хвост их колонны терялся где-то за заставой. Вдали закричали:

«Ура!» Оно накатывалось, гремело... И командир колонны непрерывно то снимал, то надевал, то вновь сдерживал шапку, здороваясь с жителями города. В развалку, по-крестьянски, шагал он впереди своих бойцов, и так же неспешно с виду, но споро, ходко шли — по трое в ряд — его стрелки: колхозники, шахтеры, сплавщики леса, учителя, счетоводы, пастухи — все люди мирных занятий, обвешанные с головы до ног оружием, отнятым у неприятеля. Иные козыряли поминутно, другие тоже кричали «ура» или, подняв автоматы, потрясали ими, приветствуя горожан — таких же мирных людей: станкостроителей и железнодорожников, швей и продавщиц, актеров и наборщиков, домашних хозяек и школьников, — в боях отстоявших свой город.

Завидев Ласточкина, партизанский командир ускорил было шаг, но затем обернулся к бойцам и широко, справа вниз махнул рукой.

— Стой! — скомандовал он. — Можно закурить!..

Ласточкин, отделившись от своей группы, выступил вперед, но не дойдя до командира, остановился...

Шум вокруг начал спадать, Наташа и Настя, держась за руки, помогая друг другу, встали на цыпочки, чтоб ничего не упустить в этой встрече... Командир принял на голову папаху, потрогал зачем-то бинокль, висевший на груди; казалось, он никак не мог решиться заговорить.

— Пришли, товарищ председатель Комитета Оборонны! — неожиданно выкрикнул он сильным, вздрагивавшим голосом. — Вернулись... Сводный партизанский отряд «Серп и Молот», отряд «Имени Октябрьской революции», летучий отряд «Смерть фашизму», рота самообороны Луковского сельсовета... — командир оглянулся назад, точно проверял, не забыл ли кого, — также молодежный отряд имени Желябова выполнили задание по преследованию противника. — Он перевел дыхание. — И согласно приказу военного командования прибыли на переформировку. А там уж — до полной победы, Яков Захарович, до Берлина!

— Ну, здравствуй, Никита Данилович! — сказал Ласточкин. — Не сразу узнал тебя — ишь, бороду какую отрастил... С возвращением, товарищ районный агроном!

Они обнялись, крест-накрест поцеловались, и вокруг опять стало очень шумно.

...Митинг представителей трудящихся, посвященный полному освобождению области от оккупантов, был назначен на три часа. И старуха Громова, которой надобно еще было побывать в штабе воскресника, в Горисполкоме, а вместе с нею Наташа и Настя опоздали почти на целый час. Усталые, намерзшиеся, подошли они к зданию театра — темное, с глухим без окон фасадом, оно стояло недалеко от здания Обкома... И Анна Васильевна, поглядев на невестку, заколебалась даже — может быть, лучше было идти с нею сейчас же домой?.. Но, войдя в театр, женщины почувствовали себя вознагражденными — сумрачный снаружи, он сверкал внутри. Электрический свет, от которого отвыкли в городе — белый, ровный, бесшумный, — горел и на лестнице в канделябрах, подобных волшебным чашам, источавшим сияние, и в фойе, в плафонах за матовыми стеклами, и в зрительном зале в двух больших люстрах, блиставших, как планеты, спустившиеся с неба. Повидимому, в город вновь потекла из-под Москвы электроэнергия... И одно это являлось уже праздником, так как до сих пор энергию, вырабатывавшуюся в самом Т., приходилось расходовать более бережно, чем хлеб...

Митинг давно уже, как видно, начался; зал был переполнен, и женщины, не без труда протиснувшись через боковой проход, остались стоять... Все же в первую минуту Наташа ощутила то же самое, что неизменно ощущала, входя в залитый огнями театральный зал: нетерпеливое ожидание необычайного, как бы некоего чуда, совершавшегося в момент открытия занавеса... И до нее не сразу дошел горький смысл слов, звучавших со сцены.

— ...Ровно на пустырь воротились мы, товарищи, ровно ураган прошел по нашим местам, — говорил, выйдя к рампе, бородатый, странно одетый человек в клеенчатом плаще поверх кожуха. — Все пожгли оккупанты: копер, поселок, взорвали рудничный двор, завалили штреки, затопили вентиляционный ствол. На шахте «Южная-бис» положение напряженное, товарищи! — Человек вытянул руки ладонями вперед, точно останавливал шум, хотя в зале царило безмолвие. — Партийная организация шахты вся, как один человек, работает по колено в ледяной воде, а бывает и по пояс. Семьи горняков вырубает землянки в мерзлоте...

Наташа, обернувшись, взглянула на Анну Васильевну, как бы спрашивая: «Что ж теперь будет?» Старуха слушала, наклонив голову...

— ...Мы построили вороток, опускаем при его помощи в шахту людей, оборудование, оттуда поднимаем породу, — продолжал шахтер. — Мы начали выдавать уголь... Товарищ Шаров, председатель облисполкома сказал в своем докладе, что Москва ждет топлива. Мы ходатайствуем — первые тонны угля, добытые на нашей шахте, отправить в Москву. Необходимо также обратить внимание на острую нехватку специалистов горного дела — раз, механизмов — два...

И только шахтер с «Южной-бис» кончил говорить, как в глубине зала раздались требовательные голоса:

— Дайте нам сказать!..

— Прошу слова! Дайте мне...

Председатель собрания, неизвестный Наташе военный, замешкался почему-то с ответом, справляясь по бумажке... Но рослая в платке, в зипуне девушка, поднявшаяся со своего кресла, не стала ждать разрешения.

— Товарищи, мы из Тамбова! — прокричала она очень громко. — По призыву комсомола мы, девчата, приехали к вам в порядке взаимопомощи... И нас всех поставили на откатку. Мы, конечно, работаем не на «Южной-бис», а на шахте номер двадцать два Арсеньевскугля, — девушка запнулась на секунду. — Извиняюсь, что я так самовольно выскочила... — без тени смущения, впрочем, сказала она. — Я хотела пояснить, что на Тамбовщине у нас еще бригады формировались и к вам и в другие пункты. Я и подумала — может, написать надо, чтоб срочно ехали... — Она обвела взглядом зал и объявила: — Я кончила, товарищи!

Все в зале и на сцене, в президиуме долго аплодировали тамбовской комсомолке... После нее слово получил инженер с Урала, приехавший на восстанавливающийся металлургический комбинат; затем на сцену вышел представитель Красной Армии, полковой комиссар, рассказавший, как идет наступление на фронтах. И его сменил у ramпы смуглый человек в меховой куртке и в белых бурках — казах, доставивший в Т. из Караганды целый железнодорожный эшелон с шахтным оборудованием.

Казаху тоже долго аплодировали... Наташа, стиснутая в проходе, забитом опоздавшими, мелко и часто

хлопала в ладоши, прижав локти к бокам; то, что происходило в этом сверкающем зале, было и в самом деле необычайно — точно перекликались голоса из разных концов страны, отделенных тысячами километров один от другого. И в каждом голосе повторялось: «Держитесь!.. Мы с вами!»

— А много нас... Право, много, не сочтешь, — шепнула Наташе Настя... — Ох, ноженьки гудут у меня, посидеть бы где... — тут же пожаловалась она.

Вне всякой видимой связи с тем, что говорилось на митинге, Наташа решила вдруг, что никуда не уедет из Т. «Напишу маме, пусть лучше ко мне поскорей приезжает», — подумала она. И приняв, наконец, это решение, облегченно вздохнула.

— Может, притомились, может, домой пойдем? — спросила Анна Васильевна.

— Сейчас кончится, и пойдем, — сказала Наташа.

Она согрелась в этой человеческой тесноте, и если б только здесь нашлось, где посидеть, она была бы совершенно довольна...

Дойдя до перекрестка, Богданов постоял на углу около здания театра. Оттуда валил народ — митинг, о котором говорила Марья Алексеевна, кончился уже, должно быть. Богданов поискал глазами в толпе, растекавшейся в обе стороны по тротуару, и кинул быстрый взгляд на противоположный угол...

Никому, разумеется, он не признался бы в том, что искал Наташу — уж очень это было несерьезно, не по его положению, так сказать. Но надежда на встречу с этой почти незнакомой женщиной все еще не покинула его. Не стоило, очевидно, и пытаться расспрашивать о ней, зная лишь, что она «студентка из Москвы», «приехала сюда к родным». Но тем более, тем более, наперекор трезвым доводам рассудка, рассчитывал Богданов на случай, однажды столкнувшийся их...

Думая о Наташе, полковник каждый раз думал и о том, что он — одинок, свободен, нелюбим; вернее даже — сознание своего одиночества и побуждало его возвращаться мыслями к ней... «А вдруг... вдруг мне необыкновенно повезет, и она опять появится...» — вот единственно на чем основывалась теперь его надежда. —

«Вдруг она выйдет из-за угла и повернет ко мне, вверх по проспекту...» И внутренне потешаясь над самим собою, он, однако, пристально смотрел на угол напротив: не мелькнет ли там синий беретик, не покажется ли небольшая легкая фигурка... По правде сказать, Богданов плохо представлял уже, как выглядит его Наташа; твердо он был убежден только в том, что она прекрасна. И эту прекрасную женщину он и жаждал, наконец — в свои двадцать девять лет — встретить... «Вдруг их взгляды скрестятся и она издали помашет рукой, затянутой в тонкую перчатку.» — по-мальчишески воображалось Богданову. — «Как хорошо! — скажет она, подходя к нему, — я знала, что вы еще приедете, я была уверена...»

Не дождавшись появления Наташи из переулка, полковник вновь стал рассматривать людей, выходивших из театра. И он действительно ее увидел — Наташа приближалась к нему в группе других женщин... Одетые в полущубки, в старые пальто, в стеганки, женщины торопливо шли, громко разговаривая о чем-то своем; на Наташе был толстый мохнатый платок, завязанный на спине. Сняв с руки двупалую красноармейскую рукавицу, она поправляла волосы, выбившиеся на лоб, как раз в тот момент, когда проходила мимо Богданова. И, скользнув по ней взглядом, он не узнал ее. В его памяти жила совсем другая женщина — необычная, нарядная, — так, по крайней мере, рисовалось ему — беззаботная; чем дальше уходила в прошлое их реальная единственная встреча, тем более туманным, неясным и притягательным становился ее облик. И мечтая об этой женщине, Богданов мечтал о счастливом, нарядном и прекрасном мире, который обязательно наступит после всех испытаний и трудов войны.

Работницы быстро удалялись; к полковнику долетел сердитый окрик «Настя, брось озоровать!», затем — смех мелкий, заразительно веселый... Он обернулся; его «эмочка» подкатила к тротуару, и шофер открыл изнутри дверцу, приглашая садиться... Полковник решительно направился к машине — ему стало неловко за свою нелепую, фантастическую надежду.

Вскоре «эмочка» полковника мчалась уже за городом по Московскому шоссе... И хотя Богданов не повидался в Т. ни с кем из тех людей, кого ему прежде всего хотелось видеть, он пребывал в отличном расположении ду-

ха — казалось, сегодня завершилась важная полоса в его жизни, и, подводя итог, он не имел причины упрекать себя.

«Вот и школы открылись, и трамвай собираются пускать...» — мысленно перебирал Богданов то, что удалось ему узнать в Т. Через заднее окошко он еще раз посмотрел на темную неровную линию окраинных построек. Начинались сумерки, и город скрывался в них...

«Мастеровой народ — стальная душа», — с уважением подумал полковник.

Когда он подъехал к памятному поселку у шоссе, в котором три месяца назад обедал с Наташей, наступила уже ночь. Недалеко от въезда громоздились здесь остовы немецких бронетранспортеров, дальше на снегу валялись как будто огромные обломки. Было удивительно светло, что случается иной раз в очень морозные, прозрачные ночи... Почти полная, почти белая луна плыла в небе, в центре исполинского круга, предвещавшего и на завтра ясную погоду. И в неразберихе черносиних теней и голубого света можно было различить иногда колесо перевернутого орудия, артиллерийский тягач, упавший на бок. Или вспыхивала вдали под лунным лучом — будто загорался фонарик — откинутая крышка танкового люка...

Огромная армия, переставшая существовать, оставила на этих бескрайних равнинах свое оружие. И точно распавшийся панцырь мертвого чудовища, точно его железная сломанная чешуя, лежало оно теперь на подмосковной земле.



СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
КНИГА ПЕРВАЯ	3
Часть первая	5
Часть вторая	154
Часть третья	280
 КНИГА ВТОРАЯ	 393
Часть первая	395
Часть вторая	545

Георгий Березко — «Мирный город»

Редактор *Ковалевская Т. П.*
 Художественный редактор *Гречиго Г. В.*
 Художник-оформитель *Селезнев Е. И.*
 Фронтиспис художника *Романова М. В.*

Технический редактор *Сорокин В. В.*

Корректор *Воробьева Э. С.*

Сдано в набор 29.3.55.

Подписано к печати 11.7.55.

Формат бумаги $84 \times 108 \frac{1}{2}$ — $21 \frac{1}{2}$ печ. л. = 45,26 усл. печ. л. + 1 вкл. — $\frac{1}{16}$ печ. л. =
 = 0,1 усл. печ. л. 36,61 уч.-изд. л.

Г-12149

Военное Издательство Министерства Обороны Союза ССР
 Москва, Тверской бульвар, 18.

Изд. № 1/7982.

Зак. 168.

1-я типография имени С. К. Тимошенко
 Управления Военного Издательства Министерства Обороны Союза ССР
 Цена 12 р. 70 к.